М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

7

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том седьмой

*

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ

ИТОГИ

1863—1871

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1969

Р1
С16

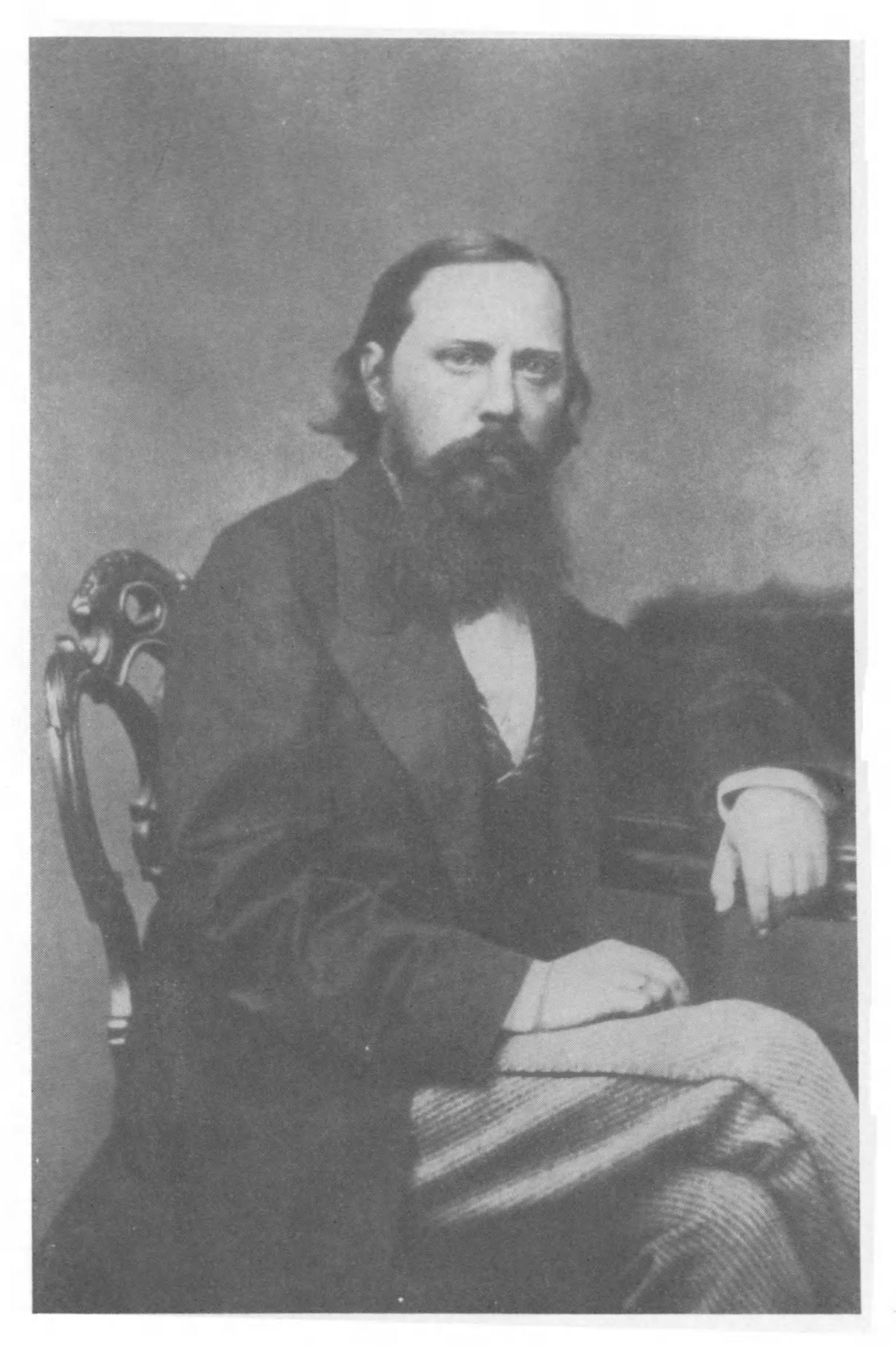
Подготовка текста
Л. М. Долотовой и *М. А. Соколовой*

Примечания
С. Д. Гурвич-Лищинер при участии *С. А. Макашина*

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1

Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография М. Б. Тулинова

Конец 1860-х гг.



ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ЗАВЕЩАНИЕ МОИМ ДЕТЯМ

Не вдруг.

Бабушка Татьяна Юрьевна недаром говаривала: «Друг ты мой сердешный, свет Николашенька (говорила покойница все слогом госпожи Кохановской, почему даже лейб-кампанцы и те ее как огня боялись), попомни ты, свет, речь мою великую: не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши».

С этой поговоркой я весь век изжил и не только ни в чем не проштрафился, но даже пришел к уразумению многих других прекраснейших поговорок. Бывали случаи: смерть хочется нагрубить, так бы, кажется, и отрапортовал, да вспомнишь Татьяну Юрьевну, укусишь язык и смолчишь. Много-много, что заплачешь. Начальники знали это и всегда меня жалели. Нет-нет да что-нибудь и простят. В тридцатых годах строгий всем приказ был: картофель, вместо хлеба, на полях сеять — я не сеял, простили. В 1849 году велено было бочки с водой на домах держать — я не держал, простили. Сосед у меня был, капитан Пафнутьев, так тот, бывало, так и вскипит. Полезет это к самому начальству: «Мое ли, говорит, или ваше дело знать, какой хлеб мне на полях сеять?» А я, напротив того, приду, тихим манером доложу и, если начальство сердито — замолчу. Потом опять приду, опять тихим манером доложу и, ежели опять начальство сердито — заплàчу. И чтò же вышло? Пафнутьев-капитан и картофель сеял, и бочку с водой на доме держал, а я сеял хлеб, заправский, государи мои, хлеб, а бочки с водой и в глаза не видал.

Слабомыслов исправник у нас был. «Проси, говорит, у меня милости,— отца родного съем; а будешь, говорит, по закону требовать, а тем паче по естеству — шабаш. Потому, естество — оно глупо. По естеству тебе есть хочется, а в регламен-

тах того не написано,— ну и бунтовщик. А ты проси милости,— и дастся».

Говорил я тоже, и не раз, этому капитану Пафнутьеву: «Пафнутий Пафнутьич! — говорю,— а вы бы простить попросили!» — так он даже зашипел на меня... за что̀ же этаких-то и любить?

Бабушка Татьяна Юрьевна так в этих случаях поступала. Придет, бывало, к ней мужик хлеба или лесу просить — она на него: «Да ты, свет, белены, никак, объелся, что меня, государыню, в боярском моем деле нудить изволишь?» И не только прогонит ни с чем, а временем даже высечь изволит. Напротив того, который мужик молчит — тому даст. И хлеба, и лошадь, и лесу на избу — всего, даже чего не нужно, и того даст. Почему? а потому, что боярское сердце ее этим веселится, а веселится оно, когда ей, государыне, самой того хочется!

И так она этой своей политикой всю вотчину устроила, что когда вступил в управление имением папенька Иван Матвеич и, по обычаю, спросил мужичков, довольны ли они и не нужно ли чего, то они не отвечали, а только лапу сосали.

Я знаю, что нынешние капитаны Пафнутьевы (много их нынче развелось, да ведь и бабушка Татьяна Юрьевна не промах была, тоже немалое потомство после себя оставила) скажут: бабушка-то ваша, видно, набитая дура была, да и грозы над собой не видала, а потому по-дурьи над всем и чудила. Однако не будет ли, господа Пафнутьевы, такое суждение ваше слишком резко?! Побеседуем, господа, побеседуем.

Начнем с того, что суждение это основано на каких-то якобы правах. Всякий человек, утверждают Пафнутьевы, имеет некоторые права, удовлетворение которых есть каждого священный долг и обязанность. На сем основании, продолжают они, будто бы так должно быть: ежели я чего хочу, то чрез минуту чтоб было исполнено, а ежели исполнения нет — сейчас бунт!!! И вот такой премудрый ихний кодекс называют они свободой.

Полно, так ли, господа Пафнутьевы, так ли?

Скажи мне, во-первых, высокоумный господин Пафнутьев, в каком ты виде от утробы матерней на свет произошел? — Ты произошел наг и беспомощен! Какие имел ты при этом права? — Никаких, кроме тех, чтобы заявлять слезами о твоей наготе и беспомощности! Согласись, что права не великие, но и сии кто тебе дал?

Их дала тебе почтеннейшая твоя родительница, которая, по доброте своего сердца, не всегда для усмирения твоего к по-

мощи розги прибегала, но по временам простирала тебе и руку помощи... тебе, нагому и беспомощному! Мог ли ты вынудить к тому твою родительницу? — Нет, не мог, ибо, как сказано выше, был наг и беспомощен. Вынудило же ее к тому собственное ее материнское благоизволение!

Итак, вот твои «якобы права» при рождении... поистине *якобы* права!

Пойдем далее. Ты взрос, Пафнутьев, достиг тех лет, когда подобных тебе отдают в кадетские корпуса и гимназии. Спрашиваю я тебя: имел ли ты *право* требовать, чтобы тебя приняли в одно из сих заведений? — Нет, не имел, да и на ум бы тебе такое право никогда не взошло, ибо ты тем временем в бабки на улице с мальчишками играл, а не об образовании ума и сердца думал! Однако ты отдан был в заведение... почему? не по праву ли? — Нет, не по праву, а потому, что заведения те, по благоизволению начальства, в потребном количестве устроены, и по благоизволению же начальства Пафнутьевых принимать в них велено. Не будь сих заведений... скажи, не остался ли бы ты свинопасом? И кичился ли бы ты тогда сим завидным твоим *правом?*

Итак, вот твои «якобы права» по воспитанию и образованию. Тверже ли они тех, которые якобы приобретены тобой при рождении?

Пойдем еще далее. Ты вышел из заведения и поступил на службу. Ты скажешь, что имел на то право, ибо получил при окончании наук чин? Но этот чин... кто наградил им тебя? Настоятельно спрашиваю: кто тебя наградил? — Не знаешь? — ну, так я тебе скажу: тебя наградило им начальство! Сам посуди: разве может существовать естественное отношение между твоим чином и науками? — Нет, не может! А так как тем не менее некоторое отношение (хотя и неестественное) тут существует, то спрашивается: кто, кроме начальства, установить его мог?

Итак, вот твои «якобы права» при вступлении на поприще государственной деятельности... Тверже ли они тех, которые приведены в двух первых примерах?

Пойдем ли еще далее? Поведем ли беседу о твоих взрослых летах, о старости?.. О, Пафнутьев! проживи с мое и увидишь, что знаменитые твои права подлинно столь уже знамениты, что стоит человеку, даже не одаренному сверхъестественною физическою силою, ткнуть в них пальцем — и образуется тут — не права, а простая дыра!

Знаю я: положение твое нелегкое. С одной стороны, смущаемый врагами внешними — другими подобными тебе Пафнутьевыми, с другой стороны, нося в самом себе врага

внутреннего — высокоумный твой разум, ты ежечасно волнуешься призраками, ежечасно мечтаешь: а что̀, ежели я попробую?!

Не пробуй.

Пробы твои приведут лишь к тому, что прочие Пафнутьевы над тобою же насмеются, что они же, предварительно смутивши тебя, будут, при виде твоего поражения, восклицать: фигу съел! фигу съел! А высокоумный твой разум... куда денется он тогда с своими мечтами? какие новые выдумки предложит к твоему утешению?

Но что же мне делать? спрашиваешь ты: куда деваться от врагов и недругов? ка̀к устроить колеблющуюся судьбу свою? На это отвечаю тебе: умудрись.

Из предыдущего ты убедился, что прав никаких нет, а существуют лишь «якобы права» (вижу, что на устах твоих блуждает недоверчивая улыбка, но нимало не боюсь ее); это самое должно указать тебе путь.

Прав нет; тем не менее не могу отказать тебе в том, что в сердце твоем, по временам, совершаются некоторые движения, что движения сии заставляют тебя устремляться, простирать руки и т. д. Движения сии, друг мой, на языке психологов называются желаниями, или иначе: желания суть такие предъявления твоего естества, которые, образуя совокупность личных твоих вожделений, при осуществлении их в натуре, необходимо должны быть приведены в надлежащее соответствие. Или еще иначе: желания суть натуральные вожделения, представляемые на благоусмотрение. Посмотрим, Пафнутьев, каковы-то твои желания?

Если бы ты, например, пожелал слона проглотить, то, как думаешь, могло ли бы такое твое желание быть приведено в соответствие? или если бы ты, будучи младенцем, пожелал натянуть на себя панталоны твоего родителя, то и этому твоему желанию, по-твоему, преград ставить не следует? или если б, будучи от рождения слабоумным, пожелал бы иметь рассуждение о предметах возвышенных... и тут, стало быть, остановить тебя нельзя?

Но нет, ты не настолько неразумен, чтоб утверждать что̀-нибудь подобное. Ты соглашаешься со мной, что ни слона проглотить, ни малолетнему сыну в родительские панталоны облекаться, ни слабоумному о возвышенных предметах рассуждать — невозможно. Дитя прикасается ручкой к раскаленному металлу и обжигается — что̀ было бы, если б над ним не бодрствовала тайно другая рука, которая от обжиганий его оберегает и предохраняет? Была бы погибель, была бы смерть... ты это понимаешь.

Но ежели ты это понимаешь, то должен понимать и то, что желания у тебя могут быть всякие: такие, которые приносят честь твоему уму и сердцу, и такие, которые не только чести тебе не приносят, но которых исполнение может быть сопряжено для тебя даже с опасностию жизни; такие, коих осуществление благовременно, и такие, которые могут быть удовлетворены лишь завтра, или через месяц, или через год, или даже чрез сто и тысячу лет. Кто судья в этом деле? Кто может разделить твои желания на категории, а сии последние на роды и виды? Не ты ли? Но ведь ты только можешь желать, а не анализировать... Кто же? Ответ на этот вопрос заключается в том определении, которое дано мною желаниям вообще. *Желания,* сказал я выше, *суть натуральные вожделения, представляемые на благоусмотрение...* ужели этого недостаточно, чтоб вразумить тебя?

Не думай, однако же, чтобы я предлагал устройство особенной какой-либо канцелярии для разбора твоих желаний — нет, я далек от такой мысли, хотя, сама по себе взятая, она весьма почтенна. Я далек от этой мысли лишь потому, что канцелярия в сем разе наверное превратится в целое министерство, министерство же образует из себя пять отдельных главноуправлений, что, по нынешнему состоянию финансов, едва ли не будет для государства отяготительно. Итак, пускай канцелярия на этот случай заменится одним общим представлением о начальстве.

Ежели нет у тебя прав, а есть одни желания, ежели сии последние разнообразны и ежели, притом, канцелярии учредить невозможно, то ясно, что разбор твоих вожделений может принадлежать лишь начальству. Во-первых, оно стоит на высоте; во-вторых, одарено мудростию; в-третьих, наконец, может дать и не дать. Скажи, обладаешь ли ты хотя одним из сих качеств?

Таким образом, в конце концов пред умственным нашим оком образуются два предмета: с одной стороны — ты, Пафнутьев, предъявляющий желание, с другой стороны — начальство, могущее дать или не дать. В сих тесных обстоятельствах ка̀к должен ты поступить?

Должен ли ты последовать примеру столько раз упомянутого мною капитана Пафнутьева, который, бывало, как дорвется до начальства, так сейчас: фф... жж... зз...? или же обязываешься докладывать начальству тихо и просить себе милости?

Предлагаю тебе эти вопросы и внутренно самому себе удивляюсь. Ужели, говорю я себе, может найтись в мире человек, который бы давно сих истин для себя не решил? Или тебя

в школах ничему не учили? или ты позабыл все выученное, и надо тебе оное повторить?.. Не долгие же плоды твоего учения!!

Займемся повторением.

Вначале земля наша была пуста — кто ее заселил? Звери свободно ходили из края в край — кто им надлежащие места определил? Приходили печенеги, приходили татары, мужей побивали, а жен уводили в плен — кто их победил? Фабрик и заводов не было — кто их основал? Просвещения не было — кто его учредил? Люди питались злаками, самые цари изволили лакомиться уткой с шафраном — кто надлежащие к питанию средства преподал и указал? Не было ни земских, ни уездных судов, а тем паче магистратов и ратуш — откуда восприяли они начало? Не было ни общественного здравия, ни общественного благоустройства, ни общественного спокойствия, не было ни мостовых, ни паспортов, ни такс на хлеб печеный и в муке, ни разделения говядины на сорта — откуда все это явилось?

Откуда? Кто?

Вот то-то, мой друг! Когда тебе рассуждать не следует — ты рассуждаешь; когда же, напротив того, остроте твоего ума ничто не мешает — ты оставляешь оную втуне! Не означает ли это, что ум твой развращен и пресыщен? что он, подобно желудку гастронома, требует не здоровой пищи, а пораженной тлением и разлагающейся?

Мало тебе напоминаний древнеисторических — укажу нечто из недавней, хотя и минувшей, практической твоей жизни.

Когда служитель твой оказывал тебе неповиновение и грубость — не на съезжую ли ты его отсылал? Когда крестьянин твой не платил даней — с чьею помощию ты его к исполнению обязанностей обращал? Когда тебе нужно было что-либо утаить, кого-либо обидеть и притеснить — к кому ты прибегал?

«А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на сто тысяч, тогда как его и на сто рублей не было?» — спрашивал некто Сквозник-Дмухановский одного провинившегося купца и тут же совершенно резонно отвечал: «Я помог тебе, козлиная борода!»

Вот о чем всечасно надлежит тебе вспоминать, Пафнутьев! а не смущать себя указаниями, которые предлагает высокоумный твой разум! Подумай: ведь разум твой глуп; он рассуждает помимо практики, помимо истории; а куда же ты денешься с практикой? куда спрячешь историю?

Ты говоришь: сова усматривает лежащего в кустах зайца, мгновенно налетает и, впиваясь в него одной лапой, другую держит наотмашь. Она наперед знает, что вспуганный заяц понесется с быстротой молнии, и рассчитывает, что не может остановить его неистовый скок иначе, как ухватившись простертою лапой за какой-либо встреченный предмет (для того-то она и простирает ее). Но увы! (это все ты говоришь) расчет ее не всегда верен. Случается часто, что, ухватившись за древесный сук, она не только не удерживает расскакавшегося зайца, но оставляет на суке свою лапу и впоследствии истекает кровью. Тем не менее (ты же продолжаешь), несмотря на подобные гибельные последствия и несомненные свидетельства о том истории, ни одна сова в мире до сих пор не останавливается подобными соображениями, но все они продолжают производить нападения на зайцев тем самым порядком, какой указывает инстинкт.

Другой пример: волк забирается ночью в овчарню. Производя это в ночное время и потаенным образом, он тем самым явно доказывает, что предвидит в будущем нечто не вполне для себя благоприятное. А предвидит он вот что̀: проснется овчар и не только помешает волку исполнить задуманное, но еще намнет бока, а быть может, лишит и жизни. Так оно и бывает. Тем не менее, говоришь ты, ни предвидение, ни даже уверенность не могут удержать волка в его стремлении; несмотря на очевидную опасность, он лезет в овчарню... и погибает!

Подобно сему, продолжаешь ты, и я, Пафнутьев, не знаю, что̀ ждет меня впереди, но прав своих не отстаивать не могу...

Прекрасно.

Стало быть, ты волк? стало быть, ты хищная сова? Ты сам сознаешь, стало быть, что идешь в овчарню не открыто и при свете дня, но прокрадываешься ночью и потаенным манером? В таком случае, напрасно же оговариваешься неведением об ожидающей тебя участи: я могу предсказать ее тебе. Ты оставишь свою руку на том самом суке, который думаешь ухватить, и получишь казнь в той самой овчарне, в которой мечтаешь быть властелином!

Того ли ты хочешь?

Любя размышление, я иногда думаю: господи, что̀ делается, что̀ делается на белом свете! кто скажет наверное, с кем идти, куда стремиться, кого слушаться? Не слушаться — не могу (привык сызмалетства); но кого, господи! кого? Кто разбе-

рет, где похвальное, где непохвальное, что̀ на пользу, что̀ во вред, чему радоваться и чем печалиться? И должен сознаться, что результат моих размышлений таков: ничего не понимаю.

Оглядываясь кругом себя, что̀ вижу? Статские и действительные статские советники громко проповедуют, что все сие надо уничтожить и сдать в архив, а тайные советники, внимая им, улыбаются! Почтеннейшие генералы с ужасом восклицают: ка̀к мы могли жить! ка̀к мы не задохлись! И, сказавши это, начинают в смешном и невероятном виде представлять, какая маршировка была! Пафнутьев прямо говорит, что он не Пафнутьев (кто же ты? уж не потомок ли того поджарого француза, которого в 1812 году спас от голодной и холодной смерти почтеннейший твой родитель и который впоследствии столь постыдно отплатил ему за гостеприимство?) и что ему надобно с кем-то покумиться! В одном журнале некоторый птенец (сказывают, даже дворянский сын) печатно высказался: никогда не прощу моей родительнице, ибо она уже тем меня унизила, что заставляла ребенком сосать грудь свою! На кого надеяться? В ком видеть оплот?

Заговорил ты, Пафнутьев, о правах — это так! Но подумал ли ты о том, какую материю шевелишь? о том, например, что материя эта подобна навозной куче, которую чем более разрываешь, тем более от нее пахнет? Или ты мнишь найти в ней жемчужное зерно? Или ты обольщаешь себя мыслию: только бы мне свое получить, а насчет прочих поревную особо... Легковерный!

Бабушка Татьяна Юрьевна так на этот счет выражалась: «Положи ты мне, свет Николашенька, только один пальчик в рот, а там уж я сама всю твою ручку скушаю!» Незабвенная бабушка! сколько раз на дню я тебя вспоминаю, глядя на нынешних Пафнутьевых! Несчастные, они полагают, что как они легко покумились, так же легко впоследствии и раскумиться могут... Какая самонадеянность!

И ведь если б доподлинно жить тебе худо было — ну, тогда с богом! груби! а то вспомни, ка̀к ты проводил время, какими пользовался приятностями? Встанешь ты утром — умываться тебе подает меньший брат твой! захотел чаю — чай подает меньший брат твой! пожелал кушать — завтрак, обед и ужин готовит меньший брат твой! пришло время спать — постелю стелет меньший брат твой! одевает и раздевает — все тот же меньший брат твой. Твоего собственного труда было только — есть, пить, спать да протягивать руки и ноги. Каких же еще тебе якобы прав нужно? или ты подлинно захотел тех, кото-

рыми пользовался меньший твой брат? Так ли? точно ли ты их захотел?

Дети! нет гнуснее поступка, как отрекаться от самого себя. Один Пафнутьев говорит: я лыком шит; но ежели это и подлинно так, то следует ли объявлять об том всенародно? Не лучше ли было бы, если бы ты это скрыл? а если скрыть нельзя, то не умнее ли, если бы ты, не выставляя себя срамцом, напротив того, всем и каждому говорил: блаженно и лыко, которым я сшит... твори, господи, волю твою! Другой Пафнутьев повествует: предки мои в крестовых походах не были, а всё тарелки подавали! Но что же делать, мой друг, ежели крестовых походов не было, а были тарелки? и следует ли из того, чтоб ставить тарелки в укор? — Отнюдь. Предки твои действительно подавали тарелки, но они делали это любя и нередко получали за то лакомые куски. Зачем же ты забываешь о лакомых кусках и помнишь лишь о тарелках? Наконец, третий Пафнутьев продолжает: черт ли в том, что я Пафнутьев, коль скоро никаких дел мне решать не предоставлено! Так, мой друг, так! А проэкзаменовать тебя, так ведь ты и дел-то никаких, пожалуй, назвать не умеешь... решитель! И куда тебя, под стекло, что ли, посадить дела-то решать! вот удивление-то будет! вот утеха! Решитель!..

И ведь всякий секретно про себя думает: сем-ка отрекусь я от самого себя, может, никто не заметит! Вот так права!

Горько. Была одна доблесть: смирение, но и та досталась как бы исключительно в предел господину Аксакову, который хотя и старается, но успеет... вряд ли!

И еще говаривала бабушка: «Обманывать, свет Николашенька, точно что грех, а потихоньку можно. Я от покойницы маменьки сколько раз потихоньку делывала — ничего, сходило! Конечно, не без того, чтобы изредка и не потрепать, да ведь в нашем деле, свет Николашенька, за тычком и не угоняешься!»

Часто задумываюсь я над этими словами незабвенной бабушки и спрашиваю себя: ужели сия добрая хранительница моей юности, весь век свой бывшая образцом добродетелей, не только оправдывала, но и внушала ложь?.. Не может этого быть!

Так оно и выходит.

Если я захочу с чем-нибудь сравнить человеческую жизнь, то, конечно, лучшего примера не найду, как домашнее наше хозяйство. И та и другое до крайности разнообразны; и та и другое поглощают множество предметов самого противопо-

ложного свойства. Предметы эти, скучиваясь в одну массу, ограничиваются другими соседними предметами, утрачивают часть своих первоначальных свойств, занимают каждый свое место и в конце концов образуют так называемую гармонию. Валяется, например, на полу негодный лоскуток бумажки — добрая хозяйка поднимает его и мыслит: в хозяйстве он пригодится. И действительно, не проходит минуты, как бежит старший сын и спрашивает: «Мамаса! бумазки!» Попадается под руки дрянная тряпица, сальный огарок, обрывок старого мужнина носка — добрая хозяйка ничем не пренебрегает, все прибирает в особое место, ибо все это в хозяйстве может понадобиться. Маленькой Леле захотелось устроить куклу — старую тряпку и обрывок носка можно употребить на набивку ее; у маленького Пети насморк сделался — сальным огарком можно носик ему помазать! И вот таким образом в старые времена составлялись значительные состояния! Не то же ли самое замечаем мы и в жизни? — решительно то же. Есть средства, которые строгими моралистами хотя и осуждаются, но которые в жизненной экономии бывают не только пригодны, но даже необходимы. Почему? а потому просто, что средства эти, будучи употреблены во благовремении и обставлены целою совокупностию других соответствующих условий, не только утрачивают свой огорчительный для моралиста характер, но даже делаются как бы вовсе непредосудительны. Так, например, обман превращается в «потихоньку», присвоение чужой собственности — в «благоприобретение», обольщение чужой жены или дочери — в модное занятие ферлакурством! Кто и когда восставал против «потихоньку», против «благоприобретения», против «ферлакурства»? Никто и никогда!

Вот первое основание неизбежности того, что̀ добрая моя бабушка разумела под словом «потихоньку». Но есть еще второе и третье основание.

Один штаб-офицер в минуту откровенности говорил мне:

— В 18** году, когда я командовал драгунским полком, то изрядно мошну свою поправил!

— Стало быть, вашество, это из казенного ящика-с? — спросил я его.

— А ты, может быть, думал, из носу? — отвечал штаб-офицер и, оставив вопрос без дальнейшего разъяснения, разразился веселым, громким смехом.

— Стало быть, вашество, секретно изволили? — продолжал я, все еще не понимая причины его смеха.

Но на это штаб-офицер даже и не ответил, а только тоненьким голосом передразнил: «Стало быть, вашество, секретно изволили?»

В то время я не понял этого изречения и долго, по простоте своей, думал: если штаб-офицер секретно лазил в казенный ящик, то, стало быть, он делал недозволенное, а ежели делал недозволенное, то, стало быть, обманывал! Теперь я все это понимаю: он просто действовал «потихоньку» — и больше ничего. Ибо что̀ такое обманывать? Обманывать значит отрицать, говорить: «не знаю», когда знаешь, утверждать, что ты видел человека с двумя головами, когда такового отнюдь не видывал, и вообще вводить в заблуждение. Спрашиваю: вводил ли кого-нибудь в заблуждение штаб-офицер? — формально никого не вводил. Отрицал ли что? — ничего не отрицал, ибо никто у него ничего не спрашивал! Он просто говорил себе: «Я теперь в таком положении, что могу соблюдать права, но так как меня могут изловить, то буду соблюдать их потихоньку!» Вот и все.

Один известнейший либерал, когда я отправлялся в губернский город Семиозерск по делу о пререканиях, дал мне такого рода инструкцию:

— Вы, mon cher[1],— сказал он мне,— действуйте больше посредством обещаний! Promettez-leur ceci, promettez-leur cela[2], и когда приведете их к одному знаменателю, тогда...

— Стало быть, вашество, обмануть приказывать изволите? — спросил я, совершенно позабыв о штаб-офицере.

Так либерал мой даже побагровел весь от негодования.

— Кто вам приказывает обманывать? Кто вам рекомендует «обманывать»? — наскочил он на меня.— Ему говорят: действуйте нотихоньку, а он «обманывать»! Обманывать? а? обманывать! Извольте, сударь, отправляться и действовать, как вам приказано!! Обманывать?!

Это второе основание.

А вот и третье. Почему обман вреден? потому что он производит соблазн. Я отрицаю, изобретаю вымышленные повествования, словом сказать, ввожу ближнего в заблуждение; лакей мой слышит это и рассуждает: ежели барин так врет, то почему же не начать врать и мне? И начинает. С этой минуты жизнь моя окончательно отравлена. Он будет утверждать, что я обедал, тогда как я не обедал; будет с испуганным видом восклицать, что в доме пожар, тогда как пожара никакого нет; наконец прибежит и скажет, что барыня разрешилась от бремени мальчиком, тогда как никакого разрешения совсем не последовало. Кончится это, разумеется, тем, что я сокрушу ему зубы или переломлю ребро и за это, по строгим нынешним

---

[1] дорогой мой.
[2] Обещайте им и то и се.

порядкам, попаду под суд. Суд, с своей стороны, приговорит меня на поселение... вот плоды!! Но этого мало: глядя на меня и на моего лакея, и другие примутся за то же ремесло, и произойдет тогда нечто необыкновенное: все мы, сколько нас ни есть, будем друг друга обманывать. «Ты, брат, солгал!» — буду говорить я своему соседу; «да ведь и ты, брат, солгал!» — будет отвечать он мне... какая же польза от этого? Какое поучение? Напротив того, ежели я делаю «потихоньку», то никто ничего не знает, а всякий думает, что я ничего не делаю. Между тем я своего-таки добиваюсь и соблазна никакого не произвожу. Вижу я, например, что некто за мной примечает,— я погожу; вижу, что он отвернулся,— я опять за свое дело. И ежели тогда мой лакей вздумает облыжно обрадовать меня рождением неродившегося сына, то я с полным достоинством ему возражу: «Опомнись, мой друг, разве ты слышал, чтобы я кого обманул? бери, братец, пример с меня!»

Пафнутьев! ты, который мнишь себя высокоумным,— размысли об этом!

Сего числа пришел ко мне старший сын мой, Петенька, с обыкновенною своей просьбой: папа, дай ляльки! Я, с своей стороны, по обыкновению, начал доказывать маленькому шалуну, что от ляльки у него животик заболит и зубки испортятся. Но неопытный младенец на сей раз перехитрил опытного старца. «Мне бы, папаса, эту ляльку только в ручках подержать!» — сказал он мне, и едва лишь я успел удовлетворить его невинному желанию, как маленький хитрец эту самую «ляльку» мгновенно в моих глазах проглотил!..

Подивись, о Пафнутьев! практической мудрости невинного младенца!

В прежние времена жили мы между собой очень дружно. Никаких этих «якобы прав» не знали, а знали только, кому что принадлежит. И сообразно с этим обстаивали.

В то время все беды от нашей неукротимости на нас насылались. Виноваты мы были. Не то чтобы словом или ласкою, а больше все кулачищем этим да арапником... Однако и за всем тем средства изыскивали.

Начать с того, что все мы друг дружке либо родня, либо кумовья были. Хлобыстовские родня Дракиным, Дракины в свойстве с Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучатными самому Гвоздилову. Вот они стена стеной и стоят. Проштрафится, бывало, Дракин — сейчас к Расплюеву.

— Так и так — беда!

— Опять изувечил?

— И всего-то одну плюху... не понимаю даже, что̀ с ним случилось: как закатился!

— Ладно.

Едет Расплюев к Хлобыстовскому, от Хлобыстовского к другому Дракину, от другого Дракина к Гвоздилову, всем говорит: так и так. Посудят, порядят между собой и определят: стоять.

Сейчас наведут это на них пушку — стоят. Пустят врассыпную картечью — стоят. Науськают шавок таких, что и в уши, и в нос, и в глаза вцепятся,— стоят. На все про все один ответ: знать не знаем, ведать не ведаем, а должно полагать, случилось с ним это от нетрезвой жизни. (Ты скажешь, Пафнутьев: ведь вот же, обманывают! а я тебе отвечу: нет, не обманывают, а оказывают лишь временное укрывательство проштрафившемуся сочлену.) Что̀ ж бомбардиры-то наши? А вот что̀: попалят, попалят, увидят, что втуне, и разойдутся!

А прав не было.

Вторым обстоятельством, скреплявшим нас, было родство, так сказать, духовное. Все мы были люди, все человеки, все чувствовали свои слабости. Если виноват Хлобыстовский, виноват Расплюев, виноват Гвоздилов — могут ли они друг перед другом нос задирать? Ну, и выходила у нас тут дисциплина, не та дисциплина, которая нынче: слушай, дескать, меня не потому, чтоб резон тебе слушать, а потому, что я так вздумал,— а настоящая, естественная, так сказать, дисциплина. Потому как мы все во гресех равны, то если бы кто и пикнул — сейчас ему зеркало: смотрись! А так как смотреть нечего, то большею частью тем и оканчивалось, что пошумят, пошумят между собой, а потом и определят: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь из нас одного, куда ж бы девались все прочие?

Ну, и опять наводят пушки, опять напускают шавок — не шелохнемся, все как один! Что̀ ж бомбардиры-то наши? а вот что̀: попалят, попалят, увидят, что втуне,— и разойдутся.

А прав не было.

Третье: не было в нас строптивости никакой. Как чувствовали мы себя во всем виноватыми, то моды-то эти надобно было бросить. Ну, и начальство тоже видело: люди, дескать, грешные, виноватые, что̀ с них возьмешь! А мы между тем кто с барашком в бумажке, кто с поклонцем, кто со слезами... И так, государи мои, наплачем да наслюнявим, что не бывало,

кажется, дела такого, которого бы мы на свой лад во всех статьях не обделали.

А прав не было!..

Так бывало в старое время. Посмотрим, каковы-то порядки завелись нынче.

Для сего стоит только оглянуться кругом. Оглядываюсь и что̀ же вижу? вижу раздор, вижу распри, вижу рознь!

На днях иду по улице, встречаю Пафнутьеву дочь. Идет, это, стриженая, словно в старину наказанные девки хаживали, идет и под мышкой книгу-Бокль держит. Досадно мне, знаете, сделалось, потому что все-таки своя... Пафнутьева!!

— Ну-с,— говорю,— сударыня, гуляете-с?

— Гуляю-с,— говорит.

— Мамашенька с папашенькой как-с? либеральничают-с?

— Да что,— говорит,— мамаша с папашей! Вот крепостное право уж упразднили — может быть, и их скоро упразднят!

Какова-с?!

Иду далее, встречаю Пафнутьева сына; этот, напротив того, совсем как козел лохматый. Еще досаднее стало.

— Ну-с,— говорю,— гуляете-с?

— Гуляю-с,— говорит, а сам дерзко-предерзко в глаза мне смотрит.

— Как,— говорю,— папаша, в своем здоровье? либеральничает?

— Нынче,— говорит,— этакими-то либералами заборы подпирают, а не то чтобы что...

Каков-с?

Это по части родственных уз.

А вот и по части сословной.

Завелась у нас эта эмансипация. Начальство ее придумало, оно же и приказать изволило — не спорю! Надо, стало быть, исполнять. Кто исполнители? — Пафнутьевы. Каковы исполнители???

Не могу продолжать.

И после таких-то поступков поднимать речь о каких-то якобы правах?!

Сего числа был у меня отец Порфирий, прихода нашего иерей. Разговорились о нынешних обстоятельствах.

— Доложу вам, сударь, вот хоть бы насчет этих самых прав,— сказал мне почтенный иерей.— Сидели мы однажды у господина Дракина за столом, и как была у нас тут изрядная топка, то я, признаться, за этим самым столом и уснул. И что ж бы, вы думали, господин Дракин надо мной сделали? Припечатали-это к столу мою бороду и в ту ж минуту над самой моей головой из пистолета выстрелили... Так я, сударь,

две недели после того собственныя своея слюны не мог глотать!

А прав не было!!

Из-за чего ты бьешься, Пафнутьев? из-за чего целоваться лезешь? — Поистине, это сюжет для меня отменно любопытный!

Поди сюда и давай беседовать.

Станешь ли ты служительские должности исполнять? — нет, не станешь. Для чего же ты утверждаешь и всенародно говоришь, что служительские должности не суть постыдны? — ты молчишь!

Станешь ли ты с служителями обедать, будешь ли служительскими лакомствами лакомиться, примешь ли участие в служительских удовольствиях, посадишь ли служителя с собой рядом в карету? — нет, не станешь, не будешь, не примешь и не посадишь. Для чего же ты говоришь, что сообщество служительское не есть гнусно? — ты молчишь!

Согласишься ли ты охотой идти в солдаты? чинить мосты и дороги? исправлять подводы? — нет, не согласишься. Для чего же ты твердишь, что это есть всякого прямой долг и обязанность? — ты молчишь!!

От дальнейших вопросов воздержусь.

Но, быть может, ты скажешь: все сие будут исполнять другие, а я только буду направлять?.. Так тебя и пустили!!

Да̀, дети! вы не знаете, какое время, какое ужасное время переживают ваши отцы! Вы даже не поверите, чтобы могло когда-нибудь такое время существовать:

Чтобы дети не уважали своих родителей.

Чтобы служители не слушались господ, а, напротив того, грубили им и даже дразнились.

Чтобы члены одной и той же семьи, вместо того, чтобы подать руку помощи, высовывали друг другу языки.

Чтоб мелких денег не было.

Чтоб крупных денег не было.

Чтобы вдруг целая масса людей оказалась ни на что̀ не годною, кроме раскладыванья гранпасьянса.

Спите, милые! И пусть ангел-хранитель оградит даже сны ваши от представления тех горестей, которые, подобно ядовитейшим насекомым, изъязвляют и поядают отцов ваших.

А все ты, Пафнутьев! ты, ты, ты!

Ты начал с того, что не хотел бочки с водой на доме твоем поставить,— смотри же теперь, любуйся на дела рук твоих! И если бы ты еще доподлинно эту бочку не поставил, а то ведь только накричал, нашумел!.. Что̀ ж вышло? А вот что̀. Первое, служители твои слышали, как ты кричал и шумел, и заключили, что, стало быть, шуметь и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, они в то же время видели, что на тебя все-таки никто не посмотрел, а из этого заключили, что ты сечешь, и рубишь, и в полон берешь, а вперед, брат, не подвигаешься! Что малый-то ты, стало быть, дрянь! И первое взяли себе к руководству, а второе к соображению.

Другие-то, другие-то, покорные-то, за что̀ тут страдают?

Верь, Пафнутьев, мне самому тяжело обращаться к тебе с упреком. Я знаю, что ты все-таки Пафнутьев и что̀ твоя бабушка моему дедушке кумой была. Но я вынужден к тому, и вынужден следующим, совершенно несносным обстоятельством.

На днях мы с женой обедаем. Подают суп (стерляжьей ухи, брат, мы нынче уж не едим: достатки не те), в супе волос.

— Это что̀? — спрашиваю я своего Личарду.

— Волос-с,— отвечает Личарда, да так ведь, каналья, любезно, как будто бы этому делу так и быть надлежит. Стерпел.

Подают жаркое, к жаркому салат (только сию роскошь себе и позволяем, да и то потому, что свои оранжереи есть), в салате червяк ползет.

— Это что̀? — спрашиваю я опять.

— Червяк-с,— отвечает Личарда.

— Червяк-то червяк, да зачем он сюда попал?

— Попал-с,— отвечает Личарда. Опять стерпел.

Подают пирожное, в пирожном мочалка.

— Это что̀?

— Мочалка-с.

— Зачем мочалка?

— Да что̀ вы ко мне пристали!..— Не стерпел...

На другой день следствие.

И таким образом каждый день. Скажи, Пафнутьев, статочное ли дело так жить?

Я добр; но ежели мне с намерением не дают есть — я свирепею.

Я добр; но ежели встречаю в своей постели битое стекло — я свирепею.

Я добр; но ежели на мое приказание истопить печку отвечают: «поспеешь!» — я свирепею.

Статочное ли дело так жить? — вновь спрашиваю я тебя.

А мы живем. Мы все, потомки бабушки Татьяны Юрьевны, так живем!

И не ропщем, а ждем помилованья.

Не далее как вчера читал я повесть о многострадальном Иове... ах, какая это книга! прочти ты ее, Пафнутьев!

Был вечер, на дворе гудела вьюга; сторожа разбежались (да вряд ли, впрочем, и приходили). Я крикнул: «чаю!» — но ответа не получил, ибо лакейская была пуста. Мы ходили с женой по опустелым комнатам нашего старого дома и рассуждали о том, сколько нужно иметь в наше время терпения, снисхождения и кротости; вдали раздавались голоса детей, укладывавшихся спать, и между ними голос старухи няньки, которая, без всякой робости, кричала: «Цыцте вы, пострелята! и то уж из милости паскудникам вашим служу!» В это время взоры наши упали на книгу об Иове.

Результатом этого чтения было то, что мы вдруг как бы помолодели. Откуда взялась бодрость, надежда, уверенность... даже об чае забыли!

— Ты видишь, мой друг,— говорила жена,— если стада отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы разбегаются, то они же и опять возвращаются! Стоит только подождать...

— Стоит только подождать,— повторил я в сладкой задумчивости.

И затем весь остальной вечер мы были веселы, а за ужином даже вспомнили одного веселого соседа, который всякий раз, как что-нибудь ест, предлагает себе вопрос: а ну, Петр Петров, отвечай: подлинно ли ты галантир или битое мясо ешь? И сам же себе отвечает: нет, не галантир и не битое мясо ты ешь, а ешь ты, Петр Петров, последнее свое выкупное свидетельство!

И еще утешило нас с женою вот что̀: Пафнутьев наш хоть о правах и толкует, однако, коли есть в надежде рубль серебра стибрить, так он тоже малый не промах. Вот хоть бы онамеднись: собрались милые люди вкупе (всё для тех же «якобы прав» своих), а об чем же сперва-наперво речь повели? А вот об чем: ты, говорит, получи жалованья тысячу рублев, и мне предоставь тысячу рублев, и ему тысячу рублев... И так это занятно у них вышло, что даже прохожие и те удивлялись: какие такие земские деятели собрались? Сказывают, иным по

пятнадцати целковеньких отсчитали — и теми не погнушались, взяли... Хвалю!

За что хвалю? за то и хвалю, что, значит, молодцы,— значит, не все еще пропало... Не смотри, дескать, милый человек, что я о правах болтаю, а покажи мне десятирублевенькую...

Хвалю!

Но и за всем тем все-таки грустно. Поймут ли Пафнутьевы или не поймут, а время не ждет. Оно неумолимо посекает и виноватого, и правого, и строптивого, и покорного.

Дети, ужели оно не пощадит и вас?

НОВЫЙ НАРЦИСС,
или
ВЛЮБЛЕННЫЙ В СЕБЯ

Целый месяц город в волнении, целый месяц нельзя съесть куска, чтобы кусок этот не был отравлен — или «рутинными путями, проложенными себялюбивою и всесосущею бюрократией», или «великим будущим, которое готовят России новые учреждения». Кажется, будто у всякого человека вбит в голову гвоздь. Люди скромные и, по-видимому, порядочные — и у тех глаза горят диким огнем, и те ходят в исступлении. Один говорит о попах, другой — о мостах, третий — о «всеобщем и неслыханном распространении пьянства», четвертый — о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья для лиц гражданского ведомства, пользующихся в местной больнице; всякий за что-нибудь ухватился, всякий убеждает, угрожает, и так как все говорят вдруг, то никто ничего не понимает, никто никому не внимает и никто никому не отвечает...

Даже лица так называемого «постороннего ведомства» увлекаются общей тревогой и тоже начинают говорить о мостах, о попах и об изготовлении нижнего белья. Редактор местных ведомостей выскреб целую статью под названием «Сеятели и деятели», в которой выразил твердую уверенность, что вопрос о снабжении местной больницы новыми и хорошо вылуженными медными рукомойниками получит наконец надлежащее разрешение. Полицеймейстер, который сначала ожидал невесть какого волнения и даже мечтал о том, как он, во главе пожарных, ворвется, рассеет и расточит, теперь этот самый полицеймейстер, узнавши, что дело идет о рукомойниках, охотно пристает к диспутирующим и говорит: «Гм... да... рукомойники... хвалю!» Председатели, заседатели, заведующие отдельными частями, управляющие — все открыто выражают

удивление: как это им никогда даже в голову не зашло рассмотреть вопрос о нижнем белье как в его сущности, так и в отношении к тем последствиям, которые из сего проистечь должны. Словом, нет того живого дыхания, которое не принимало бы живейшего участия, не оказывало бы содействия, не удивлялось, не хвалило...

Представьте себе, что вы приглашены на раут, на один из тех раутов, где еще вчера вы были уверены встретить столь известную картину нашего провинциального гостеприимства: столы, покрытые зеленым сукном, и те интимного свойства разговоры, которые в особенности веселят сердца дам. Что̀ сделалось с этим раутом? Где глубокомысленные споры о короле сам-друг и о короле сам-третей, где веселый смех, раздававшийся во всех углах, где интимные разговоры?

— А у нас сегодня «комиссию» выбрали! — говорит полицеймейстеру молоденькая дамочка и вдруг задумывается, как будто нечто ущемило ее ничем дотоле не тревожившееся сердечко.

Полицеймейстер вздрагивает, ибо все еще опасается волнения.

— Комиссию-с, какую же это комиссию-с? — ловко выпытывает он, стараясь скрыть подозрительное выражение своих глаз.

— Мы еще сами... то есть, конечно, мы знаем, но наши messieurs не условились еще, как ее звать...

— Некоторые из наших messieurs предлагали назвать ее иностранным словом «ревизионная», но мой Alexandre положительно сказал им: messieurs, вы забываете тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год! — вмешивается другая дамочка, которой очень хочется показать, что она не чужда «Московских ведомостей».

Полицеймейстер окончательно убеждается, что тревожить пожарных надобности не предстоит.

— Господа! да скажите же, чем заменить это поганое французское слово «материал»? — мучительно вопиет кто-то из «сеятелей», обращаясь к окружающим.

В ответ вдруг налетает заблудившееся где-то облако исконно русской веселости и разражается ливнем.

— Сапожный товар! — предлагает один.

— Мусор! — остроумничает другой.

— С позволения сказать! — советует третий.

— Никак не называть, а действовать обиняком, — решает четвертый.

— Позвольте, господа, рассказать вам один анекдот насчет этого самого «обиняка»...

Начинается неудобный для печати рассказ, который на минуту успокоивает взволнованные умы. Но это спокойствие кратковременное; чрез мгновенье вновь начинается рознь, раздор и галденье.

— Нет, вы не можете себе представить, что̀ такое эти попы! — говорит один собеседник другому.

— Позвольте! — отвечает другой собеседник,— итак, я им говорю: господа, говорю я, вы не имеете никакой идеи о том, что̀ происходило в нашей больнице, пока мы не приняли ее в свое заведованье! Это, говорю я...

— Я представляю факты; попы, говорю я...

— Вот простой факт, говорю я: однажды вечером я прихожу в больницу, разумеется, секретно, и вижу рукомойники...

— Один поп дошел до такой дерзости...

— Где же вода? — спрашиваю я.— Отчего нет воды?

Сеятели крепко держат друг друга за пуговицы, взаимно обдают себя брызгами, негодуют, волнуются, иронизируют, хохочут и никак не понимают, что каждый из них ораторствует, негодует, иронизирует единственно для самого себя.

— Давеча зашел у нас разговор о мостах,— ораторствует между тем другой сеятель,— предлагаю я, знаете, этот сбор, чтобы с каждого, значит, воза по силе возможности... и вдруг это Петр Иваныч: «А позвольте, говорит, приняли ли вы во внимание, что в сем разе расходы взимания могут превысить доходы поступления?» Я, знаете, туда-сюда — куда тебе, так и сыплет словами! «Вы приняли ли, милостивый государь, во внимание, что при каждом мосте необходимо будет поставить сторожа, что для каждого сторожа необходимо будет выстроить хижину, ибо в нашем климате...» И пошел, и пошел! И так он меня, старика, обидел, что я слова не придумал ему в ответ...

— Хорошо-с,— вступается третий сеятель,— сбор с мостов — это можно. Но приняли ли вы, почтеннейший Николай Степаныч, в соображение вот какую штуку. Теперича, вы едете...

— Еду-с.

— Позвольте, не в том штука, что вы едете, а в том, что у вас в кармане нет денежного знака менее... ну, положим, хоть двугривенного...

Присутствующие начинают смекать, в чем дело, и лица их несколько проясняются.

— Ну-с, приехали вы к мосту, подходит к вам сторож и требует две копейки. Хорошо-с. Вы вынимаете двугривенный, он отвечает, что у него сдачи всего три копейки! Спраши-

вается: как поступить в этом разе: пропустить ли вас без платежа денег или же заставить возвратиться до ближайшего селения, чтоб разменять ваш двугривенный на менее ценные денежные знаки? А если в ближайшем селении всех капиталов в совокупности три копейки с половиной? а если у вас не двугривенный, а целый рубль?

Сеятель постепенно поднимается, поднимается с места и, наконец, взвивается во весь рост.

— Заставить ли вас,— уже не говорит, а гремит он,— заставить ли вас совершить ваш путь обратно? А если и на обратном пути такой же мост? Заставить ли вас жить между двумя мостами неопределенное время?!

В виду такого множества вопросов присутствующих прошибает пот.

— Нет, вы выслушайте меня, да ради же Христа выслушайте меня! — раздается среди всеобщего хаоса голос еще одного сеятеля, который, по-видимому, до того уж надоел, что все от него убежали.

— Только уж эти мне попы — вот они у меня где сидят!

Хозяин дома только ходит и отдувается. Ему смерть хочется поместить и свою лепточку в общую сокровищницу вопроса о рукомойниках, но он видит, что тут уж не до него, и потому слоняется из угла в угол, как оглашенный, и самым любезным образом всем улыбается, Подойдет к одному — один обрызжет, подойдет к другому — другой обрызжет. «Видно, только в этом и раут весь состоять будет!» — восклицает он мысленно и клянет ту минуту, когда посетила его голову ужасная мысль о созвании сеятелей.

Вот правдивая, хотя и довольно грустная картина нашего современного провинциального существования. Конечно, сеятелям хорошо; они, как молодые рыбки, резво плещутся в безбрежном океане словоизвержений; но каково другим? каково тем, во-первых, кои, за недостатком семян, к сеянию не призываются, и, во-вторых, тем, коим угрожает в ближайшем будущем быстрое обсеменение? Какую роль должны играть эти люди в происходящих перед их глазами словесных турнирах? Должны ли они ожидать предстоящего оплодотворения с смирением и кротостью или обязаны озаботиться приисканием мер, чтобы сделать это оплодотворение взаимным, то есть со временем, в свою очередь, обсеменить самих сеятелей?

Но пуще всего достается тут бюрократам. С ними обходятся или совсем бесцеремонно, то есть напрямки объявляют, что час ликвидации для бюрократии настал, или же пренебрежительно-снисходительно, как будто говорят: «Э, любезные! куда уж вам решать вопросы о рукомойниках!» И никто, поло-

жительно-таки никто не хочет признать за бюрократией никаких заслуг... даже в прошедшем; никто не хочет сообразить, что не с неба же свалились все эти вопросы о рукомойниках, а были вызваны на свет, поставлены и разработаны все тою же бюрократией...

И что̀ всего замечательнее, бюрократы не только не протестуют, но, напротив того, понуривают головы и поджимают хвосты, как бы говоря: «Что̀ с нас взять! известно, мы народ отпетый!» Удостоверяются ли они, что время постепенно ощипывает их, провидят ли, что история, в деле ощипыванья, никогда не останавливается на половине пути, но всегда покажет сначала цветочки, а потом уже ягоды и плоды?

Вообще вопросов возникает множество. Признаюсь, однако, что я отнюдь не встречаю затруднений в разрешении их. Я твердо убежден, что в конце концов теория взаимного оплодотворения восторжествует и тогда сразу и сами собой прекратятся все недоумения. Образуются одни обширные объятия, которые заключат в себе и сеятелей, и сеемых, да кстати прихватят и бюрократов. И будет тогда радость великая; бюрократ укажет на сеятеля и скажет: «весь в меня!», сеятель укажет на бюрократа и скажет: «вот моя опора!», сеемые, с своей стороны, будут в умилении приплясывать и приговаривать: «Concordia res parvae crescunt» [1], что в русском переводе означает: «Вот они! вот наши благодетели!» И тогда-то воистину разрешится вопрос о нижнем белье, который ныне лишь бесплодно волнует умы и поселяет в обществе раздор, анархию и чуть не братоубийство.

Не могу сказать, чтоб с моей стороны были какие-нибудь препятствия к появлению сеятелей. Напротив того, я очень рад. Я знаю, что для многих сеятели хуже ножа вострого, но убежден, что мнение это совершенно ошибочно и имеет источником кажущуюся заносчивость некоторых из них. Какой-нибудь алармист, взирая, как у иного сеятеля пена из уст клубится, готов воскликнуть: «Пожар!» Я же, напротив, при этом виде восклицаю: «Плоть от плоти! кость от костей!» — и затем только утешаюсь и окриляюсь. Я знаю, что пена в этом случае служит сама себе и поводом, и содержанием, и целью, что стоит только обтереть губы сеятеля платком, чтоб увидеть, что, с исчезновением пены, более ничего не осталось. Никаких этаких порывов или поползновений... ей-богу, ника-

[1] От согласия малые дела растут.

ких! Из-за чего же тут волноваться? Из-за чего трепетать? Из-за каких-нибудь «рутинных путей»? Из-за какой-нибудь якобы предстоящей «ликвидации»! Да боже меня упаси!

Надо же наконец понять, что никакая пена в мире не может обойтись без так называемых ораторских движений и что все эти «рутинные пути» и «ликвидации» не больше как удобная формула, к которой прибегает оратор, дабы выразить в самом лучшем виде парение своей души. Душа парит — кому и когда бывал от того вред? Решительно никому и никогда, а польза, напротив того, большая. Душа парит — следовательно, ораторское искусство неуклонно идет вперед; душа парит — следовательно, отечественная литература ежедневно обогащается новыми терминами; душа парит — следовательно, отечественная история украшается новыми подвигами, отнюдь не уступающими таковым же старым...

Надо смотреть вглубь, милостивые государи! надобно смотреть вглубь!

Смотрю вглубь, и что̀ вижу?

Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? — Вопрос о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый вопль, первое движение. Спрашивается: когда и какой бюрократ имел что-нибудь сказать против этого? Когда и какой бюрократ не изнывал при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? — Никакой и никогда.

Каким образом достать эти тысячи? Как устроить, чтоб бумажный дождь падал в изобилии и беспрепятственно? Ответ: сходить в карман своего ближнего. И практично, и просто. Но спрашивается: когда и какой бюрократ предлагал что-либо иное? — Никакой и никогда. Напротив того, не были ли они все и всегда на сей счет единодушны?

Чем заявить миру о своем существовании? Чем ознаменовать свой въезд в дебри отечественной цивилизации? Ответ: пререканиями по делу о выеденном яйце. Спрашивается: когда и какой бюрократ не облизывал себе губы при слове «пререкания»? Когда и какой заскорузлый повытчик не сгорал жаждой уязвить другого, не менее заскорузлого повытчика? — Никакой и никогда. Помилуйте! да в пререканиях-то именно и таится самая настоящая бюрократическая сласть!

И затем мириадами, как тучи комаров, выступают вперед вопросы о рукомойниках, вопросы о нижнем белье, вопросы о становом приставе, дозволяющем себе ездить на трех лошадях вместо двух... Спрашивается: когда и какой бюрократ не скорбел этими вопросами? Когда и какой не чувствовал свя-

щенного ужаса при мысли о невычищенной плевальнице, о ненатертых, как зеркало, полах? — Никакой и никогда.

А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь...

Я радуюсь, потому что ничто окрест меня не изменилось, что хотя из всех щелей вылезают запросы, но запросы эти мне словно родные, да и ответы на них тоже словно родные. Выходя из дома, я, как рыбак рыбака, издалека усматриваю моего милого сеятеля и кричу ему: «Ау!» И хотя он ни под каким видом не хочет ответить на мой оклик, но я нимало не обижаюсь этим, ибо знаю, что он, как малый конфузливый, еще не приобык.

Я радуюсь потому, что сеятель не перевернул вверх дном моего отечества, что он сразу понял, что возмущать воду, коей поверхность гладка, не следует, что вызывать наружу раны, кои скрыты, не полезно; что вообще соображать, испытывать, исследовать — голова заболит. Он принял то самое наследство, которое я ему оставил, и лезет из кожи, чтоб сохранить его неприкосновенным и неизменным.

Если он поднял (и именно в укор мне поднял) вопросы о рукомойниках и нижнем белье и если он пользуется этими вопросами, чтобы наглядно показать мою неспособность и поразить меня — я прощаю ему. От него я охотно снесу всевозможные укоризны и поражения и положительно ни одним словом не отвечу на них. «Виноват! недосмотрел!» — вот единственное оправдание, которое я могу допустить в свою пользу на скользком поприще рукомойников. И твердо верю, что сеятель, в свою очередь (хоть и не скоро!), простит меня.

Ты мне мил, сеятель! ты мне родствен, а потому я радуюсь, утешаюсь и надеюсь. Всюду, куда ни обращу свои взоры, я вижу свое собственное отражение, и так как я очень высокого понятия о моей деятельности, то весьма естественно, что мне приходит на мысль: если я один столько дел наделал, то чего не предприму, чего не совершу в согласии с такими ребятами!

И тем не менее, о сеятель! я примечаю в тебе некоторый порок, который может со временем погубить тебя. В чем заключается этот порок — ты увидишь из следующего засим рассказа.

Вот, наконец, и последний акт драмы. В городе предсказывают нечто необыкновенное. Выжившая из ума, но все еще принимающая деятельное участие в политических раздорах бабушка Татьяна Юрьевна (она же в просторечии именуется Наиной) торжественно уверяет, что готовится «лекведация».

Резвые девицы-внучки подхватывают это выражение и трунят над бабушкой.

— Ка̀к, бабушка, ка̀к? «лекведация»? — пристают они и, обращаясь к одному из вечно слоняющихся франтов-сеятелей, продолжают,— слышите, мсье? бабушка уверяет, что сегодня будет «лекведация»!

— «Лекведация»! charmant! [1]

— «Лекведация»! impayable! [2]

— Да, мои миленькие, «лекведация»! — шамкает бабушка,— сегодня братец Сила Терентьич победит братца Терентья Силыча!

(Несмотря на то что первый — обер-сеятель, а последний — обер-бюрократ, прозорливая бабушка продолжает называть их «братцами».)

С почтительною осторожностью вхожу я на хоры той самой залы, в которой, по словам сеятелей, изготовляется великое будущее России. Тихо. И публика, и сеятели — все смолкло под гнетом впечатления, произведенного заключительною речью одного из ораторов, смелая мысль которого, по поводу вопроса о возобновлении верстовых столбов, успела, в какую-нибудь четверть часа, облететь все страны Европы, сходить в Америку, окунуться в мрак прошедшего и приподнять таинственную завесу будущего. В воздухе колом стоят и «рутинные пути», и «великое будущее», и «твердые упования», и «светлые надежды» — словом, все, чем красна речь всякого благонадежного сеятеля. Сидящие на хорах дамы обмахиваются веерами и встречают мое появление с видимою недоверчивостью, как будто подозревают, что я хочу «смутить веселость их». Но так как я ни на чью веселость не посягаю, а хочу только поучиться, то и пробираюсь себе полегоньку вперед, в тот укромный уголок, где привитает добрая бабушка Татьяна Юрьевна, окруженная резвушками-внучками.

— Что, родной, много ли сегодня душ по миру пустил? — спрашивает меня бабушка, как только замечает, что я стремлюсь пристроиться поближе к ней.

В сущности, она любит меня (я знаю довольно много скандалезных анекдотов, которые, по временам, сообщаю ей и до которых она страстная охотница); но с тех пор, как случилась известная «катастрофа», милая бабушка глубоко убеждена, что каждый бюрократ поставил себе за правило ежедневно «пускать по миру» по нескольку душ «неповинных», и потому, при всякой встрече, считает полезным напомнить мне об этом.

---

[1] очаровательно!
[2] неподражаемо!

— Да человека с четыре! — скромно отвечаю я и с удовольствием вижу, что ответ мой производит весьма приятное действие на внучек-вострушек.

Однако внизу что-то позамялось. Слышится шепот, образуются кружки; некоторые из сеятелей спешат сходить в буфет и возвращаются оттуда значительно приободренными. Бабушка впадает в забытье и, словно в бреду, спрашивает, скоро ли будут палить.

— Слышите, мсье? слышите? — подхватывают внучки,— бабушка спрашивает: скоро ли будут палить?

Я начинаю доказывать, что бабушка не совсем неправа и что ежели взглянуть на предмет с точки зрения переносной, то, пожалуй, окажется...

— Шт...— внезапно раздается по зале. Я умолкаю, бабушка просыпается, внучки превращаются в слух. Сеятели скучиваются в одну группу.

Сила Терентьич требует слова. Но, с непривычки, он так сильно сконфужен, что некоторое время только шевелит усами. Он сознает, что ему, как сеятелю из сеятелей, предлежит сказать комплимент, но в седой его голове, кроме «милости просим откушать», ничего не слагается. Наконец чувство долга оказывает свое действие, из уст почтенного старца вылетает ожидаемый комплимент.

— Итак, господа,— говорит он,— слава богу, все кончилось. С божьей помощью, мы наше дело сделали. Во-первых, назначили нашим будущим деятелям приличное содержание; во-вторых, кого следует обложили соответствующими сборами. В эту минуту нет почти ни одного благородного дворянина, который бы не получал содержания, и нам остается только разойтись и принести домой приятные впечатления. Себя не хвалю. Если и есть у меня заслуги, то они не мои, а моих благородных господ сослуживцев. Мне оставалось смотреть и радоваться... и в особенности благодарить. Да-с, благодарить-с (Сила Терентьич низко кланяется, касаясь рукой земли). Я очень понимаю, господа, что труда было довольно, что на нас были обращены взоры целой губернии и что, несмотря на это, мы превозмогли. То есть превозмогли мои благородные сослуживцы, я же, с своей стороны, могу только радоваться и благодарить. Да-с, благодарить-с. Может быть, я не литератор и не все выразил, но скажу: губерния видела, и час этот пробьет в потомстве. Милости просим откушать!

Сила Терентьич обходит сеятелей и поочередно со всеми целуется. «Благодарю!», «Милости просим откушать!» — вот лестные звуки, которые льются из уст его и которые, казалось, должны бы тронуть даже каменные сердца. Но, увы!

мельница спущена, затвор потерян, вода бежит — и жернов мотается как угорелый на своей оси, изумляя и огорчая вселенную беспутным досужеством.

На этот раз роль жернова берется выполнить Woldemar Кочкарников. Он лихо выступает на середину, вставляет в глаз стеклышко, выворачивает голову назад и вообще старается придать своему туловищу тот самый вид, который, во дни юности, составил ему репутацию на балах у Кессених. Между сеятелями Кочкарников слывет умником. Он считается специалистом по части железных дорог, потому что езжал по николаевской дороге, специалистом по части кредита, потому что закладывал свои имения в опекунском совете, специалистом по части народной нравственности, потому что держит около десятка кабаков, специалистом по части мостов и перевозов, потому что не далее как прошлой весной единолично и собственноручно разбил наголову целую армию перевозчиков за то, что они замешкались подать ему паром, и наконец специалистом по части больниц, потому что видал-таки на своем веку виды. Поэтому когда, при обсуждении какого-нибудь дела, сеятели становятся в тупик, то обыкновенно кладется резолюция такого рода: «сеятелю Кочкарникову, как специалисту по части такой-то, поручить озаботиться о безотлагательном устройстве в нашей губернии железных дорог и о неотложном усовершенствовании народной нравственности». И затем сеятели успокоиваются, в твердой уверенности, что железные пути будут безотлагательно устроены, а народная нравственность неотложно усовершенствована.

Понятно, что появление такого человека должно произвести некоторый трепет в публике. Дамочки колышутся, демуазельки мечутся и без толку лепечут на все стороны: ах, ma chère, ах, ma chère![1] Одна барыня на сносях втихомолку молится богу, чтоб будущий плод ее был похож на Кочкарникова; бабушка просыпается и думает, что вокруг нее происходит «воспоминание баталии при Гангеуде».

— В мое время тоже в колокола звонили... да! а лгали как... ужасти! — обращается она ко мне и тут же опять засыпает.

— Позвольте мне, господа, сделать небольшую поправку к приветствию нашего почтенного представителя,— начинает Кочкарников среди общего молчания. С свойственною ему скромностью он умолчал о тех трудах, которые подняты им лично на пользу общественного благоустройства, развития и процветания...

---

[1] моя милая!

Но так как оратор с утра ничего не ел, то в эту минуту перед глазами его внезапно проносятся: майонезы из дичи, майонезы из рыбы, уха из стерлядей, отпоенная добела телятина, одним словом, вся сласть, которую, через какой-нибудь час, ему, вместе с прочими, предстоит обонять, ощущать и смаковать. На душе его становится горько. Зачем он начал болтать? К чему он добровольно отдаляет от себя миг блаженства? На секунду он даже останавливается в нерешимости и думает, не наплевать ли. Прозорливейшие из зрителей начинают беспокоиться, ибо провидят борьбу, которая происходит в ораторе. Но оратор уже сбросил с себя иго кухонного материализма; он вздрагивает и полегоньку трясет головой, как бы освобождая свою мысль от ненужных примесей. Через минуту он по-прежнему свеж и бодр и, как ни в чем не бывало, продолжает выбрасывать из себя потоки.

— Да̀, господа,— говорит он,— это было отрадное и отчасти грустное время. Это было время борьбы с бюрократией и всею ее темною свитой. Окрылялись молодые надежды, развивались молодые упования, росли и крепли в тиши молодые силы. Кровавое знамя социализма пряталось. Чувствовалось жутко и, вместе с тем, легко и отрадно. Как путник, застигнутый в степи бураном, прислушивается, не донесется ли до него звук колокола родной колокольни, так и мы, в нашем святом деле, среди тех великих задач молодого возрождения, которые нам предстояли, прислушивались... чутко прислушивались...

Опять проносятся майонезы и сюпремы, а белоснежная телятина, словно живая, так и глядит в глаза. Оратор с трудом, но превозмогает.

— И вот,— продолжает он,— среди этих надежд, среди этих молодых усилий и молодых упований, в самом жару битвы, наша алчущая мысль, наше жаждущее чувство были внезапно удовлетворены самым блистательным, даже, можно сказать, самым неожиданным образом. Да̀, «неожиданным», смело повторяю это слово,—ибо никто не мог и не имел права ожидать ни той полноты, ни той беззаветности! («Майонезы! майонезы!» — словно злой дух какой шепчет на ухо.) Среди этих трудов, видов и предположений, в виду открывавшихся кругозоров, мы встретили, милостивые государи, руководителя! («Майонезы!») Мы были путниками — и перестали быть ими; мы были отданы на жертву стихиям — и приобрели надежный кров, под сению которого наши молодые упования могли окрыляться, наши молодые силы — укрепляться и развиваться. Наша мысль не блуждала, ибо нашла для себя надлежащую руководящую нить; наша рука била прямо, целила верно, ибо опорой ей был твердый оплот. Если мы на первых

порах могли еще на минуту усомниться насчет размера следующего нам содержания, то сомнения эти, милостивые государи, рассеялись, подобно туману, удручающему в осенние дни поля земледельца...

«Майонезы! майонезы!» Оратор изнемогает.

— Сила Терентьич! — с трудом дотаскивает он свой груз,— с свойственною вам скромностью, вы хотели умолчать о трудах своих! Вы хотели всю честь нашего молодого возрождения приписать нам, вашим слабым сотрудникам...

— Прихлебателям! — вдруг совершенно явственно раздается по зале. Все глаза ищут дерзкого нарушителя общественного порядка, но виновницею оказывается старая бабушка, которая и в забытьи не утратила своей прозорливости. Чтоб избежать повторения подобных сцен, ее уверяют, что давно уж отужинали, и увозят домой.

— Прихлеба... то бишь сотрудникам. Но мы этого не допустим («нет! нет! не допустим!» — гудит кругом сеятельский рой). Мы скажем вам: в первый раз в жизни вы сказали слово, не согласное с истиной! Нет, не тот действительный сеятель, который исполняет предначертания и приводит к осуществлению преднамерения! Не тот. Тот действительный труженик и сеятель, достойнейший наш Сила Терентьич (произнося эти слова, оратор снисходительно улыбается, как будто говорит: а дай-ко, я тебя пощекочу!), который эти предначертания умеет внушить, который, расширяя горизонты, изыскивает пути, тот, наконец, который, на самых этих путях, умеет найти деятелей, бодрых не дерзостью или самонадеянностью, но твердою и неуклонною готовностью следовать по указанной раз стезе. Наш труд скромен, Сила Терентьич! наш труд невелик! Не на нас были обращены взоры целой губернии, Сила Терентьич! нет, не на нас! Они были обращены на нашего руководителя... они были обращены на вас.

— Милости просим откушать! — начинает Сила Терентьич, но тут поднимается такая суматоха, что голос достойного представителя совершенно теряется. Его окружают; кричат: «на вас! на вас!» — так что он видит себя в необходимости опять со всеми целоваться. Пользуясь этим случаем, благоразумнейшие из сеятелей успевают сбегать в буфет и подкрепиться.

«А сем-ка и я что-нибудь хлопну!» — думает между тем Сеня Накатников и, не откладывая дела в долгий ящик, тут же приводит намерение свое в исполнение.

— Господа, мы забываем достойных членов нашей комиссии! — взывает он.— Нет слова, что мы потрудились, да и достойнейший представитель наш тоже потрудился, но спра-

шиваю я вас: что̀ бы это такое было, если бы у нас не было комиссии? Не забудьте, господа, что прежде всего нам надо было собрать факты, а где их взять? Где, спрашиваю я вас, отыскать факты? и ка̀к их взять? Факты, говорю я, бывают разные. Есть факты подходящие, есть факты неподходящие, есть даже факты, которые совсем, так сказать, не факты... Вот это я называю: труд! Однажды я возвращаюсь в четвертом часу ночи из клуба («было мало-мало выпито!» — вдруг шепчет воскресшее воспоминание) и замечаю в доме одного из членов комиссии огонь. Слезаю, стучусь, вхожу — и что̀ же вижу? Сидит почтенный наш сотоварищ с пером в зубах... по правую руку — счеты... по левую — кипы исписанной цифрами бумаги... вдали — потухшая сигара! Вот это я называю: труд, потому что это факт. Что̀ сделали бы мы без факта? что̀ сталось бы с нашими трудами, если бы они не были основаны на фактах? Эти факты кто нам дал? Спрашиваю: кто, так сказать, возродил факты из пепла? Чем мы сильны перед бюрократией, как не тем, что у нас факт, а у ней одни рутинные пути? Спрашиваю: кто дал нам этот факт? — и отвечаю: нам дала его комиссия. Над чем трудился почтенный наш сотоварищ в тиши уединения? — Над фактом. Что̀ озабочивало мысль этого истинного пустынника в столь неурочное время? — Факт... После этого что̀ ж еще говорить? Что̀ еще говорить? спрашиваю я вас. Нужно ли прибавлять, какого рода фактом приличествует ознаменовать заключение нашей деятельности? Если древние римляне даже гусям...

Оратору не дают кончить. Клики «благодарим! благодарим!» прерывают его речь на том самом месте, где он намеревался сделать краткую экскурсию в историю гусей. Члены комиссии: два брата Зуботыкины, один Недотыкин и один Перетыкин выступают вперед. Их поочередно целуют, но самые сладкие безе, конечно, достаются на долю Недотыкина, в котором все сразу узнали «истинного пустынника», отыскивавшего в четвертом часу ночи факт с пером в зубах.

Недотыкин человек не без дарований. Он один из всех «сеятелей» знает табличку умножения до такой степени твердо, что может во всякое время с уверенностью ответить, что $8 \times 9 = 72$. Сверх того, он скромен и трудолюбив. Какой-нибудь сеятель возьмется счет проверить, возится с ним, пока совсем не измаслит, и все-то у него неудача: либо приложит копейку, либо не доложит две. Сейчас к Недотыкину. Недотыкин взглянет, сообразит, поколдует («шестью шесть», «семью семь», «восемью девять» и т. д.) и смотришь — недоложенная копейка найдена и отечество некоторым образом спасено. На этом основании сеятели прочат Недотыкина в местные

финансисты и опасаются только одного: что, по врожденной скромности, у него не хватит смелости, чтоб вольным духом заключать займы, через что, конечно, финансовое положение страны утратит много блеска. Что касается до меня, то я, с своей стороны, никаких препятствий к совершению Недотыкиным блестящей карьеры не встречаю, ибо нахожу равно сродным истинному финансисту: и скромность фиалки, в тиши уединения протверживающей табличку умножения, и дерзновение орла, с высот заоблачных испытующего, не выглядывает ли из чьего-либо кармана кредитный рубль, могущий послужить на пользу.

Недотыкин смущен; похвалы застали его врасплох в то самое время, когда в голове его почти совершенно удовлетворительно разрешилась задача: «летело стадо гусей», в применении к общесеятельскому делу. Тем не менее он понимает, что его целовали недаром, что самый воздух, которым он дышит, заражен жаждой комплимента. Скрепя сердце он начинает:

— Право, господа, я не знаю... как член комиссии, я даже просто не вижу... Семен Семеныч говорит: «не будь комиссии», а я, напротив того, говорю: «не будь вас». Это глубокое мое убеждение, это убеждение и всех моих товарищей. Вы нас просветили, нас направили и наставили — что̀ же нам оставалось делать? Оставалось покориться воле провидения и благодарить. Мы и благодарим, и не только благодарим, но и присовокупляем: во всякое время общество найдет нас готовыми. Позвольте же, господа, от полноты души возвратить вам тот братский поцелуй, которым вы почтили меня и моих товарищей.

Недотыкин лезет целоваться. Раздаются сочные чмоканья; на хорах слышится движение стульев; Сила Терентьич разевает рот, чтобы в сотый раз вымолвить: «Милости просим откушать».

— Позвольте, господа! — вдруг вопиет кто-то из толпы.— Я нахожу, что наше торжество будет неполно, если мы не сделаем участником его нашего уважаемого товарища, Владимира Тимофеича Кочкарникова. Владимир Тимофеич! положа руку на сердце, вы можете сказать себе и вашему уважаемому семейству: да, я жил недаром! я сделал все для родной земли, что было в моих силах! С вашей просвещенной помощью мы пришли к разрешению вопроса о проведении железных путей в нашем крае! Благодаря вашим неутомимым изысканиям вопрос об усовершенствовании народной нравственности для нас окончательно уяснился! Вы первый открыли ту тесную, неразрывную связь, которая существует между общественным призрением и хозяйственным способом заготовления больничного белья и вещей! По вашей плодотворной инициативе, состоя-

лась у нас вечно памятная резолюция: немедленно принять меры к искоренению пьянства! Вы указали на опасность, которою угрожают стране беспрерывные захваты алчной и беспочвенной бюрократии! Вы, наконец, подняли наш дух, подвергнув тщательной критике вопрос о взаимном самовознаграждении! Хвала вам, Владимир Тимофеич! Хвала и вечное, неугасимоблагодарное пламя сердец наших! Думаю, милостивые государи, что выражаю нашу общую мысль, говоря: Владимир Тимофеич! передайте всему вашему многоуважаемому семейству, что вы много потрудились, много поревновали для родной земли и что родная земля благодарит вас!

Кочкарников бледен как полотно; у него, что называется, дыхание в зобу сперло. Но на этот раз представление о майонезах и сюпремах действует так победительно, что он даже не поддается искушению болтовни и решается покончить как можно скорее.

— Господа! — говорит он,— вместо ответа позвольте припомнить вам одно обстоятельство. Когда ваше высокое доверие налагало на меня новые обязанности, я сказал: господа! я силен только вами! От души повторяю это теперь, в эту торжественную минуту, и клянусь...

Кочкарников закусил нижнюю губу и умолкает, ибо желудок его окончательно отощал. Все бросаются на него и с остервенением мнут в объятиях. Стулья на хорах вновь начинают двигаться.

— А старичка! старичка-то и позабыли! — укоряет чей-то голос с хор.

Выводят под руки «старичка», отставного инженер-прапорщика Дедушкина, такого дряхлого, что он и сам сомневается, точно ли он жив. Про «старичка» рассказывают, что он получил свой чин еще при Петре I за то, что построил в селе Преображенском первую фортецию, которую великий отрок изволил потом самолично взять приступом с своими потешными.

Но инженер-прапорщику уже не до хвастовства. Он кланяется и издает слабый писк...

В зале пусто; из нор выходят крысы. Они степенно ползут одна за другой и скучиваются на середине. Поднимается писк. По-видимому, они подражают. Одна, совсем седая, с оттопыривающимися во все стороны усами, кажется, говорит: «Милости просим ко мне на сало!» Другие по очереди хвастают.

Сторож, свидетель этого противоестественного сходбища, убегает в смятении...

ЛЕГКОВЕСНЫЕ

Чем больше ветшает мир, тем большая накопляется в нем сумма опытности. Отношения упрощаются: сомнения уступают место уверенности; истины, до познания которых человек в былое время доходил путем нелегкой борьбы, становятся простыми аксиомами, никакой борьбы не требующими. Простодушный славянин, который некогда учил наших предков почаще повторять изречение «да будет нам стыдно», конечно, первый устыдился бы своей наивности, если б встал из гроба и взглянул на успехи своих потомков.

Во всем мы успели, во всем отрезвились. Чем дальше мы идем, тем более и более убеждения наши теряют свою призрачность и, взамен того, приобретают драгоценные качества осязательности и плотности. Гром гремит, собака лает, медные лбы торжествуют — вот те простые истины, до которых мы додумались и на которых зиждется наше будущее благополучие. Мы признаем за истину только ту истину, которая бьет нас по лбу и механически поражает наши чувственные органы; мы заносим в наши летописи только тот факт, который имеет за собой привилегию факта совершившегося. Все прочее приурочивается нами к области мечтаний, а так как мечтания бесплодны (аксиома), то мы и относимся к этому «прочему» ежели не с ненавистью, то с ироническим сожалением. Откуда пришли к нам наши непреложные истины, что̀ производит гром, почему лает собака, почему торжествуют лбы медные, а не простые,— мы над этим не задумываемся и не желаем себе объяснить; мы просто принимаем это как факт глухой и неотразимый. Заслышав гром, мы говорим: вот гром; заслышав лающую собаку, мы говорим: вот лающая собака.

Цель всех наших стремлений и забот заключается в том, чтобы навсегда освободиться от каких бы то ни было сомнений и создать для себя то положение счастливой уверенности, в котором можно было бы жить, не задумываясь и не размышляя. Каждый из нас облюбовывает себе известные рамки, прилаживается к ним и затем уже заботится только о том, как бы не переступить границы и не очутиться невзначай в области неизвестного. Впереди — мотается *кусок*, на который устремлены все взоры и который служит путеводною звездой в нашем странствии...

Нельзя, однако ж, сказать, чтоб эти прилаживания доставались нам без усилий,— совсем напротив! Нет ничего более хрупкого, как те рамки, к которым мы так старательно прилаживаемся, и нет ничего более цепкого, как то *неизвестное*, от которого мы так упорно отворачиваемся. Поэтому, чтобы удержаться в рамках и защитить их от наплыва *неизвестного*, от нас требуется довольно подвигов и даже не мало насилий... Но положим, что мы не постоим за подвигами; положим, что наши понятия о нравственном содержании поступков, о чести и правде настолько упростились, чтобы не допустить нас споткнуться в нашем рьяном стремлении к *куску*,— какой же собственно получится результат этих подвигов и насилий? — А вот какой: в ту минуту, когда мы уже достигаем *куска*, когда мы осязаем руками цель наших вожделений — оказывается, что питательность его более нежели сомнительна, что он и сам уже подвергся некоторым органическим изменениям, вследствие напора того же *неизвестного*, с которым мы вели такую неутомимую борьбу!

Таким образом, преследуя мечтателей, мы сами оказываемся мечтателями сугубыми и к тому же мечтателями недальновидными, грубыми и нелепыми!

Спрашивается: для чего мы трудились, подвижничали и насильствовали?

Было время, когда в нашем обществе большую роль играли так называемые каплуны мысли. Эти люди, раз ухватившись за идейку, усаживались на ней вплотную, переворачивали на все стороны, жевали, разжевывали и пережевывали, делались рьяными защитниками ее внешней и внутренней неприкосновенности и, обеспечивши ее раз навсегда от всякого дальнейшего развития, тихо и мелодично курлыкали. Я до сих пор не могу забыть тех томных, расслабляющих звуков, которыми ознаменовалась эпоха нашего возрождения. Были в то время такие сладкие катышки, которые как только попадут в рот —

так с ними и не расстанешься. Каплуны же народ добродушный, к еде ласковый и к утучнению своих тел весьма склонный. Они не только с жадностью ловили те катышки, которые бросались им чьею-то щедрою рукою, но даже охотно разрывали вольный навоз и отыскивали в нем катышки совершенно мнимые. И поднималось у них тут то равномерное, самодовольное курлыканье, которое многих, даже проницательных людей ввело в обман, дало повод думать, что, наверное, в России наступил золотой век, коль скоро в ней так изобильно развелась птица каплун, и притом такая гладкая и так самодовольно курлыкающая.

Но само собою разумеется, что птице, обладающей таким важным изъяном, не суждено быть ни законодательницей мира, ни властительницей дум. Оказалось, что одни из катышков, которые так жадно проглатывались глупою птицей, заключали в себе отраву, другие же не могли быть переварены, по неумелости и глупости. Сверх того, однообразное и приторное курлыканье каплунов до того опротивело, до того раздражило всем нервы, что птицу наконец перестали кормить. Одним словом, птица задумалась и через короткое время вся без остатка подохла.

Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели? Где вы, непреклонные обличители исправниковой неосновательности и городнического заблуждения? Где раздается ваше томное курлыканье, и раздается ли оно? Или, быть может, оно облеклось в иные, более соответствующие требованиям времени формы и изрыгается, по бесчисленным закоулкам любезного нашего отечества, в виде истерического ругательства, с пеною у рта, с устремлением дланей и судорогою в искаженных чертах лица?

Как бы то ни было, но курлыканье безвозвратно смолкло, и взамен его общественная наша арена огласилась ржанием резвящихся жеребят.

Нет ничего приятнее, как это веселое ржание, особливо в поле и в летнее время на заре. В общем говоре просыпающейся природы оно выделяется какою-то особенно свежею мелодией. Да и сама по себе картина резвящегося жеребенка действует на душу освежительно. Стрелою несется молодой сосунок по необозримому полю — и вдруг он остановился, как вкопанный, потом раз, два, три взлягнул задними ногами, и опять заржал, и опять понесся. Эти лансады и курбеты, этот внезапный резвый бег куда-то вперед, это словно струей пронизывающее воздух ржание — все это, вместе взятое, представляет такое прелестное зрелище невинной необдуманности, что сердце самое огорченное невольно заражается безотчетной

веселостью, и человек самый суровый, самый преисполненный гражданских доблестей нет-нет да вдруг и вскинет ногами в воздухе.

Почему нам нравится такая картина? Не потому ли, что она воскрешает перед нами идиллический и всегда любезный нам образ невинности? Что̀ хочет выразить жеребенок своими порывистыми скачками и курбетами, своим несущимся по ветру хвостом, своим мелодическим ржанием? Очевидно, он хочет только сказать: «посмотрите, ка̀к мои прыжки безотчетны, ка̀к я волен скакать и прямо и вкось, и на гору и в овраг — всюду, куда несут меня мои быстрые ноги!» И вот наше сердце невольно влечется к этому маленькому красивому созданьицу; нас трогает и его молодая, беспечная удаль, и ничем не объяснимая внезапность движений, и даже самая непредусмотрительность в различении опасностей. Сравнивая эту картину безотчетно резвящейся невинности с картиною мрачного коварства людей, мы невольно восклицаем: «Ах! если бы и люди могли так носиться по полям любезного нам отечества, не злоумышляя и не коварствуя, но наполняя воздух веселым и мелодичным ржанием!»

Представьте же себе, что ваше мимолетное мечтание внезапно осуществляется; представьте себе, что идиллия, которою вы только что насладились, происходит не в необозримости полей, а на тесном пространстве Невского проспекта, Кузнецкого моста либо какой-нибудь Московской или Дворянской улицы губернского города. Представьте себе целые табуны молодых жеребят, оторванных от родных степей и резвящихся в окрестностях Кузнецкого моста или Тверского бульвара! Как сладко должно встрепенуться ваше сердце при звуках веселого ржания! каким умильным огнем должны загореться ваши глаза при виде беспримерных по своей бойкости прыжков! Еще так недавно вы видели на этом самом месте нелепо переваливавшихся с боку на бок каплунов, которые топтали какие-то идейки, подобно тому как топчет бессмысленный индюк бросаемую ему рукавицу,— и вдруг какая счастливая перемена!

Бедные, ожиревшие каплуны! вы ли не старались? вы ли, с неслыханным трудолюбием, не копались на всех задних дворах нашего отечества, отыскивая всевозможные нечистоты и полегоньку заглаживая и засыпая их песочком? И что ж! вы забыты! вы презрены! Вы отданы на поругание каким-то красивым, но легким зверькам, которые пленяют одною безотчетностью прыжков и мелодичностью ржания!

Нет спора: маленький жеребчик — прелестное, превеселое и преграциозное животное; но представьте себе (в скотском быту это ведь очень возможно), что этот милый резвый жеребчик вдруг взбесился! Что̀ может тогда произойти? Какими горькими и неисчислимыми последствиями может отозваться это несчастие на тех, которые слишком доверчиво любовались его резвыми движениями? Я был однажды свидетелем редкого и потрясающего зрелища: я видел взбесившегося клопа. В ряду вонючих насекомых клоп почему-то пользуется у нас репутацией испытанной и никем не оспариваемой благонамеренности. Оттого ли, что нравы этого слепорожденного паразита недостаточно исследованы и, вследствие того, он живет окруженный ореолом таинственности, мешающей подступиться к нему, или оттого, что мы видим в нем нечто вроде олицетворения судьбы, обрекшей русского человека на покусыванье,— как бы то ни было, но клоп взбесился, и никто из обывателей не только не обратил должного внимания на это обстоятельство, но, напротив того, всякий продолжал считать клопа другом дома. Можете себе представить, какую тьму народа перепортил этот негодный паразит, как широко он воспользовался тем ореолом благонамеренности, которым мы окружили его! Одевшись личиною смирения, он заползывал в тюфяки и перины беспечно спящих людей и нередко, в течение одной ночи, поражал ядом целые семейства. Десятки и сотни людей пропадали бесследно, а клоп все не унимался, все жалил и жалил. Он и о сю пору продолжал бы жалить, если б, с одной стороны, не истощился запас тел, а с другой стороны, не обмануло его, пораженное бешенством, собственное обоняние, наткнувшее его на рожон. Но он и теперь еще жив в своей стенной скважине, он и теперь по временам набегает на беспечных, когда благоприятствует темнота ночи...

По-видимому, стоит только протянуть руку, чтоб сделать клопа навсегда безвредным, но оказывается, что это совсем не так легко, как можно предположить с первого взгляда. Есть какая-то темная сила, которая бдит над клопом и препятствует протянуть руку именно в ту самую минуту, когда он наиболее вреден. И вот вонючий, слепорожденный паразит становится действующим лицом, и никто против этого не протестует! Мало того: он впадает в неистовство, он без разбору впивается во всякое тело, лежащее поперек его тесной дороги — и ему рукоплещут! Находятся, конечно, люди, которые взирают на это с прискорбием, но факт уже совершился, клоп забрал силу, и только случайность, такая же бешеная случайность, как и та,

которая породила самое бешенство, может положить предел его слепому неистовству.

Немного нужно сообразительности, чтобы оценить положение, которое постановлено в зависимость от необузданности дрянного клопа!

Но от клоповной необузданности нет надобности делать salto mortale, чтобы дойти до необузданности жеребячьей. Покуда жеребята резвятся, носятся по полям и играют — они забавны; но когда глаза их наливаются кровью, когда они начинают без резона брыкаться, когда ржание их принимает зловещий тон — тогда берегитесь их! Нет злобы более неотразимой, как злоба жеребячья, ибо она встает перед вами нежданно-негаданно и всегда из-за пустяков; нет злобы более неутомимой, ибо она рвет и грызет, не различая предметов и не сознавая сама, что̀ попадает ей на зубы.

Я знаю, размышления мои могут показаться читателю навеянными минутным мизантропическим настроением и, следовательно, односторонними и исключительными. Но попытайтесь же поискать ту границу, где оканчиваются мизантропические и могут начаться доверчивые отношения, и вы, конечно, не найдете ее. Бывают минуты в жизни обществ, когда всякая возможность подобной границы устраняется сама собою; бывают положения, к которым нельзя относиться по произволу, так или иначе, но в виду которых делается обязательным именно то, а не иное отношение. Горечь недоверия отнюдь не принадлежит к тем праздничным и нарядным одеждам, рядиться в которые составляет удовольствие; напротив того, это костюм очень стеснительный и даже невыгодный. Но что̀ же вы будете делать, если в данную минуту это единственная одежда, которая приходится впору?

В самом деле, взгляните на предмет хладнокровно и найдите хотя малейшее разумное основание, которое объяснило бы это странное присутствие жеребят на арене человеческих действий. Допустите шансы самые выгодные; предположите, что жеребята эти заранее застрахованы от припадков бешенства и навсегда останутся теми резвыми, веселыми жеребятами, какими они представляются вашим предубежденным взорам. Но ведь все-таки это не люди, все-таки это не более как зверьки!

Да и нужна ли нам резвость? необходимо ли топтать отечественные поля? Право, это еще вопрос, и притом вопрос очень серьезный и очень сомнительный. Резвость, употребляемая на то, чтобы, распустив по ветру гриву, безотчетно носиться по полям и оврагам, на то, чтобы бесцельно рыть копы-

тами землю и оглашать природу ржанием,— ужели можно изобрести такую гнетущую необходимость, при помощи которой представлялась бы возможность осмыслить подобную беспутную картину?

———

Легковесные люди — вот действительные, несомненные герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать, а ежели он весом менее золотника, то это такой завидный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Законы физики торжествуют; легкие тела поднимаются вверх, тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии и во всех профессиях; они цепляются друг за друга, подталкивают и выводят друг друга и в конце концов образуют такую плотную массу, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий.

Еще очень недавно вы видели этих бесконечномалых, еще недавно вы думали, что они не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя ваше внимание, что от них нужно было отмахиваться... Увы! теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собой солнечный свет. Их жужжание — не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И — ужас! — за этими золотниками уже виднеются десятые и сотые доли золотников, которые тоже цепляются в гору и, конечно, не заставят себя долго ждать, дабы своим бесконечнейшим ничтожеством победить бесконечное ничтожество золотников.

Было время, когда властителем моих дум был знаменитый вития и философ Феденька Кротиков. Назойливый болтун, бездонный носитель либеральной галиматьи — он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтоб сделаться героем и львом своего времени. Признаюсь, я думал, что нельзя изобрести героя более легковесного; я даже упрекал себя в преувеличении. И что же? — ничуть не бывало! Феденька оказался слишком увесист, слишком глубокомыслен и дальновиден. Он подавил золотников основательностью, бойкостью и прозорливостью своих суждений; он возбудил в них опасения шириною и солидностью своих взглядов — и вот бесконечномалые скучились, составили комплот, сговорились и свергнули-таки Феденьку с пьедестала!

Феденька приуныл и поник головою. По-прежнему в нем беспрепятственно совершается процесс болтания, но он уже

сознает, что болтовня не к месту, когда все в природе вещает о подтягиваниях, подбираниях и энергических поступаниях; по-прежнему он смотрит фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и словно приниженным.

— Ты видишь! — сказал мне этот проштрафившийся гигант, встретившись на днях со мною на улице и указывая на рой бесконечномалых, суетившихся тут же, у наших ног,— ты видишь ли малых сих? Но подожди! то ли еще будет! Эти неизмеримомалые — великаны в сравнении с теми неизмеримомалейшими, которые придут на их место!

Затем Феденька с головой окунулся в бездну умеренного либерализма и более уже не вылезал оттуда. Он рассказывал мне о своих подвигах на поприще постепенного преуспеяния, о том, сколько требовалось осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы не погубить молодые, нежные всходы общественной самодеятельности, и проч. и проч. Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время, в первый раз в жизни, удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эту ровную, гладкую, словно канитель тянущуюся речь с утробным стенанием золотников и вздыхал... почти плакал! И если б у меня нашелся под руками лавровый венок, я непременно возложил бы его на чело этого пустопорожнего мудреца.

Все проходит, все изменяется. Были идеи — они переродились в слова; были слова — они сменились бессвязным, любострастным стенанием. Увы! нам уж не до идей! Теперь мы с сожалением вспоминаем даже о словах, даже о тех скудно наделенных внутренним содержанием речах, которыми отягощали нам слух пустопорожние мудрецы! Мы жалеем об них, потому что в них все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо если они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них существовали некоторые обрывки идей. Цепляясь за эти обрывки, можно было докопаться до исходного пункта, можно было хотя на время установить бродячую мысль оратора.

Увы! драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который издает толпа «легковесных», не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных к ней отношениях. Коли хотите, анализируя этот гул пристальнее, вы, конечно, рискуете отыскать в нем нечто похожее на внутреннее содержание, но это внутреннее содержание тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нечего ждать ни

суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, одинаково противна золотнику уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые уравниваются перед безграничною злобой похотливой легковесности; все они подлежат преследованию и казни потому только, что напоминают о существовании ненавистной мысли.

В противность указаниям теории постепенного совершенствования родов и видов, «легковесный» победоносно доказывает, что существует на свете такой вид человека, который не только чужд закону совершенствования, но даже способен возвратиться к положению первоначальной борьбы за существование. Трудно себе представить человека, который был бы вполне свободен от мысли, который мог бы чувствовать только голод, сгорать только от любострастных желаний и ощущать только физическую боль; однако такой человек существует. Это «легковесный», это герой современности. Он изгнал мысль из домашнего употребления, он свергнул с себя ее тягостное иго и на этой победе основал свое величие. Посмотрите, ка̀к он волнуется; ка̀к он ловко по временам скользит, лавирует, а по временам и перескакивает через препятствия; ка̀к он подставляет ножку другим, подобно ему бесконечномалым, ка̀к он стремится, изгибается, цепляется... Взгляните вперед и вы наверное убедитесь, что там, где-то, вдали, мотается *кусок*... Вот единственный повод, который заставил вспыхнуть пожаром вожделение в этом легковесном ничтожестве, вот единственная приманка, которая могла пробудить инстинкты его бесконечномалого существа! Не подходите к нему в это время: он в охоте, он жирует и может укусить.

Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе: не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже по временам курил в печку, хотя никогда не попадался. Идя разными дорогами, мы давно потеряли друг друга из виду, как вдруг я узрел его во всеоружии! Оказалось, что он уже имеет прочное общественное положение, что он заказывает платье у лучших портных, что кокотки в его присутствии пламенеют и что в будущем его, несомненно, ожидает блестящая перспектива. Взгляд у моего друга детства был смелый, светлый, но ничего не выражающий, кроме пронзительности; тон голоса твердый и уверенный.

— Какие же, однако, твои цели, мой друг? — спросил я его.

— А ближайшая моя цель — съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане),— сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.

— Но потом?

Он взглянул на меня, как будто изумился моему любопытству; однако ж ответил:

— А потом — мы выпьем, если хочешь, по стакану доброго лафита!

— Да... но не вся же жизнь тут... Вероятно, есть цели, есть убеждения...

Он опять взглянул на меня, но на этот раз уже не с изумлением, а с строгостью.

— Убеждения, любезный друг? — сказал он мне,— ты говоришь об убеждениях? Так я отвечу тебе на это, что убеждения могут иметь только люди беспокойные и недовольные. Мы — люди спокойные и довольные, мы не страдаем так называемыми убеждениями, а видим и признаем только долг... ты понимаешь — *долг!* Мы стремимся и достигаем!

Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул головой буфетчику и вышел из ресторана, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что̀ же, наконец, гнусного заключается в слове «убеждение», но он был уже далеко. Я мог любоваться только, как сверкала вдали его круглая, гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные его ноги.

Я уверен, что с той достопамятной минуты он питает ко мне злобу непримиримую и что представься удобный случай — он позабудет все связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.

Но воспоминания увлекают меня. Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф, по ремеслу барон. Специальность его состояла в том, что он ни на одном языке не имел таланта выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него нет в голове никакой «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его — тоже чуть не сплошь изукрашен алмазами общественного доверия; тоже — взгляд светлый, смелый, ничего не выражающий, кроме пронзительности; тоже — голос властный, уверенный, способный выражать твердость и непреклонность.

— Ну, что, как наша «мизль»? — спрашиваю я его, по старой, закоренелой привычке.

— Мой «мизль» — нет «мизль»! — ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не вытерпел и бросился его целовать.

Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, его неразумные товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспри-

мерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал когда-то потребность мысли! стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете! — И вдруг какой страшный переворот! «Моя мысль — нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтобы прийти к такому отчаянному афоризму!

Бесстыдство как замена руководящей мысли; сноровка и ловкость как замена убеждения; успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений — вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора! «Прочь мысль! прочь убеждения!» — на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми idées de l'autre monde! [1]

Таковы современные властители наших дум.

«Легковесный» встречается всюду, во всех кружках так называемого общества. Вы его можете узнать по наглости взгляда, по искусственной развязности поступи, по плотоядному выражению улыбки, по растленной беззастенчивости речей. Жаргон этой современной jeunesse dorée [2] не просто ничтожен, но посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад нескладных слов, не соединенных между собою никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, а поползновения похоти.

«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость; неспособен, несмотря на то что за все берется; невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. И за всем тем он успевает. Он нагл и угодлив в одно и то же время и своею открытой враждой к мысли зарекомендовывает себя с наилучшей стороны. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх. «Ты взялся за дело,— говорите вы ему,— но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как взялся за него!» Но он не удостоит вас даже ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с своим простодушным бесстыдством, как бы говоря: «Чудак! да разве нужно понимать дело, чтобы браться за него!»

Единственное ремесло, по части которого «легковесный» искусен,— это ремесло подтягиванья, подбирания вожжей

---

[1] потусторонними идеями!
[2] золотой молодежи.

и изготовления ежовых рукавиц. Это ремесло простое, не требующее особенной расточительности умственных богатств, но потому-то оно и оказывается по плечу «легковесному». «Подтягивай!», «поддавай!», «держи наготове рукавицы!» — словно волнами несется из легковесного лагеря, и делается вчуже страшно за эту безграничную пустыню, которая так легко передает из края в край всякие бессмысленные звуки!

— Mon cher! — говорил мне на днях один из самых решительных подтягивателей,— mon cher! все это так расползлось, распустилось, что подтянуть следует непременно.

В этой речи нет ни одного слова, которое было бы не праздно, которое имело бы определенный смысл, а между тем вы слышите ее чуть не на каждом шагу. Она говорится одними, подхватывается другими, и вот в воздухе образуется густой столб подтягивательного смрада, смысла которого вы не можете объяснить, но который потому-то и страшен, что к нему нельзя подойти ни с какой стороны. «Ужели Россия — это и есть та самая скотина, которую следует подтянуть?» — с изумлением спрашиваете вы себя.

Но это-то именно и несносно в «легковесных». Очень уж они невразумительны. Говорят всё какие-то заштатные, упраздненные слова, а объясниться по поводу их не могут. Не столько обидно самое предполагаемое подтягиванье, сколько неопределенность угроз и посулов. Неизвестно оружие, неизвестно требование, неизвестно ни время, ни место — все это опутывает каким-то мраком, все поселяет безотчетное опасение. Пронесет или не пронесет? Помилует ли бог или не помилует? — вот трудные вопросы, над которыми мы ломаем многострадальные наши головы и в зависимость от которых становится человеческое спокойствие.

Само собой разумеется, что подобное положение не может быть названо ни особенно блестящим, ни особенно твердым, ни особенно радостным. Трудно себе представить что-нибудь более уродливое, нежели жизнь, составленную от одних подтягиваний! трудно выдумать нигилизм более бессодержательный, нежели этот диковинный подтягивательный нигилизм! Неужто не все уже достаточно подтянуто? Ужели подтягивательная практика не завершила своего цикла?

Нет зрелища более уморительного и в то же время более жалкого, как зрелище «легковесных», когда они примутся рассуждать о принципах. Да, и у них есть принципы, и даже «великие принципы» — excusez du peu![1] Что̀ это за «принципы»? — это принципы! что̀ за «великие принципы»? — это

---

[1] только и всего!

великие принципы! — Вот все толкование, которого вы добьетесь в ответ на ваши запросы. Это просто заколдованный круг, в котором подлежащее так же легко ставится на место сказуемого, как и сказуемое на место подлежащего. Это заштатные, упраздненные слова.

— Господа! принципы — прежде всего! — вопиет один «легковесный».

— Господа! надо спасти принципы! — вторит ему другой «легковесный».

— Господа! надо ясно поставить принципы! — приглашает третий.

«Принцип, принципа, в принципе, о принципе» — так и сыплется со всех сторон и изо всех уст. О тайна российского празднословия! Кто разгадает тебя?

Нам не в первый раз встречаться в жизни с упраздненными словами, не в первый раз томиться под игом их. Не мало таких слов произнесли в свое время каплуны мысли, не мало произносится их в настоящую минуту, не мало предвидится этого добра и в будущем. Но странно, что слова эти час от часу становятся глупее, неожиданнее и даже односложнее. Каплуны размазывали фразисто и угнетали с помощью многоэтажных периодов; теперь мы слышим легковесно-отрывистые восклицания: «поддавай! натягивай! подбирай!» и проч. Ужели в будущем мы осуждены на односложные звуки?

Одна из самых замечательнейших способностей «легковесного» — это способность проникновения. Он не изобретателен, не глубокомыслен, не обладает познаниями, и, при всем том, нет профессии, в которую не забрался бы этот духовный недоросль и в которой не оставил бы он легкой погадки. Готовность и развязность заменяет ему всевозможные качества; он ни над чем не задумывается, ни перед чем не останавливается и неуклонною стопой шествует в храм славы с единственною целью сневежничать в нем. Существуют легковесные публицисты, легковесные романисты, легковесные администраторы, легковесные экономисты, моралисты, финансисты и т. д. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и профессии легковесных.

Призовите «легковесного» и велите ему написать роман на тему: «Она приподняла подол»; он настрочит двадцать печатных листов и ни разу, на всем пространстве этой трудной, многострадальной путины, не сойдет с своей темы. Он не засмотрится в сторону, не увлечется ни умом, ни добродетелями

своих героев; он исполнит заказ в точности, и когда принесет свое произведение, то вы, не читав его, уже почувствуете, что от него пахнет подолом.

Призовите «легковесного» и велите ему написать курс астрономии на тему: «Пускай астрономы доказывают» — он и это исполнит в точности. Он докажет, что существует на свете даже астрономия легковесная, в силу которой солнце восходит и заходит по усмотрению околоточных надзирателей, и когда принесет свое сочинение, то вы, не читав его, почувствуете, что от него пахнет будкою.

Он докажет, что можно быть администратором на тему: «По улице мостовой», финансистом — на тему: «Нет денег — перед деньгами», экономистом — на тему: «Бедность не порок», моралистом — на тему: «Избраннейшие места из сочинений Баркова». Нет для него недоступного, нет той трудной задачи, которую бы он не растлил легковесностью.

Это качество считается у нас драгоценным; на него указывают как на вернейший залог того, что русская земля не оскудеет деятелями. Без сведений, без приготовления, с одною развязностью, мы бросаемся в пучину деятельности, тут тяпнем, там ляпнем... И вот, при помощи этого бесценного свойства, в целой природе нет места, в котором бы мы чего-нибудь не натяпали!

Полюбуйтесь, как играет на солнце эта разноцветная мошкара. Ни на мгновение она не остается спокойною, но все кружится, все жужжит. Если вы думаете, что это мошкара празднующая и бездельничествующая, то ошибаетесь; нет, это мошкара подвижничествующая и занятая, это мошкара, без устали безлепствующая на тему: «По улице мостовой» и неуклонно морализирующая на тему: «Она приподняла немного подол». Поймите, сколько должно быть у нее труда и забот! И какие потребны нечеловеческие усилия, какой нужен кропотливый надзор за собою, чтобы ни разу в продолжение целой жизни не промолвиться ни одним живым делом и не отступить ни на волос от заказной темы!

И после этого выискиваются огорченные субъекты, которые позволяют себе уверять, что у нас недостаток в деятелях! Помилуйте! да у нас их такое обилие, что если всех спустить с цепи, то они в одну минуту готовы загадить все наше будущее!

Пойдите во всякое время на Невский проспект — ка̀к они шаркают и гремят, ка̀к пронзительно испытуют пространство, ка̀к гордо несут свои головы! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Загляните в Михайловский театр во время представления «La Belle Hélène» — ка̀к они стонут, ка̀к плещут руками, ка̀к

визжат при малейшем неосторожном движении, обнажающем корпус г-жи Девериа! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Прислушайтесь к жужжанью наших литературных захолустьев — ка̀к они клевещут, ка̀к развязно формулируют всевозможные обвинения! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Везде, где пахнет разложением, где слышится растленное слово,— везде «легковесный» является беспримерным трудолюбцем и неутомимым строителем будущего.

Ужели и сего не довольно? Ужели мы имеем повод опасаться, что Русь когда-нибудь оскудеет деятелями?

Нет, этого не будет. Родник, который источает нам «легковесных», так богат ключами и бьет такой сильной струей, что нет ни малейшего повода ожидать, чтоб он когда-нибудь истощился. Это правда, что «легковесные» — плотоядны и в этом качестве охотно поедают друг друга, но, с другой стороны, их наготовлено так много и сами они так легко зарождаются, что возлагать какие-либо упования даже на их плотоядность было бы величайшею опрометчивостью.

Нет никакого сомнения, что один порядочный мороз может разом погубить бесчисленное множество комаров; но это не дает права надеяться, чтобы комариный род изгиб на веки веков. Увы! достаточно одного пасмурного, влажного дня, чтоб воинство восстановилось во всем своем составе, и даже более полном и сильном, нежели когда-либо. Что нужды, что это будут иные, новые комары — все-таки это будут не орлы, а комары, и интересоваться тем, как называются они по имени и отчеству, может только праздное любопытство.

Так точно и «легковесные». Они могут временно пропасть, но изгибнуть не могут. В ту самую минуту, когда вы считаете воздух навсегда очищенным от них, они уже где-то зарождаются, где-то взыграли, где-то роятся. Еще мгновение — и они уже носятся по полям и оврагам, они брыкаются и кусают, и победоносно гремят неизменную песнь о подтягиванье, которую повторяет за ними тысячеустое эхо...

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Один из самых характеристических признаков современности — это совершенно особенное положение литературы в русском обществе. С некоторых пор наше общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно руководится литературою, но, наоборот, литература находится у него под надзором. Завелись соглядатаи, наблюдатели, руководители и вдохновители, но более всего развелось равнодушных, которых нельзя подкупить ни приятным словом, ни даже талантливостью, и в глазах которых литература есть одна из тех прискорбных и жалких потребностей, которые, подобно домам терпимости, допускаются в обществе как необходимое зло.

Было время, когда литература заявляла претензию на монополию мысли — это, конечно, было с ее стороны несколько затейливо; но, по крайней мере, затейливость эта ставила звание литератора на известную высоту. Нынче на литературном рынке оказывается так много продающих и так мало купующих, что прежние высоты у всех на глазах превращаются в несомненнейшие низменности, а бывший горделивый монополист мысли все больше и больше приобретает отличительные качества зайца.

Каких-нибудь четыре, пять лет времени — а как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, напротив того, выползло на свет божий таких, которые и не надеялись когда-либо покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!

Не подлежит никакому спору, что ремесло русского литератора вообще не может похвалиться блестящим прошедшим. Мы все еще помним то время, когда мысль находилась под гнетом столь несомненных ограничений, что читателю потребно

было не мало усилий и изворотливости, чтобы победить ту темноту и запутанность выражения, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не поощрительно, но, по крайней мере, писатель того времени знал, что у него есть публика, которая ищет его понять, знал, что нет в России того захолустья, в котором бы не бились молодые сердца, не пламенела молодая мысль под впечатлением высказанного им слова. Быть может, это была случайность, но случайность, во всяком случае, благоприятная. Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены; вспомним то движение мыслей и чувств, которому было свидетелем современное им поколение, вспомним увлечения, восторги, споры... Вспомним все это и, взирая на современное умудрившееся общество, скажем: да̀! увлечения бесплодны, увлечения легкомысленны, увлечения больше всего преждевременны!

Современный литератор всего меньше «властитель дум», современный литератор — это пария, это почти прокаженный. Это существо забитое, вечно жмущееся к стороне; существо, коснеющим языком и с бесконечными оговорками сознающееся в своем ремесле. Его терпят, на него смотрят с снисходительным состраданием потому единственно, что литература в целом мире признается как одна из функций общественного бытия. Известно, что когда общество создается, то в основание его, по заведенному порядку, полагается множество разного рода материалов, из коих одни должны служить краеугольными камнями, другие — орнаментами. Предполагается, что общество не может существовать без благоустройства и благочиния, без народного продовольствия и народной нравственности, без справочных и сложных цен (сии суть краеугольные камни), но, с другой стороны, невозможно также допустить, чтоб общество могло обойтись без наук и искусств (сии суть орнаменты). План начертан и аппробован, и не исполнить его нет никакой возможности. Этот план, разделенный на множество клеток, заключает в каждой из них либо краеугольный камень, либо орнамент, причем строжайше наблюдается, дабы камни не смешивались ни между собою, ни с орнаментами, так как подобное смешение может нанести ущерб отделке плана. Заключенный в свою клетку, со всех сторон окруженный краеугольными каменьями, что̀ может совершить бедный, беспомощный литератор? на какие подвиги он может отважиться?

Очевидно, что подвиги эти не могут быть ни особенно интересны, ни особенно разнообразны. Как бы мы ни украшали клетку, все же из нее ни под каким видом не выйдет вселенной; как бы мы ни уподобляли поэта или публициста, сидящего

в клетке, орлу парящему или соловью, в трелях изнемогающему, все же это будет только орел или соловей, то есть в обоих случаях птица, которой и свойственны подвиги птичьи, а не человеческие.

Но это-то несомненно и имелось в виду при устроении общества по предначертанному плану. Предполагалось, что каждая клетка сохранит свою чистоту во всей ее первобытной беспримесности; что поэты, отнюдь не прикасаясь к краеугольным камням, будут воспевать красоты природы, поздравлять с именинами и писать мадригалы, акростихи, триолеты и буриме, прозаики же, ораторы и публицисты предъявят образцы недерзостного красноречия с оттолчкой (одно из соловьиных колен) и усугублением. Затем общество, с своей стороны, за каждую удачную оттолчку, за каждый ловко скомпонованный триолет будет жаловать по двугривенному. Понятно, что задуманная в таком виде клетка литературы и искусств не могла изображать ничего иного, кроме клетки, из которой слышалась по временам трель соловья, а по временам свист скворца. Но, с другой стороны, общество, платившее по двугривенному за мадригал, также не могло не заметить, что, как ни приятны для слуха оттолчки, усугубления и трели, но, во всяком случае, они далеко не столь увесисты, как те булыжники, кои именуются краеугольными. Спора нет, хорош триолет:

Лизета — чудо в белом свете...—

но, в сравнении с «учреждением губернских правлений», он далеко не выдерживает даже снисходительной критики. Смекнув это, общество, естественно, пришло к заключению, что ремесло поэта, оратора и публициста есть ремесло пустое и легкомысленное, необходимое лишь для наполнения праздной клетки, во всех же других отношениях бесполезное.

Этот взгляд на литературу до такой степени укоренился в обществе, что и до сих пор большинство его очень неподатливо на уступки в этом смысле. В сущности, большинство цивилизованное и большинство нецивилизованное разнятся на этот счет очень немного. Если нецивилизованная толпа называет литератора «физиком голландским», то толпа цивилизованная видит в нем нечто вроде трактирной арфистки, вечно голодной и потому вечно и умиленно кривляющейся. Это его существенное назначение, это девиз той клетки, в которую он посажен, и, покуда он не выходит за пределы этого девиза, покуда он поздравляет, акростишествует и изнемогает в трелях, толпа терпит его и даже смотрит на его эквилибристические усилия с сострадательною благосклонностью.

Но за пределами девиза начинается ненависть.

Бывают такие минуты в жизни обществ, когда краеугольные камни вдруг приходят в движение и перемешиваются как бы под влиянием волшебства. Для орнаментов это моменты самые опасные и соблазнительные, и благоразумнейшие из них именно так и взирают на это дело. Они еще глубже забиваются в клетку и все старания свои употребляют на то, чтобы как-нибудь пропеть совсем по-соловьиному. Не так бывает с орнаментами юными и неопытными: они не понимают опасности и прельщаются только соблазном. Видя, что большинство краеугольных камней сдвинулось, они уже ни о чем больше не думают, а открыто присоединяют свои голоса к хору обывательских голосов, празднующих победу. Странное зрелище являет тогда природа: птицы, простые, ощипанные птицы начинают изрекать человеческие глаголы, тыкают носами в кучу и извлекают оттуда не червей навозных и прочую благопотребную снедь, а какие-то вопросы! Можно себе представить, какое действие производит это зрелище на толпу, при укоренившемся в ней убеждении о бесполезности и негодности птиц ни к какому разумному делу!

Надо сказать правду: способность петь по-соловьиному и парить по-орлиному является здесь как нельзя более кстати. Никогда, никакой хор цивилизованных подьячих не пропоет с такою ясностию песенки о значении того или другого краеугольного камня, с какою сделает это любой птице-литературный хор. Там, где подьячий недоумевает и путается в приискивании надлежащих формул, птица-литератор не только отыскивает самую суть булыжника, но тут же начертывает и образ, который наиболее для этой сути приличествует. Это последнее качество в особенности повергает толпу в беспредельное изумление. Толпа всегда и везде лицемерна; она сидит, крепко уцепившись за свои булыжники, и, закрывшись ими, как щитом, думает, что, исполнив этот обряд, она исполнила все, что предписывается законами ходячей нравственности. Сверх того, она убеждена, что ее никто не видит. И вдруг выискивается целый хор лиходеев, который бесцеремонно проникает в самое капище нашего потаенного разврата, который делает подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся на дне капища, и, совершив все это, начинает беззастенчиво взирать на нас теми самыми глазами, которыми мы, и только мы одни, взирали на себя в те редкие минуты, когда в нас пробуждалась совесть. И кто же эти лиходеи? Кто эти бесстрашные исследователи нашего домашнего хлама? Это птицы, простые, ощипанные птицы!

Толпа протирает глаза и не может прийти в себя. Ей некоторое время кажется, что она слышит все те же поздравительные стихи, но только в новой, не совсем привычной для нее форме. Это время для птиц самое льготное. Они щелкают, заливаются и свистят на все лады и на всей своей воле; они оперяются — оперяются, вспархивают, машут крыльями и вдруг взмывают вверх, очаровывая зрителей смелостью полета и обширностью описываемых в воздухе кругов. Ничто не удовлетворяет их: ни конопляное семя, ни манная каша, ни жеваный хлеб; «мало! еще!» — свистят они, разыгравшись. О, незабвенное зрелище! о, сладкие минуты птичьих надежд!

Но вот в толпе начинается говор и слышится сдержанный ропот. Ее будущее казалось так светло — и вдруг она усматривает в нем только птиц, без толку наполняющих воздух щебетанием. Она начинает совещаться, переговариваться и злоумышлять; она знает, что птицы бесхитростны и беспечны, что они никогда не умели отличить корм вольный от корма, рассыпанного кругом силков. В надежде на эти птичьи качества, она ждет...

И действительно, случайно напущенный птицами мрак мало-помалу рассеивается, и свет снова и безвозбранно вступает в права свои. Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы по-прежнему занять те позиции, с которых она была временно сбита. И чем дряннее этот случай, тем радостнее хохочет толпа, тем неистовее плещет руками. «Птица-то! птица-то! смотри, какого напустила туману!» — вопиют современные фарисеи, все еще ощупывая себя и не веря глазам своим, что бока у них невредимы.

— Ату его! ату-у-у-у! — вдруг раздается победный глас по всей линии.

С той минуты, как раздался этот зловещий клик, скоротечное торжество литературных птиц уже кончилось. Захваченные врасплох, светозарные одежды падают сами собою, и перед изумленными взорами любопытствующих предстоит простая птица, в том виде, в каком она должна быть в самый цветущий период линяния, с слегка пораженной головой и с надломанными крыльями. «Ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием!» — тычет в укор толпа, и как ни темно подобное обвинение, но на сей раз обыватели достаточно остроумны, чтобы не только постичь его, но и развить во всей ужасающей полноте.

Нет ничего горчее и в то же время нет ничего комичнее, как положение бедной, ощипанной птицы, которую упрекают в том, что она не оправдала доверия.

— Помилуйте! да я кружился, играл... я...— лепечет смущенный зяблик-литератор.

— Врешь! ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием! — продолжает кричать толпа, не внемля никаким оправданиям.

И вот, на помощь этой толпе, из самой среды зябликов, отделяются опытные охочие птицы и помогают управиться с злополучным пернатым воинством. «Мы не литераторы,— кричат они бойко и весело,— мы не имеем с литературой ничего общего! Мы пели и свистали в то время, когда литература сочиняла поздравительные стихи; теперь же мы просто благонамеренные обыватели, приобретшие некоторую опытность в формулировании обвинений!»

Для толпы подобные охочие птицы — сущий клад. В самом деле, возьмите любого из наших обывателей; пойдите во всякое время на Невский проспект и отделите от этого праздношатающегося стада какого хотите субъекта,— что̀ вы получите? — вы получите извозчика по убеждениям, извозчика по развитию, извозчика по надеждам и стремлениям! Какое дело извозчику до литературы, до умственного труда вообще? Может ли интересовать его что̀-нибудь, находящееся вне самого простого брюшного материализма? Могут ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхопоклонничества, чем-нибудь тревожиться, особливо в те ликующие минуты, когда двери ресторанов отворены настежь, а камелии и кокотки так и шмыгают по торцовой мостовой? Ежели они и подозревают, что в движении мысли скрывается нечто для них зловредное, то подозревают это смутно, формулировать же и даже изглаголать свои опасения не могут. Понятно, как кстати являются тут на выручку охочие птицы. Иные из них за двугривенный, другие — просто за сладкий пирожок, одни — с сугубым ехидством, другие — просто по неведению, но, в окончательном результате, каждая и во всяком случае может подать деловой совет, каждая укрепит и наставит, каждая сумеет сформулировать против чего угодно и какое угодно обвинение.

И вот начинается спешная и деятельная работа; охочие птицы устраивают гласные и негласные гнезда и, засевши в них, с прилежностью и азартом приступают к делу обстреливания литературы...

. . . .

Но отвратим взоры от этого плотоядного зрелища и спросим себя: ужели в самом деле двугривенный или сладкий пи-

рожок имеют столь значительную внутреннюю ценность, чтобы за сию мзду стоило отдавать на поругание дело мысли?

И виновата ли мысль в том, что она не останавливается, что она обладает способностью проникновения, что она ищет постичь и усвоить себе явления жизни?

Или забыты все предания? или понятия о литературной честности и приличиях до такой степени упростились, что нет более ни препятствий, ни преград для подвигов благоустройства и благочиния?

Ужели и с каких именно пор мысль приобрела свойства разрывной бомбы? Ужели, не шутя, от нее следует ожидать не обновления, а обветшания и смерти общества?

Ужели, наконец, охочие люди не понимают, что, ругаясь над мыслью, отдавая ее на пропятие, они косвенным образом ругаются над самими собою, ибо и они, хоть в прошедшем, хоть в детски-поздравительных формах, а все-таки были причастны делу мысли?

Ужели все это не сказка, не безобразный сон, а горькое свидетельство голой действительности?

Но будем снисходительны к двугривенному; эта монета, хотя и малая, все-таки доступна для понимания, ибо представляет собою известное число фунтов хлеба. Для здоровенного соглядатая, которого желудок снабжен жерновами, требующими беспрерывной работы, и который, сверх того, обязан моционом, это обстоятельство очень важное. Бедность и сила аппетита одни могут в этом случае определить меру человеческих подвигов, одни могут провести ту черту, за которою начинается вменяемость. Но что̀ сказать о тех износившихся, но сытеньких старичках, которые каверзничают и предают из-за сладенького пирожка? Ужели они не понимают, что у них даже зубов нет, чтобы съесть этот лакомый кусок?

Повторяем, толпа не имеет надобности в обвинительных органах — их в достаточном количестве выделяет сама литература. Подвижники этой нового рода благонамеренности в совершенстве понимают свое ремесло и приступают к нему с осмотрительностью и знанием дела, заслуживающими лучшей участи. С одной стороны, они вполне знают, чего именно хочет толпа и какого рода обвинения соответствуют мере ее роста; с другой стороны, им небезызвестны и некоторые провинности литературы, которые, будучи приведены в соответствие с ростом толпы, могут дать пищу свойства несомненно уголовного. И так это удобно устроивается, что толпе остается только изрекать приговоры и приводить их в исполнение.

Насытившись зрелищем поднимания ног, посрамивши слух соответственною беседою, толпа любит поговорить о нравствен-

ности, о том, какой она представляет важный рычаг в обществе и ка̀к она в особенности необходима... в простом классе.

— Для них ведь это одно утешение! — мудрствует один.

— Не столько утешение, сколько узда! — изрекает другой.

— И утешение-с, и узда-с! — решает третий.

Что нужды до того, что рассуждения эти своею азбучностью напоминают знаменитое изречение Подколесина: «да, брат, жениться — это не то, что: эй, Иван! сними сапоги!» — охочая птица очень хорошо понимает, что хочет толпа, что она хлопочет собственно об охранении нравов... в простом классе! и, сметив это, спешит обвинить литературу в безнравственности.

Наругавшись до отвала над русским именем и у себя и за границей, наговорившись всласть о безнравственности, невежестве и грубости русского мужика, толпа охотно предается на досуге словесным излияниям о сладостях патриотизма, о том, как это чувство возвышает душу и как, в особенности, необходимо развивать его... в простом классе.

— О родина святая!
Тебя я вижу вновь! —

гремит цивилизованная толпа, кстати припомнив куплет из водевиля «Матрос».

— A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère! — вторит хором другая, такая же цивилизованная толпа.

— Да-с, для них-с, для этих sauvages![1] — это единственная узда-с! — решает какой-нибудь нищий духом, исправляющий на время должность мудреца.

Охочая птица слышит это и начинает уразумевать, что толпе почему-то желательно распространение патриотических чувств... в простом классе. Не ясно ли, что тут как нельзя более кстати обвинить литературу в пропаганде космополитизма?

Изворовавшись вконец, изнемогая под бременем неправых стяжаний, толпа с удвоенным удовольствием беседует о сладостном чувстве собственности, о том, что в нем заключается единственное твердое основание всякого общества, о том, как грустно, как неутешительно, что такое высокое чувство так мало укоренилось... в простом классе.

— А ведь это единственная узда! — вещает общественный мудрец, в арсенале которого, по-видимому, накоплено столько узд, что ими легко можно взнуздать целую вселенную.

Охочая птица, сейчас только получившая двугривенный, конечно, не может не разделять этих сожалений. Опасаясь за

[1] дикарей.

целость своей подачки, она трепещет, волнуется, негодует. Результатом этих волнений оказывается обвинение в неуважении к собственности и в распространении пагубного коммунизма.

Нужно ли продолжать этот перечень плодов досуга толпы и тех напастей, поклепов и обвинений, которые возникают из них для литературы?

Каждая новая минута приносит новое обвинение, новую кляузу на голову бедной литературы! Устрашенные и убежденные, брюхопоклонники роют копытами землю, сверкают глазами, скрежещут зубами и показывают кулаки.

— Га! — урчат они,— так вы вот как! так-то воспользовались вы нашим доверием! вы хотели посягнуть на священные принципы семейства и собственности! вы хотели отдать на поругание святое пламя любви к отечеству! так мы же сумеем поставить вас в надлежащие границы! сумеем привести к одному знаменателю.

И затем наступает эпоха приведения литературы к одному знаменателю, которая собственно и составляет наш золотой век наук и искусств.

— Куда исчезли таланты? — спрашивают уцелевшие там и сям ревнители литературы.— Приведены к одному знаменателю.— Куда девалась бодрая и смелая русская мысль? — Приведена к одному знаменателю.— Куда скрылось живое, образное русское слово? — Приведено к одному знаменателю! И что̀ это за прелестное, для всех одинаково ясное выражение! С какою простотою оно устраняет все возражения, разъясняет все сомнения!

Журналы, бывшие некогда проводниками и возбудителями русской мысли, хиреют и чахнут; те редкие книги, какие появляются, свидетельствуют о полнейшей несамостоятельности русской мысли.

Пристыженный и сконфуженный, писатель сам начинает сомневаться: не обманул ли он и впрямь доверия публики? Действительно ли было дано ему это доверие и на что̀ уполномочивался он им? Оказывается, что доверия никакого и никогда не было, что ежели он одно время кружился и взмывал, то это было просто дело случая — и ничего больше. Откуда же эти упреки? откуда это злобное урчание? В виду всякого рода западней и ловушек писатель невольно стушевывается, изменяет прежней искренности, делается робок, не знает, на какую ногу ступить. Что ни шаг, то улика; что ни слово, то подвиг благочиния. Поневоле мысль теряет всякую бодрость и, в отчаянье, даже пробует стать на стезю рутины. Но здесь новая неудача: рутина поражена смертью, рутина противна;

нет средств приступиться к ней, не рискуя наложить руку на собственную свою деятельность. Что ж остается? остается проникнуться теми отличительными свойствами зайца, о которых говорено выше.

Но чем смиреннее становится бедный писатель, чем запутаннее и робче выступает его мысль, тем обширнейшее представляется поле для подозрений и инсинуаций. У брюхопоклонника, между множеством постыдных слабостей, есть одна очень пагубная — это убеждение, что он хитер и что его не проведешь ни под каким видом. Это общая слабость людей недалеких и неразвитых, которые весьма часто, задавшись подобною мыслью, поступают наперекор не только здравому смыслу, но и собственным своим выгодам. Одержимый опасением, что его хотят надуть, брюхопоклонник заранее видит во всяком писателе человека, начиненного разрывным составом, и ежели ему докладывают, что писателей больше нет, а есть быстроногие зайцы, то он совершенно основательно возражает: «эге! меня, друзья, не проведешь! я-то ведь очень хорошо понимаю, что все это львы, инкогнито жуирующие в маскараде под личиною зайцев!» Затем никакие дальнейшие уверения ни к какому результату привести не могут.

И снова начинается поставление в надлежащие границы, снова проповедуется теория приведения к одному знаменателю, подкрепляемая, для большей убедительности, теорией ежовых рукавиц, теорией макаров, где-то телят не гоняющих, и ворон, куда-то костей не заносящих...

Казалось бы, при такой обстановке, давно бы сгинуть и пропасть следовало — так нет! Есть какая-то нелепая живучесть в этом постылом литературном ремесле, есть в нем нечто такое, совершенно неуловимое и необъяснимое, что так и манит вперед и вперед, как манит какого-нибудь прохожего праздная куча народа, собравшегося на мосту. Продирается бедняга сквозь толпу; мнут ему бока, обзывают нелегкими именами... и вот он, наконец, у цели! Смотрит вниз, а там вода и на поверхности ее — пузыри!

Зачем он шел?

Дà; никогда еще литература не была так принижена, так покинута, как в настоящее беспутно-просвещенное и бесцензурное время. «Довольно!» — кричат со всех сторон общественные мудрецы, и такова решительная сила этого оклика, что никому не приходит даже на мысль отнестись к нему без внимания.

— Да помилуйте же! — могут нам возразить,— что же читать? чем увлекаться? Старые литературные силы подорвались сами собою, новых, свежих талантов не нарождается — не поощрять же литературу из-за того только, что тут примешалось название литературы!

Совершенно справедливо; литература действительно обновляется слабо и медленно; она не представляет в настоящую минуту ни особенно сильных деятелей, ни увлекающих толпу талантов. Но не оттого ли происходит это, что в публике исчез даже самый вкус к литературе? не оттого ли, что публика все предпочтения свои направила совсем в другую сторону, едва ли не совершенно противоположную интересам и сущности литературного дела?

Вспомним сороковые годы; вспомним, что и тогда литература наша, с формальной стороны, была далеко не в белом теле, что тогда даже существовали для нее такие ограничения, которых теперь и в помине нет,— и что же? она все-таки делала свое дело; не чувствовалось недостатка в деятелях, слово не было поражено бессилием и вялостью, мысль работала и протеснялась наружу, несмотря на непрерывную цепь силков. Отчего же в то время мог существовать подобный факт? А оттого, милостивые государи, что публика относилась к литературе сочувственно, и, ввиду этого сочувствия, бессилие поражало не литературную профессию, а те ограничения, которые были против нее направлены. Нет сомнения, что это же сочувственное отношение публики обусловливало и появление новых литературных деятелей, ибо деятели не нарождаются внезапно, но появляются или не появляются в прямом соответствии с запросами публики.

Ныне ограничение, даже сравнительно слабое, падает на писателя двойным гнетом: во-первых, как ограничение, а во-вторых, как предмет издевок и потех для разгулявшейся публики. Писатель в беде! да это такое лакомое увеселительное зрелище, с которым может разве сравняться зрелище канканирующей «Belle Hélène».

— А посмотрим, как-то ты теперь запоешь! — урчат одни расходившиеся брюхопоклонники.

— Посмотрим, как-то ты станцуешь? — вторят другие.

— Поджаривай его! поджаривай! — вопиют третьи.

Согласитесь, милостивые государи, что при подобных поощрениях может быть речь только о самосохранении, а отнюдь не о новых литературных подвигах.

Нередко случается слышать, что современному обществу не до литературы, что внимание его поглощено интересами иного, высшего рода, что оно устраивается и собирается, что

в нем беспрерывно становятся на очередь вопросы, разрешение которых, по необходимости, стоит на первом плане, так как с этим связано обеспечение будущей организации общества.

Похвально. Никто не будет спорить, что ежели общество занято устройством своего будущего, что ежели думы его направлены к тому, чтобы начавшееся в этом смысле движение не осталось, по его беспечности, бесплодным, то само собой разумеется, что интересы литературного дела должны... но нет! почему же, однако, они *должны* отойти на второй или, лучше сказать, на последний план? Почему же литературе не сказать и свое слово об этих *иных*, *важных* интересах, которые занимают общество? Почему участие ее в этом деле признается излишним и чуть ли не вредным? Почему уровень мысли литературной считается более низменным, нежели уровень мысли обывательской? Вот, милостивые государи, те вопросы, на которые естественно наталкивается мысль и которые мы охотно предлагаем вашему премудрому разрешению.

С своей стороны, следуя указаниям простого здравого смысла, мы имеем некоторое основание думать, что участие литературы не только не должно мешать обществу в его заботах об организации, но даже способно оказать ему существенную в этом смысле помощь. Обыватели вообще легко успокоиваются; нередко случается даже, что они хватаются за свалившуюся к ним с неба манну для того единственно, чтобы приобресть в ней приличный предлог для успокоения. «Ах, как мы заняты! даже пот градом льет!» — охотно повествует обыватель, изыскивая тысячу хитросплетенных маневров, чтобы скрыть от слишком любопытных взоров, что он занят совсем не делом, а успокоением. И затем, выставивши однажды напоказ свои труды и заботы, утвердивши между всеми брюхопоклонниками свою репутацию трудолюбца, он уже не стесняется постановкой дальнейших вопросов, вроде нижеследующих: «да помилуйте, до того ли нам!», «да увольте! разве вы не видите?» и т. д.

Занятие, заключающееся единственно в тревоге о занятии, труд, заключающийся в заигрывании с трудом,— вот та сладкая, неоцененная штука, к которой искони стремится обыватель всеми силами души своей. Это счастливейшее из всех возможных разрешений той неразрешимой задачи о вечном, невозмутимом покое, которая с детства составляла предмет его пламеннейших мечтаний. Если я сегодня, ложась на ночь, в блаженном самодовольстве восклицаю: «Господи! что̀ за время! что̀ за тревожное время! и сколько предстоит впереди

труда!» — то кто же может воспретить мне и завтра, ложась на ночь, предаться подобным же блаженным восклицаниям? Таким образом игра в труд может продлиться бесконечное время, и труда все-таки не будет. «Устраиваемся! организуемся! хлопот полон рот! занятий по горло!» — вот твердокаменная крепость, неприступнее которой даже гению Вобана изобрести трудно. Подите, вытаскивайте оттуда обывателя, однажды как он забрался в нее! Кто обладает клещами достаточно для того цепкими? Кто может совершить такой подвиг?

Этот подвиг способна и может совершить одна литература. Там, где обыватель только тревожится и сомневается один на один с самим собою, литература формулирует свою мысль ясно и во всеуслышание; там, где обыватель видит только предлог, чтобы поплотнее вылежаться, литература усматривает возможность дальнейшего движения и развития и указывает на нее. Что̀ в силах совершить разрозненные, полусонные единицы, ежели у них нет арены, на которой могла бы свободно выработываться общая руководящая мысль? Что̀ могут эти единицы даже в том случае, если у них и есть такая арена, но арена односторонняя, зараженная ненавистью, нетерпимостью и исключительностью? Очевидно, что им будет предстоять только без конца восклицать: «Господи! сколько дела! сколько дела!» Но ежели между ними найдутся люди добросовестные, то они наверное к этому восклицанию прибавят: «и ничего-то ведь я не делаю, ни к чему-то не приступаюсь, да и приступиться, признаться, не могу!»

Таким образом, отсутствие руководящей мысли, бедность и недостаточность разработки, боязнь анализа — вот совершенно достаточные причины для объяснения того повального равнодушия, которое точит наше общество даже относительно самых близких ему интересов. Да̀; не к одной литературе безучастно наше общество, но и к тому делу организации, о котором оно так беспрерывно и надоедливо толкует. Скажем больше: очень может статься, что и литературу постигло общественное равнодушие именно потому, что область, которую постепенно захватывает последнее, сделалась до того несоразмерно обширною, что в нее неминуемо попадает все встречающееся на дороге. Говорят, что старые порядки слишком туго поступаются, что горячая деятельность в этом тугоуступленном была бы равносильна устраиванию бури в стакане воды, что самолюбию обывателя нелестно устраиваться там, где уже все устроено без него, и т. д. Но где же, однако, видано, чтобы старые порядки поступались щедро и даже помимо заявлений обывателей? Где видано, чтобы прекрасная пословица «по

Сеньке шапка» прилагалась наоборот? Где найдется пример, чтобы прежде устраивали шапку, а потом прилаживали к ней Сеньку? Очевидно, что ничего подобного нигде не видано и не слыхано, что оболванивать Сеньку по шапке противно даже всем правилам человеколюбия. Очевидно также, что все эти объяснения причин общественного индифферентизма суть не что иное, как недобросовестные извороты, направленные к защите чего-то другого, в чем нам неудобно всенародно сознаться.

В сущности, мы защищаем одно — нашу исконную беспечность и праздность. В этом заключается вся загадка нашего бессознательного индифферентизма, все объяснение, почему этот индифферентизм, относительно литературы, возвышается по временам до ненависти. Но даже и эта ненависть не может претендовать на название силы, несмотря на то что иногда она действует бесспорно язвительно. Это просто-напросто сила бессилия.

Теперь понятно, почему нам так противна литература. Она претит нам потому, что ей самой, как представительнице мысли, противно наше умственное бессилие, наша праздность, наши со дня на день оттягаемые посулы деятельности. Мысль не может иметь в глазах наших особенной привлекательности уже по тому одному, что, забравшись однажды в голову, она тревожит и понуждает. «Буря в стакане воды!» — да ошибемся же хоть раз правдою и ответим искренно: сами-то видим ли мы что̀-нибудь далее этого стакана? И можем ли мы, по совести, отрицать, что этот стакан воды не есть единственное, внутреннее море, которое доступно нашим силам и нашему кругозору?

———

Литературное ремесло окажется еще более невыгодным, ежели мы примем в соображение, что в понятии толпы слово «литератор» есть не что иное, как глухой псевдоним. Толпа, вообще и везде, не отличается прозорливостью; она с трудом отличает друзей от недругов и в большинстве случаев даже не понимает, каким образом между ею и литературой могут образоваться отношения доброжелательные или злокозненные. У нас это явление обнаруживается в формах еще более ярких и решительных. У нас и так называемая цивилизованная толпа не всегда умеет определить физиономию писателя, даже если б он пользовался и известностью, и ее благоволением (конечно, мы говорим здесь о массе общества, а не о тех газетно-журнальных ищейках, которые вникают в деятельность писателя даже сверх необходимой пропорции).

Но это было бы еще не важно, если б недостаток проницательности касался исключительно личности того или другого писателя; это было бы только прискорбно для его самолюбия — не больше. Но очевидно, что тут идет речь совсем не о личности писателя, а именно о мысли, которой эта личность служит представительницею. Очевидно, что тут прежде всего не понимается мысль, а затем уж утопает в тумане и физиономия писателя. Спрашивается: возможно ли, при такой туманности представлений, ожидать преданного отношения к мысли? возможно ли надеяться, чтоб общество когда-нибудь заявило о своей устойчивости в интересах мысли?

Первое естественное последствие такой шаткости отношений обнаруживается в том, что писатель, не имея в виду данных для определения, к кому именно обращается его слово, почти всегда действует наудачу. Может случиться, что слово это падет на почву добрую и возрастит плод добрый; но может случиться и так, что слово падет в навоз и возрастит крапиву. Тут, стало быть, уж не до прозелитизма, когда дело идет об отсутствии даже той простой понимающей среды, без которой деятельность писателя есть деятельность, вращающаяся в пустоте. А второе естественное последствие вот какое: когда писатель, случайно или не случайно, подпадает опале общества, когда его настигает невзгода, то тут уж не только нет речи о друзьях или недругах, но просто-напросто все обыватели безразлично сливаются в один хор и все едиными устами вопиют: ату его! крепче! крепче! вот так! И таким образом выходит, что человек сей, который наивно мнил, что защищает чьи-то интересы, отстаивает чье-то человеческое достоинство, нередко оказывается первее всего поруганным от своих естественных клиентов!

Результат нежеланный, но далеко не столь неожиданный, чтоб его нельзя было предвидеть заранее.

Торжество силы еще отнюдь не утратило, в глазах толпы, решительного своего влияния. В сущности, ей очень мало дела до внутреннего содержания торжества; ей нравятся его внешние декорации, ей нравится тот блеск и шум, которыми, по принятому обычаю, сопровождаются всякие потоптания, подавления и поругания. Труба трубит, штандарт скачет, а затем Гарибальди или Франциск въезжает в Неаполь — толпа одинаково зевает, одинаково плещет руками. Но ежели уже в этих, так сказать, парадных случаях толпа безразлично относится к предметам своих восторгов (благо есть торжество), то понятно, каковы должны быть эти восторги при виде торжества всецелого, торжества без промаху, торжества, не испытывающего даже возражения! И что̀ нам Древний Рим с его Сци-

пионами, Цезарями, Катонами? Разве у нас мало найдется своих Цезарей, своих Катонов... вскормленных на лоне управы благочиния!

Этих без пороху палящих Цезарей, этих Катонов, клянущихся гибелью новому Карфагену — литературе, развелось ныне даже более, нежели указывает потребность самая прихотливая. Нет того ничтожнейшего гранителя мостовых, который бы не сверкал глазами, не чувствовал прилива негодования, которого уста не изрыгали бы хулу при одном упоминании о литературе. «Литература — это развратный дом; литература — это систематическая пропаганда анархии; литература — это организованное посягательство на жизнь и спокойствие общества!» — вот что̀ вещают новые Катоны-чревовещатели, и толпа, внимающая этим мудрым вещаниям, не только не задается вопросом: каким же образом, однако, мы живы? — но любит подобных глашатаев истины, благоговеет перед их безотпорным мужеством и нанимает охочего зяблика-гимнослагателя, который, за умеренную плату, готов петь и славу и срам своего отечества.

Толпа не только раболепна, но и труслива. Писатель, который, по самому свойству своей деятельности, может влиять на нее только нравственно, прежде, нежели всякий другой, убеждается в этой истине. Еще вчера он был чем-то вроде баловня фортуны, еще вчера около него теснился кружок людей, громко заявлявших о сочувствии,— и вот достаточно одной минуты, чтобы поставить его в то нормальное одиночество, из которого, при известных условиях жизни, ему не надлежало и выходить. Эту минуту — вы можете не только предугадать, но даже почти осязать. Она идет на вас в образе доносительно-прожорливой щуки, при виде которой, подобно брызгам, брызнут во все стороны резвящиеся вкупе пискари.

Местность, над которою разразился подобный щучий погром, делается на долгое время неспособною для произрастания иных злаков, кроме волчцов и крапивы. Обыватели злопамятны; они из поколения в поколение передают рассказы о мученической смерти, постигшей окуней, и остерегают птенцов своих от общения с литературой. Мыслебоязнь становится лозунгом не только настоящего, но и будущего; она всасывается с материнским молоком; она, подобно злокачественной сыпи, передается наследственно.

А так как подобных местностей нам не занимать стать, то делается отчасти даже холодно при мысли о той силе, которую, с течением времени, должны забрать волчцы.

Итак, с одной стороны, неустойчивость как следствие непонимания мысли и неимения поводов привязаться к ней; с дру-

гой стороны, та же неустойчивость, как следствие природной податливости и рыхлости обывательских нравов... невольно спрашиваешь себя: какую же цель имеет существование литературы? Кому она нужна? что̀ она может?

И между тем все-таки сдается, что литература нечто еще может. Самая живучесть ее дает повод думать, что будущее принадлежит ей, а не брюхопоклонникам.

Что торжество брюхопоклонников есть факт совершившийся и не подлежащий спору — это так; но прежде, нежели выводить какие-либо заключения, вглядитесь ближе в это явление, вслушайтесь пристальнее в эти ликующие клики и вы убедитесь, что тут уже кроется какой-то изъян. Лица победителей не поражают тою полнотою самодовольства, какая приличествует лицам действительных триумфаторов; торжественные их гимны отличаются шумом и восторженностью, но истинной, проливающей в душу безмятежие, гармонии все-таки не дают. Ясно, что современный триумфатор еще не считает своего дела завершенным, что он еще чувствует потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он мрачен и даже по временам, уподобляясь разъяренному самцу гориллы, плотоядно щелкает зубами. Он боится, чтоб у него как-нибудь не отняли то мясо, на которое он заглядывается; он боится, чтобы между ним и тою растленною наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения, не опустился, сверх ожидания, занавес. Все это заставляет заключать, что материал исчерпан еще не весь...

Если бы на сцене были одни триумфаторы, тогда живописцу оставалось бы только бросить свои кисти, или же нарисовать на полотне пятно и подписать под ним: «Мрак времен». Но оказывается, что дело совсем не так просто; что рядом с триумфаторами усматриваются и побежденные и что шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих, алчущих и вопиющих. Таким образом, общий голос торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие и является полною музыкальною пьесой. Побежденные еще налицо; они изранены, искалечены, но не изгибли.

Как хотите, а это все-таки признак. Ежели еще не вполне устранилась потребность озираться, преследовать и подозревать, стало быть, не все еще предано беспробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не допускает его окончательно обрюзгнуть и умереть. Конечно, время, которое

мы переживаем, и тревожно, и тяжело, но все же оно подчиняется известным определениям и, следовательно, не может быть названо мраком времен в полном значении этого слова. Осмотритесь кругом и вы увидите, что уже найдены некоторые рамки для более правильного течения жизни, а этого одного достаточно, чтоб осветить будущее лучом надежды. Положим, что рамки эти пришли к нам как будто со стороны, что общество тут ни при чем и даже нередко высказывает по поводу их чувство явно враждебное; но утешимся тем, что это рамки такого рода, которые, будучи раз поставлены, сдвигаются с места гораздо труднее, нежели даже прилаживаются к нему. Говорят, что отыскать рамки для задуманного дела уже значит наполовину обеспечить успех его,— и это вполне справедливо. Важно уже то, что брюхопоклонник видит перед собой эти рамки и привыкает к ним; привычка — великое дело; и если она однажды приобретена, то человек даже закоснелый начинает мало-помалу усматривать выгоды, которые представляет для него лучший порядок вещей. Необходимость ограничивать свои желания желаниями других, необходимость смягчать дикость инстинктов — вот та великая школа, которой суждено в будущем покорить вредную секту брюхопоклонников.

Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Ежели мысль содрогается при виде ходячих крашеных гробов, то та же самая мысль сумеет, даже сквозь сплошную массу живых могил, провидеть иные сферы, иные интересы и требования, иную температуру, иную жизнь. Как ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. История не останавливается оттого, что ничтожество, невежество и индифферентизм делаются на время как бы законом и обеспечением мирного человеческого существования. Она знает, что это явление преходящее, что и под ним и рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.

СЕНЕЧКИН ЯД

Прежде нежели приступить к предмету настоящей статьи, я считаю нелишним определить, что̀ такое благонамеренность.

Признаюсь откровенно, обязанность эта застает меня несколько врасплох, ибо слово «благонамеренность» произошло на свет так недавно, что даже значение его не вполне определилось в сознании общества. Толкуют его больше фигурами и уподоблениями. Так, например, если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте»,— я говорю себе: это человек благонамеренный. Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других,— я говорю себе: это человек благонамеренный. Почему я так говорю — я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякий, кто слышит меня говорящим таким образом, тоже чувствует, что я говорю правду. Совсем другое дело, если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос»; тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был да весь вышел,— я не поверю ему ни за что̀, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александрыча и очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.

Но отвратим наши взоры от этого печального зрелища и будем продолжать фигуры и уподобления. Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. Хорошее это поведение состоит в следующем. Утром благонамеренный человек встает и читает «Северную почту» и, узнав оттуда, в чем должна заключаться сегодняшняя благонамеренность, отправляется побеседовать с г. Старчевским, который

сообщает ему, что подписчики «Сына отечества» будут уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, как подписчики прочих газет, но по одному рублю в год. Под влиянием этой беседы благонамеренный заходит к Доминику, где съедает три пирожка, а буфетчику сказывает, что съел один. Затем до обеда он гуляет по Невскому, потом обедает в долг у Дюссо, а вечером отправляется в Михайловский театр и день оканчивает блистательным образом на бале у гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга.

Если вы спросите меня, каким образом я во всех описанных выше действиях нахожу благонамеренность, я могу истолковать вам это. Сколько я мог понять из объяснений людей сведущих, слово «благонамеренность», в современном его значении, имеет смысл весьма ограниченный и притом совершенно специальный. Человеку, который решается стать в ряды благонамеренных, стоит только сказать себе: «друг мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, ты можешь читать «Сын отечества»; но в вознаграждение за это ты обязан иметь хороший образ мыслей». Отсюда другая черта благонамеренности — хороший образ мыслей. Что такое этот «хороший образ мыслей» — этого я объяснить не умею, потому что это выражение скорее чувствуется, нежели понимается.

Тем не менее, если судьба заставит вас потолкаться некоторое время между людьми благонамеренными и если вы возьмете на себя труд вдуматься в их речи и действия, вы поймете и это. Вы поймете, например, что отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока — вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек. И благо ему. Если он утаил о двух излишне съеденных пирожках, то это простится ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только может повлечь для него за собой неприятность: это если факт утаения вызовет за собой протест; но и тогда Доминик ему только заметит, что на будущее время он должен быть осмотрительнее, то есть скрадывать пироги ловчее и глотать их быстрее. И более ничего. Потому главное все-таки в том заключается, чтобы не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не увлекайтесь. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выра-

жением лица г-жи Напталь-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Nos intimes», следите за беспрерывным развитием бюста г-жи Мила, ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Наше время», но, бога ради, не увлекайтесь. Если же вам непременно нужно мыслить, то беседуйте с «Сыном отечества», ибо мысли, порождаемые этими беседами, не суть мысли, но телесные упражнения...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы догадываемся наконец, что̀ такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли вы по улице — вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. Тут не может быть речи об убеждениях, а тем менее о недовольстве кем и чем бы то ни было: в этих ходячих могилах все покончено, все затихло. Самый добродушный из них на ваши приставанья ответит: «Mon cher! qui est-ce qui en parle! [1]», но менее добродушный фыркнет и огрызнется, как пес, к которому неосторожно подойдут в то время, когда он ест. Следовательно, благонамеренность не исключает и некоторого остервенения, которое, таким образом, составляет третью характеристическую черту ее.

Какая причина этого остервенения, где источник этой благонамеренной плотоядности? Устали ли мы от политических потрясений? Испытали ли мы на себе бесплодность и вредоносную силу утопий? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та сирена, которая нас, гибнущих плавателей, соблазнила сладкогласным своим пением?

Странное дело! мы не можем указать на какие-либо политические потрясения (слава богу!), мы не можем сослаться ни на какие утопии (ух, слава богу!) и в то же время не можем скрыть, что сирена все-таки существует. Многие даже видели ее и уверяют, что она ходит в вицмундире.

Увы! пение сирены отразилось даже на литературе нашей. Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» — стонет на все лады один; «нигилисты!» — подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература,

[1] Милый мой! кто же говорит об этом!

но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем.

Вновь спрашиваю я: что̀ за причина такого беспримерного наплыва благонамеренности в нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертак, тот самый четвертак, об отношениях которого к русской литературе и ее деятелям так остроумно выразился московский публицист М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади — стащат! «Ка̀к! — воскликнет читатель,— эта самая русская литература, которая так много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая так строго преследовала Булгарина за его легкие нравы,— вдруг соблазнилась на четвертак!» Да̀-с, так именно рассказывают сведущие люди, и, к сожалению, некоторые признаки заставляют сознаться, что они не неправы.

Но положим, что сведущие люди ошиблись; положим, что не буквально же четвертак соблазнил нашу литературу, что эта мелкая монета служит лишь фигурою уподобления,— тем не менее это обидно. Это обидно, потому что слово четвертак представляет здесь идею дешевизны; это обидно, потому что четвертачизм, претерпевавший доселе в русской литературе постыднейшее крушение, несмотря на гигантские, в своем роде, усилия Ф. В. Булгарина, начинает приживаться в ней именно в такую минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. Тут еще не было бы дива, если б во времена Булгарина четвертак обладал обаятельною силой: тогда и провиант был дешевый, да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать за четвертак происхождение Руси от норманнов было и не предосудительно, и не обременительно. Но и за всем тем наша литература выказывала ироизм неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси даром. Напротив того, теперь, когда, с одной стороны, жизненные припасы поднялись в цене необычайно, когда, с другой стороны, политический горизонт с каждым днем расширяется, литература, вместо того чтобы быть на страже, оказывает малодушество беспримерное и выделяет из себя публицистов, которые за четвертак поют хвалебные гимны всему без различия и призывают кару небес на мальчишек и нигилистов!

Что̀ сей сон значит?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что перед глазами нашими не блистал заманчиво четвертак? — Может быть.

Или мы были так слабы и ничтожны в то время, что нам и четвертака никто не считал за нужное посулить? — Может быть.

Или наша изобретательная способность до такой степени притупилась об варягов, что, когда настало наконец время для вопросов более серьезных и жизненных, мы не отыскали в себе никаких ответов на них и потому нашли для себя более покойным и выгодным дуть в нашу маленькую дудочку на заданную тему? — Может быть.

Или же наконец тут имеется с нашей стороны тонкий расчет и мы думаем, что со временем наши фонды поднимутся? — Может быть.

Я не решаю этих вопросов, а только излагаю их. Я считаю себя летописцем; я даже не группирую фактов и не выжимаю из них нравоучения, но просто утверждаю, что в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность. С одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки подвигается; с другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этим настроением, начала сочувственно и весело строить целые системы на мотив: чего же тебе еще нужно?

Я уверен, что известие это в особенности порадует провинциального читателя. В самом деле, видя, какой переполох царствовал в наших журналах до 1862 года, какими словесными подзатыльниками угощали в них друг друга россияне, бедный, удаленный от света провинциал мог и невесть что̀ подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конец пришел, что хороших людей моль поела и что на месте их неистовствуют всё мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! — утешаю я его,— все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие... Как же тут не созреть, как не пойти в семена!

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что̀ такое нигилисты? что̀ такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает собственно ничего. В романе г. Тургенева, как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети — это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные репримагды.

Отцы — народ чувствительный и веруют во все. Они веруют и в красоту, и в истину, и в справедливость, но больше

прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «Resignation», они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четвертакам. Дà, люди, о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака,— это всё отцы. Вообще это народ легко очаровывающийся. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались, как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны — Laura am Clavier, с другой — тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей — вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: цыц! и тогда, кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

В противоположность отцам, дети представляют собой собрание неверующих.

— Вы не верите ни во чтò... даже? — вопрошает Базарова один из Кирсановых.

— Даже,— отвечает Базаров, вовсе не заботясь о том, что он делает этот ответ в доме Кирсановых и что, по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь приятные и угодные вещи.

Не верит в «даже», а верит в лягушек! Соблазняется красивыми плечами женщины и при этом не содрогается при мысли, что красивые плечи составляют лишь тленную оболочку нетленной души. Кроме того: а) на красоту вообще взирает с той же точки зрения, с какой г. Семевский взирает на русскую историю; б) не тоскует по истине, ибо не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на виолончели не играет и романсов не поет и г) обаятельную силу четвертака отвергает положительно... Спрашиваю я вас: кàк назвать совокупность всех этих зловредных качеств? кàк назвать людей, совокупивших в себе эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы вольтерьянцами; но Кирсанов не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

Как бы то ни было, но «благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова «фармазон» и «волтерьянец». Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилизм; были люди, которых физиономии им не нравились, которых речи производили в них нервное раздражение, но они не могли дать себе отчета, почему эти люди, эти речи производят на них именно такое действие; теперь все сделалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Таким образом, нигилист, не обозначая собственно ничего, покрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному, и если б Иван Никифорыч Довгочхун знал, что существует на свете такое слово, то он, наверное, назвал бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнем с писаною торбою, а нигилистом. Человек, который ходит по улице без перчаток,— нигилист, и человек, который заявит сомнение насчет либерализма Василия Александрыча Кокорева,— тоже нигилист. «Он нигилист! он не верит ни во что̀ святое!» — вопят благонамеренные, и само собой разумеется, что Василию Александрычу это нравится. Одним словом, нигилист есть человек, беспрерывно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек!

Это переносит меня к далеким дням моей молодости. Знал я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патриархально и состоявшее из большого числа членов, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и блаженствовало: оно имело тот форменный взгляд на нравственность и человеческие обязанности, который составляет счастие людей, желающих прожить свой век без тревог и волнений. Конечно, так и прожили бы эти добрые люди, если бы, к несчастью, не замешался тут Сенечка.

Сенечка был просто добрый малый, живший большею частью в отдалении от родных и потому несколько отвыкший от этого бесшумного, обрядного жизненного строя, который царствовал в его семействе. Нельзя сказать, чтоб его не любили домашние; напротив того, на него возлагались даже какие-то честолюбивые родовые надежды, так как он один из всего семейства состоял на государственной службе и обещал когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тем прославить род Горбачевских. Тем не менее обольщение было непродолжительно; за Сенечкой, во время побывок его в родном доме,

стали замечаться какие-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобление, но полное равнодушие к родным интересам.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сенечка разливает яд и действует посредством его на подростков.

Выходит из института невинная девица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родных. Она уважает дедушку, боготворит бабушку, целует ручки у папеньки и маменьки, беседует и спорит по вечерам с приходским батюшкой насчет того, действительно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, или это только так, притча? Одним словом, родные не налюбуются милым ребенком и все в один голос кричат: что̀ за милое, что̀ за невинное создание! Но вот приезжает в побывку Сенечка... Он привозит с собой несколько французских романов — наша институтка слышит это верхним чутьем; она украдкой от родных бегает в Сенечкину комнату и читает... Сенечка рассказывает, на каких он балах в Петербурге бывает (он бывает исключительно у Марцинкевича), какая в Петербурге опера и в какие неслыханные платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая маркиз. Институтка слушает это сначала одним ухом, потом обоими; потом она задумывается, потом ей плохо спится ночь... В одно прекрасное утро она начинает плакать и не хочет диспутировать с батюшкой; она не называет бабушку «божественной» и после обеда забывает поцеловать руку у папеньки. Мало того: она вдруг начинает резвиться и бегать по комнате; она садится за фортепьяно и не то чтобы играет, но как-то беспорядочно стучит по клавишам; наконец она открыто называет родных тиранами, желающими заесть ее молодые годы.

— Это Сенечкин яд! — шепчут родственники,— это все Сенечкин яд действует!

— Помилуйте, маменька! —оправдывается Сенечка,— какой тут яд! просто-напросто Катеньке повеселиться хочется! просто-напросто молодая кровь в ней играет!

— Нет, это твой яд! — твердят хором родственники и спешат удалить Сенечку.

Приезжают на каникулы дети-гимназисты; бабушка осматривает их и говорит: молодцы! папенька спрашивает, какие у них отметки, и получает ответ, что всё пять да четыре. Петров пост; дети кушают постное, вместе с Катенькою и прочими членами семейства; они делают это даже с охотою... И вдруг приезжает Сенечка.

— Дяденька! у нас постное! — спешат сообщить ему гимназисты.

— Стану я постное есть! — огрызается Сенечка и объявляет, что будет есть скоромное.

Декорация меняется. На другой день, за обедом, все едят постное, одному Сенечке подают скоромное. Гимназисты едят плохо.

— А что, друзья, вкусно? — подшучивает Сенечка, видя, как они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистов слегка бледнеет; бабушка строго посматривает на Сенечку. Но дело уж сделано; гимназисты плачут; Катенька вторит им; жаренный в постном масле картофель так и уносят обратно нетронутый.

— Это Сенечкин яд! — шепчут родственники,— это все Сенечкин яд действует.

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сенечка,— какой тут яд! просто-напросто детям есть хочется, потому что они растут.

— Нет, это твой яд! — решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь удалить Сенечку.

Все, даже рабы и рабыни, находятся под влиянием Сенечкина яда. Кормили их прежде, например, кислым молоком, и они не жаловались, и вдруг дернула же нелегкая Сенечку спросить у Ионки-подлеца:

— А что, брат, с кислого-то молока, чай, живот подвело?

И вот на другой день история: кислое молоко рабы в помойную яму вылили, и хотя господа все-таки ничего другого не дали, однако огорчились.

— Это все Сенечкин яд! — шепчут родные.

— Да помилуйте, маменька! чем же я виноват, что у вас люди голодны? — оправдывается Сенечка.

— Нет, это твой яд! — решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь освободиться от Сенечки.

Подобно этому Сенечке, нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка — благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь — благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах — благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература — благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до той степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них самих поснимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!

Я совершенно согласен, что люди, поджигавшие Петербург, суть нигилисты, но в таком случае какой же резон слово «нигилист» смешивать с словом «мальчишки»? Допустим, что слово «нигилист» выражает собой совокупность всех возмож-

ных позорных понятий, начиная от неношения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либерализма,— чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. И действительно, сила заключается не в слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты». Нигилистом может быть человек всякого возраста; так, например, Аркаша Кирсанов покидает ремесло нигилиста тотчас же, как только собственным умом доходит до убеждения, что никакие нигилизмы на свете не стоят ничего перед теми положительными утехами, которые может доставить ему соединение с милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, по этой теории, ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову, хотя, быть может, у него от преклонности ни одного волоса на голове нет, и благонамеренным — г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек. Напротив того, слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества. Под этим словом подразумевается все, что̀ не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста! и затем всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физические условия мальчишества; в чем же должны заключаться условия нравственные? Очевидно, в том же, в чем и нравственные условия нигилистов, то есть в отсутствии всяких нравственных условий. Мальчишки не верят в науку, ибо не читают статей г. Молинари, мальчишки не верят в искусство жить на свете, ибо не читают статей г. Юркевича; мальчишки — это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие все, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; мальчишки — это свистуны, свистящие из хлеба и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма...».

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать — потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения — потому что он мальчишка; его мысль, его телодвижения, все его существо, одним словом, необходимо должны заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл,— потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» — спрашивает мальчишка у благонамеренного, и благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «га! это он неспросту мне папироску предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папироску выкурить не в состоянии!» Каждое слово мальчишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцевать карбонарский канкан.

Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою... ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» — и все тут!

Мальчишество — это преступление, за которое уличенный в нем лишается даже права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка»,— скажет он и самодовольно пройдет себе мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой стороны, и не родиться-то им?

Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что̀ ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчишкой... что̀ ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие — потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.

К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обра-

щаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели вы сошли на путь благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давнопрошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновенье, хоть случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей *нынешней* точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманию старчества.

Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же собственно дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни изменяется; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нет существа живого, которое могло бы

сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, где-то вдали, в каком-то непризнанном захолустье зарождается нечто новое; миазмы мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее, и светлее. Откуда этот успех?

Увы! Как ни мал успех, но источник его все-таки не столько в нас, благонамеренных, сколько в мальчишестве, в той освежающей силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм большею частью зависит от нас, благонамеренных, и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их...

. . . .

Итак, если мы видим, что жизнь сделала шаг вперед, если мы самих себя сознаем лучше и чище...

Мы клянем мальчишество, мы презираем его и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что̀ ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет *когда-нибудь* называться добром?

РУССКИЕ «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» ЗА ГРАНИЦЕЙ

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и, с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Гоголю,— остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин,— и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей. Действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое стройное миросозерцание, хотя не имевшее с внутренней стороны строго человеческого характера, но наружными своими признаками не дозволявшее сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут воочию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он

всецело воспринял только одну — искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь, известно, у нас нет средины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!); он заговаривает со своим vis-à-vis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет»,— говорит вся его съежившаяся фигура.

— Vous êtes russe, monsieur? [1] — спрашивают его.

— Oui-c; дà-с! — бормочет сконфуженный россиянин.— Ne désirez-vous pas du champagne? [2]

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия — страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества, и проч., и проч. И откуда чтò полезет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность,— никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий, ради бездельничества, россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

— Я курицын сын — куда же мне с этакой рожей в люди лезть! — резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.

Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплевания, которая будто бы составляет основную черту

---

[1] Вы, сударь, русский?

[2] Не хотите ли шампанского?

россиян; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешествующих соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои — куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, которые навели меня на изложенные выше размышления.

Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских *гулящих людей* за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельдец, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz [1], а русский *гулящий человек* не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по-видимому, уверен, что там, в этой груди, у него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что *гулящий человек* не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец...

И представьте себе, за такую-то скромность *гулящие люди* не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который русские *гулящие люди* до сих пор совершенно наивно принимали

---

[1] здесь бьется гессен-филиппшталь-баркфельдское сердце.

за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия... что̀ такое Россия? Россия — это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинутая на просвещенного *гулящего человека,* тогда как Париж... Париж!

Русских обвиняют в космополитизме; по крайней мере, наши публицисты уже несколько лет сряду убиваются, доказывая, ка̀к это вредно и ка̀к это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно *гулящих* русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прожорливые и завистливые: где бы ни увидали хорошую еду или по части юпок угодья привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттоль и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-половой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток, и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X — русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп — гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III — гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорят, многие из *гулящих* людей, ценою неимоверных усилий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Тут вся штука в том, чтобы около кого-нибудь потереться — это уж такое особенное удовольствие.

И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мабиле, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского *гулящего человека!* Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:

«Баль-Мабиль очень сочувствует полякам — очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяет, как истину,

о которой уже и не спорят, что Франция, toujours si libérale, si généreuse[1], должна помочь «народу-мученику» и освободить его от *варваров*... Варвар! Чего ни делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы *своими* сочла нас Европа,— ничто не берет! Чуть что̀ заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять — «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах в Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! — заревела публика,— мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский»,— завопил он жалостливым голосом... «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» — повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» — продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я... поляк...» — «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими?» — «Я поеду, непременно поеду».— «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже в то время, как в Польше дерутся, вон!»... И господина выгнали.

После этого изгнания русских из Баль-Мабиля постиг, как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шато-де-Флёр, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы — не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде, горячатся и шипят «симпатиями» к Польше; за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика были вываляны в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границею и вращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевозможные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду снослив, да и брань на вороту не виснет — но всему есть пределы. Остается или

[1] всегда столь либеральная, столь великодушная.

бежать домой, в Россию, или же отрекаться, стократ отрекаться от своей народности — от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!»

Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен выводить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!» и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что̀, если пареньто солгал! ах, срам какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья,— нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус,— а потому, что ка̀к же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я... поляк...» — пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк... и танцуешь!» — воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не забыли наградить пинками: «это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, единовременно получил возмездие за две национальности. То-то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «messieurs! я не русский и не поляк — я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут! Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Увы! даже в географии Арсеньева такой нации не замечено, а потому никто об ней не знает, никто по поводу ее не тревожится. Не потревожились бы и гризетки. Они потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.

Вот ка̀к вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь для нас последствия ложь, по-видимому даже самая правдоподобная.

Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что̀ он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» — или же предпочел быть откровенным: «так и так, братец, солгал — и за то пострадал!» — и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он горячкой в постель или на другой день, встрепенувшись как ни в чем не бывало, отправился, взамен Мабиля, в Шато-де-Флёр или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?

Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.

Но, независимо от изложенных выше поучительных выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже оскорбляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться, млеть и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны — положим, ложно понятые — но все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что̀ из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, оставленный на произвол всем ветрам, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это *мое* дело, что я из-за него распинаться должен? — и этими размышлениями оправдывал себя. Положение жалкое, безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Вы чувствуете, что эти стороны его собственные и что он правильно поступает, не утаивая их. Почему он так поступает?

а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.

Подобное же явление, разумеется, в более своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является самим собою, то есть простым, непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. Почему? А все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя не только не лишним, а совершенно необходимым деятелем в русской семье.

Один *гулящий* русский человек шатается без дела и потому не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что̀-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что̀-то продал. Одиноко и безучастно носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов...

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто даже оскорбительно. Теперь у нас существует гласность, существует земство и суд; у нас совершилась, без разговоров, одна из величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно,— нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли мы сказать, что стеснены,— нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д.,— нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно, хотя, конечно, не без осторожности.

Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гулящий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце?

Что̀ бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гулящих русских людей,— я просто недоумеваю... Реформу, что̀ ли, какую-нибудь новую сочинить или какую-нибудь из старых реформ уничтожить — право, уж и не знаю. Но, при-

нимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если б всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, *гулящие* русские люди сидели бы дома и не носились бы с своим чревом по чужим странам, а ездили бы в Калязин или в Пошехонье.

Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что с некоторого времени современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грех двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но, за всем тем, я все-таки надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в действительном ее виде.

Первый признак, который останавливает мое внимание,— это место происшествия, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более наклонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую наклонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности и во все времена было развито чувство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этою потребностью изящного и как бы последствием ее являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшем намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изощряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Ка̀к должен он поступить, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загибеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда, где таковые принимаются с охотою. Более злач-

ного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой приют, где изящное добывается во всякое время и без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому-то русские «отцы» издревле так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загибеевку, с тем только различием, что в Загибеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли одного мания руки или с присовокуплением денег, но устроить крепостное право где бы то ни было для них ничего не значит.

Никакими подобными качествами «дети» не обладают: ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ, не только не посещающий танцклассов, вроде Мабиля, но вообще мало общительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют об осуществлении «невидимого», или, говоря иначе, о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» — говорят эти опытные люди и успокоительно вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли эта скромность достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, касается не их, потому что их там, наверное, не было.

Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем неспособны, во-вторых, это наконец глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я — воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. Отцы в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они от рождения могли притворяться чем угодно, во-первых, потому, что никто с них за это

не взыскивал, во-вторых, потому, что и власть у них большая была.— Ванька! я шах персидский? — Шах персидский-с.— Ан врешь, я турецкий султан! — Турецкий султан-с.— И таким образом они могли воображать себя чем хотели, и никто им на это не возражал — мудрено ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспорья, потому что его у них нет, и, следовательно, поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как оно есть, со всем его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное — все ореолы, равно как и мраки,— исчезает само собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может. «Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико...

Да, это «отцы», это они — те *гулящие* русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать: «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ёрничества умеют создавать живые и художественные картины.

Другой анекдот из жизни русских *гулящих людей* за границей рассказывает «Современная летопись». Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет (шесть лет сряду быть глупым!) доверили ему сумму, превышающую 2 миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги *верному человеку*, точно так же не задумываясь, как во время оно другие люди, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!

Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуревается. Но для того, чтоб эти последствия были выгодны, необходимо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заклю-

чается то предприятие, на которое решаешься. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрыч Кокорев заверял, что это предприятие отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в том случае, если б таковой у меня и был. Потому не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроят, или выстроят такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни костей, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды и на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман, да и обедать, пожалуй, меня не позовут. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» (знаменитая, в своем роде, статья г. Кокорева) все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла улещать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: vade retro, satanas![1] Или, говоря другими словами: быть может, я и дам что̀-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду.

Знатные русские дамы все это забыли и — что больнее всего — выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие, то почему они не устроили такого дела в отечестве? почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти не только приняли бы их вклады с благодарностью, но тут же проглотили бы их так, что и следа потом не сыскать.

Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (Domus nova и Domus di Maria), это несуществующий банкирский дом в улице Рише (не те ли же общества

---

[1] изыди, сатана!

обработки животных продуктов или разработки лесов?). Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не расспрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Лемете и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Лемете соглашается, является с Лондинским, под видом капиталиста, к знатным русским дамам, получает от них несколько миллионов рублей, а им, взамен того, объявляет, что они имеют честь быть основательницами несуществующего банкирского дома Лемете и Лондинского, № 26, *улица Рише*.

Пришли, понюхали и ушли. Ждут русские знатные дамы день, ждут другой — нет Лондинского, нет Лемете! Что ж, может быть, они удержаны нездоровьем, а может быть, даже заботами об интересах своих клиенток? Увы! оказывается нечто худшее: оказывается, что и тот и другой — переодетые мошенники, что Domus nova — пуф, Domus di Maria — заблуждение, а банкирский дом в улице Рише — просто милая шутка, имеющая целью исследовать, до каких границ может простираться простодушие русских дам за границей.

И вот в исправительном трибунале департамента Сены разыгрался последний акт этой драмы. Лондинский бежал в Россию и, к довершению всего, пишет оттуда успокоительные письма, удостоверяющие, что все его кредиторы будут удовлетворены. Однако на сей раз русские дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибунал решил: 1) Лондинского заключить на 5 лет в тюрьму и взыскать с него пени 3000 фр. (заочно); 2) Лемете заключить в тюрьму на 15 месяцев и взыскать 500 фр. пени и 150 000 фр. в пользу истиц. О прочих дамских претензиях трибунал предоставил ведаться особо.

Вот какое происшествие случилось с русскими знатными дамами в столице цивилизованного мира. Оказывается, что русские дамы, настолько гордые в своем отечестве, что считают для себя унизительным сообщество людей среднего рода, за границей оставляют свою кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, потому что ведь за границей не то, что у нас; за границей каждый колбасник есть урожденный философ, а каждый парфюмер — урожденный политико-эконом. А куаферы! душки куаферы! эти естественные производители грядущего русского поколения! а этот милый французский жаргон, посредством которого можно всякую пакость таким образом выразить, что от нее повеет совсем не пакостью, а благоуханием! Согласитесь, что ведь нельзя же и не ласкать подобных людей!

Я не знаю, что̀ сказали, прочитав этот факт, учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: «Эх, кабы этакую-то сумму да нам! каких бы мы дел наделали!» Но я знаю наверное, что учредители русских «Domus di Maria» именно облизнулись и совсем не шутя возроптали, что вот все иностранцам да иностранцам, а нас все-таки мимо да мимо!

НАШ SAVOIR VIVRE[1]

«Нынче, мой друг, народ не то чтобы прост, а как-то очень уж глуп стал. Все сам себя обманывает, сам себя прельщает, даже словно сам у себя украсть хочет. Назовет, это, вещь другим именем и думает, что и вещь другая сделалась. Возьми, например, хоть то: выдумали теперь какой-то savoir vivre, а разбери ты его как следует, этот ихний savoir vivre,— ан выйдет то же мошенничество!» Эти слова принадлежат не мне, а бабушке Прасковье Павловне, которая во всем околотке известна своею мудростью и откровенностью (однажды она, за эту самую откровенность, чуть-чуть не была водворена в город Варнавин). Вообще это женщина, которая придерживается старых порядков, а про затеи современных либералов отзывается так: «поверь, душа моя, что все это один savoir vivre!»

Признаюсь, хотя я далеко не убедился в справедливости сравнения дорогой бабушки, тем не менее для меня несомненно, что на свете действительно существует какой-то «savoir vivre», по-видимому обладающий замечательною творческою силою.

Куда ни посмотришь — везде savoir vivre. Тот приобрел многоэтажный дом, другой — стянул целую железную дорогу, третий — устроил свою служебную карьеру, четвертый — отлично женился, пятый — набрал денег и бежал за границу... И всё с помощью какого-то таинственного savoir vivre! Право, даже любопытно становится.

— Рассудите, пожалуйста! — говорил мне на днях один знакомый.— Вот человек, который, продавая мне имение, показывал чужой лес за свой собственный! Ну не подлец ли?

---

[1] уменье жить.

— Зачем же подлец? — хладнокровно оправдывался так называемый «подлец».— Спрашиваю я вас: ежели я что̀ им показываю, должны ли они моими показами руководствоваться?

Я рассудил, взвесил, рассмотрел и нашел, что действительно тут нет никакой подлости, а есть savoir vivre — и больше ничего.

— Вообразите! — вопиял другой мой знакомый.— Вот человек, который моим именем выманил у моего кредитора пятьдесят тысяч — и скрыл! ну не мошенник ли?

— Зачем же мошенник? — оправдывался обвиняемый.— Рассудите сами: ежели я подлинно что̀ у них просил, должны ли они были моими просьбами руководствоваться?

Я опять рассудил и опять нашел, что мошенничества тут нет, а есть довольно крупный savoir vivre — и ничего больше.

— Позвольте! — остановил меня третий знакомый.— Вот вам субъект: он был моим ходатаем по делам, выиграл мой процесс, взыскал деньги и прикарманил! ну не бездельник ли?

— Зачем же бездельник? — оправдывался субъект.— Рассудите сами: ежели я что̀ для них, по их порученью, делаю, должны ли они за мной смотреть или нет?

И я опять рассудил, что тут нет никакого бездельничества, а есть savoir vivre — и больше ничего!

И что̀ всего замечательнее, потерпевшие стороны сами очень хорошо понимали, что во всем этом главную роль играет savoir vivre. Если они жаловались на своих обидчиков, то в этих жалобах слышался материальный ущерб, а отнюдь не нравственная сторона вопроса: «Только отдай ты мне, что̀ у меня украл,— звучало в их голосе,— а уж я тебе и с своей стороны покажу savoir vivre!» И в ожидании этого они готовы были не только примириться с своими обидчиками, но и обозвать их голубчиками...

— Ах, какой умный! Что̀ за голова! Что̀ за savoir vivre! и вот говорят, что у нас нет смелости и предприимчивости! — случается слышать везде, где соберется кучка гулящих русских людей.

Полюбопытствуйте расспросить, кому слагаются эти похвалы, и вы убедитесь, что тут наверное или стянули железную дорогу, или пустили по миру десятки и сотни семейств.

— Вот-то дурачина! вот-то пентюх и осел! — опять раздается все в той же толпе гулящих русских людей.

И опять полюбопытствуйте и опять убедитесь, что тут идет речь о каком-нибудь наивно-простоватом труженике, на котором доверчивая компания развязных дармоедов (поклонников savoir vivre) решилась создать свое благополучие. И верьте

мне, нет того поносного ругательства, нет того презрительного выражения, которое бы не послали вслед простаку гулящие русские люди! «Фофан! соломенная голова! ослиные уши! курицын сын!» — так и стонут они своими утробными голосами.

Бабушка! бабушка! ужели же ты и в самом деле была права, утверждая, что savoir vivre и мошенничество — одно и то же?

Но я все еще сомневаюсь; все еще стараюсь уверить себя, что savoir vivre — сам по себе, а мошенничество — само по себе. Поэтому буду говорить здесь только о savoir vivre.

Savoir vivre, как и всякая другая творческая сила, переживает в своем развитии очень много самых разнообразных фазисов. Сначала оно представляет собой явление простое и малосодержательное, потом все больше и больше усложняется и набирается соков; наконец лопается, словно пышный кактус, и, не опасаясь публичности, предъявляет изумленному миру разнообразие и полноту своего содержания.

Самая простая и однообразная форма, в которой проявляется savoir vivre,— это тайное присвоение платков, скрывающихся в чужих карманах. На предприятия подобного рода обыкновенно решаются такие люди, у которых нет своих собственных платков, но так как при этом не требуется ни глубины взглядов, ни обширности соображений, то по большей части умелых людей этой категории называют карманными ворами и бьют (за то именно бьют, что взгляды у них поверхностные и цели ограниченные). Понятно, какая нужна осмотрительность, чтобы проводить savoir vivre в этой простой и несколько грубой форме; но понятно также и то, что в виду беспрестанных опасений дело это само собой не может удержаться на первоначальной своей точке, но будет постоянно стремиться расширить и распространить свою арену.

И действительно, savoir vivre в скором времени усложняется и входит в последующий фазис своего развития. Утаиваются дома, деревни, капиталы, дороги; устроиваются карьеры и браки; появляются проекты ограбления в столь обширных размерах, что польза их так и бьет всем в глаза. Предприятия такого рода, конечно, уже гораздо труднее, ибо предполагают знание человеческого сердца и известную смелость взгляда. Но вместе с тем они и легче, потому что не сопровождаются заушением и оплеванием. Они производятся

у всех на виду и при открытых дверях, а потому приобретают характер турнира. Бесстрашнейшими и безупречнейшими рыцарями этого savoir vivre история представляет нам бывших откупщиков; в будущем мы можем усматривать зачатки такого же рыцарства в блистательно начинающемся железнодорожном деле. «На то война!» — говорят пропагандисты этого savoir vivre и с самою утонченною вежливостью преломляют копья.

— Какую я, душа моя, дорогу получил! — говорил мне на днях один прекрасный молодой человек, которого до сих пор я имел наивность считать пустейшим малым,— объедение!

— Что̀ же такое?

— Кроме песку и выси поднебесной — ничего!

И затем он начал мне разъяснять. Миллионы и сотни тысяч так и лились из его уст, словно это совсем не миллионы и не сотни тысяч, а какие-нибудь презренные медяки.

— Ты понимаешь? я взял — и сейчас в сторону! и у меня осталось...

Опять посыпались миллионы и тысячи, так что мне под конец сделалось тошно.

— Послушай, друг мой, а ведь я думал, что у тебя соломенная голова! — сказал я,— ты, пожалуйста, меня извини!

— Извиняю, душа моя, все извиняю! — отвечал он и в порыве счастья (вот как оно украшает человека!) не только извинил, но бросился даже целовать меня, повторяя,— пе-ески, пе-ески!

— Но позволь, однако, что̀ скажет Катков? — остановил я его.

— Разрешил!

Понятно, что такого рода savoir vivre никак нельзя сравнивать с первым. Это даже почти не savoir vivre, а, так сказать, законная дань качествам ума и сердца. Тут нет ничего... совсем ничего... Тут просто развязность, изобретательность, сноровка, знание географии... и пески!

Но по мере того, как мы привыкаем к такому savoir vivre, по мере того, как он доставляет нам деньги, комфорт и всеобщее уважение, наш умственный горизонт расширяется сам собою и предъявляет взору такие перспективы, которых мы прежде не могли даже и предвидеть. Мы начинаем терять способность различать не только между своим и чужим платками, но даже и между всевозможными платками вообще, кому бы они ни принадлежали и в чьих бы карманах ни находились. Всякий платок представляется нам олицетворением афоризма: res nullius cedit primo occupanti. Не только поступки и действия наши проникаются учением о непрелож-

ности savoir vivre, но и наши суждения, наши попытки произвести нравственную оценку такого-то поступка или действия, весь наш умственный и нравственный обиход всецело подчиняются ему...

Это, конечно, самый счастливый и самый цветущий период savoir vivre; это самая совершенная форма его. Если первая из упомянутых выше форм может быть охарактеризована изречением: на воре шапка горит, вторая — изречением: не пойман — не вор, то третью всего приличнее формулировать так: и пойман, да не вор, потому что кому же судить?

Бабушка! бабушка! что̀ ты наделала? С какою целью ты поселила во мне разлад?

Кто растолкует мне, какое действительное значение заключается в слове «вор»? Кого должен я разуметь настоящим вором и кого — просто агентом общества savoir vivre? Кому могу я пожать руку, кому обязываюсь плюнуть на оную?

Куда я теперь денусь? Ежели бежать в степи, то ведь и они прорезываются нынче железными дорогами, а вместе с ними и туда проникает savoir vivre.

Неслыханное зрелище представляют эти прекрасные, девственные русские степи! Хищный волк подходит к робкому барану, но не хватает его за шиворот, а, любезно виляя хвостом, спрашивает: «позволите ли вас скушать?» Лисица, забравшись в курятник, не душит и не терзает, но ищет успокоить всполохнувшихся кур и вкрадчивым голосом вопиет: «посмотрите, милые, как я вас ощипплю!» Эта душегубствующая любезность, это умиротворяющее хищничество приводят меня в трепет и ужас. Я чувствую, как капли пота выступают у меня на лбу, как холодеет спина и начинают дрожать ноги...

Тысячи разнородных экземпляров человека проходят мимо меня, и — странное дело! — никому-то не стыдно, никто не краснеет!

Все идут очень свободно; все разговаривают и беззастенчиво передают друг другу свои вчерашние и сегодняшние prouesses [1].

— Слышали, какую штуку Федька удрал? — говорит один.

— Слышали, какой Сережа проект ко всеобщему ободранию сочинил? — вторит другой.

---

[1] подвиги.

— А! вот и он! Сережа! Сережа! к нам! сюда! Quand on parle du soleil, on en voit les rayons![1] — сыплется со всех сторон.

Сережа приближается; он сыт, доволен и, сверх того, чувствует, что его уважают. Его окружают, ему льстят, около него лебезят. Что же мудреного — он финансист!

— Ну что̀, шалопаи! хотите в компанию? — благосклонно спрашивает он, подавая собеседникам концы пальцев.

— Сережа! голубчик! хоть чуточку! — вопиет один.

— «Петушком»! — осклабляется другой.

Остальные облизываются.

— Вы, однако, должны знать, messieurs, что это дело серьезное... очень, очень серьезное! — глубокомысленно провозглашает Сережа.

— Уж я! уж мы! только допусти!

— А помнишь ли ты, соломенная голова, как ты у братьев наследство украл? — внезапно врывается в беседу чей-то фофанский голос, очевидно, обращающийся к Сереже.

— Что касается до этого, то... nous en parlerons plus tard, mon cher![2] Теперь же могу сказать тебе одно: в наше время жизнь дается только тем, кто ее с бою берет, а не тем, кто перед нею слюни точит! — произносит Сережа и величественно удаляется, сопровождаемый толпою поклонников.

Это — последнее слово современного savoir vivre. Уметь эскамотировать шары, с утра до вечера рыскать по городу и топтать в передних ковры — это называется брать жизнь с бою; сидеть спокойно дома и чуждаться охватившей всех жажды стяжания... стяжания во что бы то ни стало — это называется точить слюни.

— Совсем нас узнать нельзя! — говорил кто-то на днях в каком-то учено-обеденном обществе.— Просто мы не славяне, а англосаксы какие-то сделались! так и хватаем! так и хватаем!

— Клюем отлично! — прибавил другой.— Только как бы не наклеваться на замаскированный крючок!

— С божьею помощью, этого не случится! — прервал третий, который, по-видимому, еще не успел сбыть свои акции и которого воспоминание о крючке сильно передернуло.

Одним словом, восторг общий. Ученые общества надеются и провидят новые залоги преуспеяния, публицисты плещут руками и подают благоразумные советы; генералы входят в общение с простыми негоциантами, задают обеды с музыкой

---

[1] Едва заговорят о солнце, уж видны его лучи.
[2] мы поговорим об этом позже, мой милый!

и говорят спичи; присяжные поверенные предлагают свои услуги.

Никогда не было на Руси такого веселья! Были мы грубы и неотесаны; только и было на языке: мошенники да мошенники! И вдруг... savoir vivre!

— N'est-ce pas que cela applanit bien des choses? [1] — говорила на днях одна прекрасная кокотка, и говорила сущую правду.

И за всем тем, меня тревожат два вопроса:

Вопрос первый. Каким образом могло случиться, что соломенные головы вдруг сделались и экономистами, и финансистами, и чуть-чуть не политиками?

Вопрос второй. Ежели справедливо, что от всех этих затей пахнет миллионами, то с какого благодатного неба должны свалиться на нас эти миллионы?

Первый вопрос разрешается очень легко: именно потому-то и имеют успех соломенные головы, что они соломенные.

Нет ничего проще, как устройство соломенной головы. Правда, что она не отличается прочностью и что чрез ее скважины очень скоро стекает всякая мысль, которая в нее извне вливается; но зато в нее и попадает всякий сор гораздо удобнее, нежели в обыкновенную человеческую голову. Она постоянно раскрыта для каждого ветра, хотя бы даже и зловонного, но по этому-то самому так быстро и колеблется всякими дуновениями. Обыкновенная голова имеет способность задерживать мысли и комбинировать их с тем мыслительным капиталом, который нажит прежде. Напротив того, соломенная голова ничего не задерживает и не имеет надобности комбинировать, потому что мысли проходят сквозь нее, как сквозь пустое решето. Это качество во многом ее облегчает: оно делает ее быстро воспламеняющеюся, оно дозволяет ей действовать, ничем не стесняясь. Не нужно быть ни экономистом, ни финансистом, ни политиком, чтобы скалить зубы на чужой платок. Для этого требуются только крепкие инстинкты плотоядности и чревоугодничества, а затем звания экономистов, финансистов и политиков придут сами собою.

Нахальство, нестесняемость, развязность и постоянное, неуклонное стремление к куску — вот основания и принципы этой новой экономической науки.

---

[1] Не правда ли, это приводит многое в порядок?

Что̀ такое рубль? откуда он выходит? какая его родословная? — все это вопросы, совершенно чуждые соломенной голове, и я положительно утверждаю, что только при отсутствии этих вопросов и можно делать те операции, которые она делает.

Соломенная голова рассуждает так: рубль — это рубль, и ничего больше. Она думает, что это какая-то заблудшая овца, которая родилась на монетном дворе или в меняльной лавочке, потом шаталась где-то без дела и теперь, благодаря ее savoir vivre, лезет к ней в карман.

Соломенная голова даже не знает, что̀ будет делать эта заблудшая овца у нее в кармане. «Полагать надо,— думает она,— что пошевелится она там малое время без призрения, покуда не пристроится опять к какому-нибудь меняле, и опять надо будет ее оттуда вытаскивать...»

Что̀ такое «операция»? Что̀ из нее выйдет? насколько она может подействовать в том или другом смысле? и на что подействовать? и эти вопросы точно так же чужды соломенной голове, и я точно так же утверждаю, что только при совершенной свободе от них можно действовать наотмашь и не стесняясь, то есть так именно, как действует всякая соломенная голова.

— Пе-ески! пе-ески! — радостно восклицал мой юный приятель, о котором я повествовал выше, и рассуждал так наивно, что даже нет возможности спросить его: «да чему же ты, дурашка, радуешься? Что̀ тебе вдруг так весело сделалось?» Нельзя сделать ему этот вопрос уже по тому одному, что он и слово «пески» во всем его объеме постигнуть и объяснить не может.

Многие думают, что тут кроется какая-то тайна. Совсем никакой тайны нет, а дело самое обыкновенное. Нахальство и стремительность в достижении целей (а следовательно, и успех) столь же свойственны соломенным головам, сколько совестливость и некоторая нерешительность свойственны обыкновенным головам человеческим. Это истина, которую подтверждает и история. Стоит только ничем не брезгать да вольно ходить, и вдруг очутишься таким финансистом, что сам Молинари руками разведет.

Говорят, что мы не славяне, а англосаксы. На чем, однако, основано такое мнение? На том ли, что мы очень жадны? на том ли, что нас, при виде гривенника, кидает в озноб? Но есть некоторое животное, боровом называемое, которое и того жаднее, но которое, за всем тем, никому и в голову не приходило называть англосаксом! Стало быть, это вздор, а правда — вот она: все мы бахвалы-лежебоки, которым легкий труд очень нравится! И ничего более.

Из всего изложенного видно, что многие вопросы, которые на первый взгляд кажутся очень трудными, в сущности разрешаются самым свободным образом. Итак, не завидуй, читатель, успеху соломенных голов и будь доволен тем, что у тебя на плечах голова обыкновенная! Suum cuique:[1] им — рубль и соломенный намет на плечах; тебе — голова и три копейки медных. Чей удел счастливее?

Гораздо труднее разрешить вопрос нумера второго, а именно: с какого благодатного неба имеют свалиться на нас ожидаемые миллионы?

Но так как вопрос этот действительно очень труден, то я предпочитаю не разрешать его. Будем думать, что он когда-нибудь разрешится сам собою.

Меня всегда удивляло, почему savoir vivre так мало развит между так называемою меньшею братьею? И — что̀ всего замечательнее — чем беднее эта меньшая братия, чем слабее в ней развиты всякого рода промышленные и цивилизующие поползновения, тем менее оказывается и чувства savoir vivre.

Меньшая братия не знает ни заемных писем, ни векселей, ни сохранных расписок, ни контрактов. Пробовали давать меньшему брату взаймы денег без всяких документов — отдает; пробовали заключать с ним самые, что называется, удовлетворительные условия без малейшего посредства бумаги — исполняет. Ка̀к ни испытывали его savoir vivre, ка̀к ни старались возбудить его в нем — не оказывается, да и все тут.

Если меньший брат взял у вас денег и предвидит, что ему нечем будет заплатить в срок, то он уже загодя мучится и всею своею фигурой говорит: виноват! То пройдет мимо вас, потупив глаза, то вдруг взглянет на вас... как взглянет! Тогда из него хоть веревки вей. По первому вашему мановению, он начинает и пахать, и бороновать, и сеять, и косить, и жать, или, другими словами, действовать хребтом, и действует им до тех пор, покуда вы сами наконец не скажете: довольно!

— А ведь это, брат, только проценты! долг-то, брат, сам по себе! — инсинуируете вы ласково.

---

[1] Каждому свое.

— Ну, само собой! долг — это, разумеется, само собой! — отвечает он и как благодарен-то, как благодарен он вам, что вы позволили ему подействовать мало-мало хребтом...

И в самом деле, что̀ такое ему хребет! он действует им так свободно и ловко, как будто он у него не свой, а казенный!

Вот к каким прекрасным результатам можно прийти, ежели сойдутся вместе: с одной стороны savoir vivre, а с другой — недостаток в оном.

То ли дело друг мой, Феденька Козелков! Он три года должен мне некоторую сумму, и всякий раз, как мы встречаемся, не он робеет передо мной, а я перед ним. Он так развязно подходит ко мне, так любезно спрашивает о моих занятиях, что я чувствую себя не только очарованным, но даже боюсь, буквально боюсь, чтоб он как-нибудь не проговорился о своем ничтожном должке!

Мне скажут, быть может, что тем не менее большинство воров, грабителей, разбойников и т. д. все-таки выходит из меньшей братии, и следовательно... Позвольте, господа! во-первых, можно поручиться заранее, что все эти воры, грабители и т. д. более или менее уже принадлежат к числу тронутых стремлением к savoir vivre; во-вторых, возьмите их численное отношение к массе меньшей братии и вы несомненно увидите, что об этом даже и говорить не стоит.

Но чем больше мужик оперяется, тем настоятельнее начинают взывать в нем инстинкты savoir vivre. Из простого чибиса он делается коршуном, из барана — волком. Правда, что ни орлом, ни львом он все-таки никогда не сделается, но ведь и место наше такое... по нашему месту и волка очень до̀вольно.

Он начинает отрицаться, утаивать, отговариваться запамятованием и все эти акты своего savoir vivre сопровождает вздохами. «Ничего я этого не знаю», «никогда я у тебя не брал», «и напрасно ты меня этим делом беспокоишь» — вот слова, которые изрекают его уста в этот первый период его превращения. Потом он мало-помалу входит в рассмотрение среды, в которой живет, и, тщательно изучив положение каждого из ее членов, начинает производить свои финансовые операции в более крупных размерах. Потом голову его постепенно начинает угнетать мысль о всеобщем ограблении; ему становится тесно в деревне; ему надо губернию, две губернии, три губернии... целую Россию! И вот он бредет откуда-нибудь, из родной Заманиловки, бредет пешком, не спит, не ест, не пьет, все думает: как бы обделать дело в лучшем виде! И вдруг, спустя полгода, вы узнаете, что у нас в городе народился новый финансист!

— Кто такой? кто такой? — спрашиваете вы с жадностью.

— Представьте... простой мужичок! и даже неграмотный! — отвечает вам одна из соломенных голов, плененная проектом всеобщего уязвления.

— Что ж он такое сочинил? — продолжаете вы ваши вопросы.

— Ну, это покамест еще тайна!

Оказывается, однако ж, что мужичок-финансист, при помощи авоськи да небоськи, ничего не упустил из вида; что он не только поверхность земли, но и самые ее недра предположил устроить и привести в порядок, чтоб не лежали праздно, а приносили посильный плод на пользу и радость любезному отечеству.

Появляются проекты об эксплуатации собачьего помета, проекты о собрании на всем пространстве России рыбьих костей, о заселении песчаных степей, об обращении бесплодных мест в плодоносные...

— Иван Иваныч! голубчик! так мы, стало быть, собачий помет собирать станем? — спрашивает соломенная голова, готовая, в порыве энтузиазма, даже и на этот подвиг.

— На что же-с! Мы только акции выпустим-с! — отвечает мужичок-финансист и затем начинает обстоятельно и толково объяснять сокровенную сущность проекта.

Я отнюдь не говорю и не думаю, чтобы у этого мужичка-финансиста была соломенная голова (я скорее готов назвать ее булыжниковою), но предоставляю читателю судить о тех, кто соблазняется проектами, до концепции которых он дошел собственным умом...

На днях я читал книгу Тено «Paris en Décembre 1851»[1] и убедился, что современный savoir vivre ведет свое начало из переворота 2 декабря 1851 года. Мало того: эта книга доказала мне, что истинный savoir vivre может быть иногда доведен даже до размеров полного свободомыслия.

Никто не станет отрицать, что Кавеньяк, Шангарнье, Шаррас, Тьер, Виктор Гюго и множество других жертв декабрьского переворота — люди умные и довольно проницательные. Многие утверждают, что они в этом отношении стоят даже выше, нежели какие-нибудь Морни, Сент-Арно и Мопа и другие герои того же закала, которые неведомо откуда взялись и расцвели в ночь с 1 на 2 декабря (в Тьере и Шангарнье

---

[1] «Париж в декабре 1851».

нельзя даже отвергать и замечательного savoir vivre). И вот, однако ж, эти внезапные выходцы неизвестности, эти простые люди, не знакомые ни с миром, ни с его ухищрениями, вдруг, в течение каких-нибудь нескольких часов, становятся выше, опытнее и дальновиднее тех, которые в продолжение многих и многих лет уловляли вселенную! Надо же, чтоб была какая-нибудь причина, объясняющая столь загадочное явление.

По моему мнению, такое извращение естественного порядка в деле уловления произошло единственно оттого, что ни Тьер, ни Шангарнье, ни Кавеньяк не умели возвыситься до того свободомыслия, до которого разом возвысились простые рыбари, никогда не стеснявшиеся никакими соображениями. Кажется, что может быть легче, как войти целой ордой в дом к спящему человеку и пришибить его, а кто же, кроме совершенно свободномыслящего человека, решится на такой подвиг? Что̀ может быть проще насилия, пошлее коварства, нахальнее необузданности, и между тем кто, кроме субъекта, вполне освободившегося от всяких нравственных обязательств, охотно согласится на такие поступки, которые повлекут за собой для него название человека коварного, нахального и необузданного? Все подобного рода действия не требуют ни ума, ни особенных способностей; единственное условие, которому они подчиняются,— это условие внезапности. Сюрпризы, изготовляемые при помощи savoir vivre, тем именно и благонадежны, что к ним нельзя приготовиться и что, следовательно, ни ум, ни проницательность, ни таланты — ничто не может устоять против них, ничто не может их отразить. Это своего рода кирпичи, внезапно сваливающиеся с крыши и сразу убивающие человека,— что̀ против них поделаешь?

«Сберегайте ваши силы и утомляйте силы обывателей». «По временам ушибайте, но делайте вид, что это произошло невзначай». «Обманывайте, обманывайте и обманывайте!» Ничего не может быть проще и даже глупее этих аксиом, но с тех пор, как они открыты, ка̀к прояснились наши понятия? какие обширные перспективы открылись перед нами! Мы нашли средство вывести эти аксиомы из той специальности, в которой они первоначально замыкались, и отыскивать для них такие применения, которые едва ли снились даже изобретателям их. Мы переносим эти аксиомы во всевозможные жизненные сферы, какие доступны нашему пониманию, мы видим в них не только идеал практической мудрости, но и единственное условие каких бы то ни было успехов. Мы обманываем, обманываем, обманываем...

С одной стороны — savoir vivre, с другой — толпа, до которой имеет дело этот самый savoir vivre. Ка̀к ни прост сей

последний, как ни ограниченны его цели, все-таки он знает, чего хочет, и, следовательно, обладает известною дозой решимости. Он тогда только и выходит, когда уже заранее определит и свои собственные позиции, и точку, в которую предстоит ему целиться. Совсем другой вид представляет толпа; как ни предполагайте ее проницательною, она уже по тому одному не в силах ничего предпринять, что не знает, откуда и какого рода камень будет в нее брошен. Она может выделять из себя великих и гениальных людей, она может совершать чудеса самопожертвования и доблести, но против неожиданностей и расставляемых ловушек ничего сделать не в состоянии.

На этом-то именно и основан весь расчет так называемого savoir vivre, и вот этот-то именно расчет и поняли в совершенстве так называемые соломенные головы.

Когда мы дойдем до той степени естественности и простоты взглядов, что, встречаясь на улицах, будем говорить друг другу:

— Поздравь меня, душенька! я только что, сию минуту, у Доминика пирог с прилавка благополучно стащил!

— Эка невидаль! А я вчера тридцать тысяч украл — и то никто не приметил!

Когда, говорю я, мы достигнем такого свободомыслия, что перестанем отличать свои карманы от чужих — тогда настанет для нас тот блаженный период, в котором нет ни правых, ни виноватых, ни злых, ни добрых, ни дурных, ни красивых, а существуют одни умелые люди.

Я не утверждаю, чтобы мы были очень близки к этой волшебной цели; но достойно замечания, что уже теперь, когда мы находимся еще на половине пути к ней, истинно умными людьми называются только люди умелые. Их одних ценят, одними ими дорожат. Все остальное, не подходящее к этому идеалу, составляет собрание так называемых têtes creuses[1], о которых не может быть даже помина, когда идет речь о развернутом фронте разнообразных актов нашего savoir vivre.

Мне кажется, однако, что мы могли бы иметь и еще больше успеха, если б действовали несколько смелее и увереннее. Нас смущает мысль, что мы все-таки не больше как les cadets de la civilisation[2] и что настоящих образцов даже в таком

---

[1] пустых голов.
[2] младшие дети цивилизации.

простом деле дать никому не можем. Французское мастерство продолжает застилать нам глаза и отнимает у наших попыток всякую оригинальность. В этом случае образованность и слишком большая начитанность, по моему мнению, даже вредны. Не будь у нас этой боязни идеалов, этого обожания чужой цивилизации, мы не падали бы в обморок при мысли: что̀-то скажут наши учители? — но устроивали бы свое дело собственными средствами, как бог на душу положит... И наверное делали бы много, прочно и хорошо.

Укажу, например, на следующее простое дело: украл человек сумму или, лучше сказать, не украл, а незаметным образом совершил экспроприацию. Факт, по-видимому, простой и совершенно безобидный,— и что̀ ж вы, однако ж, думаете? — поднялась какая-то разноголосица, устроился чуть ли не целый турнир! по поводу такого-то, ничего не стоящего факта! Одни говорят (к счастью еще, что случились люди вполне компетентные!): если украл — пускай пользуется! другие говорят: нет! воровать не позволяется, потому что таким манером скоро не будешь знать, целесообразно или нецелесообразно выходить на улицу одетым и иметь при себе платок?

— Этак, батюшка, куски изо рта вырывать будут! — говорили голоса более решительные.

— Так вы скорее глотайте! — возражали им голоса не менее решительные.

Я понимаю, что в вопросе столь великой важности подобный разлад совершенно уместен; тем не менее он все-таки настолько прискорбен, что служит почти единственною помехою для нашего поступания вперед. Если б мы были на этот счет согласны, если б мы один раз навсегда сказали друг другу: прочь сомнения! укравший — пусть пользуется; оплошавший — пусть вкушает плоды экспроприации! — нельзя даже исчислить, до каких геркулесовых столпов цивилизации мы могли бы дойти! Всякий, видя нас, говорил бы: вот люди, которые знают, чего хотят! вот люди, на которых можно положиться, как на каменную стену! Тогда как теперь, видя наши неурядицы, все говорят: вот слабое, преждевременно отжившее поколение, которое препирается даже насчет таких общеизвестных предметов, как экспроприация!

———

Нет; как ни несомненно мое уважение к старой бабушке, я ни под каким видом не могу согласиться с нею. Savoir vivre и мошенничество, может быть, две равно великие, но в то же время совершенно различные силы. Большая разница: *вырвать*

у ближнего изо рта кусок наглым образом — и *вынуть* тот же кусок так, чтоб никто не заметил; насколько первое зазорно, невежливо и оскорбительно, настолько второе естественно... почти законно!

Пускай огорченные идеологи ораторствуют насчет развращенности нравов; пускай какой-нибудь обозлившийся мизантроп провозглашает, что наше время может представить только ядовитые продукты умственного и нравственного гниения; скажем друг другу раз навсегда: это говорит зависть, ограниченное скудоумие — и затем станем дòбре.

На свете слишком много простосердечных людей, чтоб можно было допустить их невозбранно коптить небо. Пожалуй, они закоптят его так, что нам, людям умелым, нельзя будет прямо взглянуть на солнце. Этот народ плодущ и назойлив; его необходимо разрежать частью посредством водворения... в известных границах, частью посредством проглатывания. Только в этом разреженном состоянии можно допустить участие столь беспокойного элемента в общем жизненном хоре; только в этом виде он может быть рассматриваем не только как известный, не оскорбляющий слуха диссонанс, но даже как некоторая нелишняя поправка нашему слишком разыгравшемуся savoir vivre.

Нет спора, снисходительность и великодушие похвальны; но и они становятся приторными, как скоро употребляются без меры и несвоевременно. Время не терпит; каждая минута приносит за собой капиталы; нам предстоит шарить, хватать, глотать — а мы, вместо того, станем распускать слюни и слушать проповеди о воздержании и каких-то ядовитых продуктах нравственного гниения! Да поймите же наконец, до какой степени это несообразно и глупо!

Итак, будем великодушны, но в то же время и тверды. Пускай наша снисходительность умеряется бодростью и неуклонным шествием вперед. Сверх того, не станем стесняться чужими образцами, но изберем себе те пути, которые укажут нам наши собственные инстинкты любостяжания. И да не постыдимся.

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА

(по поводу «Золотой рыбки»)

Я люблю балет за его постоянство. Возникают новые государства; врываются на сцену новые люди; нарождаются новые факты; изменяется целый строй жизни; наука и искусство с тревожным вниманием следят за этими явлениями, дополняющими и отчасти изменяющими самое их содержание — один балет ни о чем не слышит и не знает; один балет с истинно трогательным постоянством продолжает возглашать: «Vive Henri IV!» [1], в то время, как Наполеониды...

Балет консерватор по преимуществу, консерватор до самозабвения. Он знает, что цветущее его состояние тесно связано с большею или меньшею солидностью тех краеугольных камней, которыми от времени до времени бросает в публику русская публицистика; он чтит эти камни, потому что они в лицах присутствуют в первых рядах партера, и охотно посвящает себя на служение им. «Пускай астрономы доказывают, что Земля вкруг Солнца обращается»,— говорит он и вместе с публицистами убеждает, что в балетно-благоустроенном мире никаких подобного рода стеснений допущено не может быть, ибо здесь все зависит от усмотрения балетмейстера. Вот первый краеугольный камень, связующий балет с консерватизмом.

Владычествуя запанибрата в сфере духов и видений, повелевая стихиями, распоряжаясь свободно течением небесных светил, балет, с тем вместе, возвышает ум и сердце человека. Это краеугольный камень нумера второго. Консерваторы любят парить духом и возноситься сердцем при виде порхающих балерин; они любят уноситься мыслью в трансцендентальные

[1] Да здравствует Генрих IV!

сферы при виде коротеньких газовых юбочек; они любят умиляться духом при виде маленьких ножек, которые поднимаются... поднимаются... С своей стороны, балет очень хорошо сознает благотворное действие, производимое им на консерваторов, и потому усугубляет свое служение консервативным началам до самоотвержения. В порыве преданности он делается даже либерален и, рискуя произвести в театре консервативную революцию, неустанно взывает к корифейкам: выше! выше!

Если б было достоверно доказано, что «духа долины» не существует — что̀ сталось бы с балетом? Если б явился новый Галилей, который перед зрителями первых рядов Большого театра выразил бы робкое предположение, что «пламя любви» есть не более как балетный предрассудок — что̀ сталось бы с консерваторами? И балет и консерваторы очень хорошо понимают, что в Галилеях заключается их погибель, и потому теснее и теснее скрепляют связующие их узы, давая торжественную клятву не иметь иной веры, кроме веры в «пламя любви», и не руководиться иными убеждениями, кроме убеждений «духа долины».

О Галилеи! найдется ли у вас достаточно сил, чтобы сокрушить этот крепкий балетно-консервативный союз?!

Но никогда еще единомыслие балета и консервативных начал не выражалось с такою яркостью, как в балете «Золотая рыбка», поставленном прошлого года на сцене петербургского Большого театра. Тут все, от первого до последнего антраша, с изумительною последовательностью, поставлено в явное противоречие не только с Галилеем, но даже с географией Арсеньева и историей Смарагдова (два авторитета, допускаемые даже консерваторами, конечно, не слишком рьяными). Но потому-то именно этот балет и получил такой необыкновенный успех. Консерваторы поняли, что он не только возвышает ум и сердце, но имеет еще весьма важное воспитательное значение, что он, убеждая зрителей незыблемо хранить веру в «духа долины», в то же время вырывает с корнем последнее зло, подрывавшее эту веру, и смелою рукою сводит «Географию» с ее пьедестала.

И в самом деле, что̀ такое «География»? География — говорит г. Арсеньев — есть землеописание. Несмотря на ощутительную загадочность этого определения, в нем чувствуется некоторая конкретность. Из-за «землеописания» выглядывают знакомые нам физиономии стран и народов, с их именами и историческими особенностями, а пожалуй, даже и с притязаниями. Консерваторскому чувству это противно. Консерваторское чувство желало бы, чтобы география была именно

только землеописанием и чтобы затем, перевернувши первую страницу, можно было сказать: ничего в волнах не видно! Поэтому консерваторы давно уже подозревали географию в неблагонамеренности и измене и даже пробовали, при помощи публицистов, пускать в нее краеугольными камнями довольно увесистого свойства, но до сих пор усилия их почему-то не имели надлежащего успеха. И вот эту бесценную услугу, которая оказалась не под силу даже русской публицистике, удалось оказать «великой консервативной партии» поборнику совершенно новому и неизвестному — одним словом, скромному балетмейстеру петербургского Большого театра г. Сен-Леону.

Но чтобы понять всю великость подвига, совершенного г. Сен-Леоном, необходимо рассказать здесь вкратце содержание измышленного им балета.

Действие открывается на берегу Днепра. По-видимому, такое определенное обозначение местности обнаруживает в авторе некоторое поползновение примирить балет с географией, но, в сущности, как увидим ниже, это с его стороны только хитрость. Г-н Сен-Леон, как опытный боец, знает, что к сильному врагу следует подходить с осторожностью, и потому на первых порах решается менажировать его. В действительности декорация представляет не Днепр, а реку Стикс, на берегах которой, в противность явному свидетельству мифологии, резвятся сказочные поселяне и поселянки. Эти простодушные дети природы, как и водится, препровождают время в плясках и играх. Почему они пляшут? Они пляшут потому, что налаживают сети, они пляшут потому, что готовят лодку, они пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве *должны* плясать. Выбегает Галя (г-жа Сальвиони) и машет руками, в знак того, что у нее есть старый муж, который только спит, а ее, Галю, совсем не утешает. Пользуясь сим случаем, поселяне пляшут опять. Этим временем Тарас закидывает сети в Днепр и вылавливает золотую рыбку, которая, однако ж, оказывается не рыбкою, а прехорошенькою девочкой. Тарас отпускает «рыбку» на волю, то есть не потрошит ее на уху, а бросает обратно в Стикс, и в благодарность за это получает от нее кучу раковин. «Лишь бы ты чего захотел,— говорит милая девица,— брось одну раковину в воду, и желание твое мигом сбудется». Затем, согласно с желаниями Тараса, начинается целый ряд превращений: сначала является новое корыто, потом новая изба и, наконец, боярские хоромы. Галя делается «боярыней» и приобретает себе в услужение пажа, в образе которого искусно скрывает себя та же золотая рыбка.

Свидетельствуюсь всеми историческими и географическими учебниками, принятыми в руководство и не принятыми

(апокрифическими), что в Днепре никогда и никто золотых рыбок не лавливал, а в особенности рыб, имеющих человеческий образ. Ходили, правда, слухи, что река эта населена русалками, а окрестности ее ведьмами, но ни Смарагдов, ни даже Кайданов никогда не признавали за этими слухами никакой достоверности. Сверх того, никто не вправе игнорировать, что вследствие распространения просвещения все эти дамы давно уже выдержали экзамены на домашних учительниц и, оставив прежние непроизводительные занятия, расселились по разным закоулкам нашего обширного отечества, где и проживают в качестве гувернанток. Г-н Сен-Леон, конечно, знает это, а ежели знает, то ясно, что слово «Днепр» употреблено им единственно в пику географии и с злостным намерением погубить ее до сих пор незапятнанную репутацию. И действительно, совершив это сокрушительное дело, г. Сен-Леон уже не стесняется никакими географическими терминами и прямо выводит зрителя на ровное место, где ничего не видно, а видна одна высь поднебесная.

Я нарочно наблюдал, в продолжение первого акта, за старичками-консерваторами, сидящими в первых рядах кресел. Сначала, при имени Днепра, их физиономии хмурились, но потом, по мере разъяснения дела, постепенно разглаживались; когда же золотая рыбка появилась в образе пажа, то уничижение географии явилось столь несомненным, что лица всех озарились сладкою консервативною улыбкою. Такому удовлетворительному результату немало, впрочем, способствовала г-жа Канцырева, игравшая роль золотой рыбки. Старички-консерваторы с нечеловеческим вниманием следили за каждым движением этого прелестного ребенка, и если бы не подагра, то, наверное, улетели бы вслед за ним в то время, как он исчезает в картонных волнах псевдо-Днепра.

Я совершенно понимаю порывы старичков. Г-жа Канцырева очаровательна, и не лететь за ней невозможно. Но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что старички сии, судя по совершенным их летам, занимают по малой мере места особ на заставах, команду имеющих, и 2) что с отлетом их остался бы неразрешенным вопрос о разных по части застав усовершенствованиях, я не могу в то же время не удивляться прозорливости начальства, которое, вместе с страстными порывами, снабдило старичков и подагрою.

Второе действие застает Галю боярыней. Но этого ей уже мало; в сердце ее роятся иные желания. Тут, как нельзя более кстати, врывается в комнату луч месяца («пускай астрономы доказывают! пускай доказывают!»), и глазам Гали представляется чудная картина: царица, окруженная блестящим дво-

ром. Декорация переменяется — и Галя царица! Сцена представляет парадные апартаменты во дворце, и перед изумленными глазами зрителей проходит великолепнейшая процессия. Процессия эта состоит исключительно из министров (по крайней мере, garde des sceaux[1] был тут наверное), и мне сдается, что присутствуй тут г. де Персиньи (до сих пор не могущий позабыть, что он совсем не Персиньи, а Fialin) или г. де Лавалетт, то они несомненно приняли бы эту сцену на свой счет. Министры подносят Гале корону, но она, припоминая из Кайданова, что «корона есть бремя», некоторое время колеблется. Тогда первый министр употребляет решительное средство, чтобы победить эти колебания; «помилуйте! да ведь это бумажный колпак!» — говорит он и, к общей радости остальных министров, достигает вожделенной цели. На сцене начинаются танцы, а за кулисами выкатывается бочка пенного для прочих балетных подданных.

Но, увы! Галя не оправдывает ни доверия, ни надежд своих подданных. Она, как женщина легкомысленная, сразу пускается в пляс и даже увлекает в оный четырех министров. Образуется прелестнейший pas de cinq[2], и Галя с удовольствием усматривает, что ее министры способны всякую реформу вытанцевать в лучшем виде, а со временем, быть может, будут в состоянии и couronner l'édifice.

Я опять взглянул на «старичков-консерваторов»: на сей раз они летели за г-жою Сальвиони. Вновь пришлось изумиться предусмотрительности начальства, снабдившего «старичков» подагрою; но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что в усовершенствованиях по части застав настоятельной надобности не предстоит и 2) что за сим к беспрепятственному отлету «старичков» за г-жами Канцыревой и Сальвиони никаких затруднений не представляется,— я не мог не сознаться, что даже для самой мудрой предусмотрительности имеются естественные пределы, преступать которые не надлежит.

Начинается третий акт, который есть не что иное, как организованная галиматья, а потому рассказать его содержание нет возможности. Замечательнее всего в этом акте появление «фантастического крестьянина» и полет г-жи Сальвиони на ковре-самолете...

Я в третий раз взглянул на «старичков-консерваторов», с намерением в третий раз удивиться предусмотрительности начальства, но, сообразив обстоятельства сего дела и имея в

---

[1] министр юстиции.
[2] танец пятерых.

виду: 1) что распределение человеческих немощей ни в каком случае от усмотрения начальства зависеть не может и 2) что засим всякое суждение об этом предмете по малой мере преждевременно,— *определил:* не давая ни ближайшего, ни дальнейшего развития размышлениям о «старичках-консерваторах», оные прекратить, предоставив, впрочем, их участь милосердию г-ж Сальвиони и Канцыревой.

Вот краткое содержание балета «Золотая рыбка», привлекавшего в Большой театр многочисленную публику. Я вполне понимаю цели, руководившие г. Сен-Леоном при сочинении этого балета, и даже безоговорочно одобряю их... Я уверен даже, что если б г. Сен-Леон мог разрешить корифеям и корифейкам говорить, то он непременно заставил бы их говорить по-гречески или по-латыни, все в видах достижения тех же консервативно-мифологических целей... Но я позволяю себе усомниться в одном: для чего тут необходимо посрамление географии? и действительно ли усматриваются в ней такие вредоносные начала, которые могут серьезно тревожить так называемую «великую консервативную партию»?

Положа руку на сердце, я отвечаю: нет, никаких вредоносностей за географией не водится! Говоря по совести, география, и в особенности «сокращенная», есть наука очень и очень полезная. С помощью ее можно во всякое время снаряжать экспедиции, заключать трактаты, расширять и исправлять границы, руководясь единственно одною удобностью. В этом смысле пользуются географией московские публицисты без всякого опасения — и что же? выходит хорошо! Потому что, не будь географии, мы именно блуждали бы, так сказать, в непрерывном ужасе. Задумавши снарядить экспедицию, мы не знали бы, куда ее снарядить; задумавши победить — не знали бы, кого победить; задумавши занять денег — засовывали бы руки совсем не в те карманы. Я уверен даже, что не только география, но и история, и арифметика, и самый «Домашний лечебник» кн. Енгалычева не суть вредны. Дело только в том, чтобы извлекать из них благопотребное, а непотребное отбрасывать и отсекать. Так, например: достоверно известно, что без помощи «истории» мы не имели бы понятия о многих полезнейших мероприятиях, а без твердого знания таблички умножения не могли бы вести правильный счет податям и повинностям. Посему опасаться географии нет основания; надо только быть твердым, а остальное приложится само собою.

Мне всегда казалось, что не тот истинный консерватор, который фанатически преследует географию, историю и арифметику, но тот, который усматривает в сих «кратких руковод-

ствах» полезные вспомогательные науки для сочинения руководящих публицистических статей. Не тот истинный консерватор, который заставляет танцовщиц поднимать ноги в видах посрамления арифметики, но тот, кто, с удовольствием взирая на порхающих корифеек, в то же время отчетливо сознает, что $2 \times 2 = 4$. Я сам пламенный консерватор; я сам искренно скорбел, когда крепостные мои мужички и т. д. Я сам питаю несокрушимую веру в «духа долины» и в «дочь фараона»; но вместе с тем я положительно хочу знать, в Рязани или в Пензе они привитают, и ежели мне отвечают на этот вопрос неудовлетворительно, то мысль моя мутится и самая вера охладевает.

Вопрос о примирении балета с консервативно-вспомогательными науками занимал меня не малое время. Проникнутый важностью этой задачи, я не ленился, как «раб лукавый», но старался доказать применимость моей мысли на практике и в порыве усердия не мало-таки перепортил бумаги. Сначала я сочинил балет под названием «Добродушный Гостомысл и варяги, *или* Всякое дело надо делать подумавши», но сообразил, что сюжет этот несравненно с большим знанием обрабатывается газетой «Москва». Потом сочинил балет под названием: «Административный Пирог, *или* Беспримерное объедение»; но один отставной цензор заверил меня, что постановка такого балета будет едва ли не преждевременна. Наконец, я остановился на третьем сюжете, который, по мнению моему, должен удовлетворить всем требованиям. Льщу себя надеждою, что представители санкт-петербургских театральных искусств оценят мои усилия и поставят на сцену балет моего сочинения с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ,
ИЛИ
ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ

Современно-отечественно-фантастический балет в 3-х действиях и в 4-х картинах.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Отечественно-консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова.

Обиралов, Дантист — наперсники и друзья Давилова.

Отечественный либерализм, скрывающийся под именем Хлестакова. Пасынок Давилова.

Госпожа Взятка, женщина уже в летах, но вечно юная.
Аннета Постепенная, молодая женщина.

Лганье Вранье Излишняя любознательность Чепуха	отечественно-анакреонтические фигуры.

Мужики. Полицейские солдаты. Внутренняя стража.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа обывателей, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Обыватели с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки!»

II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательною грацией ударяет Давилова пальчиком по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустною и в то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» — говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница возрождается на столе в прежнем виде. Давилов хочет устремиться за очаровательницею, но вместо того попадает пальцем в чернильницу. «Пойми!» — повторяет он в раздумье: что̀ хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратил в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов

долго еще не может прийти в себя и, беспрестанно повторяя «пойми!», устремляется к тому месту, где скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит:

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обладателем. Она почти не одета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот он прикасается уже к ее талии — как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в кармане Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердца начальников радуются, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист, в качестве корифеев.

V

«Спасибо, друзья!» — говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте в трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вдребезги и на столе опять появляется Аннета Постепенная. Она

по-прежнему стоит на одной ножке, но вид ее строг. «Слушай,— говорит она Давилову,— я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжаешь безобразничать с паскудною Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Хлестакова, или... ты погибнешь». Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. Картина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА II

Пустынное местоположение, отданное в надел крестьянам. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются публицисты:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!
Забубенные мы, ах, головушки!
А и нет у нас отца с матушкой,
А и есть у нас только детушки!
А и первой-ет сын несмысленочек,
А второй-ет сын да дурашливый,
А и треть-ет сын — хуже первого,
А четвертый сын — хуже третьего,
А и пятый сын — самый жалконький,
Самый жалконький, вовсе гнусненький,
И проч., и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три отечественно-анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание: — Я буду лгать умышленно! — говорит Лганье.— А я буду врать что попало! — говорит Вранье.— А я буду подслушивать,— скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторою завистью смотрят на нее.— Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня,— еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и этою приветливостью возвращает на лица собеседниц беспечное выражение.— Не станцевать ли нам что̀-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг

и начальник Хлестаков? — предлагает Вранье.— Пожалуй,— соглашается Лганье,— но где он так долго пропадает, бедненький? — Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну,— отвечает Излишняя любознательность. Начинается:

II

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь,— так танцует она,— я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимавшиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание публицистов. Однако я шла и озиралась: что, думала я, если меня поймают! Что̀ сделают со мной? закатают ли до смерти, или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? На верху неприступной скалы я увидала чертог, весь залитый светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? Я увидела Хлестакова, который, вместо того чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Постепенной!»

III

Протанцевав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Хлестаков ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала? зачем подглядывала?» — говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» — говорит Лганье и начинает:

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Хлестаковым и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей

трясины, я не вытерпело и подошло к нему.— Покровитель! — сказало я,— отчего так грустен твой вид? — Мой верный слуга,— отвечал он мне,— я грущу, потому что не знаю, какое сделать употребление из прекрасных способностей, которыми наградила меня природа!..— Тогда я предложило ему мой проект всеобщего оболгания, и...»

V

Но здесь Лганье останавливается, с непритворной грустью спрашивает себя: «Зачем лгать? Кого облыгать?» — и, в заключение, поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» — вступает в свою очередь Вранье и вслед за тем начинает:

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Хлестакова в самом оригинальном положении:

Он лежал, животом кверху, на берегу нашей трясины и грелся на солнце.— Что̀ ты, mon cher, тут делаешь? — спросило я его (ведь вы знаете, я с ним на «ты»),— и что̀ означает эта оригинальная поза? — Молчи,— отвечал он мне,— я сочиняю либеральные измышления! Ты знаешь,— продолжал он, после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз,— ты знаешь, друг, что я сделался руководителем по части отечественной благонамеренности... и... и...» — Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: «До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаю все ребра!»

VII

Протанцевав это, Вранье намеревается сделать антраша; но так как для всякого ясно, что все рассказанное им есть не что̀ иное, как сплошной вздор, то и Вранье не может воздержаться от горького вопроса: «Зачем я врало?» В негодовании на себя оно высоко поднимает одну ногу.

VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время каждый с одной поднятой ногой. В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами.— Вы совершили множество ненужных подвигов,— говорит она,— потому что с вами была я! — Начинается

Большой танец Чепухи

«До тех пор,— танцует она,— покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в кадетском корпусе, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы, единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это — излишняя любознательность, вот это — постыдное лганье, а это — безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня,— и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясину; везде я застигну вас и буду руководящим началом всех ваших действий! Вы спросите, быть может, зачем я это делаю?..»

IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается

Танец Четырех Поднятых Ног,

который прерывается

Чрезвычайным полетом публицистов,

как бы возвещающим прибытие некоторых важных незнакомцев. Незнакомцы эти суть не кто иные, как Давилов и Хлестаков. Они проходят с поникшими головами через сцену и скрываются в секретную хижину. Публицисты свищут: «Вот они! вот наши благодетели!»

КАРТИНА III

Внутренность секретной хижины

I

Давилов и Хлестаков предаются воспоминаниям. Оба растроганы.— Сколько лет я томился в изгнании! — говорит Хлестаков.— Оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству! — Прости меня, мой друг! — отвечает Давилов,— ведь я думал, что ты либерал! — Как «либерал»? но теперь, в сию минуту, разве я не либерал? — Кхе-кхе! — делает Давилов.— Так позвольте вам сказать, милый папенька, что вы не понимаете, что̀ такое либерализм! — Сказавши эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а публицистам приказывает свистать. Начинается

Большой танец Отечественного Либерализма

«Что̀ такое либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделываю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Ка̀к она угодна нашим нравам и ка̀к мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали,— даже пороха! — но выдумали «либерализм» и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления... И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы — есть удел человека в сей юдоли плача!»

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель публицистов

II

— Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть что ты благороднейший юноша, хотел я сказать! — говорит Давилов,— и потому вот чтò я придумал: забудем прошлое и заключим союз! — С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен.— Слушаю тебя с величайшим вниманием.— Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою *(отрицательное движение со стороны Давилова)*... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, чтò тебе дорого, не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь, сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый малоумный человек — и тот понимает под Взяткою чтò-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: «вот взяточник!» и никто не скажет: «вот либерал!» До сих пор ты брал взятки и давил... продолжай и на будущее время! но делай так, чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым! — Стало быть... потихоньку можно? — робко спрашивает Давилов.— Потихоньку... можно; *(с жаром)* все потихоньку можно! — Ну-с... второе условие? — Второе условие — удали из числа твоих приближенных Чепуху! — Эту за чтò ж? — Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марает отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи — никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду; она отравляет все наши действия... она делает невозможною... систему! Наконец, сознáюсь ли тебе? Я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой степени от Чепухи! — Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из бед? — Это нужды нет; отныне, вместо Чепухи, тебя должна спасать Неуклонность...

Начинается

Большой танец Неуклонности,

который отличается тем, что его танцуют, не сгибая ног и держа голову наоборот.

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время публицисты чистят носы, как бы приготовляясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: — Третье условие — ты должен уметь танцевать «танец Честности».

Начинается

Большой танец Честности,

во время которого публицисты поют:

Ах, когда же с поля чести
Русский воин удалой...

Но «танец Честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно понуждает Хлестаков свои ноги; напрасно публицисты то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соответствие с их покровителями,— ничто не помогает. Опечаленный неудачею, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: Все равно, будем вместо этого танцевать

Большой танец Благонамеренности,

который и танцует, под свист публицистов, поющих:

По улице мостовой...

IV

— Это все? — спрашивает Давилов.— Покамест все, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата.— Согласен! — В таком случае идем в секретную комнату...

Открывается трапп, и друзья исчезают. Публицисты поют:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА IV

Прелестное местоположение: в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи:

Хлестаков и Давилов; асессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется; но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху учинить от следствия и суда свободною и допустить по-прежнему в число анакреонтических фигур». В народе раздаются клики восторженной радости; судьи взволнованы. Затем происходит

Шествие во храм Славы.

Дошедши до порога храма Славы, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны, Взятка и Аннета Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают двойную фамилию Взятки-Постепенной. Начинается

Апофеоз.

Хлестаков-Давилов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, публицисты, фотографы и стража. Перед Хлестаковым-Давиловым, на коленях, Взятка-Потихоньку-Постепенная на бархатной подушке преподносит кованный из золота герб рода Хлестаковых-Давиловых —

Римский огурец.

Народ в упоении пляшет; однако порядок не нарушается, потому что из-за кулис выглядывают будочники.

Занавес падает

ХИЩНИКИ

Пою похвалу силе и презрение к слабости.

Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. Я видел разумные существа, которые, зная, что в данную минуту их ожидает истязание или позор, шли *сами,* шли *собственными ногами,* чтоб получить это истязание или позор. Я видел глаза, которые ничего не могли выражать, кроме испуга; я слышал вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кроме физической боли; я был свидетелем зверских вожделений, которые разгорались исключительно по поводу куска хлеба. В этом царстве испуга, физического страдания и желудочного деспотизма нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Надеюсь, что это своего рода отправный пункт, и притом достаточно твердый, чтоб дать мне право, с некоторым знанием дела, говорить о том, какое несомненное значение имеет в жизни сила и ка̀к ничтожна и даже презренна, в соседстве с нею, слабость.

Да и не я один; мы все, сколько нас ни есть, все не свободны от этих привидений прошлого; для всех они составляют неотразимый отправный пункт. Они до такой степени залегли в основу всего нашего бытия, что мы не можем сделать шагу, не справившись с ними. Мы охотно называем их призраками (от призраков все-таки до известной степени освобождает время); но нет, это даже не призраки. Это что-то такое, до того соприсущее нам, так могущественно окрашивающее всякий поступок наш, что свет самый яркий, заклинания самые страшные оказываются ничтожными, чтоб отогнать чудовище,

гонящееся за нами по пятам. Мы напрасно будем бороться с ним, напрасно будем поднимать бессильные руки, чтоб поразить его: мы ничего не достигнем, не поразивши наперед самих себя. Придут иные люди, которые познают иную истину, произнесут иное слово; но мы, люди предания, люди роковых воспоминаний, мы не знаем другой истины, не произнесем другого слова, кроме: да торжествует сила и да погибнет слабость! Одни из нас произнесут это слово с горечью, другие с самодовольством, но даже те, которые искренно почувствуют прилив негодования при этих словах, должны будут в полной мере смириться перед горьким смыслом, скрывающимся в них, и без оговорок признать обязательное их значение. Что̀ пользы в негодовании и злобе, когда над нами тяготеет фатализм? когда мы сами не верим творческой силе этого негодования? когда мы ничего не можем, ни перед чем не дерзаем?

Я никогда не видал, чтобы баран охотно шел не только на бойню, но даже вообще куда бы то ни было, куда ему идти не хочется. Обыкновенно, когда желают получить хорошие котлеты, то барана волоком волокут к месту избиения, и никто не внушает ему при этом, что существует на свете какое-то отвлеченное понятие, в силу которого он в данный момент должен не упираться, а устремляться. Баран совсем не настолько прост, чтоб поверить подобным внушениям. Тем не менее не может подлежать сомнению, что такие понятия существуют, что они заставляют существа гораздо более разумные двигаться и производить такие действия, которые прямо противоположны не только их выгодам, но даже простому чувству самосохранения. Но, может быть, скажут мне: потому-то эти существа и двигаются, что они разумные? Да̀; может быть, и так; но в таком случае невольно спрашиваешь себя: сквозь какое наслоение горечей, недоумений и нравственных противоречий нужно было пройти, чтоб получить в результате чудовищную бессмыслицу, дающую право гражданства косвенному самоубийству? сколько напрасных подвигов требовалось, чтобы добровольно перепутать все понятия и извратить все инстинкты?

И тем не менее сила всегда была силою, даже во времена самого глухого крепостничества. Человек, державший камень за пазухой, всегда сознавал себя бодрее и безопаснее, нежели тот, кто прямо живьем отдавался в руки. Конечно, в то время и с самым сильным человеком можно было поступить на всей своей воле; но все-таки требовалось застать его врасплох, подойти к нему сзади, а у большинства рыцарей безнаказанной оплеухи даже на это не ставало ни терпения, ни сноровки. Слабого же человека можно было перевернуть вверх дном во

всякое время и без малейших сноровок. Понятно, почему борьбе с слабостью всегда отдавалось предпочтение.

Собственно говоря, тут даже и борьбы не было, потому что бороться с слабостью, по малой мере, столь же легко, как и ломать растворенную настежь дверь или брать приступом крепость, не защищаемую никаким гарнизоном. Сколько легчайших триумфов можно одержать в самое короткое время! сколько одержать блестящих побед! Будь дверь несколько приперта или, по крайней мере, заронись в нас убеждение (положим, даже ложное), что она приперта,— очень может статься, что мы и не подошли бы к ней. «Кто знает, что̀ там, за этою дверью?» — сказали бы мы себе и благоразумно прошли бы мимо. Много-много, что поскрипели бы зубами. Тогда как дверь, отворенная настежь,— ведь это явный, организованный расчет на нашу храбрость, ведь это прямое приглашение войти и распорядиться! Ка̀к воздержаться тут? Ка̀к не размахнуться на существо, которое столь радушно пригибается для получения ожидаемого удара?

Мы каждоминутно, сами того не замечая, давим ногами и, следовательно, лишаем жизни множество мельчайших организмов, которые пресмыкаются на пути нашем, и нимало не формализируемся этим. Это одно уже доказывает, как гнусна слабость и как мало она имеет прав на существование. А так как это факт глухой и неотразимый, так как мы на слонов не наступаем, а наступаем именно и исключительно на одних букашек, червей и других пресмыкающихся, то очевидно, что в этом факте мы почерпаем для себя право выводить всякие дальнейшие заключения и сравнения. Но главное заключение будет все-таки таково: слабость презренна, и потому для нее нет места в мире. Все остальные выводы и сравнения будут только более или менее остроумными вариантами на эту главную тему.

Сам наступай, сам дави — кто же мешает тебе? — вот резоннейший из всех уветов, какие мне когда-либо случалось слышать по этому поводу. Ежели Петр и Павел сильны, отчего же ты, Иван, слаб? В самом деле, отчего ты слаб, несчастный Иван? Клянусь, что ты сам никогда не разрешишь этой задачи! Но ежели ты не умеешь даже догадаться, в чем тут сущность, то естественно, что должен и вкушать плоды своей недогадливости.

Все это очень логично. Это тот же дарвинизм, только переложенный на русские нравы и прикрытый российским вицмундиром. Но когда я помышляю об этом неупустительном применении законов борьбы, не знаю почему, мне вдруг делается совестно. За кого совестно? за тех ли слабых и безоружных,

которых мы безнаказанно топчем ногами? — Нет, не за них! Эти мелкие козявки погибают так скромно и неслышно, что даже малейшим писком не дают повода для проявления каких бы ни было чувств по случаю их погибели. И рад бы пособолезновать, да не знаешь об чем... Да, за них стыдиться и краснеть нечего. Их назначение было погибнуть, и они исполнили его честно. И тем не менее стыд все-таки остается стыдом. Он покрывает пурпуром щеки, он заставляет опускать глаза. По поводу чего же?

Мне кажется, что тут играют роль не столько участвующие в споре стороны (даже сами триумфаторы тут едва ли при чем-нибудь состоят), сколько нравственная сущность вопроса... А кроме того, быть может, немалое значение имеют и некоторые этимологические затруднения, которые возникают при этом. Станешь придумывать, например, каким именем назвать эти странные отношения, вследствие которых ломать отворенную дверь признается более уместным и целесообразным, нежели ломать дверь, замкнутую на запор,— и не придумаешь... И застыдишься.

Те, которые говорят: зачем напоминать о крепостном праве, которого уже нет? зачем нападать на лежачего? — говорят это единственно по легкомыслию. Хотя крепостное право, в своих прежних, осязательных формах, не существует с 19 февраля 1861 года, тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках. Все, на что̀ бы мы ни обратили наши взоры, все из него выходит и на него опирается. Из этого живоносного источника доселе непрерывно сочатся всякие нравственные и умственные оглушения, заражающие наш воздух и растлевающие наши сердца трепетом и робостью.

Хищничество — вот наследие, завещанное нам крепостным правом; вот стихия, которая движет нами, перед которою мы пресмыкаемся и раболепствуем, которую мы во всякую минуту готовы обожествить. Прежние пресловутые поговорки вроде: «с сильным не борись», «куда Макар телят не гонял», «куда ворон костей не заносил», несмотря на их ясность и знаменательность, представляют лишь слабые образчики той чудовищной терминологии, которую выработало современное хищничество. Эта терминология — вся сплошь какое-то дикое, озлобленное цырканье, в котором нельзя отличить ни одного членораздельного звука, но которое и во сне заставляет нас

цепенеть... А еще говорят: нет крепостного права! Нет, оно есть; но имя ему — хищничество. Это единственная сила, притягивающая к себе современного человека, это единственное понятие, насчет которого не существует разногласия.

Везде, где мы замечаем хищничество, мы встречаем его уже организовавшимся, представляющим нечто солидное, способное и нападать и защищаться. Правда, это организация не очень мудрая (взял в руки жердь — махай ею направо и налево!), но ведь там и не требуется мудрости, где галушки сами собой в рот лезут. Тут нужно только как можно чаще разевать пасть и проглатывать. Напротив того, слабость не только зарекомендовывает себя полною неспособностью к организации, но, сверх того, почти всегда является деморализированною. Все хитрости, на которые она по временам поднимается, все уступки, которые считает нужным делать,— все это не только не спасает ее от когтей хищничества, но даже укрепляет последнее, дает ему новое оружие. «Эге! так ты еще извиваешься! так тебе в петлю-то лезть не хочется! погоди же, я тебя оглушу!» — так хихикает злорадное хищничество и затягивает да затягивает понемножку мертвую петлю, от которой столь неискусно отбивалось обезумевшее от страха бессилие. И вот в результате оказывается, что разумнее и даже расчетливее поступает та слабость, которая не хитрит и не уступает, а прямо просовывает голову в петлю... Сознание страшное, но, по крайней мере, оно находит для себя смягчающее обстоятельство в том, что при существовании его не представляется слишком легкого повода для дешевых издевок.

Увы! в этом случае, как ни кинь, все будет клин. И слабость извивающаяся, и слабость, отдающаяся живьем,— все на руку хищничеству, все укрепляет и украшает его! Не знаешь даже, чему отдать преимущество. Вы можете иметь бесчисленное множество камней за пазухой и все-таки ни одним из них не воспользуетесь. И не только не воспользуетесь, но постараетесь как-нибудь незаметным образом их обронить. Полезно было бы даже, если б вы заранее убедились в неизбежности этого результата запазушных камней, потому что это убеждение избавит вас от потери времени и от лишних бесполезных движений. Что̀ пользы в резонах, доводах, убеждениях? Если вы обладаете ими, то постарайтесь забыть об этом, постарайтесь обронить ваш умственный капитал так, чтобы никто этого не заподозрил. Хищничество не внимает и не убеждается, но раздражается и поступает.

В этом весь секрет хищничества, что оно не внимает, а *поступает;* в этом вся выгода его позиции. Если оно и встречает

случайный отпор, то и тут не останавливается и не старается одолеть его, но идет далее и ищет добычи в другом месте. Жертв так много, что формализироваться и умерять свой бег из-за одной, почему-то не сразу отдающейся жертвы совершенно неблагоразумно. Хищничество знает, что когда-нибудь оно все-таки воротится к прежнему месту, подойдет сзади, застигнет врасплох и ударит-таки жердью неподающееся сразу бессилие. Это своего рода охота, в которой выражение «не застрелил!» вовсе не означает буквально «не застрелил!», а только «на первый раз промахнулся», или «не успел застрелить».

Объясню примером, как выгодно иногда бывает не внимать и не резонировать, но прямо поступать.

Когда-то была у меня знакомая барыня. Это была женщина избалованная и несомненно легконравная. Тем не менее в ней еще сохранились, по-видимому, некоторые смутные представления, которые до известной степени сдерживали ее и препятствовали слишком нерасчетливому применению теории laissez faire, laissez passer к такому щекотливому делу, как вольное обращение. Очень может статься, что это было с ее стороны и неискренно, но, по мнению моему, есть случаи, в которых ограничение проявлений искренности не только не оскорбляет человеческой совести, но даже настоятельно требуется ею. Взирая на эту женщину, я говорил себе: вот субъект достаточно развращенный, но я все-таки рад, что она сознает необходимость сдерживать себя, потому что это доказывает, что и для нее еще есть возможность возврата. Точно так, как, взирая на человека, внутренно стремящегося произвести заушение, но воздерживающегося от того, я всегда говорю: конечно, этот человек из насилия сделал руководящий закон всего своего существования, но я все-таки рад, что он сдерживает свои порывы, потому что это доказывает, что и относительно заушений может существовать некоторая спасительная препона...

И вот эту-то самую женщину я встретил на днях ночью на улице. Она шла не совсем твердо, но смело и бойко смотрела в глаза проходящим.

— Ну, что̀? ка̀к живется? — спросил я ее.

— Как видишь... бодрствую!

— Как же это, однако? — вновь начал я, недоумевая,— ночью? на улице?

— И ночью, и днем, и во всякое время... дурак!

Только тогда я понял, только тогда я сказал себе: вот женщина, вступившая на тот самый путь, на котором не внимают, но поступают!

Не знаю почему, но, когда я сталкиваюсь с современным хищничеством, мне невольно припоминается эта странная ночная встреча на улице. И в самом деле, сходство положений поразительное. Вся внешняя форма осталась; как будто даже сохранился и прежний человеческий облик; утратился только стыд — и что ж? Пропал стыд — пропала и потребность внимать; а если пропала потребность внимать, то, стало быть, ничего более не осталось, как поступать, поступать и поступать.

Благо тому, кто сумеет достигнуть этого ясного воззрения на мир; благо тому, кто найдет в себе достаточно силы, чтобы в упор сказать проходящим: «презирайте меня! я настолько усовершенствовался, что даже более чем готов!» Этот счастливый смертный может быть твердо уверен, что он-то и есть тот самый бодрый духом субъект, которого ни оплевать, ни презреть никто не посмеет!

По-видимому, слабость так сама по себе неинтересна, что хищничеству положительно нет даже повода обращать на нее внимания. Есть, однако ж, причины, которые объясняют это внимание довольно удовлетворительно.

Первая причина — опасение совместничества. Как ни чахлы куски, выпадающие на долю бессилия, как ни мало опасности представляют сами бессильные, хищничество не забывает, что мир, в котором оно действует, есть мир фантастический, богатый всякого рода сюрпризами. Уроки, вынесенные из крепостного права, до того вошли в общественную совесть, что представляют руководящий кодекс не только для хищничества, но и для бессилия. Нет той невозможности, которая не казалась бы возможною в этой темной области чудес. Отсюда — необходимость предупредить эту возможность и сделать бессилие настолько очевидным для себя самого, чтобы самая мысль о сюрпризах представлялась ему не иначе, как в виде диавольского искушения.

Очень часто, рассматривая какой-нибудь отдельный факт, в котором бессилие играет свою обычную роль оглушаемого, и не умея себе объяснить, какую выгоду извлекает хищничество из своего систематического преследования слабости, мы склоняемся к мысли, что оно действует в этом случае просто с жиру, из одного бескорыстного желания поиграть локтями.

— Жигнули!

— Поджарили!

— В лоск разорили!

Вот современнейший из всех современных разговоров, который на каждом шагу поражает наш слух. Прислушиваясь к нему, мы приходим в недоумение. Мы спрашиваем себя, что̀ сотворил сей человек, которого «жигнули», «поджарили» и «разорили», и, по собрании справок, убеждаемся, что человек этот — простой смертный, наряду с прочими унавоживавший вселенную. «Просто бесятся наши хищники от прилива праздности!» — восклицаем мы, думая разрешить этим восклицанием наше недоумение.

Но это только обман чувств, или, лучше сказать, следствие нашей неспособности обобщать факты. Из того, что в данном случае хищничество действует, не обнаруживая непосредственного расчета, отнюдь нельзя выводить заключения об его действительной нерасчетливости. Оно бьет тот или другой экземпляр бессилия совсем не потому, чтоб это составляло для него наивное и бесцельное препровождение времени, а потому, что этот экземпляр есть представитель целой породы, которая руководствуется все теми же обычаями щучьего веленья, которыми руководствуется и хищничество. Избивая данный экземпляр, оно в то же время косвенно избивает породу и таким образом блюдет за неприкосновенностью кусков.

Но есть и другая причина, побуждающая хищничество интересоваться слабостью. Это — брезгливость относительно всего, что не носит на себе печати изящества. Чем выше мы поднимаемся по ступеням цивилизации, тем более развивается в нас чувство изящного, чувство комфорта. Мы не только желаем сидеть, ходить и ехать удобно, но требуем, чтобы при отправлении всех этих удобств ничто не оскорбляло нашего зрения, не резало нашего слуха, не смущало спокойствия нашей души. Недаром в благоустроенных населенных центрах не терпят присутствия нищих на улице; недаром учреждают комитеты для разбора и призрения их. Это делается совсем не из непосредственного участия к нищим, а для того, чтоб они не оскорбляли взоров людей, удобно идущих и едущих, чтобы несвоевременною своею назойливостью не отвлекали их от целей, которые они преследуют. Хищничество знает это общее правило благоустройства городов и селений и применяет его к своим потребностям. Хищничество — это, так сказать, высшая ступень цивилизованного комфортолюбия. Всякая фальшивая нота неприятно звучит в его ушах, всякий болезненный вопль заставляет оглядываться. Но спрашивается: найдется ли в мире предмет, который был бы фальшивее и болезненнее бессилия? Есть ли в природе зрелище, которое возбуждало бы более презрения и даже справедливого негодо-

вания, нежели зрелище бессильного человека, который сидит, ходит, ест и вообще производит всякие отправления, как будто он и в самом деле не гадина, а человек, имеющий право дышать воздухом и пользоваться лучами солнца!

— Представьте себе, ведь еще вздумал упираться, гадина! — говорил мне однажды некоторый молодой хищник, рассказывая историю своей расправы с какою-то очень ничтожною и безответною козявкою,— мы его, знаете ли, за волосы,— так нет! корячиться вздумал... клоп постельный!

Я взглянул хищнику в лицо, оно пылало таким искренним негодованием, что мне сделалось жутко.

— И он вас очень больно укусил... этот клоп? — спросил я не без волнения.

— Кто укусил? кого укусил? кто вам говорит, что укусил? — напустился он на меня,— разве эта мерзость кусает? ее нужно истреблять... потому... потому...

Он не мог докончить, потому что негодование сковывало его мысль, сдавливало горло и задерживало там приличные случаю выражения.

А говорят, что крепостничество умерло и погребено. Каким же именем следует назвать явления, только что нами описанные и несомненно существующие?

Это именно самый любопытный момент в истории развития хищничества, тот момент, когда оно не только поступает, но и сентиментальничает, то есть выставляет на вид свои добродетели.

Если б кто-нибудь написал книгу «Избранные анекдоты из жизни Картуша» и рассказал бы в ней, как этот знаменитый муж, обобрав некоторого субъекта, не только не извинился перед ним, но даже рассердился за то, что тот не поблагодарил его, то всякий, конечно, назвал бы такой рассказ небылицею. Картуш не мог заявлять подобных претензий уже по тому одному, что у него не было для того лишнего времени. Что̀-нибудь одно: или платки воровать, или пускаться в сердечные излияния.

Но если я расскажу нечто подобное о современном хищничестве, то не только не буду в противоречии с истиной, но, напротив того, констатирую одну из самых существенных черт этого интересного явления.

Хищничество идет дальше какого-нибудь презренного Картуша; оно грабит, разоряет и уязвляет и в то же время находит справедливым, чтобы в уязвляемом субъекте играло

сердце. Оно любит видеть лица довольные, и ежели факты не соответствуют его ожиданиям, то укоряет в неблагодарности и нераскаянности.

Оно смотрит на свои подвиги, как на «науку». Этот взгляд есть также несомненное и прямое наследие крепостного права. Мы все помним, как секли и истязали и вслед за тем заставляли целовать истязующую руку. Это называлось «благодарить за науку». Благодарящий обязывался иметь вид бодрый и напредки готовый, так как в противном случае он рисковал возбудить вопрос: «эге, брат! да ты, кажется, недоволен!» Опаснее этого вопроса ничего не могло предстоять, ибо с той минуты, как он возникал, обвиняемый навсегда поступал в разряд нераскаянных и неисправимых.

Что̀ такое нераскаянность? — нераскаянность есть то самое состояние человеческого сердца, в котором находится, например, лакей, не вычистивший барских сапогов и не чувствующий при этом угрызения совести.

Повторение или ряд такого рода нераскаянностей составляет то, что̀ мы называем неисправимостью.

В бывалые времена, если нераскаянность и неисправимость свивали себе гнездо в сердце меньшего брата, то это неизбежно доводило сего последнего или до ссылки в Сибирь, или до отдачи в солдаты. Иногда, впрочем, нераскаянных отдавали в пудретное заведение.

— Не то, сударь, больно, что сапоги третий день стоят нечищеные! важно ожесточение, важна нераскаянность!

Такого рода прибаутками отшучивались мы в былые времена, когда делали распоряжение об исправлении меньшего брата на конюшне и желали придать этому распоряжению некоторый лоск законности.

Бывают минуты в жизни обществ, когда особенно много является нераскаянных. Одним из таких моментов были месяцы, непосредственно предшествовавшие упразднению крепостного права. В это достопамятное время нераскаянных толпами приводили в губернские правления и рекрутские присутствия; пудретные заведения тоже были переполнены. И если б правительство не приняло мер, то легко может статься, что вся Россия попала бы в разряд нераскаянных.

— За что̀ их ссылают? — спрашиваешь, бывало, какого-нибудь доверенного холопа, пригнавшего в город целую деревню нераскаянных (в то время «нераскаянный» меньший брат пригонялся вместе со всеми нераскаянными домочадцами и даже с нераскаянными грудными младенцами; на месте оставлялось только нераскаянное имущество, то есть дома и скот меньших братьев).

— За ихнюю нераскаянность-с... Потому, значит, помещик им добра желают-с, а они этого понять не хотят.

— Что̀ же, однако, они сделали?

— Секли их, значит... ну, а они, заместо того чтоб благодарить за науку, совершенно, значит, никакого чувствия...

Это было последнее слово крепостного хищничества. Получай в зубы, и да величит душа твоя. Это же последнее слово и хищничества современного.

Я мало чему удивляюсь, мало от чего прихожу в негодование. Когда на моих глазах из моего ближнего выпускается известная порция сока, зрелище это не производит во мне нервной дрожи, но только заставляет зажмурить глаза и поскорее пройти мимо. Я слишком хорошо затвердил изречения «не ваше дело» и «вас никто не спрашивает», чтоб не принять их к непременному руководству и исполнению. Но, признаюсь, учение, в силу которого истязуемый субъект обязывается не только с кротостью принимать побои, но и производить по этому поводу благодарные телодвижения, всегда поражало своею смелостью. Мне кажется даже, что ежели в основании его и лежит известная доля истины, то все-таки пропагандировать его следует как можно осторожнее, ибо не всякий подобную истину может вместить.

Мне очень часто случалось вести об этом предмете очень поучительные разговоры с людьми сведущими и опытными.

— Послушайте! — говорил я,— как хотите, а я решительно понять не могу, зачем вы требуете, чтоб у меня сердце играло, когда вы производите надо мной опыты истребления насекомых? Я согласен, что вы имеете за себя право хищничества — ну, и пользуйтесь им, как заблагорассудите! Хлопайте, отравляйте, упраздняйте — но к чему же нужна вам моя благодарность? что̀ может прибавить к вашему благополучию веселие моего сердца?

— Гм... а понять, однако, не трудно!

— Растолкуйте, пожалуйста!

— И растолковать не трудно. Вы, может быть, слышали, что есть на свете вещь, которая называется строптивостью? Это та самая, которую необходимо истребить. И только.

Да, и только. Если у вас вынимают из кармана платок, спешите показать вашему вору вид, что вы очень счастливы: тогда, быть может, он даст вам другой, похуже. Но боже вас сохрани прийти в негодование и закричать «караул!» — вор непременно рассердится и снимет с вас, за грубость, и сюртук.

Тем не менее я позволяю себе думать, что эта требовательность хищничества не только излишня, но даже свидетельствует о какой-то чрезмерной изнеженности. Оскорблять чело-

века и в то же время хотеть, чтоб он не оскорблялся — помилуйте! да ведь в этом даже нет смысла, потому что тут одна половина предложения явно противоречит другой. Только слишком избалованный человек может с столь безумной отвагой предаваться подобным капризам мысли; только слишком забубенная и крепко выкованная голова может их выносить, не ощущая при том ни малейшего беспокойства. Ужели же вы не чувствуете, о, хищники! что тут есть провал, что в этом предложении потерян целый член, отсутствие которого даже препятствует образованию правильного силлогизма?

Или, быть может, вы и чувствуете это, да говорите себе: ну, что ж, и пускай будет провал! чем больше бессмыслицы и провалов, тем меньше строптивости, тем менее разговоров!

Правильно.

Ты несомненно ошибешься, читатель, ежели применишь написанное выше к той или другой общественной сфере, к тому или другому общественному классу. Я совсем не Петров и Иванов имею в виду, и даже не статских и коллежских советников (хотя многие из них небезынтересны), а вообще *весь* общий строй современной жизни, в котором действующими лицами могут найтись и Петры, и Иваны, и статские, и всякие другие советники. *Всю* общественную ниву заполонило хищничество, *всю* ее, вдоль и поперек, избороздило оно своим проклятым плугом. Нет уголка в целом мире, где не раздавались бы жалобы на упадок жизненного уровня, где не слышалось бы вопля: нет убежища от хищничества! некуда скрыться от него! Головы несомненно медные — и те тронулись им, и те поняли, что слабость презренна и что только сила, грубая, неразумная сила имеет право на существование. Повсеместно идет чавканье и заглатыванье, а челюсти так торопливо работают, что поневоле становится холодно. Невольно спрашиваешь себя: что̀ же будет, когда хищники переедят всех слабых и ни одного из них не останется налицо, чтобы ответить на мучительные и всеминутные запросы плотоядности? ка̀к поступят они? начнут ли рвать за горло друг друга или же сочтут свою миссию оконченною и положат зубы на полку?

Вопрос этот так заинтересовал меня, что я счел нелишним предложить его на заключение глубокомысленному моему другу, Феденьке Козелкову.

— Ка̀к ты думаешь, друг мой,— спросил я его,— когда вы переедите всех мирно удобряющих землю обывателей, как поступите вы?

Феденька временно затруднился, однако ж не отказался от разрешения вопроса.

— Думаю,— отвечал он,— что тогда мы начнем есть друг друга... потому что... ты понимаешь... без пищи...

— Позволь, однако, мой друг! Знаю я, что без пищи неловко, но ведь вы и друг друга в конце концов поедите — что̀ же тогда?

— Но ведь кто же нибудь да останется! — рассудил он,— и я полагаю, что судьба этого оставшегося будет не из плохих...

— Глупенький! да ты предположи, что этот оставшийся — ты! Что̀ ж ты делать будешь? ведь ты всех переешь, ты даже Деверию съешь — куда же ты денешься?

Эта мысль видимо изумила Феденьку; в его глазах блеснул почти луч мысли. Опасность, которую я так неожиданно раскрывал перед его умственным взором, расположила его сердце к благодарности, так что он, после некоторых колебаний, решился даже пожать лишний раз мою руку (один бог только знает, как он расчетлив на эти пожатия!).

— Во всяком случае,— сказал он мне,— догадка твоя весьма остроумна и стоит того, чтоб над ней поработать! Было бы более нежели прискорбно, если б я... или кто-нибудь другой (прибавил он скромною скороговоркой)... был вынужден на такую печальную и радикальную меру, как...— Он остановился, видимо затрудняясь...

— Как съесть Деверию? — выразил я его мысль.

— Ну да... ты понимаешь... есть такие предметы, по поводу которых без боли нельзя даже приподнимать завесу будущего!

Однако он ее приподнял, эту завесу. Спустя несколько дней, встретившись со мною, он сказал:

— Знаешь ли, я много думал о том, что мы в последний раз говорили с тобой и пришел к такому результату: да, мы *должны* будем временно положить зубы на полку! И сверх того,— прибавил он,— озаботиться об умножении народонаселения!

Как ни проста (почти даже глупа) форма, в которой выразилась мысль Феденьки, я нашел, однако ж, что она не только справедлива, но даже обнаруживает замечательную желудочную предусмотрительность. Чтоб убедиться в этом, я счел необходимым несколько испытать моего юного друга.

— Ка̀к, душа моя, ты находишь необходимым принять меры к увеличению народонаселения? Но ежели результатом этих мер будет расплоожение нигилистов?

— Все равно! нигилистов, коммунистов... даже сепаратистов! лишь бы было съедобное! Конечно, это самая трудная,

можно сказать даже, почти невыполнимая сторона задачи, но если это нужно... если обстоятельства потребуют... если наконец закон политической необходимости... я готов!

Решимость, с которою Феденька произнес эти слова, была так велика, что и меня заставила призадуматься. По-видимому, он был до того убежден, что даже посетовал на Каткова и Скарятина, которые, по словам его, действовали неблагоразумно и нерасчетливо, пропагандируя в литературе мысль, что нигилистов следует вываривать из общества, как клопов из кроватей.

— Ты пойми, мой друг, что все-таки они... дворяне! — сказал он, многозначительно прикладывая палец к губам.

И затем он подробно изложил мне свой план. План этот был хорош несомненно: сперва наплодить нигилистов, потом съесть их, потом опять наплодить — это до такой степени просто и ясно, что даже может привести в умиление. Но для того, чтобы осуществить этот план, все-таки необходима расчетливость, а следовательно, и контроль. Нужно определить заранее порцию каждого дня, чтобы оскудение в нигилистах оставалось незаметным и чтобы масса съедобного материала пребывала всегда неизменною. Для этого понадобятся некоторые предварительные сведения и даже точные статистические исследования. Уяснить точную цифру хищников в данной местности и обеспечить для них вполне верные источники продовольствия — дело нелегкое. Не нужно ли для этого придумать новое ведомство, или хоть канцелярию, или, по малой мере, какое-нибудь ученое общество? Эти затруднения я счел невозможным скрыть от Феденьки, но он и тут успокоил меня, сказав, что возбудит этот важный вопрос в одном из ближайших заседаний географического общества.

Но увы! не все хищники настолько предусмотрительны, как Феденька. Большинство их решительно глотает зря, полагая, вероятно, что запас нигилистов и демагогов неистощим и что стоит только окунуть руку в какое-нибудь учебное заведение, чтобы вытащить оттуда нигилиста...

Дай бог. А все-таки как-то боязно. Что̀, если и в самом деле опасения Феденьки оправдаются? Что̀, если наступит такая минута, когда на всем земном шаре останется только *один* хищник сам-друг с г-жою Деверия?

Эта мысль наполняет мое сердце ужасом. Но не хочу обольщать себя: вопрос, который она заключает, есть воистину насущнейший из всех современных вопросов.

К удивлению, он слишком мало распространен в обществе. Хищники, увлеченные успехом, как будто совсем не думают о будущем и играючи срывают цветы удовольствия. Везде, куда ни придите, везде только и слышите растленные разговоры о том, как достойна уважения сила и как презренна и достойна поругания слабость. И разговаривают так просто, как будто это дело совсем-совсем бесспорное и не видать ему конца-края.

— Вот, батюшка, сила-то чтò значит! — говорят одни,— даже в глазах силы большей, силы несомненной, она все-таки не перестает быть силой! даже несомненная сила — и та считает нелишним ее менажировать и договариваться с нею!

— Взгляните, например, на такого-то Икса! — прибавляют другие,— не проходит дня, чтобы он чего-нибудь не надебоширничал, однако его не знает ни полиция, ни мировой суд! Почему-с, смею вас спросить? а просто потому, что это мужчина сильный и из себя видный! Взгляните, напротив того, на такого-то Зета! вот он и не дебоширничает, даже посередке тротуара никогда не пройдет, а все к сторонке жмется,— а из части да из суда не выходит! А отчего, спрашиваю я вас? а все оттого, милостивые государи, что Зет видом жи́док, и что за такую его провинность всякого порядочного человека так и подмывает ковырнуть ему масла, ушибить поленом или сделать всяческую другую неприятность!

Понятно, какие поучения выводят для себя ревнители хищничества из этих рассуждений. Сила, думают они, одна успевает, а следовательно, к ней одной и тяготеть надлежит. Отсюда та громадная масса, которая постепенно скопляется около всякого хищника и которая служит ему отчасти съедобным материалом, отчасти орудием для уловления простодушных и слабых. Мало-помалу в этой компактной толпе упраздняются понятия о добром и злом, о правом и неправом, о полезном и вредном. Чтò такое долг? Чтò такое право и правда? Какие отношения человека к обществу? Все это вопросы лишние, пустые, созданные пленною мыслью идеологов только для затруднения и отравы жизни. Хищничество, хищничество и хищничество — вот единственный светящий маяк жизни, вот единственный кодекс, обязательный для современного человека; все остальное — хаос и смятение.

Мир представляется чем-то вроде громадного пирога с начинкой, к которому чем чаще подходишь закусывать, тем сытее будешь. Чтò нужды, что виднеется уже край пирога, что скоро, быть может, на блюде останутся одни объедки? Хищничество не любит ни обобщать, ни распространять положений далее видимых их пределов; ему нет дела ни до завтрашнего дня,

ни до тех, которые придут последними и не найдут на столе ни крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы ломились от пресыщения,—о прочем мы не хотим и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотим подумать даже о том, что мы сами можем обрушиться вместе с этим прочим. А может быть, как-нибудь да выкарабкаемся! утешаем мы себя.

Все хищники таковы; все они столь же непредусмотрительны, как и самые низшие организмы, все убеждены, что лишь бы удалось украсть сто рублей, то этому капиталу и конца никогда не будет.

Обличить несостоятельность этого скудного взгляда, показать хищникам не совсем светлую перспективу, которая ожидает их в будущем,— это, во всяком случае, подвиг, достойный внимания и заслуживающий всяческого сочувствия. Я не питаю особенной симпатии к хищничеству как к признаку известного общественного настроения, но каждый из хищников, взятый в отдельности, скорее возбуждает во мне сожаление, нежели ненависть.

Что̀ такое ненависть? — это, во всяком случае, чувство ненормальное, которое может быть оправдано только как продукт временного стечения таких условий, которые делают существование в их среде человека особенно тяжким. Мы ненавидим известные исторические положения, забывая, что выражение «историческое» уже снимает с них всякое обвинение. Но еще менее имеем мы право ненавидеть отдельные лица, принимающие участие в исторических положениях. Стало быть, не то ненавистно, что сильное заявляет право на существование, а то, что слабое считается имеющим право только на погибель. Наименее симпатичная в этом смысле порода людей — это, бесспорно, порода хищников; но и ее имеем ли мы основание ненавидеть? — нет, не имеем, ибо всякий хищник, в сущности, до такой степени глуп, что он легко может съесть самого себя — и не заметить этого. Совместно ли с справедливостью ненавидеть этих жалких людей? можно ли даже прилагать к ним принцип вменяемости?

Вот почему я и не ненавижу, а только сожалею. Меня ужасает эпоха, ужасает историческое положение, в котором погибает столько живых существ... а в том числе и хищников. Да, я убежден, что и они подлежат закону естественного возмездия, что и они возвратят все взятое.

Нет положения более горького и неловкого, как положение вчерашнего триумфатора, переставшего быть триумфатором нынешним. Независимо от обязанности отдать (как говорится, до последней полушки) отчет в недавних триумфах, человек

этот не может не чувствовать себя оскорбленным и оплеванным. Даже в тех случаях, когда триумф его был вполне правильный, и тогда его положение не может назваться легким в виду тех подозрений, которые над ним тяготеют. Правда, он может со временем очиститься от них и после того опять предпринять какой-нибудь триумф; но легче произнести это слово (очиститься), нежели добиться его осуществления. Сколько разных перипетий и случайностей скрывается за этим словом! сколько систематических fins de non recevoir! И все это даже в таком случае, когда триумф был вполне законный. Судите после этого, каково должно быть положение такого триумфатора, которого все триумфы состояли в том, что он тогда-то столько-то украл, а тогда-то столько-то оглушил? О, это не дай бог какое положение!

В этих-то собственно видах я и обличаю: обличаю жалеючи. Я не раз выражал мнение, что жизнь правильная, нормальная не терпит триумфов и что триумфаторство вообще есть продукт натянутости и неестественности общественных отношений. Этого мнения я держусь и теперь. Как только откажемся мы от легких и даже трудных триумфов, так вместо призраков выступит у нас наружу действительное дело. И хищники исчезнут...

САМОДОВОЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

Всякому читателю, без сомнения, случалось иметь дело с людьми, которых ограниченность ясна с первого взгляда, но которые в то же время поражают своею самоуверенностью. Из всех человеческих типов это самый надоедливый и нестерпимый. Просто ограниченный человек хранит свою ограниченность про себя; он не совершает ничего особенно плодотворного, но зато ничего и не запутывает. Совсем другое дело — ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается тем, что насильственно врывается в сферы ей недоступные и стремится распространить свои криле всюду, где слышится живое дыхание. Это своего рода зараза, чума. Низменные идеалы, которые она себе выработала или, лучше сказать, которые получила в наследство вместе с прочею рухлядью прошлого, перестают быть *ее* идеалами, а становятся образцом для идеалов общечеловеческих; азбучность становится обязательною; глупые мысли, дурацкие речи сочатся отовсюду, и совокупность их получает наименование «морали». «Я заплатил за месяц прислуге, я ни копейки не должен в мелочную лавку — я счастлив. Отчего же *моему* счастью не быть образцом счастья общечеловеческого? отчего тем законам, которыми *я* руководствуюсь в моем обыденном хозяйстве, не служить руководящею нитью и в мировой жизни?» Так вопрошает себя ограниченный человек и, самодовольно убежденный в своей житейской мудрости, утверждает непререкаемо, что проходящие перед его глазами запутанности и затруднения суть не что иное, как создание разгоряченной фантазии людей, которые не умеют свести концы с концами.

Что такого рода вывод вполне произволен и даже глуп — это ясно с первого взгляда; но все-таки ясно лишь для ума,

привыкшего анализировать и рассуждать. Большинство же приходит к уяснению себе этой произвольности чрезвычайно туго, и вот почему мы видим, что, запасшись подобными выводами, люди могут не только почерпать в них личную беспредельную самоуверенность, но и отуманивать ими массы людей. Как ни загадочным кажется успех ограниченных людей, тем не менее это факт, против реальности которого бесполезно возражать. Личности подобного закала пользуются и авторитетом, и почетом, и даже славою. Всякой попытке прорваться в область сознательности они кричат навстречу: довольно! — и попытка стушевывается без возражений. Поэтому пренебрегать ими, смотреть на них исключительно как на общественную мебель невозможно.

По всем этим соображениям, я постараюсь объяснить: во-первых, в чем собственно заключается произвольность выводов, подобных указанным выше; во-вторых, вследствие каких причин и в какой среде такие выводы получают авторитетность, и, в-третьих, наконец, к чему может прийти общество, усматривающее высший жизненный идеал в ограниченности желаний и стремлений.

Что каждый имеет право предъявлять свое собственное, лично ему принадлежащее воззрение на счастие, и согласно с этим воззрением устроивать свою жизнь — это истина, которую, конечно, никто не станет оспоривать. Личное счастие может быть усматриваемо и в обладании некоторыми материальными удобствами, и в достижении целей, которые никого не занимают, кроме лица, непосредственно ими заинтересованного, и даже в простом соблюдении привычек. Здесь все зависит от большей или меньшей ширины миросозерцания, а так как область миросозерцания недоступна регламентации, то даже самые пошлые желания и стремления могут заявлять о праве на существование. «Я счастлив, потому что на мне отлично сидят панталоны»; «я счастлив, потому что принят в таких-то домах»; «я счастлив, потому что у меня карета и пара лошадей» — все это своего рода идеалы, и хотя в них нет ничего особенно умного, но в то же время и незаконного ничего нет.

Вопрос не в законности личных идеалов, а в их общеобязательности, и как только вопрос этот решается в пользу личных идеалов и в ущерб идеалам общим, так тотчас же отношения к жизни и ее явлениям становятся натянутыми и запутанными. А этой-то именно обязательности и добивается ограниченность, переносящая свое самодовольство из сферы домашнего очага в сферу высших человеческих интересов.

Первое и главное основание, на которое в этом случае опирается ограниченность, заключается в конкретности фактов, служащих для нее отправным пунктом. «Я счастлив, потому что не спорю с небесами»; «я счастлив, потому что не делаю набегов в область неизвестного»; «я доволен, потому что страдание и бедность как общий вопрос не смущают меня» — вот факты, которые можно сейчас же поверить и против конкретности которых трудно что̀-нибудь возразить. Действительно, вы видите человека, который несомненно и с небесами не спорит и в то же время несомненно счастлив. «Так вот как легко дается счастье-то!» — думает человек, взирая на румяную и раскормленную ограниченность, и до того соблазняется этою легкостью, что даже не договаривает: «стоит только быть ограниченным человеком!» А между тем это недомолвка очень важная и приводящая к целому ряду запутанностей и лжей.

В чем же тут ошибка? Да в том именно, что конкретность фактов, подобных упомянутым выше, присуща только им самим и ни для каких обобщений повода не дает. Не только конкретность таких фактов, которые имеют чисто личный характер, но даже и таких, как, например, «Крестецкий уезд счастлив, потому что в нем существует банк», или «город Скопин счастлив, потому что в нем имеется деятельный городской голова Рыков». Даже это не дает основания сказать: так пусть же весь мир будет счастлив, как Крестецкий уезд или как город Скопин! Единственное обобщение, которое можно допустить по поводу подобных конкретностей,— это следующее: каждый человек, а также каждый город, каждая весь имеют право быть счастливыми по-своему. Идти далее по пути обобщений уже значит прибегать к подтасовке, значит легкомысленно или преднамеренно закрывать глаза на ту пропасть, которая лежит между явлениями совершенно разных порядков. «Стоит только быть ограниченным» — вот очень полезная в этом случае поправка, и всякий, вдумавшись в нее, согласится, что могут быть даже такие виды счастия, которые прямо свидетельствуют о порабощении духовной стороны человека стороне животненной. Спрашивается: можно ли присвоивать таким видам личного счастия характер общеобязательный?

Отсутствие такого рода поправки ведет к весьма важному смешению, а именно к отожествлению сферы домашнего обихода с сферою мировой жизни. Почему идеалы общечеловеческие выше идеалов личных и даже идеалов, например, Крестецкого уезда? А потому просто, что первые составляют крайнее звено в последовательной цепи идеалов, освещающих пути человеческого развития; потому что они представляют содер-

жащее, а личные идеалы — только содержимое; потому, наконец, что с осуществлением идеалов общечеловеческих сами собою осуществятся идеалы скопинские, харьковские и раненбургские, а не наоборот. Если жизни даны широкие основания, то подробности улаживаются вполне естественно сами собой, и притом не вразброд, а согласно с самыми основаниями жизни. Напротив, ежели у жизни нет прочных и широких оснований, то одна подробность неизбежно будет идти вразрез другой. Поэтому те, которые прежде всего обращают внимание на подробности, в надежде впоследствии приладить к ним жизнь, уподобляются архитектору, который, не сделав плана зданию, лепит наудачу кирпич к кирпичу. Нет слова, что иногда самые условия общественности таковы, что благоприятствуют подробностям и враждебны общим идеям; но не следует забывать, что по этой-то именно причине такие условия и называются печальными, но никак не образцовыми.

Ничего этого самодовольная ограниченность не понимает, да и не может понимать, во-первых, потому, что конкретность ее низменных идеалов застилает ей глаза, а во-вторых, потому, что она, по самому свойству своему, неспособна различать размеры развивающихся перед нею явлений. Она игнорирует процесс усложнения явлений и потому естественно умозаключает, что все они безразличны. По этой же причине она легко допускает самые уродливые и незаконные обобщения и становится втупик при виде самых естественных проявлений прогрессирующей жизни, если они не подходят под мерку простой житейской исправности. Все ее выводы до того произвольны и неожиданны, что, слушая их, сдается, что они выработались не в человеческом мозгу, а случайно свалились откуда-то с колокольни.

Тем не менее как скоро человек однажды пришел к убеждению, что он мудрец, он не только не легко расстается с этим убеждением, но, напротив того, сгорает нетерпением пропагандировать основания своей мудрости. Как и всякий другой мудрец, он не хочет таить свою мудрость для одного себя, а хочет привить ее присным и неприсным, знакомым и незнакомым, всему миру. Отсюда та бесконечно-раздражающая проповедь самодовольной ограниченности, которая раздается тем слышнее, что внешние условия не только не поставляют ей в этом случае препятствий, но даже споспешествуют и благоприятствуют.

Во всех видах эта проповедь несносна и вредна. И тогда, когда она не выходит из пределов выражения простого личного самодовольства (пропаганда собственным примером), и тогда, когда не пренебрегает даже насилием, чтобы накрыть

своим серым покровом весь мир (пропаганда воинствующая). В первом случае раздражает бесконечная удовлетворенность, не подозревающая даже возможности иного миросозерцания, кроме низменного; во втором — смущает неразборчивость в выборе путей и средств. В первом случае ограниченность говорит: взгляни на меня — и убедись; во втором — она ту же речь сопровождает тычком, шиворотом, кандалами.

Трагическая сторона значительного скопления ограниченных людей в известной местности заключается не столько в насильственных приемах, которые они допускают, в видах успешного уловления прозелитов, сколько в том, что от этих людей некуда уйти, так что выслушивание азбучных истин становится действительно обязательным. Наплыв личностей, считающих расчет с мелочной лавкой разрешением всех жизненных задач, происходит не случайно, а означает, что на людей такого закала является усиленный спрос, или, лучше сказать, внезапно утвердившаяся в большинстве уверенность, что вне ограниченности не может быть спасения. Еще накануне ограниченные люди шныряли, собирая справки и снося их в одну кучу, а нынче они уж раскормлены, румяны и мнят себя носителями руководящей мысли. Они расхаживают по стогнам и, нимало не краснея, возвещают азбучные истины. Проповедуют, что «по рогожке следует протягивать ножки», что «всякий сверчок должен знать свой шесток», что «поспешишь — людей насмешишь», и при этом так блаженно улыбаются, что издали можно подумать: вот счастливцы, разрешившие себе задачу душевного равновесия! Бегите от этих людей, а если бежать некуда, то, делать нечего, будьте к ним почтительны, ибо это не просто разводители канители, но герои дня, выразители требований минуты. Их приходится выслушивать с терпением не по тому одному, что невыслушивание может повести за собой злостные для невыслушивающих последствия (это само по себе), но и потому, что весь воздух этой местности, всякий камень, каждая песчинка пропитаны азбучностью.

В чем же собственно заключается тайна втягивающего свойства самодовольной ограниченности? вследствие каких причин ограниченные люди из скромных собирателей справок и наполнителей графленой бумаги вдруг превращаются ежели не в действительных руководителей общества, то, во всяком случае, в его систематических отуманивателей? откуда идет этот внезапный спрос на ограниченность, который окружает ее ореолом авторитетности и почета?

Существует мнение, что между фактом господства ограниченных людей и эпохами так называемой общественной реак-

ции имеется тесная органическая связь. Указывают, например, на времена Директории и Первой империи, а в особенности на времена владычества Наполеона III во Франции, когда в обществе действительно как бы потухли стремления к высшим идеалам и когда ограниченность, сознающая себя мудростью, не только приносила своему обладателю деньги, силу и почет, но даже проницательных людей вводила в заблуждение насчет действительного своего значения. И действительно, что̀ такое «реакция» в общественном смысле этого слова? Это эпоха величайшего умственного утомления, эпоха прекращения частной и общественной инициативы, эпоха торжества сил, имеющих значение не столько сдерживающее и регулирующее (это только казовый конец реакций), сколько уничижающее и мертвящее. Таково, по крайней мере, общепризнанное представление о реакции, и ежели мы вспомним, что всякой реакции всегда предшествуют особенно энергические усилия общества, направленные к пересозданию самых существенных его основ, то характер следующей затем реакции несомненно утратит в наших глазах свою загадочность. Увы! результаты реформаторских усилий так редко дают себя чувствовать ясно и непосредственно, что для людей среднего умственного уровня они представляются трудноуловимыми. Мало того: в глазах этих людей воспоминание о реформаторских усилиях почти всегда сопрягается с представлением о чем-то недоконченном, возбудившем бесплодные тревоги.

Причин этого явления много, но две из них настолько важны, что невольно обращают на себя внимание. Во-первых, реформаторские движения почти всегда первоначально прорываются урывками и потому даже тогда, когда уже делаются достаточно сильными, чтобы развиться в правильную организацию, достигают этого не иначе, как допуская совместное действие элементов не только не однородных, но даже взаимно друг друга исключающих. Отсюда изумления, раскаяния и раздоры — эти печальные, но вполне естественные последствия деятельности, лишенной возможности развиваться спокойно. Во-вторых, благодаря разнородности побуждений, дающих начало реформаторскому движению, в основании этого последнего всегда находится известный компромисс, вследствие которого старый строй далеко не все уступает новому строю, а только то, о чем в просторечии говорится: и то слава богу! Компромисс этот, однажды проскользнув в общую систему реформаторских намерений, гложет ее неустанно, гложет до тех пор, пока от системы не останется один тощий остов. Думали, например, достигнуть результата вполне ясного и определенного, но по дороге задались

мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы целы,— и вышло нечто совсем неожиданное. Понятно, что человек среднего умственного уровня имел полное право изумиться этому результату и даже впасть по поводу его в уныние. А так как общественное большинство состоит именно из людей этого уровня, то нет ничего удивительного, что в среде их на первый план выступают вопросы: из-за чего хлопотали, усиливались, обольщали себя надеждою? Совершив энергическое усилие и выиграв очень мало, а иногда и ровно ничего, общество проникается робостью и умолкает. Не подвиги прогресса улыбаются ему, а сказочное, спокойное преуспеяние, которое будто бы совершается само собой. А от надежд на сказочный прогресс один шаг и до полной и неумолимой реакции.

Такого рода колебания между реформаторскими усилиями и реакцией всего яснее выразились в названные выше эпохи французской истории. Но они возможны не только в обществах, стоящих на относительно высокой степени развития, но даже и там, где главный тон жизни составляют гладь да божья благодать. Вглядитесь пристальнее в эту, по-видимому, ничем не возмущаемую жизнь и вы заметите, что и здесь по временам пробиваются признаки реформаторского движения, свидетельствующие о смутном поползновении изменить низшую форму общественности на высшую, и что следом за подобными поползновениями всегда является самая беспощадная реакция. Только здесь реакция получает характер еще более подавляющий, потому что нельзя с достаточною ясностью указать ни на причины регресса, ни на явления, против которых направляются удары его.

Вот в эти-то минуты уныния и упадка общественной энергии и происходит та перестановка, в силу которой, наместо убежденных, самоотверженных и страстных людей, роль руководителей принимают на себя проповедники азбучных истин, приправленных молчалинскою аккуратностью.

«Смотрите! — вещают эти новые узорешители,— вы хотели нас переспорить — и в результате получили шиш! Попробуйте-ка пожить помаленьку да полегоньку, ладком да мирком — не выйдет ли что̀-нибудь получше шиша!» И общество внимает этим речам тем охотнее, что оно действительно работало и изнуряло себя из-за шиша. Оно не берет в расчет, что шиш есть лишь естественное последствие тех деморализующих компромиссов, которые подрывали его недавние усилия; оно помнит только свой неуспех и от него умозаключает, что таков фаталистический исход всех реформаторских усилий вообще и во всяком случае.

В такие исторические минуты всякая пошлость именуется

мудростью, всякая подтасовка делается дозволительною. Обличить эту наглую ложь, доказать, что счастье человека, успешно совершившего то или другое органическое отправление, не имеет права именовать себя идеалом счастья общечеловеческого, конечно, не бог знает какая мудрость; но тут дело не в мудрости, а в практической возможности подобной затеи. Усталое большинство не только не доверяет доказательствам, имеющим отвлеченный характер, но положительно отрицает самую уместность их. «Видали мы этих идеологов!» — вопит оно на все тоны; «довольно с нас! не отвлеченных доказательств нам нужно, а фактов!» А эти факты представляет ему самодовольная ограниченность, гласящая: «смотрите, как я румяна, сыта и довольна!» И они сохранят свою убедительность до тех пор, покуда жизнь не вызовет на свет новых фактов, которые своею не меньшею конкретностью не разобьют в прах конкретность старых.

Таким образом, из всего сказанного явствует, во-первых, что вся сила самодовольной ограниченности зиждется на мнимой способности ее опорных точек к обобщениям, и, во-вторых, что успех ее проповеди главным образом обусловливается упадком общественного духа и ослаблением того импульса, который заставлял общество искать духовного уровня, несколько высшего, нежели тот, который предлагается афоризмами азбук и прописей. Но дабы сделать нашу мысль более ясною, возьмем вопрос с практической точки зрения и посмотрим, к чему может прийти общество, видящее в ограниченности стремлений осуществление жизненных идеалов.

Непосредственный результат торжества ограниченности прежде всего выражается в общей тишине. Казалось бы, что лучше этого результата не надо и желать. Где человеку благоденствовать и прогрессировать, как не на лоне мира и тишины? Где процветать наукам и искусствам, развиваться гражданственности и проч., как не при условиях тишины? И действительно, ограниченность всегда с особенною силою напирает на эти условия. Тишина, по ее словам,— это палладиум всяческого процветания; она одна даст все: и счастие, и успокоение от тревог, и исцеление недугов, и удовлетворение законных интересов...

Однако ж на практике оказывается нечто совершенно несоответствующее этим хвастливым обещаниям; нечто такое, что доказывает, что представление о тишине далеко не свободно от некоторых неясностей, которые могут подать повод к самым вопиющим недоразумениям.

Призывая, вслед за пропагандистами ограниченности, многожеланную тишину, мы при всей скромности наших требова-

ний, конечно, имеем в виду не тишину для тишины, а достижение известных благ, которые ею охраняются. Но, к удивлению, мы не только не получаем этих благ, но даже делаемся свидетелями внезапного исчезновения самой общественности, то есть того условия, отсутствие которого делает немыслимыми и процветание, и благоденствие, и прогресс.

Стало быть, в этой тишине есть органический порок; стало быть, это не та «возлюбленная тишина, градов и весей отрада», о которой вздыхают поэты, а какая-то другая, скорее заслуживающая названия мертвенности, нежели тишины.

Первое условие всякой общественности — это возможность свободного обмена мыслей, возможность спора, возражений и даже заблуждений (дà, и заблуждений, потому что и они имеют свое значение в общей экономии жизненного прогресса). Наличность этих условий важна не только потому, что она сообщает жизни характер совершенствования, но и потому, что вносит в общественные отношения элемент приятности. Однообразие воззрений, особливо ежели оно имеет оттенок вынужденности, создает одноформенность потребностей и стремлений, а затем угрюмость и одичалость; напротив того, разногласие в мнениях, приводя за собой необходимость во взаимной проверке их, служит надежнейшим цементом для скрепления людских отношений. Вот этого-то последнего условия общественности именно и не допускает самодовольная ограниченность, ибо она даже самое слово «тишина» определяет отсутствием каких бы то ни было споров и несогласий. Опираясь на неуспех недавней «борьбы с небом», она, с свойственной всякой азбучности манерой цепляться за одни внешние признаки факта, прямо приписывает его спорам и несогласиям, присущим борьбе. Как можно меньше сомнений, препирательств и экскурсий в области неизвестного и как можно больше сосредоточенности и аккуратности в расчетах по ежедневным затратам — вот девиз торжествующей ограниченности. В согласность этому девизу выработывается целый кодекс низменного свойства аксиом, который нельзя обойти под опасением ввергнуться в бездну и на дне ее встретить классическую гидру. Этой гидры никто никогда не видал, но она с незапамятных времен служит отличнейшим пугалом. Ни спорить, ни прекословить не допускается, потому что в противном случае или в бездну попадешь, или помешаешь «правильному» прогрессу. Одного добиваться следует — это безусловного прекращения разногласий и сомнений и, чтò важнее всего, устранения какой бы то ни было погони за неизвестностью. А отсюда единственный практический выход: молчаливое и единомысленное вытаскивание бирюлек.

Не задумывайтесь! ибо задумываться значит сомневаться, значит пытаться что-нибудь провидеть, значит допускать возможность критических отношений. А для попыток этого рода есть отличное слово «мечтательность», в котором, как в пучине, утопает всякий порыв самостоятельности и самодеятельности. «Мечтательность» — это одно из тех не помнящих родства слов, которых значения никто ясно не понимает, но которые всякий охотно употребляет, предполагая, что в нем есть нечто такое, чем можно заклеймить все, что не по нутру. Мечтательность — это проказа, это явление, которое даже ограниченного человека может вывести из состояния самодовольного оцепенения. Оставьте, милостивые государи! Оставьте мечтательность и займитесь делом, то есть вытаскиванием бирюлек и наставкою заплат. И не заглядывайте вперед, ибо всякое заглядывание подрывает тишину! Спрашивается, однако ж: сопровождаемая подобными оговорками, в какой мере совместна тишина с общественностью, которая осуществляет собой движение?

Но, вычеркнув из наличности наиболее жизненный элемент общественности, ограниченность идет еще далее, то есть вводит в жизнь другой элемент, положительно ей враждебный. Этот другой элемент — испуг. С первого взгляда, можно подумать, что самодовольство и испуг — два понятия, друг друга исключающие; но в действительности эта несовместимость лишь кажущаяся. При известном настроении общества, когда со всех сторон раздаются фразы, лишенные содержания, и в них одних видится спасение от недугов, испуг перестает представлять что-либо реальное, а делается простым предостережением против всякой попытки нарушить тишину.

Люди пугают друг друга не ради того, что над ними висит дамоклов меч, а ради того, чтобы оградить тишину для тишины и укрепить себя и других в намерении не заниматься ничем, кроме вытаскивания бирюлек. «А помните, как вы с небом-то спорить хотели?» Это вопрос, в сущности, пустой и глупый, но при известной настроенности общества его одного достаточно, чтобы заставить всех и каждого как можно плотнее пригнуться к земле. В виду этой угрозы всякий реакционный бред считается уместным и дозволительным. Ограниченные люди, наперерыв друг перед другом, рассказывают анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных «бесчинствах». Об «авторитете» упоминается как о чем-то поруганном, посрамленном, погубленном. Мудрецы вздыхают, соболезнуют, устрашают друг друга, и — странное дело! — несмотря на пуганья, только добреют да нагуливают себе жиру в борьбе с попраниями и глумлениями. Ясно, что испуг в этом

случае совсем не существен, что это только пробный камень, на котором можно не без выгоды испытывать личную способность закаляться в азбучной мудрости. Но ежели занятие такого рода и может для той или другой личности представлять своекорыстный интерес, то все-таки спрашивается: возможна ли общественность под гнетом неумолкающих устрашений?

Ответ на оба поставленные выше вопроса не может быть сомнителен; нет, общество, изгнавшее из своей среды склонность к занятию высшими умственными интересами, общество, с презрением и насмешкою относящееся к так называемым широким вопросам жизни, общество, подчинившееся молчанию и испугу, не имеет права считать себя обладающим благами общественности. Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могущее уяснить себе последствия, к которым неминуемо должна привести его одичалость.

Первое последствие умственной одичалости — это скука. Скука, как общий давящий покров, от гнета которого не освобождаются даже сами проповедники ограниченности.

Что̀ такое скука? — Это отсутствие высших умственных интересов, это запертая дверь в тот безграничный мир умственной спекуляции, в котором каждый новый шаг дает новое открытие или новую комбинацию, в котором даже простое припоминание фактов, уже добытых и известных, представляет наслаждение, благодаря разнообразию этих фактов и их способности соединяться в группы и давать повод для бесконечного множества выводов. Вне этого мира нет прочного и продолжительного наслаждения, так что, какие бы ни придумывались ухищрения к усложнению низших видов наслаждения, с целью заменить ими наслаждения высшей категории, в результате ничего не получится, кроме временного возбуждения, которое не замедлит уступить место пресыщению и скуке.

Второе последствие умственной одичалости — общественное бессилие. Страна, которая всецело посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание устремила на правильность расчетов по ежедневным затратам, может считать свою роль оконченною. Это — страна мудрых. Ей некуда идти, ибо перед ней возвышается глухая стена, на которой начертано: не твое дело. От нее нечего ждать, ибо она все жизненные задачи считает исчерпанными изречением: не твое дело. Ей предстоит только выполнение тех требований обыденности, которые равно обязательны и для человека, и для всякого другого организма. Поэтому, когда ей приходится расплачиваться за свою само-

уверенную мудрость, то расплата всегда застает ее врасплох. Все обыватели мудры, но никто ни к чему не приготовлен, никто ничего не знает, ничем не интересуется, ничего не любит. По-видимому, человек всю свою жизнь и все внимание исключительно устремлял на подробности, отдавался им до самозабвения, а на поверку выходит, что он только заблудился в них, ясного же представления даже о мелочах не получил. Подробности перепутались, а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться в вавилонском столпотворении, нет и в помине. В результате — пустое место.

Третье последствие — неурядица не только внутренняя, но и внешняя. Те глубоко заблуждаются, которые отожествляют тишину с порядком и видят в первой обеспечение последнего. Та тишина, которую проповедует самодовольная ограниченность, есть тишина насильственная, чаще всего прикрывающая раздоры самого вредного свойства. Ограниченные люди точно так же способны раскалываться и препираться друг с другом, как и люди развитые, с тою лишь разницей, что препирательства азбучных мудрецов не идут дальше вопросов о выеденном яйце. Но низменность содержания не только не смягчает раздражения, но даже усиливает его назойливость. Нигде не встречается такого ожесточения, столько зависти, интриг, как в среде ограниченных людей, для которых все сводится к личным целям, для которых до такой степени не существует высших интересов, что им нечему жертвовать, хотя бы они и имели случайную наклонность к пожертвованиям. Поэтому в обществе, живущем под игом тишины для тишины, даже подробности жизни всегда разрешаются согласно с такими случайными настроениями, которых ни предвидеть, ни предугадать нельзя, а это в свою очередь кладет на всю жизненную обстановку печать необеспеченности и неуверенности. Кажется, что̀ может быть общераспространеннее правила «всякий сверчок знай свой шесток», а между тем попробуйте пожить, имея в запасе только один этот руководящий афоризм, и вы убедитесь, что каждая минута представит вам бесчисленное множество самых разнообразных ловушек. Во-первых, нет точного определения, в чем заключаются права и обязанности человека-сверчка, а потому всякий мнит себя сверчком особенным, а иной даже и сверчком-орлом. Во-вторых, такою же неопределенностью страдает и понятие о «шестке», так что всегда есть опасность впасть в ошибку и неумышленно занять шесток рангом повыше. А отсюда — вечное и безобразное препирательство, возникающее каждый раз, как только заходит речь об обращении сверчка к его натуральному шестку.

Наконец, четвертое последствие — распущенность нравов, этот достойный плод скуки и необходимости уразнообразить жизнь, лишенную действительных элементов разнообразия. Зрелища, возбуждающие чувственность, литература, проповедующая низменность и пошлость, искусство, чуждающееся мысли и преследующее ее презрением и насмешкою, — вот пища, которою удовлетворяется общество, примирившееся с идеалами аккуратности и умеренности. И напрасны будут усилия людей, предостерегающих подобное общество от увлечений чувственностью и пошлостью, ибо увлечения эти суть органический придаток всего жизненного строя, и общество, отдавшее свои интересы под охрану азбучной ограниченности, неспособно иметь иных наслаждений, кроме наслаждений самого низменного свойства.

Таковы результаты господства самодовольной ограниченности. Быть может, здесь далеко не все исчерпано, что можно было бы сказать об этом предмете, но и того, что̀ сказано, достаточно, чтобы уразуметь, что влияние ограниченности не заключает в себе ничего плодотворного.

СИЛА СОБЫТИЙ

Что̀ такое «патриотизм»?

До последнего времени[1] очень немногие задавали себе этот вопрос: до такой степени он казался ясным и бесспорным. Большинство понимало под словом «патриотизм» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь с этим определением, прибавляло, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний.

Определение большинства имеет тот порок, что ничего не определяет и, следовательно, оставляет вопрос открытым. Это все равно как если бы кто сказал, что патриотизм есть любовь к отечеству,— какую пользу можно вынести из такого объяснения? Второе, начальственное определение несколько яснее, но имеет другой недостаток, а именно: исключает из области патриотизма целую категорию лиц, известных под общим наименованием «начальства». Не получая ни от кого предписаний, на чем же оно может упражнять свой патриотизм?

Исследователи более смелые шли несколько далее и объясняли обязательность патриотизма тем, что нигде человек не может так успешно достигать своих целей и вообще проявлять свою личность, как в той среде, которая знакома ему со всем ее добрым и злым материалом. Но и это толкование нимало не специализирует рассматриваемого явления, потому что удобствами, доставляемыми знанием среды, можно объяснить не только патриотизм, но и другие инстинкты несомненно дурного свойства. И карманному вору удобнее проявлять свою

---

[1] Писано в 1870 году, вслед за развязкою франко-прусской войны. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

личность в среде знакомой и исследованной, однако едва ли кто-нибудь решится утверждать, что инстинкт воровства есть инстинкт врожденный, невольный и обязательный.

Кажется, что вся эта путаница произошла оттого, что для объяснения некоторых жизненных явлений мы слишком бесцеремонно пользуемся такими определениями, которые сами требуют ближайших определений. Необходимы были такие тяжкие искушения опыта, какие доставили последние события военного и политического мира (война Германии с Францией), чтоб нанести окончательный удар бессодержательности фразы и навсегда очистить сущность интересующего нас явления от сети лицемерия и хвастовства, которые опутывали его.

Первый вопрос, который разъясняют последние события,— это вопрос об отношении к идее патриотизма бесчисленных паразитов, наполняющих мир. Могут ли, например, именоваться патриотами подрядчики, поставляющие вместо ружей шасспо простые ударные, или кремневые, или, наконец, такие кремневые, у которых вместо кремня фигурирует разрисованная на манер кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющие такие поставки? Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или тюркосов, или гулящих немцев, охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могут ли именоваться патриотами всякие другие паразиты, хотя бы и высшей школы?

Все эти вопросы на первый взгляд кажутся праздными, но если вглядеться в дело пристальнее, то выйдет, что разрешение их составляет потребность далеко не призрачную. Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» — и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас. Стало быть, несовместимость таких явлений, как казнокрадство и патриотизм, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно упраздненными.

Причина сближений столь странных и неожиданных бесспорно заключается в общей путанице наших обыденных воззрений на жизнь. Благодаря обилию фантастических элементов, переполняющих наше воспитание, жизнь с детства кажется нам разделенною на две половины, из которых в одной

складываются интересы высшего порядка, в другой — интересы порядка низшего. Связи между этими двумя половинами не полагается, а следовательно, не может быть речи и о взаимном питании. Если низшие интересы представляют сброд неосмысленных мелочей, очутившихся рядом без всякого порядка, то интересы высшие представляют совершенно призрачный мир, доступный всевозможным толкованиям и перестановкам. Пользуясь этой разрозненностью, человек может свободно переходить из одной половины в другую и, не возбуждая ни в ком удивления, уравновешивать самые гнусные поступки высокопарными и бессодержательными фразами. Заведомый шулер может утверждать, что человек без добродетели — все равно что тело без души; заведомый прелюбодей может удостоверять, что человек, не соблюдающий семейной чистоты,— все равно что пламя, горящее тусклым и негреющим светом; заведомый казнокрад может объясняться в любви к отечеству.

Сомнения относительно правильности такого воззрения на жизнь возникли давно, но, к сожалению, возникли лишь путем умозрительным. Большинство редко убеждается умозрительными доводами и требует доказательств осязаемых, вещественных. Вот это-то вещественное доказательство и дано ныне, и притом дано в таких обстоятельствах, что не осталось ни одной утаенной подробности, ни одного невыясненного эпизода. Если б обязанность представления вещественных доказательств выпала на долю стране, играющей в цивилизованном мире роль скромной фиалки, очень может быть, что истина или, по крайней мере, большая ее часть осталась бы под спудом. Но в настоящем случае пропагандистом является самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои давние заслуги перед человечеством настолько существенными, что перед ними бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение, сделавшее его добычею проходимцев.

Бедная Франция! и на этот раз ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества,— тебя в настоящую минуту каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»! И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». Но и за всем тем ты все-таки виновата. Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои почты и железнодорожные поезды

лишены правильности отчетливого механизма; тем, что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок оказалась недостаточно твердою. Все это выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и мекленбуржцы, и они, ни за что̀ в свете, не простят тебе этого пропуска. Покуда ты выдумывала свободу и на свой страх выводила жизнь на почву общественных вопросов, мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их». Под защитою твоих политических и социальных конвульсий он втихомолку выработывал вопрос, гораздо более близкий его пониманию, а именно — вопрос об отношении проходимства и жульничества к патриотизму, и, надо сказать правду, выработал его (в обычном, родственном ему среднем уровне) довольно удовлетворительно. Теперь он уверен, что письмо его дойдет по назначению, что каждый чиновник его бесчисленных почтовых контор в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного в Капштат, что для неукоснительного избиения думкопфов ему дадут настоящее игольчатое ружье, а не подобие его, и что реквизиция на земле думкопфов будет производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не как-нибудь без системы: сперва в зубы, а потом рюмка водки на мировую.

Да̀, ты виновата. Занявшись преследованием мировых задач, ты забыла, что существуют миллионы домашних подробностей, устройство которых обеспечивает жизнь от неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, с другой стороны, быть может, они недостаточно уразумели, что в некоторых случаях даже самое лучшее устройство подробностей, без гарантии выработанных тобою общих идей, все-таки не больше как здание, выстроенное на песке. Твоя свобода бессодержательна — это так; твои социальные движения несостоятельны — и в этом нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольд поголовно провозглашает эту истину; но не существуй их, не держи они мир в некотором напряжении, какой гессенец поручится, что не придут проходимцы и не перестроят все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегают случаи, дающие возможность что̀-нибудь стянуть. Прежде всего они стянут бессодержательную свободу, а потом созовут всех гессенцев, шаумбургцев и зигмарингенцев и при громе пушек скажут им: нет вам ни почт, ни почтальонов, ни почтовых марок, нет ни ретур-билетов, ни игольчатых ружей, ни нарезных пушек; нет вам литературы, кроме «Wacht am Rhein»! Живите как бог даст и изнемогайте без литературы, без политики, без писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь Боброва или Острогожска!

Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, что с первого взгляда кажется даже фантастическим), а стало быть, те, которые так охотно «предпочитают некоторую узость взглядов ширине их», едва ли вполне правы в своих предпочтениях. Они забывают, что ширина взглядов, в большинстве случаев, защищает подробности, достигаемые узостью их. И притом, ка̀к определить эту «некоторую» узость, как отличить ее от не «некоторой»? Где кончается граница узости, которой можно с грехом пополам присвоить название разумной, и где начинается граница той узости, которой ни на каком языке нет другого названия, кроме пошлости, ограниченности, тупоумия! Это наклонность до того покатая, что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы каждому индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться тем, чем он есть. Глупый да пребудет глупым, дальнозоркий и проницательный пусть остается дальнозорким и проницательным. Не примерами, вроде синицы, собирающейся зажечь море, следует встречать политическую и общественную самоотверженность, а сознанием, что без этой самоотверженности история, быть может, остановила бы свое движение.

И представьте себе, читатель: несмотря на то что честь разработки вопроса об отношениях мелкого жульничества к патриотизму принадлежит шаумбургцам и детмольдцам, все-таки сдается, что популяризация и утверждение даже этой простой идеи будет принадлежать не им, а все тем же «думкопфам», над которыми весь Саксен-Мейнинген в настоящее время во все горло хохочет. Мейнингенец до того скромен, что даже крошечную идею выработывает исключительно для собственного употребления. Напротив того, «думкопф» нахален (недаром немецкие публицисты так настойчиво упоминают о галльском петухе) и, в качестве наглеца, даже великие идеи бросает на съедение нищих духом: пускай, дескать, и они, под сению этих идей, насладятся хорошими почтмейстерами и познают употребление почтовых марок. Что̀ же ему будет стоить поделиться с миром такою маленькою идейкой, как несовместимость карманных воров с патриотизмом? Конечно, ровно ничего, и мекленбуржцы могут оставаться на этот счет совершенно спокойны: при содействии галльского петуха эта идейка не только не замрет среди их, но получит еще большее развитие, благодаря элементу сознательности, который проникнет в нее. Галльский петух сумеет поставить принцип на принадлежащую ему высоту, сумеет выставить паразитство к позорному столбу, сумеет наконец указать подлинные пределы паразитства, не ограничиваясь одним сословием коллежских регистраторов, и разоблачить даже те его признаки,

которые может наметить лишь зоркий и вполне опытный глаз. Вот тогда-то поймут зигмарингенцы, что паразитами называются не только те, кои не доставляют писем по адресу или засылают их в Кяхту вместо Вятки, но и те, которые скрадывают в свою пользу политическую и общественную свободу под предлогом ее бессодержательности, и те, которые все обещают в минуту опасности и все отбирают в момент торжества.

Все это так; все это, наверное, так и сбудется. Наступит минута, когда мейнингенцы, даже на поприще ретур-билетов, не будут считать себя передовою нацией относительно Франции. Но каким образом могло случиться, что Франция, по инициативе которой, на наших глазах, произошло возрождение целой Европы, пропустила между рук такой простой, но вместе с тем и необходимый вопрос, как вопрос о недопущении паразитов к участию в управлении почт и телеграфов? Каким образом сталось, что проходимцы самые несомненные, общеизвестные и всесветные целое двадцатилетие стояли во главе ее?

Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является на сцену не иначе как в блеске, свойственном бесстыжеству. Бесстыжество отуманивает; оно на весь мир смотрит в упор и при этом лжет, хвастает, обманывает в глаза. При виде этой беззаветной наглости мнится, что за нею стоит что̀-то несокрушимое, что у нее есть какая-то роль в истории. Но, кроме того, бесстыжество обладает еще одним качеством: где бы оно ни появилось, около него сейчас же группируется плотная масса негодяев. Все праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее хищничеством и набегами,— все с непреодолимою силой влечется к бесстыжеству, устроивается под сению его и в свою очередь образует оплот. На глазах у всех формируется бесшабашное скопище, и формируется тем легче, что ему не нужно никаких пособий, кроме навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая гибельное влияние во всех других человеческих предприятиях, составляет единственный операционный базис в делах жульничества. Замыслите облагодетельствовать человечество — вы в самой вашей совести встретите тысячи преткновений. Она представит целые тьмы сомнений, заставит шаг за шагом следить за вашим предприятием, обдумывать каждую подробность, обеспечивать от возможности ошибок. Задумайте ограбить, зарезать, перервать горло — нет ничего легче. Будьте лишь настолько быстры в действиях, чтобы предупредить возможность сопротивления со стороны облюбованной жертвы. Застать врасплох, удивить неожиданностью — вот что̀ требуется. Покуда человек протирает глаза, можно переменить всю его

обстановку и даже его самого поставить вверх ногами. А этого-то результата только и домогается бесстыжество.

Галльский петух не один раз пытался оградить себя от подобных сюрпризов, не один раз смотрел бесстыжеству в глаза, но решительного успеха все-таки не имел. Безусловно ли он виновен в этой неуспешности, или же есть для его вины какое-нибудь оправдание? — на это все детмольдцы в один голос отвечают: да̀, виновен, и не хотят даже прибавить: но по обстоятельствам заслуживает снисхождения. За что̀, однако ж, такой строгий приговор? за то ли, что галльский петух недостаточно рисковал своими судьбами, недостаточно предстательствовал перед небом за них, детмольдцев? за то ли, что он подарил зигмарингенцам только ту долю свободы, которая достаточна для изобретения почтовых марок, но недостаточна для того, чтоб обладающие ею сознавали себя вполне людьми? — нет, не за это сердит мейнингенец. Он сердит за то, что галльский петух все еще не может сказать «довольно», тогда как все шаумбургцы и нассаусцы давным-давно опочили от трудов и сколачивают копейка по копейке свое благополучие. «Посмотрите,— говорит мейнингенец,— какие эти пошлые думкопфы! десятки лет волнуются, шумят и гремят на весь мир, а следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!» И забывает притом, что и он сам, и вся Европа трепетали при одном напоминании об этом иге, хотя ни на него, ни на Европу не могли непосредственно действовать ни кастеты, ни сорти-де-баль наполеоновских городовых.

Как бы то ни было, но несомненно, что идея о несовместимости паразитства и патриотизма, благодаря французской популяризации, в самом ближайшем времени найдет себе место в ряду афоризмов, наиболее усвоенных общественною совестью. Как скоро Франция убедится — убедится и мир.

Но все-таки сдается, что Франция убедится по-своему, а не на манер гогенцоллернских обывателей. Несмотря на горечь постигшего ее бедствия (есть ли бедствие горше того, как чувствовать себя раздавленным пятою лихтенштейнца?), она не сумеет «предпочесть некоторую узость взглядов ширине их». Это ее органический порок, порок очень капитальный, но которому она фаталистически должна подчиниться.

В последние двадцать лет французы действовали совершенно по-мекленбургски. Они были уверены, что спокойствие их обеспечено, и, кажется, имели даже больше оснований, нежели, например, ганноверцы или франкфуртцы, думать, что никто не потревожит их. Хотя почты их действовали не так исправно, как по ту сторону Рейна, тем не менее так как они не были лишены права жалобы на неисправность почтальо-

нов, то право это до известной степени смягчало горечь негодующих сердец. Конечно, они знали, что некоторым из их граждан было не без неприятностей, но их заверили, что неприятности эти, в форме административных ссылок в Ламбессу и Кайенну, касаются только людей беспокойных, то есть тех самых, которые страдали «шириною идей». «Будьте гессенцами,— твердили им на каждом шагу,— и вы убедитесь, что все пойдет как по маслу!» И они вняли уверениям и сделались гессенцами. И вот, в ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изобрели каких-то совершенно неотразимых почтовых марок, вдруг грянул гром. Оказалось, что эти призывы к мекленбургскому спокойствию исходили из стана паразитов, для которых затишье было необходимо, чтоб под сенью общего безмолвия упитывать свои тела. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми людьми, которых способно было застать врасплох всякое обстоятельство, не имеющее ближайшего отношения к процессу питания.

А ведь и они, конечно, не пропускали случая, чтоб называть себя патриотами, и они до надсады кричали: «Vive la France!»[1] — и в то же время систематически ослабляли Францию, обезоруживали ее и делали неспособной для какой бы то ни было защиты. И вот теперь, в минуту расчета, оказывается, что они были не патриотами, а только паразитами, и что идея, согревающая патриотизм, и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и нисколько друг на друга не похожи.

Идея, согревающая патриотизм — это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи (хотя бы даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к воспринятию идеи о человечестве.

Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознавать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства тоже гро-

---

[1] Да здравствует Франция!

мадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.

До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознавать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.

Другой вопрос, разрешением которого угрожает разыгрывающаяся под стенами Парижа драма,— это вопрос об отношении к идее патриотизма людей необразованных и неразвитых.

Доселе существовало мнение, что, чем менее развит человек, тем больше он способен быть патриотом. Каждый начальник, хотя бы и лыком шитый, неизменно выражался так:

— Не люблю я этих умников, которые на бобах разводят, а дела не делают!

Теория эта по прямой линии исходила из той же теории бессознательности и врожденности. Последняя implicite[1] предполагала, что всякий вновь родившийся человек есть уже патриот, а так как новорожденный не грубит, не возражает, а только портит пеленки, то и казалось, что выше этого патриотизма не может существовать.

Кроме того, существовало еще и другое соображение. Смешивали патриотизм с исполнением начальственных предписаний, и так как последние не всегда и не для всех вразумительны, то приходили к заключению, что вразумительность может быть с успехом заменена дисциплиною. Но понятия о дисциплине разнообразны до крайности. Есть дисциплина свободная, которую установляют свободные люди, по взаимному соглашению, в видах достижения условленных целей, и есть дисциплина несвободная, которую установляет, например, B и делает ее обязательною для Z, находящегося в совершенном неведении насчет целей, для которых учреждена дисциплина. До сих пор самою благонадежною признавалась именно эта последняя форма дисциплины. Она устраняла разговоры. А так как развитой человек не может минуты прожить без разговора и сверх того раздражается всякою таинственностью, то из этого естественно вытекало заключение, что вы-

---

[1] тем самым.

носить дисциплину, а следовательно, и быть совершенно надежным патриотом может только человек совсем невежественный.

Исполнитель глупый, но буквально напирающий или неукоснительно отступающий, считался идеалом исполнителя (патриота). Все стремились куда глаза глядят, и было великой заслугой не знать, куда стремишься. Подобного рода идеал мог быть подорван только таким положением вещей, в котором потребность рассуждать являлась бы неотразимою. В так называемой последовательности явлений минуты полной сознательности приходят чрезвычайно медленно, и издали может казаться, что в массах таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. Но вдруг оказывается, что рассуждать необходимо, что предстоит одно из двух: или рассуждать, или пропасть...

Одна из таких истинно замечательных в истории человечества минут наступила теперь.

Невозможно сказать уверительно, до какой степени основательны восторги публицистов, повествующие о немцах-пастухах, читающих в подлиннике Еврипида, и о немцах-офицерах, пишущих с театра войны родным грамотки на санскритском языке, но нельзя не согласиться, что человек развитой уже потому является лучшим патриотом, что, обладая идеею общего блага и знанием элементов, его составляющих, может целесообразнее действовать в пользу торжества своей идеи.

Во-первых, только человек развитой способен обладать представлением об общем строе явлений и об отношениях, между ними существующих; невежественный же человек сознает лишь явления ближайшие, касающиеся его собственной личности или личностей тех людей, которые связаны с ним узами крови и беспрерывными столкновениями на одном и том же поле интересов. Так называемый patriotisme du clocher[1] гораздо сильнее действует в невежественном человеке, нежели в развитом, и по временам ограничивается районами почти микроскопическими. У нас, например, в некоторых местностях соседние селения аккуратно выходят друг на друга с дреколием в руках по самым ничтожным поводам и бьются в кровь до тех пор, пока голос капитан-исправника не вразумит враждующих, что все они дети одного отечества. Курский мужик наверное ничего не знает об Орловской губернии; орловский мужик не имеет никаких сведений о Курской губернии. Они не понимают, зачем им нужны эти «другие» губернии, и, следовательно, еще меньше могут интересоваться

[1] патриотизм своей колокольни.

вопросом об окраинах. Им известно, что до них не только из Калиша, но и из Воронежа, «как до звезды небесной, далеко». Если курскому мужику говорят: «поляк бунтует», или «немец блудит», то в этих словах ему сказывается не вопрос о целости или величии отечества, а вопрос о рекрутчине. Будет рекрутчина — стало быть, будет надобность идти неведомо куда. Куда идти? — он даже и этого не может определить, потому что, говоря по совести, и развитому человеку определить это не всегда бывает легко. Бунтуют поляки, а его ушлют задавать страх уездному городу Соликамску. Соликамск, Лодейное Поле, Бендеры, Верхнеудинск, Свенцяны, Белебей, Таммерфорс, Лодзь, Ахалцых, Ахалкалаки, Вольмар, Корчева — вот сколько неизвестных величин он обязан любить. С нами бог! да он в первый раз в жизни слышит про эти имена! Он знает только город Щигры; он слыхал, что по соседству с Щиграми существуют еще города Фатеж и Короча и что в городе Курске сидит губернатор, который вразумляет бунтующих и только по неизреченному своему милосердию оставляет невинных без взыскания. Все остальное для него миф, а вы хотите, чтоб ради этого мифа он сознательно и самоотверженно жертвовал своей головой и своими в поте лица собранными грошами! Слова нет, что и он может сделаться горячим патриотом и смело полезет в огонь и воду для исправления границ своего отечества, но это случится только тогда, когда его внезапный патриотизм будет неуклонно согреваться дисциплиною. Затем, может ли патриотизм дисциплинированный вполне заменить патриотизм свободный — это еще вопрос, и, кажется, в разрешении этого вопроса и заключается вся сущность дела.

Почти наверное можно сказать, что попытки заменить патриотизм дисциплиною никогда не увенчивались успехом. Происходит это оттого, во-первых, что никакими мерами нельзя вложить душу живу в человека, который может действовать только как автомат, и, во-вторых, оттого, что всякая дисциплина представляет машину, столь сложную, что строгое применение ее непременно увлечет патриотов-руководителей совсем в другую сторону от главных целей. Человек, который не знает, куда он идет, весь, со всеми своими мыслительными способностями, подавлен этою неизвестностью. Он, как самый простой поденщик, может работать со штуки, но, не зная ни значения этой работы, ни ее применений, будет все-таки действовать наугад, а чаще всего невпопад. Сработает он мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, необходимо будет исправлять или начинать сызнова. Но и это еще не все: самое существо дисциплины таково, что требует и непрерывного

смотрения, и множества таких действий, которые угрожающим или унижающим своим характером оскорбляют даже неразвитого человека. Устроивается целая корпорация лиц с единственным назначением поддерживать дисциплину, созываются комитеты, члены которых получают прекраснейшее жалованье и производят обмен мыслей, имеющий в виду ту же цель. Форма вытесняет сущность, призрак приобретает плоть и кровь.

Совсем иные черты представляет дисциплина свободная, которою добровольно связывает себя человек развитой. В его глазах отечество не просто бессвязный агрегат селений, городов, сословий и т. д., а цельный и живой организм, в котором каждая пядь территории защищает и питает следующую пядь. Если он успел доказать себе, что развитие страны находится на ложной дороге, то он не обязывается идти с ним об руку и не лишается через то наименования патриота. Бывают минуты, когда борьба против ложного общественного настроения считается признаком высшего и безукоризнейшего патриотизма, хотя, конечно, бывают и иные минуты, когда развитой человек подчиняет свой высший патриотизм патриотизму необходимости и добровольно связывает себя дисциплиною. Как ни тяжел этот подвиг подчинения, но так как он предпринимается сознательно, то нет надобности ни следить за каждым шагом этого человека, ни входить с ним в многословные объяснения. Он ответствен не перед шпицрутеном, а перед судом своей собственной совести. Сообразите же, насколько удобнее, проще и достойнее подобная дисциплина, и подведите итог капиталам и силам, которые страна приобретет оттого только, что в идею патриотизма будет введен элемент сознательности и умственной развитости.

Во-вторых, развитой человек и в исключительной сфере практических применений имеет возможность действовать с большим успехом, нежели человек невежественный. Предложите ему вопрос о народном образовании — он укажет на лучшие методы обучения; предложите вопрос о земледелии — он укажет на лучшие способы обработки земли. Мнение, утверждающее, что рутинисты суть самые лучшие практики и дельцы, может пользоваться кредитом только в таких странах, в которых нет истинно развитых людей, а существуют лишь люди полуразвитые и круглые невежды, прикрывающие свою невежественность одними внешними формами. Такие люди действительно уступают на поприще практики людям просто невежественным, потому что, не обладая, наравне с последними, никаким реальным знанием, они, сверх того, пользуются еще общественным положением, которое освобождает

их от применения даже грубой силы мышц. Но это все-таки нимало не свидетельствует в пользу невежественности, ибо отнюдь не следует упускать из виду, что невежественность обречена всякое дело начинать с начала и только путем долгих и разорительных опытов достигать тощих результатов. Даже в деле избиения людей услуги развитого человека являются гораздо более ценными, нежели услуги человека невежественного. Дайте ружье в руки мужику, ничего не знающему, кроме сохи,— и вы измучитесь в ожидании, пока он убьет хоть одного думкопфа; дайте то же ружье в руки «умнику» — вы не успеете оглянуться, как он уже пристрелил полдюжины думкопфов. Мужик колет зря, не зная, зачем и кого колет; «умник» не только сам колет с рассуждением, но даже может начальству дать недурной по сему предмету совет.

Итак, не может подлежать сомнению, что подлинными патриотами могут считаться только развитые люди; невежды же обязываются любить деревню, село, город, а патриотами могут делаться лишь с помощью дисциплины.

И эту истину пришлось несчастной Франции популяризировать своими боками, и ей же, а не Германии, достанется честь повсеместного ее распространения. До сих пор Франция жила лихорадочною, перемежающеюся жизнью: то освещала мир лучами, то погружала его в тьму. Это происходило, по-видимому, оттого, что действительною политическою и социальною жизнью жил только Париж и другие немногие центры, уровень же развития остального населения был весьма невысок. Теперь Франции предстоит такая задача: привить Париж к остальному национальному организму. И ежели она выполнит эту задачу, то мейнингенцам едва ли удастся еще раз топтать поля ее.

Зигмарингенцам и гессенцам, конечно, очень ловко говорить: мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Еврипида читают, а ваши и азбуке обучались с грехом пополам. Они забывают, что и возможность наслаждаться Еврипидом все-таки до некоторой степени обеспечивается тою же Францией, то есть Парижем. Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж — в Мадрид. Что тогда будет? — А вот что: придут паразиты, соберут всех гессенцев и при громе пушек объявят: нет вам ни школ, ни университетов, ни Еврипида! живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожа!

Для нас, русских, это открытие не новость, хотя нельзя не сознаться, что с полною основательностью мы знаем только одну половину его. Нам известно, конечно, что невежды суть невежды, но здесь и прекращаются наши сведения по этой части. Вопрос о том, можно ли сделать из невежественных людей какое-нибудь употребление, остается открытым. Мы не думали об этом по недостатку элементов для сравнений, по невозможности определить, на что способна умственная развитость. Наше народное образование находится в зачаточном положении, наше высшее образование прогрессирует задним ходом. При таком положении дела весьма естественно, что не может существовать ни верного понятия о сущности вещей, ни твердых и ясных убеждений. Одно убеждение, по-видимому, сложилось прочно — это убеждение, что знание есть рассадник бунтов, но если мы вглядимся в дело ближе, то увидим, что даже и это убеждение наносное. Хладные теоретики проповедуют эту quasi-истину с чужих слов. Они слышали, что где-то, в тридевятом царстве, Иван, получив просвещение, чуть было не ограбил Петра, и в ужасе за свои карманы вопиют: вот хваленое просвещение! научили человека грамоте, а он на большую дорогу пошел! Но и у этой теории нет твердого, реального основания, потому что, не обладая самым фактом просвещения, мы не можем даже судить, какая в нем заключается сила: разрушающая или зиждущая.

Такое положение могло бы, впрочем, иметь свои удобства, если отнестись к нему откровенно, без предубеждений. Если нет просвещения, то надобно водворить его; если школы до того редки, что всякое известие об открытии нового рассадника первых четырех правил арифметики заставляет открывать удивленные глаза, то надобно устроить так, чтобы подобные известия не удивляли, а казались обыденными. Говорят, что этого трудно достигнуть по недостатку материальных средств; но возражение это в значительной степени утратит свою силу, ежели мы сообразим, сколько употребляется материальных средств на устранение тех недоразумений, которые приводит за собой отсутствие просвещения. В военном отношении просвещение наполовину заменяет шасспо; на поприще гражданских доблестей — оно делает почти ненужными так называемые расходы взимания. Стало быть, поднявши умственный уровень масс, можно, без вреда для воинственных упражнений, уменьшить наполовину комплект ружей и пушек, ибо оставшаяся половина будет палить целесообразнее. Затем можно будет также наполовину сократить армию чиновников, так как последним даже палить не будет предстоять надобности. Сколько получится экономии от этих сокращений,

можно судить уже по тому, что если бы, например, уменьшить наполовину только число полицейских управлений (по росписи государственных расходов на этот предмет по всей империи, за исключением Финляндии, исчисляется около шести с половиной миллионов рублей), то получится круглая цифра с лишком в три миллиона рублей. Какую массу людей можно напитать просвещением на эту сумму! А там пойдут еще акцизные надзиратели, чиновники для составления, чиновники для пересоставления, смотрители, председатели и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего этого мы лишимся, во всем этом не будем чувствовать надобности, как только нас коснется благодать просвещения! Какая волшебная перспектива! Какая масса денег во всех карманах, какое довольство на всех лицах — и ни тени беспорядка.

Напротив, порядка будет еще больше, потому что пример Германии осязательно доказывает, что непосредственный результат просвещения совсем не бунты, а расположение читать греческих классиков в подлиннике.

Не попробовать ли?

Есть еще и третий вопрос, разрешение которого должно значительно подвинуться вперед вследствие откровений настоящей войны. Это вопрос об отношении к идее патриотизма людей, не принимающих участия в делах своей страны.

Наиболее распространенная из теорий, определяющих отношения отдельного человека к интересам страны, имеет девизом очень простое и краткое изречение — «не твое дело». Все, что̀ ни видится кругом, все очерчено чертой, преступить за которую — значит обнаружить поползновение очень опасного свойства. В громадных перегородках, разделяющих вселенную, мечутся мириады единиц, из которых каждая для каждой составляет заповедную область. Чем меньше связи между людьми, тем меньше столкновений. Тем тише. Тишина внутри и неприступность извне — вот идеал страны сильной и благоденствующей. Под защитою этой тишины и неприступности делается какое-то дело, но делается как-то само собой, как будто над сонмищем разрозненных единиц, присвоивающим себе название общества, парит совсем независимая сила, живущая собственною жизнью и не ведающая иных условий, кроме тех, которые заключены в ней самой. Это сила, которая устрояет и дисциплинирует тишину. С изумительною настойчивостью преследует она свою цель и в конце концов действительно достигает того, что девиз «не твое дело» не

только становится внешним правилом, определяющим человеческие действия, но входит в нравы. Задачи администрации упрощаются до бесконечности; наступает минута, когда начинает даже казаться, что нечем управлять; перед глазами волнуется море людей, и хотя эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но все их движения поражают точностью, все приливы и отливы совершаются с правильностью, которой может позавидовать бессознательная правильность стихии. Это чудо достигается дисциплиною.

Этим все сказано. Дисциплина творит тишину, тишина обеспечивает дисциплину. Это замкнутый круг, в который не входит иных элементов, кроме взаимного творчества дисциплины и тишины. Таковы требования теории, и они, без сомнения, достигали бы известных целей, если бы в практических применениях была возможна та же математическая точность, какая предполагается теорией. Но слабая сторона теории «не твое дело» именно в том и заключается, что практические ее применения не только не отвечают ожиданиям теоретиков, но на каждом шагу раскрывают такого рода опасности, к которым может остаться нечувствительным разве слепой и безусловный фанатизм.

Самый грубый практический способ устранения человека от деятельного участия в делах страны, к которому всего охотнее прибегали теоретики тишины, заключается в насильственном обречении массы в жертву невежественности и обеднения. По наружности это средство действительно кажется неотразимым, потому что ведь и в самом деле трудно представить себе другую силу, которая могла бы так всецело гарантировать равнодушие к общественным интересам, как гарантируют невежественность и бедность. Но, в сущности, заключение это все-таки не больше, как отвлеченное построение. Начать с того, что даже при систематическом распространении невежества невозможно обезличить человека до такой степени, чтобы он сделался скотом весь, без остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезличить человека, ибо даже в сфере самой грубой исполнительности встречается множество случаев, когда необходимы услуги не скотов, а людей. Затем, идя далее, мы встречаемся еще с одною случайностью, которая тоже не свидетельствует в пользу невежественности, как гарантии общественной тишины. Не подлежит сомнению, что всякий умственный уровень, от высшего до низшего, имеет минуты, когда он выбивается из обычной колеи и предъявляет требования, выходящие из ряда обыкновенных, а потому и не легко предусматриваемые. Очень возможно, что эти уклонения нежелательны, что необходимо всячески их отвращать и

отдалять, но так как все-таки факт существует, то было бы непростительным легкомыслием не принимать его в расчет. Спрашивается: в каком случае факт уклонения должен облекаться в формы более мягкие — в том ли, когда он исходит из среды, стоящей на высшем уровне, или в том, когда его создает среда, находящаяся под исключительным давлением непосредственного чувства?

Это вопрос очень серьезный, и от разрешения его бесспорно зависят будущие судьбы теории, имеющей девизом «не твое дело». Что̀, ежели окажется, что соответствие между равнодушием к общественным интересам и тишиною, которым мы так охотно задаемся, есть только призрачное соответствие? Что̀, ежели для уничтожения этого призрака достаточно одного случайного движения невежественной массы,— движения тем менее отвратимого, чем больше мы возлагаем упований на невозможность его? Издали нам сдается, что невежественная и обнищавшая толпа занимается только равнодушием, а она между тем требует хлеба и зрелищ. И не справляется при этом ни с положением бюджета, ни с сведениями об урожаях, ибо все это «не ее дело». Непрерывный ряд внешних стеснений ограничил «ее дело» одними требованиями желудка; она приняла это ограничение, но зато ухватилась за оставленную ей сферу тем с большею цепкостью, чем больше сделано урезок и сокращений во всех других сферах ее жизни. Спрашивается: в каких формах она выразит то единственное требование, которое она успела выяснить себе, не выяснивши при том никаких средств для удовлетворения?

Другую, менее резкую, но тоже очень решительную форму устранения от участия в общественных делах представляет так называемая административная централизация. Путем более сложным и искусственным она достигает тех же результатов, каких достигает и невежественность, то есть полнейшей безучастности ко всем интересам, кроме интересов желудка. В строгом смысле, централизация даже не может существовать, если рядом с нею не накоплена достаточная сумма невежественности, и пример стран, считающихся высокоцивилизованными, подобно Франции, нимало не опровергает этой истины.

Немыслимо, чтоб человек развитый добровольно отказался от права управлять своими действиями в пользу стороннего лица, потому что подобный отказ был бы равносилен низведению себя на степень низшего организма, а для такой прихоти не имеется никакого разумного объяснения. Существование крепкой централизации в странах цивилизованных ничего не доказывает в ее пользу, а убеждает лишь в том, к каким

постыдным результатам может привести неравномерность в распределении благ, которые приносит с собой высокая степень умственного развития. Если центры настолько богаты просвещением, что могут, по справедливости, считать себя стоящими во главе человечества, и ежели и затем политическая и общественная жизнь страны томится под игом обезличивающих ее форм, то это значит, что тут существует глубокий перерыв, которого не может наполнить даже богатое содержание центров. Даже такие существенные выгоды, как, например, народное представительство, утрачивают все значение, благодаря изнуряющему влиянию централизации. Вопросы, разработываемые народным представительством, могут получать очень верное разрешение, но для масс это все-таки будут вопросы сторонние, нимало их не затрогивающие. Нет посредствующих живых звеньев, которые служили бы применителями и разъяснителями работы, совершающейся в центрах,— следовательно, не может быть и жизненного ее применения. Вместо этих живых звеньев посредником является армия чиновников, которая действует, конечно, не в смысле прилаживания общих вопросов к требованиям жизни, а совершенно наоборот, в смысле прилаживания жизни к требованиям общих вопросов. Отданная в жертву этим прилаживаниям, масса или загрубевает, или же протестует непрерывным рядом волнений и беспокойств. И таким образом равнодушие, на которое возлагалось так много надежд, не только перестает быть источником тишины, но становится творческою силой, производящею ее нарушения.

Но пусть будет так. Пускай высказанные выше доводы останутся неубедительными для теоретиков тишины во что̀ бы то ни стало. При чем же тут, однако ж, патриотизм? каким образом вяжется он с общественным индифферентизмом? когда он требуется? в каких формах имеет возможность проявлять себя?

В том-то и дело, что тут нет и не может быть никакой связи, потому что нельзя ограничить индифферентизм исключительно одною сферою жизни и остановить его наплыв во все остальные сферы. Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и скуден инициативой, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно на страх врагам». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикою. Нельзя передвигать его из одной сферы в другую, смотря по надобности, особенно

из такой сферы, где он встречает применение беспрерывное, в такую, где предстоит применять его только, так сказать, в табельные дни. Отсутствие повседневной работы ума мало-помалу доводит способности человека до нуля: с чем же он пойдет на защиту отечества, когда в этой защите встретится надобность? Где он найдет элементы для энтузиазма? Он наг снаружи и наг внутри; он ничего не знает; он игнорирует даже ту «вещь», во имя которой ему приводится расточать энтузиазм.

Но все эти соображения нимало не смущают теоретиков молчания, и причина тому очень простая. В глубине души патриотизм столько же противен им, как и вообще всякое проявление человеческой самодеятельности, и только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет их признать в этом явлении некоторые небесполезные свойства. Поэтому выражения патриотизма хотя и допускаются, но при таких условиях, осуществление которых возможно только с помощью теории еще более искусственной, нежели изложенная выше теория повсеместного водворения безмолвия.

И тут бессознательность и врожденность служат исходным пунктом для дальнейших построений. Принятые однажды на веру, они облегчают дело настолько, что независимость патриотизма от практических применений кажется истиною вполне доказанною и неопровержимою. Патриотизм врожден, следовательно, он всегда налицо, следовательно, его можно вызвать на сцену во всякую минуту, когда в нем есть надобность. Вот краткий, но немудрый кодекс, которым руководятся теоретики народного обезличения. Все равно как графин с водкой. Покуда нет в водке надобности, графин стоит в шкапу; как только есть надобность, графин ставится на стол, наливается рюмка или две, а затем водка опять препровождается в шкап, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтоб не воняли.

Такой взгляд представлял бы несомненные удобства, если б можно было отыскать в человеческом организме такой орган, который исключительно занимался бы пристанодержательством патриотизма. Тогда представлялась бы возможность действовать по усмотрению: нужен патриотизм — приподнял клапан и выпустил пары; не нужен — завернул кран и спи спокойно без патриотизма. Но такого органа до сих пор еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что патриотизм более, нежели всякое другое проявление человеческого духа,

находится в зависимости от воспитания и навыка. До сих пор приходилось только догадываться в справедливости этой истины, и притом догадываться по фактам изолированным и недостаточно ясным. Понятно, что и результаты таких догадок были недостаточны. Нас не могло не поражать спокойствие и чувство собственного достоинства, которое приносит с собой, например, англичанин или американец всюду, где бы он ни появился, но мы приписывали эти свойства интимным особенностям расы и успокоивались на этом объяснении. Всякая раса, по принятому нами преданию, снабжена особою этикеткою, на выполнение которой она осуждена самою судьбой. Один народ должен быть от природы воспламенителен и хвастлив, другой — от природы туп и склонен к изобретению почтовых марок, третий — от природы смирен и не склонен ни к каким изобретениям. Но такая замкнутость расовых особенностей слишком противоречит идее человеческого прогресса, чтобы можно было примириться с нею. Только комедия, да и то плохая, может представить отвержденную хвастливость, отвержденное тупоумие или смиренство, в жизни же все эти качества точно так же подлежат законам разложения, как и всякое другое жизненное явление. Влияние расовых особенностей в известных случаях ослабевает и уступает место влиянию воспитания. Недостаток этого последнего объясняет все проявления дикого фанатизма с одной стороны и презренной приниженности с другой. И хвастливость, и приниженность одинаково свидетельствуют, что человек, обладающий одним из этих качеств, никогда не ощущал себя деятельным членом общества, а следовательно, никогда не мог возвыситься до идеи, что общество, независимо от своей развитости или неразвитости, есть организм настолько сильный, что выдержит всякую правду и с презрением отнесется к хвастливости и приниженности. Если этот субъект имеет способность раздражаться наносною идеей, то тем хуже для него. Это докажет только, что он во всякую минуту способен сделать себе убеждение, свободное от какой бы то ни было внутренней работы. Это паразит гораздо более опасного свойства, нежели даже другой паразит из смиренных, который доводит свое смиренномудрие до того, что охотнее назовет себя курицыным сыном, нежели признает свою национальность. Чтобы достичь этой степени смиренномудрия, нужно очень многое: быть может, нужна даже ненависть. Но, во всяком случае, ни тот, ни другой не могут называть себя патриотами по той простой причине, что ни у того, ни у другого нет органической связи с тем, что они называют своим отечеством.

Франция первая сообщила силу достоверности этому факту, доселе имевшему только характер догадки. Она практически доказала, на что̀ была способна централизация конца XVIII столетия и на что̀ она сделалась способною теперь, послужив двадцать лет послушным орудием в руках наезжих людей. В конце концов оказывается, что, как ни противоположно было действие этой силы в том и другом случае, все-таки оно не снимает с нее характера явления противообщественного, которое вредными результатами превосходит даже осадное положение. Осадное положение убивает жизнь общества временно, централизация отравляет самые корни этой жизни. Факты фанатизма и апатии, которые доносятся до нас с театра войны,— все это не что иное, как последствия того стройного административного механизма, которым гордилась Франция и которому удивлялся весь мир. Сегодня сжигают живьем человека и чуть-чуть не вздергивают на виселицу представителя страны за то, что он высказывает свободное мнение, завтра — уходят с арены военных действий толпы гард-мобилей, объявляя, что им лучше дома, чем на войне. Ясно, что такого рода проявления могут исходить только из такой среды, которая не имеет ясного понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям преувеличенного страха и не менее преувеличенных надежд.

Но ежели Франция так неожиданно познала на себе все последствия деморализации, которую влечет за собой искусственное обезличение страны, то нет сомнения, что она вынесет из этого испытания урок, поучительный не только для нее, но для всех соединенных зигмарингенцев и мекленбуржцев. Положение Франции имеет ту выгоду, что ее неудачи слишком ярко бросаются в глаза, чтоб можно было скрыть их и упорствовать на ложном пути, впредь до новых неудач. Несмотря на свое обезличение, это все-таки народ, выработавший Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи. Для такого народа устранение причин, породивших неудачи, обязательно, и притом не частное или измороченное, а коренное, немедленное. Мекленбуржцы не понимают этой обязанности; судя по прежним примерам, они думают, что и с неудачами можно жить спокойно, если имеются ретур-билеты, а на почте не вскрывают посылок. Их войска побивают в настоящую минуту думкопфов, и вот они спешат вывести из этого лестные для себя заключения. Мы, дескать, и образованнее, и чиновники у нас честнее, и свободы больше — а все это нам пожаловано! Очевидно, однако ж, что

тут упускается из вида, что то положение вещей, которое во Франции было лишь плодом исключительного недоразумения, для многих стран, не столь взыскательных, есть положение хроническое, а для других даже желательное.

Во всяком случае, не может подлежать сомнению, что громадные события, совершающиеся на наших глазах, будут обильны не менее громадными результатами. И галльский петух, наверно, популяризирует эти результаты, и притом не суммарно, а во всей прискорбной их полноте.



ПИСЬМА о ПРОВИНЦИИ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

С некоторого времени жизнь в провинции изменяется. Мало-помалу в эту жизнь входят новые элементы, которые захватывают более значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мере, нет того повального бездельничества, которое, в буквальном смысле слова, сокрушало провинциальное общество лет двенадцать — тринадцать тому назад.

Даже центры деятельности сдвинулись с прежних гнезд, а вместе с тем изменились и роли самих деятелей. Деятельность органическая видимо отдаляется от старых центров и скромно приурочивается к новым. Советники разных палат и управлений, конечно, еще существуют, но прежде они ходили окруженные светозарным облаком, теперь же путешествуют по административным пажитям большею частью инкогнито и в значительно сокращенном виде.

Как и водится, такое перемещение деятельных центров производит немалый переполох и в самых деятелях. В одних оно возбуждает зависть и худо скрываемую досаду, в других — чувство робкой недоверчивости, смешанное с некоторым удивлением. На одной стороне сцены стоят люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России и зиждителями ее судеб, на другой стороне — люди новые, которых девизом еще так недавно была знаменитая поговорка: «Изба моя с краю, ничего не знаю». Середку (хор) занимают так называемые фофаны, то есть вымирающие остатки эпохи богатырей. Понятно, с каким чувством смотрят исконные историографы на пришельцев, которые отныне обя-

зываются разделять их труды по части сочинения русской истории.

С призывом новых сочинителей на поприще русской истории старые историографы чувствуют себя неловко. Во-первых, им стыдно, что история, которую они до сих пор сочиняли, имеет несомненное сходство с яичницей; во-вторых, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не история, а яичница, и вследствие того не выдадут им квитанции; в-третьих, им сдается, что пришельцы наступают им на ноги, и хотя говорят: «pardon», но с заметною в голосе иронией; в-четвертых, они чувствуют, что им нечего делать, что праздного времени остается пропасть, а девать его решительно некуда. Поэтому истинный историограф с раннего утра мучится подозрениями и беспокоится мыслью, как бы ему на кого-нибудь так наехать, чтоб от наезда этого гром прокатился от одного конца вселенной до другого, и чтобы разумели языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасения старых историографов чересчур преувеличены и происходят оттого, что последние, погрузившись исключительно в сочинение русской истории, недостаточно обогатили свой ум знакомством с политической экономией. Если б этот пробел в их воспитании был пополнен, они поняли бы, что первое условие успешности всякого труда есть его разделение и что появление на сцену новых сочинителей по части русской истории представляет собой не что̀ иное, как ближайшее последствие этого условия. Чтобы изготовить надлежащую яичницу, необходимо, во-первых, затопить печь, во-вторых, вычистить сковороду, в-третьих, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая из этих операций требует особого специалиста, ибо, ежели выпускать яйца примется истопник, то он легко может помять желтки. Следовательно, стряпать яичницу силами совокупными не токмо не предосудительно, но даже приятно. Работа на людях идет спорее и веселее; истопник подстрекает судомойку, судомойка поощряет повара; поют песни, перебрасываются невинными шутками, а яичница между тем поспевает да поспевает. Не ясно ли, что такого рода зрелище ничего, кроме отрад, возбуждать не должно?

И действительно, наплыв пришельцев отнюдь не означает ни злоумышления, ни посягательства, а есть просто последствие признания принципа разделения труда. Внешние формы труда бесспорно видоизменились, но сущность его осталась столь же обильною разного рода случайностями, как и в то время, когда еще не было истории, а был мрак времен. Конечно, тут, кроме сущности труда, может возникнуть еще вопрос о том, кому-то придется съесть устроенную общими

силами яичницу, но, по мнению людей благомыслящих, такого рода вопрос, по малой мере, преждевременен. Подобное забеганье вперед может самого кипучего деятеля заставить опустить руки, может тлетворно подействовать на успех дела самого несомненного. Политическая мудрость всех веков и народов убеждает, что цели ближайшие и непосредственные суть, в то же время, и наиболее желанные, а как в настоящем случае ближайшую цель составляет производство яичницы, а не потребление ее, то примемся за это дело вкупе и не будем раздражать нашу мысль опасениями будущего. Ибо съест яичницу, наверное, тот, кому съесть ее надлежит.

Мысль об отдавливанье ног, об ироническом выраженье ртов и носов есть именно порождение подобных неполезных забеганий вперед. Всякий согласится, что не изобретено еще тех чувствительных весов, с помощью которых можно было бы взвесить вещь столь неуловимую, как выражение лица. Можно даже утверждать, что самое представление о том или другом выражении лица есть представление почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвестностью будущего, и вот вам кажется, что все носы иронизируют, что все ноги направлены к тому, чтоб злоумышлять против ваших мозолей. Но успокойтесь на минуту, оторвите вашу мысль от сомнительного будущего, и вы убедитесь, что глаза ваши лжесвидетельствовали, что уши были с ними заодно в заговоре, чтоб отравить ваше душевное спокойствие. Бесчисленные свидетельства людей опытных и компетентных удостоверят вас, что в провинциях наших могут быть выражения лиц почтительные, беспечно-преданные, исполнительные, на все готовые, но выражений иронических нет и никогда не бывало. Этого мало: в провинции даже положение человеческого тела невольным образом принимает характер устремительный, но никак не упирающийся или угрожающий — ужели этих свидетельств недостаточно?

Несколько более основательными кажутся опасения насчет сокращения способов умерщвлять избыток праздного времени. Опасения эти возникли еще в то время, когда возбужден был вопрос о сокращении переписки. Уже тогда многим казалось, что власть значительно потрясется, ежели, вместо «имею честь покорнейше просить», будут писать просто: «прошу», а вместо: «о последующем прошу не оставить уведомлением» — «прошу уведомить». Ожидали, что экономия труда произведет праздность, праздность породит неуважение, неуважение — бунт. Впоследствии к этим ожиданиям присоединились соображения еще более веские. Припомнили, что время каждого деятеля распределяется с такою точностью, что всякое нарушение

однажды заведенного порядка не может не произвести в организме законного беспокойства. Если приобретена привычка в известный час дня строчить, в другой распекать и т. д., то нельзя себе представить, какая истома овладевает человеком при наступлении урочного часа. Вот-вот, кажется, так бы и исстрочил насквозь всю природу, и вдруг — о, ужас! — в ту самую минуту, когда все фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вам докладывают, что все уже выстрочено и перестрочено... Что̀ тут делать? что̀ предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасения и вопросы далеко не безосновательны. Время — это издревле страшнейший наш враг. Мы неустанно боремся с ним, мы употребляем и коварство и хитрость, чтобы восторжествовать над этим призраком, всегда стоящим перед нами, и постоянно изнемогаем в неравной борьбе. У нас положительно нет ресурсов, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессию, то единственно потому, что с профессией этой в уме нашем соединяется понятие совсем не о деле, а о властном положении в обществе, о безответственности и произволе. Все условия нашего прошлого были так направлены, чтобы сделать из нас самолюбивых тунеядцев и развить в нас одну страсть — страсть к существованию на чужой счет. Понятно, какого рода идеалы при подобных условиях жизни могли обольщать наши умы и какое озлобленное негодование должно закипать в наших сердцах, когда обстоятельства напоминают, что время даровых утех миновалось и что ежели мы желаем продолжать жить, то обязываемся устроить нашу деятельность на иных основаниях.

Как бы то ни было, в провинциальной жизни чувствуется разлад, но разлад, так сказать, односторонний. Собственно, нападает и раздорствует только одна сторона — историографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится богу, чтобы об ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.

Известно, что Россия с древнейших времен периодически подвергается действию различного рода пионеров, которые обработывают ее всесторонне и с старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но небезызвестно также, что пионеры всех стран и времен встречали и встречают прием неприветливый. Во-первых, не всякому лестно, что его вот-вот сейчас начнут обработывать; во-вторых, пионеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснейшими окладами, на которые очень многие заглядываются. Уж на что̀ благонамеренными пионерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха наделало их появление! «Нигилисты!» — кричали одни; «коммунисты!» — кричали другие, и нужно было целую

массу нечеловеческих усилий, чтоб доказать вселенной, что это совсем не нигилисты, а такие же историографы и столпы, как и все прочие. Точно такой же факт совершился на наших глазах с пионерами контрольными: их до тех пор упрекали в тайных наклонностях к конституционализму, пока они добрым своим поведением победоносно не доказали, что за ними не только к конституционализму, но и к счетоводству наклонностей никаких не водится.

Но пионеры следуют за пионерами с быстротою изумительною, и быстрота эта так вредно действует на ясность понятий, что решительно не знаешь, кого в данную минуту называть пионером, а кого столпом. Те люди, которые еще вчера в глазах всех казались завзятыми пионерами, сегодня именуют уже себя столпами и ниоткуда не встречают на это возражения. В настоящую минуту, сколько можно понять, пионеры самые свежие — это земство и новый суд.

Велико было озлобление против акцизников и контрольных, но невозможно рещи́, какие оно приняло размеры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. В виду этих новых пришельцев, историографы становятся в каре́ и показывают решимость бодаться; они забывают взаимные междуисториографские раздоры и подают друг другу руку примирения; околоточные торжественно лобызают акцизников и очищают единство кассы от обвинений в либерализме и конституционализме. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армию сильную, способную поразить его на всех пунктах.

Способы действия историографов известны достаточно; это — отчасти лганье, отчасти клевета. Лгут историографы простодушные, клевещут — злоумышленные; первые были бы подчас даже забавны, если бы, в большинстве случаев, не служили вредным орудием в руках последних.

Можно себе представить, какую богатую пищу представили для этих скудных умов новые судебные и земские учреждения!

Прежде всего их поражает перемена внешних форм обращения. Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажание на стул — все это признаки революции. Не то что прежние орлы — налетят, бывало: «А ну, растакие-то дети! распоясывайтесь!» Потом поражает преданность делу (несколько, впрочем, кропотливая), не позволяющая мешать его с бездельем,— опять признак революции, ибо издревле замечено, что человек необщежительный, человек, не принимающий участия в провинциальных folles journées[1], непременно должен быть чело-

[1] попойках.

веком неблагонамеренным и злоумышляющим. В-третьих, поражает скромность образа жизни — новый признак революции, ибо опыт доказывает, что в обществах благоустроенных и богобоязненных сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернских дармоедов. В-четвертых, поражает известная доля начитанности и образованности; в-пятых...

Но нужно ли высчитывать все так называемые признаки революции, которые заставляют бледнеть и трепетать архистратигов нашего болотного воинства? В сущности, они столько же понимают значение слова «революция», как и та простодушная дама, которая уверяла, что революцию развозят по деревням разносчики; но историографы злоумышленные цепко хватаются за хлесткое словечко и действуют неукоснительно, чтобы популяризировать его обращение между историографами простодушными. И начинается тут то неслыханное лганье, которое могут выносить только крепкие обывательские натуры.

У какого-нибудь болотного чибиса пропали старые портянки, а он уже повествует, что в этих портянках спрятана была тысяча рублей и женины приданные ложки.

— И представьте себе, хоть бы вор не сознался! — ораторствует чибис в порыве сочинительства,— сознался, сударь, и пойман и уличен! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Как же, мол, это так — ведь вор-то, чай, свой брат!.. ну, и отпустили! ступай, мол, голубчик, воровать на все четыре стороны!

— Слышали? слышали? — стоном стонет, проснувшись, болото.

— Нет, вы мне вот что̀ скажите: с которых это пор завелось у нас равенство? — вопиет другой чибис,— прихожу я давеча к «нашему», только вижу, и Фенька моя тут! — Ну-с, спрашиваю, что̀ угодно вашему высокородию? — А вот, говорит, сейчас будет разбираться ваше дело с крестьянской девицей Федосьей Павловной (это с Фенькой-то!).— Слушаю-с, говорю (рассказчик, произнося это, иронически шаркает ножкой). Только началось у нас это разбирательство; я — слово, Фенька два, я слово — Фенька так и сыплет! Не вытерпел: «Прикажите, говорю, замолчать этой паскуде!» Что̀ ж бы вы думали, он-то? «Во-первых, говорит, Федосья Павловна имеет такое же право объяснять свое дело, как и вы, а во-вторых, за то, что вы ее в присутствии моем оскорбили (это Феньку-то!), штрафую, говорит, вас тремя рублями». Хороша штучка-с?

Историй в этом роде не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдают за каждым шагом пришельцев и каждое их действие подвергают немедленному оболганию. Но из тьмы всякого

рода небылиц и нелепых претензий ярче других выступает вперед претензия на так называемое бездействие власти, на то, что подсудимых не бьют по скулам и не сгибают в бараний рог. Припоминаются тут всякие лихие исправники и неслыханных размеров городничие. Повествуется, как некоторый Порфир Порфирыч того-то засек, тому-то ребра переломал, того-то на всю жизнь оглушил.

— У этого, брат, запоешь! — восторженно вопиют разом все кулики,— этому, брат, того наскажешь, чего никогда и не бывало! Уж это так.

Злоумышленные историографы с удовольствием прислушиваются к этому повальному лганью и от времени до времени подогревают его изобретениями своей фабрики. Это тем для них легче, что жизнь действительно представляет факты, по наружности подкрепляющие эти изобретения. В мире не без воровства, не без грабежей и не без убийств, в мире не без скверных дорог и неисправных переправ,— все это такие житейские невзгоды, которые бывали, бывают и будут во все времена. Но в былое время невзгоды эти утопали в бездне безмолвия и безответственности и потому не поражали, не возбуждали ничьих протестов. Нет сомнения, что в былое время кара настигала преступника еще реже, нежели нынче, но так как суд и расправа были, так сказать, делом домашним, то следственные неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толков, ни негодований. Теперь дело иное. Теперь суд есть нечто для всех осязаемое; теперь — это общее достояние, на которое устремлены все взоры. И столпы с большою ловкостью воспользовались этим обстоятельством, чтобы сделать из него злонамеренное орудие. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во чтò бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить из вида подробность — и вы увидите, какой вдруг гвалт поднимут столпы, и как, следом за ними, застонут и захлопают крыльями простодушные кулики!

— Нет, это так не делается! ça ne se fait pas ainsi! — вопиет, сверкая глазами, какой-нибудь столп, пользующийся между куликами особенным авторитетом.

— Возьмите, однако, в соображение...

— Да нет, поймите меня, так не делается! — долбит столп и тут же, обращаясь к толпящимся вокруг него чибисам, прибавляет,— я уверен, что будь это дело в руках моих прежних... моих верных!! — уж давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла в огонь, которым пламенеют сердца куликов. Опять выступают на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглушители, Фомы-зубокруши-

тели, а «революция», словно живая, так и смотрит в глаза каждому чибису, как будто говорит: а вот я тебя сейчас на сковороду да в печку!

Вот какого рода разлад существует в современном провинциальном обществе и какого рода непрерывным шиканствам подвергается там пионерное ремесло. Что̀ же за люди эти пионеры и в чем состоит их вина перед историографами?

В самом начале настоящего письма выражена мысль, что жизнь в провинции изменяется к лучшему. Несмотря на то что многое в дальнейшем изложении условий этой жизни как будто противоречит этому заверению, оно все-таки остается в своей силе. К чести новых пришельцев нужно сказать, что, ежели в современную провинциальную жизнь начинают вторгаться умственные интересы, то этим она обязана исключительно им.

Путник, случайно забравшийся в современную провинцию, не рискует уже, как в бывалые времена, заблудиться в ней, как в дремучем лесу, или очутиться в положении Робинзона на необитаемом острову. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселе не играли преимущественной роли в жизни провинциала, но это почти единственный обломок древней славы, уцелевший на развалинах прежнего развеселого житья. Уж одно то, что прежде постоянно кого-нибудь где-нибудь заушали, что прежде вы не могли сделать шагу, не рискуя услышать: «Батюшки! не буду!», что мысль об этом повальном заушении не могла не терзать существования честного человека и что теперь честный человек несравненно реже подвергается подобного рода опасению,— уж одно это представляет такую отраду, которую взвесить и достойно оценить могут только люди, бывшие непосредственными зрителями старинного столпотворения. Метаморфоза, которая произошла на наших глазах, поистине заслуживает удивления; вы видите мастодонтов, которые еще на вашей памяти били в ярости копытами землю, которые ревом своим заставляли содрогаться природу, которые без малейших усилий обращали в прах человеческие челюсти,— и что ж? теперь эти самые мастодонты удивляют мир своим кротким поведением и все свое ехидство ограничивают невинным судачением по части судебных и земских учреждений. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращение яростных остатков допотопной формации в безвредных и ощипанных куликов? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди с прекраснейшими манерами и убедили вселенную, что сквернословие отнюдь не составляет фаталистической принадлежности русской речи. Да̀, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными

насадителями грациозных манер и изящного обращения! Ни один танцмейстер, при самых упорных усилиях, конечно, никогда не мог достигнуть таких результатов, каких они достигли в самое короткое время и почти без усилий.

Сверх того, рядом с картами, в провинции уже зарождается потребность чтения и даже потребность мышления. Конечно, опытнейшие историографы и теперь утверждают, что мышление во все времена представляло, так сказать, оппозицию исполнительности, а следовательно, и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды нас уже посетила потребность рассуждать, то лучше искренно примириться с этим прискорбным фактом, нежели подкапываться под него. Это примирение даст нам, по крайней мере, возможность направить факт по усмотрению, тогда как вражда непременно оставит нас с носом.

В этом отношении пришельцы представляют клад бесценный, не требующий даже направления. Мысли у них не только благонамеренные, но, так сказать, очищенные. Как люди милые и образованные, они, конечно, не могут временами не озабочиваться известиями об успехах или неуспехах Гарибальди, но не подлежит сомнению, что прения такого рода занимают в их беседах место весьма ограниченное. У них так много своего насущного дела, и притом их до такой степени поглощает забота о том, как бы послужить, услужить и заслужить, что, в виду этих капитальных интересов, невольно стушевывается даже вопрос об исправлении французской границы на Рейне.

И действительно, в настоящее время мы присутствуем при такого рода внутренней работе, что нас должен более занимать вопрос об иных поглощениях, нежели о поглощении Пруссией маленьких государств Германии. Щук развелось в провинции так много, и притом с таким циническим желанием глотать, глотать и глотать, что даже вчуже становится как-то не по себе. Известно, что щука, во время жора, глотает что̀ ни попало, заглатывает даже собственных щурят, эту надежду и цвет всего щучьего рода,— мудрено ли, что прочие рыбы, плавающие в этой мелкой и пресной воде, заслышав приближение ужасного хищника, мгновенно прекращают невинные забавы и устремляются к своим норам?

Итак, пришлец благонамерен, учтив, прилежен, кроток, занятлив, почтителен и послушлив. Он даже не огрызается, когда на него нападают, хотя нападения эти бывают нередко свойства довольно цинического. Сверх того, он читает книжки, а относительно исполнения того, что̀ называется долгом, не имеет себе равного. Это просто лев. Казалось бы, что при виде

такого соединения драгоценнейших качеств щука самая прожорливая должна бы с доверием повторять стихи Пушкина:

В надежде славы и добра,
Идем вперед мы без боязни...

А выходит совсем напротив...

Не ясно ли теперь, что разлад, замечаемый в провинциальном обществе, есть разлад односторонний; что он возбуждается и питается исключительно историографами, которые, без всякой надобности, волнуют провинциальное общество своими личными тревогами и опасениями, и что на долю пришельцев досталась в этой распре роль, хотя и симпатичная, но далеко не выгодная в стратегическом смысле? Не ясно ли также, что самая эта распря имеет поразительное сходство с столь знакомым и столь любезным нашему сердцу делом о пререканиях, на обложке которого читалась крупноначертанная надпись: «Сие дело есть дело о выеденном яйце»?

Но письмо о провинциальном житье будет далеко не полно, если не упомянуть в нем о нашем beau sexe[1]. Прежде всего должно отдать полную справедливость нашим дамам, в том смысле, что вопрос об эманципации женщин, о женском труде и проч. трогает их в самой умеренной степени. В этом отношении они представляют оплот, и притом весьма благонадежный. Существует по этому поводу даже очень трогательный анекдот. Рассказывают, что когда одна юная дамочка от лица всех женщин заявила однажды претензию на фельдмаршальский жезл, то присутствовавший при этом предводитель в упор спросил ее: «Ну, а родить кто будет?» Этого простодушного вопроса было достаточно, чтобы покончить с вопросом о женском труде и чтобы дамы, даже судейские, сделались в поступках своих осмотрительнее и принялись родить пуще прежнего. Тем не менее разлад, огорчающий мужское провинциальное общество, не мог не отразиться и на дамском. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимают участие в турнире и этим участием несколько смягчают слишком суровые тоны распри. Но сия последняя и тут поражает своим неравенством. Тогда как жены историографов отличаются неслыханным великолепием одежд, необычайными размерами шлейфов и белизною и округлостью бюстов, жены пришельцев, напротив, представляются слегка ощипанными и даже как бы не совсем кормлеными. Посему, когда эти два полка стоят друг против друга в безмолвии, то симпатии проходящих невольно склоняются на сторону историографов. Ка-

---

[1] прекрасном поле.

жется, что при подругах голодных и мысли должны быть голодные; напротив того, при подругах сытых и мысли непременно должны быть сытые. Но когда печать безмолвия упадает, когда голодные и сытые начинают чувствовать потребность провещевать, то симпатии изменяют характер и обращаются от последних к первым. Сколько сытые блистают телами и шлейфами, столько голодные пленяют основательностью и либеральною умеренностью своих суждений. Тогда как первые беседуют о различии любви и дружбы и о других предметах, решительно не приносящих никакой пользы для отечества, последние повествуют о гражданской честности и непреоборимой верности. Случается даже слышать весьма удачные суждения по следственной части и по части судебных ошибок, и любопытно видеть, как пламенеют, внимая этим речам, юнейшие из пришельцев мужеского пола, и как исчезает в их глазах весь суетный мир с его бюстами и шлейфами, в виду одного ни с чем не сравнимого блаженства... в виду судейской ошибки!

Но еще любопытнее, что и сытые по временам выходят из рамки невинных размышлений о дружбе и любви и выступают на скользкую арену судейских ошибок. Вот тогда-то, собственно, и начинается так называемый турнир.

— Мы всё с своей стороны сделали! — кричат жены, дочери и племянницы историографов,— мы открыли следы, мы указали виновных... Уж если и после этого!..

Сытые с презрением пожимают полными и белыми плечами.

— Подите! — не менее крикливо возражает женский штат пришельцев,— сейчас видно, что вы не читали дело Лезюрка!

— Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? — наивно вопрошают полногрудые, сытые и белотелые.

Голодные язвительно хохочут и, как некогда раскольники, восклицая: «посрамихом! посрамихом!» — торжествуют победу.

Увы! они забывают, что возглас «посрамихом!» не помешал раскольникам и до сих пор называться раскольниками...

И действительно, как ни грустно, а приходится сознаться, что шармы телесные решительно подавляют и, вероятно, долго еще будут подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинциалы, не умеем еще относиться как следует к нетленным красотам ума и сердца, или оттого, что в самых сих красотах скрывается некоторый изъян,— как бы то ни было, но взоры наши не в пример охотнее обращаются в ту сторону, где блестит тленная красота. Да и самое начальство наше как будто преимущественнее туда заглядывается... Да и в самом деле, женщина, которая не сияет брильянтами, женщина, которая не декольтирована до тех пределов, за которыми исчезает

всякое представление о неизвестном, женщина, которая, вместо тонкого анализа чувств любви и дружбы, идет напролом с делом Лезюрка... скажите на милость, ужели это женщина?

На первый раз, однако ж, довольно; тем более что сказанное выше об изъянах, скрывающихся в наших нетленных красотах, представляет нам естественный выход для заключения настоящего письма. Отчего в самом деле, несмотря на все усовершенствования и преуспеяния, в провинции все продолжает царствовать тот же тонкий запах скуки, против которого мы так безнадежно боремся с незапамятных времен? Отчего провинция не перестает быть центром того бесконечного переливанья из пустого в порожнее, бездну которого мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда это самошпионство, самоподслушивание, самонаушничество, эти вечно гноящиеся три язвы, которые неустанно точат провинциала и отравляют каждую минуту его незатейливого существования? Откуда эта распря о выеденном яйце?

Как ни запутанны эти вопросы, но, как кажется, они могут быть разрешены с успехом, если мы внимательнее присмотримся к тем упомянутым выше нетленным красам, которыми с некоторого времени гордимся.

Нельзя отрицать, что вопросы о судейских ошибках, об уликах, об улучшенных путях сообщения, о гражданской честности и проч. суть вопросы капитальные, что интересоваться ими несомненно согласнее с человеческим достоинством, нежели потихоньку погрязать в так называемом милом распутстве. Но, очевидно, тут кроется какой-нибудь пробел, какая-нибудь вредная подмесь, которая даже у лучших намерений и проявлений отнимает их жизненный характер и силу.

Искусственность и неискренность — вот первая вредная подмесь, которая губит нас и распространяет вокруг нас атмосферу скуки. Подобно провинциальным актерам, мы постоянно играем кожей, а не внутренностями. В нас не волнуется кровь, не болит сердце; в лучших словах нашего лексикона не слышится ни внутренней силы, ни решимости поддерживать их. Чувствуется нечто рыхлое, легко поддающееся всяким влияниям, без борьбы уступающее всяким напорам. Конечно, уж и то немалая заслуга, что мы, имея свободный выбор, все-таки прилепились именно к хорошим словам, а не к растленным и ехидным, но заслуга эта значительно бледнеет перед вопросом: что̀ ж дальше? Самые убежденные люди провинции с трудом выдерживают призыв к делу, который так и напрашивается на язык собеседнику. Мысль останавливается перед своими естественными выводами и оттого получает характер прискорбной недоношенности. Чувствуется какой-то изъян, какая-то

нелепая недосказанность, которую отнюдь, впрочем, нельзя обвинить в преднамеренной сдержанности. Нет, это сдержанность естественная, наивная; это неминуемый плод недостатка внутреннего огня, это последствие закоренелой привычки вращаться в заколдованном круге, это замысловатая алгебраическая формула без малейших приложений и выводов.

Другая вредная подмесь нашей жизни — это неисправимая ограниченность кругозоров. Как ни восставайте против так называемых утопий, без них истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна. Разум человеческий не удовлетворяется безвозвратно, но испытует все дальше и дальше. В этом вся тайна успеха человеческих обществ, и ежели правда, что утопия не имеет права заявлять претензию на немедленное практическое осуществление, то несомненно и то, что плодотворное ее действие на инициаторские силы человеческого разума все-таки остается вне всякого спора. В этом отношении провинция представляет совершенно тесный и замкнутый круг, в котором мысль окончательно теряет свою смелость и энергию. Теоретические поползновения (если таковые существовали) слишком скоро позабываются и покрываются плесенью; потребность инициативы делается ничтожною. Умственный запас, вследствие скудости и беспрестанного самоповторения, до такой степени быстро изнашивается, что даже вчуже становится совестно. Как ни стара истина, что только в больших центрах человек может смело мыслить и свободно дышать, но в провинции она дает себя чувствовать с поразительною наглядностью и потому никогда не утрачивает характера насущной новизны. Мысль, со всех сторон стесненная, ничем не питаемая, невольно бросается на мелочи и погрязает в них. Вместе с нею погрязает и весь человек...

Мы забываем, что, покуда будем играть только кожей, историографы и столпы не перестанут быть историографами и столпами.

Мы забываем, что покуда будем вместе с историографами ратовать против так называемых увлечений (и где они, эти увлечения?), покуда будем сдерживать и без того несмелую нашу мысль, мы останемся все теми же евнухами в нравственном и умственном отношениях, какими являли себя до сих пор...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Опять о раздоре. Дрянное это явление до того усилилось, что сделалось почти исключительным содержанием нашей жизни; оно отравляет все наши удовольствия; оно поражает

даже пресловутое наше гостеприимство. Нет более блинов красных, гречневых, со снетками, с припекой — их заменили блины полицейские, акцизные, судебные и земские! Нет более той карточной игры, которая во все времена ни о чем ином не свидетельствовала, кроме невинности играющих,— ее заменила иная игра, из которой участвующие во что̀ бы ни стало хотят сделать орудие для демонстраций и преткновений! Ни блины, ни преферанс не избегли раздорного веяния, которое грозит надолго утвердиться в нашем обществе.

Странно звучат для слуха выражения вроде: «блин административный», «блин судебный» и т. д., а между тем выражения эти отнюдь не выдуманы, а прямо выхвачены из нашей печальной действительности. И, что̀ всего грустнее, выражения эти отнюдь не фигуральные, а согласные с истиной даже по существу. Съешьте блин административный — и вы убедитесь, что он жирен, вкусен, хотя ложится несколько комом; съешьте блин судебный — и увидите, что он тощ и как будто припахивает розовым маслом. Очевидно, что здесь раздор уже перестает быть просто раздором, но оказывает свое пагубное влияние на самое блинное вещество.

Известно, что никакие жизненные отправления не требуют такого спокойствия духа, такой твердой уверенности во взаимном доброжелательстве соревнующих, как обеденные увеселения и игра в карты. Это совсем не то, что заседания академий или иных ученых обществ, где примерные раздоры в известном случае даже необходимы, потому что из них, как слышно, рождается истина. Тут, напротив того, собираются люди, которые уже умудрились, которые никакого интереса в отыскивании истины иметь не могут, по той причине, что она уже давно найдена. Поэтому, в этих случаях, не только неуместное галдение, но даже простое сомнение относительно благонамеренности кого-либо из партнеров может произвести в остальных лишь желудочную смуту, последствия которой трудно даже предупредить. Представьте себе, например, что на обеде историографов по какому-нибудь случаю затесался пионер — что̀ хорошего может из этого выйти? Во-первых, пионер будет пожирать нежнейшие суфле с трюфелями точно так, как бы пожирал трихинную углицкую колбасу; во-вторых, ни один историограф все-таки ни за что̀ не поверит, что пионер ест взаправду, а непременно будет думать, что он злоумышляет. И, весь отданный своим предубеждениям, он, как и следует ожидать, утратит на врѐмя всякую способность наслаждаться и смаковать.

Все это так, все это правда, и если мы видим, что историографы едят блины в своем кругу, а пионеры — в своем, то

удивляться тут нечему. Их обязывает к тому чувство самосохранения, которое заставляет человека устранять все, что противно интересам его желудка.

Спрашивается, однако ж, достигается ли в действительности та цель, которую предположили себе при этом оба враждующие лагеря? Обеспечивается ли обособлением сторон то безмятежие обжорства, к которому они стремятся? Как ни прискорбно, но должно сознаться, что результаты в этом случае более нежели сомнительны. Раздор, в течение какого-нибудь года, уже так крепко въелся в наши нравы, что, где бы и в каких бы обстоятельствах мы ни находились, он никогда не оставляет нашу мысль свободною. Даже в сотрудничестве с историографами, несомненно заматерелыми, мы уже не отдадимся наслаждению с тою беззаветною ребяческою резвостью, с которою отдавались ему лет двенадцать — тринадцать тому назад. Да̀, не предадимся, ибо в тот самый момент, когда мы будем уже простирать руки, будем обонять и предвкушать, перед нами внезапно, как грозный призрак, встанет мысль, что под одним с нами небом обитает некто, который также ест блины, но блины далеко не столь жирные, как наши, и который эту сравнительную тощесть ставит себе даже в заслугу (у меня, дескать, на первом плане потребности духа и т. д.). Ужели одной этой мысли недостаточно, чтоб отравить еду самую обольстительную? Но ежели мы пойдем еще далее, то увидим, что систематическое отметание наших конкурентов по части историографии от общения мало того что не умаляет нашей горечи, но даже значительно усугубляет ее. В самом деле, ежели бы эти ненавистные конкуренты были налицо, то̀ нас, по крайней мере хоть на это время, не тревожила бы неизвестность, не терзали бы паскудные предположения о наушничестве, судаченье и сплетнях. Взирая на их ненавистные физиономии, мы были бы, по крайней мере, уверены, что они тут налицо, что они не делают более того, что делают, что они жуют или хоть притворяются жующими. Теперь же, когда мы едим блины врозь, нам поневоле думается: что̀-то делается *там*? Какие-то измышляются *там* подвохи? И, покуда мы задаем себе подобные незамысловатые вопросы, блины стынут да стынут и, ложась комьями на наши желудки, производят дизентерию.

И выходит у нас нечто совершенно нелепое: с одной стороны, мы не можем сойтись, потому что этому препятствует чувство самосохранения; с другой стороны, расходясь и обособляясь, мы это чувство самосохранения попираем самым неразумным для себя образом. В обоих случаях мы, стало быть, действуем явно в ущерб себе...

Таким образом раскол политический, проникая в наши повседневные отношения, окрашивая их и, в конечном результате, производя раскол в пище, питии и играх, не только не упадает, но разжигается с каждым днем больше и больше. Из явлений, по-видимому даже не имеющих мирового значения, как, например: блины, стуколка, преферанс и т. д., мы сумели выработать нечто вроде знамен. На одном знамени пишется: изящный вкус, утонченные манеры и наслаждение благами жизни, на другом — чиновнический аскетизм, под которым скромно подразумевается обилие духовных сил. А в сущности, все это та же стуколка и тот же преферанс — никак не более. И вот обе партии начинают хвалиться своими знаменами и даже как будто пошаливают ими и взаимно друг друга поддразнивают. «Даже удовольствия у них какие-то глупые!» — говорят одни; «даже удовольствия у них мужицкие!» — говорят другие,— и в таких бесплодных разговорах тратят золотое время, которое с пользой могли бы употребить за общим столом!

Справедливость требует, однако ж, сознаться, что пионеры злоупотребляют этою игрою в знамена гораздо более, нежели историографы. Начнем хоть с той же еды. Историографы — люди, по большей части, грешные и под веселую руку даже не скрывают этого. У них залежались еще кое-какие остаточки от тех избытков, которые, в бывалые времена, невзначай прилипали к ладоням,— мудрено ли, что вместе с остаточками сохранились и изящный вкус, и привычка подмасливать? Напротив того, пионеры, хотя и снабженные прекрасными окладами, наезжают в губернии почти au naturel, то есть в одних вицмундирах, никаких остаточков прежних лет не ведают и не признают, и с маху нанимают таких неслыханных кухарок, перед трудами которых даже кухонные тараканы останавливаются в смущении. В переводе на удобопонятный язык оба эти положения могут быть выражены так: историографы едят вкусно и притом изобильно, пионеры же невкусно и в обрез,— казалось бы, что̀ может быть проще этого, и есть ли тут повод к каким-либо пререканиям? Историографы приблизительно так и смотрят на это положение; они не прикасаются к пионерской трапезе потому просто, что она невкусна, и ежели обзывают пионеров людьми, не имеющими понятия о savoir vivre, то делают это не с злобой, а с сожалением. Совсем иначе относится к этому делу пионер: как человек духа, он в эпикуреизме историографа видит не просто предпочтение вкусного невкусному, но посрамление человеческого достоинства и непозволительное политическое чревоугодие. И вот еда, этот законнейший, простейший, независимейший из актов челове-

ческой жизни, вдруг, благодаря страстям, возводится на степень принципа нравственного, социального и политического и, облеченная в этот сан, становится семенем раздоров и поводом для всевозможных взаимных обзываний.

То же самое можно сказать и об игре в карты. Любимая игра историографов — это стуколка; любимая игра пионеров — преферанс, и притом с мизерами и легким подсиживаньем. Надо сознаться, что стуколка — игра глупая по преимуществу; играется она в три карты, и единственное соображение, которое при этом нужно иметь, заключается в том, чтобы, обладая козырным королем, иметь такую морду, как будто на руках три семерки фоски. Ясно, что хитрость такого рода и для непрозорливого ума весьма доступна. Благодаря этой простоте историографы предаются стуколке до самозабвения и, начиная стучать с утра, кончают лишь поздней ночью. Что же касается до преферанса, то, конечно, это игра более сложная, но, говоря по совести, ужели же можно утверждать, чтобы человек, предающийся ей, тем самым доказывал преобладание духа над плотию, как это делают пионеры? А тем более придавать столь невинным занятиям, как преферанс и стуколка, значение нравственно-социально-политическое и устроивать из них предмет для междоусобий и более или менее кровопролитных битв?

Но, при известном настроении общества, всякое лыко пишется в строку. Одни умеют округлять руки — это признак благовоспитанности; другие, видя это, нарочно начинают махать руками, как мельничными крыльями,— это признак независимости; одни хвастают своими связями в высших сферах; другие, напротив, хвастают тем, что у них никаких связей в высших сферах нет. Всякая дрянь делается предметом распри, которая, таким образом, грозит продлиться без границ.

Пионеры в этом случае, конечно, более виноваты, нежели историографы. Они виноваты уже тем, что ни к какому делу не приступают просто, а все как бы священнодействуют. И при этом тычут в глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный, какой я развитой и как твердо знаю уложение о наказаниях! Историографы видят это и выходят из себя. Они втайне сами сознают превосходство пионеров; по секрету, они даже ропщут. «Господи! да отчего же мы такие глупые!» — восклицают они по временам; но существенно их огорчает совсем не то, что они глупы, а то, зачем им так явно тычут в глаза их недальновидностью. Скажите им это же самое обиняком, отнеситесь снисходительно к их слабости и беспомощности, и тогда, быть может, и для вас, о пионеры! отверзутся их объятия, и для вас сделаются доступными их жирные блины.

Но, в ожидании вожделенной минуты самообнимания, нельзя умолчать об одном явлении, хотя и довольно известном, но которое в последнее время в особенности огорчительно влияет на жизнь провинциального общества. Явление это — так называемые «складны́е души», число которых, благодаря раздору, день ото дня возрастает с быстротою поистине изумительною.

«Складные души» — явление не новое; деятелями этой категории издревле изобиловали все профессии человеческой деятельности, все отрасли человеческого знания. Издревле существовали сплетники политические, литературные, государственные и научные; тем не менее явление это настолько важно, что тот оказал бы немаловажную услугу, кто проследил бы участие «складных душ» в истории человеческой цивилизации, кто изложил бы то учение, в силу которого человеческая душа, нимало не стыдясь, делается складною. Не претендуя на выполнение такой обширной задачи, мы займемся, собственно, современными и притом провинциальными «складными душами».

Если вы видите человека, который мечется как угорелый между двумя враждебными лагерями и называет это метание мудростью,— будьте уверены, что это «складная душа»; если вы видите человека, который, называя себя пионером, не прочь иногда в сумерки забежать покалякать с историографами насчет пионерских дел и называет это дипломатией,— будьте уверены, что это «складная душа»; если вы видите человека, который утверждает, что в иных случаях ломаная линия может быть короче прямой, и называет это постепенностью в преуспеянии,— будьте уверены, что это «складная душа».

Если нам кажется мелкою распря, существующая между историографами и пионерами, если мы не можем без некоторой иронии отнестись к тем потугам, при помощи которых пионеры силятся доказать, что Россия достигла зенита своего благополучия, то это нимало не распространяет нашего недовольства на самые личности пионеров, личности во всяком смысле честные. Мы в этом случае только задаем себе вопрос: возможно ли видеть в пионерском ремесле что-либо действительно обновляющее (а не просто обязанность состоять лишь при исправлении должности пионера), когда в основании этого ремесла нет никаких необходимых гарантий, которые ограждали бы его будущность? И, задавши этот вопрос, невольно пожимаем плечами. Но этого мало: при всей исключительности наших симпатий к пионерам, мы и к ремеслу историографа относимся без ожесточения, хотя и не питаем к нему положительно никаких симпатий. Уж это так самим богом устроено,

чтоб были на святой Руси пионеры и были историографы и чтоб они взаимно препирались. На что̀ же тут претендовать? И таким образом обе *великие партии,* раздирающие в настоящую минуту наши губернии, если не в равной степени привлекают наши симпатии, то, по крайней мере, находят себе некоторую экспликацию.

Совсем другое дело — «складные души». Их деятельность есть именно та дрянная деятельность, о которой нельзя говорить без чувства гадливости. Не негодования, а именно гадливости.

Во все времена провинции наши изобиловали «складными душами», во все времена водились в ней охочие люди, готовые по первому знаку травить на чужой счет хорошую еду. В бывалое время в особенности суетились и оживлялись эти люди перед наступлением дворянских выборов. Смиренные и заспанные незадолго перед тем, они внезапно оживали и, словно сурки под влиянием лучей весеннего солнца, выползали из своих нор. И начиналась у них тут суета, беготня и то безмерное жранье, перед размерами которого робеет самая смелая человеческая мысль. Здесь продавались за рюмку водки старые благодетели и покупались новые, и тут же сряду, за другую рюмку, продавались новые благодетели и вновь покупались старые. «Складные души» носились по улицам как озаренные; глаза их блестели, ноздри раздувались, уста источали слюну, утробы ныли.

Это было зрелище не весьма приятное для глаз, но оно выкупалось простодушием своего содержания. Как бы гадливо ни относились вы к этим слюноточивым героям, вы все-таки могли быть уверены, что за их беготнею ничего нет и не может быть, кроме еды. Хватая с изумительною ловкостью бросаемые подачки, эти люди продавали, сплетничали и лгали так неискусно, что никому даже и на ум не всходило заподозрить их в умысле. Но с усовершенствованием нравов усовершенствовались и «складные души». Это не прежние халатники, едва не падавшие в обморок при виде куска колбасы; нет, это люди очень приличные, которых помыслы хотя и вертятся около пирогов, но около пирогов, так сказать, невещественных, около пирогов почестей, славолюбия и карьер.

Нынешняя «складная душа», по положению своему, в большинстве случаев принадлежит к пионерам. Но, обуреваемая жаждою почестей и постигнув в совершенстве дух века сего, она скоро догадывается, что пионерское поле — бесплодное поле, и что пироги заправские, румяные пироги с начинкой, пекутся совсем не тут, а инде. В самом деле, как ни беспутничай, какую безлепицу ни твори историограф, ему все как

с гуся вода. Для всех видимо, что он и невежествен, и бесполезен, и ни на что̀ не способен, что он только мутит общество нескончаемыми сплетнями и навязчивою праздностью. Кажется, мало в преисподней пропа́сть такому человеку — ан нет! стоит он себе как столб и даже не покачивается! «Стало быть, сила-то еще там!» — говорит, замечая это, «складная душа» и в то же время обдумывает, как бы таким манером сыграть Иуду-предателя, чтобы никто этого не приметил. И, не откладывая дела в дальний ящик, начинает подвиливать.

Сначала дело идет хорошо, потому что пионеры на этот счет просты. Разве у самого прозорливого вырвется слово «чудак!» при виде, как неуклюжая «складная душа» тщетно старается вытанцевать какое-то грациозно-историографическое па́, как она округляет руки, в знак благовоспитанности, как усиливается придать своим взорам умильно-почтительно-преданное выражение. «Складная душа» всячески скрывает свою игру как можно долее и нередко объясняет ее даже целями пользы и дальновидности. Нужно, дескать, видеть врага лицом к лицу, нужно подробно знать его средства, чтобы с успехом отражать наносимые им удары и разрушать его козни. И действительно, мелькнув между историографами, «складная душа» через минуту опять поворачивается к пионерам и вновь подтанцовывает им.

— В самом деле, какие они чудаки! — говорит она, позевывая и потягиваясь,— даже разговор у них словно детский. Обрывки какие-то!

Пионеры слушают это и восхищаются. Им лестно, что даже тот человек, который всех более из них оказывает способностей к почтительно-умильному выражению лица,— и тот сознается, что, в виду этих полулюдей, не может быть речи о каком-либо общении. «Складная душа» даже приобретает некоторую популярность между пионерами; ей не только не вменяется в порок подвиливанье перед историографами, но даже усматривается в этом какое-то доказательство «симпатичности» характера.

Но вот мало-помалу на горизонте показываются тучи, в лагере историографов слышится безмозглый шепот, виднеются загадочные улыбки, произносятся нелепые односложные слова. Пионеры начинают чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть в смысл односложных слов, но слова эти так глупы, что проникнуть в них невозможно. Сдается, однако ж, что в них скрывается какое-то смутное обвинение и едва ли не обвинение в заговоре. И вдруг — открытие! Одному из пионеров-застрельщиков удалось соследить «складную душу» и изловить ее на месте преступления. Он собственными гла-

зами видел, как «складная душа» перемигивалась и перешептывалась и как вслед за этим перешептываньем в историографском лагере сделались известными некоторые пионерские провинности. Пионер-застрельщик не слышит под собой земли при мысли, какую услугу бог привел ему оказать достолюбезному пионерскому делу; он делается красноречив, он представляет факты, доказывает и убеждает.

— Прочь изменника! — решают хором пионеры...

«Складной душе» некоторое время не совсем ловко; сначала ей даже сдается, как будто ее побили; но так как она прежде всего имеет природу общительную, так как она минуты дохнуть не может без общества людей, хотя бы дрянных, то никакие жизненные невзгоды не ставят ее в затруднение и не заставляют долго задуматься. И действительно, не успело еще остыть негодование, возбужденное открытием пионера-застрельщика, как «складная душа» уже всецело предалась историографам.

Для историографов подобные перебежчики всегда драгоценны. Во-первых, как ни остерегаются перед ними пионеры, но так как, говоря выражениями пословицы, от своего вора уберечься нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное в пионерском кружке, неминуемо пересказывается историографам до точности. Во-вторых, «складная душа» знает слабые стороны пионерского дела и потому может наносить удары более действительные и злохитрые, нежели те, которые наносятся историографами. В-третьих, люди эти, хотя и с подлинцою, все-таки имеют внешние признаки людей современных и развитых, и следовательно, присутствие их значительно скрашивает общество историографов.

А посему, когда «складная душа» перебегает к историографам, то она некоторое время катается как сыр в масле. Обвороженные мужья кормят ее, потчуют наливками и охотно вверяют ей все интересы, оставляя за собой только стуколку; белотелые жены сверкают перед глазами счастливца обнаженными бюстами, как будто говоря: «Ну, скажи, дурашка, видал ли ты что̀-нибудь подобное у ваших некормленых?» «Складная душа», упоенная, пламенеющая и алчущая, не ходит, а носится по стогнам града, как будто у нее выросли сзади невидимые крылья.

Но, увы! «складная душа», рассчитывая на пироги, обыкновенно упускает из вида одно: великую глупость историографов. Это промах тем более непростительный, что историограф глуп очевидно, глуп по призванию, глуп без уменьшающих вину обстоятельств, глуп как чулан. Он от природы так устроен, чтоб быть глупым, и потому, чем нелепее историо-

граф, тем он историографичнее. Заручившись перебежчиком, историограф, как сказано выше, сгоряча всячески ублажает его — это первый период или, лучше сказать, медовый месяц этого незаконного союза. Затем, замечая, что «складная душа» идет ходко, историограф мало-помалу начинает думать, что тут с ее стороны не принесено никакой жертвы и что измена «складной души» есть не что иное, как должная дань превосходным его, историографа, душевным качествам. Поэтому он начинает обходиться с перебежчиком с панибратскою откровенностью, вываливает перед ним пахучий хлам своей души и в заключение требует, чтобы «складная душа» разыгрывала перед ним, историографом, комедии. Это период второй. «Складная душа», упоенная и счастливая, сначала не только не огорчается подобными поползновениями, но даже в угоду благодетелям выкидывает некоторые коленца. Но чем больше выкидывает она коленцев, тем ненасытнее делается относительно сего рода зрелищ историограф; избалованный угодливостью своего клиента, он начинает предъявлять свои требования беспрестанно, предъявлять их даже тогда, когда «складной душе» вовсе не хочется откидывать коленца. Наступает минута, когда несчастный клиент начинает смутно понимать, что он из политического перебежчика сделался просто увеселителем и шутом, и вследствие этого делает попытку надувать губы — это период третий. Видя это, на него начинают дуться в свою очередь; мало того: в глазах, перед его носом, без всякого зазрения совести, подыскивают, на перемену ему, другую «складную душу»,— это период четвертый...

«Складная душа» содрогается, ибо ее преследует представление о потерянном рае. Видя себя одинокою и не будучи в состоянии сносить одиночество, она начинает роптать на провидение. «Природа-мать! — вопит какой-нибудь опальный перебежчик,— зачем ты наделила меня душою складною, а не неуклонною? зачем ты направила стопы мои по стезе шаловливости, а не по стезе добродетели?» И, пороптавши таким манером с минуточку, он тщательнее прежнего складывает свою удобопереносную душу и предпринимает целую серию таких удивительных извивов, выгибов и зигзагов, что постороннему зрителю остается только восклицать: «Эк его ломает!» Он легкими, чуть заметными прыжками перебегает сцену и осторожно приближается опять к тому лагерю, который был свидетелем его первого грехопадения, все озираясь, все обольщая себя надеждою, что никто его не заметит. Надежда тщетная! прежде нежели успел он выполнить первое антраша, историографы уже заволновались. Они припоминают

весь хлам, который так добродушно выбрасывался перед «складной душою», и справедливо заключают, что из этого хлама можно выработать бесподобнейший увеселительный материал.

— Прочь изменника! — восклицают они в свою очередь, и горе «складной душе», если она в эту гневную минуту не успеет провалиться сквозь землю, ибо историографы, будучи постоянно глупы, нередко бывают и пьяны.

Тогда наступает новый фазис в жизни «складной души», все еще не верящей постигшему ее несчастию, все еще надеющейся и колеблющейся. Приходит она, например, в общественное собрание, где за одним столом ужинают пионеры, за другим — историографы. Подходит она к столу пионеров,— и вдруг все общество, как бы по данному знаку, смолкает. «Складная душа», однако ж, не робеет и начинает заигрывать; она как-нибудь усаживается бочком за общею трапезою (большею частию около того из пионеров, который подобрее) и изъявляет намерение рассказать несколько бесценных анекдотов из жизни знаменитейших историографов. Но никто не внимает, никто не улыбается; собеседники хранят упорнейшее молчание и нетерпеливо между собой переглядываются. Во рту у «складной души» делается скверно; в эту минуту она поцеловала бы ручку у того из пионеров, который бы хоть крошечку, хоть из жалости улыбнулся ей. Тщетно. Несколько времени «складная душа» продолжает ораторствовать, и новые, бесценные анекдоты один за другим льются из ее уст... И вдруг голос ее прерывается на половине анекдота. «Складная душа» понимает, «складная душа» чувствует. Неслышными шагами она ретируется от неприязненного ей стола и столь же неслышно, даже робко приближается к другому столу. И опять подсаживанье бочком, опять заигрыванье, опять анекдоты, но на сей раз уже из жизни пионеров — и опять гробовое молчание, прерываемое отрывистыми возгласами: «Водки! уксусу! горчицы!»

Кончается тем, что «складная душа» ужинает посредине залы, и ужинает одна-одинешенька.

Дети! прочтите внимательно настоящий правдивый рассказ, и всякий раз, как вас будет соблазнять легкое ремесло «складной души», представьте себе муки, которые ожидают этих несчастных в сем веке и в будущем! И, размыслив о сем, спешите, скорее спешите примкнуть или к историографам, сим пионерам прошедшего, или к пионерам, сим историографам будущего!

Но так как в жизни вообще не существует положений вполне безнадежных, то нет резона, чтобы это общее правило

не применялось и к опальным «складным душам». Да, и они могут ласкать себя надеждами, и они имеют право рассчитывать на лучшее будущее. В самом деле, источник «складных душ» так изобилен, что невозможно даже провидеть, чтобы он когда-нибудь иссякнул. Предположите теперь, что с каждою из этого легиона душ произойдет тот самый процесс превращений, который описан выше, а именно, что каждая из них будет сначала наверху славы и величия, а в конце концов все-таки не минует общей участи «складных душ», то есть опалы и отчуждения. Очевидно, что число отверженцев должно будет постепенно возрастать и, наконец, образует массу достаточно компактную, чтобы обнаружить признаки некоторой самостоятельности. Вот тогда-то к двум великим корпорациям историографов и пионеров прибавится еще третья великая корпорация — «складных душ». И будут организовавшиеся «складные души» жениться и посягать, как и прочие губернские люди, будут ужинать и танцевать на всей своей воле, будут принимать визиты и отдавать их, будут мириться и враждовать... Одним словом, народится в провинции новая сила...

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

С 19 февраля в понятии русского человека всегда соединяется представление о чем-то весьма доброкачественном. В особенности же ощутительно доброе влияние 19 февраля в провинции. Тут 19 февраля действовало непосредственно и воочию всех; тут оно в самой жизни провело черту, до такой степени яркую, что то, что̀ стоит над чертою, не имеет почти ничего общего с тем, что̀ стоит под чертою. А так как *над* чертою хорошего стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготеть общие симпатии.

Тем не менее нельзя не сознаться, что и в провинциальном обществе существуют известные слои, в которых 19 февраля отозвалось последствиями свойства довольно неожиданного. В противность всяким соображениям оно выдвинуло вперед в этих слоях совсем не тех, кого следовало выдвинуть, и поставило вне деятельности совсем не тех, кого следовало вне деятельности поставить. Одним словом, вышла какая-то беспримерная и только у нас возможная путаница, вследствие которой влиятельными практическими деятелями на почве 19 февраля явились люди, не могущие и даже не дающие себе труда воздержаться от судорожного подергивания при малейшем намеке на эту почву; люди же, всецело преданные делу,

верящие в его будущность, очень часто не только отстраняются от всякого влияния на правильный исход его, но даже, к великой потехе многочисленного сонмища фофанов и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революционерами и демагогами.

И действительно, вглядитесь несколько в наших влиятельнейших провинциальных историографов, в тех, которые и о сю пору еще пишут вольным духом нашу историю,— что̀ составляет язву, непрестанно точащую их существование? Эту язву составляют: упраздненное крепостное право, гласные суды, земство, то есть именно то, в чем замыкается существенный смысл 19 февраля. В чем состоит самая яркая, характеристичная сторона их деятельности? Эта сторона состоит в жалких усилиях во что̀ бы то ни стало подорвать те плодотворные последствия, которые заключают в себе намерения 19 февраля...

Как ни маловероятен кажется такой факт, но он составляет явление до того общеизвестное, что сомневаться в его действительности нет ни малейшей возможности. Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово «ненавистник» сделалось чем-то вроде рекомендательного письма. Ненавистники не вздыхают по углам, не скрежещут зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свете дня и на всех диалектах изрыгают хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возражений, сулят покончить в самом ближайшем времени с тем, что̀ они называют «гнусною закваскою нигилизма и демагогии» и под чем следует разуметь отнюдь не демагогию и нигилизм, до которых ненавистникам нет никакого дела, а преобразования последнего времени.

Торжество ненавистничества есть факт недавний, происшедший на нашей памяти в какие-нибудь последние пять-шесть лет. Много метаморфоз испытала провинция, много видела она видов, много вынесла на спине своей всяких рукавиц, а преимущественно ежовых, но ничего подобного происходящему на наших глазах не испытывала, не видала и не выносила. Целые легионы ничтожнейших шалопаев рыскают по градам и весям любезного отечества с специальною целью явно и тайно уничтожать и подрывать действие 19 февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь слыхано подобное чудовищное дело? Даже обидно становится, когда посмотришь на эту повальную непросветную галиматью, и именно потому обидно, что ни под каким видом ничего нельзя понять. Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое еще так недавно жалось около стен, смиренномудричало и притворялось, вдруг всплыло наверх, заняло самую середину

сцены и, как весенняя мошкара, кружится на солнце, готовое залепить и глаза, и нос, и уши всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность, которая еще так недавно сама сознавала себя ни на что́ не годною, кроме гранения мостовых, зуботычин и смертного боя, вдруг загалдела о каких-то высших соображениях, о каких-то священных интересах и правах. «Что̀ такое произошло? — невольно спрашиваешь себя.— Что̀ могло вызвать этих слепорожденных из темных их нор? Уж полно, все ли спокойно в любезном отечестве? уж нет ли где признаков, которые бы предвещали хоть какое-нибудь, хоть отдаленное замешательство?»

Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать сколько-нибудь удовлетворительные ответы на эти вопросы, а если и укажут на какие-нибудь признаки, по мнению их, зловредные, то в этих указаниях всего замечательнее будет не сущность их (всегда ребячески пошлая и лживая), а то злорадство, с которым они делаются. Нельзя себе представить того наслаждения, с которым ненавистник хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучит неприятное ему дело. Прослышит ли он, что народ беднеет,— он ликует; вычитает ли, что в делах застой,— он торжествует всею утробой; дойдет ли до него, что города и села опустошаются пожарами,— нет предела, нет границ его поганым восторгам. Он всякую народную беду готов приурочить к 19 февраля, потому что в дурацкой его голове нет ни одной мысли, кроме мысли об обиде, нанесенной ему этим ужасным для него числом. И можно быть уверенным, что, случись когда-нибудь всероссийское землетрясение, он с радостью согласится погибнуть под развалинами, лишь бы иметь случай лишний раз прокричать: «Это оно, это девятнадцатое февраля!»

Да́; ненавистник — существо жалкое, почти помешанное от злобы. Подобною злобой бывают одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что в их наглухо забитые головы не может проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представление. В этом смысле ненавистник представляет собой психологическое явление, весьма замечательное; он, так сказать, не различает ни прошедшего, ни будущего; он не может отыскать начала, не может предвидеть конца; он не постигает связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольным и разбросанным, в виде мелких оазисов, разделенных непроходимыми песками. Вряд ли он даже имеет ясное представление о том, что̀ называется отечеством. Единственное впечатление, завещанное ему прошедшим, это впечатление дарового куска, который некогда те-

шил его утробу; единственное стремление его в будущем — это стремление к тому же даровому куску...

И за всем тем надо пожить среди этих людей, чтобы убедиться, какие у них здоровые зубы и как ловко они умеют вгрызаться в тела ненавистных им субъектов!

Говорят, будто бы Россия изнемогает под бременем либеральных поползновений; говорят, что эти поползновения обуревают ее до такой степени, что даже заставляют опасаться за ее драгоценное здоровье. Вот, дескать, та причина, в силу которой делается необходимым появление таких деятелей, которым небезызвестна теория ежовых рукавиц. Но спросите, где доказательства этого мнимолиберального исступления, потребуйте, чтобы вам указали факты, свидетельствующие об основательности подобного рода опасений — и вы, вместо фактов и доказательств, получите целый ряд трогательно-нелепых рассказов об экипажах, мчащихся с горы в пропасть, о лошадях, вырвавшихся на свободу и умирающих с голоду, и пр. и пр. Мы, провинциалы, охотно прибегаем к образам (забывая, что это доказывает только нашу непривычку мыслить), до того охотно, что даже не даем себе труда проверить, имеют ли эти образы какое-нибудь отношение к данной мысли. Это дает нам возможность уклониться от ответа, это дозволяет нам безнаказанно клеветать, сколько душе угодно. В самом деле, что̀ вы можете предпринять после трогательной истории об экипаже, мчащемся с горы в пропасть? Что̀, кроме того, чтобы вновь потребовать фактов и доказательств? И вот, в ответ вам, уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей с голоду лошади!.. Не правда ли, ка́к все просто и незатейливо в этом заколдованном круге и ка̀к хорошо должно житься в нем глупцам-ненавистникам!

Дело в том, что фактов нет и представлено быть не может по той простой причине, что их не существует в натуре. Нелепые рассказы о каких-то «девках-поганках», требующих конституции, об отставных солдатах и разносчиках, посевающих семена революции по деревням и селам, свидетельствуют только о крайнем умственном убожестве самих рассказчиков. Намерения 19 февраля пали на такую благодарную почву и укоренились в ней так просто и естественно, что тут не может быть места для опасений. Россия не только не мечется в либеральной горячке не только не требует лечения посредством ежовых рукавиц, но даже относится к этому лечению не без изумления, хотя и принимает его без ропота. Кажется, этого последнего факта одного уже чересчур достаточно, чтоб опровергнуть какую угодно систему доказательств в поль-

зу появления дантистов и ненавистников. И между тем несомненно, что эти дантисты и ненавистники существуют и даже сознают себя призванными к чему-то высшему. Что̀ за притча сия?

Чтобы понять, ка̀к трудно и ка̀к необходимо разрешить эту загадку, потрудитесь, читатель, из мира интересов общественности перенестись мыслью в тот тесный мир, в котором замыкаются ваши частные интересы. Предположите, что вы задумали предприятие, которое не может быть приведено к концу одними личными вашими усилиями, а требует сотрудничества многих других лиц. К кому вы прежде всего обратитесь? не к тем ли, которые относятся к вашему предприятию сочувственно? не к тем ли, которые обладают надлежащею суммой способностей и сил, необходимых для успеха вашего дела? не к тем ли, наконец, которых вы, во всяком случае, не имеете повода заподозрить в лукавстве или в намерении подкопаться под вас? Да̀, конечно, к ним, к этим способным и сочувствующим людям, вы и обратитесь; этого требует и здравый смысл, и прямая ваша выгода. Закон, направляющий в этом случае ваши движения, до такой степени непроизволен, что, если вы, например, затеваете дело хорошее, то избираете для него и сотрудников хороших, а ежели затеваете дело дрянное, или, лучше сказать, не дело, а только изворот, то и деятелей для него избираете изворотливых, а отчасти и гнусных.

Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято, что нет угла в целом мире, где какое-нибудь дело делалось бы иначе как при содействии людей, его понимающих, ему сочувствующих и к нему подготовленных. И вдруг, однако ж, оказывается, что существуют такие сферы человеческой деятельности, где теория самоедства признается не только полезною, но даже необходимою!

Не правда ли, что мы имели полное основание назвать такое положение загадочным?

Но ежели известное явление не подходит ни под какое логическое объяснение, то из этого следует, что для раскрытия его необходимо прибегнуть к путям неестественным. Так мы и сделаем.

Если бы у ненавистников не было за душой ничего, кроме ненавистничества, то дело кончилось бы тем, что они пожрали бы друг друга и сами себя, и, таким образом, вопрос о достославной их деятельности вскоре упразднился бы сам собою. Однако ж деятельность эта продолжается и заставляет предполагать, что тут примешались кой-какие другие данные, которые, в глазах поверхностного наблюдателя, смягчают самое ненавистничество и позволяют взирать на него без негодова-

ния. Данные эти, как увидим ниже, чисто внешнего свойства и имеют весьма слабое отношение к сущности 19 февраля; но так как у нас внешность и до сих пор еще всегда на первом плане, то нет ничего удивительного, что тление, которое за нею стоит, ускользает от анализа неопытного и неискусного большинства.

Первое преимущество, которое ненавистник охотно выставляет вперед,— это приличная и, так сказать, дисциплинированная внешность. И действительно, взирая на открытое и розовое лицо какого-нибудь ненавистника, вслушиваясь в его умеренно-пошловатую речь, весь смысл которой резюмируется словами: «как прикажете?», видя этот учтивый нос и эти ласковые, слегка закатывающиеся глаза, которые, кажется, так и говорят: «навек я твой и даже больше!», всматриваясь в его плавную, преданно-спешащую походку, в его мягкий, несколько бесцветный жест и не усматривая притом в положении его тела ничего, кроме благодарно-устремляющегося и готовно дерзающего,— вам даже в голову не придет сказать: «Вот человек, у которого в сердце завелось уксусное гнездо, у которого в голове засела каверза, у которого внутренности поражены гноящимися струпьями!» Напротив того, вы скажете: «вот обворожительный малый, который отлично владеет французским диалектом и у которого притом из всех пор сочится пот готовности и признательности!» И, однажды сказав себе это, вы непременно почувствуете к этому человеку влечение и начнете относиться к нему с упорным пристрастием. Неразвитость его вы назовете наивностью, невежество — простодушием, незнание дела — неопытностью; даже в его лукавстве вы будете видеть не то вредное качество, которое и в животных низшего разряда возбуждает отвращение, а милую изобретательность не очень обширного, но благонамеренно направленного ума. Вы не заметите ни той судороги, которая по временам мгновенно пробегает по его лицу, ни тех подергиваний, ни того воздымания ноздрей, в которых собственно и заключается ключ к его сердцу. Перед вами только человек с мягкими, смеющимися глазками, с устремленным вперед корпусом, одним словом, человек, которого можно и намотать на клубок, и опять размотать — как угодно! Не клад ли такой субъект! И возможно ли сравнить его с теми угрюмыми личностями, которые не только не устремляются, но даже как будто назад опрокидываются? Нет, ни сравнить, ни променять ни на что̀ подобное невозможно — это ясно как день. Это тем более ясно, что каверзы, которые выкидывает очаровательный ненавистник, совершаются не на глазах ваших, а там, за кулисами, на каком-то заднем дворе...

И вот, благодаря грациозным манерам, прах, простой и ничтожнейший прах, столбом кружится по градам и весям любезного отечества, залепляя глаза и носы изумленным обывателям!

Другой факт, на который сильно упирают ненавистники и которым они в особенности отводят глаза, заключается в буквальном соблюдении обрядной части 19 февраля. Насчет обрядов ненавистник просто лев; и ему тем легче геройствовать на этом поприще, что самое понимание его не идет дальше обряда, что все воспитание его исключительно основано на обряде и что у него пропасть свободного времени, избыток которого позволяет ему следить за обрядом с пунктуальностью изумительною. Мундиры, парады, обеды, молебны — вот почва, на которой твердо стоит ненавистник, и плохо придется тому, кого проницательный взор его усмотрит на этой почве небрежным или неисправным. Нужды нет, что тут же, в этом самом мундире, ненавистник измышляет пакость тому самому делу, в пользу которого он парадно вырядился,— повторяем: эта пакость совершится за кулисами, на заднем дворе, на сцене же будут красоваться все внешние признаки преданности делу, на сцене будет обряд, а много ли найдется людей, которые сумеют отличить обряд от сущности? Итак: горе тому, кто оплошал в мундирный день! горе тому, кто в день сей страдал головною болью или коликами! горе тому, кто просто позабыл о происходящем торжестве, а усмотрен был во время оного гуляющим! Тысячи обвинений, одно другого нелепее, одно другого зловреднее, посыплются на его голову и ежели не поразят окончательно, то навредят и нагадят настолько, что человеку опротивеет не только провинция, но и самая деятельность, на которую он в ней осужден.

Да̀; вот и дрянные, по-видимому, людишки, а подите-ка, уберегитесь от их белых, поганых зубов! устойте-ка против их козней, несмотря на явную нелепость и глупость последних!

Читателю петербургскому все эти неудобства и каверзы провинциальной жизни могут показаться паршивыми дрязгами — не больше. Многого из них он не поймет, о многом скажет, что все это дела, не стоящие плевка. Конечно, с своей точки зрения, петербургский читатель будет прав; но представьте себя, так сказать, водворенным среди этих паршивостей, представьте, что вы вошли в тучу комаров, которые и жужжанием и жа́лением до того одолевают вас, что даже парализируют самую вашу мысль,— ка̀к отнесетесь вы к подобному положению? Прибегнете ли вы к тем высшим соображениям, в виду которых это положение не стоит плевка? Назовете ли его именем дрязгов?.. Да̀, это действительно не больше

как дрязги, но потому-то именно они так больно и влияют на человека, что уж чересчур паршивы. Смириться перед ними — нет резона; уединиться среди их — тем дряннее и омерзительнее встанет перед вами картина этой властной и торжествующей паршивости. Одним словом, для провинции это вопрос совсем не пустой, а вполне жизненный и совершенно неизбежный. Шпионство, наушничество и вольный донос до того одолели ее, что некуда деваться порядочному человеку, нельзя совершить самого простого акта, чтобы не подвергнуться всякого рода зловредным толкованиям.

И сверх того, не надо забывать, что эта паршивость не потому только вредна, что она заедает того или другого субъекта, но и потому, что она врезывается в самую жизнь и растлевает наилучшие намерения. Не надо забывать, что это паршивость, не лишенная атрибутов силы, а потому действующая самоуверенно и почти без возражений. Но это-то именно и не понимается в Петербурге, и потому всякое, даже слабое противодействие ненавистничеству представляется там какою-то неуместною строптивостью.

Вообще Петербург не охотник до так называемых пререканий; они кажутся ему вредными; они тревожат его олимпическое спокойствие, они мешают ему думать, что в любезном отечестве все обстоит благополучно. Петербуржцу кажется, что стоит какому-нибудь Ивану Иванычу хорошенько поцеловаться с Иваном Никифорычем,— и все пойдет как по маслу. «Помилуйте! ведь это все преувеличения! вы там деретесь, а мы должны из-за ваших ничтожных драк оставлять наши общие соображения!» — вот что̀ обыкновенно слышит страдалец-провинциал от любого петербуржца, которому вздумает поведать повесть своих провинциальных затруднений. И никак не убедится глубокомысленный петербуржец, что есть же причина, которая обусловливает эту организованную драку, и что ежели тут на первом плане пустяки, то это именно те пустяки, которые загораживают живое и кровное дело, которое делается отнюдь не в Петербурге, а в провинции.

Надо сознаться, что в последние три-четыре года в провинциальной жизни выработалось много не весьма хорошего, и, между прочим, явилась на свет целая система обвинений, против которых предполагаются невозможными никакие возражения. Таковы, например, обвинения в нигилизме, в коммунизме, в демократизме, в безверии и т. п. Обвинения, при известных условиях и при общей сбивчивости понятий об истинном смысле их, очень веские. Спросите любого ненавистника, что̀ он разумеет под этими выражениями, которыми он сыплет направо и налево,— он наверное разинет рот или

понесет совершеннейшую чепуху. Но дело в том, что ему совсем и не важно знать, какое значение имеет то или другое выражение; для него достаточно быть уверенным, что есть на свете такие сладкие термины, которые позволяют ему стрелять в упор, и вот он постреливает да постреливает себе полегоньку, отнюдь не сомневаясь, что выстрелы его рано или поздно достигнут-таки надлежащей цели. Положим, например, вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьян до разорения под благовидным предлогом казенного интереса, с действительною же целью, пускай, дескать, знают поганцы, какова сладка хваленая их свобода! — и вот, вместо ответа, в вас стреляют обвинением в коммунизме! Или, положим, вы доказываете необходимость и пользу независимости судов, пользу, признанную законом, а в вас, вместо ответа, стреляют обвинением в неуважении к власти! Что̀ предпримете вы против таких обвинений? Станете ли возражать, что между коммунизмом и правильным ходом крестьянской реформы, между неуважением к власти и независимостью судов нет никакой связи? но разве тут может быть речь о какой бы то ни было связи? Разве тут что̀-нибудь требуется, кроме гнусного голословного обвинения? Да̀, это положение почти безнадежное...

Есть, впрочем, одна сила, которая могла бы удерживать ненавистников в пределах благопристойности, ежели бы ей было дано надлежащее развитие и ежели бы она сама сознавала, ка̀к много она значит и ка̀к много может. Эта сила — печать.

Не можно измыслить тех проклятий, которыми осыпается в провинции бедное печатное русское слово, но в то же время трудно себе представить трепет более почтительный, нежели тот, с которым ожидает ненавистник печатной кары своим злоумышлениям. Совершивши свинство, ненавистник долгое время проводит в весьма нелегких терзаниях. С тех пор, как завелась так называемая спасительная гласность, жизнь значительно опостылела ненавистнику. Гг. Катков, Аксаков, Скворцов и проч. кажутся ему не просто смертными, а какими-то недремлющими волшебниками, которые невидимо присутствуют при всяком паскудном деянии и от которых бесполезно было бы даже что̀-нибудь таить. Они все видят, все знают, все предугадывают. И вот, в виду этого всеведения, за содеянным свинством всегда наступает для ненавистника ряд дней томительного ожидания кары, ожидания более тяжкого, нежели самая кара. «Не может быть, чтоб меня не казнили!» — резонно твердит себе ненавистник, и содеянное свинство во всех малейших подробностях встает в его воображении, а

дни получения газет становятся днями трепета и невыносимейших нравственных истязаний.

Само собой разумеется, что в большинстве случаев эти ожидания только трепетом и разрешаются; но велико бывает смятение в те редкие и памятные дни, когда и в самом деле в одной из газет появляется краткое известие о наших секретных и явных деяниях.

Представьте себе физиономию ненавистника, который вдруг вычитывает из газет, например, следующее известие:

Наилучший способ употребления пожарных лошадей. Из города Окова пишут: «Пожары в нашем городе, благодарение богу, редки, и вот местные распорядители, чтоб не лишить пожарных лошадей полезного моциона, придумали ссужать их под кавалькады туземным аристократам. Недавно одна из таких кавалькад красовалась по улицам города, и обыватели имели случай убедиться, что лошади эти выезжены под верх весьма удовлетворительно».

Или:

Особенный вид благотворительности. Из Окова пишут: «Недавно цвет нашего аристократического общества давал с благотворительною целью любительский спектакль. При этом способ привлечения публики был избран хотя и не новый, но весьма оригинальный: билеты навязывались обывателям под угрозой мести; сказывают даже, будто некоторые извозчики получили по нескольку билетов и были в большом затруднении, в каких костюмах явиться на драматический фестиваль. Одним словом, явился новый, неожиданный налог».

Нельзя, конечно, сказать, чтобы заметки эти были очень ядовиты или глубоко захватывали наши провинциальные немощи, тем не менее и они, несмотря на свою невинность, производят действие довольно существенное. Видя себя застигнутым, ненавистник некоторое время смотрит совершенным именинником. Он чаще обыкновенного появляется в публику и хотя старается игнорировать о поднесенном сюрпризе, но в то же время озирается и ищет. Он перебирает в уме своем личности, которых можно заподозрить в знании орфографии и знаков препинания; он подслушивает, подсматривает, подсылает; он то нападает на след, то теряет его... Конечно, ежели виновник обнаружится, то и он, в свою очередь, не останется без сюрпризов весьма существенных; тем не менее можно поручиться наверное, что кавалькады уже не повторятся и что аристократкам города Окова уже не придется щегольнуть перед извозчиками богатством блонд и кружев. Что̀ ж, и это результат хоть куда! По крайней мере, извозчики за нас, бедных литераторов-обывателей, богу помолят!

Но ежели таков результат обличений мелких и случайных, то можно себе вообразить, во сколько крат он был бы действительнее, если б эти обличения повторялись почаще (этак через день по ложке), или — что гораздо важнее — если бы эти обличения затрогивали самый строй провинциального быта и выводили наружу те немыслимые ни в каком цивилизованном обществе противоречия, в которых мы путаемся на каждом шагу.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В прошлом письме было мимоходом упомянуто, что историографы наши снабжены белыми и острыми зубами, которыми они ловко врезываются в ненавистных им субъектов. Считаю нелишним подтвердить этот факт и даже остановиться на нем, так как чрезмерное развитие плотоядных инстинктов может, наконец, привести к совершенному обезлюдению наших провинций и превратить их в пустынные пастбища, на которых будут пастись лишь ожиревшие фофаны, стрегомые бдительными историографами.

В провинции до сих пор пользуется большим авторитетом то совершенно неосновательное мнение, в силу которого могущество и величие общества зиждутся исключительно на фофанах. Чем гуще в известной местности фофанское насаждение,— говорит это диковинное учение,— тем та местность счастливее, тем более представляется залогов для обеспечения будущего благоденствия страны...

Основания, из которых вышло подобное убеждение, понять довольно трудно; тем не менее можно догадываться, что главную роль тут играет едва ли не пресловутое фофанское смиренство. Предполагается, что человек, который вообще не имеет наклонности к мышлению, не может мыслить худо; что человек, который ничего не делает или же с утра до вечера хлопает себя по ляжкам, не может делать худа; что человек, который аккуратно каждый день напивается пьян, спит глубже, нежели человек, который пьян не напивается, а следовательно, не только противообщественных, но и никаких снов видеть не может. Отсюда умозаключают, что жить с фофанами не в пример удобнее, и это заставляет многих смотреть на фофанов, как на какую-то каменную стену, под защитой которой можно радеть и ревновать на всей своей воле.

С другой стороны, если человек имеет вид незаспанный и не сопит, то весьма естественно, что к нему нельзя подойти с тою бойкостью и развязностью, с какой подходят к мерт-

вому телу. Нельзя поставить его в угол носом, чтоб он этого не слыхал, нельзя ушибить, чтоб он этого не почувствовал, нельзя замазать рот скверностью, чтоб он этим не стеснился. То есть, коли хотите, все это сделать можно, но нас приводит в негодование уже одно то, что вот человека пришибают, а он еще, каналья, стесняется!

Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты; иногда необходимость заставляет побеседовать, посоветоваться и вообще поразмыслить. Как бы мы ни старались избегать претклновений, требующих работы мозгового вещества, но жизнь, с замечательным упорством, становит их перед нами и делает умственный труд неизбежным даже для самого легкомысленного из историографов. Вот тут-то, среди этих претклновений, собственно и познается, что разница между фофаном и человеком несопящим существует несомненная и притом весьма ощутительная.

Историограф, с внутренней стороны, очень мало чем отличается от фофана: он так же невежествен, так же мало развит, нравственные его убеждения и правила почерпнуты из того же классического источника, то есть из романов Поль де Кока. Их взаимное отличие чисто внешнее и заключается единственно в том, что историограф может распорядиться деятельно, а фофан имеет право распорядиться лишь исполнительно. Следовательно, если историограф обращает свое слово к фофану, то он заранее уверен, что слово это будет по инстинкту понято и принято без возражений; мало того, он уверен даже, что фофану непременно покажется, что у него, историографа, вылетают из уст совсем не те глупые и пошлые слова, которые вылетают на самом деле, а огненные языки. Совсем другим характером отличается слово, обращенное к человеку незаспанному и несопящему. К великой досаде историографов, этот последний имеет неудобную привычку усвоивать себе то, что̀ ему говорят, и потому на веру ничего понимать не умеет. Так, например, если ему говорят: «Mais ça ne se fait pas ainsi!»[1], то он, стремясь уяснить себе, что̀ именно ne se fait pas ainsi, непременно об этом спросит, и когда получит объяснение: «Mais c'est impossible!»[2], то, пожалуй, и опять спросит.

Надо думать, что это делается само собой, без всякого дурного умысла. Человек незаспанный не только сам желает понять, что̀ ему говорят, но хочет, чтобы и говорящий был не совсем чужд этому пониманию. Историограф, объясняющий свои

---

[1] Но это так не делается!
[2] Но это невозможно!

намерения и предначертания,— ведь это такое любопытное существо, что самое обыкновенное чувство человеколюбия предписывает употребить все меры, дабы развить его, по крайней мере, в той степени, чтобы он познал самого себя. Спрашивается: где тут злокозненность? Согласитесь, читатель, что если мы предположим даже самое дурное, если мы посмотрим на это дело даже с предубеждением, то и тут вряд ли отыщем что̀-нибудь иное, кроме неопытности. Мы охотно допускаем, что пионер, как и всякий другой человек, пускаясь в опасное плаванье между подводными камнями, носящими название историографов, обязан заранее подготовиться к этому подвигу; что он прежде всего должен основательно изучить Поль де Кока и прочих классиков, потом выслушать курс наук в заведении минеральных вод и затем уже, пришибив себе слегка голову, явиться в мир кормчим добрым и благонадежным. Если он не исполнил этого — он виноват; но именно потому-то, что тут есть вина бесспорная и несомненная, самая простая справедливость требует, чтобы вопрос был ограничен его естественными пределами, а не усложнялся обвинениями в неблагонамеренности. Зачем прибегать к уголовщине, когда преступление подходит к категории деяний, вызывающих лишь дисциплинарное взыскание? Не понимает человек — надо его вразумить, а если вразумлять некогда — надо напомнить кратко, что понимание вредно, и указать, для лучшей видимости, на фофанов, которые никогда ничего не понимают, но живут.

Оказывается, однако ж, что подобное ограничение вопроса не так легко, как можно было бы ожидать с первого взгляда; оказывается, что наивная пионерская пытливость до такой степени сразу огорошивает историографа, что всякие компромиссы делаются невозможными. Его поражает бесконечно, что слова его не только не кажутся вылетающими из уст в виде огненных языков, но даже принимаются с некоторою недоверчивостью относительно смысла, в них содержащегося. Ему кажется это предумышленным притворством. Он пробует прибегнуть к разъяснениям, но каждое новое толкование приводит за собой новую путаницу, а вместе с тем и новый повод кипятиться и негодовать. Раздраженное воображение начинает рисовать разнообразнейшие картины, в которых по одну сторону стоят фофаны, все понимающие и все исполняющие, а по другую — пионеры, ничего не понимающие и всему противодействующие. Разгоряченный непрошеною пытливостью, историограф забывает даже свое знаменитое «parlez moi de ça!»[1]

[1] рассказывайте!

и сразу озадачивает своего собеседника восклицанием: «А позвольте вас, милостивый государь, попросить быть осторожнее в ваших выражениях!» И таким образом тайна слов «mais ça ne se fait pas ainsi!» остается неразъясненною и нередко даже уносится историографом в могилу.

И вот начинается странный поход за непонимание «parlez moi de ça!». Поднимается генеральная пальба; в воздухе пахнет доносом; на небе собираются тучи, из которых, подобно молниям, изрыгаются извещения. Внизу стоят фофаны, кидают вверх шапки и кричат: «Виват!» Близорук и легкомысленно самонадеян будет тот, кто не поймет этих предзнаменований и не поспешит вовремя уложить свой багаж!

Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срам не остановят историографа в борьбе с человеком, который не умеет понять сразу значения «mais c'est impossible». Не имея иных желаний и помыслов, кроме стремления беспрепятственно расправлять локти, историограф тем с большею яростью нападает на ненавистного ему субъекта, чем более встречает в нем сознания права и законности, чем более усматривает в нем сомнений относительно необходимости и полезности безграничной игры локтями. Законность — это тот многоглавый Минотавр, с которым сей новый Тезей искони ведет неустанную борьбу, и ведет далеко не безуспешно...

Конечно, нельзя не сознаться, что в беспрепятственности отношений имеется немалая доля привлекательности и что этим весьма достаточно объясняется ненависть к тем людям, которые не скоро поворачиваются и не идут навстречу ушибаниям; но не следует забывать и того, что привлекательность эта чисто личная и что для дела собственно тут пользы ни в каком смысле не предвидится. Мы желаем расправлять наши локти на всей своей воле — нет ничего приятнее; но подумаем, однако, не рискуем ли мы при этом, что нам, в конечном результате, придется расправлять эти локти в пустоте, что нам некого будет со временем даже задевать ими?

Взглянем ближе на эту странную теорию, в силу которой благополучие общества ставится в зависимость от размножения фофанов, и мы убедимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренством фофанов, есть та кажущаяся выгода, которая на деле сейчас же сводится к нулю. Прежде всего, перед нами обнаружится совершенная неспособность фофанов к какой бы то ни было производительности, исключая унавоживания полей; потом обнаружится, что, при всей неспособности и непроизводительности, фофаны в высокой степени прожорливы и не прочь погулять в златотканых одеждах, что̀ обходится стране довольно дорого; наконец, обнару-

жится, что, несмотря на смиренство и послушливость, их исполнительные качества не стоят ломаного гроша, ибо, даже в этом смысле, они могут только шарахаться из стороны в сторону, убивать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотим представить себе среду, исключительно составленную из фофанов, с полным устранением каких бы то ни было живых элементов (чего именно и вожделеют столь пламенно некоторые историографы), то в самом ближайшем будущем убедимся, что подобная среда не только не изображает пресловутой каменной стены, но представляет несомненнейшую пустоту, в которой одиноко бушуют историографы.

Позволительно усомниться в назидательности подобного зрелища, хотя и нельзя отказать ему в некоторой грандиозности. Опыт с достаточною убедительностию доказывает, что успех какой бы то ни было страны находится в зависимости совсем не от страдательного и бессмысленного присутствования в ее истории фофанов, а от деятельного участия в ней живых и сознательных сил. Истина эта стара, как мир, и только одни историографы до сих пор остаются ей чуждыми. Как ни вредны науки, но совершенно упразднить их нельзя, потому что

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают...—

и, следовательно, позволяют и тем и другим проводить время без ущерба для благочиния. Как ни неуместною кажется сознательность, но и без нее обойтись невозможно, потому что только то дело прочно, которое делается с сознанием. Летайте, сколько угодно, из края в край, устрашайте, угрожайте, оглушайте, преследуйте систематически всякое поползновение на обладание мыслью и убеждением,— вы не получите в результате даже того смиренства, которого так страстно добиваетесь, а будете иметь только мертвенность.

Предположим в самом деле, что какой-нибудь остервенившийся историограф второй или третьей руки все совершил, что̀ совершить ему надлежало, то есть нигилистов истребил, коммунистов разорил, демократов разгромил, науку упразднил, а Поль де Кока водворил; что он, весь потный от трудов смертного боя, почил наконец на лаврах и лицо его сияет удовлетворенною глупостью. Он сидит, окруженный своими Пьерами, Анатолями, Жоржами, Симонами и прочими бонвиванами польдекоковского закала; сидит и ведет благодушную беседу о том, как отвратительно жить в России, как развратен русский народ и как должно быть теперь привольно там, в Петербурге, на минерашках, под крылышком у И. И. Излера...

Je suis solide au poste,
Car j'ai un fier tempérament! —

испускает историограф-победитель, подражая несравненной m-lle Lafourcade.

Приносится мадера, являются историографские жены, историографские помпадурши, историографские прихвостни и прихвостницы и присутствием своим усугубляют блеск торжества.

Таковы первые плоды победы. Историографы счастливы бесконечно.

Je m'en fiche, contrefiche...[1] —

раздается из края в край с таким мастерством исполнения, что даже становые, и те вдали канканируют.

Но не забудем, что за первыми плодами всегда следуют вторые. Пакостные разговоры имеют ту слабую сторону, что не представляют никакого разнообразия и потому немедленно иссякают. Да и атмосфера в провинции как-то слишком густа для канкана. Вольно и естественно танцуется этот танец только на минералках; мы же, провинциалы, слишком тяжелы на подъем, слишком стеснены окружающими сиволапыми мужиками, чтоб иметь возможность поднимать ноги до надлежащего уровня. Таким образом нежданно-негаданно наступает время для плодов иного рода, и плоды эти оказываются уже далеко не столь сочными и приятными, как плоды нумера первого.

Возникают преткновения, требующие непременной и безотлагательной работы мозгов; возбуждаются вопросы, тоже без участия мозгов отнюдь не разрешимые; среда сиволапых дает себя чувствовать все стеснительнее и стеснительнее. В какую сторону ни обернется историограф, везде видит препятствие, везде чует сердцем противодействие. Давно ли, казалось, он разорил нигилистов и истребил коммунистов, а противодействие не только не унимается, но угрожает принять невеселые размеры. Оказывается на поверку, что историограф понимает под противодействием все то, что̀ имеет ненавистное свойство заставлять его двигать мозгами.

— Что̀ делать? ка̀к поступить? — мечется он от Симона к Пьеру, от Анатоля к Жоржу.

Увы! Симон только сосет палец в ответ. Пьер молчит, потому что продолжает страдать собачьею старостью; Анатоль хотя и стоит la loi à la main[2], но и в этом трогательном поло-

---

[1] Мне наплевать...
[2] с законом в руке.

жении усматривает только фигу; что касается до Жоржа, то он, как малый скоропалительный, предлагает перепороть всех до единого, не взирая даже на особ.

— Mais ce n'est pas pratique, mon cher, ce que vous proposez là! [1] — восклицает в отчаянии историограф-победитель и, с угрызением впервые проснувшейся совести, вспоминает о разоренных им коммунистах, которые в данном случае все-таки могли бы подать полезный совет и, пожалуй, даже оградить его от ожидаемых в будущем головомоек.

— Господи! да ведь это дураки! — в первый раз в жизни делает он остроумное и притом несомненно правдивое определение окружающих его бонвиванов.

В первый раз он раскаивается; в первый раз он чувствует, как несостоятельна и даже опасна теория беспрепятственной игры локтями.

Читатель! не радуйся слишком скоро этому вынужденному обращению историографа к чувствам более или менее человеческим! помни твердо, что он сам малый со взломом, что для него самого всякое явление, заставляющее шевелить мозгами, есть явление противное, которое во что̀ бы то ни стало следует исторгнуть вон с корнем!

А так как явлений этих много и дело вырывания корней — дело не легкое, то историограф, не находя ни в себе, ни в своих сотрапезниках никаких мало-мальски практических указаний, делается на время угрюм и задумчив. Он ищет глазами, не найдется ли где какого-нибудь завалящего пионера, которого он позабыл второпях разорить, но оказывается, что таковых не обретается. Везде тишь, да гладь, да божья благодать; везде умственная нищета и изнурительное нравственное убожество; везде погром, везде бессилие... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущим палец Симоном и подстегиваемые, для порядка, скоропалительным Жоржем.

— Чем-то нас сегодня будут кормить: бардой или жмыхами? — лениво урчат фофаны.

Сердце историографа сжимается.

— Хоть бы молчали, подлецы! — ворчит он, досадливо закусывая усы.

И вот он прибегает к средству самому простому и вместе с тем очень решительному. Не находя возможности овладеть жизнью с помощью собственных средств, он воздвигает укрепления за укреплениями, окопы за окопами и уводит туда за собой своих сотрапезников. «Уж там-то,— думает он,— не най-

---

[1] Но то, что вы предлагаете, непрактично, дорогой мой!

дет меня никто, и я могу свободно показывать нос всевозможным вопросам!»

Не думайте, однако ж, чтоб это были укрепления настоящие, выстроенные из гранита, кирпича и т. п. Нет, это укрепления бросовые, наскоро слепленные из таких же бросовых и давно повсюду признанных негодными материалов. Тут есть и насилие, и самоуправство, и безответственность поступков, и бесцеремонное отношение к человеческой личности. И весь этот хлам, весь этот брак кой-как слеплены собственными слюнями историографов.

Оградивши себя и присных своих этими нелепыми твердынями, историограф мнит, что бессрочно окопался от всевозможных запросов и что, в крайнем случае, он будет иметь возможность сокрушить беспокойных и противляющихся посредством пальбы.

И действительно, первое время в этом укрепленном лагере живется отлично. Поощренный кажущеюся безопасностью, историограф не только не остепеняется, но с каждым днем все больше и больше предается пагубным страстям. Мало-помалу он упрощает свои приемы до того, что только фыркает, брыкается и ржет.

Все это хорошо; все это так, как и быть надлежит, но, говоря откровенно, как-то плохо верится в силу возводимых историографами укреплений. Вообще мы, русские, никогда не отличались особенною сметливостью по части сооружения твердынь. Оттого ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или от иной какой-либо причины, но как-то всегда оказывается: или что укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются дрянные карточные домики. А потому, когда нам приходится палить, то мы либо палим по своим, либо убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время (уж и памятно же оно нам! — да и где наконец те времена, которые были бы нам не памятны!), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы думали даже, что вот-вот окопаемся от целого мира,— и что ж? — в ту самую минуту, когда мы мечтали, что дело окапывания наконец завершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке... в эту самую минуту оказалось, что инженеры наши по всей линии сплоховали!

Это было зрелище потрясающее и в то же время вполне поучительное. Сколько рухнуло разом надежд, сколько вырвалось криков изумления! Мы до сих пор не можем забыть изумление одного учителя географии, который до того понадеялся на прочность твердынь, что даже в учебнике своем написал:

«Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно и благонадежно закупоренная» — и вдруг должен был сознаться, во-первых, что Россия совсем не бутылка, и, во-вторых, что она закупорена очень неплотно, хотя денег на укупорку пошло с три пропасти. Припоминается нам много и других изумлений, отчаяний и воплей, раздавшихся по поводу незакупоренности нашего отечества, и, сознаёмся откровенно, с тех пор нами овладело сомнение.

Вот, думаем мы, уничтожены шлахбаумы — и сердце России не дрогнуло; упразднилось крепостное право — и помещики возвеселились сугубо; сдан в архив откуп — и кабаки приумножились; наложена печать молчания на суды земские, на суды уездные — и злодеи не только не восторжествовали, но вострепетали пуще прежнего! А ведь какие были твердыни и какого переполоха надлежало ожидать от их падения! И ничего! не только ничего, а как будто бы этих твердынь совсем и не бывало! Факт этот до такой степени поразителен, что мы полагаем, что если будет признано нелишним упразднить казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и тогда не последует ни потопа, ни труса, то и этой невзгоде Россия подчинится с благоразумием и готовностью, достойными похвалы.

Сверх того, история всех времен и народов доказывает довольно убедительно, что обилие укреплений всегда порождает известную долю подозрительности, и именно в те самые минуты, когда подозрительность всего менее желательна. Течение жизни самое скромное может наконец заметить, что против него умышляется что̀-то недоброе, и заметит это тем скорее, чем чаще напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. В ту самую минуту, когда мы всего менее о том думаем, вдруг с поразительною ясностью выдвигается вперед вопрос: «за что̀ ж ты дерешься?» — и, постепенно овладевая помыслами обывателя, становится в упор всем насущным потребностям дня. И вот обыватель становится назойлив и отчасти нахален; хотя он еще не протестует против оплеух, но уже хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких — нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь всякой благодати, что вот тут-то они и дадут отпор непрошеной обывательской любознательности, а выходит совсем напротив: выходит, что в этих-то случаях и проявляется во всем блеске сугубая их несостоятельность.

Во-первых, вопрос «за что̀ ты дерешься?» принадлежит к тем изумительно ясным и простым вопросам, которые, в самое короткое время, приобретают неимоверное количество прозе-

литов. Во-вторых, не следует упускать из вида, что в подобных обстоятельствах всегда немаловажную роль играет измена. Она незаметно проползает в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца самих палителей. Все эти Жоржи, Пьеры, Анатоли и сосущие палец Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми в вере, как это предполагается. Как ни запирайте их на замок, как ни ограждайте от соблазна, соблазн настигнет их неизбежно. И вот возникает свара и галдение в самом святилище бонвиванов; зарождается и растет мысль о предательстве; число дезертиров с каждым днем увеличивается; костюм ренегата становится très élégant et très porté...[1] В одно прекрасное утро бонвиваны, под предводительством Жоржа, с распущенными знаменами и под звуки песни:

A Provins, trou-la-la-la...[2] —

выходят из укрепленного лагеря, и вслед за тем пресловутые твердыни мгновенно покрываются паутиною и зарастают репейником.

Тем не менее в отношении к нашим историографам, доводы самые убедительные оказываются бесполезными, потому что они влекутся к укреплениям даже не по своей воле, а фаталистически.

Поговорите с любым из губернских историографов,— что̀ вы услышите от него? — вы услышите жалобы на то, что его положение недостаточно твердо; вы услышите назойливые домогательства об укреплении этого положения; вы услышите нахальные угрозы, что вселенная разрушится, если в самом непродолжительном времени не будут приняты действительные и энергические по сему предмету меры. В виду этих суровых сетований и предсказаний, вы вглядываетесь и прислушиваетесь кругом и, к удивлению, не видите ни одного движения, не слышите ни одного звука, которые, хотя в самомалейшей степени, давали бы повод для столь трагических опасений. Вы обращаете ваши взоры на историографа — и видите, что у него, сверх того, висит целый колчан стрел за спиною и руки вооружены увесистыми булыжниками. Стало быть, есть чем и отпор дать. «Господи! да рожна, что̀ ли, ему надобно?» — невольно спрашиваете вы себя.

Не удивляйтесь этому тоскливому голошению; мы, коренные обитатели губернских палестин, можем разъяснить вам это явление очень просто. Все дело в том, что нас, провинци-

---

[1] очень элегантным и модным.
[2] В Провен, тру-ля-ля-ля...

альных историографов, с одной стороны, удручает весьма замечательная умственная неразвитость, а с другой стороны, не менее притесняет изнуренное преждевременным чтением Поль де Кока воображение.

По Поль де Коку, жизнь человеческая представляется в виде цветущей долины, и течение ее обусловливается самыми несложными мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфред, ремеслом, по-французски, бонвиван, а по-русски — шалопай, шатается по белу свету, не держа в голове никакой другой мысли, кроме мысли о повсеместном распространении учения о безделице. И вот ему сначала встречается Арманс, потом встречается Бланш, потом Жюстин и множество других ревностных последовательниц этого учения. Он смакует, порхает с цветка на цветок и с каждой поочередно разыгрывает водевиль на тему: dansons, buvons... et chantons! [1] Наконец, однако, он пропивается дотла и к довершению всего занемогает истощением сил. Очевидно, ему надлежит пропа̀сть, но Поль де Кок слишком добродушен, чтобы допустить столь справедливую, но печальную развязку. И действительно, в самую отчаянную минуту у изголовья Альфреда является хорошенький мальчик, который своим старательным уходом оказывает благотворное влияние на возобновление истощенных сил шалопая. После довольно продолжительного любовного бездействия Альфред приходит в себя, прикасается дрожащими руками к хорошенькому мальчику и тут же начинает чувствовать, как возвращаются к нему способности селезня. Оказывается, что хорошенький мальчик совсем не мальчик, а скромная, но грешная девица Клеманс, которая давно любила Альфреда и с тайною грустью следила за его истощающими здоровье похождениями.

Вот и все. Незамысловато, но зато общедоступно и успокоительно в том отношении, что указывает в перспективе легкую поправку распутства, в лице девицы Клеманс. Легко себе представить, как действует такое чтение на человека, который был основательно подготовлен к нему домашним подобного же рода воспитанием. Во-первых, он получает убеждение, что жизнь есть не что̀ иное, как торжество безделицы; во-вторых, он проникается мыслью, что для Альфредов ни в чем не может быть ни препон, ни отказа; в-третьих, он приобретает непреодолимое влечение к легкому труду; в-четвертых, он окончательно растлевает и тот небольшой обрывок умственных сил, который составлял все наличное духовное богатство его. Вообразите же себе этого человека при первом столкновении с

[1] будем танцевать, пить... и петь!

действительною, а не шутовскою жизнью! Вообразите себе его в ту минуту, когда в голове его впервые зарождается подозрение, что мир населен не Клемансами и Жюстинами, а чем-то иным? Ка̀к должен он отнестись к указаниям, требованиям и противоречиям жизни?

Очевидно, что сначала он отнесется к этим невзгодам довольно легко. Он, подобно бабочке, будет перелетать с одного цветка на другой, подобно наемной блуднице, будет расточать всякому встречному поцелуи. Но вот наступает период истощения; все цветы перепробованы, все поцелуи расцелованы, а невзгоды не унимаются, шероховатости нимало не сглаживаются. «Клеманс! где ты?» — восклицает он в изнурении; но, увы! Клеманс не является на выручку, потому что она солгана классиками, в действительности же ее нет и не бывало...

Увы! как бы хозяйственно ни устроились историографы в своем укрепленном лагере, положение их не сделается от этого ни менее уединенным, ни менее беспомощным. Человеческая природа слишком сложна, чтобы в продолжение неопределенного времени довольствоваться одною и тою же гнилою пищею. Ка̀к ни сладки трактаты о прелестях бонвиванства, но с течением времени они приедаются даже таким необширным умам, каковы умы историографов. Тут, кроме неизменности содержания беседы, есть еще неизменность приемов и замашек, которыми сопровождается беседа. Заранее известно, какой жест сделает Nicolas, как прищурит глаза Пьер, как оближется Simon. Это становится под конец до того отвратительным и невыносимым, что потребность освежить содержание жизни становится вопросом дня. Предлагаются различные проекты для улучшения историографского быта, стуколка заменяется игрою в rouge ou noir [1], но так как мозги шевелятся лениво, то изобретательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за скукой сплетни, наушничество, шпионство; историографы зевают, раскалываются и взаимно друг друга поедают.

Таковы конечные результаты торжества историографов в провинции.

Но все это только личная комедия; могут спросить, ка̀к отзывается она на деле? На этот вопрос можно ответить так: в настоящее время в провинции никто ничего не делает. Пионеры делают мало потому, во-первых, что орудия действия находятся вне их влияния, а во-вторых, потому, что деятельность их почему-то постигается параличом. Историографы совсем не делают ничего, потому что их назначение канкани-

---

[1] рулетку.

ровать и мешать делать другим. Каким же образом идет какое бы то ни было дело? На это один ответ: провидение...

Петербургская журналистика нередко в довольно резких формах осуждала убеждения так называемых «постепеновцев» (к ним всего ближе подходят те люди, которых мы разумеем под именем пионеров). Не будем входить здесь в рассмотрение сущности этих убеждений; скажем одно: люди этих убеждений — те самые, против которых в настоящее время направлены самые ядовитые стрелы историографов. Лицо историографа немедленно покрывается пурпуром при одном виде постепеновца, и покрывается не без основания, ибо в постепеновце он видит человека, которому самою судьбою предназначено отнять у него лакомые куски. Насколько основательно это последнее предположение — мы сказать не можем, но знаем, что в нем заключается весь смысл распри. Не та или другая сущность дела, не то или другое направление его, а именно лакомые куски составляют все содержание историографских наездов с их темною свитой вольных доносов и извещений. Не жалкое ли это зрелище? не жалкие ли нравы?

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Из всего, изложенного в предыдущих письмах, достаточно явствует, что в провинции существует немало препятствий, которые в значительной степени затрудняют правильное развитие скромных зачатков, положенных в основу русской жизни в течение последнего десятилетия. Препятствия эти, по нашему мнению, заключаются, во-первых, в трудно объяснимом, но тем не менее весьма явственно ощущаемом недоброжелательстве к этим зачаткам со стороны тех самых лиц, которые, по всем видимостям, должны быть наиболее заинтересованы в их успехе; во-вторых, в исконном и неисправимом свойстве наших бюрократов всякое общее дело связывать с своими личными интересами и повсюду усматривать посягательство на их власть; и, в-третьих, в крайнем невежестве губернских историографов, которое фаталистически обрекает их на праздность и заставляет прибегать к пререканиям и суесловию, как к единственной форме, дающей их полусознательным движениям какой-то вид деятельности.

Но, само собою разумеется, все эти препятствия никак не могли бы иметь той решительной силы, какую они в действительности имеют, если бы рядом с ними не существовало нечто другое, имеющее корень в самом складе губернской

жизни и наносящее ее успехам ущерб несравненно более значительный, нежели нелепое самопожирание обозлившихся бюрократов второй степени.

По неисповедимой воле судеб, у нас как-то всегда так случается, что никакое порядочное намерение, никакая здоровая мысль не могут удержаться долгое время на первоначальной своей высоте. Намерение находится еще в зародыше, как уже к нему со всех сторон устремляются разные неполезные примеси и бесцеремонно заявляют претензию на пользование предполагаемыми плодами его. Не успели вы порядком оглядеться в новом порядке, как уже замечаете, что в нем нечто помутилось. Вглядитесь пристальнее, и вы убедитесь, что тут суетится и хлопочет целый легион разнообразнейших чужеядных элементов.

С этими чужеядными элементами происходит довольно странная история. Так как существование их лишено всякой самостоятельности и находится в тесной зависимости от более или менее удовлетворительного состояния тех предметов, которые доставляют им питание, то казалось бы, что самый простой здравый смысл требует, чтобы отношения паразитов к этим предметам были основаны на строгой расчетливости и чтобы в деле сосания чужих соков была по малой мере соблюдаема известная деликатность и экономия. На практике, однако ж, всегда случается совершенно противное. Паразит непредусмотрителен и ограничен по преданию; ему не жаль расходовать *чужие* соки, потому что он не понимает, что это вместе с тем и *его* соки. Он наедается всегда досыта, то есть до тех пор, пока вместить может, потому что мысль о завтрашнем дне слишком отвлеченна, чтобы уместиться в его голове. Поэтому, если в жизнь закрадываются чужеядные элементы, то зрелище, которое на первых порах являет их плотоядность, бывает поистине изумительно. Заприметив в каком бы то ни было общем деле известного рода мякоть, они нападают на нее с безрассудною прожорливостью саранчи, высасывают ее дотла, не сознавая и не предусматривая, что своим невоздержанием они не только отнимают у общего дела самые нужные соки (это-то, пожалуй, было бы им на руку!), но в то же время нимало не устроивают и своих личных маленьких дел.

Чужеядство — это вреднейшее наследство нашего прошлого. Нельзя сказать, чтобы этот элемент когда бы то ни было заявил миру о своей устойчивости и чтобы вообще прошлое оправдывало необычайную живучесть его; напротив того, он постоянно показывал себя до того рассыпчатым, рыхлым и нерассудительно жадным, что даже не сумел выработать

самого простого понятия, без которого не может существовать ничто сколько-нибудь претендующее на живучесть,— понятия о дисциплине. Но есть у него своего рода драгоценное качество, заменяющее и устойчивость и дисциплину — это способность примелькаться — и вот, благодаря этой простой и чисто страдательной способности, чужеядство сделалось в наших глазах как будто даже не чужеядством, а очень обыкновенной профессией, которая не только не оскорбляет нашего нравственного чувства, но с которой, напротив того, мы находим нелишним, при всяком удобном случае, считаться.

С одной стороны, способность примелькиваться, с другой, способность ко всему привыкать, со всем сживаться — и вот, в итоге оказываются чудеса! Нельзя себе представить, каких неожиданных результатов достигало иногда чужеядство при помощи одной мелькательной способности. Взору представлялась какая-то беспутная масса, в которой незаметно было ни действительного порядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна единственно своими инстинктами. Проникнуть в эту массу, застать ее на месте преступления, уличить в чем бы то ни было — не представлялось решительно никакой возможности, потому что она с неимоверной быстротой засасывала всякую штуку и тут же бесследно хоронила концы в воду. Виноватых не находилось, не потому, чтобы их не существовало в натуре и чтобы в толпе чувствовалось оскудение в предателях, а потому просто, что в самом воздухе была разлита какая-то таинственная симпатия к чужеядству и ко всему, что из него проистекать могло. Припомним, какою бесплодностью всегда отличались самые грозные походы против многообразных злоупотреблений, удручавших русскую жизнь. При первом взгляде на паразитов казалось: вот бросовые, ничтожные люди, которых ничего не значит смять как угодно! а на поверку выходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своим аппетитом, с которым тем более надлежало считаться, что он заменял им и убеждения, и чувство гражданственности, и даже инстинкты касты.

В это недавнее время не редкость было встретить целые губернии, в которых до такой степени буйствовала сила желудочных страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встретиться лицом к лицу с разверстым зевом и щелкающими челюстями. Это были какие-то укрепленные преисподние, в которых без вести пропадал всякий человек, не обладающий твердыми желудочными убеждениями, в которых буквально совершались злодейства, не встречая не только отпора, но даже робкого протеста. Посылались туда всевозможные ре-

визоры и соглядатаи, иногда даже с заранее принятым намерением во что̀ бы то ни стало истребить, уничтожить, не оставить камня на камне, но результатов никогда никаких не получалось. Все, не чуждое дару слова, от рождения было заражено чужеядством; все, имеющее силу и власть, поголовно и одинаково плутовало, лгало и подкупало. Все члены этой плотоядной массы задыхались под игом взаимной солидарности, в основании которой лежало не сознание, а простой животный инстинкт. Ревизоры приезжали и сразу упирались в стену, в которую как ни стучи, ни до какого ответа не достучишься...

Существовали особые профессии зверства, и в каждой из них допускалась бо̀льшая или меньшая степень мастерства, в каждой были свои виртуозы. Кто может поверить, чтобы были виртуозы по части устроивания внезапных смертей? виртуозы по части подкидывания мертвых тел? виртуозы по части выдумывания небывалых преступлений? а между тем они существовали достоверно; они пользовались в обществе почетом и преимущественно перед другими избирались членами и старшинами клубов. Кто поверит, например, чтобы в губернии мог занимать видное место и виртуозничать человек, значащийся по всем документам умершим? а между тем этот факт у всех на памяти, да и не одиночный какой-нибудь факт, но повторяющийся в преданиях очень многих местностей с самыми незначительными вариантами. Кто поверит, чтобы могли существовать такие общественные кружки́, в которых похвальбы воровством и казнокрадством служили бы единственным содержанием бесконечных и никогда не надоедающих бесед, а между тем мы все, люди того времени, были свидетелями, с какою бесцеремонностью и с каким бессознательным бесстыдством велись эти растленные разговоры.

— Когда я был командиром...— начинал один.

— Когда я был исправником...— продолжал другой.

— Когда я был судьей...— перебивал третий.

И всякий наперерыв спешил перещеголять своего соседа какою-нибудь матёрою мерзостью, всякий усиливался неопровержимыми фактами доказать, что не кто другой, а именно он есть тот самый злодей и негодяй, которому мало места на каторге!

Казалось бы, что, в виду такого рода громких и ярких фактов, раскрытие их не должно было представлять особенных затруднений, но на практике выходило совершенно наоборот. Во-первых, исследование всегда встречалось в этом случае с тою солидарностью, о которой говорено выше и сквозь которую тем труднее было пробиться, чем большею она обла-

дала бессознательностью. Во-вторых, существовало и еще одно обстоятельство, о котором нелишне будет сказать здесь несколько слов.

Дело в том, что, на случай излишней любознательности со стороны, у наших губернских виртуозов всегда хранились про запас известные фортели, которые хотя и не блистали замысловатостью, но тем не менее достигали цели почти без промаха. Мы и теперь еще можем встретить чуть ли не в каждой губернии не очень-то древних старожилов, которые не прочь порассказать нам множество самых характеристических анекдотов по этой части. Главными и самыми простыми фортелями против излишней любознательности были: наивность, неведение и забвение.

— А подайте-ка сюда дело об обманном сведении отставным маиором Негодяевым рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! — взывал ревизор к оторопевшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно,— ну, теперь-то вы уж не отвертитесь от меня, крысы прожорливые!

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумевали.

— Дело... о сведении... рощи?..— произносила с расстановкою какая-нибудь из крыс побойчее.

— Ну, да̀; дело об обманном сведении маиором Негодяевым рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! — внятно повторял ревизор.

— Дело...— опять шепчет крыса, как будто припоминая. Вся физиономия, весь организм этой крысы дышит таким наивным удивлением, как будто она сейчас только на свет божий произошла, ничего не знает и даже никаких прирожденных идей о «таком обманном отставного маиора Негодяева поступке» не имеет.

— Это точно-с... такое дело было-с! — выручает другая канцелярская крыса,— только оно бывшим копиистом Подгоняйчиковым неизвестно куда утрачено-с!

Ревизор багровел, но сдерживался.

— А сделано ли распоряжение о возобновлении дела? — спрашивал он.

— Как же-с! — бойко отвечала крыса,— над самым этим Подгоняйчиковым и следствие в то же время наряжено-с... об утрате, то есть...

— Ну?

— Только самый этот Подгоняйчиков вскоре после того волею божией по̀мре...

Ревизор багровел пуще прежнего; слышалось легкое скрипение зубами.

— Ну, а подайте мне дело о расхищении тем же маиором Негодяевым принадлежащих приказу общественного призрения сумм! — вопиял он.

Опять шепот, опять недоумение. Вполголоса раздаются восклицания: «Да когда же?» — «Што врать-то? нешто не помнишь?» — «Да вот еще Михал Михалыч спрашивал!» — «Михал Михалыч справку брали!» и проч., и проч.

— Скоро ли? — топал в нетерпении ревизор.

— Такое дело точно было-с, только оно в бывый пожар вместе с прочими сгорело! — отвечала одна из крыс.

И таким образом подвигалась вперед вся ревизия. Одно дело сгорело, другое пропало, третьего, как ни бились, не нашли, четвертое продано в кабак в качестве оберточной бумаги. И если б еще не было сделано никаких по сему предмету распоряжений! о, если б не было! но нет, все распоряжения сделаны: о пропаже в ту же минуту назначено следствие, а о возобновлении дела со всеми концами России производится переписка.

— Странно! — скрипит ревизор зубами,— какие же у вас дела есть?

— А вот-с: дело о бунте Тришки-мордвина против предержащих властей; дело об оскорблении Васькой-чувашенином словом и действием капитан-исправника; дело о пограблении черемисином Алешкою с товарищи медной гривны... ведутся неупустительно-с!

Ревизор углублялся, рассматривал продерзостные действия Алешек и Васек и убеждался, что действия эти преследуются вполне неупустительно, что обложки у дел чистые и нерваные, и описи при делах исправные. А зловредный оный маиор Негодяев, который обманным образом в одну ночь увез на подводах целую рощу, принадлежащую заштатному богословскому монастырю, и несколько лет сряду потихоньку воровал казенные деньги, так-таки и выскользал из-под ревизорского скальпеля!

Но этого мало; устроивались целые пожары на случай ревизорской любознательности, и этот факт был одним из самых оригинальных, хотя и довольно обыденных проявлений нашего чужеядства. У всех на памяти и всем ведомо, как сожигались целые корпуса присутственных мест и приносились в жертву чужеядной мамоне необозримые вороха дел и бумаг,— и никто ни о чем не смел проронить слова! Когда же наезжал ревизор, то все было гладко и чисто, как на ладони. Мало и этого: устранялись даже люди, у которых язык говорлив не в меру. То «угорит» в тюрьме партийка арестантов, в которой не ко времени завелись так называемые «похвальбишки», то не-

взначай помнут бока так называемому «беспокойному», да так помнут, что он долго после того и другу и недругу заказывает: «С сильным не борись!» и вот — кàк ни вертится ревизор, но нигде ничего не усматривает, кроме неукоснительного ведения дел об Алешках-грабителях и Васьках-оскорбителях.

Таково-то было это канцелярско-обывательское чужеядство, с которым мы до сих пор ни под каким видом разминуться не можем.

— И, батюшка! — не в редкость слышать и нынче от обывателей-старожилов,— и языка-то, кажется, недостанет, если порассказать, чтò в прежние годы бывало! Этот самый Негодяев-маиор соберет, бывало, с деревни всех девок и баб, оголит их как есть да и велит мужикам тех баб и девок секчи!

— Чтò ж мужики?

— Чтò мужики! известно, приказ исполняют! Один, было, этакой выискался, сечет это свою бабу да говорит: «Неладно ты, маиор, эко дело затеял!» — «Что!» — взревел на него маиор.— «Ничего, говорит, только неладно ты, маиор, эко дело затеял!» А сам знай бабу сечет да сечет! Только как отняли у него эту бабу — глядь, ан она мертвая! засек, значит!

— Чтò ж дальше?

— А дальше, значит, этого самого мужика в Сибирь за грубость сослали!

Всему этому беспутному, бессознательному и ненужному злодейству, всем этим подвигам тьмы и бессмысленного варварства положило безвозвратный конец 19 февраля. Как бы ни были обширны наши притязания к жизни, мы не можем не удивляться великости этого подвига. Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России — такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный! Но за работой освобождения следует работа организации, и тут-то приходится нам бороться с препятствиями еще более действительными, нежели даже те, с которыми мы боролись во время трудной работы освобождения.

В настоящем случае, то есть относительно реформ последнего десятилетия, чужеядным элементом, тормозящим правильное их развитие, является пресловутое наше крепостничество, одевшееся, в последнее время, в мантию консерватизма.

Совершенно основательно думают те, которые утверждают, что истина в конце концов всегда торжествует и что, в согласность этой аксиоме, несомненно должно восторжествовать и все то, чтò исходит прямым и естественным путем из дела освобождения. Но не надо забывать, что и противная делу

сторона, то есть чужеядство-крепостничество, также не остается в бездействии. Оно не только не умерло, как это многие утверждают, но мало-помалу сбрасывает с себя иго распущенности и начинает уже толковать об организации и дисциплине. Имея это в виду, мы не только не должны, но даже не имеем права впадать в беспечность.

К сожалению, мы видим на практике очень много такого, что̀ прямо свидетельствует о нашей опрометчивости и близорукости в этом смысле. Несмотря на то что чужеядство доказало свой вред путем историческим, несмотря на то что мы сами отлично сознаем этот вред и на каждом шагу, так сказать, осязаем его руками, это явление, как объяснено выше, до того уже примелькалось, что мы считаем невозможным обойти его, не вступив с ним в известного рода сделки, и притом в сделки весьма решительные и нередко компрометирующие самый смысл предпринятого дела.

Задумывая какое-нибудь предприятие, мы на первых же порах только о том и печалимся, как бы пристроить к нему чужеядство. Напрасно и совесть и память шепчут нам, что, идя об руку с чужеядством, мы дошли, наконец, до глухой стены; что благодаря чужеядству гений народный, не развернувшись, уже увядает, как будто, испив до дна чашу рабства, он в то же время оставил в ней и все свои силы. Мы, конечно, не прочь согласиться с этими доводами, но вместе с тем как будто так мало еще отрезвились, что не в состоянии даже представить себе, как может над нами такая беда стрястись, чтоб жить нам по простоте и без вредных примесей. И вот мы ломаем многострадальные головы, каким бы образом так ухитриться, чтобы и чужеядство было не без дела, да и намерениям нашим оно вредило как можно менее...

Результат таких сделок и колебаний очень простой: задача, разрешения которой мы, на первых порах, так ревностно добивались, постепенно утрачивает свою определительность и, делаясь добычей всевозможных посягательств, проникается другим, иногда даже совершенно неожиданным для нас, смыслом.

Чтобы сделать нашу последнюю мысль более ясною, да позволено будет прибегнуть к сравнению. Оставим на минуту провинцию, перенесемся воображением в большие, густо населенные центры, и мы без труда убедимся, что там дело преобразования русской жизни имеет совершенно иной ход, нежели в наших губернских палестинах. Мнение о невозможности одинакового во всех случаях применения того или другого принципа, мнение о том, что понятие о правде есть понятие относительное, что она одна для Ивана и другая для

Петра,— все эти диковинные мнения, столь незыблемо стоящие в провинции, не только не имеют в больших центрах обязательного авторитета, но нередко вызывают даже противоречие. Скажем более: в этих центрах дело овладевает исполнителями даже помимо их воли; если же, за всем тем, и можно указать на примеры уклонения от истинного смысла задачи, то факты такого рода, во всяком случае, не остаются без указания и более или менее правдивого обсуждения. Нередко случается даже так, что исполнитель несомненно чувствует над собой известное тяготение, которое так и нашептывает: да откинь же ты, милый человек, коленце, чтобы ведали добрые люди, каковы таковы в русской земле реформы называются,— но коленце как-то не выкидывается, а ежели и выкидывается, то вяло и восторгов ниоткуда не вызывает. Теперь вернемся назад, в нашу родную провинцию, и первое, что̀ поразит наш умственный взор — это наивная невыработанность понятий о правде и праве. В этом отношении у нас существует такое вавилонское столпотворение, что право и правда подразделяются чуть не на столько отдельных и совершенно друг на друга непохожих видов, сколько существует отдельных субъектов, до которых эти понятия касаться могут. Это словно проклятый какой-то маскарад, в котором право для одних является началом утучняющим, для других — изнуряющим и уничтожающим. И это нимало не бросается в глаза и не оскорбляет ничьего нравственного чувства, потому что провинция до того закалилась в произволе, что тот день считается чуть-чуть не потерянным, который не был свидетелем одного из бесчисленных и диких проявлений его.

Отчего происходит такая разительная разница в степени и способах применения одного и того же начала — понять очень нетрудно. Явление это совершенно удовлетворительно объясняется тем, что в больших центрах чужеядству сравнительно все-таки отведено гораздо менее места, нежели в тех бесчисленных мурьях, в которых оно не только не представляет капли в море, но, скорее, наоборот. Вследствие великого разнообразия жизненных условий, сосредоточения на ограниченном пространстве всевозможных форм человеческой деятельности и легкости обмена мыслей, самый уровень жизни делается выше и в то же время не допускает тех разительных пропусков, какие замечаются нами в провинции. Рядом с правами традиционными возникают права новые, предъявляющие иск о своем признании не перед судом привычки и закоснелого предрассудка, а перед судом разума и общественной совести. Понятно, что в кругу этих новых соперничествующих сил чужеядству не совсем-то ловко расправлять свои крылья во

всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благоприятствовала такому расправлению. Напротив того, провинциальная жизнь сплошь составлена из одних неровностей и пропусков и вследствие того представляет такое множество пустых мест, в которых исстари ничего другого, кроме расправления крыльев, не производилось, что, по самому простому расчету, тут надлежит заботиться не столько об умножении пустых мест, сколько о сокращении их.

Но такова наша несмелость перед примелькавшимися явлениями жизни, что, вместо того чтобы распутывать узел, мы направляем все наши усилия к тому, как бы покрепче затянуть его. Заявляя о своем стремлении к правде общечеловеческой, защищенной от наплыва чужеядных примесей, мы в то же время ставим ее в такие условия, среди которых она не может свободно дышать. Признавши прежние рамки жизни слишком тесными для беспрерывно увеличивающегося содержания ее, мы тем не менее до того неохотно расстаемся с ними, что люди неопытные и в рамках несведущие легко ошибаются и утверждают, что никаких новых рамок нет и не было, а остались прежние, те самые, в которых так удобно было расправлять крылья.

И вот благодаря чужеядству общее дело русской жизни, дело ее преуспеянья и развития, становится делом домашним. Если читатель припомнит действия мировых посредников при самом начале крестьянской реформы и сравнит их с действиями последующими, то он без труда поймет, какая громадная легла тут разница. Эта разница — факт несомненный, засвидетельствованный общим сознанием: но будем ли мы правы, если причину этого факта станем искать безусловно в какой-то мнимой неустойчивости русского человека, в его неумении спокойно начать дело и столь же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположение такого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первых, круг деятельности мировых посредников вовсе не был так обширен и сложен, чтобы от них требовалось какого-то сверхъестественного напряжения умственных сил; во-вторых, дело само по себе так просто, намерения законодателя так ясны, что совсем не нужно быть героем, чтобы выполнить их во всей точности. Везде и всегда исполнителями являются люди, нимало не претендующие на гениальность, но никто этим не смущается, да и дело от того нимало не терпит. Отчего же только у нас, и у нас одних, происходят сии неожиданные превращения? Не оттого ли, что мы великие мастера отыскивать во всяком деле такую мякоть, которая позволяет нам приурочивать это дело для нашего личного, домашнего употребления?

Но ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно возникает вопрос: действительно ли это мастерство столь драгоценно, что необходимо его поощрять и воспитывать?

Та метаморфоза, которая произошла у всех на глазах с учреждением мировых посредников, может легко постигнуть и другие зачатки развития русской жизни. В последнее время провинциал охотно и чаще других слов повторяет прилагательное *вотчинный,* и повторяет его с такою уверенностью, которая невольным образом заставит задуматься. Очень может быть, что это уверенность ни на чем не основанная и преувеличенная и что в будущем она окончится пшиком, но несомненно, что *в настоящем* она наносит делу преуспеяния вред явный и положительный.

Трудно себе представить зрелище более поразительное, нежели зрелище добра, изнемогающего в муках рождения. Правда, как только показала в провинцию лицо свое, так уже, так сказать, распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда дворянская, правда чиновническая, правда мещанская, правда мужицкая. Титулярный советник имеет право на бо́льшую долю в правде против коллежского регистратора, дворянин — на бо́льшую против мещанина и мужика. Злосчастный ремесленник, обозвавший дворянина *гнусным именем* мещанина, оказывается более виновным, нежели дворянин, угрожавший этому ремесленнику палкой... Вот новый фазис, в который вступает деятельность пресловутого чужеядства.

Всюду, куда вы ни обернетесь в провинции, всюду встретитесь с этим въедчивым элементом, который, по-видимому, поставил себе задачею заполонить вселенную. Сильный против бессилия, бессильный против силы, он обделывает свои дела, вопреки истине, вопреки свидетельству здравого смысла. Тщетно собственная выгода подсказывает ему о необходимости уступок и соглашений — он сосет, сосет и сосет, не сознавая, что в то же время высасывает дотла и свои собственные соки...

Удивительно ли, что, чувствуя под собой такое твердое основание, наши исконные губернские историографы не только не ускромняются, но дерзают пуще прежнего? Представьте себе эти две силы: историографство и чужеядство, простирающие друг другу объятия и заключающие твердый и ненарушимый (до первой кости) союз, и спросите себя: что̀ может выйти из этого союза?

В будущем,— конечно, ничего; но кто вознаградит за те ущербы, которые наносятся в настоящем?

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Историки уверяют, что Западная Римская империя пала от изнеженности нравов, а Византийская — от коварства царедворцев, которые ничего будто бы не делали, а только коварствовали. Как бы то ни было, но падению этому, во всяком случае, предшествовал известный внешний факт. Явились с востока гунны, лонгобарды, османлисы и другие человекообразные и сразу доказали то, чего не мог доказать целый ряд Мессалин, Агриппин и не менее замечательный ряд иконописных Никифоров и Евдокий. Не будь этого внешнего факта, очень может статься, что римляне и до сих пор продолжали бы предаваться изнеженности нравов, а византийцы — коварствовать, то есть сплетничать, целовать в плечико и подставлять друг другу ножки.

Мы, провинциалы, историков не имеем, но у нас есть историографы (чином повыше), которые занимаются не столько историей нашего прошлого, сколько предусмотрительными набегами в наше будущее.

Если верить этим глубокомысленным людям, Россия должна погибнуть в самом ближайшем времени, и погибнуть втихомолку, без всякого внешнего натиска, единственно силою собственных пороков. Так что если, например, вы сегодня видите Россию, а завтра на этом самом месте увидите пустое место, то не имеете права даже удивляться этой пропаже, ибо она есть естественное следствие нашей заранее доказанной и предсказанной историографами развращенности.

Само собою разумеется, что, по внутреннему убеждению историографов, главный наш порок — это уничтожение крепостной зависимости; но так как это порок секретный, о котором распространяться не всегда удобно, то найден другой порок, не столь капитальный, но служащий для наших историографских философствований немаловажным подспорьем. Порок этот — пресловутое всероссийское пьянство.

Было время, когда надежды историографов на падение Российской империи покоились преимущественно на грубости нравов. Предполагалось, что, тотчас по освобождении крестьян, русская земля немедленно запустеет, что Ваньки будут сидеть, задравши на стол ноги, и беседовать об изящных искусствах, что Тришки перестанут чистить сапоги и унавоживать поля, что торговля упразднится, потому что не будет разносчиков, и т. д. «Кто будет сеять, жать, варить и печь, кто будет шапки перед нами ломать?» — спрашивали друг друга испуганные историографы, и к чести их должно прибавить, что никому не пришло на мысль сказать: «Мы будем сеять!

мы будем жать!» Однако надежды насчет грубости нравов не выгорели, отчасти, быть может, потому, что тогда еще бодрствовал откуп (все-таки хоть какое-нибудь утешение!), отчасти же потому, что все эти Ваньки и Тришки совсем не так воспитаны, чтобы сидеть задравши на стол ноги и беседовать об изящных искусствах.

Потребовалось другое основание для историографских погибельных предсказаний, а так как жизнь никогда не скупится подачками подобного рода и так как тут же кстати последовало и упразднение откупов, то, на смену грубости нравов, естественным образом явилось пьянство.

И подлинно, вышло нечто весьма подходящее.

В самом деле, представьте себе страну, которой жители поголовно пьяны, в которой господа с утра до ночи пьют мадеру, а рабочий и прочий «подлый» народ сивуху,— какое будущее может ожидать такую страну?

Представьте себе: в этой стране есть правосудие, но оно отправляется в пьяном виде; есть армии, но они защищают отечество в пьяном виде; есть администрация, но она повелевает в пьяном виде; есть, наконец, администрируемые, но они повинуются в пьяном виде... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, как плоская и невероятная шутка, что это нелепо волшебное представление, в котором неожиданности и сверхъестественности превращений дозволено заменить здравый смысл,— да̀, это так, это действительно наглая и смеха достойная шутка; но таков именно фон той картины, которую всласть рисуют перед нами историографы.

Если верить рассказам историографов, в губерниях наших происходят чудеса. Опиваются целые деревни; целые села замерзают в бессознательном положении. Удивительно, как только бог грехам терпит! Стыд забыт, понятие о выкупных платежах упразднилось; мужик бросил семью, перетаскал из дома все до последней бечевки и орет в кабаке дурацкие песни. Пресловутая мужицкая полоса лежит в поле непаханою, и ежели на ней за всем тем растет рожь, то не та тучная рожь, которая одним своим видом свидетельствовала о непреоборимой твердости россиян в бедствиях, а какая-то тощая, беспутная. Место семейных добродетелей заменило кровосмешение, место сыновней почтительности — увечье и убийство. Снохачи открыто пристают к сыновним женам и даже не свидетельствуются при этом историческими примерами; жены, без всякого стыда, понимаются с прохожими молодцами и не приводят в свое оправдание que c'est ainsi que cela se pratique dans le monde[1]. Даже невинное детство — и то не из-

[1] что так принято в обществе.

бегло общей участи распадения; и оно слоняется по улицам, задеря хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проезжающих историографов. Вдали виднеется грозная фигура целовальника, сплошь увешанная синими и зелеными патентами.

— Où allons-nous? Dieu! où allons-nous? [1] — восклицает встревоженный такою картиной историограф.

— А вот выпьем мадеры, так оно виднее будет,— цинически отвечает другой историограф.

— Позвольте! Мы исстари были сильны нашими семейными добродетелями — так или нет?

— Это так. Наши бабушки... кроме как куаферов... ни-ни!

— Позвольте! Il ne s'agit pas de cela [2], речь совсем не о péchés mignons [3] наших бабушек! Я вас спрашиваю, были ли мы сильны нашими семейными добродетелями или нет?

— Что̀ толковать! Уж насчет чего другого...

— Eh bien! je vous le donne en mille... [4] благодаря этой отвратительной сивухе, теперь вы не насчитаете ни одной невинности на квадратную милю! Вы понимаете, куда это нас ведет?

Историографы выпивают по рюмке и впадают в уныние.

— Теперь другой вопрос: не были ли мы сильны своим трудолюбием, не поражали ли наши поля своим плодородием? Eh bien! je vous le certifie: [5] благодаря этой сивухе, мои поля шесть лет сряду лежат пустые, и хоть бы *они* ухом повели!

Выпивают по другой рюмке и снова впадают в уныние.

— Третий вопрос: какое будущее ожидает нашу армию? Могут ли у нас быть надежные солдаты? Спрашиваю я вас: не были ли мы сильны непобедимостью и натиском своих армий? Souvaroff! mais c'est un nom, qui à lui seul vaut bien une épopée! [6] И вот взгляните, благодаря сивухе, *он* уже с пятилетнего возраста начинает постепенно терять свою силу; ноги у него дрожат, грудь делается впалою, глаза меркнут, открытость лица исчезает... Какой может выйти из него фрунтовик? какая может быть в нем непобедимость?

Новая рюмка; новое уныние.

— Еще вопрос: не были ли мы сильны своею субординацией, своею беспрекословною готовностью исполнять приказания старших? Теперь послушайте, что пишут со всех сторон исправники. «Строптивость и грубость нравов,— пишут они,— поддерживаемая и развиваемая употреблением горячих

---

[1] Куда мы идем? Боже! куда мы идем?
[2] Речь идет не об этом.
[3] грешках.
[4] Так вот! держу пари...
[5] Так вот! я вас уверяю...
[6] Суворов! это имя, которое стоит целой эпопеи!

напитков, есть то самое зло, которое в наискорейшем времени российское государство в бездну погибели увлечь может...» Joli? [1]

Еще рюмка; еще уныние.

— Pardon, mais il y a encore une question [2]. Мы исстари были сильны своею торговлею. Наши предки еще с Византией вели торговлю медом, воском, звериными шкурами и щетиною... avec Byzance — vous concevez? [3] Спрашиваю я вас: куда девалось все это баснословное богатство? Где этот мед, этот воск, эта щетина?.. «Стальной щетиною сверкая...» куда все это ушло? Пойдите на нашу базарную площадь — чтò вы увидите? — лапти и веревки, веревки и лапти! Et notez bien [4], что наши предки исстари всегда ходили в сапогах — и вдруг... лапти! Куда же девались эти звериные шкуры, о которых повествуют историки? Куда, как не в кабаки, где они ждут своей очереди, вместе с пудòвками хлеба, дугами, шлеями, новинами и прочим скарбом мужицкого хозяйства!

Рюмка.

— Où allons-nous! [5] Кто будет платить подати? qui suffira aux besoins du budjet? [6] Исправники пишут: «В случае распространения пьянства, в уплате податей большое чувствуется затруднение и даже самый недобор...» Недобор! чувствуете ли, понимаете ли, чем это пахнет!

И так далее, и так далее. Сколько вопросов, столько рюмок, сколько рюмок, столько вопросов. Количество тех и других вполне солидарно и идет рука об руку до тех пор, пока беседующие окончательно не перестают понимать друг друга. Тогда начинается та общая, безобразная ламентация, смысл которой заключается в том, что мы против всего устояли, все победили, но не можем устоять против одного... против сивухи!

Столичный читатель, конечно, волен верить или не верить существованию подобных разговоров, но что они записаны со слов самих их авторов, в том удостоверит всякий сколько-нибудь добросовестный провинциал. Всякому приходилось быть свидетелем и даже участником подобных бесед, и увы! нередко даже случалось находить в них тень человеческого смысла, а не исключительное свидетельство размягчения мозга!

---

[1] Как вам это нравится?
[2] Простите, но есть еще вопрос.
[3] с Византией — вы представляете?
[4] И заметьте...
[5] Куда мы идем!
[6] кто удовлетворит необходимые статьи бюджета?

Да̀; такова эта мадерорастлевающая среда, что человеку, хотя и не зараженному ею вполне, но не искушенному провинциальной опытностью, нелегко бывает совершенно отрешиться от ее воззрений на жизнь. Все эти бонвиваны, напоминающие французский водевиль, переложенный на русские нравы, все эти изнеженные воспитанники Поль де Кока прежде всего бросаются в глаза своим добродушием, за которым довольно трудно бывает распознавать ту жестокую глупость, которая, по пословице, считается хуже воровства. Конечно, бессмыслица ламентаций настолько очевидна, что поводов для действительных сомнений относительно их внутренней стоимости не может даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь массу преувеличений и нелепостей просвечивает и малейшая частица истины.

Куда, в самом деле, делась наша торговля медом, воском, звериными шкурами и щетиной?

Отчего наш мужик ходит в лаптях?

Отчего в деревнях царствует такое сплошное, поголовное невежество?

Отчего мужик почти никогда не ест мяса и даже скоромного масла?

Отчего почти ни один не знает, что̀ такое постель?

Отчего во всех движениях мужика замечается что̀-то фаталистическое, не отмеченное сознанием? Отчего, если он идет вперед, то его как будто гонит какая-то неведомая сила, которую даже анализировать невозможно? Отчего он родится как муха и как муха же мрет?

На все эти вопросы историографы заладили одно: все от нее, все от проклятой сивухи (читай: все вследствие упразднения крепостного права). Некоторые из них в своей наивной ограниченности доходят до того, что в регламентации распивочной продажи водки видят единственный способ выйти из периода лаптей и вступить в период сапогов. О! если б это было так! если б было можно, с помощью одного ограничения числа кабаков, вселить в людей доверие к их судьбе, возвысить их нравственный уровень, сообщить им ту силу и бодрость, которые помогают бороться и преодолевать железные невзгоды жизни! если б можно было доказать людям, что с изменением системы патентного сбора их ждет в перспективе тот отрадный, светящийся пункт, к которому они искони бесплодно стремятся! Ка̀к легка была бы наука человеческого существования! и каких ничтожных усилий стоило бы разом покончить со всем безобразием прошлого, со всеми неудачами настоящего, со всеми сомнительными видами будущего!

Оставим на время в стороне наших нелепых историогра-

фов с их нелепыми воздыханиями и обратимся к тому, что составляет действительную суть дела.

Едва ли, разумеется, нужно доказывать, что не упразднение крепостного права обусловило существование тех вопросов, которые намечены выше. Только очень ограниченные и совсем глупые люди могут утверждать, что наш крестьянин или что мы, русские, вообще представляем в общей человеческой семье такую особенную разновидность, на которую свобода оказывает действие совершенно противоположное, нежели на прочих членов этой семьи. Нет нужды также утверждать, что предположение о пьянстве, как об органическом пороке целого народа, есть предположение глупое, могущее возникнуть только под влиянием паров мадеры. Подобного рода ребяческие клеветы свидетельствуют только о низкой степени умственного развития их слагателей.

Тем не менее невозможно ни на минуту усомниться, что русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего хуже — беден сознанием этой бедности.

Для того чтоб понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо или пройти сквозь них, или, по крайней мере, видеть их лицом к лицу. Бывают очень запутанные нравственные положения, но до постижения их можно дойти и без указаний личного опыта, с помощью одних логических выводов, по той простой причине, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, влиянием времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждого современного человека. Совсем другое дело — смута материальная. Цивилизованному меньшинству она представляется в виде такого исключительного и неразрешимого положения, которое во всем своем объеме может существовать только в сильно настроенном воображении художника.

Мудрено представить себе то убожество, в котором живут массы и которому они, по-видимому, вполне подчинились. Негодование, которое проникает человека при виде явлений легковерия, одичалости и насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. Самое ничтожное обстоятельство, мимо которого мы, люди меньшинства, проходим не только не задумываясь, но просто без всякой мысли, влияет на жизнь бедного труженика до того решительно, что сразу парализирует в нем всякую энергию. Интересы, по-видимому, грошовые,

будучи взяты в своей совокупности, составляют такую сумму, под бременем которой совершенно неприметно погибает член «несуществующего» у нас пролетариата. Да̀, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вовсе вопроса о материальных удобствах; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой бюджет заключается в пятнадцати — двадцати рублях, с трудом выработываемых мотанием бумаги. А пролетариата нет. Правда, что массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но тут, однако, возникает вопрос, что̀ чему предшествует: бесчувственность ли обязательному отсутствию на столе соли или наоборот? Нам, людям, живущим особняком от масс, даже трудно себе представить, до какой наглости может доходить это вечное притязание желудка, из-под гнета которого ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но тем не менее оно не выдумка, а один из тех бесспорных и всем видимых фактов, для подтверждения которых не требуется даже ссылаться на статистические исследования.

Положение человека, фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть, не утонуть в болоте и вообще «не пропасть как собаке», есть одно из тех противоестественных положений, которые настоятельно приковывают к себе внимание мыслящего человека. Это те самые первоначальные нужды, при неудовлетворении которых немыслимо развитие никаких иных нужд. А в развитии этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен, по малой мере, от необходимости исключительно останавливать свое внимание на средствах примириться с желудком, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Сегодня он думает только о хлебе материальном, завтра он уже будет думать о хлебе духовном; но, покуда он не имеет положительных средств обеспечить свободу желудка, он, конечно, не предпримет никаких мер, чтобы обеспечить свободу мысли. Следовательно, несправедливо и едва ли даже возможно ожидать, чтобы бедность духовная была побеждена прежде, нежели будет побеждена бедность материальная.

Конечно, такое предприятие заключает в себе трудности почти непреоборимые. Человек массы мало того что страдает: он, сверх того, имеет самое слабое сознание этого страдания; он смотрит на него как на прирожденный грех, с которым не остается ничего другого делать, как только нести его, на-

сколько хватит сил. Скажите ему, что обязанность не наедаться досыта, обязанность зябнуть, утопать в болотах и не в меру напрягать мышцы — вовсе не есть необходимый удел, что тут нет даже никакого предопределения,— и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лице при таком разъяснении, будет чувство недоумения. Не ясно ли, что, покуда такое недоумение существует, никакие намерения относительно изменения характера его судьбы не могут быть действительны?

— Куда я теперь денусь! куда я денусь! — голосила на днях, при наших глазах, некоторая баба, бегом устремляясь по дороге и размахивая руками.

Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала на мельницу посмотреть, как его раздавило. За нею следом бежала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный был хозяин зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми, и то относительное «благосостояние», в котором находилась эта семья, *в одну минуту* рушилось. Вдова платить подати не могла, и, следовательно, земля от семьи немедленно отбиралась (да она не имела и средств обработывать ее); мир, с своей стороны, несмотря на «раденье» покойника, смотрел на вдовьи слезы тупо.

— Да̀; добышник был, царство небесное! — молвил дядя Миняй.

— К крестьянскому делу радельщик был! — подтвердил дядя Митяй.

И пошли себе дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной жизни, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя и детей, и в конце которой (вот подлинно сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери — название деревенской сахарницы, для нее самой — бесконечное голодное мыкание по белу свету.

Может ли эта баба о чем-нибудь думать? Может ли она что̀-нибудь ощущать, кроме безотчетного, панического ужаса? Нет, она не может ни думать, ни ощущать. Она не имеет времени обсудить свое положение, размыслить о средствах выйти из него; она должна без оговорок принять его, как неизбежное, и прямо вступить в ту колею, которую уже до нее проторили подобные ей бобылки. Она не может даже вдоволь наплакаться над телом своего добышника, да и те немногие слезы, которые она прольет по этому случаю, будут слезы не бескорыстные, но отравленные мыслью: «На кого-то ты меня

покинул? как-то я завтра хлеба добуду себе с детьми малыми?»

Спросите теперь эту самую бабу, что̀ она предполагает с собой делать.

— А что̀ делать? — ответит она,— стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду!..— И в глазах ее не блеснет ни злобы, ни негодования, с языка ее не сорвется ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее беспомощною, а ежели по временам и поглаживают старшего ее сынишку по голове, то непременно с тайной мыслью: «Славный будет солдат!»

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем особенных оснований относиться к толпе с уважением — это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не торопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на явную ее жестокость, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто заманчивое и симпатичное? А вот почему.

Все эти Митяи — народ вовсе не злой и даже внутренно не испорченный; они равнодушно поглядывают на чужое несчастье совсем не по окаменелости сердечной, а просто потому, что и опыт и история доказали им слишком достаточно, что все они равны перед несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет, но даже не останавливает надолго их внимания. Есть ли повод плакаться над чужою бедой, когда завтра та же беда может стрясись над ними самими? Да есть ли еще и время плакать? Да и не стряслась ли уж эта беда? Не вековечная ли она спутница, которой и ждать даже совсем излишне?

Имеем ли и мы, с своей стороны, повод удивляться тому, что толпа до сих пор сумела выработать из себя только слепое орудие, при помощи которого могут свободно проявлять себя в мире всевозможные темные силы? Конечно, мы имели бы этот повод, но в таком лишь случае, если б могли указать на существование каких-либо образовательных элементов, участие которых было бы способно подвинуть толпу на пути самосознания. Но этих элементов история нам не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (как силятся доказать некоторые), то, очевидно, корни их были слишком слабы, чтобы при помощи их можно было устоять даже против простой случайности.

Чем больше представляет известное положение однообразия, чем меньше видится в нем посредствующих исторических построений, которые бы свидетельствовали о постепенном

изменении и расширении форм жизни, тем больше рискуем мы встретить в нем всякого рода трудностей. Если нам даны два крайние полюса, между которыми брошена безграничная гладкая степь, то очевидно, что утомительность пути по этой степи будет совершенно пропорциональна ее наготе. Как ни мало удовлетворяют чувству справедливости некоторые явления и результаты исторической борьбы, но они важны тем, что облегчают работу последующих поколений и выработывают известные средние идеалы, доступ к которым несравненно менее труден, нежели изнурительный бег по необозримому пространству пустыни. Тут всякий шаг вперед приобретает силу аксиомы, в проверке которой, для грядущих поколений, не предстоит уже никакой нужды. В голой степи нет места для подобных аксиом: тут все подлежит проверке, утомительной работе сызнова. Конечно, мы вовсе не хотим этим сказать, что масса, находящаяся в подобном положении, обязана создавать свою историю с начала; но мы будем совершенно правы, утверждая, что для этих масс путь к достижению самосознания представляет бесчисленное множество таких затруднений, которые, при других исторических условиях, были бы даже немыслимы.

Дà; русский мужик беден; но это еще не столько важно, как то, что он не сознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т. д., устранились бы сами собою. Но чтò могло привести его к этому сознанию? Где те средние, доступные его пониманию, идеалы, оперевшись на которые он мог бы помочь себе в трудном странствовании по житейскому морю? Ничто и нигде. Повторяем: он не более как крайний полюс той безграничной голой степи, на которой история не бросила ни одного этапа, ни одного освещающего путь маяка...

Итак, главная и самая существенная причина бедности нашей народной массы заключается, по нашему мнению, в недостатке сознания этой бедности; причина же этого последнего явления, очевидно, скрывается в истории. Те, которые негодуют на нашего крестьянина за то, что он ходит не в сапогах, а в лаптях, за то, что он круглый год довольствуется пустыми щами да черным хлебом, никогда даже не размышляли о том, что развитие материального довольства неминуемо влечет за собою и сознание иных потребностей. Наверное, ежели бы они обсудили этот предмет пристальнее, ежели бы они представили себе картину материального довольства во всей ее полноте, негодование их значительно бы смягчи-

лось. Они поняли бы, что особенной выгоды тут для них нет. Но в том-то и дело, что понятия этих господ до того перепутались, что они даже утратили способность понимать и не могут действовать иначе, как под влиянием тех непосредственных впечатлений, которые испытываются ими в данную минуту. И таким образом близорукость и несообразительность являются невольным коррективом ехидному историографскому злопыхательству.

С этой точки зрения, сетования наших губернских историографов на грубость и бессознательность русского мужика не лишены даже некоторой забавности. «Куда девалась наша торговля?» — спрашиваете вы, милостивые государи; но какое вам дело до нашей низменной мужицкой торговли? кто, кроме древней Византии, мог пострадать от того, что она исчезла? Вы сетуете на то, что мужик не ходит в сапогах? но сообразили ли вы, что субъект, обутый в лаптях, поворачивается всегда проворнее, нежели таковой же, обутый в сапогах? Вы говорите, что мужик невежествен? но подумали ли вы когда-нибудь, что невежественность и невежливость — понятия совсем не однозначащие, что нередко они даже взаимно друг друга исключают? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по крайней мере, хоть сами-то до сознания того, об чем вы сокрушаетесь и на что̀ жалуетесь!

Картина, на которой мы изображаем мужика, конечно, вышла бы во сто крат занимательнее (да и во всех отношениях поучительнее), ежели бы, вместо того чтобы бесплодно обзывать мужика — мужиком, мы дали себе труд добросовестно изобразить наши собственные историографские наезды против этого самого мужика. По крайней мере, мы убедились бы тогда, что следует делать именно совершенно противное тому, что̀ мы делаем, чтобы дать русскому крестьянину возможность без напряжения перейти из периода лаптей в период сапогов...

Итак, оказывается, что, несмотря на вековечное существование, масса успела воспитать в себе только раболепное тяготение к силе да еще бессознательно равнодушное отношение не только к общим интересам, но даже и к тем, которые ближайшим образом затрогивают ее собственную жизнь. Кто более всего должен страдать от такого положения? чьим интересам оно должно наносить ущерб наиболее чувствительный? Очевидно, что, при отсутствии сознания в самых массах, наибольшая доля ущерба должна пасть на того, кто наименее свободен от понимания тех последствий, которые влечет за собою предоставляемый силе безусловный разгул. Как бы отрешенно мы ни жили от жизни масс, уровень этой последней слишком

решительно воздействует на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждом шагу. Мы не можем считать себя водворенными в мире законности, пока представление о законности не имеет в понятиях масс никакого определенного смысла. Мы не имеем основания считать себя обеспеченными от неожиданностей, покуда эти неожиданности будут иметь в массах свои добровольные и всегда готовые к услугам орудия. Что̀ можем мы сделать с нашим бедным одиночным сознанием, когда вокруг нас кишит ликующая бессознательность? На что̀ нам оно нужно, кроме того, чтобы во всей полноте дать почувствовать всю горечь на́шего одиночества?

Выше мы сказали, что все эти дяди Митяи, которыми кишат наши палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народ, как это кажется с первого взгляда. Это первый повод, сообщающий нашим отношениям к толпе характер симпатичности. В самом деле, нельзя же выступать с обвинением против того, что не имеет никаких признаков вменяемости, а в этом смысле бессознательность, конечно, принадлежит к таким явлениям, относительно которых гораздо приличнее сожаление, нежели укор. Но есть еще и другой повод для симпатичности отношений к толпе — он заключается в тех внутренных нитях, которые от самого рождения связывают нас с массами и которые проходят потом неизменно чрез все наше существование.

Нет никакого сомнения, что известные движения толпы могут поселять в нас чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая вполне свое право на это негодование, мы все-таки не можем скрыть от себя, что не в другом чем-нибудь, а именно в ней, в этой бессознательной толпе, заключается единственное основание нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что без нее (без толпы), без ее участия и внимания мы хуже чем слабы — до нас никому нет и не может быть никакого дела. В этой зависимости от толпы, конечно, мало привлекательного (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?); но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет никакой возможности. Есть что̀-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно той забитой, маломысленной и подчас жестокой толпе, что самый великий мыслитель, которого мысль, по-видимому, не может иметь ничего общего с мыслью толпы, именно ей отдает лучшую часть своей деятельности. Да̀, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положе-

ние, которое не хотят или не могут объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая именно и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу. Это вовсе не значит, чтоб эти люди идентифировались толпе, чтоб они принимали ее инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе, как о конечной цели всякого полезного человеческого действия, сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б исключительно вращалась в сфере отвлеченностей. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет, ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашим развитием, покуда все, что̀ нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного благосостояния. Человек нуждается в обществе себе подобных совсем не по капризу, а потому, что природа его, по преимуществу, общительная. Следовательно, стоя на недосягаемой высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он, конечно, загрубел бы в своем уединении, если б, к счастию, толпа сама, на каждом шагу, не напоминала ему о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того одиночества, на которое он нерасчетливо себя обрек.

Таким образом, как бы подчас ни казалась горька наша зависимость от толпы, мы все-таки едва ли отважимся обвинить ее в том, в чем она совершенно неповинна. Вся наша умственная деятельность в этом случае должна быть обращена не к обвинениям, а исключительно к тому, чтобы отыскать для масс выход из той глубокой бессознательности, которая равно вредна для них, как и для нас. Какие существуют средства, чтобы отыскать и указать такой выход,— об этом мы покуда распространяться не будем и даже думаем, что средства те откроются сами собой всякому человеку, взирающему на народ не с высоты бессмысленного величия. Но не можем умолчать здесь о том основании всех средств, которое, по нашему мнению, само по себе уже может оказать весьма важное воспитательное действие. Мы говорим о сближении с народом,

или, иными словами, о симпатическом отношении к тем разнородным и бесчисленным убожествам, которые оцепляют его жизнь.

Много было у нас писано и толковано о так называемом сближении с народом, и в конце концов мы пришли только к необходимости подвергнуть осмеянию все попытки, которые делались в этом смысле в тех или других пунктах наших обширных палестин. И в самом деле, поводов для смеха было достаточно. Везде, на первом плане, была какая-то меньшая братия, которую мы, с самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредством сидения на одинаковых с нами креслах и сотрапезования на одинаковых с нами тарелках. Как мы ни стары, как ни велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кроме тарелок и стульев, не додумались. В равенстве тарелок мы уже видели какое-то начало, уравнивающее людей, а в равенстве объедения усматривали какую-то эмблему, существование которой давало нам повод надолго успокоиться от дальнейших попыток в этом роде.

Нигде, ни в одной из этих бесчисленных попыток, член народной массы не являлся не в качестве меньшей братии, а просто в качестве человека.

Всем нам памятны эти полуребяческие торжества, в которых преимущественно выражалось наше так называемое сближение с народом; все мы твердо знаем, сколько было тут высказано чувствительных и, пожалуй, даже искренних слов, сколько было приедено прекраснейшей провизии и выпито вина, вина, вина... И все мы никакого другого чувства из этих торжеств не вынесли, кроме самого тяжелого. Отчего?

А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очень хорошо понимали и теперь понимаем, что тут в самом благоприятном случае не присутствовало ничего другого, исключая минутного нервного раздражения. Это была поэзия, это было мгновенно разыгравшееся вдохновение, влиянию которого так охотно поддается русский человек и которое так же быстро и так же беспричинно потухало, как и возбуждалось. Все эти вольные художники, раскаленные любовью к народу, утихали и успокоивались немедленно, как только убирали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшие при речах, которые впору произнести иному влюбленному, не успевали опомниться, как уже повсюду усматривали одни объедки. Омужиченные благородные ораторы удалялись предаваться новым вдохновениям; облагороженные мужики уходили восвояси, мечтая о том, какого нового пришибания следует ожидать от разыгравшихся ораторов. Это было общее поголовное упоение звуками

своего собственного голоса, это было торжество того неприличного явления, в силу которого Хлестаков мог в одно и то же время и понимать, что он говорит небывальщину, и искренно верить этой небывальщине. Ясно, что попытки такого рода не могли даже претендовать на название серьезных.

Но, за всем тем, даже и они не остались бесследными, даже равенство тарелочное не вполне оказалось бесплодным. Везде, где прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человеческая совесть уже заручилась каким-то воспоминанием, каким-то смутным вожделением. Как ни мало обязывает сидение за одним столом и еда вилками, сделанными из одинакового металла, но и они к чему-то обязывают, хоть к тому, например, что нельзя развязно бить по лицу и обзывать курицыным сыном того самого субъекта, который не дальше как вчера был нашим сотрапезником и собутыльником. С этой точки зрения всякая новая формальность, становящаяся между мужиком и членом цивилизованного меньшинства, есть уже формальность не бесполезная, а могущая служить отправным пунктом для многих других, тоже небесполезных, формальностей.

Тем несомненнее должны быть следы, которые имеет оставить по себе то серьезное сближение, где народ является не в качестве меньшей братии, наряженной и приглаженной по-праздничному, а в качестве собрания людей, выросших в меру взрослого человека. Сближение такого рода не имеет в себе ничего фантастического; это не славянофильское любование какими-то таинственными и всегда запечатленными клеймом бессознательности задачами, которые суждено, будто бы в ущерб себе и вопреки здравому смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предрассудкам, жестокости и дикости, потому только, что они родились в народе; нет, это просто изучение народных нужд и представлений, сложившихся более или менее своеобразно, но все-таки принадлежащих несомненно взрослому человеку.

Чтобы понять, что̀ именно нужно народу, чего ему недостает, необходимо поставить себя на его точку зрения, а для этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь из читающих эти строки случалось быть в положении человека, пораженного большим несчастием, понесшего тяжкую для сердца утрату, то он, без сомнения, помнит, как тягостны и даже противны казались те бесплодные утешения, те бессодержательные соболезнования, которые сыпались на него по этому случаю со всех сторон, и как драгоценны были те немногие попытки, которые уясняли ему его положение и указывали практический выход из него. Толпа народная нахо-

дится именно в положении этого глубоко огорченного человека, которому в равной степени противны и бессознательные сетования, и пошлые, всегда лицемерные, заигрывания насчет претерпеваемых им утрат...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

У нас до сих пор не возникал еще вопрос о том, может ли и в какой мере провинция заявлять претензию на самостоятельность. Чувствуется ли, например, потребность в местных органах печати? возможно ли в провинции самостоятельное общественное мнение? настолько ли действительны и живы местные интересы, чтобы ради них лучшие силы губернской интеллигенции имели повод задерживаться в провинции, а не устремляться вон из нее, чтобы отыскивать для себя поприще более обширное и деятельное?

Должно сознаться, что даже и в настоящее время, когда уже начинает мало-помалу сказываться связь между центром и окружностью, столичное общественное мнение все еще смотрит на провинцию как на какой-то придаток, существующий не ради себя самого, а для удовлетворения иным, иногда даже весьма не близким целям.

Так называемая мысль провинции, ее желания, инстинкты предполагаются до такой степени общеизвестными, что никому даже в голову не приходит проверить, в самом ли деле эта общеизвестность такова, как предполагается. Нет ли тут какой-нибудь игры слов? Не следует ли вместо выражения «общеизвестность» употребить более подходящее «обязательность»?

Что такое отношение столичного общественного мнения к провинции существует — это доказывается уже тем, что даже в таких случаях, когда первое почему-нибудь считает нелишним, чтобы провинция подала свой голос в известном вопросе, то оно ожидает от этого голоса не проверки, а только подтверждения. И факты никогда не обманывали подобных ожиданий; напротив того, они постоянно и упорно подтверждали, что столичное мнение имеет полное право называть провинциальную мысль и общеизвестною и обязательною.

Испытайте мысль любого из столичных бюрократов о провинции, очистите эту мысль от тех оговорок, которыми она почти всегда затемняется, и вы, наверное, прочтете так: провинция есть среда, в которой собираются подати и налоги, необходимые для безостановочного действия центров. Испытайте мысль об этом же предмете любого члена нашей празд-

ношатающейся интеллигенции, и вы прочтете так: провинция есть то злачное место, из которого извлекаются материальные средства, необходимые для удобного существования в столице. Спросите, наконец, любого из историографов, преждевременно одряхлевших от волнений, испытанных в столичных танцклассах, и в настоящую минуту делающих наезды на наши провинциальные палестины,— спросите их, зачем они приволокли сюда свою дряблость и истасканность? — и вы, наверное, услышите ответ: надо же наконец отдохнуть! Даже купцы, в руках которых скапливалось в былое время большинство местных капиталов и которые всегда охотно сживались с родными гнездами, нынче, благодаря торговому космополитизму, вводимому железными дорогами, совсем растерялись и не знают, куда обратить деятельность, для которой провинция уже не представляет выгодного поприща. Правда, остается мужик, который по-прежнему сидит крепко на месте; но что̀ же такое мужик, как не тягловая единица, которая постоянно производит и у которой постоянно же производимое более или менее проходит между пальцев?

Все чувствующее в себе силу неудержимо стремится вон из провинции. Сами провинциальные обыватели, по-видимому, совершенно искренно убеждены, что провинция не что̀ иное, как придаток, и что это самое приличное для нее положение. «У нас просто, у нас без хитрости, у нас всякой борзой собаке место найдется»,— скажут вам одни, и вы почувствуете, что это слова не бросовые, что они произносятся даже не с ожесточением, а с добродушнейшею искренностью. «У нас скука! у нас от нее одной не поглупеть невозможно!» — скажут другие; но и в этих словах вы не почувствуете ни озлобления, ни ропота, а разве какую-то робкую, почти неуместную иронию. «Ничего у нас не поделаешь, да и делать, признаться, нечего»,— присовокупляют третьи и, ежели угодно, даже докажут фактически, что делать действительно нечего. И наконец: «У нас без того, чтобы не пить, нельзя...»

Несколько раз в течение настоящих писем была выражена мысль, что современная провинция уже не представляет собою того дремучего леса, каким она была в прежнее и даже весьма недавнее время. По-видимому, мысль эта противоречит мнению, высказанному выше; но это противоречие только кажущееся. Нет спора, внешние формы провинциального быта улучшились, даже внутреннее его содержание значительно видоизменилось; но никто не скажет, что это улучшение и изменение выработалось провинцией самостоятельно, чтоб оно не было наслано на нее извне в такую минуту, когда она меньше всего о том помышляла.

Жизнь обновилась, но по поводу этого обновления провинция не выказала ни малейшей инициативы. Мало того: это обновление потребовалось в нее *вводить* точно таким же порядком, как вводится, например, шестипольное хозяйство вместо трехпольного. Разделят каждое поле надвое и начнут пахать, боронить и сеять по-новому. Земля непосредственно не возражает против нововведений, но и не содействует им; то есть, коли хотите, и у нее есть способ откликаться на нововведения земледельца посредством урожаев или неурожаев, но это способ чисто страдательный, свойственный ее неорганической природе. То же самое можно сказать и относительно провинции, с тою только разницей, что тут не может быть речи об урожаях или неурожаях.

Мы живо помним конец пятидесятых и начало шестидесятых годов; в то время столичное общественное мнение кипело и волновалось так называемыми вопросами, кипела и волновалась ими и провинция. Но и в этом, по-видимому, искреннем кипении она на каждом шагу путалась в противоречиях; с одной стороны, преувеличивала, с другой — пасовала; но ни в том, ни в другом случае не сумела выказать одного: самостоятельной творческой способности. Провинциальный нерв напрягался и ослабевал, повинуясь какой-то случайности, так что со стороны можно было заподозрить, нет ли тут какого-нибудь начальственного предписания. Но предписания никакого не было, а было одно: отсутствие сознательности. Замутилось столичное общественное мнение — замутилась за ним и провинция. Не потому замутилась, чтобы дошла до сознания, что кипеть довольно, а просто замутилась — да и все тут. И даже не постепенно произошла в ней эта перемена, а вдруг; вчерашние рьяные либералы проснулись либералами стыдливыми и не могли ни другим, ни себе дать отчета, почему это так сделалось.

Все это факты, совершившиеся на наших глазах. Высказала ли провинция по поводу их свое слово? выразила ли она хоть чем-нибудь, что ее мнение не есть то заранее известное и обязательное мнение, узнавать о котором было бы совершенно лишнею формальностью, ведущею только к проволочке времени?

Нет; не высказала и не выразила ничего, потому что нет у нее главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин,— нет самосознания, а следовательно, нет и слова для выражения его. Конечно, и в провинции вы можете встретить — и даже нередко — людей несомненно талантливых и даже энергических; но самая характеристическая черта этих талантливостей заключается в том,

что они постоянно как будто торопятся и постоянно же чего-то ожидают. Знаете ли, что̀ собственно составляет предмет этих тревожных ожиданий? Увы! Это не более и не менее, как приезд сановника, флигель-адьютанта или вообще лица, власть имеющего. И совсем не потому, чтобы лицезрение сих особ заключало в себе нечто необычайно лестное для дальновидного провинциала, а просто потому, что в каждой «особе» талантливость усматривает орудие, которое может извлечь ее из неизвестности, то есть опять-таки вывезти из провинции. «Вот,— думает талантливость,— приедет W; сейчас я его пленяю и приятно изумляю; он меня, я его, и...» И уже видит себя окруженною некоторым бюрократическим ореолом и вносящею так называемую новую струю в разнообразный департаментский сор, веками накопленный в столицах.

Таковы тайные стремления так называемых провинциальных талантливостей. И наяву и во сне они видят одно: как бы развязаться с провинцией. Им не улыбается мысль, что лучше быть первым в деревне, нежели вторым в Риме; им не приходит в голову даже то совершенно естественное предположение, что, сделавшись участником столичного движения, они не только не внесут никакой новой струи, но сами утонут в департаментском соре. Нет, они фаталистически и без всяких соображений влекутся вон из провинции, все интересы которой кажутся им и ограниченными и пошлыми.

Примеры подобных неудержимых стремлений истинно поразительны; укажем здесь на один из них. Известно, что нигде так не распространен класс так называемых самоучек, как в провинции. Эти люди все свои способности употребляют или на то, чтобы изобретать изобретенное, или на то, чтобы разрешать неразрешимое. Очень может статься, что это личности в своем роде весьма способные, но не подлежит спору, что в то же время нет на свете породы людей более бесполезной и более бросающейся в глаза своею неразвитостью. И что ж? попробуйте испытать сокровенную мысль одного из этих решителей неразрешимого, и вы, наверное, прочтете ее так: «А вот погоди! ужо̀, как открою квадратуру круга, в ту ж минуту махну в Петербург!» Вот видите ли, даже эти недоразвившиеся организмы находят для себя провинцию слишком тесною; даже они, почувствовав смутные признаки умственного вожделения, уже ищут для него поприща более свободного и просторного!

Но ежели провинциальная жизнь представляет так мало интересов, что лучшие силы провинции не имеют повода задерживаться в ней; ежели провинция постоянно много дает и постоянно же мало получает в возврат, то весьма естественно

возникает вопрос: до каких пор может продолжаться подобный несоразмерный обмен услуг и не должна ли эта явная несоразмерность привести к постепенному обеднению и даже разорению той стороны, которая, по обстоятельствам, поставлена в более невыгодное положение? Что это вопрос действительный, а не призрак, вызванный взволнованным воображением,— в этом легко убедится всякий, у кого есть глаза для сравнений и здравый смысл для выводов.

Всякий земледелец, даже рутинер, нынче хорошо понимает, что, как бы ни были богаты производительные силы земли, она постепенно беднеет и даже совсем перестает производить, если относительно ее принята система все брать и ничего не возвращать. Всякий не совсем безумный помещик доброго старого времени, желая извлекать выгоду из своего дворового человека, никогда не упускал из вида, что достигнуть этой выгоды нельзя иначе, как предварительно вооружив этого дворового средствами для добывания нужного оброка. С этою целью дворовых людей с малолетства обучали мастерствам, убогих же и калек, по малой мере, снабжали сумою. Но и тут нередко оказывалось, что человеческая кожа не без конца растяжима и что человеческие мышцы не могут безгранично напрягаться. Кажется, этих двух простых примеров весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще в целой природе нет и не может быть такой благодатной сокровищницы, из которой можно было бы черпать и только черпать.

Тем не менее нас не вразумляют ни свидетельства опыта, ни подсказывания здравого смысла. Мы ухитряемся воссоздать для себя мифологический образ древней фортуны, слепой и неразумной, но в то же время никогда не истощающейся. Эта фортуна — провинция; она и слепа, и бессильна, и скудна начинаниями, но, о чудо! кошель ее действительно как будто не опорожнивается, несмотря на то что усилия, делаемые в видах этого опорожнения, не подлежат никакому сомнению.

Каким образом происходит, что бесплодие производит плоды, а бессилие дает силу — это объяснить довольно трудно. Впрочем, едва ли кто-нибудь и старается выяснить себе эту странную аномалию, ибо тут, по-видимому, важен только непосредственный практический результат. Что провинция слепа — это даже хорошо, потому что если бы на свете всё были люди зрячие, они, пожалуй, и на солнце не замедлили бы усмотреть пятна; что провинция нехитра на выдумки — и это недурно, потому что все наше несчастие именно в том и состоит, что мы желаем быть умнее умных. Сущность не в

том, чтобы провинция представляла собой бодрую производительную силу, а в том, чтобы так или иначе из нее лезло на украшение и вящую утеху центров. И лезет.

Когда случается завести в этом смысле разговор с нашими провинциальными историографами, то они обыкновенно только таращат глаза. В этих простых соображениях все кажется им диким, непривычным, почти карбонарским. Они положительно думают, что производительность и распорядительность — два выражения однозначащие и легко заменяющие одно другое и что ежели первая прекращается или оскудевает, то не потому, что всякому напряжению имеются известные пределы, а просто по какому-то упорству со стороны производителей — упорству, против которого имеется под руками вернейшее средство, а именно та самая пресловутая распорядительность, которая, по их мнению, может заменить все.

С помощью этого бессмысленного выражения да еще с помощью благоразумной строгости (тоже выражение не очень богатое смыслом) эти несчастные надеются всего достигнуть: и проблесков народного гения, и разумного распоряжения силами природы, и рек, текущих млеком и медом. По мнению их, стоит человека высечь, чтобы из него полезло всякое изобилие плодов земных; стоит продать у человека корову или лошадь, чтобы у него сейчас же на место проданных явились две коровы и две лошади.

— Je voudrais bien voir! [1] — гремит один.

— Явится все-с: и хлеб-с, и деньги! — повествует другой.

— Как примутся, знаете, за них вплотную... запоют-с! откуда что̀ возьмется! — угрожает третий.

Напрасно вы будете доказывать, что пение, как результат распорядительности, ровно ничего не значит, что в этом случае выражение «откуда что̀ возьмется», хотя и оправдываемое кажущимся успехом, все-таки не более как мираж, которому доверяться опасно,— историографы будут в ответ на ваши доводы только больше и больше сверкать глазами и издавать неясные звуки. Это сверкание глаз, это вращание зрачками, эти звуки... все это, вместе взятое, составляет такое зрелище, которое почти невозможно изобразить.

Таким образом, непредусмотрительность, с одной стороны, и молчание, с другой, производят то кажущееся отсутствие затруднений, которое вводит в обман. В самом деле, покуда будет возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядительность, до тех пор, конечно, никто не имеет права предъявлять никаких претензий ни на дальновидность, ни на

[1] Хотел бы я посмотреть!

сообразительность, ни на глубокомыслие со стороны историографов. Они не видят — это правда; они не размышляют — и это опять правда; но они имеют полное основание не видеть и не размышлять — ведь и это не парадокс, а истинная истина. Если невиннейшая из девиц может дать только то, что имеет, то тем более должно быть применимо это правило к историографам, которые уж совсем ничего не могут дать, потому что ровно ничего не имеют. Историограф — человек ближайших и непосредственных средств; он не рассуждает, не заглядывает вдаль, не путается в мыслях, а просто махает жердью направо и налево. И когда жердь ушибает, он не догадывается, что сделал одно из тех глупых дел, из которых даже для него лично ничего, кроме вреда, не выйдет, а просто упивается своим торжеством и, самодовольно восклицая: «Га! опомнились!» — ставит до времени победоносную жердь в угол.

Тем не менее постепенное отощание провинции уже начинает сказываться во всем. Чувствуется, что провинция как будто перестает жить, что она расплачивается не доходами, а капиталом. Повсюдная дороговизна свидетельствует, что даже выражение «откуда что̀ возьмется» скоро сделается преданием, сохранившим свой авторитет разве только в глазах становых приставов и исправников; всеобщее равнодушие, апатия, лень доказывают, что та же самая участь постигнет, ежели уже не постигла, плоды умственные. «Нет деятелей, нет денег, некуда идти!» — жалуются люди, стоящие у самого источника провинциальной производительности, как материальной, так и умственной. Оказывается, стало быть, что безмолвие и отсутствие инициативы вовсе не такое драгоценное явление, как можно было ожидать. Каждый провинциал чувствует, что в его существование закралась небывалая доселе тяжесть; каждый видит себя опутанным какими-то сетями, которых он ни распутать, ни разорвать не может. Куда бы он ни ступил, везде его нечто гнетет и гложет; и в то же время все — даже это гнетущее — так ему постыло, так противно, так само по себе ничтожно, что ни на что̀ бы он не смотрел, ни к чему бы не прикоснулся.

И вот поднимаются сетования и припоминания; пускают в ход обращения к прошлым, вечно памятным блистательным дням... назад! назад!

В провинции не в редкость и теперь встретить апологистов доброго старого времени. Огромное большинство подобных апологистов, конечно, представляет собой ходячие ветряные мельницы, которые мелют всякий вздор, какой случайно попадет на язык; но есть и такие, у которых по временам проры-

ваются некоторые признаки мысли. Как и следует ожидать, апологисты эти вертятся исключительно около крепостного права, этого единственного явления нашего прошлого, которое представляло собой нечто сложившееся и окрепшее. По мнению апологистов, крепостное право, хотя и не в полной мере, но все-таки до известной степени прикрывало жизнь от наездов, случайностей и сюрпризов.

— Прежде,— говорят апологисты крепостного права,— каждый, по крайней мере, знал, где он находится; каждый имел возможность определить те границы, в которых его не мог настигнуть сюрприз. Оттого жизнь держалась тверже, и нельзя было не считаться с нею; в провинцию не наезжали канканирующие сорванцы, которые даже и до того не могут додуматься, что человеческая деятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бывали, конечно, и прежде люди нестерпимые — и даже, пожалуй, они составляли большинство,— но они все-таки знали, чего хотели; да и других в заблуждение не вводили. Теперь же, куда ни взглянешь, кажется, и свободнее, и легче дышать стало, а не дышится, да и все тут! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь оголилась, что со всех сторон ее так и заносит всякого рода неожиданностями.

В этом рассуждении есть громадная и глубокая неправда, о которой будет сказано ниже; но с точки зрения непосредственных результатов в нем все-таки слышится какое-то подобие истины. Как ни ужасно представить себе жизнь, стоящую под защитой крепостного права, но еще невыносимее, еще больнее сознавать полное оголение жизни. В самом деле, куда ни обратите взоры, везде вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла из старой колеи, а новой колеи не находит; везде увидите людей, изнемогающих под игом неизвестности, ищущих к чему-нибудь приурочиться и не находящих убежища. Это до такой степени верно, что даже те, которым именно следовало бы дышать легче, и те пришли к недоумению: отчего в самом деле не дышится легче? Не редкость даже встречать бывших крепостных людей, которые со вздохом вспоминают о крепостном праве. Ужели же они защищают его? ужели они желали бы возвратиться к нему? Конечно, нет, но так как обращения к воспоминаниям прошлого не выдумка, то поневоле приходит на мысль, что эти обращения, эти вздохи вызываются совсем не прелестями упраздненного, а наготою настоящего. Не могила крепостного права привлекает к себе, а представление о том цвете, который имел возрасти на этой могиле. Очевидно, что упразднение есть только односторонняя форма человеческой деятельности;

очевидно, что она составляет лишь отрицание, которое, конечно, может на время увлечь кажущимися перспективами, но которое, при продолжительном действии, производит одно недоумение. Никто, конечно, не станет защищать финансиста, который, вместо того чтобы отыскивать новые источники государственных доходов и заботиться о сокращении государственных расходов, предложил бы удовлетворять нужды бюджета посредством бесконечных займов, но с русскою провинциальною жизнью именно происходит нечто в этом роде. Она ничего нового не выработывает, ничего старого не сокращает (да и сократить-то, кажется, нечего), а живет какими-то займами, настолько темными, что никто не может даже достоверно указать на их источник.

Таким образом, с одной стороны, освобождение жизни от пут, ее связывающих, с другой, вместо ожидаемых благотворных результатов, несомненное оскудение жизни — вот печальная истина современного провинциального быта.

Откуда же происходит эта неприкрытость жизни? Где искать причину повального бессилия, которое заставляет человека останавливаться на половине дороги, задерживает его в подробностях и мелочах и не допускает до обобщений и выводов?

Вот тут-то именно мы и встречаемся с тою вопиющею неправдой, о которой вскользь упомянуто выше и которую апологисты крепостного права считают за лучшее скрыть.

Дело в том, что хотя крепостное право и давало жизни известное прикрытие, но прикрытие это было только мнимое. В сущности, оно не только ничего не защищало, но, напротив того, систематически и на неопределенное время подрывало у жизни всякую возможность выработать себе какое-нибудь прикрытие в будущем. Случайность и неожиданность, лежащие в его основе, служили защитой только тому, что̀ само по себе было растлевающим началом жизни, тому, от чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно, если б горький фатализм не связывал здесь две противоположные крайности: упорный труд и не менее упорное безделье, и не ставил первый в зависимость от второго. Такого рода защита, пожалуй, и теперь есть — стоит только взглянуть на сытые и довольные лица губернских историографов, чтоб убедиться в этом,— но результаты, к которым она приходит, стали до такой степени ясны, что никому даже в голову не приходит назвать их результатами. И прежде, как и ныне, произвол никого не воспитывал, ничего положительного, доброго и плодотворного не достигал; и прежде, как и нынче, он был только парадным пугалом, за которым таился прах. И вот те бросовые, разма-

леванные стенки, которые казались нам несокрушимыми укреплениями, разлетелись при первом дуновении ветра и сразу обнаружили изумленному миру скрывавшееся за ними умственное и материальное убожество...

Есть ли же после этого повод утверждать, что крепостное право что̀-то прикрывало, что̀-то ограждало? Нет, этого повода нет, и жизнь того времени была еще менее прикрыта, нежели нынешняя, только это не замечалось теми, которые, по своему положению, одни и могли что̀-нибудь замечать. Искусственные связи, которыми мы с такими неслыханными усилиями старались сплотить наши разлезающиеся во все стороны немощи, хотя и могли временно ввести в заблуждение неопытных, но действительной связи никогда не представляли. Не говоря уже о том, что в этом случае именем «связей» прикрывался простой гнет, который убивал в самом зародыше всякий проблеск народной самодеятельности, эти так называемые связи все общество делили на две половины, которые равно друг друга чуждались, а может быть, даже и равно друг друга ненавидели. Можно ли же назвать прикрытою такую жизнь, в которой каждая составная часть идет врозь, в которой нет ни силы, ни почина, ни поводов для энергии, в которой все, что̀ ни делается, делается безучастно, апатически, почти с ненавистью?

Нет, не в упразднении крепостного права следует искать причину современного оголения нашей провинциальной жизни, а в чем-то другом, и это другое едва ли не в том состоит, что мы выражению «крепостное право» придаем слишком тесный и специальный смысл.

Крепостное право не в том только заключается, что тут с одной стороны — господа, а с другой — рабы. Это только внешняя и притом самая простая форма, в которой выражается крепостничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегает в нравы, когда оно поражает умы, и вот в этом-то смысле все, что носит на себе печать произвола, все, что не мешает проявлениям его дикости, может быть столь же безошибочно названо тем именем, в силу которого какой-нибудь Ивашка или Семка, ложась на ночь спать, не знали, чем они завтра станут: ключниками ли, хранителями господского добра или свинопасами.

Ответим себе хоть раз откровенно: знаем ли мы, бедные, неприкровенные провинциалы, чем встанем завтра с постелей наших? Знаем ли мы, что̀ мы делаем и для чего делаем? Уверены ли мы, что наше разумное действие даст и результат разумный, что действие неразумное и последствия будет иметь соответствующие? Ответим на эти вопросы и тогда уже спро-

сим себя: ужели мы не погрязли по горло в том самом крепостном праве, которое делало так нестерпимым по своей безалаберной шаткости положение всевозможных Ивашек и Семок?

Порок так называемого крепостного права не в том одном состоит, что оно допускает явно безнравственные отношения между людьми, а в том, что при существовании его невозможен успех, невозможна жизнь. В каких бы видах, под какими бы наименованиями ни проникало в жизнь это разлагающее начало, оно настигнет свою жертву и доконает ее во что̀ бы то ни стало. Как хотите хитрите, придумывайте какие угодно извороты, но когда источник иссякнет, то воды не будет — это несомненно. Напрасно мы будем классифицировать наши пороки, напрасно будем отделять их перегородками и отыскивать для каждого свое место — нет, это все дети одного и того же отца, и имя им всем: крепостное право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышит, буйствует и живет между нами.

Нам тяжело жить — это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим,— и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они *мало изменились к лучшему.* Отцам нашим много помогало в жизни бессознательное отношение к ней; мы же хотя и не вышли совершенно из положения бессознательности, но все-таки несколько порастлились. Это делает наши горести еще более чувствительными, и хотя средств, чтобы выйти из произвола, мы еще не измыслили, но чувствуем, очень чувствуем, что не розами около нас пахнет.

Какое заключение можно вывести из всего сказанного выше? Какое будущее ожидает провинцию, ежели материальные и умственные ее силы будут по-прежнему устремляться к центрам? и возможно ли придумать такую комбинацию, которая остановила бы это стремление и задержала в провинции то, что̀ необходимо для успехов ее развития?

Нет никакого сомнения, что ежели положение вещей в провинции останется в том же виде, в каком оно находится ныне, ежели всякая попытка внести в местную деятельность смысл будет и впредь приниматься нашими историографами за попытку подорвать общественные основы, то провинция в конце концов заглохнет и порастет репейником. Повторяем: несогласно с законами здравого рассудка: брать, брать и брать, и никогда ничего не возвращать. Несогласно с справедливостью называть взаимным обменом услуг такой обмен, когда одна сторона все получает, а другая все отдает, а ежели и получает, то в виде какого-нибудь канканирующего историографа, то есть опять-таки получает убыток и огорчение, а не

прибыль и утеху. Но какого же рода услугу могут оказать в этом случае центры своим окраинам, чтоб оживить их?

На первый раз, по моему мнению, совершенно достаточно будет, если услуга эта выразится в четырех словах: не мешать жить провинции...

Позволительно думать, что требование это не заключает в себе никакой притязательности. Мысль об освобождении жизни от излишних опекательств вовсе не новая; она составляет самый явственный и непременный результат реформаторских попыток последнего времени. Что этот результат выясняется довольно туго, это еще не доказывает ни ненужности, ни даже преждевременности его, а доказывает только, что из жизни нашей не исчезла еще случайность, которая на каждом шагу потчует нас всевозможными сюрпризами. Пускай историографы буйствуют и преднамеренно или по глупости извращают смысл того, что составляет драгоценнейшее достояние современной жизни,— мы верим горячо и искренно, что истинный смысл реформы 19 февраля не потеряется никогда.

В чем же должно заключаться осуществление выражения «не мешать жить»? По нашему скромному мнению, это осуществление заключается в следующем: как можно менее заниматься провинцией, не окружать ее цепью неловких опекателей, которые только смущают и запутывают общественное мнение, и не пугаться (именно только не пугаться) при появлении в ней признаков самодеятельности.

Нам, провинциалам, очень часто указывают на современное земство, на бедность добытых им результатов и на некоторую азбучность понятий, высказываемых в земских собраниях. Но причины этого явления отчасти указаны уже в предыдущих письмах. Это, во-первых, те пререкания, которые встретили земство в самую минуту его появления, а во-вторых, те неполезные примеси, которые имеют обыкновение привязываться у нас к каждому делу и которые не преминули привязаться и к земству. Есть, конечно, и другие еще более решительные причины, временно обрекающие земство на бессилие, но об этих причинах находим благоразумным до времени умолчать.

Не мешать жить! По-видимому, какой скромный и нетребовательный смысл заключает в себе это выражение! А между тем как оно выпрямляет человека, какую бодрость вливает в его сердце, как просветляет его ум! Не мешать жить! — да ведь это значит *разрешить* жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами! Шутка!

Мы очень хорошо понимаем, что мысли самые простые

и естественные всегда кажутся и самыми страшными; мы понимаем также, что простой взгляд на вещи, при современной путанице понятий, есть взгляд наименее симпатичный. Но мы не можем забыть и то, что всякая путаница, даже самая любезная, должна иметь свой предел и что нежеланием посмотреть ей в глаза мы не устраняем затруднения, а еще более усложняем его.

ПИСЬМО ОСЬМОЕ

Говоря в прошлом письме о чрезвычайной скудости творческой силы провинции, я выразил мнение, что причина этого явления заключается в том, что провинция испокон века только отдает и ничего в возврат не получает или получает ненужный хлам в лице канканирующих историографов. Отсюда — равнодушие провинции даже к тем интересам, которые ей всего более близки; отсюда — ее неспособность. И если еще нельзя сказать, что провинция совсем заснула, то можно сказать за верное, что она не верит своим силам и ждет поправки своих обстоятельств не от себя самой, а откуда-то издалека.

Очень может быть, что многие читатели увидели тут не больше, как парадокс; но в последнее время провинция сама взяла на себя труд прийти на помощь высказанному выше мнению. Перед нами лежит несколько сочинений, имеющих предметом характеристику провинции и ее существеннейших интересов. Сочинения эти принадлежат лицам, близко знакомым с ходом наших провинциальных дел, лицам, живущим в провинции и несомненно принимающим самое деятельное участие в ее судьбах. Если даже они подтверждают мнения, выраженные в настоящих письмах, то можно сказать прямо, что мнения эти нимало не страдают преувеличением.

Что̀ же видим мы в сочинениях этих «сведущих людей» провинции, какое поучение можем мы извлечь из них? А вот что̀ прежде всего: сознание бессилия провинции, сознание ее неподготовленности к принятию удобств и преимуществ самоуправления.

Всем известно, что провинция недавно обзавелась земством; известно также, что со стороны общественного мнения земство встретило скорее апологистов, нежели порицателей. Ничего не совершив, оно уже было возвеличено; будучи еще в зародыше, оно предполагалось уже способным оправдать некоторые надежды. Какие надежды? чего именно могло ожидать русское общественное мнение от этого нового учреждения?

С достоверностью можно сказать, что в этом случае первую роль играло слово «самоуправление». Произнесенное рядом с словом «земство», оно должно было оказать магическое действие. Оно обязывалось сделать из провинции нечто вроде маленького земного рая, обязывалось поднять умственный и материальный уровень страны, способствовать сближению и даже слиянию сословий, уничтожить злоупотребления местной администрации, положить пределы ее притязаниям,— словом сказать, обновить провинциальную жизнь, сделав ее возможною не для одних брюхопоклонников, но и для людей, не чуждающихся интересов мысли. Некоторые восторженные умы шли далее и возлагали на земство разные другие обязательства, как, например: по освобождению человеческой личности от непроизвольных передвижений, наездов, наскоков, по ограждению домашнего очага и т. д. Эти последние надежды были, конечно, и преувеличенны, и преждевременны, но, во всяком случае, казалось не невероятным, что с водворением земства хоть одно будет достигнуто: возможность жить и без помехи заниматься своим делом.

Но для того, чтобы ответить на эти ожидания мало-мальски достойным образом, надлежало, чтобы земство с самого начала поняло свои задачи в самом широком смысле. Сужение задач вообще плохая школа для вновь выступающих учреждений. Когда мы говорим себе: теперь не место и не время обобщать и расширять вопросы; останемся при тех подробностях, которые у нас под руками и которых никто у нас не оспаривает,— то на пути этом нас очень скоро настигнут всякого рода разочарования. Во-первых, мы убеждаемся, что границы, существующие между общим и частным, совсем не так строго определены, как это может показаться с первого взгляда, и что, как бы мы ни усиливались изолировать то или другое частное явление, наш успех никогда не будет настолько велик, чтобы исторгнуть из него ту интимную сущность, которая вводит его в область общего. Во-вторых, увлекаясь исключительно подробностями, мы теряем из виду те общие перспективы, которые собственно и дают подробностям смысл и цену; поэтому мы делаем дело, может быть, очень трудное и кропотливое, но, во всяком случае, мало полезное, почти мертворожденное. В-третьих, наконец, мы удостоверяемся горьким опытом, что, не обеспечив широкой и прочной постановки вопросов, мы тем самым лишаем себя возможности свободно обсуждать и подробности. В результате — или беспутное блуждание без цели и плана, или беспрерывный выход из тех границ, которые мы сами себе назначили, и беспрерывное же самоводворение в них. В первом случае мы будем заниматься

подробностями не в зависимости от той живой связи, которая соединяет их, а по мере того, как они механически будут представляться нашему вниманию; во втором случае мы будем вращаться в заколдованном круге полумер и в бесплодном наблюдении за самими собою.

Понятно, что такого рода перспектива может привлечь к себе деятелей только на первых порах, то есть тогда, когда еще не вполне раскрылась ее сущность. Но чем более разъясняется эта последняя, чем рельефнее выступают вперед ее блуждания, сомнения и оговорки, тем быстрее стихает первоначальная горячность и уступает место равнодушию.

Итак, повторяем: чтобы не впасть в одну из упомянутых выше крайностей, чтобы устроить земское дело на основаниях действительно прочных и плодотворных, провинция должна была прежде всего остеречься от каких бы то ни было суживаний. Посмотрим же теперь, как она сама взглянула на свое призвание в этом случае, что̀ говорит она об этом призвании устами своих «сведущих людей».

Пункт первый — сознание в неподготовленности. История с этою неподготовленностью довольно забавная история; это своего рода несокрушимая крепость, в которую мы, провинциалы, охотно укрываемся всякий раз, когда приходится держать ответ перед общественным мнением. О чем бы ни начался разговор, мы никогда не упустим оговориться, что мы невежды, что мы ни к чему не подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство неумелостью могло бы привести в отчаяние, если б несостоятельность его слишком ярко не бросалась в глаза.

Когда, говоря о человеке, который никогда не испытывал на спине своей воспитательного влияния палки, мы утверждаем, что он не подготовлен к восприятию его,— это будет вполне справедливо и понятно; но если мы ту же мысль перевернем, если мы скажем: вот человек, который всю жизнь ощущал действие палки и которого прекращение этого действия повергло в смущение,— мы скажем положительную и очевидную нелепость. Существовало у нас крепостное право, и крестьяне довольно продолжительное время пользовались им; но когда оно было уничтожено, то едва ли нашелся хоть один человек, который оказался бы неподготовленным к этому уничтожению. Точно то же произошло и относительно судебной реформы; новые суды принялись сразу и никого не нашли неподготовленным.

Неужели и в самом деле нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться с такою, например, вещью, как отмена телесных наказаний? Ужели это было такое благо, к кото-

рому можно прилепиться душою и разлука с которым могла бы кому-нибудь стоить колебаний и борьбы? Нет, это не так. Есть вещи, расставаться с которыми никогда не рано, точно так же как есть вещи, для непосредственного пользования которыми не требуется быть ни философом, ни политико-экономом. К числу таких простых вещей принадлежит несомненно и то, что̀ мы называем самоуправлением. Чем больше мы будем расширять значение этого слова, тем менее рискуем впасть в ошибку, потому что оно обнимает собой все свойства и потребности, которые определяют человека. Право на обеспеченность человеческой личности и на свободу человеческого труда, право на неприкосновенность домашнего очага — все это точно такие же простые и удобопонятные права, как и право считать деньги в своем кармане, право носить черный или голубой сюртук. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезмерных усилий; нужно только, чтоб они были под руками.

Следовательно, жалобы на неподготовленность к самоуправлению едва ли можно принимать буквально. Скорее всего, их можно объяснить или известною русскою пословицей: «И близок локоть, да не укусишь», или тем обстоятельством, что мы, провинциалы, охотно едим пирожное, когда нам подадут его, а если не подадут, то довольствуемся и арестантскими щами с несвежею солониной. Мы до того привыкли постепенно обнажать себя, что в конце концов обнажились даже от стыда и теперь стоим в раздумье, точно ли мы способны рассудить, что жить без розог гораздо удобнее, нежели жить с розгами?

Во всяком случае, из этого невысокого мнения нашего о самих себе естественно выходит другой любимый наш тезис. «Ограниченность круга нашей деятельности,— говорим мы,— есть залог ее прочности». Истина соблазнительная, но едва ли она не сделается еще более соблазнительною, если мы выведем из нее все логические последствия, которыми она так богата. Ведь тогда, пожалуй, окажется, что если совсем ничего не будет, то есть никакого круга деятельности, то дело, пожалуй, сделается еще прочнее...

Поощряя себя подобными изречениями, мы приобретаем целый арсенал недорогих истин, все достоинство которых в том заключается, чтобы оградить нас от возникающих притязаний жизни и устроить то тихое и безмятежное житие, память о котором завещана еще столь любезным нам крепостным правом. В былое время существовал у нас конек: патриархальность; теперь мы выдумали другой конек — сближение. Несмотря на кажущуюся разницу, и тот и другой ведут к одному результату: к тому, чтобы постепенно запутать действи-

тельные вопросы жизни, а на место их выдвинуть вперед бессодержательные общие места. Конечно, тихое и безмятежное житие не лишено своей прелести, но спрашивается: можно ли остаться при нем одном, не пожертвовав при этом самыми лучшими потребностями человеческой природы?

Положа руку на сердце, имеем ли мы повод сказать, что поприще, которое время и обстоятельства отвели для нашей деятельности, настолько пространно, что увеличение его угрожало бы нам опасностью раскидаться и растеряться? Нет, поистине такого повода не имеется, потому что предметы этой деятельности, в настоящем составе их, без малейшего затруднения можно пересчитать по пальцам, да и тут, наверное, останется несколько пальцев лишних. Все это такие некрупные подробности, которые, быть может, действительно доставляют некоторые материальные удобства, но которые отнюдь не вносят ничего нового в умственную и нравственную жизнь масс. Это подробности слишком низменные, чтобы решительно влиять на развитие провинциального быта; не тому надобно удивляться, что они, благодаря земству, представляются, сравнительно с прежним временем, в лучшем виде, а тому, что для приведения их в этот вид потребовалась столь обширная комбинация сил. Сельский сход, волостной сход — вот достаточные и вполне компетентные единицы для таких немудреных дел, как устройство грунтовой дороги, моста или перевоза в известном районе, или равномерное распределение квартирной и постойной повинности...

Нам возразят, конечно, что и волости, и сельские общества (или заменявшая их помещичья власть) существуют издавна, но земское хозяйство никогда не пользовалось их содействием и ни на волос не подвинулось вперед. Прекрасно; но ведь есть же какая-нибудь причина тому, что обыватель не видит достаточных побуждений, чтобы заняться даже таким близким делом, как местная повинность, которая и прямо и косвенно опутывает все его существование! Ему худо; он топит в грязи свой воз; лошадь его ломает ноги на неисправном и ветхом мосту, в избе у него располагается постоем солдат, который при самых лучших условиях все-таки составляет лишний рот — воля ваша, а надобны очень существенные причины, чтобы молча переносить невыгоду подобного существования. Не в том ли они заключаются, что он все уже отдал, что̀ был в силах отдать? не в том ли, что у него нет ни времени, ни возможности убраться кругом себя, потому что на нем *прежде всего* лежит исполнение требований, слывущих более настоятельными, нежели его бросовое копеечное хозяйство, хотя и касающихся его лишь косвенным образом?

Мы все, добровольно или невольно, живем не для себя, и примеров показной жизни нам не занимать стать. Посмотрите на любого чиновника, когда он находится на службе или в гостях: как на нем все чистенько, как он подтянут, приглажен, умыт! Но загляните следом затем на тот скотный двор, в котором он живет и который называет своим домом, и вы удивитесь поразительной метаморфозе, какая представится вашим взорам. Ужели же его руководит в этом случае какое-то трудно объяснимое пристрастие к нечистоте? Нет, скорее всего, можно объяснить это превращение тем, что несчастный истратил последние средства на поддержание наружного декорума, и затем, относительно всего остального, его заботит только мысль, как бы не пропáсть и не сгибнуть вконец. Кто будет так смел, чтобы упрекнуть этого человека в равнодушии к тому, чтò самым непосредственным образом к нему прикасается? Помилуйте! да тут и равнодушия совсем никакого нет, а просто есть закон горькой необходимости, которого не отвратят никакие требования о соблюдении чистоты и опрятности!

Но не в этом вопрос. Факт совершился, и наблюдение за некоторыми подробностями земского хозяйства перешло в руки особого учреждения, называемого земством. Спрашивается: неужели же тут конец пути?

Увы! если провинция так упорно ссылается на свою неподготовленность, то это означает отнюдь не действительную неподготовленность, а то, что она заранее истратила весь свой духовный и вещественный капитал, и истратила его совсем не для себя. При такой оголтелости весьма естественно, что она страшится всяких новых жертв, в каком бы виде они от нее ни требовались, и что в каждом новом явлении, втирающемся в ее жизнь, она видит не чтò иное, как новую форму новых жертв. С старинными неудобствами своей обстановки она примиряется совсем не потому, чтобы они были ей милы, а потому, что на приобретение действительных удобств у нее нет средств. Нельзя сказать даже, чтобы она не сознавала, в чем заключается то зло, которое ее гложет; она очень хорошо видит, как уходят из нее неведомо куда ее умственные и вещественные капиталы; но, для того чтобы поставить подобные вопросы ясно, не всегда можно обойтись без риска. Люди, решающиеся на подобную постановку, очень часто бывают дурно приняты, а еще чаще дурно растолкованы. Их называют мечтателями,— слово, которое в переводе почти равносильно разбойнику; их обвиняют в том, что они вносят смуту и рознь туда, где до их появления все было тишь, да гладь, да божья благодать. Перспектива всех этих удовольствий покоробит любого героя. «А не лучше ли,— скажет он себе,— бежать из

этой постылой провинции, а если не бежать совсем, то не укрыться ли под защитой неподготовленности?..» Неподготовленности к чему? Право, неловко и горько становится при одной мысли о тех простых и общедоступных благах, о которых мы с такою постыдною откровенностью говорим, что они представляют для нас «зеленый виноград»!

В последнее время эта провинциальная оголтелость сказалась более определенным образом: газеты наши все чаще и чаще оглашаются известиями о неудачах, претерпеваемых земством. В ином месте земское собрание совсем не состоялось, потому что не съехалось законного числа членов; в другом месте собрание хотя и состоялось, но не докончило своих занятий, потому что часть членов разъехалась прежде срока. Мы знаем случаи, когда гласных разыскивали по городу, когда за ними посылали нарочных, с покорнейшею просьбой прибыть в собрание. Нет сомнения, что радоваться такому положению дел нельзя, но и видеть тут повод для обвинения кого бы то ни было в постыдном равнодушии тоже нет возможности. Мы, провинциалы, и без напоминаний слишком скромны, но, когда, несмотря на это похвальное качество, нам только и дела, что напоминают о скромности да угрожают тем, что мы раскидаемся и растеряемся,— мы естественно приходим к заключению, что ведь и в самом деле горячиться не из-за чего. Всякий поймет, что подобные напоминания, если они не в меру часты, делаются даже противными; но сверх того мы можем встретиться на этом поприще с другою опасностью: с обвинением в карбонаризме. Кому охота претерпевать такие напраслины, хотя бы, например, по вопросу о распределении пунктов для стоичных лошадей? Не ясно ли, что всякий благоразумный человек при первом намеке на возможность подобной случайности возьмет

...в охапку
Кушак и шапку,—

так как положительно нет ни славы, ни выгоды в том, чтобы прослыть страдальцем по вопросу о стоичных лошадях...

Но неужели наша провинциальная голытьба ни к чему другому не выказала поползновения, кроме ограничения и без того ограниченного круга деятельности? Нет, если верить «сведущим людям», она по временам не чуждается и политики,— разумеется, скромной...

Область этой политики весьма неразнообразна. Предметы ее суть: сближение сословий, стремление пристроить куда-нибудь дворянство (преимущественно, однако ж, «во главу») и отыскивание «великолепных свойств русского народа: не помнить зла и соединяться». Постараемся, однако ж, разобрать

в подробности сущность этих задач нашего провинциального политиканства.

Вопрос о «сближении» или «слиянии» необходимо рассматривать в связи с вопросом о «великолепных свойствах» русского народа, потому что ежели первый может иметь какую-нибудь силу, то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу о «сближениях» очень обширна; достаточно заглянуть в любой журнал, в любую газету начала шестидесятых годов, чтобы непременно встретиться ежели не с ясно формулированными предположениями, то с некоторыми пожеланиями по этому предмету. Нет сомнения, что в свое время стремления эти принесли известную пользу. Одна сторона надеялась найти в них исходный пункт, из которого со временем может что̀-нибудь выработаться и косвенным образом пополнить понесенные внезапно ущербы; другой стороне они придали бодрость и внушили сознание (очень, впрочем, темное) того значения, которое она неожиданно для себя получала. Но дальнейшего развития стремлений все-таки не последовало, а равно и трактатов сколько-нибудь полезных по сему предмету издано не было по той простой причине, что, как ни тискайте слово «сближение», никакого реального представления, ничего, кроме тавтологии «жалких слов», из него не выжмете.

Но люди неохотно расстаются с своими мечтами, хотя бы они представляли один пустой звук. За недостатком здоровой и реальной почвы, за отсутствием общественных и политических интересов, они гоняются за звуками, приятно раздражающими слух, и думают наполнить ими пустоту своего существования.

Чтобы поставить вопрос о сближении или слиянии на почву сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы он разрабатывался не трансцендентальным каким-нибудь путем, а путем вещественным, для всех видным и осязательным. Скажем более: необходимо, чтобы о самых этих выражениях не было помину, чтобы они были вычеркнуты и заменены другими, более определительными.

Если Петр или Павел объявляют во всеуслышание, что они «добрые», что они любят и жалеют «сих малых», то из этого объявления покаместь ничего еще не выходит, кроме сотрясения воздуха. Они, конечно, могут подкрепить свое объявление тем, что, имея возможность быть грубыми с меньшею братиею, не воспользуются этою возможностью, но и это только сделает честь им лично, но особенных плодов не принесет по той причине, что гуманное обращение с людьми принадлежит к числу тех простых вещей, которые всеми, даже

непривычными к нему, сразу принимаются как должное. Затем, если те же Петр и Павел, недовольные тощими результатами, полученными от их объявления, пожелают идти далее, то они уже обязаны приискать для своих поползновений форму более положительную. Вернейший путь, который представляется им в этом случае, есть путь более равномерного распределения прав и благ. Но так как это путь тернистый, который мог совсем и не быть в их расчетах, то существует другой путь, хотя и не столь решительный, но, во всяком случае, приличный. Путь этот можно формулировать так: решить однажды навсегда, что отношения между людьми, в каких бы положениях они ни находились, должны быть основаны на идее *равноправности*.

При таком воззрении на дело отношения между людьми становятся совершенно ясными. Конечно, бесполезно было бы связывать с подобным положением понятие о нормальности, но, по крайней мере, оно не отуманивает ничьих глаз, исключает всякую идею о лицемерии и допускает борьбу и поправки. Несомненно, что борьба с организованной силой представляет очень мало утешительного, но все же она имеет более шансов успеха, нежели борьба с пустыми звуками или даже с обманом, надевающим на себя лицемерную маску благосклонности.

Нет ничего хуже и несноснее того положения, когда вас куда-то заманивают и при этом не сказывают куда. Почему не сказывают? — потому отчасти, что сами не знают, а отчасти и потому, что слишком хорошо знают. Кому нужно сближение? Для чего оно нужно? Разберите эти вопросы внимательно, и вы убедитесь, во-первых, что «сближение» в данном случае есть термин односторонний, и, во-вторых, что это термин или совсем пустой, или неблаговидный. Во всяком случае, это термин вредный, ибо при его посредстве отрывается масса людей от действительных интересов и делается добычей интересов мнимых; отнимается у производительного труда и приглашается к празднованию.

Возможность сближения есть дело вполне законное, но надобно, чтобы в основе его лежала обоюдная свобода и обоюдная равноправность. Провинция говорит: этой возможности дан широкий исход в земстве и его органах; апологисты же сближения прибавляют: «Гласные от землевладельцев-помещиков и гласные от крестьян сели за один стол, как будто век за ним сидели, и занялись общими делами, не поминая прошлого» («Голос из земства», стр. 9). Прекрасно. Но, во-первых, гласные земских собраний занимаются не теориями сближений, а каким ни на есть делом; во-вторых, сословные эле-

менты в этих собраниях распределены (практикою, а не законом) далеко не столь равномерно, чтобы можно было вывести положительное заключение, насколько последовало или не последовало предполагаемое сближение; в-третьих, наконец, чтобы убедиться в действительности этого сближения, нелишнее было бы предварительно испытать гласных от крестьян, хорошо ли они себя чувствуют, «сидя за одним столом с гласными от землевладельцев-помещиков». И вот провинция проговаривается. «Всего важнее,— говорит она,— что дворяне-землевладельцы становятся во главе земства». Вот это так, это действительно важно. Но с этого-то именно и надлежало начать разговор, а не запутывать его сетью вводных предложений, трактующих неведомо о чем.

Предположим, однако ж, что вопрос о сближениях каким-нибудь чудом действительно приводится к разрешению — какой результат предвидится получить от него? Результат один: возвращение к патриархальности и ко всем последствиям, из нее вытекающим. Иного, при всем желании, придумать нельзя.

Нельзя, потому что нет довольно содержательного общего дела, по поводу которого могло бы произойти сближение. Современное дело, которое выставляет вперед провинция, не может быть этим поводом, покуда в принципе его лежит опасение раскидаться и растеряться; других же дел покаместь не предвидится. Вот если бы провинция поставила себе к разрешению такой вопрос: отчего она год от году беднеет, отчего она живет не для себя и не своею, а заимствованною жизнью, отчего, наконец, исчезают из нее ее умственные и вещественные капиталы, тогда, несомненно, она получила бы и возможность и повод для сближений в самых обширных размерах. Тогда, если б поползновения ее и встретили фиаско, она имела бы, по крайней мере, действительное право упрекнуть кого следует в неподготовленности и закоснелости.

Но провинция очень хорошо понимает, что такого содержательного и общего дела нет, и потому все надежды устремляет к «великолепным свойствам» русского народа. Эти свойства, на которых основан весь процесс слиятельной операции, называются так: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся придать этим темным общим местам сколько-нибудь вразумительную и осязательную форму.

Как следует понимать «зло»? Есть ли это нечто такое, что̀ необходимо и даже полезно помнить и в каком смысле помнить? или же относительно этого предмета во всяком смысле должно руководствоваться словами поэта:

То, что было, то пройдет,
Что пройдет, то будет мило...

Ка̀к бы мы ни старались ограничивать смысл употребляемых нами слов, но есть выражения, относительно значения которых сомнения невозможны. К числу таких выражений принадлежит и «зло». Как ни укорачивайте его смысл, оно всегда будет означать совокупность таких явлений, которые приносят вред обществу, останавливают свободное и естественное развитие народных сил, делают из людей автоматов, подчиняющихся не сознательной идее добра и пользы, а ужасу, внушаемому гнетом преследующей их силы, и обрекает полному устранению творческие способности громадного количества людей. Вот действительный смысл слова «зло», и в этом, конечно, смысле несомненно понимает его и провинция, когда хлопочет о «забвении зла». Это «зло» очень недавно называлось у нас крепостным правом и действительно заключало в себе признаки, которые указаны выше.

Это зло, произведенное не Петром и не Иваном, а зло историческое, зло, разлитое в целом порядке вещей, поглощавшее в себе одинаково и Петра и Ивана. Правильно ли и благоразумно ли настаивать на забвении такого зла? Не равносильно ли это требованию забыть уроки прошлого, забыть историю?

Источник подобных настояний очень понятен. Несмотря на наши ревнивые старания отделить частное от общего, мы беспрестанно смешиваем и то и другое. Поэтому нам кажется, что когда говорят о «зле», то непременно подразумевают тут или Петра, или Ивана, которые были видимым олицетворением этого зла. Но это не так. Вместо того чтобы говорить: забудьте зло, следует выражаться проще: не мстите Ивану, не отплачивайте ему злом за зло. Но и тут мы понимаем подобные увещания только потому, что такого рода фразы, вследствие частого и не совсем осмысленного употребления, до того приучили к себе наш слух, что мы уже не формализируемся нелогичностью, которая в них заключается. В сущности, Иван не имеет никакой надобности ни в прощении, ни даже в молчаливом забвении зла. На объявление ему прощения он с полным основанием может ответить: «За что̀ же вы стали бы мстить мне? где ваше право для мести? разве я повиновался не тому же закону, какому повиновались и вы? разве я обязывался быть героем и одного себя поставить вне влияния общего закона? разве геройство не исключительное явление? разве большинство людей обязано к чему-нибудь, кроме дел средних?» И Иван, несомненно, будет прав, ибо массы хотя и могут, по временам, припоминать разным Петрам и Иванам некоторые их излишества, но случаи таких припоминаний так исключительны, что совершенно утопают в общем принципе забвения. В действительности, все частные ущербы давно схо-

ронены и забыты, и ежели, например, помещик, включенный с крестьянами в состав одной и той же волости, ни под каким видом не уживется с ними, то это имеет произойти не вследствие живой памяти прошедшего, а вследствие полного несходства в обстановке и привычках того и другого сословия.

Представление о зле сопрягается не с Иванами и Петрами, а с мыслью об известном положении. А относительно этого последнего вопрос заключается не в том, чтобы озлобляться и кипеть, а в том, чтобы на будущее время предотвратить возобновление зла под какими бы то ни было формами и наименованиями. Не к ненависти и преследованию призывается потерпевшая сторона, а к осторожности и осмотрительности. Она на собственном опыте, собственною грудью убедилась, какие тяжкие последствия могут содержать в себе некоторые явления жизни, и должна воспользоваться этим опытом, чтоб оградить себя от подобных последствий в будущем. Не одну себя она ограждает, поступая таким образом, а настоящее и будущее целой страны. Ответственность, лежащая на ней, слишком серьезна, чтоб можно было рисковать ею за чечевичную похлебку, или из-за желания добыть тихое и безмятежное житие, или даже... из-за чести сидеть за каким-то «одним столом».

Из всего сказанного выше можно вывести заключение о степени великолепия тех свойств, на которые возлагает надежды провинция. Ежели они существуют на деле, то это обстоятельство не только не может служить предметом для восхищений, но, напротив того, должно свидетельствовать о самом изумительном и беспримерном легкомыслии. Способность забыть — это не способность развиваться, это безнадежность в будущем. Но этого нет, этому невозможно поверить. Как-то легче дышится при мысли об отсутствии этого качества, нежели при мысли о его присутствии. Конечно, твердых доказательств ни «за», ни «против» представить нельзя, ибо в той путанице понятий и отношений, которая развивается перед нашими глазами, трудно отличить, что̀ составляет признак способности забывать и что̀ принадлежит простому равнодушию, но, как ни затруднителен выбор между этими двумя альтернативами, будем думать, что равнодушию принадлежит здесь первое место. Это также не совсем утешительно, но все-таки лучше, нежели забвение вчерашнего дня.

Третий предмет нашего провинциального политиканства составляют заботы об устройстве дворянства. Можно даже сказать, что и приручение масс, и открытие в них великолепного свойства забвения вчерашнего дня — все это не более

как приличный подход к главной задаче, долженствующей увенчать здание. Это фундамент, без которого вся последующая махинация не может иметь прочности.

Странное дело! покуда существовало крепостное право, никому не приходило в голову усомниться в существовании русского дворянства. Это существование заявляло себя целым рядом таких действий, которые самого неверующего человека заставляли верить. Дворянство имело свои собрания и своих представителей, оно рассуждало о своих нуждах, оно, в известной степени, имело право суда над своими членами, оно управляло не только своими делами, но пользовалось значительной долей в отправлении дел общегосударственных, имея в своих руках суд и полицию. Трудно было не поверить тому, что̀ всегда стояло, как живое, перед глазами, то в виде помещика, творящего суд и расправу, то в виде исправника, творящего суд и расправу, то в виде судьи или заседателя, творящих суд и расправу. Это было сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность предъявлять некоторую силу среди общего бессилья, некоторую инициативу среди общего безмолвия. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходит сквозь всю историю этой корпоративной силы, заключается все-таки в том, что, однажды устроившись, она до самого конца оставалась при этом устройстве, занимаясь повторением задов и ни разу не поставив себе вопроса, возможно ли для нее дальнейшее развитие, в каком именно смысле и в какую сторону? Будущее для нее не существовало.

Но будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок. В настоящем случае оно пришло в виде упразднения крепостного права — и что̀ же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить все связующие нити; что вместе с исчезновением крепостного права исчезло и дворянство!

Это говорит не наш одинокий голос; это говорят компетентные люди провинции. Конечно, не следует понимать это исчезновение в буквальном смысле, но жалобы на то, что дворянство осталось как будто не при месте, приобретают значительную долю основательности. «Дворянство,— пишет г. Кошелев,— перестало существовать на деле... правда, оно еще собирается, имеет своих предводителей, свое депутатское собрание, но собственно дел сколько-нибудь важных у него не осталось никаких». Все это истинная правда, но как выйти из этого положения? Как наполнить досуг большого количества людей, как будто оставшихся за штатом? Ближе всего было бы сказать им: пользуйтесь теми правами, которые

всецело при вас оставлены, пользуйтесь вашею сравнительною политическою взрослостью и промышляйте о себе сами; но оказывается, что это легче сказать, нежели исполнить. «Мы не подготовлены! — вопиет провинция,— нас учили, что мы оплот! растолкуйте, по крайней мере, что̀ это за должность, и какие соединены с нею права?» Вот невыгода туманных определений. Казалось, хорошее слово «оплот», и было даже время, когда все понимали его без толкований, и вдруг обнаружилось, что его даже объяснить нельзя! Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за ним корпоративную связь, таких прав, за которые можно было бы удержаться, чтобы обставить ими новое положение, оно совсем не представляет.

Вследствие этого возникла потребность прибегнуть для устройства этого положения к искусственным мерам, и первою желательною мерой в этом смысле, конечно, представилась *приписка* к чему-нибудь.

Провинция не может понимать, не может терпеть человека, к чему-нибудь не *приписанного.* Куда же приписать? Казалось бы, всего естественнее для человека приписать его к свободе, но тут встречаются серьезные, почти непреодолимые препятствия. Что̀ такое свобода? — Это, по мнению провинции, какое-то странное положение между небом и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человека на свободу значит подвергнуть его всевозможным бедствиям и горьким случайностям; это все равно что пустить его слоняться по свету без паспорта, заставить жить со дня на день в вечных поисках за куском хлеба. «Кто ты таков? — спросят его на первой заставе,— как твое имя и к чему ты приписан?» — Я ни к чему не приписан,— ответит свободный человек,— по упущению, я приписан к свободе.— «Так, значит, ты непомнящий родства? взять его в часть!» — скажет заставная стража, и скажет весьма основательно, ибо слыханное ли дело встретить человека, приписанного к свободе?

Понятно, что такое неопределенное, почти тревожное положение не может казаться привлекательным нашей провинциальной интеллигенции. Она привыкла, чтобы ее паспорты были безукоризненно чисты, чтобы, при появлении ее на заставах, не раздавалось никаких других восклицаний, кроме: «Подвысь!» Да, надобно приписаться, надобно во что̀ бы то ни стало. Куда? к дворянскому собранию? Но ведь у него даже дел никаких нет! К земству? но ведь мы и без того там находимся? ведь никто нас оттуда не выгоняет?

В том-то и дело, что приписка приписке рознь, что бывает приписка, на достижение которой нужно потратить немало времени, труда и способностей, и бывает другая приписка,

которая приходит сама собою. Сверх того, надо приписаться не туда, куда бог пошлет, а именно «во главу», иначе нам не приходится. Но ведь вы сами же говорите, что земское дело — дело общее, всесословное; это же явствует и из смысла законодательства? Да̀; это так, но посудите сами: образованность, материальная обеспеченность... Очевидно, однако ж, что все эти оговорки очень плохо вяжутся с сущностью вопроса. Образованность и материальная обеспеченность, конечно, представляют права на внимание, но они никогда не считались в числе сословных принадлежностей и привилегий. По временам обстоятельства сосредоточивают эти блага в том или другом сословии; но невозможно же допустить, чтоб они служили для прикрытия сословных претензий. Перед вами человек, который имеет в свою пользу преимущество образованности — это несомненно делает ему честь; но было бы в высшей степени странно, если б он связывал с этим преимуществом какое-нибудь право, исходящее не из него самого, а напоминающее идею сословности...

Но возвратимся к исходной точке настоящего письма. Не может подлежать сомнению, что провинция сама признаётся в своем бессилии. Даже в тех немногих случаях, когда ей действительно приходится задуматься над мыслью о необходимости обновить свои силы, она приступает к делу не прямо, а изобретает искусственную обстановку, не только не ведущую к разрешению возникающих вопросов, но положительно затемняющую их. Понятно, что при таком неумении освободить свою мысль, свои взгляды на положение, она остается на одном месте и не может извлечь всех выгод даже из тех реформ последнего времени, которые наиболее благоприятствуют ее развитию.

Крестьяне, между прочим, составляют один из главных кошмаров провинциальной интеллигенции. Как были они «меньшею братией», так и остались ею, несмотря на вновь открытые «великолепные свойства соединяться и не помнить зла». Они поголовно пьянствуют, они не выполняют принимаемых ими на себя обязанностей, они допускают безрасчетные разделы семей; словом сказать, совершенно отбились от рук, приобрели привычку грубить и почти утратили человеческий образ, сохранив однако... «великолепные свойства соединяться и не помнить зла». Не мешает прибавить к этому перечню, что, кроме того, они сохранили еще «великолепное свойство» уплачивать подати и отбывать натуральные повинности и что все расходы по части сближений и слияний должны пасть не на кого иного, а на тех же пьяных и отбившихся от рук крестьян. Мы охотно рисуем картины разврата

русского крестьянина, а в результате оказывается, что нигде не выпивается вина так мало, как в России, и что в большинстве случаев от крестьян же идет инициатива относительно учреждения сельских школ. Это должно было бы воздержать нас от голословных обвинений.

Для того чтобы лучше понять, в каком виде представляет действительность общественное положение нашего крестьянина, возьмем для примера хоть вопрос о правоспособности. Говорят, крестьянин правоспособен, и действительно, мы думаем, что правоспособность крестьян составляет одно из лучших приобретений, данных реформою 19 февраля. Затем спрашивают: что̀ же сделали крестьяне из этой правоспособности? Какую пользу они извлекли из нее для себя и для общества? Этого одного вопроса бывает совершенно достаточно, чтоб возбудить целый поток самых непринужденных шуток. Но позвольте, милостивые государи! Во-первых, этот вопрос можно предложить и не одним крестьянам, в пользу которых все-таки найдутся кое-какие оправдания, а и другим, для которых возможность оправдаться гораздо труднее; а во-вторых, ужели же не всем достаточно известно, что слишком часто намерения самые добрые и совершенно ясные не ограждены от сюрпризов самых невероятных и неожиданных? Стоит только сослаться на так называемые мужицкие бунты, чтоб убедиться в том, в каком тесном положении иногда находится крестьянская правоспособность.

Известно, что у нас в некоторых местностях каждогодно происходит по нескольку бунтов. Это словно болезнь какая-то или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всяком случае, это явление очень любопытное; но чтобы читатель не пришел от него в отчаяние и мог убедиться, что «черт совсем не так страшен, как его малюют», мы постараемся рассказать здесь один примерный бунт, не в том, разумеется, виде, как его обыкновенно малюют, а в том, как он зарождается и происходит в действительности.

В силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, как и все вообще члены русской семьи, обладают правом петиции или ходатайства. Они могут терпеть стеснения со стороны поставленных для управления ими лиц, могут терпеть ущербы вследствие предпринимаемых относительно их и не оправдываемых законом мер; наконец, в качестве людей, они могут даже ошибаться, то есть видеть нарушение права там, где его в действительности нет, в каковые ошибки они впадают, впрочем, весьма осмотрительно, ибо знают, что от них, и только от них одних, требуется, чтоб они были мудры как змии и кротки как голуби. Состоя под ярмом общинного

управления, они всякую меру, всякое распоряжение, а стало быть, и всякое злоупотребление закона ощущают живее, ибо ощущают его, во-первых, лично каждый за себя и, во-вторых, за всю общину. Отсюда необходимость сходок, необходимость общего совета, а так как целым обществом ходатайствовать неудобно и неучтиво, то из этого проистекает надобность в избрании ходоков или ходатаев. Кажется, до сих пор все идет законно, и ежели дело пойдет дальше своим естественным путем, то никакого замешательства от подобных ходатайств быть не должно. Если ходатаи правы — требуется удовлетворить их; если не правы — следует отказать, употребив, конечно, несколько лишних минут, чтобы отказ был выражен в форме для них вразумительной.

Но мы, провинциалы, смотрим на это дело иначе, ибо у нас на первом плане «принципы». В наших глазах крестьянин совсем не обыватель, а подчиненный. Ежели он прав, то хотя и можно удовлетворить его, но или только вполовину, чтоб очень не возмечтал, или не сейчас, а со временем и, во всяком случае, так, чтоб нельзя было приметить, что при этом обвиняется то лицо, на которое приносится жалоба. Обвинить начальника! да ведь это значит нарушить основной принцип! Entendons-nous, que diable![1] Можно со временем, при случае, наедине заметить, распечь, можно даже отыскать какой-нибудь посторонний повод, чтоб приличным образом отделаться от неумелого, но обвинить его тут... сейчас, в глазах жалобщика — сохрани боже! это значит поощрять бунты. Это значит прямо сказать бунтовщикам: бунтуйте, голубчики! мы сейчас все по-вашему сделаем. Таков образ действия, на случай правоты. Если же ходатаи не правы, то история упрощается еще больше. Рассуждать с мужиком, доказывать, почему он не прав, объяснять, что обычное право, которым он зачастую руководствуется, не всегда находится в согласии с правом писаным, что он в известных случаях обязан отказаться от первого и подчиниться второму,— все это далеко не в наших обычаях. Это опять-таки значило бы поощрять бунты и вызывать к неповиновению властям. Мы любим, чтобы нас понимали сразу, даже в тех случаях, когда мы сами себя не понимаем; а если нас не понимают, то гораздо легче простереть руки, нежели надсаживать грудь объяснениями.

Таким образом, источник наших бунтов намечивается сам собою; он может быть формулирован так: бунты происходят от невозможности вывести какое-либо поучение из безмолвного или сопровождаемого односложными звуками простира-

---

[1] Условимся же, черт возьми!

ния рук. Затем уже начинается дальнейшее развитие зародившегося бунта.

Возвращаются сконфуженные ходоки домой и ничего толком рассказать не могут, кроме одного: всего довольно было! Однако общинники любознательны. Каждый из них, взятый порознь, может быть, махнул бы рукой, но их связывает общинное начало, которому дело до всего, даже до коробьи крестьянской девки.

Ответ: всего было довольно! — не может удовлетворить общину. Этот ответ нимало не подвигает вперед ее дела, а это дело должно быть во что̀ бы то ни стало подвинуто, потому что община не может ни выжидать, ни извернуться. Во-первых, она слишком велика, чтобы извертываться какими-нибудь заменяющими средствами; во-вторых, она именно на то и община, чтоб все в ней было прочно и за́годя определено. И вот, община невольным образом решается продолжать свое домогательство, потому что ей некуда уйти от него, потому что это домогательство завтра вновь встанет перед нею в той же силе, как и сегодня. Это служит поводом для выбора новых ходоков, а так как неразвитый ум прежде всего поражается количественностью, то, для пущей верности, число выборных увеличивается. Но с этими уже и не разговаривают, а прямо ведут в кутузку, потому что новая настойчивость общины кажется уже не проступком и недоразумением, а явным и сугубым посягательством к возмущению против властей.

Не будем описывать дальнейшие перипетии бунтовской драмы; они известны всякому, кто не на одну только минуту заглядывал в провинцию, а жил в ней и присматривался к ее делам. Спрашивается: ужели в этом факте (одном из множества) можно видеть хоть малый признак того, что называется самоуправлением? и неужели не первая обязанность людей, произвольно или по праву называющих себя «лучшими», обратить внимание на освобождение провинциальной жизни от той нестерпимой рутины, которая наложена на нее историей, хотя бы это было даже в ущерб некоторым несомненно полезным подробностям, составляющим ныне предмет слишком исключительной их заботливости?

Но покаместь довольно. Провинция говорит: «Ограничим круг нашей деятельности, ибо, в противном случае, мы можем раскидаться и растеряться». И, говоря таким образом, она думает, конечно, быть представительницею консервативного элемента, не подозревая, что последний имеет свои границы, переступив которые он становится уже не консервативным, а разрушающим и истощающим ..

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Ка̀к делается русская деньга? Та русская деньга, которая, с одной стороны, служит на пополнение общего ящика, а с другой стороны, на удовлетворение эстетических потребностей досужих людей,— вот вопрос, которого отнюдь не следует предлагать нашим губернским историографам. Они, наверное, ответят, что деньга родится в голенище мужицкого сапога или по малой мере притаилась у мужика в спине. Больше ничего эти люди не знают, и, надо сказать правду, это неизреченное невежество странным образом способствует успеху тех операций, которые совершаются ими. Обладай они хотя скудным пониманием того, что̀ происходит вокруг них, внеси они в свои действия, в свои отношения к людям и к делу хотя малейший признак сознательности, в них, бесспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и бессовестной решимости, которые обуревают их теперь.

— Куда девалась наша торговля? — вопрошают друг друга историографы, встревоженные тем, что говядина поднялась с трех до семи копеек на фунт,— помните ли, какое множество возо̀в покрывало наши площади в базарные дни и какие были возы! чего-чего только на них не было! Куда все это девалось? спрашиваю я вас... je vous le demande un peu! [1]

И, не ожидая ответа, которого, впрочем, ни один из этих несчастных и дать не может, присовокупляет:

— Ммеррзавцы!

К кому относится последнее восклицание — этого, разумеется, не сумеет определить ни один историограф. Тут какая-то путаница, под которою скорее следует понимать общее, смутно чувствуемое положение вещей, нежели факты или лица. Тут и мужики примешались, и к нигилистам имеется какая-то темная прикосновенность, и еще о каких-то господах идет речь, которые никогда, впрочем, прямо не поименовываются, но известны под названием «подлецов» и «изменников».

Легкомыслие историографов вообще изумительно, но оно положительно не знает пределов, когда дело касается до причиненных им обид. В этом случае историограф решительно не знает, на чем сосредоточить бродячую мысль свою; он мечется из стороны в сторону, обвиняет, оправдывает; потом опять обвиняет, опять оправдывает. Ни к какому положительному заключению он никогда не приходит, так что можно по-

---

[1] я вас спрашиваю!

думать, что всю эту историю он для того только и затеял, чтоб обнаружить встревоженное состояние своей души.

— Нет! Это что̀ — мужики! — говорит он с налитыми мадерой глазами,— наш мужик добр, сми́рен, простосердечен! Он отдаст последнюю курицу, если видит, что отечество в опасности! Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule![1] Следовательно, не в мужиках зло, а вот в этих, в волосатых, да в тех, что бегают по ночам по Невскому с стрижеными косами! Вот где корень всей смуты!

Через минуту:

— Нет! Это что̀ — нигилисты! Что они бегают по Невскому стриженые — кому от того беда! Да по мне они хоть подолы на головы завороти — еще вид приятнее будет! А вот где зло: в этих «изменниках», которые своим коварством, своею лестью... вот кого следовало бы пробрать!

И еще через минуту:

— И все-таки я утверждаю: весь корень зла в мужике! Там что̀ ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда он был в ежовых рукавицах, он был прекрасен. Он был трудолюбив, послушен и простосердечен. Он отдал бы последнюю курицу... Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! чтоб только выручить отечество в минуту опасности! Теперь —куда все девалось? спрашиваю я вас: где у него, черта с два, эта *последняя* курица?

И вдруг, как бы спохватившись:

— А всё они! всё эти скверные стрижки! Они *там* ходят, заворотивши подолы, и прельщают полицейских, а мы *здесь* расхлебываем! И вот еще те! эти подлецы и изменники!

Одним словом, это тот самый порочный круг, в котором можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни малейшей неловкости. Как ни кинь — все ладно; как ни скажи — все хорошо.

А между тем вопрос о том, как делается русская деньга, есть именно один из тех, в разрешении которых заключается вся суть нашего провинциального существования. Независимо от того, что процесс зарождения и образования деньги сам по себе очень интересен, разъяснение его представляет единственный ключ, с помощью которого мы можем проникнуть в самое святилище нашей провинциальной забитости. Чтоб облегчить читателю этот труд, возьмем, на первый раз, хоть один из способов делания русской деньги, и именно тот, который преимущественно ставит в тупик наших историографов

---

[1] Понимаете?.. свою курицу! свою последнюю курицу!

и который на официальном языке известен под именем торговли и промыслов.

Начать с того, что наши историографы все виды торговли смешивают в одно смутное и легко расплывающееся понятие. Они судят о торговле по тем пирогам, которые едят по воскресеньям у градских голов, у оптовых складчиков и, в последнее время, у различных прохожих молодцов, сделавшихся, к своему собственному изумлению, предпринимателями железнодорожного дела. Вкусив пирога и слегка посоловев от возлияний, историограф рассуждает так: «Стало быть, торговля возможна, коль скоро этот почтенный негоциант угощает меня такими отменными пирогами? Отчего же на площади дело имеет совсем другой вид? отчего там, вместо прежних десяти — двадцати возов, стоит нынче какой-то один тощий возишко? Не оттого ли, что этот почтенный негоциант — простой и добрый русский человек, который и об начальстве думает, и для себя копейку бережет, а те, прочие, — люди злые и развращенные, которые последнее свое добро тащат в кабак?»

И, поощренный этим силлогизмом, он делается шаловливым и пускается в расспросы.

— Ну, а ка̀к, Иван Иваныч, — спрашивает он своего амфитриона, подмигивая одним глазом, — если этак копнуть кубышечку-то... барышки, чай, изрядные окажутся?

— Что̀ же собственно изволите желать знать, ваше растаковство? — спрашивает, в свою очередь, негоциант, не могущий сразу взять в толк вопроса.

— Ну, например, с ведра... или там с куля?

— По малости, ваше растаковство. Конечно, благодарение господу, без пользы не торгуем. Есть, ваше растаковство, такая пословица: с голого по нитке — сытому рубашка! — заключает негоциант, сам усмехаясь своей остроте.

— Voici le bon! [1] — восклицает историограф и, утешенный ответом своего амфитриона, еще более погрязает в уверенности, что развитие торговли находится в прямой зависимости от добросердечия и простоты нравов и что люди, которые не торгуют и не занимаются промыслами, делают это просто на смех, потому что они «злые».

Нет спора, что историограф в этом случае подкуплен возлияниями. Но дело не в том, чем и ка̀к он подкуплен, а в том, что с этой минуты его ни под каким видом не вышибешь из позиции. Он не понимает, что деньга, о которой шла речь в разговоре с негоциантом, совсем не та, по поводу которой

[1] Вот молодец!

у него щемит сердце. Эта последняя деньга родится в другом месте и служит для сооружения совершенно иного пирога, пирога абстрактного, которого никто в натуре не видел, но о котором всякий из членов так называемой российской интеллигенции может рассказать самые мельчайшие подробности, точно так, как бы он выну и воочию стоял между нами, вполне сервированный. Мы подходим к этой фикции, закусываем, пляшем, говорим des amabilités[1], измышляем мероприятия... и увы! все-таки не знаем, как этот пирог сооружается! Мы чувствуем только, что в последнее время это сооружение пошлó как-то вяло, и, не понимая, в чем тут сила, прибегаем за объяснениями к негоциантам, для которых решительно все равно, почем мы покупаем на рынке говядину и много ли терпим от того, что в целом городе нет ремесленника, который был бы способен пришить пуговицу к сюртуку.

Этот негоциант, с которым так благодушно беседуют наши историографы — нуль или почти нуль в том отвлеченном пироге, в постройке которого мы преимущественно заинтересованы. «Польза», о которой он так скромно повествует, есть его собственная, личная «польза», и от нее в общий пирог упадет разве микроскопическая крупица, да и та упадет только для видимости, а в сущности немедленно вновь займет место в кармане своего законного обладателя, да еще и не одна, а в сообществе многих других крупиц. Для того чтобы видеть наглядно, кàк делается русская деньга, надобно оторваться от негоциантского пирога и отправиться вглубь, в какую-нибудь богом забытую Крапивну, или в утопающий в навозе Керенск, или, пожалуй, даже в цветущий фабриками Егорьевск. Только там можно настоящим образом насладиться зрелищем, кàк сооружается тот пресловутый всероссийский пирог, который некогда доставлял нам столько радостей, а теперь служит источником одних огорчений. Так мы и сделаем, то есть поедем не в Крапивну, не в Керенск и даже не в Егорьевск (упаси нас бог вступать в какие-нибудь пререкания с почтенными жителями этих городов!), а просто в какую-нибудь называемую городом дыру, про которую и в народе как будто сама собой складывается пословица: такой-то город (имя рек) черт три года искал, да так ни с чем и отстал!

Летом ехать хорошо. Воздух теплый, тракт широкий, вольный; по бокам дороги зеленеют ракиты. Правда, что колеса экипажа беспрерывно врезываются в колеи, что при въезде на каждый мост, на каждую трубу путнику неизменно взбудораживает все внутренности, что, наконец, тончайшая пыль, то

---

[1] любезности.

черная, то бурая, то желтая, забирается и в глаза, и в уши, и в нос; но оставим в стороне эти мелкие дорожные неудобства и будем благодарить судьбу, позволившую предпринять наше путешествие летом, а не зимою. Справа и слева у нас мелькают города. Вот направо: город Соломенный, город Навозный; вот налево: город Мякинный, город Глупов. Заглянем в него, благо мы там уже бывали.

Мы много наслышаны о Глупове из газет. В прошлом году он устроил такую иллюминацию (не пожар, а настоящую иллюминацию из смоляных бочек, плошек и шкаликов), от которой было небу жарко; в третьем году он задал фейерверк (тоже настоящий); в четвертом году — какого-то заезжего историографа так угостил и возвеселил, что тот после этого десять станций скакал сломя голову и не мог прийти в себя, покуда не прискакал в город Полоумнов, где его опять угостили и возвеселили до потери сознания. Все это припоминается нами в ту самую минуту, когда мы въезжаем в предместье города. Оно не поражает великолепием; по обеим сторонам дороги стоят крошечные избы, изредка вымазанные глиной и сплошь крытые почерневшей соломой; улица довольно равномерно вымощена перебродившим и вытолченным навозом; колеса тонут в густой, непросыхающей массе; лошади едва передвигают ноги; ямщик гикает и хлещет кнутом, потому что без этого средства они наверное станут. По сторонам также лежат кучи навоза, около которых хлопотливо суетятся тощие куры; у ворот, позевывая, стоят сердитые, с насупленными бровями, мужики; около домов мечутся тощие, бледные женщины. Русская женщина везде одинакова; и в городе и в деревне она вечно что̀-то ищет, какую-то потерянную булавку, и никак не может умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой спасение мира. Там и сям виднеется вывеска питейного дома и стоит почерневший и покачнувшийся на сторону стол, на котором положено нечто такое, чему нет имени: бублики не бублики, калачи не калачи, что̀-то серое, белесоватое, почти ископаемое...

— Так это-то ваш город? — обращаетесь вы к ямщику.

— Нет, это не город,— отвечает он,— это только Поганая слобода! а город вон он — за мостом!

И действительно, меньше чем через минуту вы переезжаете мост над речкой, берега которой сплошь унизаны навозными кучами, и въезжаете в город. Опять навоз, опять экипаж и лошади тонут, с тою только разницею, что прежде вы ехали по ровному месту, а теперь приходится карабкаться по косогору. С правой стороны косогора, во рву, вьется та самая речка, которую вы только что переехали и от падения в кото-

рую с крутизны косогора вы защищены жидким балясником; впереди виднеется соборная колокольня, выкрашенная усердием обывателей в голубую краску; неподалеку от нее белеется здание присутственных мест и неизбежный острог. Те же бревенчатые домики, покрытые соломой, тот же навоз, те же покачнувшиеся столы, и вдруг ряд каких-то странных построек, не то будок, не то шалашей. Это центр города («le Kremlin»[1], как выражаются историографы), это средоточие его торговли. Тут вы можете во всякое время найти веревку, несколько аршин ситцу, заржавевшую от времени колбасу, связку окаменелых баранок, пару лаптей и проч. Тут же стоят каменные хоромы купца Белобрюхова, в нижнем этаже которых расположена бакалейная лавка, мучной лабаз и ренсковый погреб. Это тот самый негоциант Белобрюхов (le bon[2]), у которого местные историографы едят по праздникам пироги и который со всего собирает по малости. Едва вы въехали в город, как уже видите конец его. Иногда (если Глупов не черноземный, а промышленный) за этим концом синеет большая река, знаменитая своими песчаными перекатами; если эта река существует, то по берегу ее устроивается набережная, обстроенная каменными домами, в которых ютятся те же негоцианты Белобрюховы, с бесконечным числом складов, амбаров, ворот, железных запоров и суетящимся людом приказчиков, рабочих и т. д.

Но вот и постоялый двор. Гостиниц в городе нет, а ежели и есть какие-то странные заведения, носящие это имя, то они отличаются именно тем, что в них невозможен приют ни для чего живущего. Двор довольно обширен и покрыт навесом; темно, грязно, воняет. Среди общей тишины слышатся какие-то особенные звуки: лошадь фыркнет, свинья взвизгнет, голубь перепорхнет с места на место. Вы вступаете на крылечко, которого половицы колеблются под ногами; затем темные сени, в углу которых пыхтит самовар; затем ряд сколоченных из сосновых досок дверей, неокрашенных, необитых; на одну из них вам указывают. Вы в горнице.

Нет ничего унылее, как русский уездный город летом, особливо часов с десяти утра до шести пополудни, когда жар не то что палит, а словно льет с неба и окачивает человека с головы до ног. Вы не уверены, что город не спит, но в то же время не можете утверждать и того, что он спит, потому что повсюду слышится не то что движение, а какой-то странный шорох, как будто где-то кто-то роется... По временам в окош-

---

[1] кремль.
[2] молодец.

ко, около самого вашего уха, совершенно неожиданно раздается окрик, с трудом вылетающий из пересохшего горла:

— Клубнички... не надо ли?.. клубнички!

Перед вами стоит баба в белой рубахе, в такой же, испещренной красными узорами, юбке и с цветною повязкой на голове. Она предлагает через отворенное окно плетеную коробью краснобокой и пахучей лесной клубники и сама между тем отирает рукавом пот, горошинами выступающий на лице. Очевидно, она рада остановиться у вашего окна, потому что тут она, по крайней мере, в тени. Она уж с час шляется по улицам, заглядывает во все окна, во все двери и нигде никого не видит, кроме лениво вспархивающих при ее приближении голубей. И вот, наконец, перед нею живое существо, устроившееся около окна и как будто прислушивающееся к преисполненной шороха тишине...

— Что̀ сто̀ит? — спрашиваете вы бабу, не столько соблазненные видом захватанной клубники, сколько чтоб положить конец ее бесплодным странствованиям.

— Десять копеек,— отвечает она, но таким голосом, как будто сама удивляется своей дерзости.

— Et jadis on ne payait ça que deux kopeks! [1] — восклицает выросший тут же словно из-под земли историограф,— и заметьте, что ведь они торгуют без всяких патентов... ммерр-завки!

Вы колеблетесь. Первым вашим движением было заплатить десять копеек, но теперь, после слов историографа, вам кажется, что дать сразу такую груду денег — значит либеральничать, значит баловать народ и поселять в нем дух революций. Вам приходят в голову тысячи сентенций прежнего доброго времени о том, что состояния наживают копейками, о том, что копейку нужно беречь пуще глаза, и вы невольно начинаете выказывать непоколебимую твердость души.

— Шесть копеек! — говорите вы, соображая, что десять да два — двенадцать, разделенные на два, составляют шесть.

— Батюшка! дай хоть восемь! — канючит тот же надтреснутый, словно силой выдавляемый из горла голос.

На этот раз либерализм торжествует; восемь копеек выложены и отданы; баба улепетывает домой, верст за пять, счастливая и утешенная. Нет сомнения, она даже думает, что порядком-таки надула вас. Лёгко ли дело! Она встала в три часа утра, часа два нагибалась, собирая клубнику; потом, убравшись около дома, час шла в город, более часа шлялась по дворам и теперь употребит час, чтобы возвратиться домой... и

---

[1] А когда-то за это платили только две копейки!

восемь копеек! Такой результат хоть кому даст крылья! И конечно, она отнюдь не пренебрежет этой благостыней и завтра же опять явится у вашего окна с такою же ношей клубники, и если вас уже не будет в городе, то глубоко и горько вздохнет...

Это первый и самый простой вид торговли, той торговли, которая именуется свободною и которая разрешается всякому, имеющему возможность отдать пять-шесть часов времени за восемь — десять копеек.

Баба ушла. Опять не слышно человеческого голоса, опять тот же смущающий душу шорох. Напротив, через улицу, в деревянном некрашеном доме, белеются кисейные створчатые занавески, закрывающие только нижние два стекла окон и засиженные мухами; сквозь занавески и посверх их виднеется какая-то масса, не то одевающаяся, не то раздевающаяся. Бог весть откуда, словно полоумная, бежит стремглав индейка, завидевшая, что вы что̀-то едите и что̀-то кидаете в окно. А солнце так и льет целые волны зноя.

— Уж я, брат, не обману! уж коли я сказал, что животина хорошая, так бери с богом! — раздается голос на дворе.

Заслышав этот голос, вы покидаете «горницу» и отправляетесь на крыльцо. В уездном городе все настороживает чувства, все возбуждает любопытство. Желание хоть что̀-нибудь высмотреть или услышать овладевает человеком невольно, когда кругом царствует только безмолвие. На дворе, под навесом, стоит на коленах бородатый мещанин и режет овцу. Он режет ее потихоньку, не торопясь; порежет, воткнет нож в навоз, вздохнет и опять примется резать. Хозяин овцы (он же и хозяин постоялого двора) стоит подле и смотрит. Овца лежит смирно, до такой степени смирно, что в вашу душу закрадывается ужас. Ее не нужно даже связать, чтоб резать; она упрямится только тогда, когда ее выволакивают из хлева, в который ее предварительно загоняют вместе с прочими подругами, предлагаемыми на выбор. Но как скоро она уже на месте, то беспрекословно ложится на бок, беспрекословно протягивает вверх голову и ждет. Раз... раз... раз!.. Показывается небольшая струйка крови, затем какая-то нерешительная корча... еще и еще... все кончено!

— Ишь! — говорит бывший хозяин овцы, взирая, как она подрыгивает ногами.

Другие, выпущенные из хлева, овцы не вдруг идут за ворота, а останавливаются и как будто удивляются, какие такие неслыханные почести посыпались на их недавнюю подругу.

— Смотри, гривен семь на животине выгадаешь,— продолжает хозяин и, как будто сам дивясь своей умеренности, при-

бавляет,— какое семь гривен! тут, брат, рублем пахнет — вот что̀!

— Оно, конечно, рублик нажить можно,— отвечает бородатый мещанин, распяливая свою жертву на досках, перекинутых через прясла, и принимаясь тем же ножиком отделять шкуру от мяса,— да ведь тоже пить-есть, Прохор Прохорыч, нужно; опять же патент годовой взяли — его воротить тоже требуется.

Это уж торговля по патенту. Вы узнаёте, что город Глупов, несмотря на иллюминации и фейерверки, почти не ест говядины (в особенности летом), что мясников, однако, в городе довольно и что редкий из них выручает барыша больше, нежели на полтину в день. Между тем на эту торговлю нужно выправить в казне свидетельство мелочного торга, которое в уездном городе стоит от 8 до 15 руб., да билет к нему ценой от 2 до 6 руб., и сверх того заплатить разные сборы в город и земство.

— Зачем же вы торгуете? — спрашиваете вы у этих своеобразных негоциантов, изумленные ничтожностью результатов — неужели нет других способов заработывать деньги?

— А куда деваться, позволь тебя спросить? — ответит вам один,— нам и утопиться-то негде, потому наша река и для этого даже не годится!

— Все мы, сударь, около рублишка ходим! — ответит другой,— день не поешь, на другой поневоле начнешь поворачиваться! Убоину-то мы, сударь, только в светло-христово воскресенье да об рождестве едим!

— Вот хоть бы наш мясной торг,— вступает мещанин, только что зарезавший овцу,— здесь, в городе, говядину почесть что один исправник и ест! Зарезал теперича барана да и бейся с ним два дня, а на третий, гляди, он протух!

— Да ведь можно же отыскать какое-нибудь другое занятие, более прибыльное! — настаиваете вы.

— Ты выдь на улицу да и посмотри на все на четыре стороны! может, и найдешь что̀-нибудь, а нам не слыхать!

Бьет два часа; с одной стороны, одолевает скука, с другой стороны, начинает напоминать о себе голод.

— Где бы у вас в городе пообедать? — спрашиваете вы у хозяина.

Он смотрит на вас такими изумленными глазами, как будто вы у него спросили, где бы достать взаймы миллион рублей.

— Где обедать? — смущенно повторяет он ваш вопрос.

— Да ведь у вас есть гостиница?

— Гостиница?.. оно точно... только в ней кушанья не готовят... Чай, водка — это имеется!

— Сами-то вы что̀ же нибудь да едите?

— Сами?.. едим! Только вы нашего кушанья есть не станете! — прибавляет он каким-то таким убежденным тоном, что у вас мгновенно пропадет всякая охота узнавать, чем питается ваш хозяин.

Вы узнаёте, между прочим, что года два тому назад в городе существовал клуб, и тогда приезжий мог раза два в неделю найти себе обед, ежели попадал в счастливые дни, но клуб существовал только три месяца, потому что никто туда не ездил, а те, которые ездили, не платили денег.

— Нельзя ли достать хоть хлеба белого к чаю? — спрашиваете вы, соглашаясь мало-помалу на компромисс.

— Хлеба? — опять повторяет хозяин,— хлеб здесь по субботам поляки пекут, а теперь... да нет, вы нашего хлеба есть не станете!

— Какие же это поляки пекут хлеб?

— Да ссыльные... пекут про себя, ну, и прочие пользуются...

Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиваете себя: ка̀к существует этот город? И каким образом случилось, что в городе, имеющем все-таки тысячу жителей, устраивающем по временам «премиленькие иллюминации», вы не можете дня прожить, чтоб вдоволь не наголодаться?

Мимо города чуть не каждый день проходят гурты, едут возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (в летнее время) можно иметь только в базарный день, к которому бьют какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать молоко. Все, что везется или гонится,— все это направляется в Москву или в Петербург, а несчастный город глядит и даже губ не облизывает: так уж он свыкся с мыслью, что все, что̀ съедобно, удобно или приятно, существует не для него. Если в городе существует река, и вы полюбопытствуете, как идет рыбный промысел, вам ответят, что рыбы стало совсем мало, и всякий объяснит вам это исчезновение по-своему.

— С тех пор, как эти пароходы пошли,— скажет один,— совсем у нас в реке рыбы не стало.

— Что̀ врешь-то! — возразит другой,— кабы пароходы разогнали рыбу, все-таки она куда бы нибудь девалась, а то ее и везде, по всей реке, стало в десять да в двадцать раз против прежнего меньше. А ты вот что лучше скажи: весной, мол, ваше благородие, в то самое время, как ей икру метать, эту самую рыбу вылавливают, ну и плодится она год от году меньше.

Во-вторых, вам скажут, что хотя рыба в садках и есть, но

не для местного употребления, а опять-таки для Москвы и для Петербурга, куда она уж и заподряжена.

— Что̀ ж, наконец, тут едят? — спрашиваете вы уже с некоторым любопытством.

— Да кому у нас, сударь, есть-то? — ответят вам, — разве что вот у исправника столы бывают, а что про прочих жителей можно сказать одно: едят, что̀ бог послал.

И, подумав немного, непременно присовокупят:

— Вы нашего кушанья и есть-то, сударь, не станете!

В городе два училища: уездное и приходское, но что̀ в них делается — про то знают только те немногие дети, которые посещают их; никто из взрослых этим делом не интересуется. Нет ни клуба, ни библиотеки; читать нечего и негде. В конце пятидесятых годов, когда всякий литератор-обыватель не иначе начинал свою корреспонденцию, как словами: «В наше время, когда...», штатный смотритель училищ завел было кой-какую скудную библиотеку, и просвещенье в городе на мгновенье просияло; но в 1862 году оно опять потухло, и просиял навоз. В почтовой конторе получается несколько экземпляров журналов и газет, но подписчиков, живущих в городе, почти нет, а выписывают материал для чтения только помещики, попрятавшиеся в своих усадьбах.

Куда деваться? что̀ делать?

Седьмой час; жар начинает понемногу сдавать, хотя все еще печет. Вы видели какое-то подобие движения в третьем часу, когда приказные вереницей потянулись из присутственных мест по домам отведывать того кушанья, которого вы «есть не станете», и за ними, из тех же присутственных мест, выбрело с пяток мужиков, очевидно, искавших себе удовлетворения у местной Фемиды. Почти такое же движение оказывается и теперь; опять плетутся приказные, но уже в обратном смысле; все направляются из домов в присутственные места для вечерних занятий. Выйдем мы и заглянем в средоточие местных торговых интересов, в так называемые ряды.

Ряды эти состоят из одного-двух десятков деревянных построек, потемневших от времени и сильно накренившихся набок; там и сям расположены дощатые прилавки с устроенными над ними от жару и непогоды навесами; у прилавков сидят старые и молодые торговки и что̀-то вяжут, переговариваясь между собою. Под столами, в коробьях и лукошках, заключается запасной товар; на прилавках тот товар, который предлагается покупателю. Первую роль играют гречневики, гороховый кисель и ржаной хлеб. Сбоку: в искалеченном чайнике — конопляное масло и в кружке — какое-то темное сладковатое пойло, которое называется суслом. Когда покупатель

желает приобрести гречневик, торговка предварительно поваляет его в руках, польет маслом и затем уже подает потребителю. Очевидно, что это и есть то самое кушанье, о котором вам говорили, что «вы его, сударь, есть не станете».

— Ну, что̀, как торгуете?

— Какая наша торговля! всех-то нас собрать — десяти копеек дать не за что.

— А вы бы, старушки, поживее!

— Чего тут! еще зимой ништо̀: мужики ездят — иной раз и на полтину поторгуешь, а летом и вовсе худо. Да хорошо еще, как за день-то тебя не убьет кто-нибудь!

— Уж и убьет!

— А то ка̀к же! то чиновник палатский на тебя налетит, то из думы, а тут еще полиция — штраф подавай!

— Это значит, что вы не снабжаете себя своевременно документами! поймите, старушки, ведь это тоже нехорошо!

— Нехорошо-то нехорошо, что про то говорить. Только и тягости-то нонче очень уж велики стали.

— А ка̀к?

— Да вот как: ты вот видишь ли этот стол? так это, сударь, не стол называется, а «торговое помещение», и потому отдай за него в думу два рубля. Потом чиновник палатский даст тебе билет — этому заплати четыре рубля, потом в земскую сорок копеек... а робят-то! робят-то! и на что̀ только они, каторжные, на свет урожаются!

— Ну, вот видите ли, какое вам снисхождение делается! Вы, по-настоящему, билет-то еще в декабре прошлого года должны были выправить, а вам чиновник выдал его уже в мае, при поверке торговли. Штраф ведь за это с вас следует.

— И то взыскивают. Только у нас, барин, у всех-то вместе четырех рублей никогда не бывает, так нам пожалуй что и все равно!

— Да ведь в законе-то сказано: «Если кто откроет без взятия свидетельства или билета промышленное заведение... то таковое должно быть немедленно закрыто». Ка̀к же не закрывают ваши «заведения»?

— И закрывали! не один раз уж закрывали! «Ступайте, говорят, вон, плёхи!» Ну, а мы тоже свое: куда, мол, ваше благородие, идти прикажете? нас и земля-то не принимает!

— Что̀ ж «он»?

— Что̀! постоит-постоит, разведет руками, скажет: «курвы!», да и пойдет прочь.

Мы подходим напротив к лавочке, в которой ведется так называемый мелочной торг. Мешок с крупою, другой с ржаной мукою, третий с мукой пшеничной второго или третьего сорта;

несколько пучков веревок, связка гвоздей, обрезки железа, с десяток фунтов сальных свечей, осколок сахару, банка, на дне которой рассыпан пыльный чай, кусок мыла, несколько пар висящих лаптей — вот внутреннее убранство лавочки.

— Ка̀к поторговываете?

— На десять копеек товару-с, на рубль хлопот-с!

— Что̀ так?

— Продажи нет-с. Народ, значит, обнищал. Никому ничего не требуется-с.

— Однако барыши все же должны быть?

— Уж это разумеется-с; без барышов как же возможно! На полтину в день торгуем, а ино место и рубль выручишь!

— Ка̀к же вы делаете? Ка̀к воспитываете детей?

— Мрут тоже-с. Стараемся, кажется, довольно, а всё как-то надежды не видим. Год-то бьешься-бьешься, а к концу либо ничего не останется, либо сам еще Белобрюхову задолжаешь!

— Странный, однако, у вас город! не ест, не пьет; целые дни либо на солнце печется, либо на морозе зябнет — и все не впрок!

— Так уж ему, сударь, удалось. Осмелюсь доложить, что тягости наложены на нас уж очень беспримерные!

— Например?

— Как же-с! Вот теперь за это пристанище в думу пять рублей заплати; за свидетельство в казначейство десять рублей снеси, за билет к нему четыре рубля, да в земскую — рубль сорок. Денег-то сколько вышло! Год-то торгуешь, а к концу и разноси барыш по мытарствам, да, пожалуй, еще на стороне где-нибудь перехвати! Вон этим плёхам рай, а не житье! — прибавляет мелочник, указывая на торговок,— а наша жизнь — как есть каторга!

— Чем же, однако, их житье лучше вашего?

— Их-то! да помилуйте! они и патентов никаких не знают; так, по-дворянски блаженствуют! Намеднись, палатский чиновник приезжал: берите, говорит, старушки, патенты! А на что̀ нам, говорят, твои патенты! мы и без них с голоду умереть свободны! Сволочи!

— А вам без патента нельзя?

— Нам-с? нам это никогда невозможно. Потому, у меня «заведение» настоящее, закрытое, с дверями, как следует. Сейчас это пришел депутат с полицейским, закрыл двери, запечатал... куда я пошел? А им разве можно запретить! сегодня ты ее с места согнал, а завтра она опять либо тут, либо на другом месте чулок вяжет! И какую они, сударь, пакость нам делают! так и рвут, так и рвут к себе покупателя!

— Однако ведь они совсем другим товаром торгуют!

— Да и мы бы ихним товаром торговать стали, потому что товар нужный, ходкий; только против их потрафить никак невозможно! Ты две копейки, она полторы! сколько мы на них жаловались — все толку нет! Вот тут, подле, сосед красным товаром торгует, так против него этакая же тесемщица проявилась— не дает торговать, да и шабаш!

Таким образом идет мелочная розничная торговля. Всякий торговец непременно пожалуется на недостаток потребителей, на возрастание конкуренции и на тяжесть налогов. Всякий готов перервать горло своему соседу, нажаловаться, наябедничать, и в результате этой вражды, этой ненависти, при самых удачных обстоятельствах, получается полтина.

— И куда только покупатель девался? словно он, сударь, сквозь землю провалился! никому ничего не надо! — раздается со всех сторон.

Один купец Белобрюхов не унывает. В его каменных палатах вы можете найти все: тут и ренсковый погреб, тут и бакалейная лавка, а на дворе анбаров, анбаров! Но зато он объявляет капитал по второй гильдии и, имея до десяти помещений, платит в казну за одни свидетельства и билеты (по 4-му классу) сто тридцать пять рублей, за членов семейства (до десяти человек сыновей, братьев, дядей и проч., записанных в один капитал) пятьдесят рублей, за двоих или троих приказчиков 2-го класса пятнадцать рублей и в земскую управу около пятидесяти рублей, всего, стало быть, около двухсот пятидесяти рублей. Исполнивши это, он может делать обороты на миллионы и радоваться на мир божий, сколько душе угодно. Для него не существует ни повышения цен, ни понижения; это торговец основательный («le bon»), и цены у него всегда настоящие. Рядом с ним, в его же доме, торгует красным товаром некто Поганкин, который продает в год на тысячу рублей и тоже уплачивает до ста рублей в год, потому что продает ситец (товар купеческий) и сверх того записывается в гильдию, чтоб избавить семью от рекрутства.

— Кабы не рекрутство,— говорит он,— какой же черт толкал бы меня в гильдию лезти!

Таким образом, в городе оказывается до пятидесяти гильдейских капиталов, а в сущности купцов только двое: Белобрюхов и Белобоков. Они едят и по будням и по праздникам щи, которых «не продуешь», пироги и свинину; они спят на перинах и с перепою не чувствуют даже клопов. Все остальное питается чуть не древесной корою и спит вповалку на войлоке, а подчас и на той ветхой «лòпоти», в которой слоняется днем.

Однако в рядах больше делать нечего; везде бедность,

завидующая бедности же и кланяющаяся в пояс богатству. Бедность разрозненная, забитая, разбегающаяся врассыпную при одном имени Белобрюхова. Зато Белобрюхов устроил бульвар по берегу реки, исправил какой-то въезд, основал богадельню на десять человек, внес десять тысяч на основание общественного банка и теперь серьезно помышляет о железной дороге. Граждане не нарадуются им и с гордостью говорят, что и их город будет в скором времени соединен железным путем с обеими столицами.

— Что ж, навоз, что ли, вы перевозить будете? — спрашиваете вы у чересчур расхваставшегося обывателя.

Обыватель очень чувствительно оскорблен вашим вопросом.

— Навоз не навоз,— говорит он,— а всякое произведение. Примером, теперича, коноплю, рожь, овес, говядину, сало, лен, пеньку, веревку, рыбу, клей, солод, щетину, перьё, птицу, свиней, мед, воск, деготь, поташ, мыло, смолу, хмель, спирт, шерсть, холст...

Он поименует вам целую уйму разных названий. Слушая эту разнообразную номенклатуру, вы изумитесь, но ежели вникнете в сущность дела, то поймете, что все эти названия способны только испортить ныне существующие способы сообщения и нимало не напитать способов сообщения усовершенствованных.

— У нас, сударь, третьего года такую иллюминацию задали — страсть! стало быть, будет что̀ перевозить! — прибавляет словоохотливый обыватель.

Но воротимся на постоялый двор. У ворот высыпало все хозяйское семейство и, позевывая, наслаждается вечерней сьестой. «С чего они зевают? — думается вам,— неужто с голоду?» Тут же приютилась какая-то темная, юркая фигура в затасканном и местами прорванном сюртучишке, в которой вы узнаёте бывшего дворового господ Беспорточных, Ардашку.

— Ба! Ардальон! здорово!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — восклицает Ардальон, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикул, но не успевает в этом, по недостатку потребной для того физической силы.

Вы знаете Ардальона с детства. Он всегда был малый проворный и смышленый; в доме помещика он был очень хорошим портным; и по оброку ходил, и в наказание за всякие провинности был высылаем в деревню, где одевал и обшивал весь дом. Никогда его не замечали пьяным, кроме, разумеется, годовых праздников, которые он неизменно и неизбежно проводил без чувств.

— Золотые у этого человека руки! — говаривал про него господин Беспорточный,— и, кажется, ежели бы не чарочка да не женский подол, никакому бы Шиллингу и Тёпферу (знаменитые в то время портные в Москве) перед ним не выстоять!

Теперь этот человек очутился на воле, или, иными словами, он пущен в пространство с увольнительным свидетельством в руках и в продранном сюртучишке. Натурально, он тотчас же устремился в город. Но каково же было его изумление, когда он узнал, что в городе никому ничего не нужно; что тут никто не ест, не пьет, не обувается, не одевается и что, вдобавок, с него требуют рубль серебром «на призрение» да еще два с полтиной за патент!

— Ну, что̀, как дела? — спрашиваете вы его, но, оглядевши с ног до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопрос ваш по малой мере излишен.

— Что̀ дела-с! наши дела как сажа бела!

— Что̀ так?

— Работать не дозволяют!

— Не может быть!

— Точно так-с. Намеднись сижу я, это, в квартире, жилетку господину Белобрюхову работаю. Вдруг входит чиновник: «Ты что̀ делаешь?» Я даже сам испугался, точно и невесть какое преступление делаю.— Жилетку, говорю, для господина Белобрюхова шью.— «А патент, говорит, есть?» — Какой патент? — Тут я, сударь, узнал, что работать без патента воспрещается-с, а цена ему два с полтиной. Тут же и акт об этом составили, что я, значит, обманным манером работаю, а через два месяца вышло решение: взять мне патент и взыскать, кроме того, другие два с полтиной, а до тех пор «заведение» мое запечатать. Вот и все мое ремесло.

— Какое же заведение закрыть? магазин, что̀ ли, у тебя был?

— Какой магазин! так, угол нанимал у одного мещанина! Уж и мы с полицейским тогда дивились, какое такое заведение опечатать! Только полицейский все-таки вывернулся: «Заведение, говорит, я твое опечатать не могу, а инструмент отберу!» Было у меня тут игол с дюжину — взял, завернул в бумажку и запечатал; был кирпич (род подушки, в которую портные втыкают иглы) — тоже взял и опечатал; даже к столу, на котором я сидел, и к тому приложил печать!

— А ты бы спросил: что̀ ж тебе теперь делать?

— И то спрашивал. «Нечего, говорит, теперь тебе другого делать, кроме как в кабак идти!»

— Чем же ты живешь?

— Чем живу-с? кой-куда в дома пошить зовут, тем и кормлюсь! а впрочем, какой у нас город, только что зовется городом! Кто побогаче — нашей работой гнушается, в Москве да в Петербурге норовит амуницию себе сшить, а победнее, так и сам иголкой ковырять может.

— Видно, брат, богатому везде хорошо, а бедному везде худо. Так-то.

— Так точно-с. Только этим и обнадежены,— отвечает он и потом, спохватившись, что сказал глупость, продолжает,— вот, сударь, что я хотел вас спросить: как теперича жить нам будет?

— А что?

— Да вот-с: третьего года город-то наш горел, прошлого года ничего, кроме лебеды, в уезде не уродилось, а нынче, слышно, скотина вальмя валится.

— Бог поможет, справитесь как-нибудь...

— Это точно-с. Велика милость божья.

— Подати будут заплачены? Не так ли?

— Это так-с. Господин исправник на этот счет довольно строги. Как ни хоронись, а под рубашкой всегда эта подать найдется!

— Нехорошо, Ардальон! Роптать, братец мой,— это последнее дело.

— Уж на что хуже! Однако прощения просим, ваше высокоблагородие.

Ардальон уходит. Уже совсем смерклось, а вас одолевает зевота. Все, что можно было высмотреть в городе, все высмотрено. Два, три часа времени — вот все, что нужно, чтобы его внутренняя жизнь выступила наружу. Конечно, вечером заметно как будто больше оживленья на улицах: семейство исправника проехало в долгуше, купец Белобрюхов пролетел на тысячном рысаке, запряженном в одноколку; вереница чиновников, с папиросами в зубах, потянулась к бульвару, но все это словно во сне делается. Чувствуешь, что этим людям жить надоело, что они вполне равнодушны к действительности и живут мечтаниями. Даже не трудно угадать, о чем они мечтают. Скоро наступит 1 июля и последует розыгрыш лотерейного займа первого выпуска. Люди, обладающие хоть одним билетом, надеются и строят планы, что они сделают, если на их долю выпадет двести тысяч; люди, которые не обладают ни одним билетом, тоже строят планы... что они сделали бы, если б на их долю выпало двести тысяч. Люди компетентные уверяют, что вся Россия только и живет ныне этими надеждами...

Но вот и совсем смерклось; по местам замелькали в окнах

огни, но большинство домов тонет в мраке, ибо сальная свеча стоит денег, и хозяева не всегда могут дозволять себе эту роскошь. Город зевает, стелет армяки и полушубки...

Блохи, клопы, тараканы освежают сон истомленного дневным зноем рыцаря ломаного гроша.

Зимой дело идет поживее. Навоз, покрывающий площадь, показывает, что, по временам, здесь бывает людно. Вместо одного гроша торговец получает два и три, но из грошей все-таки никак выйти не может. Раз десять в день он перевернет этот заколдованный грош, и все-таки он очутится в его кармане тем же грошом, частицу которого необходимо отделить в общий ящик. И как он бьется из-за этого гроша, как ругается, как льстит и подличает, как костит своего соседа! Глядя со стороны, можно подумать, что дело идет об обеспечении его долгого-долгого будущего, а не о том, чтоб как-нибудь сбыть с рук распроклятый сегодняшний день!

Это правда, что зимой торг живее и выгоднее, но в то же время зимой и расходов больше. Хотя посадский человек в недавнее время и освобожден от подушной подати, но зато явилось много новых повинностей, которые нужно очистить именно в декабре и в январе. Первое — государственная повинность; второе — налог с недвижимых имуществ, то есть с той хижины, в которой он не столько живет, сколько, так сказать, хоронится от жизни; третье — патент. А тут еще рекрутский набор на дворе; если не приходится отвечать своею личностью, то, во всяком случае, придется отвечать деньгами: на обмундирование, на продовольствие, на наградные рекрутам, на вознаграждение рекрутских сдатчиков... Откуда взять? ка̀к извернуться? Волею-неволею приходится отделить ложку или две от тех пустых щей, которыми мещанин наливает ежедневно свое несытое брюхо, или отлить четверть шкалика от той сивушной порции, на которую заглядываются его завидущие глаза.

— Нынче мы, сударь, дровами никогда не топим! — говорят вам в одном месте,— нынче у нас щепа да солома в моду пошли. Было наше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!

— Когда с нас подушные брали, нам не в пример легче было! — говорят в другом месте,— первое дело, платили мы по общественной раскладке, стало быть, у кого засилия больше, тот и душ больше оплачивал; второе дело, коли много уж очень недоимки накапливалось, так или голова, или другой

благодетель, бывало, выищется: нет-нет да и внесет за общество! А нынче всяк за себя отдувайся, патента-то никто тебе уж не купит!

— А тут еще дворовых голышей нагнали! — вопиют в третьем месте,— дохнуть от них, канальев, нельзя. Где прежде было два сапожника, там нынче их двадцать два, и все норовят на одном сапоге заплату наставить!

И какую жизнь ведет этот дикий, озлобленный от голода народ — это невозможно даже представить себе. Не говоря уже о тех черных, покосившихся избушках, в которых ютится большинство, посмотрите, какое зрелище представляет зимой самый лучший постоялый двор, в котором отдаются так называемые «чистые комнаты»! Чернота, которая поражала вас еще летом, сделалась еще чернее, увеличившись всею суммою грязи и слякоти, приносимой на сапогах, шубах, полушубках, рукавицах и проч. Мокро, скользко, стены проникнуты сыростью, в воздухе стоит пар. И при этом запах — смесь всевозможных отвратительных воней, немыслимых ни в какой тюрьме. Тут и промозглая сметана, которая поставлена где-то под лавкой киснуть; тут и овчина, и кислая капуста, и махорка, и телячий помет... Читатель! если вы когда-нибудь решитесь отчетливо представить себе эту картину нашей провинциальной торговли и ремесленности, вам, наверное, сделается если не страшно, то тошно.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Оставим на время вопрос о том, ка̀к делается русская деньга, и обратимся к другому, который в настоящее время поглощает все внимание провинции и, следовательно, имеет за собой преимущество насущного интереса.

Вопрос этот формулируется так: представляет ли строгость самостоятельную творческую силу в отношении к материальному и нравственному развитию народа? или, выражаясь точнее: возможно ли, с помощию одних так называемых решительных мер, увеличить производительные силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ее жителей, устранить задержки в фискальных сборах, поселить доверие и т. д.?

Как ни младенчески наивны эти вопросы, но, к сожалению, в жизненности их невозможно усомниться. За ними стоит целая история, и мы, провинциалы, безвыходно живем в атмосфере, ими насыщенной. По временам бесплодность подобных задач делается для нас более или менее ясною, но едва начи-

нают они настоящим образом умирать, как вновь откуда-то является убеждение в их необходимости, и с новою энергией они заявляют о своем существовании. Пускай одни утверждают, что главный двигатель производительности есть капитал; пускай другие приписывают это труду, третьи — знанию, усовершенствованным способам производства, равномерному участию в прибылях и т. д. Мы, жители провинции, стоим на одном: что производительность возрастает и упадает единственно по мере того, как возрастает и упадает строгость. Проще не может быть.

Надо сказать, впрочем, правду, что характер строгости подвергся в последнее время значительному изменению. Когда-то в провинциях наших господствовала строгость простодушная. Были такие счастливчики, которым стоило выйти на улицу, чтоб сказать себе: «Все мое! и стихии мои! и все, что множится, растет и дышит при содействии этих стихий,— все мое!» Некоторые до того простирали свою строгость, что даже говорили: «моя наука, мой климат» и т. д., и никому не приходило в голову возражать против таких похвальных слов. Эта беспрекословность порождала уверенность, уверенность же, с своей стороны, значительно смягчала проявления строгости. Теперь против прежнего сделалось гораздо обременительнее. Тот же счастливчик выходит на улицу и уже сомневается: точно ли все его? Но так как прежнее вожделение еще не остыло, то необходимость признать известную долю конкретности за тем, в чем предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольным образом вносит во все властные отношения какой-то желчно-завистливый, почти что мстительный характер. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяет потребностей времени; мерещится что-то вроде прекрасного здания, у которого и в основании положена строгость, и стены сложены из строгости, и крышу, то есть венец здания, составляет строгость же.

Построить такое здание и засадить туда россиян — вот идеал, над которым мы в настоящую минуту задумываемся. Разногласия на этот счет хотя и существуют, но незначительные. Одни призывают строгость потому, что вообще не могут совместить свое существование с существованием других; другие, более добродушные, призывают ту же строгость, как меру временную, при помощи которой должны, по их мнению, исчезнуть фантомы, которые все мрачнее и мрачнее рисуются на общем фоне жизни.

— Только на этот раз! дайте только почувствовать — но почувствовать сознательно и неуклонно,— что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, как быстро исчезнут

неурядицы и смуты, которые загромождают наше существование!

Вот речи, которые говорятся людьми совершенно незлобивыми. Но ежели спросить у этих ревнителей общественного благополучия, что̀ собственно они разумеют под словом «неурядицы», то сквозь тьму всевозможных запутанностей и оговорок вы различите, что это название прилагается безразлично ко всякому проявлению самостоятельности и правоспособности. Есть целый класс индивидуумов, который, по мнению теоретиков строгости, должен, для собственного своего блага, сидеть смирно и ждать погоды. Так, например, ежели подрядчик притесняет рабочих, и последние начинают чувствовать это, им говорят: «Подождите, любезные! потерпите!» Если человек изнемогает под бременем разного рода непредвиденностей и начинает доказывать ненормальность такого положения, ему говорят: «Нельзя же, мой милый, вдруг! потерпи!» О чем бы ни высказывалось мнение, на что̀ бы ни приносилась жалоба,— всему одно определение: беспокойный характер! на все один ответ: «потерпи!» Сроков не назначается, уважительных причин не приводится. Одно ясно: это присутствие какого-то неслыханного учения, в силу которого к легальности нельзя прийти иначе, как путем упразднения той же легальности.

Слушать подобные рассуждения тяжело до крайности. Точно тени мечутся перед глазами, точно проходит безобразное сновидение. Положение слушающего делается ненормальным до болезненности. Но нет, это не тени и не порождения кошмара — это живые и очень крепкие организмы, в которых есть все (даже есть своеобразное добросердечие), кроме разумного отношения к действительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрывают свою наготу первым попавшимся древесным листом, не зная и не желая знать, что на свете уже придуманы другие одежды, гораздо более приспособленные к удобствам человека. Первобытный человек неприхотлив и еще менее изобретателен. Действовать на сознание, убеждать, доказывать и вообще «разговаривать» — все это представляется ему потерей времени. Зачем трудиться развязывать узел, когда его можно сразу разрубить? И, к сожалению, повторяем, это совсем не тени, а действительные организмы, которые имеют полную возможность доказать свою несомненную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать их безазбучные разглагольствования о пользе строгости, как живоносного начала всякого благополучия, то можно себе представить, в какой мере увеличивается эта тяжесть, когда приходится видеть применение этих разглагольствий на прак-

тике, когда приходится жить в атмосфере, ими отравленной. А между тем можно сказать, что это почти насущный наш хлеб, что мы, жители провинции, издавна никакой иной пищи не знаем, кроме строгости, которая упитывает нас едва ли не свыше самой широкой потребности.

Много сочиняется у нас проектов насчет восстановления энергии, но наибольшею популярностью пользуется тот, который предполагает концентрировать эту энергию в одном вместилище. Безобразие разделения властей ныне вполне сознано, но, к сожалению, не сознано, что в этом разделении все-таки заключалось нечто похожее на гарантию. Я чувствую, что эти слова изумят читателя. Возможно ли, скажет он, утверждать, что бессмыслица может представлять какое-то обеспечение? Да̀, милостивые государи, возможно. Бывают положения, когда не только бессмыслица, но даже прямое злоупотребление, вроде, например, взяточничества, представляет обеспечение. Дело в том, что человеческие общества так устроены, что для процветания их необходимо, чтобы единоличный произвол имел противовес, и ежели сравнивать положение, в котором есть хоть какой-нибудь шанс спасти что-либо от поползновений широковещательности, с таким, в котором совсем нет таких шансов, то едва ли не придется отдать предпочтение первому из них, как бы ни велико было его внутреннее безобразие.

Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей деятельности направление исключительное (в смысле бесповоротной строгости), мы, конечно, можем достигнуть результатов очень нешуточных. Но, во-первых, подобные результаты едва ли будут в наших расчетах, и, во-вторых, они еще менее подойдут к среднему уровню человеческих желаний. Средний человек, с которым преимущественно приходится иметь дело, всего более ценит возможность свободно устроиваться и распоряжаться в той небольшой сфере, которую он привык называть своею. Поэтому, если и можно убедить его, что образ действий наиболее враждебный этой возможности есть вместе с тем и такой, который всего скорее сделает ее общим достоянием, то это убеждение будет чисто теоретическое. На практике он будет всегда искать и отдавать предпочтение таким комбинациям, которые делают жизнь более легкою и удобовыносимою. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что̀ же делать, если в натуре человека не подставлять голову под удары, а защищать ее от них?

Поэтому казалось бы более рациональным, покуда не отыщется действительно компетентная среда для противовеса широковещательности, не уничтожать, по крайней мере, тех

противовесов, которые утвердились уже сами собою. Представьте себе балет, в котором не было бы ни второстепенных корифеев и корифеек, ни кордебалета и в котором на голом, обнаженном от декораций полу плясали бы только первый танцовщик или первая танцовщица? Конечно, такой балет показался бы для зрителей утомительным даже в том случае, если б танцующий сюжет показал искусство самое неслыханное. Голо, бессвязно и, главное, не видно, для чего сюжет пляшет. Но этого мало: плясание столь неистовое утомительно и для самого пляшущего. Некоторое время он пляшет с увлечением, но под конец силы его истощаются, он начинает утрачивать смысл своей пляски, начинает тяжело дышать и видимо тяготится тем, что он один занимает всю ширину сцены. «Эй! кордебалет!» — восклицает он в отчаянье, но, увы! — кордебалет уж распущен, и на место его выступают плотники, машинисты, устраиватели провалов, адов и т. п. Положим, что это сказание о балете — не более как притча, но примените ее к настоящему случаю, то есть к вопросу о концентрировании широковещания, и вы увидите, что притча эта имеет свой смысл.

Но так как чувство действительности, по-видимому, утрачено, то очень понятно, почему на место его так решительно выступает сознание строгости, и почему оно с каждым днем приобретает все бо̀льшую и бо̀льшую силу. Отсутствие действительной силы образует пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимою. Появляются люди бессильные, но озлобленные, которые ни о чем не хотят слышать, ничего не желают знать, кроме одного: строгости. Нет ни прошедшего, ни будущего; есть лишь настоящее, которое имеет в виду последнюю курицу, которое рассчитывает на чувствительность человеческого организма.

Предположим, однако ж, что идеалы, к которым мы стремимся, осуществились. Предположим, что широковещание утвердилось безраздельно и на прочном основании, что положение «шаром покати» достигнуто, что смолкли даже и те слабые писки, которые доселе нарушали общее безмолвие. Что̀ ж делать? — вот вопрос, который из недр самого безмолвия возникает совершенно естественно и неудержимо.

Как бы ни восхваляли строгость, все-таки это не больше, как форма, которую следует наполнить каким-нибудь содержанием, если мы желаем, чтобы она имела значение. Некоторые даже думают, что это совсем и не форма, а просто уклонение человеческого разума, до которого здоровой жизни нет никакого дела. Но допустим, что говорящие таким образом суть утописты; сузим нашу задачу до бесконечности и спросим

себя: давала ли, может ли дать строгость какие-либо иные результаты, кроме безмолвия? и, в свою очередь, давало ли безмолвие иные результаты, кроме общего нравственного и материального оскудения?

История отвечает на эти вопросы отрицательно. Когда Чингис-хан, Батый, Аттила и проч. проходили через страну с огнем и мечом, она не просиявала светом наук, и реки ее не закипали ни млеком, ни медом — это факт неопровержимый. Напротив того, там, где до их прихода были города и селения, где копошился человек и существовали полные житницы, там очутилось голое, безмолвное место. Причина такого явления весьма понятна. Все названные нами люди ничего не приносили с собой, кроме строгости, а так как строгость есть понятие отвлеченное, которое никого не питает, то и вышло, что они исполнили только ту половину своей предполагаемой задачи, которую они действительно способны исполнить, то есть сожгли, разрушили, разорили, и затем пошли дальше и дальше, покуда им не сказали: довольно! Это «довольно!» имеет свое значение, над которым нелишне размыслить. Если люди кричат известному явлению «довольно!», то это значит, что оно им не надобно, что они могут гораздо лучше устроить свою жизнь, если его не будет. Пренебрегать подобными заявлениями нельзя уже потому, что мероприятие самое строгое все же обрушивается не на ком другом, а на людях, и следовательно, их мнение в этом деле должно иметь вес. Основываясь на этом, многие полагают даже, что выражения вроде: «строгость спасительна» или «строгость своевременна» — суть выражения, внесенные в лексикон самовольно, без согласия тех, до которых они относятся. Ибо если бы Чингис-хан истреблял людей даже с полезною целью истребления в них невежества, то и тогда он был бы неправ, так как с истреблением людей каким же образом он мог бы приступить к насаждению просвещения?

Представьте себе группу людей, изнемогающих под игом предрассудков и невежества. Эти люди довольствуются указаниями самого грубого эмпиризма и потому ничего не могут ни предвидеть, ни предотвратить; они ребяческим образом пользуются находящимися в их распоряжении богатствами природы и, следовательно, извлекают из них так мало, что понятие о действительных удобствах жизни не может даже существовать для них. Такое положение очень печально; но оно не безвыходно, потому что для него есть поправка в распространении знания. И вот к этим несчастным людям приходит человек просвещенный, обладающий массой полезных знаний, и предлагает поделиться с ними имеющимся

у него запасом. Первое, что поразит его в этом случае, будет, конечно, то, что эти люди, несчастнее которых, кажется, нет на свете, еще не настолько, однако ж, несчастны, чтобы стремглав броситься в его объятия и сказать: «Благодетельствуй! мы всё потерпеть согласны!» Но, как ни огорчителен может показаться подобный факт, все-таки благо будет просветителю, если он в этом колебании увидит только признак общего всем людям желания сначала понять то, что̀ предлагается, а потом уже, по мере уразумения, и принять предлагаемое. Но ежели он человек строгий, то колебание примет в его глазах все размеры преднамеренного противодействия и в этом качестве, наверное, возбудит негодование. Послушный этому чувству, что̀ он предпримет? Ежели он начнет стрелять, то очевидно, что достигнет истребления — и ничего больше. Ежели он воздержится от стрельбы, а только будет бить палкою, то и тогда его просветительная миссия значительно задержится. Это до такой степени верно, что нет в мире страны, в которой разоренная местность не называлась бы разоренною, а забитые люди — забитыми, и в которой смысл этих названий означал бы что̀-нибудь лестное. Как хотите, а номенклатура эта имеет свой смысл. Она означает, что с какою бы целью ни было предпринято разорение, из него ничего не может выйти, кроме разорения же, и что глубоко ошибаются те, которые, устраняя у обывателя последнюю курицу, думают, что вследствие этого у него явятся две.

Несмотря на столь жалкий результат, приведенный выше пример, однако ж, еще слишком благоприятен для строгости, чтоб можно было остановиться на нем. Роль просветителя предполагается в нем принадлежащею человеку, действительно обладающему знаниями. Но гораздо чаще бывает, что человек считает себя имеющим право на широковещание совсем не вследствие высшего нравственного и умственного уровня, а только потому, что носит на плечах другого покроя одежду, нежели та, которую носят люди, подлежащие напору просветительной деятельности. Кто может поручиться, что этот человек из всех ходячих понятий о том, что̀ для людей полезно и что̀ неполезно, принимает именно то, которое наиболее соответствует настоящим потребностям минуты? Кто будет так смел, чтоб утверждать, что этот человек не невежествен, не односторонен... наконец, не глуп? Разве право на широковещание не лотерея? разве все эти Дарьи Петровны, Марьи Ивановны, Татьяны Федоровны, ежеминутно рождающие людей широковещательных, обязывались клятвенно, что чада их непременно будут сердцеведцами? Представьте же себе, что чадо это родилось со всеми качествами человека не-

проницательного, и затем сообразите, что̀ может наделать этот непроницательный человек, как только почувствует, что широковещанию его никаких граней не полагается!

Картина просветительно-опустошительных подвигов, которым предаются люди, считающие себя просветителями потому только, что ходят в пиджаках, а не в зипунах, и пьют шампанское, а не сивуху, известна каждому, кто хоть малое время жил в провинции. Это своего рода «Последний день Помпеи». Но каждый раз, как приходится описывать эти подвиги, рука дрожит и самая мысль немеет. Поэтому мы и не пытаемся описывать их, а только спрашиваем: ужели мало того, что есть и чем мы и без того бесспорно пользуемся? ужели есть еще надобность прибавлять, усиливать, концентрировать?

Если от кого-нибудь требуют, чтоб он исправно обработал, например, десятину земли, то всякий сколько-нибудь разумный человек согласится, что для этого надобно, во-первых, чтоб индивидуум, к которому обращается требование, был знаком с приемами обработки, во-вторых, чтоб у него был исправный инструмент, в-третьих, чтоб он был до известной степени заинтересован в этом деле. Представьте же себе, что вместо этих условий человеку предлагается только строгость, что ему не дают ни сведений, ни инструментов, ни вознаграждения, а только от времени до времени секут. Насколько подвинется от этого обработка показанной десятины?

Конечно, мне могут возразить, что пример этот слишком фантастичен, что действовать подобным образом, то есть в сечении видеть замену материальных и нравственных посредничеств, может только человек совершенно безумный. Нет, милостивые государи, этого человека нельзя назвать вполне безумным; он тот же неразвитый, выросший в известных привычках, как и множество других, которых мы вовсе не разумеем безумными. Сказать ли более? едва ли это не тот самый индивидуум, о котором вы сами, милостивые государи, мечтаете и которого имеете в виду в те сладкие минуты, когда вас осеняет мысль об усилении и концентрировании власти.

Да̀, это он. Вообразите себе, что власть концентрирована достаточно; что она простирается на все дела рук человеческих, что она опутала весь видимый и невидимый мир,— что̀ может из этого выйти? Из этого выйдет то непременное последствие, что она всюду будет совать свой нос и всюду предъявлять требования. Но мир разнообразен, и столь же разнообразен характер человеческой деятельности. Каждая отрасль этой деятельности представляет собою специальность, и, для того чтоб достигнуть правильного отношения к какой-нибудь из них и быть судьею или наставником, необходимо

самому быть специалистом в ней. Если этого нет, если во главе дела является человек, у которого нет ничего, кроме энергии, то ему остается только говорить: «Поди туда, неведомо куда; подай то, неведомо что̀». И чем сильнее будет энергия, с которою будут исходить подобные распоряжения, тем сильнее будет путаница, потому что ничто так не запугивает исполнителей, как зрелище человека, мечущегося во все стороны и говорящего невнятные слова. А так как путаница не успокоивает, а, напротив, еще более возбуждает энергию, то в результате непременно окажется порочный круг, из которого нет никакой возможности выбраться иначе, как посредством генерального обращения людей в стадо бессловесных.

Этого-то, по-видимому, и добиваются наши провинциальные поборники единоначалий, концентрирований, усилений и т. п. Достать такого специалиста, перед строгостью которого смолкали бы все специалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался в одном слове: «молчать!» — вот заветная мечта, над которою ломают головы представители провинциальной интеллигенции. Одни хлопочут тут по неведению, потому что так издавна заведено, что строгость считается творческим началом всевозможных благополучий; другие хлопочут, мотая себе на ус и не без некоторых дальновидных расчетов на будущие блага, от того произойти могущие. Но как те, так и другие равно упускают из вида, что всякая спина принадлежит тому, кто ею обладает, и что, следовательно, только обладатель спины может быть действительно компетентным судьею относительно того, что̀ она выносит.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Еще одно отступление.

В последнее время большою благосклонностью со стороны провинциалов пользуется то мнение, что наши административные и экономические неудачи оттого происходят, что в делах большое участие принимают специалисты. Не думайте, впрочем, что беда усматривается тут в том, что исключительное увлечение какою-нибудь специальною отраслью знания или деятельности в значительной степени ослабляет в человеке способность к обобщениям и, следовательно, делает его как бы чуждым всем явлениям жизни, кроме тех, которые прямо входят в сферу его специальности. Нет, мы, провинциалы, так далеко не ходим, и у нас специалистом называется вообще всякий человек, обладающий каким бы то ни было знанием,

или, лучше сказать, всякий человек, умеющий сделать то дело, за которое он взялся.

По мнению нашему, специалисты слишком уж тонки: сразу и не поймешь, дело ли они делают или надувают. При этом, когда специалист совершает какие-либо действия, то думается, что он словно колдун. Станешь наблюдать за ним — ровно ничего не понимаешь; бросишь наблюдать — сделается совестно: что̀ же я-то, в самом деле, такое? ужели я и впрямь лишний человек? Все равно как с математиком: задашь ему задачу — и уходи. Начнет он делать свои выкладки, сидит, думает, пишет, чертит — готово! Молодец математик! решил. Однако ж кто его знает, точно ли он решил? А что̀, ежели он даже не математик, а просто прохвост, притворившийся математиком? Разве таких примеров не бывало? Все эти сомнения возникают вдруг, помимо нашей воли, и так они для нас обидны, так обидны, что даже сказать нельзя...

Разумеется, эта обида сейчас же облекается в соответствующие жалобы.

— Представьте себе, он там какую-то чертовщину плетет, а я, как дурак, должен смотреть на него! — негодует один.

— Да это еще что̀-с! — разжигает другой,— намеднись, сидел я это, сидел — ну, одурь взяла! Подхожу, знаете, к нему: покажите, ради Христа, говорю, что̀ вы тут такое кудесничаете? Что же-с! встал это, бестия, улыбается, подает... Ну, посмотрел, плюнул и отошел.

Нет, решаем мы, ну их к богу, этих специалистов! лучше хлеб с водой есть да знать, что это действительно хлеб и вода, нежели смаковать какие-то хитро приготовленные яства, которые, ежели хорошенько их разобрать, окажутся, пожалуй, такою мерзостью, что потом всю жизнь тошнить будет!

Сверх того, нам кажется несколько подозрительным и то обстоятельство, что, с тех пор как завелись на Руси специалисты, какие-то такие длинные счеты появляться стали, что невольно останавливаешься перед ними в священном ужасе. Так, например, благодаря специалистам скоро на Руси совсем жилищ не будет. Старые жилища постепенно придут в ветхость, а новых никто строить не решится. Причина очень простая: сами мы ничего, кроме карточных домиков, строить не умеем, а ежели вздумаем обратиться к специалисту, то гибель наша неизбежна. Специалист докажет, что железная крыша не в пример прочнее деревянной, что паркетные полы красивее простых крашеных, что дубовые рамы благонадежнее еловых или сосновых и т. д. Одно только упустит он из вида: что у вас в кармане всего один грош, да и то ломаный, и упустит это совершенно основательно, потому что, в сущности, сле-

дить за положением вашего кармана совсем не его дело. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это из вида, потому что очень уж он обстоятельно говорит.

— Помилуйте! — говорит он,— ведь дуб — это чт̀о? ведь он против какой-нибудь ели впятеро да вшестеро выстоит! сосчитайте же теперь, сколько денег-то у нас в кармане останется!

И вот в этой крайности вы непременно скажете себе: что ж, в самом деле! человек я неученый, всю жизнь только водку пил да закусывал — куда мне в такие дела входить! Поручу-ка я мою постройку молодому человеку, который сквозь огнь и медные трубы прошел (это-то и есть специалист); он мне все это обделает, а я только буду жить да поживать! Но проходит месяц, и вам подают счет — эге! Проходит другой месяц — еще счет! Самые изысканные потребности ваши предусмотрены; счастливое сочетание фестончиков с амурчиками и вырезочками изумительно; везде водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для вас, когда вы даже в одном никогда не ощущали потребности! Вы ничего уж не помните; вы позабыли, что на все эти изысканности вами дано заранее безусловное согласие; вы сознаете только, что вы нищий, которого насильственно ведут в замасленном халате, немытого, нечесаного в какой-то палаццо; вы чувствуете, что с вами озноб... И вот вы решаетесь на геройский поступок: на половине вы бросаете начатое дело и кой-как венчаете здание соломенною крышей; вы с омерзением смотрите на малахитовую колонну, которая как-то одиноко (предполагалось прикупить и другую, да денег недостало) приютилась у входа в ватерклозет, и отправляетесь в клуб, чтоб на досуге предать проклятию ученых и специалистов, которые не умеют угадать, что вам надобен хлев, а не палаццо.

Но этого еще недостаточно. В последнее время мы из достоверных источников узнали, что специалисты просто-напросто исподволь революцию производят. Всякий из них на чт̀о-нибудь да посягает. Физиологи посягают на бессмертие души; химики посягают на цельность материи, физики — на молнию и гром и т. д. До сих пор мы говорили: вот человек, вот заяц, вот ворона, вот налим — и были вполне убеждены, что этим сказано все, чт̀о о сем предмете сказать надлежит. Теперь нас в глаза уверяют, что, говоря таким образом, мы ничего не высказываем, кроме названий, и что жить с одними названиями ни под каким видом нельзя. Но ежели эти люди уже начали разлагать гром небесный, то можно себе представить, к̀ак они поступят относительно прочего!

Самый лучший способ избавиться от специалистов — это

заменить их кантонистами. Хотя и это тоже своего рода специальность, но она тем хороша, что ее можно во всякое время и во все стороны распространить. Появись в настоящую минуту проект о замене специалистов кантонистами, не подлежит никакому сомнению, что он имел бы в провинциях успех громадный, именно потому, что он доступен всякому пониманию. Всякий знает наверное, что любого кантониста можно призвать, сказать ему: «исследуй природу человека!» — и он исследует. Мало того что исследует, но в то же время ни до каких подозрительных результатов не дойдет. Химик-специалист никогда не остановится вовремя, а все хочет что̀-то исчерпать, до чего-то дойти; химик-кантонист, дойдя до известной границы, не только сам благоразумно отретируется, но и другим скажет: «цыц!» Зачем в академиях сидят Беры да Зинины? Гораздо лучше на их места посадить кантониста Чимпандзе! Он все науки с быстротою молнии приведет к одному знаменателю и тем удовлетворительно докажет, что ничто человеческое ему не чуждо!

Одним словом, начало всех наших зол приписывается не кому другому, а именно специалистам, то есть людям, знающим и умеющим что̀-нибудь делать. С экономической точки зрения, всякий специалист — непременно вор; с точки зрения нравственно-политической — непременно революционер. И что̀ всего опаснее: ни под каким видом нельзя его уличить.

— Уж кружил он меня, кружил — до сих пор опомниться не могу!

Вот единственный критериум, с которым провинциал относится ко всякому знанию. Он чувствует, что жизнь его расклеивается, и относит это не к тому, что он ни к чему приступиться не может, ничем сам себе помочь не в силах, а к тому, что явились люди, которые как-то так таинственно орудуют, что он вынужден только хлопать глазами да вынимать из кармана деньги. Положение действительно унизительное, но какое же имеется основание ставить его на счет знанию, а не невежеству?

Мы, провинциалы, живо помним то время, когда в среде нашей сложилась знаменитая пословица: «тяп да ляп — и корабль». Всякий тогда приходил и объявлял себя способным повелевать стихиями. Пехотинцы ходили по морю, яко по суху; кавалеристы строили фортеции и ретраншементы, а гарнизонные офицеры в свободное от постройки рекрутских полушубков время выдумывали порох. И казалось тогда, что все кипело. Курьеры скакали, нарочные летали, предписания опережали ветер. Поистине это была какая-то фантасмагория исполнительности, о которой без слез вспомнить нельзя.

Человек неученый, рыбак, пастух — все это принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это были какие-то апостольские времена, когда казалось, что из всех существующих специальностей специальность уловления людей есть самая легчайшая. Но гораздо труднее оказывалось уловлять вещи, как, например, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они ремонтируются одною исполнительностью, чтобы ружья стреляли, когда у них должность курка исполняет исполнительность, чтобы фортеции не обрушивались, когда в основание их положена только исполнительность.

Но нам, провинциалам, ничего об этом известно не было, ибо мы и в этом случае, как и всегда, исправляли должность пятого колеса в колеснице. Наше самолюбие было польщено просто тем, что мимо нас мчатся курьеры, скачут верховые и всё что̀-то везут, что̀-то экстренное, не терпящее ни рассуждений, ни отлагательства.

— Что̀, любезный, флоты сооружать поспешаешь? — спрашивали мы курьера, наскоро перехватывавшего на станции.

— Точно так, ваше благородие! — отвечал курьер, проглатывая кусок с такою поспешностью, как будто это был не кусок чего-то съедобного, а раскаленный уголь.

— Поспешай, мой друг, поспешай!

И мы были довольны. Пускай наш порох оказывался таким, что лучше было бы палить без пороху,— все-таки мы видели, что люди не сидят праздно, не задумываются, а прямо берут, что попало под руку, и складывают в одну кучу.

Теперь эта судорожная деятельность уже достаточно выяснилась и зарекомендовала себя; тем не менее воззрения, которым она дала начало, слишком живучи, чтобы скоро уступить не только влиянию времени, но даже подтверждениям опыта. Во-первых, для толпы всегда очень выгодно признавать себя во всех отношениях компетентною; во-вторых, она видит, что в глазах ее во множестве совершаются глупые дела, и мало-помалу убеждается, что глупость есть нормальный уровень всех вообще дел. Какая надобность привлекать к их совершению каких-то избранных людей? Ибо что̀ такое, в самом деле, эти так называемые избранные люди? — это те самые, которые способны только усложнить и затруднить дело, а не разрешить его. Разрешить дело, то есть устроить натиск и генеральную пальбу, может в надлежащем виде только вот этот молодец, который в сию минуту идет по улице и ковыряет в носу. Позовите его, и вы не успеете оглянуться, как он — трах! — и повернул, и вывернул, и перевернул!

— И советов, батюшка, ни у кого не спросит, а просто придет, взглядом окинет,— и разрешит.

С точки зрения воспоминаний прошлого, эти речи не лишены известной доли основательности. Мы еще так недавно выдержали крепостное право, а сущность его, конечно, в том и состояла, чтоб упростить формы и отношения до самых крайних пределов. Когда в человеке усматривается лишь материал, который можно, по усмотрению, и скорчить и вытянуть, тогда, разумеется, не может быть повода задумываться над тем, что̀ следует предпринять, дабы успешнее уловлять людей. Все люди от рождения уже находятся в западне и даже не бьются в ней, а только стараются как-нибудь половчей примоститься, чтоб не очень сильно чувствовались вывихи, переломы и оглушения. Арена действия настолько суживается, что сечение представляется совершенно достаточным средством для урегулирования общественных потребностей и стремлений. Хочу, чтоб на этом месте был город,— и бысть; хочу, чтоб была вавилонская башня,— и будет.

Вопрос в том: возможно ли продолжение подобных воззрений с упразднением крепостного права, то есть с наступлением такого порядка вещей, при котором самый взгляд на человека радикально изменяется?

Что это дело возможное — нас убеждает в том действительность. Мне скажут, может быть, что всякие ссылки на крепостное право в настоящую минуту совершенно запоздали, ибо даже самый заскорузлый провинциал — и тот махнул на него рукой; но возражение это может быть принято только с оговоркою. Мы действительно примирились с идеей, что крепостное право не существует; но спросите любого, в чем заключается это примирение, и вы, наверное, не добьетесь ответа сколько-нибудь ясного. Что внешняя сторона совершившегося акта вполне нами признана — это несомненно; что мы до известной степени сознали, что руки у нас против прежнего стали гораздо короче — этого тоже отрицать нельзя. Но что̀ ж из того, если мы нашими укороченными руками желаем махать точно так же, как бы они были не укорочены?

В том-то и дело, что, кажется, только на внешности и прервались наши сознательные отношения к этому делу и что ни одного из последствий, которыми оно так богато, мы не провидели, а потому и признать добровольно не можем. Наши отношения к жизни остаются столь же запутанными, как и прежде; если одна часть их и похерена (едва ли, впрочем, не механически только), то все остальное продолжает держаться и воспитывать представления самые противоречивые и друг друга побивающие. И когда жизнь целою цепью неудач протестует против невежества как творческой силы, мы нисколько не затрудняемся этим, но думаем, что это не больше как

начальственное послабление, которому очень легко пособить. Стоит только припугнуть хорошенько знание и обратиться с усиленной просьбой ко всем невеждам праздношатающимся,— и все нужные распоряжения по части уловления вселенной будут неупустительно приведены в исполнение!

Вот почему между нами и по сие время в таком ходу рассказы о деятелях-кантонистах, которые в былое время оказывались и исправными статистиками, и исполнительными экономистами и даже являлись небезыскусными по части философии и астрономии. Если исправники до сих пор были созидателями и руководителями нашей жизни, то почему же и впредь им в сих должностях не состоять? Какие такие новые прихоти появились, чтоб изменять этот порядок? Мужики, что̀ ли, нос начали задирать? Так на этот предмет имеются у исправников такие полномочия, при посредстве которых всякий задирайка очень скоро поймет, что уши выше лба и по упразднении крепостного права расти не могут!

Со всем этим не согласиться нельзя, ибо у исправников имеется уполномочий очень достаточно. Но есть ли надобность в этих полномочиях? Но приводят ли они к каким-нибудь существенным результатам? — вот в чем вопрос, вот что̀ следует разрешить прежде, чем принимать угрожающие тоны и зря кидаться вперед с кулаками, полными полномочий.

Никто не спорит, что не только в прошлом, более или менее отдаленном, но даже и в сию минуту мир полон кантонистами-статистиками и кантонистами-астрономами. Спор идет лишь о том, в какой мере они полезны, и кажется, что он ни в каком случае не может кончиться в пользу кантонистов. Даже приподнявши завесу давно минувшего, мы все-таки убедимся, во-первых, что ни одна со̀ставленная кантонистом статистика ни в одном военно-учебном заведении никогда в руководство принята не была, и во-вторых, что все академии, какие когда-либо существовали, всегда отзывались о деятельности кантонистов на поприще наук с чрезвычайною сдержанностью, почти что с холодностью. Каждый гимназист может доказать кантонисту, что он или соврал, или не понял и что, по-настоящему, ему следовало бы надеть на голову колпак с длинными ушами. Что̀ возразит кантонист против такой аргументации? Смолчит ли? — но тогда какой же он будет патентованный статистик и астроном? Бросится ли на своего обличителя и начнет его истязать? — но тогда какая получится в результате статистика?

Из этой дилеммы выйти невозможно, как скоро однажды признано, что статистика есть факт, что наука о производстве

ценностей и распределении их — тоже факт и что астрономы не совсем напрасно доказывают, что Земля обращается вокруг Солнца. Не признать же всего этого нельзя, во-первых, потому, что есть очень много людей, для которых это признание выгодно, а во-вторых, потому, что если, например, этого не признàет Иван, то признàют его соседи, а дело Ивана все-таки не выгорит. Ни знание, ни право, ни те отношения, которые из них вытекают, ни в каком случае не могут быть спрятаны в карман, подобно кукишу. Нет столь солидного кармана, который бы не порвался от тяжести подобной поклажи.

Разделять одну и ту же задачу на две половины, из которых на одну соглашаться, а о другой игнорировать,— значит добровольно обманывать самих себя. Задача, которая стоит перед нами, до такой степени захватывает нас всеми своими подробностями, что непризнание одной из них вредит не столько цельности самой задачи, сколько общему уровню нашего собственного существования. Если жизнь наша расклеивается, если новое или совсем не созидается, или созидается туго, без всякого соответствия даже с самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается именно в объясненной выше раздвоенности нашего взгляда. А мы, вместо того чтоб обратить внимание на ту роль, которую играет в этом деле наша недальновидность, злорадно подмечаем каждую неудачу, которую испытывает новое дело в своих усилиях встать на ноги. Всякий факт насилия радует нас беспримерно; всякое известие о потоптании, посрамлении и проч. производит восторг. Вот, например, крепостное право хоть и уничтожено, а там-то и там-то поступлено так, что хоть бы и при крепостном праве так впору. Или еще: новые суды хоть и введены, однако там-то и там-то как захотели, так и без судов расправу нашли. Рассказы такого рода приводят нас в восхищение. И такие тут начинаются у нас смехи и утехи, что у чувствительного человека волосы дыбом становятся, а человек нечувствительный в изумлении спрашивает себя: над чем, однако ж, они смеются?

Если мы вдумаемся хорошенько в этот вопрос, то убедимся, что это смех ограниченного человека над собственною ограниченностью. Непривычка к обобщениям так велика в нас, что мы понимаем всякое нарушение правильного хода жизни только изолированно и никак не хотим сознаться, что это лишь звено целой цепи. Система нарушения имеет свою горькую последовательность, которая захватывает не одни неприятные нам элементы, но подчас и нас самих, ибо тут общим принципом является нарушение, перед которым все элементы равны. Мы слишком надеемся на то, что будто бы наше

звание фофанов может, во всяком случае, оградить нас от напастей. Нет, мы ограждены лишь настолько, насколько ограждено и все прочее, живущее с нами рядом, или, лучше сказать, мера этого ограждения совершенно пропорциональна мере понижения общего уровня системы нарушений. Ведь было же время, когда если не все поголовно были фофанами, то, по крайней мере, признавались таковыми, но разве это кого-нибудь ограждало?

При известной степени осложнения жизни вопрос о кантонистах-статистиках и кантонистах-финансистах приобретает значение очень существенное. До тех пор, пока права и обязанности сохраняют свою первоначальную грубую форму, кантонисты имеют хоть некоторое основание признавать себя отвечающими потребностям минуты. Не то чтобы они были полезны действительно, но пятна, которые они кладут на общий фон жизни благодаря неясности последнего, не настолько видны, чтоб возбуждать серьезные опасения. Но с той минуты, когда для каждого человека обязательным образом выступает необходимость опознаваться в великом разнообразии жизненных явлений и соразмерять с их сущностью каждое действие, имеющее к ним какое-нибудь отношение,— с этой минуты никакое невежество, как бы оно ни было самолюбиво и предприимчиво, полезных результатов достигнуть не может. Чтобы извлечь, например, доход из известной статьи, надо прежде всего доискаться, что̀ это за статья, ка̀к велика степень ее производительности и при каких условиях эта последняя может быть усилена. Очевидно, что вопросы эти может разрешить человек только знающий и мыслящий, и притом только тогда, когда он решает их не впопыхах и не под давлением страхов, нагоняемых слишком рьяными кантонистами. Но ежели к этой статье же подойти с криком и гамом: «подавай!» — то она не только не даст больше того, что̀ дает и давала, но, напротив того, постепенно оскудеет, потому что система оглушения и тут, как и везде, может проявить только безрассудную жадность, уравновешиваемую лишь бессилием.

Очень возможно, что пример этот найден будет недоказательным. Могут сказать, что и во времена крепостного права не считалось бесполезным разумное отношение к источникам производительности и что каждому индивидууму из легиона «способных и достойных» непременно и безусловно поставлялось на вид, что «только благоразумная экономия и доброе смотрение могут привести к полезным для государства последствиям, без отягощения народного». Не ясно ли, стало быть, что благоразумие и умелость и тогда уже предпочитались безумию и невежеству?

Да, это правда; здравый смысл заявляет свои требования не со вчерашнего дня; он существовал во все времена. Всегда призывал он к благоразумию, всегда утверждал, что умелое обращение с вещами полезнее, нежели обращение неумелое. Но какие были практические последствия этих призывов и утверждений? — на этот вопрос можно с полною уверенностью ответить: последствия эти были вполне недостаточные. Для того чтобы умелое обращение с вещами сделалось явлением не исключительным, не диковинным, как это всегда случалось в оные времена, надобно, чтобы оно представляло единственное средство, которое обеспечивало бы спокойное существование общества, и чтобы средство это не могло быть заменено никаким другим. Сказать, что умелость и благоразумие не бесполезны — значит сказать одну из тех pia desideria [1], которые во множестве выпускаются в обращение именно потому, что действительная их стоимость весьма невелика. Так что, если при этом не полагается ясных и твердых преград для безумия, то выигрыш от похвал, произносимых благоразумию, будет самый пустой. Первая неудача, недостаток терпения, отсутствие средств — все это представляет такую совокупность условий, которая делает переход от благоразумия к безумию до крайности легким. И переход этот сделается невозможным лишь тогда, когда самая жизнь ответит отказом на притязания самолюбивого невежества, когда она наградит сторицею не того, кто ничего не имеет ни за собой, ни перед собой, кроме угроз, а того, кто действительно нечто умеет и может.

Если подобное положение вещей еще не вполне наступило для наших провинций, то, во всяком случае, есть признаки, дозволяющие угадывать его приближение. Признаки эти, к сожалению, выражаются только в неудачах, которыми так обильна современная жизнь, и в той ее неклейности, которая делает тщетными всякие расчеты и сообщает прискорбный характер колебания всем действиям современного человека. Что̀ обнаруживают эти колебания? ужели они свалились к нам с неба, без всякой связи с жизнью? или они и впрямь выражают только начальственное послабление? Нет, они доказывают, что первоначальные источники, которые питают жизнь общества, до такой степени изменились в своей сущности, что требуют совершенно иных приемов против тех, которые прежде казались удовлетворительными. Если бы прежние приемы были достаточны для урегулирования нового положения вещей, то ведь арсенал таковых еще не уничтожен; одна-

---

[1] благие пожелания.

ко ж, несмотря на это, колебания не кончаются, и жалобы на неудачи и затруднения всякого рода идут, все более и более возрастая. Отчего ж это? А оттого, милостивые государи, что в нас нет достаточной решимости, чтоб последовательно вступить на новый путь, что нас все еще соблазняет арсенал «прежних приемов», который и будет продолжать запутывать соображения наши до тех пор, пока мы окончательно не решимся отвернуться от него.

Как ни больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что вопросы жизни решаются не строгостью, а уменьем и знанием, не единоличною прихотью, а обсуждением. Не то больно, что сознание такого рода неизбежно, а то, что мы до сих пор не можем отнестись к этой неизбежности без болезненного, почти враждебного чувства. В сущности, какие особенные радости принесла нам эта хваленая строгость, этот пресловутый кантонистский энциклопедизм, не развязывавший, но рассекавший всевозможные узлы? Если мы вникнем в этот вопрос, то убедимся, что даже те из нас, которым действительно этот порядок вещей давал кой-какую поддержку, могли принимать ее с спокойным духом только до тех пор, покуда они сами находились в состоянии бессознательности...

Можно бы привести здесь множество примеров бессилия этого прискорбного энциклопедизма, можно бы доказать фактически, что он до сих пор только бесплодно волновал общественное мнение, а ни одного вопроса ни в какую сторону никогда не разрешил. Но для того, чтобы убедиться в этом, не требуется даже доказательств; достаточно дать волю самим поборникам энциклопедизма: каждый из них в какие-нибудь четверть часа времени наскажет по этому предмету такую кучу самых вопиющих невозможностей, что вам останется только на досуге разрешить вопрос: каким же образом эти люди ухитряются жить?

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Одна из самых ярких особенностей наших захолустных городков заключается в том, что там почти совсем нельзя встретить постороннего, наезжего люда. Все, что̀ ни видится на улицах, на площадях, в присутственных местах, в лавках — все это *тутошное,* живущее здесь только потому, что постепенно нагуляло себе как бы естественные кандалы. Постороннему здесь нечего делать, а потому незачем и приезжать. Это до такой степени верно, что нет ни одного провинциала, который не сознавал бы этой истины и не взглянул бы удивлен-

ными глазами на приезжего, не спешащего сломя голову вон. Провинциальный город никогда ни для кого не служил целью, а только стоял на пути, на том бесконечном, постылом пути, который так, кажется, и перелетел бы, если б были крылья. Заспанный путешественник, зевая, вылезал из тарантаса, потягиваясь, напивался на станции своего собственного чая, закусывал собственною провизией, проглатывал рюмку собственной водки и мчался дальше куда-то *в свое место.* Даже на собор не засматривался, потому что всякий собор, так сказать, от рождения стереотипом напечатлен в сердце каждого русского проезжего человека. Впереди у него есть *свое место,* с *своим* неудобным для обитания домом, с *своею* несъедобною провизией, со своими тараканами, клопами и прочею нечистью. Зачем же ему заглядываться на *чужую* нечисть?

Местный обыватель понимал эти соображения и никогда не претендовал на проезжего человека за то, что он ни о чем не расспрашивает, ни на что̀ не глядит. Не о чем спрашивать, не на что глядеть; все, что̀ увидишь или узнаешь здесь,— все это увидишь или узнаешь там, *в своем месте.* Даже путешественник-специалист, командированный от какого-нибудь ведомства, а пожалуй, и от двух (у нас путешествие без командировки немыслимо), и тот лишь для проформы останавливался на несколько часов на почтовой станции и для проформы же записывал в свой ученый дневник: «Был в городе Навозном и имел совещание с хлебными торговцами, причем оказалось, что хлеба за границу и на внутренние рынки отправляется множество (NB: *цифру проставить дома, по возвращении в Петербург);* на станции видел собственными глазами, что ямщики едят не только хлеб без примеси лебеды, но и ватрушки, имевшие очень вкусный вид (NB: *по этому поводу пустить нечто пикантное против наших охранителей и прогрессистов, утверждающих, что благосостояние народа находится в упадке);* сверх того видел (NB: *сам не видел, но написать, что видел)* — в соборе хранится пуговица от мундира великого князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы с Цимисхием. Пуговица медная, светлая, как бы снятая с новейшей ливреи», и т. д.

Записавши это, путешественник (с ученою целью) скакал дальше, в город Ненасыть, за такою же надобностью, а по возвращении в Петербург выпускал книжицу, с громким названием: «Исследование о хлебной торговле в России», за которую получал премию или две, смотря по тому, от одного или двух ведомств был командирован.

Таково было еще в недавнее время положение наших провинциальных городков относительно привлечения пришлого

населения; в будущем оно едва ли обещает сделаться более разнообразным. С развитием железных дорог все заспанные люди, которые, до настоящего времени, хоть лошадей переменяли на станциях, конечно, устремятся в *свое место* путем более кратким и удобным. И сделаются эти городки еще более пустынными, и побегут из них *тутошные* люди, которые до сих пор кое-как кормились около проезжего человека, сбывая ему на две копейки веревок да на копейку дёгтя и по временам вытаскивая из невылазной пучины его загрязнувший тарантас.

Что̀-то будет! какие-то изменения принесут за собою эти новые пути, новые экономические условия, свободный труд, попытки самоуправления и проч. и проч. Возьмется ли провинциал за живое дело, дойдет ли до сознания своего положения или, по прежним примерам, скрестит руки и будет отводить душу в изобретении метких, но совершенно праздных эпитетов, которыми он крестит собственную вялость и непригодность?

Но судьба не всегда бывает благосклонна к людям и по временам предупредительно водворяет их именно в том месте, куда незачем приезжать. По большей части это случается как-то вдруг. Человек наслаждается жизнью где-нибудь в Разъезжей или Кабинетской улице, строит планы, поднимает завесу будущего и вдруг непосредственно из Разъезжей улицы не только мыслью, но и телом переносится в уездный город Ненасыть.

Я согласен, что это превращение не вполне обыденно и что его следует отнести к числу волшебных, но так как в сей юдоли плача покуда еще очень нелегко определить, где кончается волшебство и где начинается действительность, то люди компетентные утверждают, что подобного рода превращения не только возможны, но даже не вызывают особенных удивлений.

Как бы то ни было, но представить себе человека, сваливающегося откуда-то издалека и независимо от собственной воли водворяющегося в среде обывателей одного из так называемых «мирных уголков»,— очень нетрудно. Гораздо труднее проследить самый процесс водворения, ибо оно совершается не механически только, но и со всеми нравственными последствиями: с укрощением, стушевкою и акклиматизированием. Сталкиваются два элемента, ничего до сих пор друг о друге не знавшие: пустынник Разъезжей улицы приходит в соприкосновение с пустынником города Ненасытя. Встречаются и на первый раз могут с ясностью представить себе только одно: что им приходится жить вместе. Очевидно, однако ж,

что это первое впечатление слишком недостаточно, чтобы можно было остановиться на нем. Очевидно, что со временем оно осложнится и для той и для другой стороны, что наступит минута, когда и акклиматизируемый человек и абориген должны будут подойти друг к другу и постановить условия взаимного сожительства. Какие будут эти условия?

В разрешении этого вопроса заключается возможность дальнейшего существования этих подневольных людей, из которых одни связаны тем, что они от рождения *тутошные,* а другие — тем, что им предстоит, не будучи *тутошными*, во что̀ бы ни стало сделаться таковыми.

Что касается до человека, подлежащего акклиматизации, то он должен испытывать не столько чувство враждебности, сколько чувство недоумения. Для враждебного чувства еще нет непосредственного объекта, но для недоумения есть поводы очень действительные. По крайней мере, в первую минуту по выброшении на берег иначе не может быть. Акклиматизируемый еще не умеет объяснить себе, что̀ именно находится у него перед глазами: необитаемый ли остров или что̀-нибудь другое. Что это не необитаемый остров — в этом его убеждает, во-первых, мелькание субъектов, носящих, подобно ему, человеческий образ, во-вторых — ощущение близости исправника. Но что тут есть нечто, имеющее и все свойства необитаемого острова,— это доказывается полнейшим отсутствием удобств жизни, то есть именно того, что̀ всегда и везде помимо всех других признаков возвещает о присутствии творческой деятельности человека. Жилища не дают действительного успокоения, пища не дает действительной питательности; кругом слышатся какие-то непривычные речи; нет книги, нет ничего, что обеспечивало бы возможность дальнейшего развития; везде видится нагота и неприкрытость. Рай Разъезжей улицы — потерянный рай! — так и мечется в глаза. Правда, он был изгнан из этого рая, что не совсем-таки свидетельствует в пользу его безопасности и безмятежия; но здесь... здесь ведь он еще менее прикрыт в этом смысле. Здесь его вверх тормашками поставят, и никто ничего не узнает, не увидит, не услышит! Вот *он* идет, *он,* то есть всякий, который имеет возможность налечь всем корпусом на судьбу подневольного человечества,— что̀-то у *него* в голове? какая-то затея строится у *него* относительно его, бедного, свалившегося с неба странника? Какой у *него* характер? какие привычки? Говорят, *он* человек не злой, но, может быть, *он* своенравен; может быть, у *него* есть в голове какой-нибудь гвоздь?.. Тысяча мелочных, но мучительных и никогда прежде не являвшихся вопросов восстают неизвестно откуда, осаждают голову

и — увы! — растлевают сердце... А ведь это только первый приступ; это только материальные условия предстоящей жизни; это вопрос о норе, пище и возможности поддержать тело; что̀ же придется загадывать дальше, когда пойдет речь об условиях жизни умственной?

Таково первое ощущение, испытываемое одной стороной,— ощущение в высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду, из всех нор бежит навстречу человеку, а как она разыграется в будущем — это тайна, над раскрытием которой ум будет работать до тех пор, пока слепой случай не разрешит томлений подневольного человека в ту или другую сторону. Говорят, что везде можно найти хороших людей; может быть, это и справедливо, но ведь справедливо и то, что хороший человек тогда только действительно хорош, когда он хорош *по-нашему*. Это «по-нашему» отнюдь не означает ни грубого деспотизма, с одной стороны, ни рабского прилаживанья — с другой; нет, тут скрывается довольно долгий и сложный процесс, через который незаметно проходят живые существа прежде, нежели сделаются друг другу угодными. Действительная «хорошесть» представляет совокупность множества определений, хотя приблизительно общих обеим сторонам: общность стремлений и идеалов, равная степень развитости, одинаковая возможность найти друг в друге помощь и проверку и проч. «Хороших» людей, то есть людей добрых, честных и даже разумных, действительно встречается довольно, но все они хороши по-своему. Какое дело нам до хорошего человека, с которым мы не можем сказать слова, чтоб не взглянуть друг на друга в недоумении или не почувствовать необходимости в бесконечных предварительных объяснениях? А именно таков и есть хороший человек провинции. Он исключительно эмпирик; он не знает более того, что̀ видит собственными глазами и осязает собственными руками, а ежели и знает нечто более, то есть объясняет себе явления не одним путем эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не знал и не объяснял. Мне был, например, известен один очень хороший человек, который был глубоко убежден, что у мужчины во лбу крест, а у женщины креста нет, а потому кликуши и порченые встречаются только между женщинами. И это был воистину «хороший» человек, то есть человек никогда никого не обманувший, не обидевший и помимо некоторых дурацких убеждений довольно бодро смотревший в глаза жизни. Я согласен, что пример этот резок; но есть бесчисленное множество примеров, хотя и менее резких, но которые, в сущности, отличаются от предыдущего только тем, что обманывают кажущимся приличием своих форм. Недаром же сама провинция сложила

пословицу, что тот хороший человек, который сальных свечей не ест и стеклом не утирается. Очень возможно также, что все эти хорошие люди могут со временем развиться, но ведь это уж совсем другой вопрос, воспитательный. Говорят еще, что с хорошим человеком, кроме одинакового умственного уровня, можно сойтись еще на почве человечности; но и это, к сожалению, только отчасти справедливо, ибо отношения, завязывающиеся исключительно на почве человечности, никогда не бывают отношениями полного равенства. Чувство человечности никогда не бывает свободно от примеси благосклонности, с одной стороны, и примеси благоговения — с другой. Весьма похвально, ежели человек признает человеческое достоинство даже в том из своих ближних, с которым он имеет очень мало точек соприкосновения; не меньше похвально, если он старается поднять этого ближнего до своего собственного нравственного и умственного уровня; но глаз мало-мальски проницательный без труда увидит, что тут уже есть усилие. Какой же может быть после этого вопрос о равенстве? А ведь для человека, если он не зверь и не превозвысившийся в чинах кантонист, равенство в смысле общественности есть именно та самая вещь, которая желательна всего более и без которой возможно только насильствование собственной природы.

Тем не менее чувство одиночества выносимо с трудом. Постепенно охватывая и одолевая человека, оно изнуряет его до того, что потребность искания и даже создания «хорошего» человека заглушает в нем все остальные потребности и соображения. Посмотрим же теперь, ка̀к относится к акклиматизируемому человеку та другая сторона подневольного человечества, среди которой ему назначено судьбой акклиматизироваться.

Можно почти утвердительно сказать, что отношения этой стороны вполне сочувственны акклиматизируемому. Она не хочет знать о тех высших соображениях, которые бросили странника в ее захолустье; она с участием смотрит на его недоумение, она *жалеет* его. Во-первых, как ни скудно ее собственное прошлое, но оно все-таки существует, а потому она понимает, что прошлое должно быть и у этого человека. И чем нечаяннее произошел разрыв с этим прошлым, тем он должен быть для него больнее. Во-вторых, если не совсем ловко расставаться даже с таким прошлым, в котором ничего не отыщется, кроме воспоминаний о выеденном яйце, то тем тяжелее отказаться от такого прошлого, в котором имелся интерес действительный. А что этот интерес был — это доказывается тем, что акклиматизируемый не сам от него *оторвался,* а нашлось нужным *оторвать* его от него. В-третьих, «тутошных» людей

поражает то обстоятельство, что акклиматизируемый человек никак не может сразу приладиться на новом месте, не ходко идет, а все как будто озирается, нащупывает, пробует. Он делает видимые усилия, чтоб переломить себя и попасть в тон *новой* действительности; но напряженность этих усилий наводит на соображения очень чуткие и верные. Стало быть, размышляют обыватели, ему *там* лучше было, в своем-то месте, если он никак не может с своим сердцем совладать. И, сообразив это, начинают *жалеть* вдвое. Но есть еще и четвертая причина *жаления* — это темное, почти инстинктивное сознание, что и они, обыватели, суть дети той же случайности, как и сей акклиматизируемый человек, и что если эта случайность однажды швырнула к ним аэролит, то и для каждого из них может тоже прийти очередь быть аэролитом...

— Ах ты, касатик наш! тяжко тебе поди в чужих-то людях! — хором *жалеют* обыватели, вдруг преисполнившись любви и соболезнованья к акклиматизируемому.

— Да ведь живете же вы! буду как-нибудь жить и я! — отвечает «касатик» искусственно твердым голосом.

— Где уж тебе! мы что̀! мы люди тутошные! нам, пожалуй, и бежать-то некуда!

Этот последний довод, это горькое сознание подневольности со стороны людей, по наружности вполне свободных, охватывает душу акклиматизируемого каким-то страхом. До сей минуты он был уверен, что нет на свете хуже его положения, нет несча̀стия горше его несчастия. И вот оказывается, что существует несчастие более глубокое, несчастие, преследующее человека от колыбели до могилы и даже самим им признаваемое за нечто нормальное, неизбывное. Но, рядом со страхом, это открытие производит и иное явление, значительно смягчающее его, а именно: оно рождает и в другой стороне то самое *жаление,* о котором уже упоминалось выше. Из обывательских сердец это чувство переходит в сердце акклиматизируемого и немедленно дает живые ростки. Ни в ком и нигде он не только не видит озлобления, но даже и тени предубеждения против себя. Сам исправник, муж твердый в бедствиях, и тот, проходя мимо него, разглаживает морщины на хмуром челе и с какой-то почти ангельской улыбкой говорит:

— Что̀, молодец? поприлаживаешься? то-то! живи да оглядывайся!

Здесь я должен, однако ж, сделать небольшую оговорку, чтобы не дать повода к более или менее злостным толкованиям, на которые так тороваты наши благонамеренные свистуны.

Я констатирую один из далеко не мелких фактов нашей со-

временной провинциальной жизни, и констатирую его без преувеличения. Я не говорю, что на акклиматизируемого набрасываются звери; я не заставляю его пропадать с голода и холода или изнывать под игом чересчур ревностного наблюдения. Напротив того, я ставлю его в самое благоприятное положение — в положение человека, к которому устремлены искреннейшие симпатии. *Новая* действительность, с которою сталкивается акклиматизируемый человек, вовсе не зубата, не кипит враждою и злобою — я охотно о том свидетельствую и заявляю. Но в то же время я говорю: есть на свете нечто более злое, нежели самые злые звери,— это ничем не восполненное чувство одиночества, это ничем не утоленная тоска сердца, оторванного от своего прошлого и не нашедшего пищи в настоящем. И нет того доброжелательства, нет тех сочувственных слов, которые могли бы помочь этому высшему горю из всех горестей, когда-либо испытываемых человеком...

С другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что акклиматизируемый человек непременно представляет собою высший организм относительно тех существ, с которыми свела его судьба. Но я был бы неправ, если б умолчал, что это человек иных привычек, иных взглядов на вещи. И если бы кто-нибудь предложил мне вопрос: совершеннее ли эти привычки, чище ли эти взгляды, нежели те, которые выработались в среде провинциального захолустья,— я поступил бы недобросовестно, если бы дал другой ответ, нежели: да̀, совершеннее, чище. В этом заявлении нет даже ничего такого, что ставило бы акклиматизируемого человека на пьедестал, ибо относительное совершенство, которым он пользуется, принадлежит не столько ему лично, сколько той иной среде, воздух которой он заносит вместе с собою.

Сверх того, я ни слова не говорю о тех «высших соображениях», которые играют в этом случае очень немаловажную роль. Я не призван быть судьей этих соображений и потому прохожу мимо них молчанием, констатируя лишь голый факт.

Затруднения, которые неизбежно сопрягаются с отыскиванием «хороших людей» в провинции, бывают двоякого рода. Первое заключается в том, что при настоящих условиях дело покорения человеческих сердец возможно только тогда, когда оно ведется в формах самых сдержанных и уклончивых; второе — в том, что человек, занимающийся покорением сердец, волею или неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посредствующее звено, которое связывало бы его личные идеалы с теми, которые стоят у него на пути. Что акклиматизируемый человек обязывается вести свои поиски в формах до крайности уклончивых — это ни для кого не тайна.

Невозможно отрицать, что каждое его действие, каждое слово подвергаются комментариям, в которых предвзятая мысль и подозрительность играют роль очень видную. Исключительный характер положения ставит его открытым для всех взоров и предположений. «Может быть, он и в самом деле какой-нибудь смутьян?» — невольно спрашивает себя обыватель, сбитый с толку загадочной внешностью, облекающею факт появления акклиматизируемого человека; а наблюдающая власть даже и вопросами не задается, а прямо говорит: «Дà, смутьян». Хоть это нимало не вредит *жалению,* разлитому во всех сердцах (обыкновенно этот предполагаемый смутьян — молодой человек, а кто же смолоду не был молод?), но не вредит лишь под условием строгой выдержки и смотрения в оба. Этого мало: угрозы, которыми действительно окружено существование акклиматизируемого человека, в весьма значительной степени усиливаются еще угрозами несуществующими, но возможными. Предположим, что акклиматизируемый человек настолько благоразумен, что уже не ждет особенных ласк от судьбы, но легкость, с которою он на каждом шагу рискует подвергаться всевозможным ущемлениям и уязвлениям, невольным образом должна наводить его на соображения далеко не светлого свойства. Очень может быть, что никто не воспользуется этою легкостью, но она существует как возможность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смелую привести в смущение. А отсюда следствие ясное: или необходимость уйти в себя, или же не менее горькая необходимость взвешивать каждое слово, обесцвечивать его и сообщать ему двойной смысл. Понятно, какою неясностью и запутанностью должны страдать отношения, которые завязываются при подобных условиях.

Второе затруднение еще важнее. Звено, которое связывает идеалы акклиматизируемого человека с идеалами аборигена, так длинно, что невозможно утилизировать его иначе, как укоротивши его, а это — по крайней мере, для начала — возможно сделать только с явным ущербом для первых. Человек, отдающий себя делу воспитания, весьма редко принимает в расчет ту силу сопротивления, которую оказывает сторона воспитываемая, но суровая действительность не замедлит напомнить ему об этом, и напомнить самым разочаровывающим образом. Тут дело не только в терпеливом повторении задов, но и в ниспровержении лжей и фантасмагорий, накопленных эмпиризмом и суеверием. Тут дело идет не с tabula rasa [1], а с доскою, исписанною сверху донизу каракулями очень опреде-

[1] чистой доской.

ленного свойства. Каждая из накопленных лжей отстаивается тем с большим упорством, чем меньше имеется разумных оснований для поддержания ее. И в большей части случаев самое прикосновение к лжи считается дерзостью, почти что святотатством.

— Нет, ты это оставь,—говорит обыкновенно обыватель,— это так уж от бога положено.

И заметьте, таким образом говорит обыватель, который считает себя снисходительным; менее же снисходительный даже разговаривать не будет, а просто вытаращит глаза и пойдет строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается, насколько же должен умàлить себя человек, отыскивающий хороших людей, насколько он должен поступиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою и этими искомыми людьми?

Сверх того, человек, который предпринимает работу сближения в провинции, должен сказать себе заранее, что это совсем не та работа, которую он вел в то время, когда он жил *в своем месте*. Возможность определенного формулирования мысли, спокойная постановка возражений и спокойное же обсуждение их — вот характеристические черты того взаимовоспитания, которое *там*, в этой иной, более благоприятной среде, зрело и упрочивалось. В этом минувшем процессе самовоспитания, несмотря на его недоконченность, уже существовало множество положений, совершенно выработанных и бесспорных, а это, в свою очередь, устраняло с арены споров так называемые азбучные истины и дозволяло мысли сосредоточивать все свои усилия на главной задаче. Ничего подобного не найдет акклиматизируемый человек в новой деятельности, которая предстоит ему в провинции. Прежде всего на него градом посыплются возражения, и притом возражения торопливые и требующие столь же торопливых разъяснений. Малейшее колебание в этом случае надолго подрывает репутацию популяризатора и ставит его в ряды легкомысленных людей, о которых, как известно, в провинции сложилось множество самых смешных поговорок, вроде: «Не сули журавля в небе», «Не хвались, идучи на рать», и проч., и которые в каждом колебании находят себе подтверждение.

— На посуле-то ты, как на стуле,— подсмеивается обыватель над замявшимся популяризатором,— а как до дела дошло — тут и нет тебя!

Чтò же касается до бесспорных подготовительных положений, которые так облегчают дальнейшую работу мысли, то их нет вовсе. Тут все спорно, все надо начинать сызнова, над всем останавливаться, все разъяснять. А так как это труд

дробный и утомительный, то время уходит без остатка, и в конце концов популяризатор не без удивления замечает, что в деле собственного развития он не сделал ни шагу вперед, в деле же развития ближних достиг лишь того, что приобрел право гражданственности для таких бесконечномалых крупиц, которые он предполагал уже с колыбели присущими каждому человеку.

Ничтожество этого результата действует тем поразительнее, что всякий акклиматизируемый человек непременно до мозга костей проникнут любовью и сочувствием к массе. Работа, которая велась им еще там, *в своем месте,* никогда не имела в виду ничего, кроме массы и ее кровных интересов. Но вот является случай сделать массу участницею этой работы, и с первого же шага возникает бесчисленное множество преткновений. Масса не только не обладает ни одною из элементарных истин, составляющих необходимый отправный пункт для дальнейших обобщений,— она не знает даже, от кого и как получить эти истины, где ее друзья, где ее враги. Те тонкие, невидимые нити, которые связывают с нею человека, живущего в обстановке вполне отличной от ее обстановки, совершенно ускользают от ее понимания. Кто этот человек, который упал в среду ее, подобно аэролиту? С какой стати он предпринимает работу сближения? Не вернее ли предположить, что, благодаря особенностям воспитания и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малейшего интереса для поисков «хорошего человека» между ними, бедными *тутошными* людьми?

Все эти сомнения невольным образом закрадываются в массу и заставляют ее с недоверчивостью относиться к воспитательным попыткам. Масса, конечно, и сама чувствует, что она страдает и терпит лишения, но чтобы этими ее страданиями страдал человек, который всеми условиями жизни поставлен вне необходимости страдать и терпеть лишения,— это для нее непонятно ни с какой стороны. Никогда она не видала подобных примеров; никогда не было у нее ни ревнителей, ни печальников, а ежели таковые и были, то она, конечно, ничего не знала о них. Все ревнительство ограничивалось случайно брошенным словом, которое тут же и замирало, а вслед за ним и сами ревнители исчезали в пучине. Масса ни разу не испытала на себе ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать против своих страданий единственным оружием, которое было у нее в руках: страданиями же или — много-много — частными нарушениями некоторых обязательных для нее правил. И вдруг она видит этих ревнителей воочию, видит их проникающими в самое сердце ее... Зачем?

Зачем эти сравнительно изнеженные, набалованные люди прикасаются к ее страданиям, к тем страданиям, которые не суть их страдания, но составляют исключительный удел лишь масс?

Вот каким образом рассуждают «хорошие люди» провинции, «хорошие» не в ироническом смысле, а в действительном. Предоставляю читателю самому решить, насколько подобные рассуждения благоприятны для акклиматизируемого человека.

Но, кроме поверья о том, что хорошие люди везде живут, есть еще другое поверье, утверждающее, что и для масс возможны минуты прозрения. Против этого поверья возражать нельзя. Минуты прозрения не только возможны, но составляют неизбежную страницу в истории каждого народа. Однако для человека, взятого изолированно, дело заключается не в одной возможности подобных минут, но и в его личном отношении к ним. Когда наступят эти минуты? Для кого расступится мрак, окутывающий лицо масс, и даст увидеть это лицо просветленным, носящим печать сознания и решимости? Слова нет, что даже отдаленная возможность чего-либо подобного может поддержать в человеке героизм; но ведь герои не растут на свете, как грибы в лесу, а сколько же есть людей не героев, а просто честных, полезных и наклонных к добру, для которых эти вопросы суть вопросы утешения или отчаяния?

Во всяком случае, разрешения этих вопросов покаместь еще не предвидится. В громаде убиенных, которую представляет собой масса и для которой, по-видимому, нет в настоящем никакого просвета, существует какое-то неисповедимое тяготение к обседающему ее со всех сторон злу, какой-то непреодолимый страх ко всему, что̀ не разом, не по манию волшебства устраняет его. Сбитая с пути разумных отношений к окружающей природе, загнанная в мир чудес, эта громада от чуда ждет избавления своего из земли египетской, и никакие пророки в мире не убедят ее, что это избавление зависит от нее самой. И что̀ ж это за пророки! Добро бы это были пророки, являющиеся на вершине горы, среди блеска молнии, а то пророки, ютящиеся в самой низменной низменности города Ненасытя,— пророки, набравшие в рот воды, озирающиеся по сторонам и объясняющие склады! «Да дайте же пинка этому пророку!» — резонно замечает капитан-исправник. «Накаливай его!» — словно эхо перекатывается из края в край в массе убиенных.

Существуют, однако ж, вопросы, к которым масса не может относиться иначе, как с возбужденным интересом. Это вопросы ближайших нужд, из совокупности которых слагает-

ся жизнь коренного обывателя и возделывателя земли. На сцене — изнуряющая мысль о гроше; на сцене — вечная забота, вечная сутолока, имеющая в предмете завтрашний день. Мы знаем, что земля наша изобильна, а между тем все статистики свидетельствуют, что в цивилизованном мире нет страны, которая потребляла бы так мало мяса. Мы знаем, что земля наша велика, а между тем нигде коренной житель не живет так тесно, так сперто. Это не жилища, а логовища. Ночью в избе русского мужика невозможно полчаса выдержать,— до того она преисполнена всякого рода миазмов; а он настолько обдержался, что векует тут целую жизнь. Нигде работа так не тяжела, не безотдышна, как у нас. Рабочий человек каждый шаг берет с бою, каждую минуту борется с препятствиями, потому что все стихии в заговоре против него. В этом странном шалаше, называемом избою, он не защищен ни от чего. Он ест пищу, лишенную питательности, и притом ест без соли; он спит на голых досках, покрываясь собственною одеждою. Ученые свистуны, рыскающие по России с целью различных экономических исследований, уверяющие, что русского человека тошнит от еды, и указывающие на громадные цифры заграничного отпуска, утверждают самую бессовестную неправду. Их поражает не изобилие, а перспектива суточных, подъемных и прогонных денег.

Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и в Патагонии, но не надо забывать, что покуда они представляются уму обнаженными от применений и выводов, то самая удобопонимаемость их может принести мало пользы. А в том-то и заключается действительное несчастие масс, что они не имеют досуга для развития, что они живут только настоящею минутой и что для ограждения настоящей минуты им выгоднее признать зло застывшим или, в крайнем случае, что̀-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличение.

— Враг силен, враг горами качает! — говорит обыватель, изнуренный не борьбою со злом, а подчинением ему,— как бы только вконец не убил!

И только. Затем, с какой стороны ни подойдите к провинциальному патагонцу, вы встретите его до такой степени вооруженным афоризмами, что во всем его организме не найдется ни одной точки, которая была бы чему-нибудь доступна, кроме безотчетного страха.

Таким образом, искание «хорошего человека», переходя от сомнения к сомнению, почти всегда разрешается полнейшим фиаско. Но ежели фиаско вообще нигде не проходит даром, то тем менее прощает ему провинция.

Для обеих сторон наступает минута разочарования. Акклиматизируемый человек замечает, что каждая новая минута общения приводит за собой только новый повод для недоумений. Азбука, которую он вынужден безнадежно повторять, до такой степени раздражает его нервы, что в глазах его даже затемняется смысл окружающей действительности. Рождается вопрос: к чему начата вся эта комедия? растет жгучее желание покончить все разом, сию минуту; вырываются движения, которым лучше было бы остаться под спудом. Хотелось бы сделать так, чтобы вся эта история забылась и порвалась сама собою; хотелось бы приютиться где-нибудь особняком, запереться, уйти... Но простой разрыв уже оказывается невозможным, потому что и абориген, в свою очередь, подметил борьбу, овладевшую акклиматизируемым, и следит за нею с интересом тем живейшим, чем слабее развита в нем потребность следить за своим собственным внутренним миром.

Как ни непосредственно чувство *жаления,* оно никогда не остается надолго чувством вполне бескорыстным. «Жалеющий» любит, чтоб «жалеемый» ценил это чувство, чтоб он отвечал ему любезностью и, во всяком случае, готов был разводить с ним тары да бары. Непрошеный глаз врывается в жизнь акклиматизируемого и наполняет ее бестолковейшею путаницей самородных миросозерцаний. Затем являются попытки приручнить, оседлать и оболванить. Образуется убеждение, что «хоть барин-то и прыток, однако поживет с нами — авось и упрыгается». Самолюбия становятся чуткими до болезненности, а мысль о совершенной неприкрытости акклиматизируемого не только не укрощает охоты к нетрудным подвигам, но разжигает ее больше и больше.

— Вся-то цена тебе грош,— плюнуть да растереть! — а ты еще ломаешься!

Я не стану изображать здесь ни дальнейшего хода этого странного процесса превращения жаления в ненависть, ни картины оскорблений и преследований, которые являются неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь в таком факте, который основывается исключительно на недоразумении. Обе стороны действовали добросовестно. Благодушно подали друг другу руки, еще благодушнее старались насиловать свои естественные влечения и привычки, и только тогда догадались, что им вовсе не следовало сходиться, когда уже были перепробованы все мотивы общения и ни один не оказался достаточно жизненным, чтобы сделаться действительно скрепляющим звеном. Понятно, что чем больше приносится жертв, тем живее чувствуется горечь неудачи; но нельзя не прибавить, что главнейшие уязвления этой горечи все-таки

обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемого.

Таким образом, в покалываньях и уязвлениях (их можно бы назвать бессовестными, если б они не были вполне бессознательны) уходят дни за днями, покуда всеисцеляющее время не умирит вражды и не изгладит самого воспоминания о выеденном яйце, которое послужило ей основанием. Что̀ принесет с собой это умирение акклиматизируемому человеку?

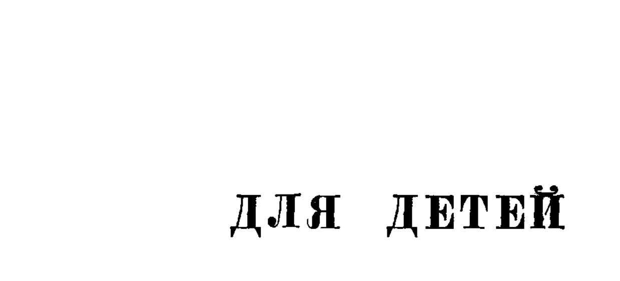
Предположите, с одной стороны, что человек настолько покорил себя, что сделался тише воды, ниже травы. Посмотрите, как он ежится, как он каждоминутно то расцветает, то увядает, как беспокойно он прислушивается и засматривает в глаза, как торопливы и, так сказать, укорочены все его движения! Но когда этот человек остается один на один с самим собою, когда в нем вдруг пробуждается сознание проведенного дня, сколько должен он послать проклятий себе и судьбе! Какое мучительное чувство тоски, унижения, безвыходности должно овладеть им? Вот он быстрыми шагами ходит по своему тесному логовищу; он думает, и не знает сам, о чем думает; он беспрестанно хватается за голову, как бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держит его крепко; это мысль: все кончено! Благотворное дело! какое возможно благотворное дело, когда в голове свила гнездо только одна реальная мысль: все кончено! «Возьмите! вырвите! прекратите!» — вопиет он в тоске, и бесследно замирает этот вопль среди внимающих ему четырех стен.

С другой стороны, предположите, что человек, еще не приступая к процессу общения, уже решил, что одиночество есть единственная форма существования, возможная в его положении. Он прав: одиночество избавляет его от назойливости и дает возможность сохранить неприкосновенным хотя тот запас, который приобретен им в прошедшем. Тем не менее все это нимало не утоляет горечи, которою переполнено его существование. Не говоря уже о том, что потребность общественности сама по себе есть живейшая потребность человека, не следует забывать, что тот умственный запас, который заготовлен в прошедшем, необходимо должен глохнуть и засыпать по мере того, как прекращается процесс освежения и возобновления его. При отсутствии живой проверки мысли человек ставится в странное положение своего собственного оппонента и своего собственного защитника. Этот недостаток мог бы быть отчасти устранен, если б была *книга,* но в наших провинциальных мурьях очень много навозу и всего меньше книг. Остается, стало быть, один выход: переваривать и припоминать прошлое.

Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всех подробностях, когда мало-помалу ослабевают и стираются даже мотивы, вызывающие эти воспоминания, тогда на арену выступает все та же всесильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.

Я не говорю: жертвы бесполезны; я говорю только, что дозволительно изумление. Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно. Точно в яму, наполненную жидкой грязью, нырнут, и сейчас же над ними все затянет и заплывет. Вчера еще был человек, а сегодня его уже нет. Не только из жизни, но даже из хрестоматий и курсов словесности исчезают люди. И за каждым исчезновением — молчок. Грады и веси продолжают процветать: некоторые из них постепенно познают пользу употребления картофеля, другие — постепенно же привыкают к мысли о необходимости оспопрививания и проч. Но нигде, наверное, не скажется потребность освобождения мысли, того освобождения, без которого немыслимо никакое умственное и материальное совершенствование.

В этом отношении везде, куда ни обратитесь,— молчок.



ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОДОВЩИНА

Сегодня мне сорок лет. Помню, ровно двадцать лет тому назад я, точно так же, как и теперь, сидел дома — и вдруг кто-то позвонился в мою квартиру.

— Пожалуйте, ваше благородие! лошади готовы! — сказал, входя, унтер-офицер.

— Что такое? куда? зачем?

Он назвал мне одну из далеких северных трущоб, о которой никак нельзя было сказать, чтобы там росли апельсины.

Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. Дети! когда вы умудритесь, то поймете, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу» и что человек, существо разумно-свободное, есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам.

В то время я был очень добронравный, скромный и безобидный молодой человек. Я мечтал о «счастии», но не повторял вместе с Баратынским:

«О счастии с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я...»,—

а был счастлив действительно. В том полуфантастическом, но прекрасном и светлом мире, в котором я жил, не было ни становых, ни квартальных, ни исправников, ни даже губернаторов. То есть не было именно тех станций, на которых слишком расскакавшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не злоумышление. Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о «счастии» может по временам оказываться равносильною злодейству, но тогда я

ничего этого не понимал. Сказанные выше станции казались мне какими-то туманными точками, при встрече с которыми внимание мое скользило, как будто бы их совсем и не было. Я помню: я уже был тогда на службе и даже писал бумаги, но впечатление, которое оставило во мне это писание, было чисто механическое, или, лучше сказать, меня занимало не содержание бумаг, а те неведомые мне, полуфантастические личности, к которым они были адресованы. Живо представляется мне некоторый Григорий Козмич, которого фигура, как живая, стояла всегда перед моими глазами, фигура маленькая, с армянским типом, с длинным, согнутым крючком носом, с очками на глазах (в то время я его и в глаза не видал, но впоследствии, когда мне на него указали, он действительно оказался точь-в-точь таким, каким рисовало его мое воображение)...

Милостивый Государь
Григорий Козмич!

писал я к нему ежедневно и постоянно заканчивал мое писание словами: «С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть» и проч. О чем я ему писал, в том я и доныне не могу дать себе отчета, но помню, что мой добрый начальник отделения нередко призывал меня к своему столу и разъяснял, в каких случаях следует писать: «о последующем прошу не оставить меня уведомлением», и в каких — «об оказавшемся имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением». Середины, которая несомненно существовала между «милостивым государем» и «совершенным моим почтением», я никак не мог себе усвоить; она улетучивалась, как улетучивается сон, немедленно, вслед за пробуждением. Повторяю: я жил не личною, а какою-то общею жизнью, которая со всех сторон так и плыла и плыла на меня, так и затопляла своим светом, теплом и гармонией.

Так было и в ту минуту, когда добродушный унтер-офицер объявил мне, что необходимо ехать в отдаленную северную трущобу. Я ничего не понял, кроме того: кому и на что надобно, чтоб я ехал? А так как разрешения на этот вопрос не могло быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что это за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится...

Дети! если вам случится встретиться на улице с русским унтер-офицером, спешите снять шапку и поклониться ему! Знайте, что это добрейшее и благороднейшее существо в целом мире, что это неиссякаемейший источник незлобивости,

нежной предупредительности и всяческого унтер-офицерского баловства!

По мере того как городской шум заглушается стуком колес тарантаса, по мере того как остаются назади городские здания, суровые глаза унтер-офицера, везущего вас в трущобу, смягчаются, а густые, преднамеренно нахмуренные брови постепенно разглаживаются, делаются обыкновенными, редковолосыми бровями, приличествующими всякому человеку, не наторевшему в ремесле театрального разбойника. Если в городе вы еще носили в глазах его характер казенной поклажи, то тут, на лоне загородной природы, в виду уходящей в безграничную даль почтовой дороги, характер этот исчезает совершенно. Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшею, но все еще дорогою, все еще желанною овцою, для которой охотно отверзаются все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца!

Я не шутя говорю: если за доблести и военную опытность признается справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры.

Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около «Сясских Рядков» сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:

— Да, нынче «несчастных» довольно провозят!

Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? — отвечали: — сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял мое положение во всем его объеме.

Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет

и вскидывает комьями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни.

— Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! — утешал меня добрейший мой спутник,— а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках — даже дна от множества не видать!

Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастия, к которому так безрасчетливо привязалось мое молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней.

Я давно простил. Быть может, мне скажут, что с моей стороны очень смешно изрекать прощение, которого никто не добивается, о котором никто не думает. Я знаю: действительно, никто не добивается, никто не думает, и тем не менее факт прощения — совсем не претензия, а право. Это сладчайшее из всех прав человеческого сердца; это право, возникающее само собой, помимо всяких соображений об его уместности или неуместности.

Но есть обида, которая и доныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование. С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть! — эта мысль с течением времени до того укоренилась во мне, что никакая неожиданность уже не кажется мне неожиданностью и слово «сюрприз» потеряло для меня всякое обаяние. Я сознаю всю тусклость и невразумительность этих немногих слов, и в то же время не могу найти иных, которые полнее объясняли бы то, что подчас кажется человеку непонятным или неудовлетворительным.

Я совсем не хочу сказать этим, что человек имеет право проходить мимо тех или других явлений жизни, не ощутив по поводу их чувства радости или огорчения, чтоб он был прав, ограничиваясь одним объяснением их; я говорю одно: бывают такие печальные моменты в истории личного человеческого развития, когда человек доходит до уразумения целого порядка явлений, которым можно *только* подчиняться, по поводу которых не остается ничего другого, как *только* махнуть рукою.

Очень трудно считать явление неясным или незаслуживающим внимания по одному только, что оно в самом деле неясно и внимания не заслуживает. Бывают истины совершенно невнятные, но по поводу которых в человеческом уме возникает вполне определенное и притом очень рельефное представление. Нам очень часто говорят: «Не твое дело!», и хотя при этом не объясняют или объясняют с значительными недомолвками, почему известное дело не наше, тем не менее мы не можем не понять, что выражение «не твое дело!» совсем не равносильно выражению «твое дело!» и что к исполнению преподается не первое, а второе. И благо нам, если мы покоримся этой невнятной истине машинально, с зажмуренными глазами; благо нам, если мы не захотим понять более.

Если мы захотим понять более, для нас уже недостаточно будет ломать многострадальные наши головы над тем или другим словом, над тем или другим происшествием. Нам надобно будет вступить в область более обширную, в ту область, из которой источаются все наши жизненные неясности и в которой совершенно естественно укладываются все эти «не твое дело», «не трогай», «не рассуждай», «не моги», подливающие столько горечи в существование человека, застигнутого ими врасплох. Желательно ли было бы для нас слишком беспрепятственное проникновение в эту область?

Прежде всего нельзя сказать, чтоб доступ в эту область сам по себе был легок и чтоб дверь в нее отпиралась настежь перед всяким, кто желает войти в нее. Область, о которой я говорю,— это сама жизнь, не украшенная цветами, не расцвеченная флагами, но жизнь строгая, исторически сложившаяся, спутанная.

Но и помимо той трудности, с которою дается нам эта темная область, спросим себя, что̀, в сущности, мы приобретаем, проникнув в нее? Мы приобретаем убеждение, что в жизни нет того противоречия, которое не было бы строго согласовано с другими противоречиями, нет той горькой неправды, которая не объяснялась бы неправдою еще горчайшею. Наконец, мы приобретаем способность ничем не возмущаться, ни перед чем не раскрывать удивленных глаз. Можно ли, по совести, назвать такие приобретения драгоценными?

В этой нескончаемой сети неправд и противоречий человеческая личность сглаживается и исчезает. Петр, Иван, Андрей, Яков — все это не больше, как неясно намеченные точки, которые не свидетельствуют ни за, ни против чего бы то ни было, которые не могут служить ни доказательством, ни опровержением. Встает целый порядок, целый строй, который захватывает и правых и виноватых, и преследующих и пресле-

дуемых, и гонителей и гонимых, и при виде которого не придет даже на мысль протянуть руку помощи тому или другому Петру, тому или другому Ивану, потому что тут нет ни одного Петра, нет ни одного Ивана, который бы не нуждался в помощи.

Я знаю, многие называют подобные моменты человеческого развития моментами примирения, моментами разумного и трезвого созерцания жизни. Я, с своей стороны, нахожу, что их гораздо приличнее назвать моментами полнейшего индифферентизма и сердечной вялости.

Того ли нам нужно? из того ли обязаны мы биться, чтобы в конце концов получить печальное право с полною душевною невозмутимостью объяснять и оправдывать всякое жизненное противоречие, всякую жизненную неправду?

Нет, говоря по совести, в этом дряблом стремлении к всеоправданию именно и заключается та кровная обида, которая наносится человеку жизнью и о которой я говорил выше. Жизнь, лишенная энтузиазма, жизнь, не допускающая ни увлечений, ни преувеличений, есть именно та постылая жизнь, которая способна только мерить и сводить итоги прошлого, но совершенно бессильна в смысле творческом.

Нам необходимы подвиги, нам нужен почин. Очень часто мы безрассудствуем, мечемся из одной крайности в другую, очень часто даже погибаем; но во всех этих безрассудствах и колебаниях одно остается небезрассудным и неизменным — это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое человеческое сердце, скрывается пытливый и никогда не успокоивающийся человеческий разум. Не смирять и охлаждать следует эту благодатную жажду, а развивать и воспитывать.

Вам, вероятно, не раз случалось присутствовать в обществе людей взрослых и, по-видимому, даже почтенных, которые по целым часам разговаривают между собою, но из разговоров которых все-таки невозможно извлечь ничего, кроме: «так-то», да «помаленьку», да «полегоньку», да «тише едешь, дальше будешь». Увещания такого рода по большей части обращаются к юношам и имеют свойство приводить их в несказанное негодование. Вот эти-то тихо курлыкающие люди и суть те самые пустопорожние мудрецы, для которых все ясно как на ладони, но зато все и голо как на ладони. Представьте себе, например, такой случай: вдруг целый мир населяется подобными тихо курлыкающими мудрецами — что̀ может из этого выйти?

Во-первых, вам, милым и умным детям, будет очень скучно, что вас занимают такими разговорами, в которых даже уцепиться ни за что нельзя; во-вторых, самая жизнь сдела-

лась бы невозможною и, наверное, не замедлила бы протестовать. Не было бы ни открытий, ни изобретений; Америка была бы неизвестна, и вам не пришлось бы кушать печеного картофеля с свежим маслом, который вы так любите. Люди стали бы жить «помаленьку» да «потихоньку», то есть откладывали бы копейку к копейке, считали бы куриные яйца, писали бы отношения и предписания, а для чего они все это делают, для чего откладывают, считают, пишут — они, наверное, даже этого объяснить бы не сумели.

Конечно, эти тихо курлыкающие мудрецы, с которыми вам так часто случается встречаться в Петербурге,— далеко не то, что люди, сознательно предающиеся всеоправданию во имя исторической необходимости; но, говоря по справедливости, тут разница все-таки только в размерах и формах, а не в сущности дела. Одно явление смешнее, мельче, пошлее; другое серьезнее и крупнее; но в обоих — одно зерно, и это зерно то самое, которое незаметно подтачивает и подрывает жизнь.

Говорят, будто «помаленьку» да «потихоньку» есть самая удобная форма жизни, и потому есть полное основание дорожить ею. Но надо быть очень близоруким, чтобы не увидеть, что в этом суждении есть очень большой пропуск.

Можете ли вы сказать, что вам удобно обходиться без чтения, потому только, что у вас книг нет? Что вы удобно ограничиваетесь одною растительною пищею, потому только, что в месте вашего пребывания нет мяса или оно вам не по средствам? — Конечно, нет, и вы, милые дети, этого никогда не скажете, потому что вы в то же время и умные дети. Вы скажете: я ограничиваюсь растительною пищею потому, что не могу иметь мяса, но не только не считаю этого удобством, но, напротив того, вижу тут большое для себя лишение. Но ведь поймите же, что удобства, которые рекомендуются поклонниками теории «помаленьку» да «потихоньку», принадлежат именно к числу тех удобств, о которых я сказал сейчас. Это удобства неведения, лености и робости, с которыми легко уживается и дикий Полинезии, и бедный, скудоумный самоед, но которые, в сущности, составляют самое громадное и вопиющее неудобство.

Действительные и истинные удобства жизни достаются только подвигом и почином. Современный человек, обладающий самыми средними средствами, предъявляющий требования самые скромные, ни под каким видом не согласится добровольно возвратиться к той сумме удобств, которою пользовался во времена оны человек, обладавший некогда средствами, более нежели достаточными, и предъявлявший требования самые утонченные. Оказывается, что современный средний человек

имеет под руками уже гораздо более жизненных удобств и приобретает их с гораздо меньшим трудом, нежели даже тот исключительный человек, который дорожил своими сравнительно скудными удобствами, как тяжело вырванною у жизни победою. Кто же дал современному человеку эти удобства? Кто даст их еще больше человеку будущего? Кто, как не человек подвига, бодрости и почина!

Вот и выходит, что иногда форма жизни, которая кажется нам самою удобною, на деле оказывается приносящею одни неудобства и лишения. Хорошо, по-видимому, живется дикому Полинезии, но в том-то и штука, что она не может служить образцом ни для кого, кроме подобных ему диких.

Поэтому, ежели вы видите человека, который с нетерпением относится ко всякой несправедливости, хотя бы она и не касалась его лично, который чужое горе считает своим собственным горем, чужую беду своею собственною бедою, которого горячее сердце откликается всякому доброму начинанию, всякому душевному слову, к телу которого близка не одна своя рубашка, но и рубашка ближнего, не спешите говорить про него: вот человек взбалмошный, строптивый и неучтивый, который сует свой нос, куда его не спрашивают! Такие скорые заключения прилично выводить оставшимся за штатом регистраторам (за это, впрочем, они и наказываются ссылкой на необитаемый остров, как вы видели это из первого моего рассказа), вы же, милые и умные дети, должны знать, что этот человек есть именно один из тех полезных и честных людей, отсутствие которых самым вредным образом отзывается на целом обществе, производя в нем оскудение добра. Нет нужды, что движения этих людей бывают нередко угловаты, что речь их обыкновенно резка,— вы должны снисходительно смотреть на эти, в сущности, ничтожные недостатки во имя добра, которое делают эти люди, во имя света, который они вносят в человеческую жизнь.

В добре вся сила жизни, в добре замыкается весь ее смысл. Итак, пускай регистраторы обзывают нас сварливыми и взбалмошными — мы знаем, что этими именами позорится горячее стремление к добру и горячее искание истины. Будем же беспокойными и строптивыми, но да не охладится в сердцах наших лучшее достояние нашей жизни — энтузиазм к добру и к истине.

ДОБРАЯ ДУША

Часто я думаю: что̀ на свете всего милее? и как ни гадаю, всегда выходит один ответ: нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку; конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза, на мир божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще...

Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком: во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал, а следовательно, и рассказать и объяснить многое может; во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокоивает все, что бы ни прикоснулось к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют — это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действие от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают; их место занимают «несчастные», и по поводу этих «несчастных» горит, томится и изнывает добрая человеческая душа...

Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, бо́льшая часть их принадлежит именно к числу таких, которые

ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего «преступника», может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление, а этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости — те же преступления и что из их темной массы источаются все мирские несчастия.

Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеваете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека; когда ваши лица расцветают улыбкою при виде его, когда вас инстинктивно манит приласкаться к нему... знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами; знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь.

Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами; он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали: «На то война!» да «Затем в море щука, чтоб карась не дремал!» Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне; действительная роль, на которую — по крайней мере, в настоящее время — осуждена женщина,— это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает. И чем больше она думает, чем томительнее тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее, доброе сердце. Она видит, как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о «несчастии», которое как бы сетью какою опутало весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж ли вернется домой злой и хмельной, она думает: «Господи! какой он несчастный!» Сын ли окажется уличенным в беззаконных делах, она думает: «Господи! как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу!»

И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверное, что в целом мире не найдется слаще

и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки; нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстановляют искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему...

Когда я был в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одною беспредельно доброю женщиной, воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь.

Это была вдова мещанина, Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставивши Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу, домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец протопоп соседней церкви всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтоб не сказать:

— Старость да младость в союз вступили; обе вопиют: «Помози!»

Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние, молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий; брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам; и видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с нею свыкаешься, тем лучше и свободнее

при ней себя чувствуешь, так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы.

На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать. Поэтому возня на дворе и у ворот, около лавки, была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки.

— Кшш... пострелята! — крикнет на них дедушка; но крикнет так незлобиво, что «пострелята» с звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против дедушки.

Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительною связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтоб не погладить его по головке или не дать ему прянички. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство, и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу «несчастненьких», что я тоже в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление, чтобы, как выражался Марк Гаврилыч, «всякую вреду строить». А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как «несчастненький» или «узник».

И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество «вреды», возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня «пострелятами», из калитки ворот вышла сама Анна Марковна.

— Да вы, барин миленький, хоть бы чайку чашечку выкушать зашли! — сказала она мне,— а то уж как-то и стыдно мне, старухе! Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите, а мне вас и побаловать-то ничем еще не удалось! пожалуйте, миленький, познакомимтесь!

Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издалека улыбнулся мне и прилелеял меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей.

Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял, понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто ды-

шало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями, со всей жаждой счастия, которое, словно мираж, манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления; но так как, в ее лета и при ее обстановке, помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра.

Особенными фаворитами ее были: во-первых, дети, во-вторых, мужики, и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники.

— Не знаю, как ты, дружок,— говаривала она мне (она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты»),— а я так до страсти этих ребятишек люблю! Первое, умны и занятны они очень, второе — зла в них вот ни на эстолько нет! И не думай ты, друг мой, чтобы этакой малец чего бы нибудь не понял! Нет, он, плутяга, от земли на аршин вырос, а уж все смекнул! Ведь он тот же большой человек, только в малую формочку вылит; все равно как вот солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек смотрится!

Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем несомненно подтверждал справедливость их.

— А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду? — спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем.

— Ах, какая это нужда, мой друг! какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все сгореть должно, как бы настоящим манером подумать об этой нужде!

— И полноте, Анна Марковна! живут они себе припеваючи, только тесненько немножко! — скажешь ей на это, чтоб подстрекнуть и пошутить над ее горячностью.

— Нет, не говори, даже не шути ты этим! Ты взойди только в избу-то крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она, нужда-то ихняя, сама так в глаза тебе и кинется. И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба мякинного да для пустых щей должен он целый век, до самой

смерти своей, все работать, все работать! Как только бог души их держит, как только сила-то в них еще остается! Ведь по-настоящему-то, от этих пустых щей бока у человека промыть должно, а он все-то скрыпит, все-то работает! И не для себя все работает... да, не для себя!

— А вот в газетах, Анна Марковна, пишут, что мужик оттого беден, что пьет не в меру! — опять пошутишь над нею.

— Врут все они, врут твои газеты! — вскинется она на меня,— вот кабы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй бы, в звездах да в лентах мостовые гранил! Ты подумай, какое они слово, эти газетчики-то твои, говорят! Пьет мужик! А сколь часто он пьет, спросила бы я тебя? В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывши! А слышал ли ты, как мужик на базар-то едет, с чем едет и что он там делает?

— Нет, Анна Марковна, признаться, мало я эти дела знаю.

— Так вот я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город раным-рано, чуть брезжить начнет. Не спит он, все около воза идет и так-то ноги свои отколотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут. И идет он таким манером верст десятки, и в мокреть, и в пыль, и в снег, и во вьюгу, и в дождик. И лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мозжат, и сон-то его валит, а он все идет, все идет, словно у него и невесть впереди какая радость стоит. А везет он, мой друг, на возу-то на своем... знаешь ли, что̀ он везет? Душу свою, друг мой, он везет! душу свою, которая цельную неделю день-деньской надрывалася, недопивала, недоедала, а все думала: «Господи! как бы мне на соль да на щи пустые осталося, чтобы мне христианскою смертью помереть, а не околеть с голоду, как собаке!» Ну, вот, приехал он, продал свою душу-то на базаре... как ты думаешь, куда он деньги-то свои наперед всего понес? В подати, мой друг, в подати!

— Однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна же чем-нибудь жить!

— Знаю, дружок, знаю, что подати платить,— самое есть первое дело, да не про то я с тобой и говорю! Я говорю, как мужику-то больно, как у него сердце-то его бедное щемит! И назябнется-то он, и недоспит-то, и обманут-то его, и оберут-то! Что̀ делать-то ему! ты скажи, что̀ ему делать-то?

— И все-таки не резон в кабак ходить!

— Ну, брат, я вижу, что ты меня только нарочно в сердце вводить хочешь! Ин, прощай лучше, бог с тобой!

— Ну, полноте, Анна Марковна! вы видите, что я шутки

шучу. Не пошути я с вами, вы бы не расходились так, да и я бы не знал, как мужики на базар ездят.

— То-то, мой друг, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить, а тем паче народ смущать своими речами! Я сама хоть и купчихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты как станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука эта не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни ты эту примету: как взглянешь ты на нашего мужика, да затоскует в тебе сердце твое, тогда говори смело: знаю, мол, я нашего русского мужика, потому что без жалости смотреть на него не могу! И будет он тебе так мил, так мил, что и пониток-то его рваный краше ризы нешвенной покажется!

Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я никогда не уставал наслушаться рассказов ее. Говорила она, как родится русский мужик, как он, словно крапива у забора, растет, покуда в меру разума войдет; говорила, как пашет, боронит, косит, молотит, веет русский мужик, и все куда-то везет, все везет! говорила, как умирает русский мужик кротко, покорно, истово... Рассказы эти не разжигали меня, не поднимали во мне горечи, но, напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что этими моментами я обязан никому иному, как именно милой моей Анне Марковне.

— Ну, а «несчастненьких»-то ваших за что вы любите? ведь не за добродетели же они, а за преступления свои узниками-то сделались!

— Да ты, дружок, подумай крошечку, так и увидишь, может быть, что настоящие-то преступники не в остроге сидят, а тут вот, промеж нас с тобой, в миру в вольном веселятся да благодушествуют!

Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, думалось мне, есть такие ответы... есть! Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? Какую такую свою собственную теорию невменяемости соорудила она в голове своей? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же прийти к таким нешуточным обобщениям!

На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие вопросы, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которого нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлекалась изворотами и честно и по-

сильно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию.

— Как ты думаешь,— продолжает между тем Анна Марковна,— от сытости, что ли, вор ворует, от хорошего житья грабитель на дорогу выходит? Или, по-твоему, человек так и родится злодеем? Так вот они,— дети-то! гляди на них! Вот их тут охапка целая, как хочешь, так их и поверни!

Взгляну я на детей, и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые и умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтоб из них вышли когда-нибудь злодеи и грабители. Правда, что маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу с старым козлом, который греется у конюшни на солнце, и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это свои резоны есть.

— Тетенька! Васька возить меня не хо-о-чит! — оправдывается он всякий раз, как Анна Марковна принимает сторону разобиженного козла.

— Да ведь он, голубчик, старенькой! — увещевает его тетенька.

— Дедушка тоже старенькой, а вот возит!

Во всяком случае, этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было выводить заключения. Да и житье Васьки-козла, в сущности, совсем не худое: сколько раз в сутки тот же самый забияка Петя, натешившись над ним, и хлебца ему даст, и молочка принесет...

— Узы, мой друг, везде есть,— продолжает свою речь Анна Марковна,— и как тяжелы... ах, как тяжелы эти узы! Только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует, и на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется! Как думаешь ты, под забором-то расти — не узы это? большую-то дорогу своими ногами обколачивать — и это тоже не узы? А кабак-то! а воровства, да грабительства, да убийства — ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы! Вот они где, наши мужицкие-то узы, зреют-назревают, а ты их в остроге да между заключенными ищешь! Там ведь, дружок, уж развязка одна, а ты подумай только, какими путями-дорогами до этой развязки-то дойдено!

И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало.

— А ты вот попробуй-ко с лаской к нему подойти, к тому, которого ты душегубом-то называешь, так и увидишь, как его, сердечного, от душевной-то муки перевертывать начнет!

— А вы, верно, пробовали, Анна Марковна?

— Пробовала, сударь, не хвастаясь скажу: не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас в здешнем остроге

большой грешник перед богом, Василий Топор назывался. Сколько этот Васютка душ христианских безовременно сгубил — так это и сказать невозможно. Читали это, читали, как на эшафот-то его вывели — даже и на народ-то словно бы страх напал! А он стоит этак, руки назад к столбу связамши, и даже в лице нисколько не изменился! И начали его полысать... Я сама тут, мой друг, была, и хоть мне не впервый эти страсти человеческие видеть, однако и я удивилась, какую он в своем сердце, даже под плетьми, отвагу сохранил! Только ворочаюсь я с торговой-то площади домой, словно пьяная, и думаю: «Господи! да неужто ж есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего!» И решилась я тогда же пойти к нему в больницу и утешить его...

Анна Марковна останавливалась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения.

— Вот и пришла я к нему в больницу... Много ли, мало ли говорили мы между собой,— не мудреные, мой друг, наши речи! — только стал он понемногу смягчаться. «Васенька! — говорю я,— сердце у тебя, друг мой, горячее, укроти ты его, утоли ты вредную строптивость свою!» Посмотрел он на меня, и словно как бы в первый раз ему в голову что пришло. «Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по дорогам горе свое большое разнести захотел!» — «Не стерпел»,— прошептал он. «А ты бы, говорю, подумал, какие узы другие-то христиане терпят; может, горше твоих!» — «Горше»,— говорит. И вижу я, стал он напруживаться, и пот по нему проступать начал. И вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе это не могу! Уж не то что плачет или рыдает, а просто криком кричит!.. И мучится... и мучится... Так мне после этого пятна-то, которые у него на щеках да на лбу напятнаны были, краше честного девичьего румянца показалися!

Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище и лучше, нежели был прежде, и что за всем тем, я и пяди не стою этой простой и милой женщины, которой голос, точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примирять с совестью самые упорные и закаленные натуры.

— Так вот как насмотришься этаких примеров,— продолжала она,— так и посовестишься сказать про человека: вот вор! а этот вот убийца! Ведь и убийце Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил... а мы!

Давно нет уж на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память. Я убежден, что ей я обязан большею частью тех добрых чувств, которые во мне есть. Я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы коротали с нею долгие зимние вечера; я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее, но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе.

Скончалась она тою самою «крестьянскою» смертью, о которой столько раз говорила и которой сильно желала. В один из теплых, весенних дней, возвращаясь из церкви, она промочила ноги и простудилась. Вечером я ее еще видел, и хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить, но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла. На другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула...

Марк Гаврилыч жив и до сих пор, но от старости уж ничего не говорит, а только все плачет. Сережа, старший внук, достиг двадцати лет и управляет дедушкиным капиталом, которого, за добродетель Анны Марковны, набралось очень довольно. Часто проходя мимо знакомого дома об трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалось личико хорошенькой мещаночки, добрым выражением своим напоминавшее лицо покойной тетеньки. Я знал, что это личико принадлежит жене Сережи и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливает всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.

ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ

Предисловие, объясняющее происхождение одного литературного общества

Вдова действительного статского советника и кавалера, Катерина Павловна Младо-Сморчковская, рожденная княжна Пустодомова, имела четверых сыновей-погодков: Гришу, Сережу, Ваню и Пашу. Всех их она, разумеется, предназначала для самой блестящей будущности. Она была бы, например, очень рада, если б хоть один из них вышел чем-нибудь вроде Суворова, и надо сказать правду, что маленький Ваня до некоторой степени даже оправдывал материнские мечты. Он не любил никакой игры, кроме игры в солдатики, отвращался от всяких игрушек, кроме оловянных кавалеристов и пехотинцев, терпеть не мог никакой мелодии, кроме мелодии барабана; наконец, ел и пил всякую дрянь. Однажды, засмотревшись на маленького Ваню, как он маршировал и какие трудные переходы заставлял делать своих оловянных однокашников, Катерина Павловна до того забылась, что воскликнула: «Иди! спасай царей!» Конечно, она сама сейчас же опомнилась и порядком-таки струхнула, но, к счастью, в то время никого, кроме Вани, в комнате не было, и происшествие это осталось без последствий. Но, с другой стороны, она понимала и то, что Суворов был всего на все один и что, следовательно, четверым одну вакансию занять никак нельзя. Поэтому она была не прочь удовольствоваться для других сыновей и просто солидною административной карьерой, которая хотя и не поражала бы таким блеском, как карьера военная, но зато обещала бы более прочности и обеспеченности в будущем. Сказать ли правду? к административной карьере у нее даже больше лежало сердце, нежели к военной...

Чтобы понять причину этого последнего предпочтения, необходимо сказать, что покойный муж Катерины Павловны

был, в начале нынешнего столетия, несколько лет сряду, губернатором в одной из самых хлебных губерний России. На этом месте он достиг всего, что только человеческому желанию доступно. В глазах начальства он славился строгостью и скоростью; глаза откупщиков ослеплял неупустительностью во взимании даней; в глазах предводителей дворянства имел то ни с чем не сравнимое качество, что держал лучшего повара в целой губернии и откармливал дома совершенно невиданных поросят. Таковы были гражданские доблести покойного. Но были, однако ж, и военные. Катерина Павловна очень хорошо помнила, как ее Иван Григорьич делал походы против бунтовщиков и недоимщиков, как он не подвергался при этом ни малейшей опасности и как, за всем тем, из каждого похода возвращался обремененный добычею.

«Разграбив имущества, предав селения в жертву пламени, уничтожив пажити и надругавшись над женами и девами, они (печенеги) возвращались восвояси, обремененные добычею»,— вспоминалось при этом Катерине Павловне из ее далекого институтского прошлого.

— Конечно, все это прекрасно,— мысленно прибавляла она в заключение,— и слава и лавры! однако с печенегами все-таки покончили,— и где теперь их добыча! — а мой Иван Григорьич и умер-то своею смертью, да и из добычи кой-что после себя оставил!

Вообще Катерина Павловна довольно своеобразно смотрела на русскую историю. Она делила ее на два периода: первый, до убиения боярина Кучки, и второй — после убиения боярина Кучки. До убиения ей представлялся какой-то хаос, в котором мелькали хозары и печенеги, обремененные добычей, но ничего своим детям не оставившие; после убиения наступал московский период, который уже потому был ей известен, что она была уроженка Москвы и, следовательно, отлично знала и Ивана Великого, и Солянку, и Арбат. Особенных подробностей, конечно, и об этом периоде она не могла сообщить, но ей представлялось за верное, что в это время жили всё Иваны Васильичи да Васильи Иванычи, которые отличались от печенегов тем, что были люди хозяйственные и с добычей обращались умненько.

— Нет, лучше поскромнее, да посолиднее! — заключала она мысленно,— лучше быть каким-нибудь сереньким Васильем Иванычем, чем знаменитостью вроде князя Дедери (так ошибочно называла она славного в летописях печенежского князя Редедю), у которого, пожалуй, и штанов не было!

И решила, что дети ее будут по малой мере градоначальниками, то есть пойдут до известной степени по стопам до-

блестного родителя, за исключением, пожалуй, Вани, который мог, если хотел, сделаться и Суворовым.

В исполнении этих намерений Катерине Павловне немало помогал Степан Петрович Сапиентов, рекомендованный братцем, князем Кирилою Пустодомовым, как педагог, специально посвятивший себя приготовлению государственных младенцев.

Степан Петрович был явлением довольно обыкновенным в то небогатое людьми время. Происходя из «прискорбных» и кончивши курс в духовной академии, он, при помощи ласковости и пастырского благословения, кое к кому втерся, кое около кого потерся, так что в непродолжительном времени познал даже употребление носового платка. Он уже мечтал о том, как со временем заменит собою Сперанского, но выходящие из ряду педагогические способности помешали ему сделаться государственным человеком.

Издавна замечено, что слишком большое усердие, слишком исключительная специальность скорее мешают, нежели помогают. Для того чтобы свободно подниматься по лестнице жизни, необходимо отчасти порхать, отчасти скользить по поверхности. Порхающий человек то на один цветок сядет, то на другой — не успеешь оглянуться, ан в результате административный сот. Напротив того, человек усидчивый, обладающий чугунною поясницею, так и кажется, что заведет в трущобу. Я знал очень многих почтеннейших регистраторов, из которых каждый был бы, конечно, не прочь устроить свой собственный сот, но ни один не был к тому допущен именно потому, что слишком уж ревностно записывал исходящие и входящие бумаги. Как только начальство раз убедилось, что человек на известном месте необходим, что без него как без рук, так карьера этого человека кончена. Истинные честолюбцы знают это и потому на каждом встречающемся цветке останавливаются именно на столько времени, сколько нужно, чтоб извлечь из него необходимое в данную минуту количество меда. И таким образом, порхая, играя и летая, допархиваются и доигрываются иногда до должностей весьма приглядных.

Подобного рода неприятность случилась и с Сапиентовым. Репутация его как педагога, специально посвятившего себя приготовлению государственных младенцев, установилась так прочно, что никому даже в голову не приходила мысль о возможности видеть его в другом положении. Конечно, его, для формы, записали в какую-то комиссию, занимавшуюся разработкой «некоторых приличных нашим обстоятельствам конституций», но ни до одной конституции не допустили и звания государственного человека не удостоили. Зато кормили домашними обедами, награждали чинами до статского советника

включительно и обещали со временем сосватать богатую купчиху. Так он и оставался, в качестве жениха предполагаемой купчихи, видя, как Сперанский мелькает перед его глазами, и горько плачась на неблагосклонность к нему фортуны. В 1812 году фортуна, казалось, улыбнулась ему. Сперанский был обвинен в пособничестве Наполеону — он нет; Сперанский был сослан в Нижний — он нет. Он каждый день ждал курьера... увы! на горизонте действительно взошла новая звезда, но не он, Сапиентов, был этой звездою, а какой-то Крестовоздвиженский или Ризположенский, одним словом, некто такой, кому он еще в семинарии неоднократно задавал вселенскую смазь.

Он покорился.

В таком положении, то есть вполне примирившимся с скромною ролью воспитателя государственных младенцев, мы застаем его в ту минуту, когда братец, князь Федор Пустодомов, познакомил с ним Катерину Павловну.

— А позвольте, сударыня, узнать, какие вы имеете виды на ваших малюток? — спросил Сапиентов, по-видимому придерживавшийся, в деле воспитания, той теории, что малютка — воск, из которого, по усмотрению, можно наделать и крепких в брани генералов, и прилежных ко взысканию недоимок администраторов.

— Откровенно вам скажу, что мне хотелось бы пустить их по штатской,— отвечала Катерина Павловна,— ну, знаете, однако ж, чтоб и рыцарские чувства... не совсем же были забыты...

— В нашем отечестве, сударыня, рыцарские чувства наипаче в чиновническом сословии пребывают. Чувства сии суть: исполнительность и неуклонное хранение вверенной тайности!

— Отец их был губернатором — ну, мне, конечно, хотелось бы, чтоб и они... ну, хоть градоначальниками! Все же, знаете, кусок хлеба... Разумеется, не сразу — сразу, я знаю, нельзя, а исподволь... Я вам должна сказать, что Гриша несколько знаком даже с формами и обрядами делопроизводства!

— Вот как-с!

— Да; мой покойник обращал на этот предмет большое внимание и говаривал, что в нем заключается истинное счастие жизни. Сережа — тот больше по части любознательности. Что-нибудь выведать, высмотреть — вот его дело. И сейчас прибежит ко мне и все перескажет: такой откровенный ребенок!

— Сударыня! если б у нас в каждой губернии было хотя по одному такому откровенному ребенку, то наше благополучие было бы несомненно! Это верно-с.

— Ну, Паша — тот больше к деньгам пристрастие имеет;

считает, знаете, копит, занимает, делает разные операции... иногда даже утаивает...

— Может, стало быть, по финансовой части быть деятелем. Но вы пропустили, сударыня, третьего вашего малютку...

— Ах, об Ване, право, не знаю, что и сказать вам. Он больше все с барабаном! Да вот еще на днях выдумал в трубу трубить!

— Что же-с! И по этой части слуги нужны. В садах государственной службы не один мирт произрастает, но и лавр!

— Так-то так, мой почтеннейший Степан Петрович, да все как-то страшно за него. Мирты-то, знаете, прочнее, солиднее. Как в кармане-то густо, так и на свет смотреть как будто веселее. А с этими лаврами и свое как раз спустишь!

— Бывали, однако, сударыня, и иные указания в истории. Сципион Азиятский, например, не только своего не расточил, но даже весьма приумножил!

— Ну, да, конечно, кабы командиром... вот тоже по провиантской части хорошие места бывают... а все же, знаете, по штатской как-то солиднее!

— Что же-с! постараемся в один венок вплести и лавр и мирт. Как говорит поэт:

И лавр, обнявшись с повиликой...—

Стало быть, это дело возможное-с.

На этом конференция и кончилась.

Не имея в предмете излагать здесь полную систему воспитания государственных младенцев, изобретенную Сапиентовым, я остановлюсь только на той из ее подробностей, которая имеет непосредственное отношение к помещаемым ниже рассказам. Поставив себе задачей возбудить в своих питомцах охоту к мышлению, Степан Петрович непрерывно упражнял их в сочинениях на разные темы. Само собой разумеется, что темы брались преимущественно из сферы административной, к которой, собственно, и приготовлялись молодые люди. «Надобно их постепенно соблазнять»,— говорил Сапиентов и шел к своей цели неукоснительно, то есть переходя от легчайших понятий и предметов к труднейшим. Так, на первый раз он задал сочинение на тему: «что̀ такое канцелярская тайна?» И когда этот вопрос был разрешен, то приступлено было к разрешению вопроса последующего: «почему канцелярская тайна необходима?» Потом он задал сочинение на тему о «благосклонности вообще и административной в особенности»; потом: «о спасительной строгости и благомилостивом прощении». Когда же, по его мнению, был удовлетворительно пройден весь цикл административных воздействий, тогда он решил в своем

уме, что настало время увенчать здание. «Дети,— сказал он себе,— приобрели весь необходимый материал, который был нужен, чтоб составить отчетливую идею о том, что̀ такое администратор вообще. Попытаем теперь, в какой степени они соблазнены!»

Остановившись на этой мысли, он задал двоим старшим питомцам сочинение на тему: «Добрый служака», а для двоих младших выбрал тему полегче: «Добрый патриот». Причину, по которой он почитал эту последнюю тему более легкой, он объяснил Катерине Павловне следующим образом.

— Сударыня! — говорил он,— чтобы написать хорошее сочинение на тему «Добрый служака», надо до известной степени обладать административной практикой, которой ваши младшие птенчики еще не имеют. Между тем упражнение на тему «Добрый патриот» ничего не требует, кроме возвышенных чувств. Поэтому я позволяю себе думать, что в этом случае малолетство автора не только не должно почитаться препятствием, но даже может служить немаловажным подспорьем!

Ответом на заданную тему были следующие ниже сочинения. Они печатаются здесь, как с подстрочными замечаниями, сделанными Сапиентовым на полях, так и с общими замечаниями, сделанными им же в конце каждого упражнения.

I. ДОБРЫЙ СЛУЖАКА

Из моих воспоминаний

(Сочинение 13-летнего Гриши Младо-Сморчковского)

Не в весьма давнем времени, однако и не меньше тринадцати лет назад, от благородных родителей произошел на свет молодой человек, получивший впоследствии столь громкую известность[1] под именем Гриши Младо-Сморчковского-первого.

Отец Гриши, действительный статский советник и кавалер Иван Григорьевич Младо-Сморчковский, был в то время — ским губернатором и отличался строгостью и скоростью; мать Гриши, рожденная княжна Пустодомова, славилась красотою, любезными нравами и еще тем, что в совершенстве знала, какой уезд какими произведениями изобилует. Сочета-

[1] Не слишком ли самонадеянно сказано о громкой-то известности? И почему «под именем», когда Младо-Сморчковский не псевдоним, а действительная фамилия? *Сапиентов.*

ние сих качеств изумительным образом отразилось в Грише. Он был строг, быстр, но в то же время не чуждался и хозяйственных соображений [1].

К сожалению, Гриша совершенно не помнит обстоятельств своего рождения. Должно полагать, что и он не избежал общего горького закона природы, то есть родился наг, беспомощен и некоторое время не мог даже ходить. Помнит, однако, что первый предмет, который обратил его внимание и к которому инстинктивно потянулись его ручки, был «Журнал министерства внутренних дел», издававшийся тогда под редакцией г. Варадинова [2].

Заметив в Грише такую особливую наклонность к правительственным распоряжениям, родители его не замедлили всячески оную в нем поддерживать и развивать. В шестилетнем возрасте он случайно достал из губернского правления довольно пространный сенатский указ и втайне изучал его; а семи лет, ко дню ангела своего родителя, он уже сочинил рапорт «о том, зачем по присланному из сената указу исполнения учинить невозможно». С тех пор чтение начальственных предписаний сделалось любимейшею его забавой.

Так жил Младо-Сморчковский, возбуждая зависть в старых советниках губернского правления и будучи предметом удивления для поседелого в боях вице-губернатора. Впрочем, отдавшись душою гражданским доблестям, он не пренебрегал и воинскими упражнениями, которые впоследствии тоже принесли ему много пользы. Так, например, к восьми годам он уже знал все построения, какие необходимы для действия против обывателя [3].

Вообще день этого молодого человека был распределен так: в 6 часов утра пробуждение и умывание холодной водою à la Suwaroff; непосредственно вслед за тем одевание (солдатские брюки и солдатская же грубого сукна шинель) и пение «ура!» — до тех пор, покуда не пробьет семь часов. В семь часов кружка сбитня и кусок черного хлеба. После того, до двенадцати часов, телесные упражнения, ружейные приемы, учение одиночное, однорядное, двурядное и проч. Начальные понятия об атаке. В двенадцать часов молодой человек, возвратившись в свою комнату, подобно всем господам военным, говорил: «ух, устал, как собака!» — и позволял себе полчасика вздремнуть, сидя на стуле и облокотясь головой на правую руку. В час обед, состоявший из солдатских щей с солониной

---

[1] Не знаю, в какой степени можно сказать сие о младенце, едва родившемся. *Сап.*

[2] Автор предваряет события. *Сап.*

[3] Дай бог, но сомнительно. *Сап.*

(иногда даже не совсем свежею) и крутой каши. После обеда, вместо рекреации,— пение «ура!»; затем: ружейные приемы, езда марш маршем и «сабли наголо!», при чем всегда присутствовало несколько сверстников, которые представляли внутренних врагов, то есть обывателей[1]. С двух до шести чтение указов и писание рапортов, большею частью «с действительным исполнением», ибо даже в юных летах Младо-Сморчковский-второй никаких препятствий в деле исполнительности выносить не мог. В шесть часов вновь кружка сбитня и затем, до девяти часов, практические упражнения на тему: «кто хочет начальствовать, тот прежде сам должен научиться повиноваться». В этих видах Младо-Сморчковский-второй предлагал кому-нибудь из сверстников, ниже его рангом, что-либо ему приказать и исполнял то приказание слепо; потом, в свою очередь, сам приказывал — и горе тому, кто позволил бы себе хотя на одну черту уклониться от исполнения приказанного. В девять часов утомление и сон...

Такой образ жизни не только укрепил Младо-Сморчковского физически, но и уму его сообщил замечательную прозорливость. Так, будучи девяти лет от роду, он уже начинает замечать некоторые недостатки в управлении своего родителя. Есть скорость, но нет стремительности; есть строгость, но нет непреклонности[2]. Младо-Сморчковский-первый все еще как бы оглядывался по сторонам, и хотя нередко говаривал, что рассуждать не следует, однако, по слабости своей, рассуждал[3]. Напротив того, Младо-Сморчковский-второй сразу решил в сердце своем: не рассуждать![4] и сообразно с сим начертал план будущей атаки. Когда он взирал, как копается чиновник особых поручений Степнухин, как разводит на бобах прави-

---

[1] Непонятно, почему обыватель везде именуется внутренним врагом? Можно назвать врагом: недоимщика, вольнодумца, распространителя вредных и опасных слухов, разглашателя канцелярской тайны — все сии лица мешают свободному административному бегу — но обывателя вообще... отнюдь! Обыватель скорее друг администрации, нежели враг ее. Он платит подати, возит чиновников на обывательских, то есть без прогонов, топит печки в земских судах и городнических правлениях, за что пользуется титлом сельского заседателя или ратмана. Вот подлинные занятия обывателя — что же в них враждебного? За всем тем нельзя не сознаться, что и в замечании Младо-Сморчковского-второго есть мысль довольно справедливая. Но оную надлежало развить гораздо подробнее. *Сап.*

[2] А со стороны Младо-Сморчковского-второго есть строптивость. *Сап.*

[3] Не по слабости, а по прирожденной наклонности к умствованию. Наклонность сия, хотя и ведет нередко человека к погибели, однако совершенно преодолеть он ее не может. Впрочем, если это и слабость, то она уже потому извинительна, что без помощи ее мы не знали бы, что человек смертен. *Сап.*

[4] А сам рассуждает! *Сап.*

тель канцелярии Подоплеков и как родитель его, вместо того чтобы броситься в атаку и стремительным натиском смять врага, мямлил, отправляя дела в губернское правление для обсуждения... то сердце его обливалось кровью![1] И вот, по поводу этого-то мямления произошли первоначальные пререкания между Младо-Сморчковскими — первым и вторым.

Дело началось с почтительных представлений Младо-Сморчковского-второго. Получена была из Петербурга бумага, содержание которой сразу пленило сердце Гриши. Подлинно рассказать это содержание невозможно, но достоверно, что в ней, с одной стороны, нечто принималось в соображение, с другой стороны, нечто не упускалось из вида, и в то же время нечто рекомендовалось особенному вниманию. В заключение — смерть врагам![2]

Как уже сказано выше, пламенный юноша Младо-Сморчковский-второй был совершенно очарован плавным и текучим слогом этой бумаги. Он с восторгом повторял затверженные из нее фразы, так что было время, когда родительский его дом ничем другим не оглашался, кроме: «с одной стороны», «с другой стороны», «но в то же время» и т. д. Напротив того, Младо-Сморчковский-первый смотрел на это дело иначе и даже прямо называл новый административный слог развратным[3].

Однажды, в седьмом часу вечера, когда Младо-Сморчковский-второй, по обыкновению, принес на просмотр к отцу только что сочиненное им примерное предписание по делу «о новоявленном в некоторой местности буйственном духе», то Младо-Сморчковский-первый, вместо того чтобы похвалить, как это всегда прежде бывало, сказал:

— Эге, любезный! да, кажется, и ты этой развратной галиматье подражать начинаешь![4]

Младо-Сморчковский-второй смолчал, но, поняв всю силу нанесенного оскорбления, вспыхнул.

— Ну, скажи на милость,— продолжал Младо-Сморчковский-первый,— разве это не галиматья: «с одной стороны, принимая во внимание обычную в сем звании нераскаянность, с другой стороны, не упуская из вида, что строгость всегда спасительна, я в то же время считаю не лишним рекомендовать вашему благородию, что вы в значительной степени можете улучшить вредное направление умов, если своевременно,

---

[1] За таковые мысли следует автору изрядно намылить голову. *Сап.*

[2] Любопытно было бы сию бумагу прочитать, коли она не вымысел авторской фантазии. *Сап.*

[3] Не может быть. Не согласно с твердыми правилами Младо-Сморчковского-первого называть бумагу, писанную на бланке, развратною. *Сап.*

[4] Неправда. *Сап.*

незамедлительно и даже *нерассудительно* скомандуете: в атаку!» Ведь таким манером ты, глупенький, весь народ перебьешь!

— Если он этого достоин, то перебью! — твердо отвечал Младо-Сморчковский-второй.

— С кем же ты после останешься? Ах, глупенький ты, глупенький мальчик!

Как ни сдерживал себя Младо-Сморчковский-второй, но уста его невольно прошептали: старый колпак! [1]

Тогда началось исправление, предпринятое, как впоследствии дознано, по методе г. Миллера-Красовского [2]. Пощечины следовали одна за другою с такою неожиданностью, что Младо-Сморчковский-второй не мог даже ничего придумать, дабы отвратить от себя сие бедствие... Но в это время в голове его уже созрел план.

План этот заключался в том, чтобы во что бы то ни стало самому сделаться градоначальником... а быть может, и министром!

С этою целью он решил: во-первых, покинуть отчий дом; во-вторых, объявиться начальству и откровенно изъяснить ему свои виды и предположения и, в-третьих, заявить решительное намерение не выпускать бразды из рук, покуда хоть один враг останется налицо.

Путешествие предстояло опасное и продолжительное, но Младо-Сморчковский-второй и не скрывал от себя трудностей своего предприятия. Он несколько дней сряду откладывал от своей скудной порции по куску хлеба, высушивал эти куски в печке и, когда сухарей накопилось достаточно, пустился в путь.

В глухую полночь он навсегда покинул теплую постель, чтобы отныне исключительно отдаться административным приключениям!

Он не будет описывать здесь красоты природы, которых, впрочем, было очень достаточно; он не изобразит величественный восход солнца или не менее величественный закат его; он не представит картину бури, в своем разрушительном беге вырывающей с корнями столетние дубы... Все эти предметы были в то время чужды его душе, исключительно поглощенной административными заботами.

Несколько дней скрывался он на городском выгоне в заброшенном кирпичном сарае, питаясь черствыми и заплесневелыми сухарями, утоляя жажду дождевой водой и тая в

---

[1] Нехорошо Дурно. *Сап.*

[2] Но какую же иную методу предпринять? Каков проступок, такова и метода. *Сап.*

груди свой замысел. Наконец, опасность погони миновалась, страхи рассеялись, и Младо-Сморчковский-второй с трудом выполз из своего убежища. Казалось, вожделенная цель была близка...

Но провидению угодно было на сей раз отдалить ее. Прежде нежели привести в исполнение обширный свой план, Младо-Сморчковский-второй должен был сделаться атаманом шайки разбойников [1].

Мало кому известно, сколь разнообразны и тяжелы обязанности атамана разбойников. Вставать с зарею, питаться сырыми произведениями природы, скрываться в лесах и пещерах и в то же время нести на своих плечах все бремя хозяйственных распоряжений по содержанию и продовольствию шайки, целый день быть свидетелем пролития человеческой крови, обладать несметными сокровищами и очень часто не знать, какое сделать из них употребление,— какая нужна железная сила духа, чтоб вынести подобное существование! Однако Младо-Сморчковский-второй и эту трудную школу выдержал с честию!

Поступив в разбойники и предвидя, что ему придется совершать поступки, которые могут огорчить его родителей [2], он принял фамилию Туманова. В первый же день он собственными руками зарезал мать многочисленного семейства, а ребенку ее раздробил об камень голову [3]. На другой день он, под видом отставного солдата, идущего на родину [4], забрался в убогую хижину гостеприимного селянина и ночью, когда все его семейные улеглись спать, Туманов иным отрубил головы, а иных задушил и, забрав значительную сумму золотом и бумажками, возвратился в разбойничий лагерь. Мужество и проворство [5], которые он при этом выказал, доставили ему такую популярность между разбойниками, что вскоре все окрестные леса огласились именем неустрашимого атамана Туманова.

Так проводил свои дни, в беспрерывных занятиях, славный атаман разбойников Туманов.

---

[1] Нельзя сказать, чтобы автор имел недостаток в фантазии; но направление ее не столько полезно, сколько вредно. Посмотрим, что-то покажет нам дальше сей, кажется, слишком предприимчивый Младо-Сморчковский-второй? *Сап.*

[2] Вот первый признак раскаянья! дай-то бог, чтоб он принес вожделенные плоды! *Сап.*

[3] Увы! таковых (то есть плодов) не оказывается. *Сап.*

[4] Автор забывает, что солдат, дабы получить отставку, должен прослужить двадцать пять лет. Какой же он мог иметь «вид отставного солдата», когда ему от роду было не более осьми лет? *Сап.*

[5] Не мужество и проворство, а зверство и пагубная поспешность проливать кровь. *Сап.*

Он уже имел намерение, подобно знаменитому своему предместнику, Ермаку Тимофеевичу, отправиться в какую ни на есть отдаленную страну, с тем чтобы покорить ее оружию России, но не успел еще определить, в каком месте находится упомянутая страна, как фортуна совершенно неожиданно изменила ему. Это случилось именно в то время, когда он разбойничал в знаменитых Муромских лесах.

В разбойничьем таборе сделалось достоверно известно, что через лес должно было проезжать с ревизии некоторое значительное лицо, обремененное добычею. Разбойники ждали с нетерпением и, разумеется, все свои надежды возлагали преимущественно на Туманова. И действительно, в девять часов пополудни показалась вдали колымага, которую через силу тащила шестерня исправных лошадей: до такой степени она была нагружена сокровищами. Туманов, с несколькими молодцами, засел в канаву и стал выжидать.

Окружить карету, взять лошадей под уздцы, связать руки кучерам и лакеям — все это было делом одной минуты. Но каково было удивление Туманова, когда, отворив дверцы кареты, он увидел там Младо-Сморчковского-первого и жену его! Разумеется, его тоже сейчас же узнали и хотели высечь... Но он, чтоб отвратить от себя сей позор, рассказал ужасную повесть своих злодеяний.

При этом рассказе волосы стали дыбом на убеленной сединами голове Младо-Сморчковского-первого и слезы, оросив глаза, обильными ручьями потекли по высокому челу его [1].

— Так ты тот самый Туманов, который навел столь великий ужас на сердца обывателей? — спросил он, когда рассказ был кончен.

— Да; я Туманов.

— В таком случае ты должен забыть, что ты мой сын; я же с своей стороны сделаю распоряжение об отдаче тебя в руки правосудия! Взять этого опасного разбойника!

И вот Туманов, под прикрытием своей новой фамилии, был привезен в соседний город и сдан в острог.

Но он знал, что это не больше как испытание и что впереди его все-таки ожидает блестящая будущность [2]. Поэтому он стал всемерно помышлять о том, чтобы избегнуть наказания за свои проказы [3], совершенно основательно рассуждая, что если он будет бит кнутом, да еще с наложением клейм, то

---

[1] Красота слога не должна вредить естественности. Как реки не могут течь вспять, так и слезы не могут катиться снизу вверх. *Сап.*

[2] Любопытно было бы объяснить, на каких похвалы достойных поступках было основано сие предвидение? *Сап.*

[3] Изрядные проказы. *Сап.*

вряд ли тогда приведется ему получить какое-либо место по административной части.

С этою целью он начал ежечасно льстить смотрителю острога[1], а между своими товарищами-арестантами в скором времени получил такой авторитет, что, казалось, не было жертвы, которую они не согласились бы ему принести.

Между разнообразными дарованиями, которыми обладал Туманов, одно было в особенности поразительно. Это — проворство, с которым он производил всякого рода фокусы, и та особливая способность к гимнастическим упражнениям, которую он выказывал еще в нежном возрасте детства. Например: он свободно ходил на руках, мог продолжительное время стоять на голове, не встречая при этом препятствия к принятию пищи и пития; эскамотировал полуимпериалы и взамен их предлагал медную монету; глотал шпаги и, наконец, изобрел неистощимую мужицкую спину (впоследствии фокусники, в подражание ему, устроили так называемую «неистощимую бутылку»). Одним словом, делал все, что̀ доброму и прилежному фокуснику делать надлежит[2].

Воспользовавшись этою своею способностию, он замыслил весьма обширный план. Он исподволь начал знакомить смотрителя острога с зрелищем своих фокусов и, видя, что оные весьма пришлись ему по нраву, усугубил ловкость и, наконец, испросил разрешение устраивать представления в более обширных размерах. Вскоре слава о зрелищах, даваемых в тюрьме, проникла во все закоулки города, так что всякому стало лестно взглянуть на них. Градоначальники, военачальники, участковые, околодочные — словом сказать, вся палата и воинство собирались к нам, как на праздник, посмотреть на наши затеи.

Этого только и надо было Туманову.

В егорьев день были именины смотрителя острога, и по этому случаю арестантами в секрете, но не без того, однако ж, чтоб он о сем не знал, приготовлялся ему сюрприз. Сюрприз был изобретен Тумановым и состоял в том, что сорок три человека должны были представить из себя семиярусную движущуюся пирамиду. В основании должно было стоять двенадцать самых сильных арестантов, у них на головах — десять, потом — восемь, шесть и т. д. Пирамиду увенчивал сам Туманов, который на этой ужасной высоте обязывался показать чудеса проворства и ловкости. Представление положено было

[1] Ужели же, наконец, и лесть и все прочие пороки ада свили себе гнездо в сей невинной душе? Страшно подумать! *Сап.*

[2] И что не надлежит делать сыну действительного статского советника. *Сап.*

сделать во дворе острога, обнесенном со всех сторон каменною стеной четырехсаженной высоты; пирамида должна была отправиться от наружной стены замка, пройти через весь двор и подойти к той части ограды, которая выходила в поле.

Наступил давно ожиданный день, и когда, после обеда, при собрании всех градоначальников и военачальников, живая пирамида двинулась, то нельзя изобразить тот восторг, который охватил сердца сих невинных людей при виде этого зрелища! Пирамида подвигалась медленно, и Туманову не раз, в продолжение этого шествия, приходило на мысль, сколь непрочны человеческие предприятия вообще и как мало нужно, чтобы и его собственное, столь зрело обдуманное предприятие рассеялось как дым! Достаточно было одного неловкого движения!.. Однако, с божиею помощию, дело окончилось как нельзя лучше. Едва, при взрыве восторженных рукоплесканий, пирамида успела приблизиться к наружной ограде тюрьмы, как Туманов ловким скачком спрыгнул с вершины и в одно мгновение ока очутился по ту сторону тюрьмы. Все это произошло столь быстро и неожиданно, что зрители несколько времени не понимали, думая, что это не больше как продолжение того же представления...[1]

Не будем говорить о чувствах благодарности к Творцу, которые переполняли в эту минуту душу Туманова! . . . . .
. . . .[2]

После этого мы уже застаем Туманова министром: сначала в не очень большом государстве, куда он был помещен в виде опыта, а потом в государстве более обширном[3]. Сделавши его министром, ему подчинили всех прочих министров, и он попрежнему принял фамилию Младо-Сморчковского, с тою только разницей, что назывался теперь уже не вторым, а первым, так как старший Младо-Сморчковский успел в это время скончаться, оплаканный своими подчиненными.

Каким образом совершилось это новое превращение в жизни Младо-Сморчковского-*первого* — теперь открыть еще

---

[1] Весь этот хитроумный рассказ о Туманове заимствован автором из сочинений С. В. Максимова. Едва ли это не плагиат. *Сап.*

[2] Что хочет сказать автор этими без пути наставленными точками? Уж не то ли, что цензура ему в сем месте попрепятствовала? *Сап.*

[3] Желательно бы знать, в каком это «не очень большом государстве» занял Младо-Сморчковский место министра? Да и ни в каком самом маленьком государстве не могло это быть, потому что везде и своих Младо-Сморчковских довольно. Конечно, допускаются иногда исключения, но для сего надобно было бы доказать, что Младо-Сморчковский немецкого происхождения, в чем сильно сомневаюсь. *Сап.*

не время. Но можно сказать одно: он успел оказать начальству некоторые важные услуги [1].

Не станем описывать здесь мрачную картину [2] административной деятельности Младо-Сморчковского-первого. Многих он сменил, многих отдал под суд, а меры его по взысканию недоимок снискали удивление целого мира [3]. В течение первых двух суток по каждому отдельному предмету им было выпущено не менее двух предписаний и не меньше как по одному рапорту, а так как предметов было великое множество, то предоставляется читателю самому исчислить, какова была громадность сего предприятия. Впоследствии сами начальники неоднократно сказывали, что содрогались, когда приходила почта, приносившая его виды и предположения [4].

Изложим, однако ж, хотя вкратце некоторые замечательнейшие действия Младо-Сморчковского-первого на занимаемом им посту.

Во-первых, сочинил статистику, причем оказалось против прежнего всего вдвое и втрое [5].

Во-вторых, усилил производительность, а вместе с тем и источники народного благосостояния, неуклонно наказывая нерадивых и через то поселяя в них охоту к труду.

В-третьих, увеличил доходы, открыв для них новый источник в неистощимой мужицкой спине [6].

В-четвертых, обеспечил народное продовольствие, наблюдая, дабы обыватели отнюдь не потребляли сверх действительной надобности и все излишки, не разбрасывая и не расточая, сберегали на предбудущие времена.

В-пятых, обеспечил народное здравие, предложив кому следует наблюсти, дабы обыватели не изнуряли себя непосильными трудами и всегда имели неприхотливую, но вкусную, здоровую и обильную пищу [7].

В-шестых, улучшил пути сообщения, не довольствуясь дорогами известными и существующими, но бесстрашно пролагая

---

[1] Хорошо, кабы так; но опасаюсь, что во всем сем нет ни капли правды. *Сап.*

[2] Кажется, что здесь прилагательное «мрачная» употреблено только для красоты слога. *Сап.*

[3] Не слыхать. *Сап.*

[4] Вот и видно, что выдумка. Какие могут быть у министра начальники, с которыми бы он переписывался по почте? Видно, разбойник-то где ни на есть квартальным надзирателем определился (и то, чай, в немудром каком городке), а сам возмечтал, что он министр! *Сап.*

[5] А что он с сими излишками сделал? *Сап.*

[6] Сей источник весьма не нов. *Сап.*

[7] Satur venter non studet libenter. *Сап.*

пути даже там, куда до того времени не заходила нога человеческая [1].

В-седьмых, обуздал некоторые пороки и суеверия [2].

В-восьмых, обуздал газетчиков и писателей [3].

В-девятых, обуздал дух своеволия, а поборников устности и гласности разослал по городам [4].

В-десятых, обуздал лжеучения. Узнав, что в одном городе существует вредная секта нигилистов, собрал последователей оной и предложил им оставить свои заблуждения. Что ими и было в точности выполнено [5].

В-одиннадцатых, обуздал неплательщиков, организовав строгое и пространное наблюдение, дабы ни один обыватель не смел ничего ни продать, ни подарить, ни иным образом отчуждить, не испросив предварительно разрешения ближайшего начальства [6].

В-двенадцатых, обуздал невежество, назначив краткие сроки для приобретения полезных знаний [7].

В тринадцатых, обуздал безнравственность.

В-четырнадцатых, вообще обуздал обывателей.

Конечно, в этом кратком перечне не поименовано и сотой доли тех действий, которые были предприняты Младо-Сморчковским-первым в видах всеобщего удовольствия, но, кажется, и этого достаточно, чтобы показать, что время его не проходило в праздности. Не надобно забывать, что, кроме того, он был ежедневно обязан:

1) По утрам — делать выговоры и замечания подчиненным, которые, без таких напоминаний, могли совсем опустить руки; 2) по вечерам — производить прогулки и являться на общественных гуляньях, дабы личным примером поощрить обы-

---

[1] Не всегда полезно. *Сап.*

[2] Надо поименовать, какие; в противном случае можно подумать, что все сие одно хвастовство. *Сап.*

[3] При нынешней распущенности весьма нелишне. *Сап.*

[4] Намерение доброе, но успех сомнительный. Разрушительность сих двух стихий столь велика и, так сказать, въедчива, что для действия против нее едва ли достаточно мер строгости и скорости, которыми располагал автор. В тех иных городах, куда автор рассылал поборников устности и гласности, разве они были лишены возможности продолжать свое бесстыдство? Нет, тут надо придумать иную меру — какую, еще не знаю, но, казалось, было бы не весьма дурным, если б вообще было признано относительно лиц сей категории, что города и селения в самом принципе для них не существуют. Если это будет принято, тогда невольно их будут водворять среди степей, вдали от человеческих жилищ. Впрочем, это только одно предположение. *Сап.*

[5] Не для вида ли только? *Сап.*

[6] Мысль смелая, но едва ли исполнимая, ибо подобная мера может иметь последствием контрабанду в весьма обширных размерах. *Сап.*

[7] Так; но были ли сии знания приобретены? *Сап.*

вателей к содружеству и не воспрещаемому законами препровождению времени. Так что, по собственному его выражению, он целые дни кипел как в котле.

Таковы были общие черты деятельности Младо-Сморчковского-первого. Но было еще одно особливое действие, которое нелишне будет изложить здесь с большею против других подробностию.

Обыватели некоторой местности издавна довольно славились тем, что не платили лежащих на них повинностей. Вследствие сего Младо-Сморчковский-первый неоднократно ходил против бунтовщиков походом [1].

При помощи непоколебимой твердости духа, споспешествуемой продажей скота и пожитков, недоимка была столь быстро пополнена, что, по-видимому, не оставалось ничего больше желать. Как вдруг до сведения Младо-Сморчковского-первого дошло, что обыватели означенной местности, вследствие якобы крайнего разорения от беспрестанных продаж, оставили земледелие и начали заниматься ремеслами, вовсе не свойственными обывательскому быту. Удостоверившись в справедливости этого слуха и приняв во внимание: а) что Россия есть государство, по преимуществу, возделывающее землю; б) что с упадком земледелия земли постепенно грубеют и делаются неспособными к произрастанию чего-либо иного, кроме сорных трав, и в) что с тем вместе приходят в упадок: народное продовольствие, народное здравие, народное богатство и самая народная нравственность,— Младо-Сморчковский-первый постановил: восстановить земледелие в упомянутой выше местности в его прежнем величии, хотя бы даже в сих видах потребовалось употребить меры строгости.

Прибыв в селение с достаточною командою [2], он, дабы не обескуражить обывателей сразу, предварительно предложил им вопрос: почему они оставили свойственное им занятие? И, получив в ответ, что оставили потому, что, за распродажею принадлежащего им скота, стало им нечем навозить землю, нашел такой ответ нерезонным [3]. Тогда произошел следующий замечательный разговор:

— Ну, а если я прикажу вам сегодня же, сейчас же, сию

---

[1] Явное и непростительное смешение всех атрибутов власти. Министры никогда не «ходят походом». На это есть губернаторы и исправники; министры же сидят дома, принимают доклады и по временам ездят в гости. Где же пресловутое знакомство Младо-Сморчковского-первого с формами и обрядами делопроизводства, знакомство, столь нескромно выставляемое им на вид? *Сап.*

[2] Опять-таки, не министрово это дело. *Сап.*

[3] Ответ можно назвать строптивым, но нерезонности в нем нет. *Сап.*

минуту вспахать и заборонить принадлежащие вам земельные участки? — спросил Младо-Сморчковский-первый, прилично возвысивши голос.

— Воля твоего благородия, а мы не можем!

— Точно не можете?

— Так точно, ваше благородие.

— Жаль-с. Очень жаль-с. Окольные люди! исполняйте ваши обязанности!

Начали исполнять. Со стесненным сердцем смотрел Младо-Сморчковский-первый на сие зрелище, но делать было нечего, потому что надлежало пресечь зло сразу и в самом корне. И действительно, через полчаса было уже доложено, что обыватели, запрягши лошадей в сохи, выехали в поле[1].

Но этим дело не кончилось. Как только выехал Младо-Сморчковский-первый в обратный путь, так тотчас же принялись обыватели за прежнее своеволие. Надлежало вновь объявлять поход и новыми мерами строгости вразумлять сопротивляющихся. Так продолжалось до трех раз, пока, наконец, поля не были окончательно вспаханы, заборонованы и засеяны, под надзором десятских и сотских. И таким образом, было торжественно восстановлено нарушенное ослушниками земледелие[2].

Такая неусыпная деятельность обратила общее внимание на Младо-Сморчковского-первого. Много было у него врагов и завистников, но всех он преодолел, ибо дела его громко говорили сами за себя. Обремененный почестями и знаками общественного доверия, он жил до глубокой старости, успев, в течение этого времени, вступить в законный брак с княжною Великосветскою и прижив от нее двенадцать дочерей и ни одного сына[3]. Каждой из них он дал в приданое по двести тысяч, что показывает, что капитал у него был немаловажный.

В «Российской родословной книге», составленной кн. Петром Долгоруковым, значится:

Младо-Сморчковский — Григорий Иванович, был министром в двух государствах; женат на княжне Евдокии Федоровне Великосветской. У них:

---

[1] А выше было сказано, что весь скот распродан. Откуда же вдруг взялись лошади? *Сап.*

[2] О сей истории не знаю что и сказать, по той причине, что результатов не показано. Какую пользу принесло земледелие, лишенное удобрения и произведенное с помощью лошадей неизвестного происхождения? Кажется, что польза сомнительна. Не лучше ли было бы, землю отобрав, отдать ее опытным и благонамеренным помещикам, а нерадивых определить к ним в качестве работников? Предлагаю это разрешение вопроса вниманию автора. *Сап.*

[3] Не рано ли о сем помышлять. *Сап.*

1) *Евдокия Григорьевна* — в замужестве за камер-юнкером Монсом.

2) *Анна Григорьевна* — в замужестве за кавалером индустрии[1] Сан Фуа-ни-Луа.

3) *Прасковья Григорьевна* — в замужестве за герцогом курляндским Бироном.

4) *Наталья Григорьевна* — в замужестве за графом Кирилою Разумовским.

5) *Евпраксия Григорьевна* — замужем за бывшим польским королем Понятовским.

6) *Екатерина Григорьевна* — в замужестве за светлейшим князем Потемкиным-Таврическим.

7) *Любовь Григорьевна* — в замужестве за графом Дмитриевым-Мамоновым.

8) *Юлия Григорьевна* — в замужестве за свирепым временщиком графом Аракчеевым; судилась за жестокое обращение с крепостными людьми.

9) *Мария Григорьевна* — вышла по любви за акцизного офицера, но, несмотря на скромную долю, была весьма счастлива и имела множество детей.

10) *Ольга Григорьевна* — в замужестве за блестящим французским посланником, герцогом Морни.

11) *Надежда Григорьевна* — совратилась в католицизм, отравив сердца родителей. Имела впоследствии огромное влияние на испанскую королеву Изабеллу, под именем сестры Патросинии. Погубив Изабеллу, бежала из Мадрида с уланом и была поймана в Баль-Мабиле.

и 12) *Клавдия Григорьевна* — в девицах; жила процентами с своего капитала.

В 18** году Младо-Сморчковский-первый скончался, оплаканный многочисленным потомством, знакомыми и подчиненными. Когда тело его, заключенное в богато убранный гроб, было выносимо из дома, то многие из директоров департаментов плакали. Вскоре за ним, не могши перенести разлуку, последовала в могилу и любезная супруга его.

Мир праху твоему, *добрый служака!*

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ НА СИЕ СОЧИНЕНИЕ

Сочинение сие замечательно тем, что вносит в административную практику весьма предосудительный прецедент. А именно: позволяет думать, что, будучи предварительно раз-

---

[1] Не слишком же завидную партию сделала сия воображаемая Анна Григорьевна. *Сап.*

бойником, можно со временем сделаться администратором. Неслыханное это нововведение тем опаснее, что самое сочинение написано слогом правильным и заманчивым, а следовательно, может найти довольное количество легкомысленных последователей и прозелитов.

Это первое. Но можно сказать еще нечто не вполне похвальное и о полете фантазии авторской.

Полет фантазии, конечно, служит украшением для всякого словесного упражнения, и пределы ему в этом случае указать довольно трудно. Чем больше реторических украшений, тем больше неожиданностей, а чем больше неожиданностей, тем сильнее возбуждается удовольствие. Это бесспорно. Но дело не в границах полета фантазии, а в его характере. Если характер полета возвышенный, то пределы ему даже полагать было бы безрассудно. Так, например, известный наш ветеран и поэт, Ф. Н. Глинка, в своей поэме «Капля», бог знает чего не написал, но никто сему никогда не удивлялся, потому что полет автора имел характер возвышенный. Точно то же и Державин.

Ступит на горы — горы трещат!
Станет на воды — воды кипят! —

сказал он, и хотя в сем поступке воспеваемого им героя не видится никакого вероятия, тем не менее полет фантазии все-таки прекрасен, ибо возвышен. Совсем иное дело, если авторский полет имеет в предмете действия обыкновенные, так сказать средние. В этом случае оный хотя и не неуместен, но должен до некоторой степени подчиниться правилам, предписываемым правдоподобием.

В сем отношении разбираемое сочинение весьма подлежит критике. Автор, очевидно, хотел изумить читателей разнообразием выдумок, но, взявши для них основанием дела самые простые и не удержавшись притом в границах правдоподобия, весьма своей затее повредил.

Не говорю уже о том, что должности разбойника и администратора не токмо не однородны, но даже и по внешнему своему выражению весьма различны; не говорю и о других невероятных выдумках, как, например, о каком-то «не очень большом государстве» и проч. Все это само говорит за себя. Но обращаю внимание автора на список дочерей, который он привел в конце своего сочинения. Независимо от того, что возможность иметь двенадцать дочерей (почему не сыновей? из них, по крайней мере, могли бы выйти полезные слуги!) дана не всякому; но, предположив даже, что это подлинно так было, спрашивается: каких супругов автор определил к своим

дочерям? Во-первых, некоторых таких, о которых достоверно известно, что они совсем в браке не состояли, и, во-вторых, таких, которые хотя и состояли в браке, но с девицами других фамилий, о чем, конечно, и «Российская родословная книга» князя Долгорукова не умалчивает. К чему же может привести столь грубый обман? Не к тому ли естественному последствию, что читатель, наскучив беспрерывным несогласием написанного с тем, что ему достоверно известно, и все прочее причтет к такому же обману, не воспользовавшись даже теми чертами, которые вполне несомненны и истинны.

Пушкин сказал:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Это так; но нужно прежде всего разрешить себе: когда обман возвышает? А вот когда: тогда, когда его нельзя обличить, или, по крайней мере, когда этому обличению полагают пределы некоторые мероприятия и распоряжения. При этом условии обман не только в совершенстве заменяет истину, но даже принимает ее название и для отличия от истины настоящей (для всех очевидной и потому *низкой*) называется истиною *высокою*. Но можно ли сказать что-либо подобное о тех вымыслах, которыми наполнено разбираемое сочинение? Позволительно ли, например, допустить, чтобы кого-нибудь возвысил, или утешил, или возбудил в ком-нибудь жажду подвигов такой обман, как причисление Младо-Сморчковского-первого себя в родню герцогу Морни? Нет, допустить этого ни под каким видом нельзя, ибо брак герцога Морни у всех на памяти и, следовательно, рассчитанная на сей случай спекуляция есть предприятие не весьма надежное.

В заключение рекомендую автору обратить особливое внимание на те примечания, писанные на полях его сочинения, в которых порицается непочтительность его к родителям. Знаю, что в новейших руководствах поименовывается некоторый авторский прием, называемый объективностью, и что молодой автор может, пользуясь сим, сделать изворот и сказать, что он в этом случае был объективен и покорялся духу времени. Но не мешало бы, чтобы на сей раз самая объективность явилась более субъективною, то есть согласовалась с теми правилами, которые внушались автору любезною его родительницею. *Сапиентов.*

II. ДОБРЫЙ СЛУЖАКА

(Сочинение 12-летнего Сережи Младо-Сморчковского)

Не помню, когда я родился; знаю только, что в это время отечество было в опасности. Папаша вздыхал, мамаша плакала и говорила: «вот попомните мое слово, что эти господа (она разумела здесь: Новосильцева, Строгонова, Чарторыйского и Сперанского[1], то есть известный в то время comité du salut public) сведут Россию в бездну погибели!» И действительно, скоро сделалось известным, что над папашей назначена строжайшая сенаторская ревизия.

Трудно передать здесь все бедствия, которые испытали по этому случаю мои почтеннейшие родители; довольно будет, если я скажу, что папаша должен был уделить значительную часть из собранной прежде добычи, чтоб удовлетворить духу времени. А дух был, поистине, ужаснейший. Все требовали конституций, все хвалились мятежными нравами, все говорили о каких-то правах, и никто не мог достоверно объяснить, что̀ именно означают сии новые для нас выражения. Это был модный разговор, за который в то время не только не наказывали, но даже награждали хорошими и доходными местами. Одним словом, все ходили ощупью, ища конституций и не находя их.

Я знал, например, одного полковника, который об этом предмете знал не больше других, но получил генеральский чин и прекрасное место по комиссариатской части за то только, что в одном рапорте ввернул[2] следующую фразу: «обуреваемый духом свободы, вверенный мне батальон жаждет сразиться с врагами оной». По этому одному примеру можно судить и о прочем.

Наконец, однако, здравая политика восторжествовала. Папашу не только оставили на прежнем месте, но еще похвалили, а к либералу-полковнику (которого перед тем, за мятежный дух, произвели в генералы) пришел от графа Аракчеева запрос: приносит ли он чистосердечное раскаяние?[3] Разумеется, он поспешил в трогательных выражениях ответить, что вперед не будет, и дело было покончено только тем, что его несколько раз обошли чином. Все радовались и ликовали (а во главе всех и преступный полковник), как бы празднуя победу над внутренним врагом[4].

---

[1] Сей один был всему злу корень; он опутал своими сетями прочих невинных. *Сап.*

[2] Тривиально. *Сап.*

[3] Граф Аракчеев никогда, никого и ни о чем не спрашивал, а прямо воздавал кому что надлежит. *Сап.*

[4] Сии враги, кажется, слишком большую ролю в семействе Младо-Сморчковских играют. *Сап.*

Этот возврат к началам здравой политики чудесным образом совпал с вступлением моим в зрелый возраст.

Еще будучи ребенком, я выказывал довольно замечательные наклонности. Я любил следить за направлением умов, охотно, под видом игры, прислушивался к разговорам в девичьей и на кухне, а так как это занятие требует весьма прилежного выведыванья, то можно сказать смело, что времяпровождение мое было самое разнообразное. Решившись что-нибудь вызнать, я обыкновенно принимал вид весьма простосердечный и невинный, а нередко даже представлял из себя человека с возвышенными чувствами. Вскоре я так хорошо успел в этом искусстве, что не только посторонние, но даже иногда я сам не мог отличить, когда я лгу и когда говорю правду [1]. Этим путем я приобретал множество самых разнообразных сведений, и когда примечал, что можно сделать из них небесполезное употребление, то охотно делился своими наблюдениями с старшими.

К такому раскрытию истины меня побуждало еще и то, что за всякую открытую мною истину мне давали или сладкий пирожок, или конфекту, а когда я однажды открыл в девичьей весьма важный заговор [2], то мне сделали даже новую курточку. Впоследствии эта откровенность моя сделалась столь известною, что меня нигде иначе не называли, как откровенным ребенком, а многие начали даже опасаться моего слишком открытого нрава.

И вот однажды (когда я уже пришел в зрелый возраст), к мамаше приехал генерал, весь вышитый золотом, и потребовал секретной аудиенции. Разумеется, как только они скрылись в соседней комнате, я сейчас же приложил ухо к дверной скважине и услышал следующий разговор [3].

— Сударыня! — говорил вышитый золотом генерал,— до сведения моего дошло, что у вас есть сын замечательной любознательности и удивительно откровенного характера?

— Да, генерал,— отвечала мамаша,— могу сказать, что бог именно благословил меня в этом ребенке!

— Если все, что про него рассказывают, справедливо, то это будет совершенная находка! Можете себе вообразить, как обрадуется наш князь!

---

[1] Не знаю, что и сказать о сей способности. Посмотрим, какое ей будет дано употребление. *Сап.*

[2] В чем состоял сей заговор? Желаю знать. *Сап.*

[3] Зачем? Позволительно и даже полезно прислушиваться к речам преступным, но нельзя было предположить, чтобы таковой характер имел разговор любезнейшей родительницы автора с почтенным генералом. В сем случае подслушивание составляет уже дурную привычку. *Сап.*

— Не смею хвастаться, но думаю, что это действительно замечательный юноша. Например, я вполне уверена, что он даже в настоящую минуту подслушивает нас!

— Не может быть!

— Попробуйте убедиться! Но предупреждаю вас, генерал, что вряд ли вы уличите его, потому что он мастерски умеет хоронить концы в воду!

Послышалось осторожное движение стульями и потом шаги. Я, разумеется, тотчас же отпрянул, и когда дверь внезапно отворилась, то я уже с беспечным видом прохаживался по зале, насвистывая какую-то песенку. Генерал улыбнулся, покачал головой и пробормотал:

— Изумительно!!

— Я вижу, сударыня,— продолжал он к сияющей счастьем мамаше,— что дальше скрываться от этого юноши было бы бесполезно.— Итак, приступим к делу прямо. В непродолжительном времени, в каждой из наших провинций предполагается поместить по одному откровенному ребенку... друг мой! отвечай мне искренно, согласен ли ты принять на себя звание откровенного ребенка в П***?

— Согласен,— отвечал я,— но с одним условием.

— С каким же?

— Чтобы откровенность моя была сокровенною.

— Ты угадал мою мысль! Итак, по рукам! Поезжай с богом! вот тебе на дорогу деньги; посылай сейчас же за лошадьми и скачи! Ибо враги не дремлют!

Сказано — сделано. Я обнял рыдающую мать, перецеловал братьев и сестер и поскакал.

Таким образом было положено начало тем блестящим успехам, которые ожидали меня в будущем.

Еще дорогой я успел нечто наблюсти. Так, например, на одной станции смотритель открыто выражал недовольство правительством за дожди, которые в то время размыли дорогу и делали переезды весьма трудными. На другой станции встретился мне вольнодумный ямщик, певший романс профессора Мерзлякова:

Я лиру томну строю
Петь скорбь, объявшу дух,
Приди грустить со мною,
Луна, печальных друг! [1]

Разумеется, все эти наблюдения были записаны мною на особой бумажке.

---

[1] Романсы профессора Мерзлякова приятны и располагают к чувствительности, вольнодумства в них нет. Впрочем, приведенный выше романс принадлежит совсем не Мерзлякову, а Капнисту. *Сап.*

Приехавши в П***, я немедленно приступил к делу, то есть начал стороной выведывать, в каких отношениях находится губернский предводитель к губернатору, не разжигают ли акцизные чиновники народных страстей, какого рода конституции изготовляют чиновники контрольные и проч. и проч. Полученные результаты были весьма для меня неожиданны. Оказалось, что губернатор и губернский предводитель дворянства живут душа в душу и угощают друг друга обедами, что акцизные чиновники, не помышляя о пропаганде либеральных идей, мирно пользуются присвоенными им окладами, контрольные же чиновники под словом «конституция» разумеют первые четыре правила арифметики.

Вообще это губерния весьма необыкновенная. Как только въезжаешь в границы ее, так уже чувствуешь, что пахнет съестными припасами, и слышишь кругом раздающееся чавканье. Все ест, или отдыхает от еды, или вновь об еде помышляет. Всякое сословие лакомится свойственными ему лакомствами. Рогатый скот изобильно откармливается бардою и дурандою; мужики (в урожайные годы) едят хлеб и по праздникам саломату с маслом; купцы и мещане пристрастны к пирогам; дворяне насыщаются говядиной, телятиной и поросятами, пьют квас, водку и наливки; духовные лица находят утешение в рыбе; чиновники ко всему изложенному выше прибавляют трюфли и тонкие французские вина. Результаты такого социального устройства угадать нетрудно; это спертость в воздухе, осовелость в обывательских глазах и не совсем большая прочность семейных уз.

Это последнее обстоятельство было очень важно, ибо, воспользовавшись им умненько, я мог вывести заключение «о непризнании брачного союза». Такие находки делаются не каждый день. Я начал вникать и исследовать.

Анализируя день обывателя час за часом, я открыл, что он распределяется следующим образом. В восемь часов — пробуждение и затем, до девяти, чай с булками, маслом и вчерашним жарким; нередко, однако ж не каждодневно,— умывание. От девяти до одиннадцати — домашние исправительные наказания, прогулка по комнатам, посвистывание, хлопанье себя по бедрам и так называемая еда походя с прикладываньем к графинчику. В одиннадцать часов — настоящий завтрак с водкой, причем съедается какое-нибудь мелкое животное или большая птица. От двенадцати до трех — визиты, или, лучше сказать, непрерывное закусывание в разных домах. В три — обед с водкою и наливкой, а у чиновников и с французским вином, причем съедается несколько больших и малых животных и в соразмерности рыб и птиц. В четыре часа — осове-

ние, продолжающееся до шести и прерываемое употреблением впросонках квасу. В шесть — тоска, излечиваемая рюмкой водки. От семи до осьми — чай с булками и давешним жарким. В восемь — игра в карты, а так как, в той же комнате, на особом столе, всегда находится приготовленная закуска, то пользование и ею. В одиннадцать — ужин и затем сон.

Но где и как проводит ночь обыватель?

Исследуя этот вопрос, я удостоверился, что он спит не дома, а там, где застанет его прихотливый вкус. Я заводил с обывателями разговоры, старался вызнать, случайно ли вкоренилась между ними столь неряшливая привычка и не видится ли тут влияния разрушительных противосемейственных доктрин?.. Но оказалось, что о семейном союзе они рассуждают не только здраво, но по временам даже чувствительно!! Что ж я узнал! что все эти ихние поступки не от чего другого происходят, как от простосердечной небрежности в различении своих логовищ от чужих! что всему причина не философия, а еда и большое употребление горячих напитков[1].

Такое открытие не могло не огорчить меня[2]. Я ждал весьма много неожиданностей, а встретил мирный сон обывателей, сопровождаемый постепенным питанием! Я ждал сокровенных мыслей и недозволенных начальством мечтаний, а увидел, что самые глаза сих людей протестуют против всякой мысли о каких-либо мечтаниях[3].

Немного найдется таких, кому известно, как трудны, а подчас и несносны занятия, сопряженные с званием Откровенного Ребенка. Ходить дни и ночи в слякоти, под дождем и снегом; не без опасности прислушиваться у дверей и скважин; заводить знакомство с кучерами, кухарками и прочей прислугой; стараться разгадать смысл всякого шороха, уловить всякое движение, остановить на лету всякую мысль, осуществить всякое слово — никто, конечно, не скажет, чтобы такая задача была по силам каждому! Но что̀, бесспорно, всего труднее — это прикидываться либералом! Если даже в чужих устах мятежное слово уже кажется достойным примечания, то в устах

---

[1] Принимая во внимание юный возраст автора, казалось бы, что исследования сего рода для него преждевременны. *Сап.*

[2] Не огорчить, а утешить оно должно было, потому что в том много есть утешительного, если люди хотя и довольно дурно поступают, но не по злонамеренности, а от душевной простоты. *Сап.*

[3] Если автор надеялся за свои открытия получить награду, то огорчение его понятно. Но в таком случае он должен был перепроситься в другую губернию, где мечтателей в изобилии. Во всяком разе, желать насаждения мечтательности в таких губерниях и уездах, где ее нет, едва ли согласно с правилами той здравой политики, о которой упоминается в начале сочинения. *Сап.*

своих собственных оно просто-напросто изумляет и приводит в страх. Слышишь себя проповедующим разрушительные идеи и не веришь ушам своим. В ту минуту, когда бьешь себя в грудь и с налитыми кровью глазами (необходимая принадлежность всякой разрушительности) доказываешь пользу революций,— в эту минуту, говорю я, готов сам на себя написать извещение, сам готов понести заслуженное за дерзость наказание!

Да; не дай бог даже врагу испытывать подобные, единственные в своем роде минуты! [1]

Вообще о либеральном яде скажу, что он до крайности въедчив. Иногда начинаешь защищать его довольно притворно, но, постепенно разгораясь, вдруг входишь в такой неожиданный восторг, что мысли, не признавая над собой никакой власти, начинают как бы кружиться и рассыпаться по всей голове. Не знаешь, где ложь и где правда; хочешь замолчать — и все говоришь; хочешь сказать такое-то слово — а выходит совсем другое. И если такая практика случается часто и притом не обладаешь достаточно твердыми правилами, то не успеешь и оглянуться, как впадешь в нигилизм. Примеры таковых падений бывали, и довольно нередкие. Я знал одного полковника, который долгое время притворно бил себя в грудь, а кончил тем, что прекратил веру в бессмертие души. Другой подобный же случай был с одним генералом: этот первоначально с весьма похвальною целью начал прочитывать либеральные сочинения, а под конец навострился так, что сам стал довольно порядочно (по-ихнему) доказывать пользу вредных наук.

Но я не отчаивался и выжидал. В это время дошло до моего сведения, что в городе П. образовалась довольно опасная секта, носившая странное название «оглашенных недорослей». Устроив наскоро обсервационный пункт, я открыл, что кодекс этой секты состоял из нижеследующих двух пунктов: 1) считать себя от наук независимыми и убеждений не иметь и 2) стремиться и достигать. В состав секты принимались преимущественно молодые люди с бесстыжим характером, которые собирались по ночам и предавались необузданной пляске, прерывая ее криком: «фить!»

Я был поставлен в самое фальшивое положение.

Как смотреть на нежелание учиться? Полезно оно или вредно? — на этот счет я никаких указаний не имел. Я знал, конечно, что науки разделяются на полезные и вредные [2], но

[1] Весьма похвально. *Сап.*

[2] Желательно было бы, чтоб автор подробнее указал основания такого деления наук. *Сап.*

знал также, что науки, во всяком случае, существуют и что часть их не без пользы преподается даже в казенных заведениях. И вдруг — ни одной! Несколько раз я призывал господ сектаторов к себе, пробовал усовещивать и увещевать, но всегда без пользы. Бесстыжие молодые люди с своей стороны небезосновательно[1] возражали, что если одну науку признать, то необходимо будет признать и прочие.

То же самое и относительно убеждений. Я знал, что существуют убеждения полезные и убеждения вредные, но чтобы могло не быть никаких убеждений — того не знал. Тем не менее и по этому случаю я усовещивал и увещевал, но получил в ответ, что так как каждый человек свое убеждение непременно считает полезным, то, дабы прекратить всякие по сему предмету пререкания, обществом оглашенных недорослей определено: все вообще убеждения считать одинаково вредными. Что также было не совсем безосновательно.

Но ежели сомнение было еще дозволительно относительно наук и убеждений, то оно возрастало в мучительнейшей степени при разъяснении слов: «стремиться и достигать». К чему стремиться? Чего достигать? Не заключается ли тут, например, покушения на целость государства? Чтобы вполне убедиться в этом, я решился лично присутствовать на одном из собраний и с этою целью сбрил себе усы и оделся в трико (бальный их-ний костюм).

Собрание открылось в полночь и началось танцами («оглашенные» собрались во множестве, и притом обоего пола), сопровождавшимися некоторыми соблазнительными движениями, которые, однако, довольно мне понравились. Потом шло поклонение богине невежества, которую представляла весьма красивая женщина, стоявшая на возвышении. Она пела французские известные романсы: «à moi l'pompon!», «et j'frotte et j'frotte et allez donc!» и другие, воспевая в них сладость освобождения от наук. Присутствующие подпевали и, придя в восторженное состояние, выражали свою радость зверскими криками. Однако и это мне довольно понравилось, тем больше что в промежутках разносили конфекты, фрукты, бутерброды и прохладительные напитки. Но вот запели третьи петухи, и сцена внезапно изменилась. На лицах изобразилась сосредоточенная кровожадность; руки были простерты вперед, как бы устремляясь нечто схватить и растерзать.

---

[1] Никак нельзя этого сказать, ибо:

Науки юношей питают,
Надежду старцам подают.

Все дело состоит лишь в том, чтобы с расчетом определить способы питания, дабы молодое древо не могло пойти в сук. *Сап.*

— Господа! начинается игра в губернии! — прогремел голос президента собрания посреди воцарившегося молчания.

«Стремиться и достигать»! — вспомнилось мне.

— В настоящее время две губернии находятся в обнаженном состоянии,— продолжал президент и назвал при этом одну губернию, в которой, при тщательном уходе, может произрастать виноград, и другую, в которой между прочими богатствами природы обитают раскольники [1].

Вся зала затрепетала.

— Чья очередь травить? — вновь возгласил президент.

— Моя! моя! — раздалось со всех сторон.

Все ринулись к возвышению, на котором стоял президент, и все вдруг заговорили. Смятение было неописанное; слышались мольбы, угрозы, упреки; одни скрежетали зубами, другие подставляли ноги, третьи падали, и вновь поднимались, и вновь падали... Постороннему человеку могло показаться, что это даже и не игра, а серьезное дело. Я насилу унес ноги.

Подозрения мои насчет посягательств на целость государства оправдались. Самовольство господ «оглашенных» в распоряжении частями империи было столь явно, что я в первый раз в жизни встревожился. Они целыми губерниями располагали с такою же непринужденностью, с какою я располагал теми из подаренных мне игрушек, которые, вследствие долговременных детских истязаний (некоторые подвергаются даже неразумному процессу сосания), делаются окончательно никуда не годными. Тем не менее, несмотря на очевидную опасность, я счел нужным предварительно прибегнуть к увещанию.

— Господа! — говорил я им,— вы не признаете наук — я охотно готов смотреть на это сквозь пальцы! Вы не видите пользы в убеждениях, и с этим я, пожалуй, могу помириться! Но я не могу допустить, чтоб вы играли нашими прекрасными губерниями, как я играю моими старыми игрушками!

С этими словами я удалился.

Как видится, я делал весьма важную уступку; быть может, я пошел бы и дальше, то есть оставил бы дело без огласки, если б благородные юноши остепенились. Но они не унимались; тайные сборища становились все более и более шумными, а крик «фить» раздавался с такою нескромностью, что многие обыватели встревожились. Тут же, как на грех, в «Московских ведомостях» появилась статья с предостерегающим характером.

---

[1] Раскольников нельзя причислять к богатствам природы. *Сап.*

Далее я молчать не мог [1].

Но каково было мое удивление, когда я через несколько времени получил ответ, что замеченная мною «игра в губернии» известна весьма давно и, заменяя игру в дураки, служит для благородных юношей завидным препровождением времени. Что же касается до слова «фить!», то и оно может заставить трепетать только злых и коварных, добрых же и благонамеренных должно, напротив того, укреплять в их простосердечии.

Признаюсь!!

Но делать было нечего; хоть и удивителен показался мне этот ответ, но надлежало переменить тактику. И вот тут-то я выказал те чудеса изобретательности, которым впоследствии удивлялся сам Наполеон III [2].

Я понял, что предметом моей деятельности должны быть «злые и коварные», и решился разом изловить их всех.

В этих видах я распорядился следующим образом:

Во-первых, увеличил число моих добрых товарищей в такой мере, что вскоре на каждого обывателя считалось по одному доброму товарищу [3].

Во-вторых, для большей удобности, снабдил моих сподвижников кастетами и сортидебалями и каждому из них вручал по отмычке, с помощью которой можно было отпереть всякий замок.

В-третьих, приобрел несколько сподвижников женского пола, которые своими приятными манерами могли вызывать дерзкий образ мыслей.

Сделавши все это, я крикнул: «загоняй!» — и сел себе спокойно дожидаться обильного улова.

Но подобно рыбаку, раскидывающему на большое пространство дорогостоящий рыболовный снаряд и уловляющему с его помощью лишь пискаря, я должен был обмануться в моих ожиданиях. Скажу более: я не уловил и пискаря.

Как я ни напрягал мой слух, ничего не долетало до него, кроме чавканья. Казалось, все сговорилось, чтоб испортить мою карьеру. Тщетно мои сподвижники мужского пола дей-

---

[1] Автор вообще не обладает искусством полагать различие между прошедшим, настоящим и даже будущим. В то время, о котором идет речь, «Московские ведомости» статей с предостерегающим характером не писали, да и ныне не пишут, а имеют писать таковые, когда поступят под редакцию М. Н. Каткова. *Сап.*

[2] Едва успели справиться с первым злодеем, как уже автор сулит еще двоих! Сродно ли это патриотизму благородного дитяти? *Сап.*

[3] В видах исполнения обязанностей полезно; но не произойдет ли вреда для земледелия, промышленности и ремесл, если половина граждан будет заниматься тайным наблюдением за другой половиной? *Сап.*

ствовали отмычками (кастеты были так дурно сделаны, что тотчас же оказались негодными), а сподвижники женского пола расточали ласки: дело всегда кончалось тем, что первых напаивали пьяными, а вторых увозили к Излеру[1]. —

Возникли даже сомнения в моем искусстве и опытности. «Не может быть,— писали мне,— чтобы не было ни коварства, ни злоумышлений; злодеи везде во множестве, но вы или не можете, или не хотите накрыть их...»

Что̀ было мне делать?

Не раз обращал я взоры на предводителей дворянства и постепенно разжигал их самолюбие, думая этим путем возбудить в них либеральные чувства, но постоянно встречал ответ, что самолюбивые предводители водятся только в губерниях нечерноземных!

Не меньше того занимали меня и гимназисты, которым я давал понять, что, по нынешнему образованному времени, в некоторых государствах уже не родители детей секут, а наоборот[2], но они отвечали, что они бы и рады, но навряд ли родители до сего их допустят[3].

Других же элементов коварства не было.

Тогда я решился на отчаянное средство. В молодости моей[4] я читывал, что настоящие заговорщики собираются всегда по ночам и что местами сборищ, по преимуществу, бывают или старинные замки, или оставленные развалины, или, наконец, леса. Там, собравшись на полянах или под каменными сводами мрачных подземелий, они злоумышляют при свете потаенного фонаря. Но так как у нас нет ни замков, ни развалин, то я посягнул направить шаги мои в лес.

Я не в силах изобразить чувство священного ужаса, овладевшего мной при виде сих столетних свидетелей стольких злодеяний! Сколько ужасных тайн поверено их безмолвию! Какую прекрасную карьеру мог бы сделать тот, кому удалось бы исторгнуть хоть часть этих тайн! Я шел бодро. Звезды блистали в вышине, как бы освещая[5] картину несчетных таинственностей, которых театром служил этот лес. Всеобщее ужасное безмолвие внезапно оглашалось то пронзительным свистом хищной птицы, то яростным ревом зверя или жалобным стоном раздираемой им жертвы. По временам, между деревьями, мелькали привидения. Кто знает? Может быть, это

---

[1] Это еще кто такой? *Сап.*

[2] Вот как! Сие известие столь ново, что не мешает об нем сообщить мамаше автора. *Сап.*

[3] И я так думаю. *Сап.*

[4] Да и теперь не весьма древний старик. *Сап.*

[5] Не *как бы* освещая, а действительно освещая. *Сап.*

были неоплаканные души убитых здесь жертв? Или, быть может, какие-нибудь благодетельные духи, предостерегавшие запоздалого путника от грозившей ему опасности?..

Я шел, и слезы струились из глаз моих. Я вспомнил мою мамашу и милых братьев, которые в эту самую минуту, вероятно, почивали сном невинности в своих маленьких, теплых кроватках...[1] «Что̀ я такое? — говорил я себе,— какая ужасная судьба тяготеет надо мною? За что должен я выносить пронзительную сырость ночи, изнемогать под палящим зноем дня, освежаться лишь зефирами, выслушивать дикий рев зверей и, быть может, со временем быть ими растерзанным? Ужели я должен пасть жертвою административной таинственности?»

Имею ли я чувствительную душу и сердце, способные трепетать? Да, я доказываю это ежедневно своим кротким поведением и покорностью, с которой исполняю приказания доброй родительницы. Сверх того, я не недоступен и красотам природы. Отчего же я делаюсь свиреп и кровожаден, как только вступаю на путь таинственности? Отчего душа моя делается недоступною для жалости и сердце никаких других зрелищ не просит, кроме зрелища последних содроганий[2]. Увы! это тайна, которую не мог разгадать даже я, несмотря на то что много лет служил по секретной части...

Я был одет поселянином и для большего сходства держал в руках лукошко, как бы собирая в него грибы[3]. Таким образом, никто ничего заподозрить не мог.

Я бодро шел и прислушивался. Сначала все было тихо и никаких признаков злоумышления не примечалось. Но по мере того, как я углублялся в чащу, успех делался очевидным. Во мне заговорил внутренний голос, который всегда говорит, когда что-нибудь предвидит важное. И действительно, вскоре мой слух был поражен звуками голосов.

— Непременно надобно его уничтожить,— говорил неизвестный голос,— потому что, если мы и теперь его упустим по-намеднишнему, он нас в разор разорит!

— Нужно теперь жеребий кинуть, кому стрелять! — отвечал другой, тоже неизвестный голос.

Я остановился как вкопанный; потом, с быстротою кошки, влез на столетнюю сосну и на вершине ее устроил обсерва-

---

[1] Хорошо. Похвально. *Сап.*

[2] Жалкое смешение похвальных чувств с непохвальными! Необходимо устроить строгое самонаблюдение, дабы налицо остались одни похвальные. *Сап.*

[3] По ночному времени, едва ли хитрость сия может быть названа натуральною. *Сап.*

ционный пункт. Вид, который открывался передо мной, был очарователен. Прямо расстилалась небольшая полянка, блистающая изумрудами и как бы сплошь покрытая перлами росы; направо и налево сплошною стеною дремали широковетвистые дубы, как бы охраняя полянку от нескромного взора; вдали вился смеющийся ручеек, отражая в своих прихотливых извивах мириады звезд. Я был умилен: я был готов простить. Не знаю, сколько времени я плакал, покуда, наконец, чувство долга взяло верх над чувствительностью. Я взглянул вперед и увидел двух заговорщиков, стоявших в глубоком безмолвии. Оба были одеты в крестьянских одеждах; один из них держал ружье на прицеле. Прошло томительные полчаса; я почти не дышал и с трепетом прислушивался к биению моего сердца. Вдруг послышался треск, сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Из леса вышел громаднейший медведь из породы стервятников, но это был, разумеется, не медведь, а знаменитый принц Шарман, обращенный в медведя злым волшебником. Узнав его, я замер...

— Стреляй! — раздалось во тьме ночной.

— Ни с места! — вскричал я, вне себя от ужаса.

Не помню, как я не слез, а скатился с дерева и очутился около заговорщиков; не помню, как я перевязал злодеев и отвел их в часть[1]. Я был в таком энтузиазме, что сам не понимал, что делаю. Помню только, что принц плакал и обнимал меня (он вдруг из медведя сделался красивейшим принцем), называя своим спасителем.

На первом допросе злодеи, конечно, ни в чем не сознавались; но по мере того, как их секли и кормили селедками, сделались весьма откровенными. Тут я открыл столько разветвлений, что сердце мое навсегда окаменело для жалости. Тут я впервые и совершенно невольно произнес то самое слово «фить!», против которого я столько ратовал и которое охотно повторяю и теперь в важнейших случаях.

Это блистательное дело принесло мне сто тысяч рублей и утвердило мою репутацию на незыблемом основании[2]. Происшествие это как раз совпало с приготовлениями к перевороту 2 декабря, который впоследствии совершен был во Франции искусною рукою Наполеона III. Потребовалась вдруг большая масса людей, умеющих владеть кастетами и сортидебалями. Я не задумался ни на минуту и по первому вызову

---

[1] Должно думать, нарочно для сего случая в лесу была выстроена? *Сап.*

[2] Все сие весьма неправдоподобно. И вымысел имеет свои пределы. *Сап.*

полетел во Францию, приняв фамилию мосье Мушара, так как не знал подлинно, понравится ли моя выходка доброй мамаше[1]. Ловкость и разнообразие, с которыми я применял кастет, были таковы, что изумили даже графа Морни. Само собою разумеется, что я получил весьма важное место при перевороте.

За это дело я получил пятьдесят тысяч франков из собственных рук... из чьих? — Чувствительное твое сердце, конечно, само подскажет тебе, добрый читатель!

Он улыбался, а я... я мог только плакать!

Я положил: эти пятьдесят тысяч (все английским золотом, ибо Англия, желая окончательно унизить Францию, не мало способствовала перевороту 2 декабря) хранить навсегда в шкатулке, подаренной мне... кем? — но, наверное, и это подскажет тебе твое сердце, добрый читатель![2]

Приняв прежнюю фамилию Младо-Сморчковского, я возвратился в отечество.

В это время я впервые почувствовал, что и для меня наступило утомление, этот неизбежный спутник той изнурительной деятельности, которой я предавался в течение всей моей жизни. Я понял, что настало время, когда я могу следовать моим наклонностям лишь на свободе, то есть не всегда и не во всяком случае, но лишь тогда, когда сам сюжет невольно увлечет меня за собою. Я предложил руку и сердце прелестной маркизе де ла Кассонад и, получив за ней пятьсот тысяч в приданое, удалился от дел.

Ныне я живу в имении моем, в Пензенской губернии, Саранского уезда, который, во время известной крестьянской катастрофы, благодаря благосклонному содействию соседа моего, тайного советника Ж***, попал в число наименее оскорбленных относительно высшего размера крестьянских наделов[3]. В имении моем нет ни одного клочка земли, который не приносил бы сторицею, а единственная гора, изобилующая песком и глиною, отдана в надел. Сверх того: я владею золотыми приисками в Сибири и прелестнейшей дачей на южном берегу Крыма, которая, сверх удовольствий, ежегодно доставляет мне на пятьдесят тысяч рублей виноградного вина.

Детей своих я воспитываю в страхе божием.

---

[1] Конечно, не могла понравиться, ибо даже подумать больно, что Младо-Сморчковский мог оставить отечество без разрешения. *Сап.*

[2] Стало быть, и процентов на них не получается? *Сап.*

[3] Столь все сие таинственно, что невозможно читать без размышления. Но даже и при размышлении нет никакой руководящей нити. Решительно, надо эту манеру оставить. *Сап.*

Мысли, руководившие сочинителем, весьма похвальны, слог гладок и местами увлекателен, знаки препинания расставлены верно... но и за всем тем впечатление, производимое на душу читателя, нельзя назвать ни полным, ни совершенно удовлетворительным.

Во-первых, выбор карьеры сделан весьма неудачно. Благородные юноши охотнее имеют дело с лаврами и миртами, нежели с кастетами и отмычками. Не отрицаю, сии последние орудия тоже могут быть во многих случаях полезными, но употребление их по назначению обыкновенно предоставляется людям с низкими свойствами души. Возьмем для сравнения хоть хлеб; никто, конечно, не скажет, что он бесполезен, однако приготовлением его занимаются хлебопеки, а не действительные статские советники. Сии последние не производят, но потребляют, а ежели, по временам, и производят, то не иное что, а токмо действия, приводящие душу в умиление, как, например, способствуют изданию законов, как сенатор Трощинский, или бряцают на лире, как Державин.

То же должно сказать и о подслушивании, составляющем основной элемент избранной автором карьеры. Оно необходимо, но не всегда безопасно, и потому лучше предоставить оное людям низкого звания.

Во-вторых, неудача в выборе карьеры невольным образом увлекла автора к исследованию некоторых непристойностей, которые ему еще довольно рано знать. Трудно понять, откуда он мог почерпать столь обстоятельные сведения о сем предмете, но можно подозревать, что они составляют плод частого обхождения в лакейской и девичьей. Юность в сем отношении весьма бывает опрометчива. Гоняется за эфемерными удовольствиями, которые доставляет зрелище вольного обращения здоровых парней с краснощекими девицами,— и небрежет существенным, то есть науками! увлекается манящим видом цветущей поверхности — и не видит бездны!!

В-третьих, о приведенных в сочинении двух примерах заговоров не знаю, что̀ и заключить, но кажется, что это выдумка не весьма вероятная. Что̀ такое эта «игра в губернии», заменившая, по словам автора, игру в дураки? и каким образом принц Шарман, превращенный злым волшебником в медведя, мог вдруг вновь обратиться в принца Шармана и обнимать спасшего его от смерти автора? Если автор имел некоторый чародейственный секрет, то он должен был оный изложить.

Впрочем, едва ли могут даже существовать такие секреты, которые в состоянии были бы сделать из медведя что-либо другое, кроме дикого зверя. Вот почему подобных вольностей лучше всего остерегаться.

И еще замечено: большое пристрастие к деньгам и слишком свободное ими распоряжение. *Сапиентов.*

ДОБРЫЙ ПАТРИОТ

(Сочинение 10-летнего Вани Младо-Сморчковского)

У одной старой слепенькой кротихи родился маленький кротик. И этот кротик был большой шалун, потому что очень часто выбегал из своей норы, чтобы порезвиться там, где ему казалось просторнее и светлее. И вот однажды старая слепенькая кротиха возвращается раньше обыкновенного домой с ношею самых спелых орехов, которые она каждый день собирала про запас на зиму, и не застает в норе маленького кротика. И вот можете себе представить отчаяние бедной слепенькой матери, у которой только и была одна опора в старости! И бог знает, что̀ она не передумала до той минуты, покуда не воротился маленький кротик на сей раз, однако ж, благополучно.

— Но зачем же ты, друг мой, выбегаешь из нашей норы? — упрекнула его старая слепенькая кротиха.

— Да мне, маменька, здесь скучно! — отвечал неопытный маленький кротик.

— Но отчего же тебе, глупенький, скучно?

— Да тут у нас, маменька, и сыро, и тесно, и темно, а там, наверху, аленькие цветочки цветут, пестренькие птички поют, ветерочки теплые дуют и светит ясное солнышко!

— А-а-ах! глупенький ты, глупенький! — молвила старая слепенькая кротиха, покачивая головой,— да знаешь ли ты, что эту сырую и темную нору ты должен любить больше всего на свете!

— Да почему же, маменька?

— А потому, что это твое отечество!

Конец.

Педагогическая отметка. Мысль не дурна, и язык зверей употреблен весьма к месту! Но кратко, и потому на будущее время надо стараться быть более обстоятельным. Еще одно замечание: союзы не всегда употребляются правильно, а в иных местах есть даже лишние. *Сапиентов.*

ДОБРЫЙ ПАТРИОТ

(Сочинение 8-летнего Паши Младо-Сморчковского)

Однажды милая мамаша взяла Пашу Младо-Сморчковского за головку и спросила:

— А знает ли эта маленькая головка, что̀ такое значит добрый патриот?

— Нет, милая мамаша,— отвечал Паша,— не знает, потому что она маленькая!

И милая мамаша поцеловала Пашу и отпустила гулять.

Конец.

Педагогическая отметка. Наверное, гулять не отпустила, но, быть может, оставила без последнего кушанья. И маленькой головке стыдно не знать вещь столь обыкновенную. На будущее время подобные оправдания, ни в каком случае, не будут приняты во внимание. *Сапиентов.*

САТИРА
ИЗ
«ИСКРЫ»

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ

Я знаю, нас очень многие называют легкомысленными, и даже ставят нам это в укор. Что мы легкомысленны — против этого, кажется, возражать нечего; но чтобы в этом качестве заключалось что-нибудь предосудительное — это еще вопрос, и притом крайне сомнительный.

По моему мнению, мыслить легко значит мыслить так, как в данную минуту мыслить удобнее. При сем: чем менее допускается стеснений со стороны мыслей предшествующих, тем больше представляется удобств для распоряжения мыслями текущими. Или, говоря точнее: истинное легкомыслие есть не что иное, как столь уважаемое нами свободомыслие, только очищенное от препон.

Не надо забывать, что внезапная мысль никогда не приходит одна, но дает начало целому ряду таких же внезапных мыслей, которые становятся рядом не потому, чтобы они чем-нибудь были связаны, а потому именно, что ничем не связаны. Когда таких мыслей накопляется достаточно, то образуется оплот, на который уже можно смело опираться в самых затруднительных обстоятельствах жизни. Все равно как в математике минус, помноженный на минус, дает плюс,— так и в жизни: легкость, помноженная на легкость, всегда дает в результате нечто солидное. Если одна легкость не выручает, поправьте ее другою, другую — третьею, и поступайте таким образом, покуда не достигнете того, что на языке публицистов высшего полета называется «системою».

Как только вы добрались до системы, то можете смело сказать, что задача вашей жизни исполнена. Система тем хороша, что она представляет собой такую густую сеть всевозможных легкостей, в которой можно спрятаться, как в самом непри-

ступном укреплении. Легкости конденсируются и приобретают все свойства метательных орудий. По временам в «системе» чувствуется даже присутствие логики...

Когда нам говорят о каком-нибудь человеке, что он легкомыслен, то мы обыкновенно представляем себе, что у этого человека мысли бегают в голове, точно мыши в мышеловке. Нельзя не согласиться, что это сравнение довольно верно; однако что же из этого следует? Из этого следует только то, что действительно в голове легкомысленного человека мысли бегают точно мыши, попавшиеся в мышеловку,— и ничего больше. Затем нужно еще доказать, что это или непохвально, или неудобно, или несовместно, а доказать этого нельзя. Во-первых, это будет подвиг не популярный, во-вторых, человек, который предпримет его, не преминет убедиться, что существуют на свете такие твердыни, от которых самая строгая система доказательств отскакивает, как от стены горох. Гораздо благоразумнее поступит тот, кто примет на себя адвокатуру легкомыслия. Этот человек может заранее сказать себе, что труд его будет и популярен и оценен по достоинству.

Так я и поступлю.

Начну с того, что легкомыслие, как творческая сила, было известно уже афинянам. В древности это уж было так заведено, что всякий народ чем-нибудь да славился. Персы славились глупостью, македоняне — дипломатическим вероломством, жиды — проказою, спартанцы — непреоборимым тупоумием и храбростью, афиняне — легкомыслием. Из всех этих народов удел афинян был самый завидный. Вспомним, с какою легкостью они увольняли от службы вождей своих, как непринужденно они смеялись, когда их называли неблагодарными,— и мы поймем, почему афинская цивилизация имела такое решительное влияние на цивилизацию позднейшую. Все дело в том, что афинские мысли не залеживались, но беспрестанно обращались.

За всем тем Афины пали, а потомки древних афинян продают в настоящее время в с.-петербургском гостином дворе айвицу и грецкое мыло. Почему же они пали? — а потому, милостивые государи, что они не умели быть легкомысленными до конца, что они никогда не достигали той полноты легкомыслия, при которой не остается ничего другого, как блаженствовать. Припомним, что у них были Периклы, Сократы, Демосфены и проч., и спросим себя: можно ли далеко плыть по океану цивилизации, имея такие камни на шее? Насколько дальше они могли бы уплыть, если бы вместо Пе-

рикла у них был И. И. Излер, вместо Сократа — Аскоченский, а вместо Демосфена — М. Н. Катков — это даже предугадать трудно.

Верьте, милостивые государи, что чем реже мы спотыкаемся на Сократов, тем удобопонятнее делается для нас бремя жизни. Чтобы стать выше упреков в ограниченности стремлений, нужно настолько расширить свои идеалы, чтоб они приняли вид расплывшегося во все стороны киселя. Когда получится возможность бродить в этом киселе и вкривь и вкось, и вдоль и поперек, то вместе с тем получится и безграничная свобода действий, то есть свобода вытаскивать из киселя именно те бирюльки, которые на потребу. Шаг человеческий сделается уверенным, мысль — легкою и свободною, щеки утратят способность краснеть. Зачем краснеть? в чем раскаиваться, когда в прошлом все позабыто, а в будущем ничего не предвидится?

Как бы то ни было, но Афины пали. Наступили средние века, и струя легкомыслия едва не исчезла безвозвратно...

То были времена тягчайшего тупомыслия, не лишенного, однако, изобретательности. Изобретены были порох и книгопечатание, открыт путь в Восточную Индию и сделаны были распоряжения об открытии Америки. Из этого следует, что тупомыслие не всегда бесполезно.

Но легкомыслие не изгибло, а только тлелось под пеплом. Если б пределы настоящей статьи не стесняли меня, то я мог бы даже сквозь хаос крестовых походов и пламя инквизиции проследить непрерывную преемственность этого интересного явления до той минуты, когда афинское наследие попало в руки французов. Возведенное ими на высоту почти неприступную, легкомыслие угрожало уже смутить спокойствие целой Европы, как вдруг его постигла та же участь, что и в Афинах. Известны всякому печальные происшествия, едва не ввергшие в конце прошлого столетия Францию в бездну погибели, но очень мало кому известно, что происшествия эти были последствием не столько самого легкомыслия, сколько недостатка последовательности в нем.

Как ни тщательно лелеяли французы свое афинское наследие, они не могли облегчать себя настолько, чтобы вполне застраховать свое будущее от наплыва таких примесей, которые идут явно наперебой правильному развитию легкомыслия. Они освободились от многого, но не могли освободиться от одного: от уважения к уму и таланту. Это были для них своего рода Сократы, которых присутствие в истории уже служит явным признаком, что золотой век еще не наступил. Как ни старайтесь перебегать от одного предмета к другому, как

ни усиливайтесь, чтобы минута последующая отнюдь не зависела от минуты предыдущей, но если при этом внимание ваше, хоть на мгновение, хоть невзначай, обо что-нибудь зацепится, вы непременно придете на край бездны. Кончено, работа всей жизни пошла на ветер, ибо одна зацепка приводит за собою другую, другая — третью и т. д., так что, вместо сети легкомыслия, вы вдруг очутитесь опутанным сетью зацепок и препон!

Истинное легкомыслие не таково. Оно не хочет знать никаких преткновений и ищет свободы от каких бы то ни было уз; при слове талант — оно разевает рот, при слове ум — блаженно гогочет. Представим себе, например, такое общество, историю которого в сокращенном виде можно было бы охарактеризовать следующим образом:

Период первый. Трудно и даже невозможно найти какие-нибудь типические черты, которые могли бы послужить к характеристике внутренней жизни общества (имя рек) в течение этого первого периода его существования. Это был какой-то хаос, в котором одно движение противодействовало другому, в котором все заботы, по-видимому, были устремлены к тому, чтобы переделывать сделанное, подрывать предпринятое и сколь возможно тщательнее разбивать те звенья, которые связывают последующее с предыдущим и т. д.

Период второй. Еще труднее найти какие-нибудь типические черты в этот второй период существования общества. Это был какой-то хаос, в котором и т. д.

Период третий. Гораздо труднее и т. д.

Вот счастливейшее из обществ! Вот общество, в котором, наверное, не найдется ни одного Сократа и в котором можно горстями черпать Аскоченских! Это то идеально-легкомысленное общество, которое ни перед чем не станет в тупик, ни обо что не зацепится!

Что, если бы в таком обществе нечаянно появился Сократ? Как поступили бы с ним? Заставили ли бы выпить чашу с цикутой? — навряд ли! Но что его засадили бы в кутузку или, в наиболее благоприятном случае, споили бы с кругу и сделали бы способным плясать вприсядку — в этом не может, кажется, быть сомнения.

Но легкомыслие, как и всякое другое жизненное явление, имеет свои тезисы, которые оно защищает и которые составляют его философию (так и называется «философия легкомыслия»). Постараюсь рассмотреть некоторые из них.

Тезис первый формулируется так: «сначала все уступи, дабы впоследствии всем пользоваться».

По уверению почитателей «Московских ведомостей», честь изобретения этого тезиса принадлежит М. Н. Каткову. Он, дескать, в душе отъявленный нигилист, и ежели прикидывается благонамеренным, то для того собственно, чтоб хорошенько заручиться, а потом, заручившись, нагрянуть. Когда в моем присутствии происходят эти объяснения, мне всегда приходит на мысль суворовское: заманивай его, братцы, заманивай!

«А ну, как он не заманит! — думалось мне,— ну, как он, заманивая да заманивая, сам хлопнется в овраг? Ведь девять лет издает М. Н. Катков свою газету, и девять лет все заманивает! Это тоже штука!»

Но как бы то ни было, правы или не правы почитатели г. Каткова, снабжая его подобными намерениями, дело в том, что указанный выше тезис действительно существует в нашей жизни и даже начинает проникать в печать в качестве руководящей истины.

Сколько я могу понять, слово «уступи» принимается здесь не столько в прямом его значении, сколько, так сказать, в сокровенном. «Уступи» значит не уступай, а только притворись, что уступаешь, или уступи что-нибудь такое, чему хотя и приписывается важность, но что, в сущности, составляет совершенную дрянь. Я знаю, что в сферах высшей публицистики подобный образ действия носит название «дипломатического», но так как на такую игру словами согласиться довольно трудно, то считаю себя вправе возвратить ему настоящее его название «легкомысленного».

В самом деле, чтобы вполне убедиться в легкомысленной сущности этого тезиса, стоит только начать с него самого, то есть уступить, и принять на веру его практическую необходимость и мудрость. Первое затруднение, с которым мы встретимся на этом пути, будет заключаться в том, что у нас не имеется достаточных данных для определения слова «дрянь». Это понятие допускает такое бесконечное разнообразие определений, что нет ничего легче, как впасть в ошибку, и притом самого печального свойства. Есть дряни абсолютные, для всех видимые и доказанные, есть дряни относительные, имеющие смысл сокровенный и не для всех ясный. Какую из них следует уступить, или, лучше сказать, какою из них следует пользоваться? Сверх того, есть много таких дряней, которые, несмотря на видимую свою дрянность, до того въедаются в жизнь, что делают ее почти невозможною. Обыкновенно эти дряни кажутся нам самыми ничтожными и легкодопускаемыми,

а на поверку выходит, что именно они-то и загораживают выход для всех прочих дряней. Следует ли продолжать жуировать ими по-прежнему?

Вот как трудно ориентироваться в мире дряней, и какой особливой прозорливости требует правильная сортировка их. Но пойдем далее. «Поступиться дрянью» — не значит ли это сохранить именно то, что прежде всего подлежит устранению? Конечно, в мире физическом нам очень часто приходится встречаться с такими случаями, когда искусственным развитием какого-нибудь менее опасного недуга достигается искоренение или облегчение недуга более опасного; но не надо забывать, что мы ведем речь не о мире физическом, законы которого более или менее исследованы, но о дрянях мира нравственного, в котором все до крайности неопределенно и спутано. Поступившись даже одним этим пресловутым правилом об уступках дряней, мы уже разом вступаем в такую безграничную область, по которой остается только бежать сломя голову, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Дряни не только разнообразны, но и до неприличия цепки. Они налипают одна за другою с такою быстротой и последовательностью, что, заручившись однажды теорией об уступках, мы не успеем и оглянуться, как уже увидим себя до того навьюченными, что трудно даже и помыслить о возможности сбросить нахлынувший со всех сторон груз.

И вот, когда вся эта чушь облепит человека,— тогда «пользуйся»! Чем же «пользуйся»? — да всем! Как же «всем», когда все заранее уступлено, на все заранее дано согласие и затем уж в запасе осталось только пустое место? Но в этом-то и заключается драгоценное свойство легкомыслия, что то, что кажется нелепым и невозможным перед судом здравого смысла, оказывается в сообществе и при пособии легкомыслия не только возможным, но даже и имеющим какие-то шансы на успех.

Оказывается, что мир легкомыслия точно так же неисчерпаем, как и мир дряней, что, сколько ни уступай из него, все будет полная чаша, а пустого места не будет. Оказывается, что, укоряя своего соседа в легкомыслии и непоследовательности, мы отнюдь не отступаемся этим от своего собственного права на легкомыслие и непоследовательность...

Как может выступить с либеральным словом человек, который за минуту перед тем гремел проповедью самого непроходимого обскурантизма? как может говорить о свободе совести и мысли человек, который за минуту перед тем высказывался в пользу инквизиции и чуть ли даже не травли собаками? Все это тайна российского легкомыслия, на языке ко-

торого обскурантизм и собачьи травли называются «уступками», делаемыми для того, чтобы «потом всем пользоваться»!

А между тем такого рода мудрецов мы встречаем на каждом шагу, и дело у них идет как по маслу. Искусство, с которым эти люди из области рабомыслия делают непосредственный скачок в область свободомыслия — это такой пример беспримесного легкомыслия, перед которым бледнеют все остальные разновидности этой категории. Далее может существовать только блаженство, то есть такое нравственное положение человека, когда мысли и поступки человеческие сменяются одни другими с полнейшим забвением всякой последовательности.

Да; есть и такое положение. Как ни блажен удел человека, все уступающего для того, чтобы всем воспользоваться, в нем все-таки есть известная доля горечи. Оно напоминает о коварстве, и хотя это коварство невинное, но невинность в этом случае свидетельствует лишь о тупоумии, а отнюдь не о чистоте намерений. Гораздо в лучшем положении находится легкомыслие легкое, которое никаких намерений не имеет, которое ничем не пользуется, но зато ничего и не уступает. Это легкомыслие, которое чуть-чуть канканирует и как будто приговаривает: «Ты думаешь, что я что-нибудь замышляю! ошибаешься, мой друг,— это я так». Это «так» до того драгоценно, что если б мы всегда умели держаться на высоте его, то, конечно, были бы счастливейшим и притом самым афинским народом в целом мире.

«Так»! да поймите же, сколько тут достолюбезного, непредвидимого, почти непостижимого! «Так» — погладил по голове; «так» — ковырнул масла; «так» — поправил меньшему брату челюсть; «так» — поднес рюмку водки. Все — «так». И все эти «так» столь быстро сменяют один другого и представляют такую нескончаемо текущую реку, что как только окунешься в нее, то так и невзвидишь света от удовольствия! И не заметишь, что тут есть и пропасти, и обрывы, и вообще всякое летание стремглав. Все гладко и ровно... система, да и только!

Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся», я положительно отдаю предпочтение последней. Она проще и потому доступнее. Стоит только вести себя хорошо (не притворяться, а действительно хорошо себя вести) — и нечего будет уступать, потому что все дастся. Что дастся? — ну, разумеется, не бог знает что, а по мере возможности. Тогда как с притворством... а ну, как угадают это притворство? да надерут за это уши? да поставят в угол на колени?.. Боже! да

мало ли есть наказаний, при одном воспоминании о которых легкомысленного человека пронимает дрожь!

Я знаю, что первая система легкомыслия почему-то пользуется репутацией дальновидности, а вторая попросту зовется глупою, но я убедительно предостерегаю читателей против подобных оценок. Так как фактически может быть доказано, что обе системы суть дщери одного и того же легкомыслия, то очевидно, что самый спор о том, которая из них глупее, есть спор праздный и нестоящий разработки.

Говорят, будто в первой системе уже скрывается какой-то намек на мысль, что она заставляет своих последователей заботиться о каких-то укреплениях и вообще проводить свой путь зигзагами (это, дескать, требует до известной степени работы мозгов). Но, по-моему, эти свойства не придают еще прелести системе, а только причиняют головные боли, которые, в свою очередь, не исключают элемента легкомыслия, а лишь порождают особенный вид его — легкомыслие с мигренью.

Второй жизненный тезис, выработанный нашим легкомыслием, служит естественным придатком к первому. Ежели первый говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», то второй прибавляет: «пользуйся, но так, чтобы никто ничего не заметил».

Наша страсть к секретному житию как нельзя полнее сказалась в этих двух житейских правилах. Мы очень часто обманываем и действуем потихоньку, совсем не ради какой-нибудь корыстной цели, а просто в видах испытания, авось-либо никто не заметит. Для чего нам это нужно — один бог знает; но несомненно, что в этом отношении мы самые сущие спартанцы, которым, как гласит история, смолоду внушали, что воровать — отчего не воровать, но попадаться — упаси боже!

Если б вас пригласил кто-нибудь обедать и формулировал свое приглашение так: прошу ко мне обедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил,— вообразите, как были бы вы удивлены? Но удивлению вашему, конечно, не было бы пределов, если б обед был устроен всенародный, если б во время его на вас были устремлены тысячи глаз, и вам все-таки предстояло бы исполнить этот обряд по секрету. Ведь это гораздо мудренее, чем даже, например, проглотить втихомолку шпагу или секретно держать в сжатой руке раскаленные уголья! В последних случаях требуется только известная степень душевного воспаления, в первом — совершенная бессмыслица: отсутствовать, присутствуя. В виду такого требования, я даже начинаю понимать, почему

мы, русские, всегда обнаруживали и обнаруживаем столь явное пристрастие к фокусникам и престидигаторам, почему представления этого рода неизменно привлекают толпы зрителей. Мы просто видим в их действиях повторение или преобразование того, что на каждом шагу происходит с нами на практике.— А! ты проглотил шпагу — знаю! Я давеча проглотил две! — А! ты сварил в шляпе яичницу — знаю! я давеча не в шляпе, а у друга сердечного на голове уху сварил — и он этого не заметил! Одним словом, не удивишь и не обрадуешь нас ничем!

Быть — и в то же время не быть; быть видимым — и в то же время быть невидимым; двигаться — и оставаться без движения... Вот те геркулесовы столпы легкомыслия, до которых никогда не могли достигнуть ни афиняне, ни французы и до которых мы достигли без малейшего напряжения.

Да; это своего рода грани; но ежели вы спросите меня: возможно ли быть блаженным при такой степени легкомыслия? я отвечу: да, только при такой степени и возможно быть совершенно блаженным. Примешайся тут с булавочную головку здравого смысла — все дело погибло бы несомненно и безвозвратно. Этого мало: не только блаженствовать, но даже жить можно.

В то памятное время, когда мы процветали под сению крепостного права, не мало шаталось по деревням беспардонных помещиков, которые, будучи снедаемы либерализмом, только о том и тужили, как бы провести сквозь мужика какое-нибудь преднамерение или предначертание. Форма для этого была в то время самая удобная: в ней укладывались и благие стремления и свирепые; и детские розги и взрослые: вдоволь было места для всяких свобод. Трудность только в том заключалась: как бы таким манером провести известное преднамерение, чтобы, с одной стороны, все сейчас почувствовали, а с другой стороны, никто бы ничего не заметил, или, иными словами: чтобы все пользовались, но никто не воспользовался. Тогда еще никто не видел в этих разъяснениях признаков легкомыслия, а остерегались только, как бы впоследствии не вышло каких-нибудь грамматических недоразумений.

Много было представлено в то время на соискание разных полезнейших проектов; много было таковых и в исполнение приведено...

Подобно другим отечественным либералам, заразился этою язвою и друг мой, Андрюша Гнусиков. По Невскому ли, бывало, идет, у Донона ли трапезует, в танцклассе ли благодушествует — все думает: непременно отмочу штуку! Мало того: подружился с Вс. Крестовским, в Вяземский дом ноче-

вать ходил, посещал Конную площадь, наблюдал, как секут меньших братьев, и даже сам, однажды, чуть-чуть в части не был высечен... И везде преследовала его одна неотвязная мысль: непременно отмочу штуку!

И вот, однажды, приходит он ко мне и, молча, подает сложенный начетверо лист бумаги. Развернув его, я прочитал следующее:

Хочу — отдам; хочу — назад возьму.

СЕЛЬСКАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ КРЕСТЬЯН СЕЛА ГНУСИКОВА С ДЕРЕВНЯМИ

А. ПРАВА

1) Всякий имеет право сообщать, изъяснять, передавать на ухо или иным образом излагать свои мысли, с тем, однако ж, чтобы сие делалось с осторожностью.

2) Всякий имеет право заявлять о своих нуждах, наблюдая только, чтобы оные были не бездельные.

3) Всякий имеет право невозбранно пользоваться свободою телодвижений, с тем лишь, чтобы таковые не заключали в себе неистовства.

4) Всякий имеет право говорить правду, лишь бы сия правда была безобидная.

5) Всякий, будучи призван на сходку, имеет право представлять оной замечания, лишь бы они были полезные.

6) Всякий, будучи приглашен для наказания, имеет право приносить оправдания, которые и приемлются, буде найдены будут заслуживающими уважения.

и 7) Всякий имеет право снять с отданного ему поля хлеб, буде таковой уродится.

Б. ОБЯЗАННОСТИ

— Ну... там... как обыкновенно...— сказал Андрюша, прерывая меня,— что? как тебе кажется?

— Хорошо... Только знаешь ли что̀, душа моя? — прибавил я, спохватившись,— этот седьмой пункт... как-то... как будто... Хорошо ведь, как он не уродится? а ну, как уродится? Как бы тут не было... недоразумений каких...

Андрюша задумался.

— Так ты думаешь, что этот пункт лучше редактировать так: «Всякий имеет право снять с отданного ему в пользование поля хлеб, буде таковой *не* уродится?»

— Да... нет, не то... Этак тоже будет, пожалуй, неловко... Я думаю, душа моя, вовсе оставить этот пункт... Или вот что: не отнести ли его к «обязанностям»?

— И прекрасно! действительно, какое же это право? Отлично! Ну, а в прочих частях как?

— Бесподобно! С одной стороны всё сполна, с другой стороны не бесполезные ограничения... чего еще нужно!

Андрюша весь вспыхнул; лицо его озарилось каким-то священным огнем.

— Только вот что̀ еще,— продолжал я,— подумай, душа моя, не слишком ли ты себя обездоливаешь?.. Не слишком ли ты связываешь себе руки? Рассуди! Ведь это... Как бы тебе сказать... Ведь это... почти конс...

— Ну, об этом позволь мне знать самому... Об этом я много думал! — прервал он меня твердо и от наплыва чувств чуть-чуть не поперхнулся.

Тут он рассказал мне все: как он ночевал в доме Вяземского, как болел сердцем на Конной площади, как сам, однажды, едва не был высечен и как, наконец, созрела-таки у него в груди «сельская радость».

— Я знаю,— говорил он мне,— что они будут неблагодарны! Но я решился... Я готов вынести все!.. Даже клевету, даже обвинение в революционной пропаганде!!

— Но все-таки, мой друг, не лишнее, ах! как не лишнее быть осторожным! Не приноси жертвы не по силам! — убеждал я,— подумай! есть ли у тебя верный человек, который мог бы на месте наблюсти, чтоб эти права... чтоб эта «сельская радость» enfin...[1]

— О! насчет этого я могу быть спокоен! Там у меня есть Иван Парамоныч... Он...

Андрюша сжал при этом свой кулак так выразительно, что можно было подумать, что у него в этом кулаке замерзла вожжа.

Когда он ушел от меня, я долго не мог образумиться.

«Каков! — думал я,— каковы люди-то у нас народились! и что ж? растут себе, как крапива, где-нибудь подле забора, и никто-то их не знает, никто-то об них не слышит! А кабы собрать их всех да в кучу...»

Прошло с полгода после этого разговора, и я уже успел позабыть о гнусиковской сельской радости, как случай привел меня в самое святилище вольномыслия, то есть к Андрюше в имение.

---

[1] наконец.

Однажды утром из окна барской усадьбы я увидел перед домом «гнусиковского общественного управления» большую толпу. Спрашиваю: что̀ это такое? отвечают: гнусиковское народное вече — ну, как же не взглянуть на вече!

— Стало быть, у тебя оно в ходу? — спросил я моего друга.

— У меня, mon cher [1], это все в порядке,— отвечал он, любуясь, вместе со мною, зрелищем размахивающей руками толпы,— у меня ничего по имению, ничего без *них* не делается! обо всем *они* должны свое слово сказать! У меня, душа моя, по-старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили»... Как в Новгороде... или то бишь в Москве!

— Ну, а седьмой пункт... помнишь?

— Biffé! [2]

Мучимый любознательностью, я осторожно подошел к толпе, чтоб не вспугнуть ее своим появлением и не помешать выборным людям гнусиковской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но, увы! вече уже давно подходило к концу, и я мог слышать лишь заключительные слова речи, которую только что произнес Иван Парамоныч.

— Свиньи вы! рожна, что̀ ли, вам еще надобно! право, прости господи, свиньи! Барин вас милует, а вы и того... на дыбы сейчас! Я-ста да мы-ста! Пошли вон, подлецы!

Вече начало медленно расходиться; но через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал следующий приговор: «лета 18**, мая дня, я, помещик и государственной службы коллежский асессор, Андрей Павлов Гнусиков, приказал, а выборные гнусиковской земли приговорили: имели мы рассуждение о том, что для пополнения запасных хлебных наших магазинов собирается ежегодно со всех гнусиковских мирских людей хлебная пропорция, *но как сие неудобно,* а потому постановили: ввести промеж себя общественную запашку, для чего определяем» и т. д. и т. д.

— Однако ведь они, mon cher, совсем этого не желают! — вступился было я.

— Mais laissez donc! laissez donc! [3] — замахал руками мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.

— Нѐшто они что понимают! — прибавил от себя Иван Парамоныч, с возмутительным безмятежием практика.

Но я не успокоился и продолжал делать наблюдения, по-

---

[1] дорогой мой.
[2] Уничтожен!
[3] Полноте! Полноте!

тому что в то время меня еще интересовали и гнусиковские начинания, и гнусиковская ширина взглядов, и гнусиковские светлые надежды. Да и костомаровские «Народоправства» были еще у всех в свежей памяти.

Увы! я должен сказать правду, что мало утешительного вынес я из этих наблюдений! Во-первых, я удивился, что выборные, занимавшие должности в гнусиковском «общественном управлении», проводили время собственно в том, что топили печи в доме управления и по очереди там ночевали, совокупляя, таким образом, в своем лице и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в гнусиковских делах, но даже положительно тяготились ею.

— И для чего только нас держут! — сказал мне однажды один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.

— Как для чего, мой друг (защитникам гнусиковских интересов я всегда говорил не иначе как «мой друг» или «голубчик»)? Как для чего? Ведь вот вам теперь дал Андрей Павлыч пра́ва...

— Пра́ва-то?

— Ну да... пра́ва... Как же ты, голубчик, не понимаешь этого?

Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.

— Ну? — сказал он.

— Ну да, права̀,— повторил я, но голос мой внезапно оборвался, потому что я почувствовал, что мне стыдно.

— А Иван Парамоныч? — спросил заседатель от земли.

Я смешался еще более.

«Однако вы таки бестии!» — подумал я и на первый раз так на этом и порешил, что бестии; однако же не потерял надежды, что когда-нибудь, со временем, «бестии» все-таки придут в себя и поймут, что нельзя же наконец не оценить.

Но мне не пришлось этого дождаться. Не дальше как через полгода я встретил Андрюшу в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:

— Ну что̀, как «пра́ва»?

Андрюша махнул рукой.

— Ужели? — воскликнул я.

— Biffés! — ответил он.

Признаюсь, я так мало был приготовлен к такому ответу, что готов был даже обвинить моего друга в недостатке энергии, в отсутствии инициативы...

— Mon cher! не обвиняй меня! — сказал он мне кротко.

— Да нет, душа моя! Это была твоя обязанность! Ты дол-

жен был идти вперед! искоренить предрассудки! истребить невежество, грубость!

— Нельзя! — отвечал он мне самым решительным тоном,— *они не созрели!!*

И вслед за тем он расказывал мне трогательную историю своих усилий и *их* непонимания. Оказалось, что он с своей стороны дал *им* — *все,* от *них* же требовал только, чтобы они платили исправно оброк и слушались Ивана Парамоныча.

— И... и бога бы за меня молили! — прибавил он взволнованным голосом.

Напротив того, *они* отвечали, что им не надобно *ничего,* а вот кабы Ивана Парамоныча от них убрали, так это точно, что они стали бы бога молить!

— Ну, представь себе: один только представитель моих интересов и оставался — и того убери! — укоризненно заключил мой собеседник.

— Бестии! — произнес я решительно.

— C'est le mot! [1]

— Что же ты сделал?

— Велел Ивану Парамонычу действовать решительно и неуклонно!

Тем и покончилась благонамеренная затея моего друга.

Рассматривая ее внимательно, я должен сознаться, что поступок моего друга был очень рискован и смел. Уж одно то, что человек этот избрал своим девизом слова: «хочу — отдам, хочу — назад возьму», доказывает, что он решался на многое. «Хочу — отдам» — шутка сказать! Поймите, что ведь тут уж есть глагол «отдать» и что если бы за ним не следовал непосредственно корректив в виде «хочу — назад возьму», то кто же знает, что из этого могло бы произойти!

Тем не менее Гнусиков изнемог...

Это вечно печальная и никогда не кончающаяся история русского человека, у которого в голове засела затея! Наши реформаторы гибнут и на заре дней, и на склоне дней, гибнут в ту самую минуту, когда все готово, все нарывы назрели, и стоит только со всех сторон двинуть, чтобы...

Почему они гибнут? почему, например, в данном случае погиб реформатор и либерал Андрюша Гнусиков?

А потому, милостивые государи, что он был не до конца легкомыслен и что рядом с его теорией: «пользуйся, но так, чтоб никто ничего не заметил», существует другая теория, еще более легкомысленная, а именно: ничем не пользуйся, и пусть все замечают!

---

[1] Вот именно!

Сравните обе эти теории, и вы увидите, что последняя совершенно затмевает первую. Начать с того, что первая требует изворотливости ума. Ум, в каких бы размерах и формах он ни проявлялся, есть исконный враг всякого легкомыслия. Пусть даже это будет ум не настоящий, направленный к отрицанию самого себя, истинное легкомыслие все-таки не выдержит его и непременно погибнет под бременем тех невзгод, которые принесет за собой его появление. Истинное легкомыслие чисто, как кристалл; малейшая раковина внутри делает его цену ничтожною. Ум есть беспокойство, легкомыслие — блаженство... Поймите же наконец, милостивые государи, что ежели вы действительно желаете достигнуть блаженства, то должны принять и те средства, которые ведут к этой цели. Вы должны совсем-совсем истребить в себе всякий признак ума...

Третий, и едва ли не самый главный, житейский тезис легкомыслия: будь счастлив и не взирай!

В самом деле, чем более мы взираем, тем большую накопляем сумму данных, которые, впоследствии, могут уготовать нашу погибель. «Взираю» — уже отчасти значит «смекаю», и даже «знаю», а кому неизвестно, что человеческое благополучие всецело заключается в неведении? О, если б, подобно Сократу, мы знали одно: что мы ничего не знаем! Но нет, мы находим такое знание недостаточным, мы идем далее, мы ищем какого-то действительного знания... В результате обретаем фигу, то есть погибель!

— Не видал бы я этого вина — быть бы мне и теперь человеком! — говорит, обыкновенно, пропоец, дошедший до той степени восторженности, когда мир начинает казаться дьявольским наваждением.

— Не видал бы я этой книжки,— спать бы мне и теперь на своей постелюшке! — говорит едущий на перекладных юный философ, которого чтение книжки, по какому-то счастливому сцеплению обстоятельств, привело к познанию истины, что ничто так не образует юношество, как путешествия.

— Не видал бы я этих денег — не украл бы! — говорит с своей стороны и вор, стремящийся оправдать свой поступок любознательностью.

Во всех этих случаях и пьяница, и философ, и вор потерпели прежде всего оттого, что взирали. Воззрение зажгло в них любознательность, любознательность породила желание испытать на деле. В заключение, все трое очутились в прескверном положении. И, что всего замечательнее, несмотря на разницу, которая существует между упомянутыми тремя ремеслами, все они, однако, привели к результату почти одно-

родному! Почему? — а потому просто, что в основе каждого из них лежал один и тот же глагол «взирать».

В применении этого житейского принципа на практике могут встретиться довольно серьезные затруднения — это несомненно. Могут, например, спросить: как можно не взирать на предмет, который сам собой мечется в глаза? Согласно ли с здравым смыслом ничего не видеть, когда человек обладает зрением и глаза его не ослеплены! Но на все эти вопросы очень легко возразить целым рядом других вопросов, которых разрешение, как мы видели, не стоит ни малейшего труда. Таковы вопросы: можно ли отсутствовать, присутствуя, можно ли двигаться — и быть без движения? Можно ли быть — и не быть? и так далее.

Существенное в этом деле — все-таки не взирать, то есть не соблазняться и не пробовать. Наша публицистика давно уже пропагандирует эту истину — и чувствует себя отлично хорошо. Может быть, она думает, что, занимаясь подобною пропагандою, она заговорит уши и тем временем что-нибудь да узрит; но такое убеждение доказывает только вящее ее легкомыслие: заговаривая уши, можно прийти только к одному результату, а именно: заговорить их до того, что они будут ко всему глухи, кроме невзирания,— и тогда милости просим попробовать что-нибудь узреть!

Много рассказывает людская молва разных правдивых былин, героями которых являются люди кроткие и невзирающие. Спал Иванушко-дурачок три дня и три ночи, спал и даже во сне ничего не видел; проснулся — ан оказалось, что он не Иванушко-дурачок, а Иван-царевич. «Счастье с неба валится»,— гласит народная мудрость — а валится оно, наверное, тому, кто не взирает и знает неукоснительно, что он ничего не знает. Для того чтоб схватить счастье за хвост, совсем не нужно быть сильным по части изобретения пороха, а нужно только лечь спать, разумеючи. Тогда врата легкомыслия откроются сами собою, и на могильном памятнике того человека напишется: «Сей человек, обладая необширным умом и посредственными чувствами, был почтен!»

Нельзя, однако ж, сказать безусловно, чтоб эта наука была легкая. О нет! врата легкомыслия отпираются не перед всяким, и уступают не без усилий. Не взирать — не только значит не видеть, но и потерять обоняние, осязание, вкус... Какое счастливое сцепление случайностей нужно изобрести, чтобы создать подобное положение! Если же этих случайностей налицо не имеется, сколько тут нужно геройства, сколько нужно продолжительного и упорного самовоспитания!

— Столь много я му́ки этой видел, что даже думал уродом

на всю жизнь остаться! — говорил мне на днях один из несомненных ревнителей на пути к совершенству,— однако бог привел: усовершенствовался!

И действительно: это был в своем роде субъект довольно любопытный, и ежели в нем еще чувствовался какой-то недостаток, то он заключался единственно в том, что субъект этот как будто все еще не мог опомниться от воспоминания тех истязаний, которые он вытерпел.

«Не пытайся понять то, что тебе понять не дано», «не забывай, что выше лба уши не растут» — вот правила, которые внушались мне с детства и которые, впоследствии, в особенности укрепило во мне чтение афоризмов Кузьмы Пруткова. С тех пор я не только не пытаюсь, но просто-напросто ничего не понимаю и только наблюдаю, чтоб уши мои как-нибудь не выросли сверх пропорции. Вижу, что кругом меня что-то мечется, снует, кружится, и в сердце своем говорю: «Господи! сохрани мою невинность! пошли мне глаз слепоту, языка онемение, ума оглупение и чувств помрачение! И да пребуду вовеки блажен!» И как только проговорю это — все наваждение сейчас как рукой снимет!

Но повторяю: чтобы достигнуть этого, нужно или особенно счастливое стечение обстоятельств, или геройство, а так как и то и другое не всегда являются к нашим услугам, то людское легкомыслие ухитрилось придумать другой, переходный афоризм, который до некоторой степени поправляет упомянутый выше недостаток. Афоризм этот гласит так: «Взирай, но взирай с рассмотрением!» По-видимому, тут заключается логическая бессмыслица, ибо невозможно в одно и то же время быть легкомысленным и рассматривать, то есть все-таки отчасти рассуждать. Но, в сущности, это вовсе не такое мудреное дело, как можно заключить с первого взгляда, ибо, для облегчения его, существуют такие каталоги, в которых подробно поименовываются предметы, на которые с легкомыслием взирать не возбраняется. Конечно, такого рода каталоги покаместь существуют еще только в сердцах легкомысленных людей, но будем надеяться... Будем надеяться, что публицистика наша, разработавшая на своем веку столько важных афоризмов, не оставит и этой важной статьи без внимания и что, со временем, мы получим совершенно полное руководство, которое на вечные времена обеспечит наше легкомыслие от всяких случайностей. Воображаю я, сколько разойдется изданий этого руководства в течение нескольких часов! Сколько глупцов вдруг почувствуют себя мудрецами, единственно потому, что у них будет в руках книжка, которая оградит их от всяких посягательств против легкомыслия!

Теперь, по заведенному порядку, мне надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием, но я оставлю эту интересную работу до другого раза и спешу изложить кратко практические результаты, которые принесло наше легкомыслие и выработанные им жизненные тезисы.

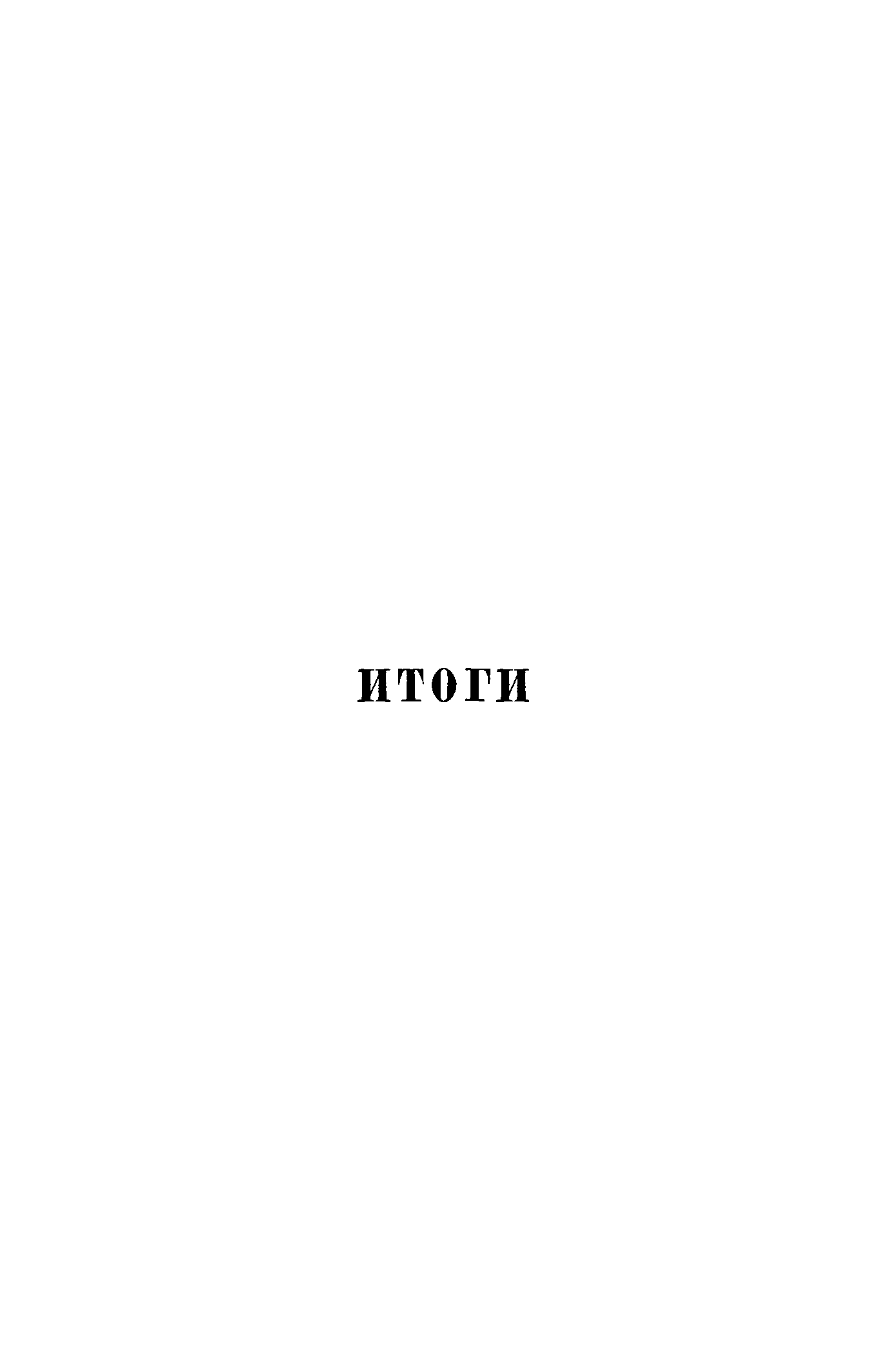
Главнейший результат заключается несомненно в том, что нас никто ни в чем не застал. Это устраняет от нас всякие подозрения и вселяет к нам неограниченное доверие. Взирая на нас, всякий говорит: оставим их в покое, потому что это подлинно те самые люди, у которых мысли мелькают в голове, точно мухи в безграничном пространстве воздуха.

Второй результат — невозмутимое спокойствие совести. Совесть питается сознанием, сознание требует умственной сосредоточенности. Но когда мысль приобретает форму и свойства мухи, то ясно: и сознание и совесть могут оставаться вполне от тревог свободными.

Оба эти результата естественно ведут к третьему — к долговечности. Ничто так не способствует пищеварению, не утучняет, не укрепляет нервы, как легкомыслие. Я знаю стариков, которые по три века чужих заели, единственно благодаря тому, что их никто ни в чем не застал и что совесть их никогда ничем не тревожилась. Знаю много таких и из молодых, которые обещают представить собой экземпляры здоровья несокрушимого. Таким образом, и маститая старость, и полная бодрости юность соединяют свои усилия, чтобы показать нам: в первом случае — пример легкомысленной долговечности, во втором — надежду на оную.

Четвертый результат — величие, то есть апофеоз.

Не имея сзади никакой ноши, мы можем смело говорить, что наше будущее свободно и что мы находимся в положении человека, у которого всегда под руками гладкая доска, принимающая какие угодно каракули. Пускай сомнения, тревоги и тоска останутся уделом тех, чье будущее неясно и скомпрометировано прошедшим. Наше будущее принадлежит нам, потому что оно ничем не скомпрометировано назади и ни в чем не предвидит для себя стеснения впереди. Будем же твердыми в легкомыслии, ибо в нем заключается та драгоценная творческая сила, которая утучняет тела, способствует пищеварению и придает нашим действиям тот характер восторженности, который составляет предмет удивления и зависти современников.



ИТОГИ

ГЛАВА I

В мундирной практике всех стран и народов существует очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается срок, в течение которого всякому вольно донашивать старый мундир. Делается это, очевидно, в том соображении, что новая форма почти всегда застает человечество врасплох. Что̀ такое мундир? имеет ли он корни в прошедшем? есть ли у него задатки, по которым можно было бы сделать предположения насчет его будущего? — Ясно, что ответ на эти вопросы может быть только отрицательный, а из этого уже само собой следует, что нового мундира, хотя бы он был весь шитый, ни предвидеть, ни приготовиться к воспринятию его в будущем невозможно. А потому попечительные начальники и рассуждают: пускай, мол, добрые люди донашивают старые мундиры, покуда умы еще недостаточно окрепли для воспринятия новых. А для того чтобы возмужание умов совершалось неукоснительно, назначают, по усмотрению своему, неотяготительные сроки, по истечении которых новая форма уже окончательно делается обязательною.

Такова цель упомянутого выше правила, но не таково, к сожалению, применение его на практике. Тут оно встречается с такими затруднениями, которые совершенно извращают его смысл и даже оттесняют на задний план самый вопрос о мундирах.

Покуда длится процесс водворения новых мундиров, в обществе происходит временное замешательство, вообще свойственное эпохам мундирного возрождения. Солидные люди (консерваторы) жадно хватаются за опубликованные сроки и отстаивают свои права; люди легкомысленные (прогрессисты),

напротив того, спешат как можно скорее щегольнуть новыми погонами. Прогрессисты уже реют по улицам, облитые лучами вновь вышитых воротников, тогда как консерваторы уныло, но упорно влачат свое существование, устремляя все помыслы к сокращенным или удлиненным фалдам, с которыми росло, воспитывалось и укреплялось их внутреннее мундирное чувство. Прогрессисты, «в надежде славы и добра», бегут вперед, убежденные, что новым мундирам конца не будет, а консерваторы (они же ретрограды) покачивают головами, иронизируют и по временам даже почтительно огрызаются. «Укоротим фалды! упростим лацкана! — и впереди нас ждет блаженство!» — восклицают прогрессисты. «Тише! не вдруг укорачивайте! помните, что еще может наступить час удлинения — и благо будет тому, кто не до конца себя окургузит!» — предостерегают консерваторы.

Завязывается обмен мыслей, в котором главную роль играет вопрос: дозрели мы или не дозрели? Прогрессистам вопрос этот, конечно, кажется несерьезным, но по той настойчивости, с которою он поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадывает, что он поставлен недаром. Мало того: знатоку человеческого сердца может показаться, что даже в самую минуту постановки вопроса можно уже провидеть и формулировать предстоящее его разрешение.

Такие знатоки человеческого сердца составляют явление очень прискорбное. Когда окрест царствует или безграничный энтузиазм, или худо скрываемое озлобление, как-то странно встретиться с человеком, который на вопрос: «какой из двух мундиров лучше?» — отвечает: «оба лучше», и на этом прекращает разговор. Во-первых, этот ответ ни с чем не сообразен; во-вторых, он заключает в себе косвенное отрицание мундирного принципа вообще. Можно порицать, но не отрицать. Изложите ваши соображения, подвергните критике кантик за кантиком, пуговицу за пуговицей и, ежели хотите, не оставьте даже канта на канте, пуговицы на пуговице — все это выслушается со вниманием, даже с трепетом. Но отвечать: «оба лучше» — это значит смеяться над тем, что̀ наиболее дорого и священно; это значит ни во что считать самый факт возрождения.

Нет ничего обиднее для человека, как внезапные откровения, с помощью которых он приходит к уразумению ничтожества интересов, дотоле занимавших в его жизни громадную роль. Он суетится, выходит из себя, просит разрешить дело по существу — и вдруг ему навстречу ответ: нет тут никакого дела, а следовательно, нет и существа его. Иногда он сам собой доходит до подобных откровений: иногда они приходят

к нему извне. В первом случае он ожесточается против самого себя (шутка сказать! целую жизнь носил мундир в своем сердце и вдруг узнал, что это только мундир — и ничего больше); во втором — еще более ожесточается против внешней причины своего невольного отрезвления. Он чувствует себя уязвленным и поруганным; он не может опомниться от негодования; он усматривает злостность и преднамеренность; он считает, наконец, себя вправе потребовать отчета...

— Какая же ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы взвесим, обсудим, и ежели найдем в ней полезные стороны, то примем их во внимание! — вопиет он, постепенно переходя от изумления к угрозе.

И ежели содержание ответа все-таки останется то же, то есть что насчет мундиров всякие доктрины представляются излишними, то этого достаточно, чтоб вырвать вопль негодования из всех сердец.

И вот вопрос о мундирах вступает в новую фазу, или, лучше сказать, он даже как бы отстраняется, чтобы дать место вопросу более существенному — вопросу об отрицании и отрицателях.

Этот последний, по утвердившемуся в обществе мнению, служит единственным препятствием, вследствие которого все прочие вопросы медленно подвигаются вперед, а некоторые даже чахнут в самую минуту своего возникновения. В самом деле, что̀ такое отрицание? — Это непризнание самого существа тех вопросов, которые занимают того или другого индивидуума. Но этого мало: отрицание есть в то же время и непризнание полезных свойств, предполагаемых в деятельности тружеников, которые корпели над разрешением упомянутых вопросов и лелеяли их.

Все в мире создается потихоньку и помаленьку — на этом сходятся и прогрессисты и ретрограды, с тою только разницей, что одни, в сфере предприимчивости, идут на вершок дальше, другие — на вершок короче. В обоих случаях область человеческой деятельности встречается с бесчисленным множеством перегородок, и чем меньше захватывает вширь, тем прочнее и надежнее кажутся те закладки, которые полагаются в основание самому делу. Один выдумывает пуговицу, другой — кантик, третий — воротник; смотришь — ан когда-нибудь и целый мундир выйдет. Поступать таким образом повелевает благоразумие, советует самый закон преуспеяния. И все действующие на поприще преуспеяния так именно и по-

ступают, то есть: спорят, обмениваются мыслями, подвергают критике ту или другую подробность, а в случае крайности даже озлобляются и предают друг друга осмеянию. В результате оказывается прогресс, то есть пуговица, погон.

Отрицатели относятся к подобному образу действий сомнительно, то есть не отвергают его прямо, а проходят молчанием. Вот это-то молчание и оскорбляет, ибо оно затрогивает не столько самое изобретение, сколько изобретателя. Самое резкое противоречие прощается охотнее, нежели молчание, потому что противоречие все-таки ставит оппонента на одну доску с вопрошателем. Напротив того, молчание устраняет самый предмет спора, ставит возбуждающего вопрос в положение человека, который сгоряча подает руку и вместо пожатия встречает пустое место. Inde ira[1]. «Какие же ваши доктрины по сему предмету?» — будет настаивать разогорченный возбудитель вопросов, и ежели ответ последует уклончивый, то не ограничится простым приставанием, а сочтет себя вправе подвергнуть отрицателя тщательнейшему исследованию.

Тем не менее к исследованию приступается не без оговорок, в числе которых первое место, разумеется, отводится общему благу. Прежде всего выступают вперед затруднения, встречаемые при разрешении вопросов жизни, вследствие досады, негодования и других преград, возбуждаемых отрицательным отношением к этим вопросам. «Опомнитесь! что̀ вы делаете! Ведь вы, сами того не понимая, поддерживаете распространителей обскурантизма, врагов прогресса!» — взывают прогрессисты. «Вот он, настоящий-то прогресс! вот он к чему приводит — к равнодушию!» — хохочут в свою очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смешивая заблудших овец, случайно отторгнувшихся от их стада, с людьми, скромно идущими в стороне и скромно делающими свое скромное дело. Затем очень видную роль играет и то соображение, что вся эта масса отрицателей, которая держит себя безучастною свидетельницей мундирного возрождения, есть масса совершенно потерянная для дела, ибо в то время как сеятели и деятели хлопочут и выбиваются из сил, одни «отрицатели» безмолвно проходят мимо и не хотят ударить пальцем о палец. «Что̀ было бы, если б каждый из этих людей выдумал по пуговице, хотя по одной пуговице! какая масса добра! какой свет! какое довольство!» — вопиют прогрессисты. «Что̀ было бы, если б каждый из этих людей употребил свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы,— только одной!» — в свою оче-

[1] Отсюда рождается гнев.

редь взывают ретрограды. И в результате этих обоюдных воплей — вопрос: «какая же ваша доктрина?»

Этот мучительный вопрос повторяется постоянно, и постоянно же остается без ответа. Безответность, в свою очередь, заставляет предполагать одно из двух: или что у отрицателей совсем нет никаких доктрин, или что они имеют какие-то доктрины, но не хотят о них повествовать.

Первое предположение, по-видимому, самое выгодное для обеих сторон. Для допрашивающей стороны оно выгодно потому, что ежели «отрицатель» не имеет своих собственных выдумок, то, стало быть, и опасаться его нет надобности. Это не отрицатель, а, напротив того, оплот. Для допрашиваемой стороны оно выгодно потому, что ежели предположение о неимении ею доктрин утвердится на прочном основании, то, стало быть, упразднится повод для придирок, подозрений и приставаний. Человек, который свободен для всяких притязаний к жизни, есть человек самый доброкачественный. Такими людьми полны улицы, и к ним никто не пристает, никто их ни в чем не подозревает, ибо всякий знает, что ежели появятся новые погоны, то они первые усвоят их со всею тщательностью. Если сердца их не будут при этом играть, если они недостаточно войдут во вкус, это будет лишь признак их неразвитости, а кто же когда-нибудь претендовал и сердился на неразвитость? Стало быть, выгода обоюдная: допрашивающие освобождены от обязанности метать стрелы; допрашиваемые — от обязанности испытывать действие этих стрел на своих организмах...

Но, к сожалению, люди, принимающие живое участие в мундирных возрождениях, слишком редко становятся на эту здоровую и спокойную точку зрения. В большей части случаев они ощущают какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя и, руководствуясь этою потребностью, дают обширный простор подозрениям, хотя бы основательность последних ничем не оправдывалась. И вот, невесть откуда, является предположение, что отрицатели доподлинно обладают некоторою доктриною, но только, должно быть, доктрина эта очень опасная, и потому они тщательно скрывают ее. Предположение это ведет за собою обязанность раскрыть и объяснить сущность скрываемой доктрины.

Но здесь сила желания находится совершенно в обратной пропорции с силою и твердостью отправного пункта. С одной стороны мотивы, определяющие желание, представляют общее место, которое трудно формулировать; с другой — не более ясности представляет и самый объект желания. Вещественных признаков, с помощью которых должно было бы определить

искомую доктрину,— нет; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки — тоже нет. Принципы нравственности, общественной безопасности, политической необходимости — все это дает повод для бесчисленнейших толкований, из которых ни одно не согласуется с другим и, следовательно, и не дает никакого действительного основания для предпринятия наступательных действий. Остается, стало быть, наудачу произвести выемку души — авось-либо что-нибудь там и найдется.

Однако ж для того, чтоб произвести с успехом подобную выемку, надобно все-таки знать, во-первых, что̀ такое душа, а во-вторых, что̀ в ней искать надлежит. Но и тут все мрак и полное отсутствие регламентов. Где местопребывание души? — ни прогрессисты, ни консерваторы указать не могут, хотя знают, что это местопребывание где-то есть. А потому единственным средством, чтоб отделаться от этого вопроса, представляется произвольное оставление его без рассмотрения. Вместо того чтоб обыскивать душу, схватывают слова, сказанные на лету, подмечают позы, телодвижения, выслеживают образ занятий и из этих обрывков созидают нечто целое, долженствующее изображать собою искомую доктрину. Но так как уразумение какой бы то ни было доктрины дается только тому, кто хоть с какой-нибудь стороны прикосновенен к ней, то, несмотря на всевозможные сглаживания и сшивки, выводы, получаемые путем собирания обрывков, принимают характер фантастичности, противоречивости и даже неожиданности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложение, делается сразу понятным, что ежели бы собиратель обрывков понимал то, о чем он повествует, то он о многом умолчал бы в виду своих собственных интересов, а о многом сказал бы совсем иным образом. И таким образом с полною ясностью выступает только одно — это чувство ненависти, которое всецело охватывает помыслы собирателя и которое заявляет о себе преувеличенными и совершенно произвольными заключениями.

Ах! это чувство очень мучительное, ибо в основании его лежит страх, и — что̀ всего ужаснее — страх, имеющий в предмете опасность, которой величина и характер определяются только величиною и характером индивидуальных, смутно сознаваемых подозрений. Ежели когда-нибудь человек является способным быть творцом собственного индивидуального внутреннего мира, не имеющего ничего общего с миром действительным, то это именно в минуту ненависти, порождаемой ожиданием несознанных опасностей. Все, до чего не дозрел и не додумался ум, представляется исполненным угрозы, а так

как область этого недодуманного почти безгранична и нет в виду даже эмпирических указаний, которые помогли бы отыскать какие-нибудь светящиеся точки в этом темном пространстве, то всякий новый шаг приводит за собой только новое беспокойство, без надежды на умиротворение вскую мятущегося духа. Метать громы нужно, а в кого и во имя чего следует их метать — неизвестно. Что̀ ж остается? — остается метать их, во-первых, во имя темных предчувствий, о чем-то подсказывающих, но ничего ясно не говорящих, и, во-вторых, метать их наугад в расстилающееся впереди пространство, не зная, правые или виноватые сделаются их жертвою...

Предположите, например, что корень доктрины, навлекшей на себя подозрение, кроется в естествознании. Покуда эта отрасль человеческих знаний стояла особняком, покуда влияние ее на общий строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то заповедная область волшебств и секретов, в которую никто близко не всматривался, полагая, что действительный мир с его горестями, превратностями и нуждами — сам по себе, а мир чудес, составляющий предмет естественных наук,— сам по себе. И вдруг завеса, разделявшая оба эти мира, падает, и — что̀ всего неожиданнее — одновременно с этим падением происходит и перетасовка названий, которые дотоле присвоивала мирам рутина. Действительный мир оказывается миром чудес, мир чудес — действительным, существующим и обращающимся в силу естественных и совершенно вразумительных законов. Такое открытие (особливо если оно сопряжено с обобщениями и критикою воззрений, служивших дотоле отправными пунктами для человеческой деятельности) может для многих показаться чересчур смелым и даже экстравагантным. Оно противоречит всем историческим наслоениям; оно указывает для умственной деятельности человека совсем другие центры; оно предлагает жизнь сначала. Со всем этим примириться нелегко, но как же убедить людей, что два мира, стоявшие доселе друг от друга отдельно, так и должны оставаться до конца веков особняком? Где взять доказательств для поддержания этой темы? — Увы! мы все, прогрессисты, консерваторы и ретрограды,— все мы с головы до ног эмпирики, знающие только предание, а никак не доказательства! Мы умеем только ненавидеть, а во имя чего ненавидим — даже самим себе отчета в том отдать не можем!

Правильно или неправильно подвергаются нападкам так называемые «отрицатели» — здесь разрешать не место. Но, во всяком случае, в этой странной борьбе замечателен тот факт, что одни борются, не зная, во имя чего, другие — терпят борьбу, не зная, за что. В результате: приостановка жизнен-

ного движения, смешение формы с делом и полное господство процесса устранения над процессом творчества.

Как ни мало существенно само по себе мундирное творчество, но и оно может принести пользу. Если б люди были искренно ему преданны, то они, по крайней мере, проникались бы благоволением и к другим ремеслам и занятиям, признавали бы более или менее близкую солидарность их и, исходя из этого убеждения, изгнали бы из сердец своих семена вражды и ненависти. Изобретатель новых воротников подал бы руку химику, потому что последний может объяснить наилучший способ золочения; изобретатель новых ботфортов простер бы братские объятия мозольному оператору, потому что последний может дать благой совет, какая форма сапога может предохранить от мозолей. И вот на земле осуществился бы рай, в котором никто никому не мешал бы делать дело, а каждый каждому оказывал бы помощь и содействие.

Распря неведомо за что̀ затемняет смысл первоначальных задач и даже устраняет их из арены жизни. Сверх того, она истощает силы общества в занятии в высшей степени непроизводительном. Предположите в этом обществе, столь охотно предающемся безумной отваге, минуту отрезвления и спросите его: что̀ ты сделало? чем ты ознаменовало свое вступление на новый путь? «Я дралось!» — ответит оно, и бог знает сколько горечи прозвучит для него в этом правдивом и им самим данном ответе.

Но горечь была бы еще спасительною, ибо в ней есть признак возврата, а в возврате всегда заключается возможность выхода более или менее благоприятного. В большей части случаев бессознательно дерущееся общество и затем продолжает драться с тою же бессознательностью, как и прежде, не отрезвляясь и не отвечая ни на какие вопросы до тех пор, пока весь воздух не преисполнится пылью и прахом.

Здесь да позволено мне будет небольшое отступление по поводу так называемых прогрессистов.

Это народ очень загадочный, совмещающий с чувствительностью души и слезливостью в голосе непреодолимую страсть к «куску».

Они постоянно скорбят и постоянно выставляют себя последним убежищем, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что чего-то очень хорошего.

Обыкновенно они рекомендуют себя следующим образом:

— Не обвиняйте нас! Мы не всё можем, что желаем! если

бы вы знали, что̀ нам стоит отстоять самую малую часть добра, к которому мы стремимся, вы оценили бы наши усилия, вы отдали бы полную справедливость нашему самоотвержению!

Или:

— Поберегите нас! Мы последнее ваше убежище! Не будь нас — и то малое, что̀ вы видите еще уцелевшим, погибло бы без возврата! Мы не можем действовать определеннее, потому что в таком случае должны были бы совсем отказаться от деятельной роли! Посудите сами, полезно ли это будет даже в ваших интересах!

Голос взволнован, жест прост и задушевен, вся глубина чувства так и просится наружу, а если к этому присовокупить белейшее и тончайшее белье, безукоризненно сшитую одежду, прекрасные руки и проч., то действие получится поистине неотразимое.

Странники моря житейского так и льнут к прогрессистам, особливо в минуты постигающих их несчастий. И действительно, никто не сумеет так утешить, сказать сочувственное слово, показать вдали перспективы.

— Когда наступит удобный момент... будьте уверены... а между тем призовите на помощь ваше мужество... все к лучшему... несчастие отрезвляет... сознайтесь, что и отрезвления не всегда лишни... за всем тем, когда момент настанет, и т. д.

Странник моря житейского возвращается домой утешенный, окрыленный. Он даже и рассуждать начинает как-то дерзко. Что̀ такое это «несчастие», которое за минуту перед тем приводило его в смущение? Это миф, это сон, это прах, для исчезновения которого достаточно было одного дуновения прекрасного прогрессиста! Это греза давно минувших времен, которая едва-едва брезжится вдалеке! Дух его не только не упал, но окреп еще больше, нежели до «несчастия»! Он начинает строить планы; он верит в будущее, надеется выиграть двести тысяч, даже не обладая ни одним билетом выигрышного займа...

Но проходит момент за моментом, а будущее все ускользает да ускользает из рук. «Несчастие» не брезжится где-то вдалеке, а глядит прямо в глаза и с каждой минутой все суровее и суровее. Чем легче окрылялись надежды, тем легче они гаснут. Скверное сочетание легковерия и беспомощности представляется во всей наготе.

— О, прогрессисты! — восклицает в отчаянии бедный странник моря житейского.

Увы! он не прав только тем, что с этого восклицания ему следовало бы начать, а не кончать им.

Прогрессист — такой же идеолог, как и консерватор или ретроград, и душа его так же мало откликается на дело, как и душа самого заскорузлого ханжи-обскуранта. Какой же резон для него идти каким-то другим путем?

Никто не видал, чтобы прогрессист когда-нибудь чем-нибудь поступился, чтобы он усовершенствовал свою чувствительность до того, чтобы выпустить «кусок», который он раз защемил зубами. Будучи от природы покрыт скользким веществом, он пользуется этим преимуществом, чтобы увертываться и скользить, но пользуется лишь до тех пор, пока не зайдет речь о «куске». Напоминание о «куске» производит в нем панику, а паника — целый ряд решений и действий, которым позавидовал бы огнепостояннейший из ретроградов.

Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидение между двумя стульями, и если он не испытывает невыгодных последствий этой опасности, то потому только, что, в случае надобности, он посидит как-нибудь и на весу. И должно отдать ему справедливость, он так искусно сидит на весу, что многим кажется, что так именно и следует всегда сидеть. И вот во всех сердцах зажигается удивление и созидаются алтари; из всех уст несутся гимны и песнопения. А он между тем жует да жует свой «кусок» и даже не давится им...

Памятуя стих Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман,—

он окрыляет одних и кувыркается перед другими. То есть: с одной стороны, приобретает пламень благодарных сердец, с другой — ласку и куски. Ласку он ценит плохо, но «кусок»... о! «куска» он не выпустит ни под каким видом!

Кто захочет сделать буквальное применение написанной выше картины мундирного возрождения к современному положению нашего общества, тот, конечно, впадет в немалое заблуждение. Содержание нашего общественного возрождения слишком глубоко по своим намерениям, чтоб сравнения в этом роде могли быть допущены без явной несправедливости. Но дело не в самой картине, а в том пути, которому последовала жизнь в процессе своего обновления, и в тех отрицательных результатах, к которым она привела, благодаря избранному пути. Здесь встречается уже многое, что прямо напоминает пути и результаты, изображенные выше.

Источники замутились, задачи утратили первоначальный смысл; в результате — приостановка жизни, равнодушие, почти

оцепенение. Всякий, кто отдаст себе серьезный отчет в том, что̀ происходит кругом него, должен будет сознаться, что трудно представить жизнь, более сдавленную гнетом собственной вялости и бедности стремлений и идеалов.

Недавно мы были свидетелями периода довольно оживленного, который многими назывался периодом брожения. Были у нас и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенели, вторые балансировали, третьи огрызались. Производился обмен мыслей, ставился вопрос: дозрели мы или не дозрели — и мгновения незаметно летели за мгновениями. Очень возможно, что весь этот переполох не заключал в себе существенного содержания, что он представлял собой легкомысленное щебетанье снегирей, насвистанных с чужого голоса, но, во всяком случае, лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая так, кажется, и гласит: сии люди погибли для радостей. Теперь даже этого внешнего оживления незаметно. Нет ни прогрессистов, ни консерваторов, ни ретроградов, потому что россияне утратили самый вкус к мундирам и никто не может сказать ничего положительного насчет того, какого ему шитья хочется.

А между тем наступило время сеяния; зерна по земле рассыпано множество, а инде даже и молодые всходы пробиваются. Современный человек видит и это сеянье, и эти всходы, по временам останавливается перед ними и даже произносит сочувственное или неодобрительное слово. Но стоит прислушаться к этому слову, чтобы убедиться, что в нем нет ни одной живой и ясной ноты. Тут звучит и неумелость, и легкомысленная голословность, и завещанная преданием заученность — все, кроме страстности и сознания личной прикосновенности к делу сеяния. «Не мое дело, мне как бы вот день прожить»,— говорит всяк и каждый. Одно за другим проходят явления, которым, по всем видимостям, следовало бы захватить самые жизненные основы общества... ничуть не бывало! ничто ничего не захватывает, ничто ничего не вызывает наружу! По поводу явления самого решительного литература испустит обычное формально-лирическое бормотание, уличная же публика вяло перекинется двумя-тремя бессодержательными вопросами и вяло же разбредется по домам, чтобы там предаться вялым размышлениям...

Как скоро все это стихло, потухло, стушевалось! Что̀ ни говорите, а эта быстрота утомления — признак очень сомнительный. Не в том опасность, что скоро потухло и стихло брожение, которому мы были свидетелями,— бог с ним, с этим брожением! — а в том, что быстрота утомления делается как бы регулятором жизни. Стало быть, впереди видится нечто

очень малое, ежели общество не трепещет, не напрягает сил, не самоотвергается, не впадает в ошибки, а только глядит в одну случайно попавшуюся на глаза точку и думает: «ах, кабы совсем этих сеяний не было!»

Говорят, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, брожение улеглось, колебания выяснились. Солидные люди усматривают задатки так называемого трезвого отношения к жизни и пророчат нечто прочное, осмотрительное, неторопливое. Но качества этой трезвости более чем сомнительны. Это безвкусная, бессодержательная трезвость, которая граничит с полным упадком сил. Как ни наянливо было наше недавнее озлобление против запросов жизни, как ни мелочны были формы, в которых оно выражалось,— приходится пожалеть и о нем. И там было нечто, свидетельствовавшее, что пульс не перестал еще биться, и там была возможность поступков, а следовательно, и возможность поправок, возвратов, раскаяний. И вдруг — пустое место. Одно чувство господствует и одолевает: чувство пустоты, чувство ненужности. У всех на языке одна фраза: надо дело делать, и у всех же в голове одна мысль: «ах, кабы меня бог помиловал!» Все окоченело и сосредоточилось на одной мысли: как бы подцепить грош и прожить насущный день. Не чувство жизни горит в человеке, а коптит и чадит в нем чувство самого грошового самосохранения. И жить незачем, и умереть страшно. Не потому страшно, чтоб пугали сновидения:

Умереть — уснуть...—

а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое решение для них недоступно. Человек не живет и не умирает, а перебрасывает самого себя изо дня в день без всякого участия личного творчества.

Горечь отдельных фактов не возбуждает в нас ни симпатии, ни отголоска; наплыв случайности не вызывает нашего гнева; разрозненность явлений, отсутствие связного представления об общем строе жизни, перерывы, провалы, колебания — ничто не может пробить броню равнодушия, в которую мы облеклись. «Не наше дело! — слышится со всех сторон,— довольно волнений! пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама ответит на собственные запросы свои!»

Глядя со стороны, можно подумать, что мы только что вытерпели жестокую битву и теперь зализываем свои раны.

И действительно, битва, которую мы вытерпели, была очень жестокая. Это была знаменитая в летописях битва против нигилистов, свистунов, космополитов и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачах, которые нас зани-

мали, и из бессодержательного эпизода сделали главную тему всей нашей жизни. И что̀ же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нет, не устранили, потому что и устранять, в сущности, было нечего. Приобрели ли? — нет, и не приобрели ничего, а, напротив того, все утратили. Утратили вкус к жизни, к ее интересам... и даже к ее разнообразным мундирам.

И теперь, когда поле сражения чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, посрамлены и рассеяны, мы тщетно стараемся припомнить те задачи, которые занимали и волновали нас в оное время.

— О чем бишь мы производили обмен мыслей до этой баталии? — может спросить любой из нас и наверное не получит никакого другого ответа, кроме:

— Убей бог! ничего не помню!

ГЛАВА II

Представьте себе, что в самом разгаре сеяний, которыми так обильна современная жизнь, в ту минуту, когда вы, в чаду прогресса, всего меньше рассчитываете на возможность возврата тех порядков, которые, по всем соображениям, должны окончательно кануть в вечность, вдруг откуда-то повеет чем-то старым, знакомым, отчасти даже любезным... Не без любознательности вглядываетесь вы вперед, стараясь угадать, откуда потянуло знакомыми запахами, и, к удивлению вашему, убеждаетесь, что «старое» совсем не упразднилось, но стоит совершенно бодро, что оно смотрит прямо в глаза и даже как будто иронизирует. «Старайтесь, милые, сейте! — говорит оно,— а я тем временем поревную особо». Что̀ может означать подобный факт?

Нет сомнения, что описанное выше чувство недоумения испытал всякий, кто прочел обнародованные на днях в «Московских ведомостях» результаты недавней ревизии Пермской губернии. Но в то же время не может быть сомнения и в том, что результаты эти многим уяснили многое, что дотоле проходило совершенно для них незамеченным.

Чтоб это последнее уяснение было достигнуто, стоит лишь обратиться к недавнему прошлому и спросить себя: какое значение в то время имела ревизия, подобная той, которая постигла Пермскую губернию?

Значение это у всех на памяти — это было просто-напросто обличение невозможности жить. Когда в какой-нибудь губернии жить делалось невозможно, назначалась ревизия, дабы всем ведомо было, что жить подлинно невозможно, что закон

упразднен, что место его занял даже не произвол, а просто-напросто грабеж, и что начальство, убедившись в этом, принимает меры, то есть назначает ревизию. Наряжался ревизор, который приезжал на место с полномочием вязать и решить, который выслушивал жалобы, рассматривал дела, собирал сведения о нуждах края и о том, в какой степени они оставлялись без удовлетворения, и в конце концов резюмировал свой труд так: да, действительно, жить было невозможно.

Тем не менее ревизии возбуждались не часто и, раз возбужденные, производили в обществе говор. Не то казалось удивительным, что понадобилось произвести ревизию, а то, что ревизия состоялась. Были люди (по-тогдашнему, «ябедники»), которые десятки лет вызывали ревизию и умирали, не дождавшись ее. Были другие, которые ценою неимоверных и хитросплетенных ябедничеств вызывали наконец ревизию и считали себя счастливыми даже в том случае, если ревизия ничего другого им лично не приносила, кроме высылки в другую губернию под характеристическим наименованием «ябедников», которое и оставалось за ними на всю жизнь. Это были тогдашние старатели и ревнители. В них, в искаженной и изуродованной форме, воплощалась общественная совесть. Они подвергались всевозможным поруганиям и преследованиям и все-таки продолжали свое обличительное дело. Какую роль в этом деле играл четвертак и какую — правда, разобрать довольно трудно; но, судя по тому, что вся деятельность «ябедников» была направлена исключительно против сильных мира и не окрылялась особенными надеждами на успех, можно заключить, что в ней все-таки главную роль играла скорее правда, нежели четвертак. Надо быть глубоко уязвленным в душе, надо перенести страшную массу обид и злоключений, чтобы безнадежно стучать в запертую дверь и по временам достигать даже того, что она отворялась. И ябедники стучались и выполняли свое призвание вполне добросовестно, хотя им, конечно, небезызвестно было, что жить в мире с властями все-таки выгоднее, нежели вопиять против них к небу...

Почему ревизии назначались лишь в самых исключительных и редких случаях? На это было очень много причин. Во-первых, всякая ревизия сопрягается с обличениями, не всегда удобными, и преждевременно возбуждает вопрос о невозможности жить в такой среде, где эта невозможность, того гляди, еще не вполне созрела. Требуются своего рода проницательность и такт, которые предотвращали бы пагубные смешения между подлинною невозможностью и невозможностью так себе... может быть, просто с жиру. Не надо забывать,

что возможность жить далеко не во всех случаях измеряется действительною стоимостью тех жизненных благ, которыми пользуется человек; напротив того, очень часто мерилом ее служит лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченного на жизнь. Один говорит: «меня хоть на куски режь, я и тогда жив буду!» Другой идет дальше и считает жизнь невыносимою даже в том случае, когда его незаслуженно называют курицыным сыном. Третий идет еще дальше и говорит: «заслужил или не заслужил я название курицына сына, все-таки не смей меня так называть, потому что в противном случае жизнь сделается для меня невозможною». Ясно, что здесь первый человек понимает «возможность жить» шире, нежели второй; второй — шире, нежели третий. Стало быть, весь вопрос заключается в том, удобно ли суживать подобные понятия прежде, нежели сама практика укажет на необходимость подобного сужения? А ревизия именно производит это сужение, ибо, подвергая своему анализу вопрос о неудобствах, сопряженных с невозможностью жить, она тем самым возбуждает и другой, более деликатный вопрос: об удобствах, сопряженных с возможностью жить. Мудрость веков всегда отвечала на все эти вопросы отрицательно, то есть что не следует поднимать исследований о том, как живется, до тех пор, покуда кое-как живется. И действительно, сообразно с этим извечным правилом, все ревизии, то есть исследования, предпринимались не прежде того, как возможность жить прекращалась в самом широком смысле, то есть тогда, когда люди останавливались даже перед изречением: «режь меня на куски!» — и когда при том в прекращении жизни совершенно ни для кого не оставалось никакого сомнения. Если бы не было этого благоразумного правила, в притязания к жизни непременно вторглось бы смешение, а быть может, даже и прихотливость. Переходы из первого разряда во второй, из второго в третий были бы не редкостью, и притом переходы произвольные, возмутительные. Иной смог бы еще множество лет оставаться твердым в бедствиях, а тут, видя со стороны начальства потачку, возьмет да и babprихотничает. «А сем-ка,— скажет он себе,— и я доложу, что мне жить невозможно». И не только доложит, но даже представит несомненные тому доказательства. И таким образом вдруг откроется, что множество людей жило (а может быть, и еще несчетное число лет жить бы могло), и вот теперь, благодаря ревизии, начинает вдруг ощущать, что божий мир не мил. И доказывает это такими фактами, перед которыми совесть молчит.

Другая причина, обусловливавшая редкость ревизий, заключалась в том, что ревизия, возбуждая вопрос о праве на

жизнь, косвенным образом служила причиною прекращения даже той доли жизни, которая известна под именем отправления текущих дел и которая, несмотря на злоупотребления, все-таки кое-как плелась. Читатель, который был свидетелем перепохолов, производимых ревизией, поймет, что̀ мы хотим сказать. Перед глазами его воскреснет вся лихорадочная обстановка, которая, при первой же вести о ревизии, вдруг водворяется в целом крае и характеризуется одним словом: трепет. Трепет этот отнюдь не составляет частного явления, к которому можно было бы применить классическое выражение французов: que les méchants tremblent, que les bons se rassurent![1] Нет, тут, по недоразумению, трепещут все: и злые и добрые. Злые трепещут потому, что им рядом несомненных фактов доказано будет, что действия их имели результатом невозможность жить. Добрые трепещут потому, что сомневаются, будут ли признаны вполне достаточными те доказательства невозможности жить, которые они намереваются предъявить. Но, сверх того, есть и еще множество разнообразнейших причин, производящих трепет. Одни трепещут по преданию, другие — оттого, что в первый раз встречаются лицом к лицу с чрезмерно блестящим мундиром, третьи — оттого, что их подавляет осанка, голос и т. д. Но когда человека объемлет трепет (хотя бы и неосновательный), то он, очевидно, не только не может быть благополучен, но даже просто-напросто оказывается вне всякой возможности заниматься обычным, будничным своим делом. Вместо того чтоб торговать, печь пироги, возделывать землю, он трепещет; вместо того чтоб писать решение о том, сколько кому отпустить надлежит, он трепещет. Все трепещут: и жалобщики, и те, на которых приносятся жалобы.

Лица, на которых жалуются, суть те самые, на обязанности которых лежит отправление дел. Как только пройдет слух о ревизии, так тотчас же они оставляют всякие попечения о делопроизводстве, начинают служить молебны, вынимать заздравные просвиры и беседовать с собственною совестью. Наступает эпоха угрызений; из тьмы прошлого выделяются призраки. Неподлежательно высеченные части тела, неподлежательно взятые гривенники так и мечутся в глаза со всею обстановкою, при которой первые были высечены, а вторые взяты. И все это надобно объяснить так, чтоб ревизующий понял, что тут нет ничего, кроме невинности, и что не только не было невозможности жить, но был рай. А объяснить это

---

[1] пусть злые дрожат, пусть добрые ободрятся!

очень трудно, потому что ревизор, испуганный массою воплей и жалоб, делается придирчив и не довольствуется полураем, но требует доказательств, что рай был точь-в-точь такой, какой существовал древле на берегу Евфрата и Тигра. Это требование до такой степени чрезмерно, и ревизуемый чиновник чувствует себя до того подавленным им, что не может содержать в голове своей никакой другой мысли, кроме мысли о необходимости сделать себя белее снега, и затем ко всем напоминаниям текущей жизни (которые все-таки не прекращаются и удовлетворение которых лежит на том же ревизуемом чиновнике, независимо от ревизии) относится не только равнодушно, но с явным нетерпением и досадой. «Подождите!», «не до вас!» — вот единственные ответы, возможные при подобном всеобщем переполохе. И ежели дотоле правосудие отправлялось неправо и медленно, то теперь не отправляется никакого правосудия: ни правого, ни неправого, ни скорого, ни нескорого. Бегут, являются, объясняются, собирают справки, запираются, докладывают и облыжно и взаправду — словом, делают все, кроме дела, кроме даже той крохотной части дела, которая делалась до тех пор...

Какими ущербами отражается подобный переполох на сословии жалобщиков — это известно единому богу. Но горечь их разочарования должна быть сильнее уже по тому одному, что самый взгляд их на свойства и результаты ревизий в высшей степени своеобразен. Наука администрации говорит: всякое административное действие сперва пускает корни, потом идет в штамб, потом производит цветы и, наконец, плоды; но они, то есть жалобщики, совсем не понимают этой истины. Им, по невежеству, кажется, что у всякого ревизора полны карманы плодов и что, следовательно, все их жалобы, как прошедшие, так и настоящие, должны быть удовлетворены немедленно, в ту самую минуту, как появится на горизонте ревизор...

Наконец, третья причина, вследствие которой ревизия предпринималась лишь в крайних случаях, заключалась в тех инстинктах роскоши и всяких излишеств, которые как-то фаталистически пробуждались в ревизуемой местности при первой вести о приближении ревизора. Под видом чествования ревизора предпринимался целый ряд волшебнейших объедений, бледные примеры которых можно встретить только во время дворянских выборов. Балы следовали за балами, обеды за обедами. Женщины сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; мужчины явственно проводили идею о супружеской снисходительности. Нынче, конечно, все это поизменилось, потому что и мошна стала потощее, да и

самые провинности не настолько крупны, чтоб требовать искупления в форме непрерывного обжорства; но существовало время — и оно недалеко,— когда упомянутые выше волшебства были истиною. Существует предание, что в одной губернии была даже выписана из соседней губернии дама, славившаяся своей любезностью и красотою, с специальною целью увеселять ревизора и смягчать его нравы...

Но, как ни вески описанные выше неудобства, ревизии все-таки назначались, потому что не было иного средства устранить распространение невозможности жить. А распространение это от времени до времени высказывалось с такою рельефностью, что изумляло даже людей, и не легко поддающихся чувству удивления...

Что̀ же означала эта невозможность жить? что̀ это было за явление? что̀ поддерживало и питало его?

Существует мнение, что невозможность жить есть признак такого общественного строя, в котором обязательная сила закона находится в зависимости не от большей или меньшей ясности заключающихся в нем предписаний, а от применений и толкований, которые являются обыкновенно независимо от закона, со стороны, и которые ни предвидеть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Справедливость этого мнения едва ли кто-нибудь будет отрицать. Нет никакого сомнения, что если не все благополучие человека, то, по крайней мере, весьма значительная часть его зависит от прочности и вразумительности его отношений к требованиям закона. Внутреннее содержание закона само по себе может оказывать не всегда выгодное влияние на судьбу человека — это так; но ежели оно однажды объявлено обязательным, то остается одно из двух: или устраивать жизнь таким образом, чтобы не впадать в противоречие с законом, или протестовать против приносимых им стеснений на свой собственный риск. Во всяком случае, здесь всего важнее, чтобы человек мог вполне ясно и определительно отдать себе отчет, чему надлежит подчиняться или против чего протестовать. Если это условие не соблюдено, он лишается даже возможности подчиняться.

Предположите себе, например, существование такого несуществующего закона, который обязывал бы обозчиков сворачивать с дорожной колеи в сугроб в виду грядущего навстречу исправника. Как ни стеснителен этот закон, но, ввиду его совершенной ясности и обязательности, обозчику предстояло бы: или оставаться дома, дабы не подвергать себя встрече с исправником, или заранее подчиниться сворачиванию в сугроб, или же, наконец, не оставаться дома и не сворачивать, рискуя подвергнуть себя всем карам, за несворачи-

вание в сугроб установленным. Чтò может быть яснее и вразумительнее такого положения? Но оно разом утрачивает свою вразумительность, как скоро требование о сворачивании предъявляется не законом, а каким-то частным толкованием, о котором нельзя даже определительно сказать, откуда и при каких условиях оно выходит. Толкования этого рода имеют то неудобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклонности и вкусы самих толкователей. В одном месте провинившихся обозчиков раскладывают на снегу и тут же секут; в другом, за то же преступление, тут же бьют по зубам; в третьем — загоняют в ближайшую сельскую расправу и там арестуют на день, на два и т. д. Очевидно, что здесь не только признаки преступления являются неудобопредвидимыми, но и самая кара, вызываемая неисполнением внезапно возникшего толкования, принимает формы прихотливые или, лучше сказать, сочиненные в ту самую минуту, в которую сочинено и самое толкование. Возможно ли при таких условиях жить, то есть предусматривать завтрашний день, обеспечивать свою спину, делать сбережения, предпринимать операции и проч.? — ответ на этот вопрос пусть подскажет собственное благоразумие читателя.

Когда человек приступает к возделыванию земли или предпринимает торговый оборот и т. д., он заранее рассчитывает последствия как выгодные, так и невыгодные, которые может привести за собой его предприятие. И сообразно с этими расчетами приготовляется к встрече этих последствий. Но когда он выходит из дома в гости и не в состоянии заранее определить себе, какого рода сплетение обстоятельств может привести его, вместо гостей, в кутузку, то ясно, что он должен себя чувствовать вполне свободным от каких бы то ни было расчетов и предвидений. И не только он, но и соседи, и присные его тоже освобождены от расчетов. N вышел из дома и не возвращается — никто не пробует даже отыскивать причину этого отсутствия, но все говорят просто: «должно быть, с исправником на дороге встретился».

Какая польза рассчитывать, когда область, открытая для расчетов, до того безгранична и темна, что нельзя найти в ней ни одного ясного отправного пункта, и когда при этом на всяком месте идет непрерывное сочинение толкований, которых ни под каким видом предусмотреть невозможно? Такого рода положение вещей свидетельствовало не о случайной только бесконтрольности, но о целой системе, в которой бесконтрольность являлась господствующим началом. И вот, для того чтоб была хоть тень контроля, предпринимались внезапные ревизии, начальственные погромы и т. д.

Что погромы совершали свое дело удовлетворительно — этого отрицать нельзя. Долго после того чиновники ходили смирные, ласковые, шелковые, как будто их коснулась благодать. Но существо бюрократии нимало от этого не изменялось, потому что возможность внезапных толкований и сочинений оставалась за нею всецело. И ежели некоторое время по совершении погрома толкования производились в смысле благожелательном, то не было ручательства, чтоб в срок более или менее непродолжительный эта благожелательность не оттенилась красками очень сомнительного свойства.

Погром обличал язвы, накоплявшиеся десятками лет; но засим следовали новые десятки лет, в продолжение которых опять предстояло обширное поприще для всякого рода накоплений...

Таково было значение ревизий в недавнем прошлом, и такова была непрочность достигаемых ими результатов.

В нынешнем году минет десять лет со времени первой и притом важнейшей реформы в ряду тех, которые ознаменовали настоящее царствование. Существенное значение этих реформ заключалось именно в устранении возможности тех произвольных применений и толкований, которые ничего другого не производили, кроме невозможности жить. После крестьянской реформы, легшей в основание всех дальнейших успехов нашей жизни, мы увидели реформу судебную и земскую. Первая обеспечивала личность и достояние граждан, вторая полагала начало самоуправлению, то есть контролю более прочному, нежели тот, который достигался с помощью ревизий и начальственных погромов. Надобно было обладать скептицизмом самым отчаянным, чтобы предполагать, что при столь плодотворных задатках может повториться такое изумительное явление, как невозможность жить, и притом повториться с теми же самыми признаками, которые характеризовали его в былые времена.

А между тем явление это повторилось, и притом не где-нибудь в завоеванном крае, где ревность не по разуму может найти толкователей, опирающихся на исключительные условия местности, а в Пермской губернии, где не слышно ни о столкновениях различных национальностей, ни о возбуждении пагубных страстей, ни о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемый г. академиком Безобразовым, но, по неясности признаков, до сих пор в уголовный кодекс не внесенный). В эту благодатную страну ездят наши департаментские экономисты для обнаружения богатств, скрывающихся в недрах земли, и возвращаются оттуда, полные волшебных снов о реках, текущих

млеком и медом, о горах, изобилующих златом и самоцветными камнями, о вековых лесах, в которых кишат всевозможные звери и птицы, и т. д.

И в этой-то волшебной стране вдруг оказалась невозможность жить!

Это невероятно, но это так. Мало того что упомянутая невозможность жить существовала здесь в самом широком смысле, но — что̀ всего замечательнее — условия общественного строя не указали иного способа устранить эту невозможность, кроме того, который существовал уже во времена дореформенные. А между тем все реформы в ходу: реформы, ограждающие личность и достояние граждан, реформы, привлекающие общественное мнение к участию в общественном контроле, реформы, освобождающие миллионы людей из плена, в котором они находились в течение столетий...

Что̀ сей сон значит?

Но материалы, добытые ревизией Пермской губернии и обнародованные на днях в «Московских ведомостях», до того поучительны, что читателю никак не лишне будет познакомиться с ними. Это знакомство, независимо от удовлетворения его любознательности, даст возможность сделать некоторые сопоставления, которые ни в каком случае не могут быть сочтены бесполезными.

Вот эти материалы в кратком перечне.

1) Законы, определяющие пределы действия каждого отдельного агента административно-полицейской власти, были упразднены, а на место их введены так называемые толкования, в основание которых легли смутные предчувствия и стремление предвосхитить начальственную мысль. Таким образом, то, что̀ в высших правительственных сферах существовало лишь в качестве проекта, в Пермской губернии было уже приведено в исполнение.

2) Цель, к которой стремились эти толкования, заключалась в том, чтобы как можно более усилить единоличную власть представителей центрального управления и как можно более сократить и ослабить власть коллегий, представляющих препоны административному бегу.

3) В согласность с этою целью, дела из губернских присутственных мест (непосредственно подчиненных губернатору) произвольно переводились в канцелярию губернатора, а из уездных коллегий — в канцелярии исправников.

4) Приняты были меры, дабы ведомо было всем и каждому, что единоличная власть действительно усилена, а закон и всякие другие препоны действительно упразднены. В этих видах указано или допущено было: а) не следовать в точности зако-

кам об аресте обвиняемых, но, в видах спокойствия края, арестовать и при недостаточных уликах; б) не представлять сельских должностных лиц к наградам иначе, как по соглашению с исправниками; в) окружить исправников конвоем из казаков; г) возбуждать, по усмотрению полиции (или, что то же, исправника), даже такие дела, которые могут начинаться лишь в порядке частного обвинения или по заявлению духовного начальства.

Такова была теоретическая сторона этого несложного административного построения. Практическое влияние его на местные полицейские нравы обнаружилось следующими характерными, но не весьма плодотворными результатами:

1) Почувствовавши усиление власти и стремясь дать ей еще бо̀льшую прочность и значение, полицейские агенты до того увлеклись действительнейшим, по их мнению, средством упрочения, то есть сечением, что начали сечь и в одиночку, и массами, и с оттенком иронии, и серьезно. Верхотурский исправник высек одного почтсодержателя и потом на запрос губернского правления отвечал, что сечение произведено по собственному желанию пациента. Один исправник высек разом сорок человек обозчиков за то, что они не свернули перед ним с дороги. Один исправник жестоко избил нагайками двух ямщиков за то, что на лошадях их была худая сбруя. Один помощник исправника высек мещанина (изъятого, по закону, от телесного наказания) за то, что последний не хотел отпустить к нему свою шестнадцатилетнюю дочь...

2) В тех же видах, полицейские агенты производили только такие исковые дела, которые нравились их усмотрению; те же дела, которые их усмотрению не нравились, оставляли без производства. Так, по взысканию государственным банком 24 000 р. с одного богатого купца, полиция шесть лет не находила времени приступить к описи имущества должника. Подобным же или приблизительно подобным же образом поступила она и в других двух случаях, приведенных в «Московских ведомостях». Зато по иску другого купца она несколько раз захватывала металлы и механические орудия Сысертских заводов, хотя было известно, что этими металлами и орудиями обеспечивался казенный долг. Многие, быть может, подумают, что во всех этих делах примешивались и посторонние, не чуждые корысти, интересы; но так как на такое предположение нет никаких улик, то лучше всего объяснять эти действия бескорыстным желанием придать вящий блеск власти. Вот, мол, каков я: хочу — произвожу, не хочу — не произвожу!

3) В тех же видах, полицейские агенты, при возникновении жалоб на неправильность расчетов, производимых горными

заводами, разбирательств не производили, а просто-напросто обзывали жалобщиков бунтовщиками и, утвердив их в этом звании, поступали как с таковыми, то есть секли.

4) В тех же видах, аресты производились на скорую руку, так, чтобы несомненно было, что не по существу дела арестуется человек, а с целью придания власти блеска. Так, были по одному делу арестованы двое убийц, а по рассмотрении дела в суде оказалось, что даже самого факта убийства не существует. Один крестьянин, освобожденный судебным следователем, был снова посажен в тюрьму полицией. Другой крестьянин был найден в остроге заключенным неизвестно за что, когда и по какому делу.

5) В тех же видах, полицейские агенты поощряли ссылку домашним порядком. За последние три года выслано из Пермской губернии 1100 человек по приговорам обществ, «продиктованным уездными и губернскими властями», да, кроме того, административным порядком сослано около 100 человек. При этом бывали распоряжения о ссылке из-за Урала... в Москву!

6) В тех же видах, полицейские агенты вмешивались в дела сельских обществ, а именно: а) сдавали от себя подрядчикам отбывание дорожной и подводной повинности взамен отправления ее натурой; б) рассматривали мирские приговоры о сдаче питейных заведений и указывали лиц, которым кабаки должны быть сданы.

7) В тех же видах, полицейские агенты или вовсе не отвечали на запросы властей, или отвечали усилением мер упрочнения. Так, например, к верхотурскому исправнику был послан запрос по жалобе купчихи Шадриной, поданной министру внутренних дел; но исправник ничего на запрос не ответил, и дело было сочтено конченым. Другой пример еще поразительнее: при проезде великого князя Владимира Александровича уполномоченный от крестьян Каслинской волости, вместе со старшиной, подали его высочеству прошение с жалобой на неисполнение заводчиками условий и на притеснение от местных властей. За это просители просидели в тюрьме два года, так как следствие, возбужденное по поводу этого прошения, производилось не по предметам жалобы, а над подателями прошения.

Таково было влияние теории усиления единоличной власти на полицейские нравы. Что касается до влияния той же теории собственно на население губернии, то оно выразилось в следующих результатах:

1) Число уголовных преступлений в 1869 году оказалось в четыре раза больше, чем в 1867 году.

2) Из числа 65 785 человек, привлеченных за последние три

года к следствию, 30 184 человека вовсе освобождены судом, 24 376 человек оставлены в подозрении, и только одна шестая часть обвинена судом. Стало быть, пять шестых воротились домой и несомненно обогатили родные селения плодами острожной цивилизации.

3) Казенные недоимки увеличились (доказательство, что сечение не увеличивает народной производительности, а, напротив того, истощает ее), а в одном из уездов даже образовалось общество неплательщиков податей...

Вот что̀ происходило в одной из великорусских губерний в виду реформ последнего времени, вот к каким неожиданным итогам может иногда прийти жизнь.

Но итоги эти, в виду той внешней, хитросплетенной деятельности, которая кишит на каждом шагу и бьет в глаза всякому непосвященному в ее тайны не могут не возбуждать множество вопросов самого болезненного свойства. Вот некоторые из этих вопросов, которые прежде всего представляются уму:

Пермская губерния представляет ли исключение относительно незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно встретить (если поискать прилежно) и в других однородных с нею местностях, как, например, в губерниях: Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.

Где кроется источник этой незащищенности: в самой ли жизни, упорствующей в систематическом оголении существеннейших основ своих, или в чем-нибудь ином?

Отчего реформы, несомненно плодотворные, так туго входят в жизнь, что кажутся как бы стоящими совершенно особняком от действительных применений?

Отчего в жизни нет широкого основания, которое одно может сообщить характер правды и действительности всем отдельным попыткам, делаемым во имя ее освобождения?

Отчего эти попытки имеют характер разбросанности?

Откуда, наконец, эта апатия, которая поражает всякого при самом поверхностном взгляде на русское общество и о которой было достаточно говорено в предыдущей нашей статье?

Где же итоги?

Все это такие вопросы, на которые несомненно ответит будущее.

ГЛАВА III

Ежели существует способ проверить степень развития общества или, по крайней мере, его способность к развитию, то, конечно, этот способ заключается в уяснении тех идеалов,

которыми общество руководится в данный исторический момент. Чему симпатизирует общество? чего оно желает? к чему стремится его мысль? — вот вопросы, которых разрешение с первого же раза становится обязательным для историка и исследователя общественной жизни, так как только на нем, на этом разрешении, могут быть основаны все дальнейшие приговоры и оценки. И благо тем обществам, которые хоть какой-нибудь ответ дают на эти вопросы; недобро тем, которые никакого ответа на них дать не могут.

Прежде всего, именно нужен ответ. Предположите общество, следующее в своем развитии самому ложному пути, общество, признающее своим идеалом обеспечение прав меньшинства ценою бесправности масс,— вы, конечно, будете вправе сказать, что этот идеал неудовлетворителен и даже опасен, но в то же время вы все-таки должны будете сознаться, что перед вами стоит не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убеждения и понимать силу и последствия своих поступков. Тут есть возможность для порицания, для опровержений и споров, а следовательно, и для оценки. Но предположите такое общество, которое не свидетельствует ни о правильном, ни о ложном развитии, которое просто-напросто представляет массу бродячих элементов, не знающую никаких идеалов и в то же время настолько компактную, что в смысле орудия она может оказывать действие очень решительное,— и вы наверное скажете, что это общество или совсем безнадежное, или такое, которое не вышло еще из доисторической эпохи своего существования.

Чтоб убедиться в правильности этого приговора, стоит только оглядеться кругом себя и попристальнее вникнуть в ежедневную практику личных отношений. Какие люди представляются на практике самыми бесполезными? — это люди, которые не имеют ясного отправного пункта для оценки требований жизни и определения своих отношений к ней. С какими людьми сношения принимают не только бессодержательный, но даже просто невыносимый характер? — опять-таки с теми же, живущими бессознательною жизнью, людьми. Наконец, каких людей всего более есть основание опасаться? — и тут прежде всего бросаются в глаза те вялые и бесцветные субъекты, движения которых ничем не обусловливаются, кроме вспышек темперамента. Человеку, который бродит, не видя перед собой цели и не зная, куда он прибредет, невозможно доверить никакого общественного интереса. С человеком, который не в силах ничего сказать, нельзя иметь не только действительного обмена мыслей, но даже и такого, к которому

было в обычае приглашать поголовно всех гулящих русских людей в памятную для нас эпоху всероссийского либерализма. На человека, который представляет собою пустое место, не только нельзя возлагать упований, но даже остеречься от него трудно, потому что никто не может определить, что̀ заползет в эту пустоту и что̀ из нее выйдет, приветственный ли звук, или змеиное шипение, или просто дурацкое мычание. Тут все загадка, и притом такая, на разрешение которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самые антипатичные друг другу убеждения могут иметь общую почву — почву разума, заблуждающегося или идущего верно; но при встрече убеждения с отсутствием такового возможность общей почвы исчезает совершенно, и человеку убежденному, очутившемуся среди людей, не тронутых сознанием, остается только умолкнуть, предаться физиологическим отправлениям и выжидать, что̀ будет дальше...

Таким образом, вопрос об общественных симпатиях и идеалах выдвигается сам собою и становится единственным исходным пунктом для правильного формулирования всех последующих суждений и оценок.

К сожалению, не далее как по поводу французско-прусской войны мы видели очень резкий и замечательный пример практического бессилия общественных симпатий. Что общественное мнение наше довольно живо интересовалось этим громадным историческим фактом — это может засвидетельствовать каждый, переживший семь месяцев, в продолжение которых длилась война. Можно, пожалуй, засвидетельствовать даже, что общий тон симпатий был правильный и что бесчисленные иксы и зеты, встречаясь друг с другом на улице, рассуждали о текущих событиях очень умно и «отрадно». Но какую же силу может иметь подобное свидетельство? оставляет ли оно по себе следы настолько прочные, чтобы история могла сослаться на него и вывести из него вполне достоверные заключения? Ответ на эти вопросы, кажется, не подлежит сомнению: нет, никакой силы подобное свидетельство не имеет, ибо в основании его лежит не практический факт, а только личные наблюдения и оценки. Для очевидцев-современников еще может быть несомненным, что русское общество в данную минуту жило под влиянием известных интересов, что оно горячо принимало их к сердцу и волновалось ими; но ведь историк убеждается в жизненности того или другого явления лишь тогда, когда в основании его найдет практический факт. Для современников еще есть возможность привести в некоторый порядок массу встречных мнений и толков, имеющих ход на улице, и даже определить довольно верно, в ка-

кую сторону клонились общественные симпатии; но для истории и тут не может быть ясного просвета, потому что она имеет дело лишь с голословным преданием, которого не в состоянии очистить от случайных примесей. Положим, что, кроме предания, имеется еще свидетельство органов русской мысли и слова, но, говоря по совести, это последнее свидетельство скорее говорит в пользу бессилия, нежели силы наших общественных симпатий. Ведь дело не в том, как мыслили об известном предмете X. или Z. или что говорилось об этом в таком-то литературном органе, а в том, как влияли эти мнения на общий установ жизни. Как влияли? — никак. Кого они поддержали и ободрили? — никого. Что же может сказать история в виду подобной безрезультатности общественных симпатий? — Очевидно, она может сказать одно: есть повод думать, что в данную минуту в таком-то вопросе симпатии русского общества склонялись в пользу такой-то стороны; но были ли эти симпатии сознательны или же они представляли лишь плод легкомыслия — этого определить невозможно, потому что никаких практических последствий господствовавшего в то время сочувственного движения — по документам не оказалось.

Между тем едва ли кто будет отрицать, что для нас вопрос о торжестве той или другой стороны в упомянутой выше распре есть вопрос существенной важности. И притом не только с точки зрения общечеловеческих интересов, которые тут замешаны и которых понимание, быть может, не для всех доступно (а для общества, мимоходом сказать, они-то всего и важнее), но и с точки зрения политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И общество наше чувствовало это и понимало, что между будущими политическими судьбами России и тем или другим разрешением франко-германского вопроса имеется связь очень существенная. Очевидцы-современники могут засвидетельствовать, что в течение семи месяцев наш воздух был буквально насыщен проектами всевозможных союзов, наступательных и оборонительных войн, трактатов и т. д. Но для истории это движение, несмотря на свою несомненность, все-таки должно остаться загадкой, по той простой причине, что совершенно невозможно объяснить себе, почему движение, по-видимому, сильное, так и осталось движением и, несмотря на жизненность своей подкладки, не оказало никакого практического давления. И волею-неволею она должна будет заключить, что русское общество переживало времена доисторические, к которым никакие оценки неприменимы.

Впрочем, о французско-германской распре можно еще сказать (хотя и совершенно несправедливо), что это вопрос для нас посторонний; но сколько же есть так называемых внутренних вопросов, которых близости никто не может отвергнуть и в которых тяготение общественного мнения чувствуется столь же слабо, как и в вопросе французско-германском. Возьмем для примера хоть вопрос о классическом и реальном образовании. По-видимому, здесь вторжение общественного мнения выразилось несколько назойливее, нежели в других случаях (превосходство реального образования доказывалось даже самоубийствами); но чего же в конце концов добилось общество, кроме горького сознания своей назойливости и совершенной ее бесплодности?

Предположим, однако ж, что все эти симпатии и антипатии представляют в жизни общества нечто эпизодическое, что оно независимо от них может разрабатывать известные исторические задачи, имеющие значение абсолютное, а не преходящее. Как ни мало вразумительно это разграничение абсолютного и условного в применении к общественному организму, но допустим даже бессмыслицу, согласимся на минуту, что общество может достигать известных целей в будущем, даже и в том случае, когда оно на каждом шагу противоречит этим целям в настоящем и делает все возможное, чтоб подорвать их,— все-таки прежде всего приходится разрешить вопрос: в чем же заключаются эти цели будущего? чего желает общество? К чему стремится его интимная мысль?

Но здесь мы больше, чем где-либо, вступаем в область догадок и недоумений. Навстречу нам восстает целая масса так называемых задач будущего; но эта масса, к сожалению, сплошь состоит из одних общих мест, и даже не из общих мест, а просто из отрывочных звуков. Одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь»; четвертые, наконец, даже не дают себе труда порыться в лексиконе, а просто-напросто сулят слово новое, неслыханное. Какие возможны практические применения для всех этих загадочных определений? И ежели даже отложить в сторону вопрос о применениях насущных, если представить себе, что общество обязано терпеливо выносить временные невзгоды и неудобства в виду грядущих идеалов, то какой же идеал может осуществить собой, например, «смирение»? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себе целью подобный идеал?

«Смирение» приводится здесь потому, что оно все-таки представляет идеал более практический, нежели, например,

«цельность», «любовь», «новое слово» и т. п. «Смирение» не без примеров в прошлом, а при известной сумме усилий к нему можно, пожалуй, прийти и в будущем. Самое совершенное, практическое применение этого идеала было уже осуществлено историей в крепостном праве; но ежели вглядеться в это явление попристальнее, то окажется, что даже в его основе лежало не столько смирение, сколько принуждение. Смирение было лишь исходным пунктом, из которого впоследствии распустилось пышным цветком крепостное право; но поддерживалось и питалось оно исключительно принуждением. Если б это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопрос об упразднении крепостного права, ибо смирение есть вещь, которая никогда никому не возбранялась, да и возбранять ее выгоды нет. Но дело в том, что смирение ни во что другое не может развиться, как только в крепостное право; а следовательно, ежели вновь возвести его на степень общественного идеала, то придется опять быть свидетелем нарождения крепостного права, а затем и опять хлопотать об его упразднении. Сколько переполохов, хлопот, экзекуций! Во имя чего? — не во имя того, чтобы впоследствии иметь право сказать: этих людей секли, дабы они умели пользоваться дарами свободы и насладились плодами материального и нравственного обеспечения, а для того, чтобы сказать: этих людей секли, дабы они были смиренными. Что ж дальше? Какие практические последствия этого идеала, кроме всеобщего обезличения и обнищания? Стоит ли хлопотать из-за этого?

Но не в том еще дело, что идеалы, на которые указывает общественное мнение и литература, негодны, а в том, что ежели, например, говорят, что задача русского общества заключается в осуществлении «цельности» жизни, то вопрос: в чем же состоит задача русского общества? — все-таки остается открытым. Подобного признака история не только не может принять в соображение при определении стремлений и желаний общества в данную минуту, но не имеет права даже останавливаться на нем. В глазах ее это не признак, а празднословие — и ничего больше. Поэтому все, что она может сделать в виду подобных ответов,— это сказать: в такую-то эпоху русское общество, быть может, и обладало какими-либо политическими и социальными идеалами, но, за невозможностью формулировать их, ограничивалось лишь некоторыми загадочными выражениями, думая, конечно, заменить ими те конкретные представления, которые одни могут служить целью для общественных стремлений. Или, выражаясь точнее, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.

Итак, несмотря на изобилие ответов, настоящего, дельного ответа все-таки нет. Следует ли из этого заключать, что русское общество живет вовсе без желаний, без идеалов? — Само собой разумеется, что нет, ибо допустить подобное предположение значило бы допустить исключение русского общества из общечеловеческой семьи, а это было бы слишком уж опрометчиво. Мы помним даже один момент (и очень недавний), когда можно было уловить очертания наших общественных желаний и стремлений, но, к сожалению, момент этот был так короток, что не успели мы оглянуться, как очертания стерлись, а на место их снова выступили: смирение, любовь, цельность да загадочное «новое слово». То есть опять наступили времена доисторические.

Тем не менее не следует забывать, что такой момент, когда общественные желания из области бесформенности готовы были вступить на почву практическую, существовал несомненно. И на первых порах эти желания выразились очень конкретно и ясно: в упразднении крепостного права и в учреждении правильного суда. Общие места и забористого свойства слова были на время покинуты. Не было речи ни о смирении, ни о цельности, ни о любви, потому что для пустословия нет места там, где предстоит прямое практическое дело.

Какое же, однако, можно вывести отсюда заключение относительно идеалов русской жизни?

Покуда заключение может быть только следующее: что русские общественные идеалы не противоречат идеалам общечеловеческим и что они, точно так же, как и последние, лежат на реальной почве. Но в чем именно заключается полнота этих идеалов и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, например, выяснились идеалы французского общества,— это и поднесь остается загадкою.

Есть мнение довольно распространенное, которое указывает на последние успехи нашей жизни как на факт, свидетельствующий о достижении нами общественного идеала. Но, признавая всю несомненность упомянутых успехов, всю благотворность их влияния на жизнь, едва ли можно остановиться на мысли о такой их непреложности, которая позволила бы счесть прогресс завершенным. Сомнения, которые при этом возникают, совсем не плод капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекают из практики. Жизнь хороша и привольна — слова нет; но все же нельзя не сознаться, что и в этой привольной жизни кое-чего недостает. Недостает, например, возможности знать, чего мы желаем, к чему стремимся, чему симпатизируем. Допустим даже, что это требование прихотливое, но не забудем и того, что множество требований, которые счи-

тались прихотливыми относительно обществ доисторических, делались совершенно законными и естественными, как скоро те же самые общества вступали в исторический период своего существования.

Самый существенный интерес для общества заключается в познании самого себя, своих сил, симпатий и целей, а пожалуй, даже и в уяснении искомого нового слова. Это первый признак, и притом единственное прочное доказательство его действительного вступления на стезю исторической жизни. Обладаем ли этим самопознанием? и ежели обладаем, то почему же оно высказывается до того неслышно, что высказ этот не оставляет по себе никаких следов? — Покуда этот вопрос тяготеет над нами, мы едва ли будем правы, свидетельствуя во всеуслышание о нашем обновлении.

К сожалению, общество наше выдержало в прошедшем такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновления уже пресытили и утомили его. Блеснувшие на горизонте лучезарные точки ослепили; шорох, произведенный зачатками движения, оглушил. Простые просеки оно приняло за окончательную цель задачи своего существования и, прорубив их, успокоилось. Признаки этого успокоения или, лучше сказать, утомления мы увидим везде, если будем смотреть непредубежденными глазами. Да это и не удивительно, потому что приступ к делу никогда не может быть равносилен его разрешению, а деятельность, вращающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далее, никогда не удовлетворит настоятельнейшей и законнейшей потребности человека: потребности развития. Следовательно, прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сделанные уже им попытки в смысле обновления, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочет, чему симпатизирует и к чему стремится...

И вот, когда оно предложит себе этот вопрос не для шутки, когда оно серьезно сочтет себя обязанным ответить на него, тогда можно будет оценить, каков будет этот ответ и есть ли возможность видеть в нем признак действительного обновления...

ГЛАВА IV

Стало быть, ежели нет возможности формулировать, чего мы желаем, что̀ любим, к чему стремимся, и ежели притом (как это доказала ревизия Пермской губернии), несмотря на благодеяния реформ, человек, выходя из дому с твердым намерением буквально исполнять все требования закона, все-таки не может заранее определить, в каком виде воротится он

домой: высеченным или помилованным, то понятное дело, что горячиться и поднимать вопли энтузиазма не из чего.

Мы и не горячимся, но поступаем так, как бы и век нам предстояло не знать, будем ли мы высечены или помилованы.

Столь резонное отношение к суете сего мира до крайности упрощает наше положение. Оно вычеркивает из нашего лексикона множество совсем ненужных слов («ответственность», «обязанность» и т. п.); оно упраздняет всякие сомнения насчет будущего, следовательно, отгоняет от нас и заботу, эту мучительницу человека, не перестающую преследовать его с той самой минуты, как только он начинает сознавать свое положение. Мы никаких положений не сознаем, а потому ни о чем не заботимся, ничего не боимся, ни к чему не обязываемся и ни за что не отвечаем. Мы просто-напросто «благополучно почиваем».

Призовите на помощь самую крайнюю утопию и вы не найдете ничего, что могло бы сравниться с утопией, ежедневно развертывающейся перед вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь, сложившаяся так прочно, что стихии, ее составляющие, действуют с математическою точностью, не перебивая и не перевешивая друг друга, жизнь, которой русло навсегда обеспечено от изменений, жизнь без забот, с одним пением и танцами — разве это не утопия из утопий! Нас стращают именами Кабе и Фурье, нам представляют какое-то пугало в виде фаланстера, а мы спокон веку живем в фаланстере и даже не чувствуем этого! Не чувствуем, потому что к фаланстеру Фурье надо пройти через множество разнообразных общественных комбинаций, составляющих принадлежность периода цивилизации, а наш фаланстер сам подкрался к нам, помимо всяких комбинаций, и, следовательно, достался, так сказать, даром, без всякой цивилизации...

То нравственное равновесие, которое, по предположению Фурье, достигается при посредстве гармонической игры страстей, давным-давно нами достигнуто и воплощено путем гораздо кратчайшим: путем крепостного права. Не надо забывать, что хотя крепостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преследовало всякие азартные игры, но это ограничение отнюдь не исключало возможности гармонии. Страсти не играли, но взамен того регулировались, и так как регуляризация эта, для большей верности, была сосредоточена в одном лице (помещике), то весьма естественно, что для прочих членов крепостного фаланстера оставалось одно: равновесие души. Идя другим путем, вступая в храм гармонии с заднего крыльца, мы тем не менее имели полное право кичиться, что главная цель нами достигнута. Это

была действительная гармония тишины, порядка и беспечности. Об угрозах будущего не могло быть и речи, потому что когда люди уже стоят на точке нравственного равновесия, тогда им море по колена, а, следовательно, необеспеченность вполне равняется обеспеченности. Если человек совершенно уверен в необеспеченности своего завтрашнего дня, то это все равно как бы он был совершенно уверен в его обеспеченности. Уверенность — вот главное; с исчезновением ее начинается смута. Несчастие человека, стоящего между двумя фаланстерами, крепостным и гармоническим, в том собственно и заключается, что в нем уже поколебалась уверенность, что он уже может нечто подозревать и о чем-то беспокоиться. Он еще не достиг действительного нравственного равновесия, но в то же время уже вышел из состояния тела, перебрасываемого изо дня в день по прихоти ветров. Ясно, что он должен быть несчастлив и что несчастие его начинается именно с той минуты, когда ему приходится жить за свой собственный счет.

Поколебалась ли эта уверенность в современном русском обществе? На этот вопрос одни отвечают утвердительно, другие — отрицательно. Но разногласие по вопросу столь существенному уже само по себе дурной признак. Стало быть, дело это не для всех одинаково ясно, стало быть, есть в нем нечто сомнительное, коль скоро возможна не только постановка вопросов по его поводу, но и разнообразное их разрешение. Допустим даже за верное, что некоторая свобода прозревать в будущем и народилась, но если признаки этого нарождения не настолько ясны, чтоб устранить всякий повод игнорировать их, то очевидно, что решительный шаг в этом смысле — еще впереди.

Утвердительный ответ в пользу выхода из периода обеспеченной необеспеченности почти всегда исходит из лагеря наших патентованных прогрессистов. Это люди, преимущественно склонные идти вперед «в надежде славы и добра». Ретрограды и консерваторы в этих случаях обыкновенно помалчивают или коварно улыбаются.

Прогрессисты — люди восторженные и чувствительные. Уста их легко наполняются болтовнею, сердца — вздохами, глаза — слезами. По самомалейшему поводу они готовы воскликнуть: «ныне отпущаеши...», но с тем, однако ж, чтоб их не отпустили. И так как их действительно не отпускают (это в своем роде люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторженность их сердец идет все crescendo и crescendo и под конец даже не всегда остается в пределах опрятности. Начинаются бесконечные разговоры о каком-то знамени, которое следует держать твердо и бодро, и не менее бесконечные

инсинуации насчет неблагонадежных элементов, наплыв которых якобы не следует допускать...

Представьте себе дворового человека, воспитанного в суровой школе холопства, которому вдруг подарили сюртук с барского плеча,— и вы получаете ключ к разгадке той хронической пламенности, которою обуреваются наши патентованные прогрессисты. До «сюртука» дворовый человек жил своею обычною, спокойною жизнью: он чистил ножи, подавал тарелки, топил печи — и во всем этом видел не что иное, как заурядное исполнение той обязанности, которую, volens-nolens [1], он выполнить должен. И вдруг в его жизнь врывается «сюртук» и в одно мгновение ока производит волшебное превращение не только в наружном виде, но и во всем внутреннем существе дворового человека. Он не ожидал... он не был приготовлен... он даже сомневается, точно ли он достоин... А кровь так и приливает к голове, а сердце так и саднит от наплыва какого-то неведомого чувства. И вот, весь просветленный и недоумевающий, он начинает слагать гимн. Первые строфы гимна робки, а потому не вполне противоречат здравому смыслу; но чем дальше идет работа славословия, тем больше и больше опьяняется творец его, опьяняется не вином, а собственным своим просветлением. Он говорит, что душа бессмертна и что тарелку надлежит подавать с благоговением. Он не говорит, а кричит. Он называет себя червем ползущим; он свидетельствует о своем недостоинстве и произносит клятвы, которые могут опалить не совсем осторожного прохожего. От окончательного кощунства спасает его только чищение ножей, которое, к счастию, не прекращает своего действия. Оно одно приводит его в себя и предохраняет его сердце от разрыва.

Примените сейчас написанную картину к современным русским прогрессистам — и вы поймете, что эти последние тоже получили «сюртук»; а так как он был ими незаслужен, то тотчас же захмелели. Ничтожество их основных притязаний к жизни было таково, что свалившийся с неба подарок разом исчерпал все содержание их существования. В строгом смысле нельзя даже сказать, чтоб они когда-нибудь имели какие бы то ни было притязания. Они наравне с прочими подавали тарелки и только по недоразумению считали себя прикомандированными к каким-то вопросам, преимущественно же к вопросу о крепостном праве. Но в этом случае слово претило им гораздо больше, нежели самая вещь, нежели та совокупность разнообразнейших отношений, которая за этим словом скрывалась.

---

[1] хочешь — не хочешь.

Они ухитрились замежевать понятие о крепостном праве в самые тесные границы и сообщить ему чисто специальное значение, не имеющее никакой органической связи с общим строем жизни. Понятно, что при такой упрощенности запросов отвечать на них, и даже с некоторой наддачею, не стоило большого труда. И действительно, ответ последовал скоро, но на первых же порах наполнил сердца прогрессистов не торжеством, а какою-то странною смутою. Им и радостно было, что предмет их многолетнего будированья наконец осуществился, и в то же время жалко было самого процесса будированья, для которого не было уже пищи. А между тем это будированье давало им хорошее положение в обществе, окружало их обаянием и в особенности располагало к ним женские сердца. Никогда оно не заключало в себе ничего резкого, никогда не выходило из пределов тихого курлыканья благовоспитанных каплунов — и вдруг всякий повод для курлыканья исчез...

Вот тогда-то явились на выручку энтузиазм и сокрушение о своем недостоинстве. Старики воспламенились, вскипели и, не говоря дурного слова, стали обзывать себя червями ползущими, а прохожих упрекать в неблагодарности. Они поняли, что питающийся восклицательными знаками энтузиазм столь же дешев, как и питавшееся восклицательными же знаками фрондерство,— и без оглядки пустились по новому пути. И благо им, потому что операция эта восстановила упавший кредит их и крепче прежнего утвердила их положение в обществе. Теперь они на всех перекрестках кричат: «мы и мечтать не смели!» — и когда посторонние люди просят их успокоиться и прийти в себя, они на все увещания дают один и тот же ответ: «мы и мечтать не смели!»

Источник энтузиазма был искусственный, развитие его — неожиданно; но восторженность имеет то свойство, что питает сама себя, и потому нередко достигает пределов разнузданности. При таких условиях в воображении прогрессистов происходит нечто подобное тому, что̀ происходит в природе в лунную ночь, когда тени от предметов разрастаются до невероятных размеров, канавы кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней — монументами. «Мы и мечтать не смели!» — этого одного достаточно, чтобы поставить вопрос о человеческой автономии вне споров. Да, современный человек уже вступил в период совершеннолетия и самостоятельной деятельности; он получил то, «о чем мы даже мечтать не смели», а потому на него же должна пасть и ответственность за будущие его судьбы...

Так повествуют прогрессисты, и любопытно видеть и слышать, как они бьют себя в грудь, доказывают, перечисляют.

С каким наивным нахальством дают они понять, что если бы не они, то общество осталось бы ни при чем; с каким простодушным лукавством намекают, что и в будущем кой-чего от них ожидать можно. Только не вдруг — это главное; потому что если будем слишком натягивать струны, то они могут лопнуть.

Эти оговорки необходимы. «Не вдруг!» — это целая философская система; это гора будущего, которая может разродиться мышью, но в которой могут скрываться и алмазные копи. Ждите сколько угодно — «не вдруг» всегда и на все вопросы будет ответом своевременным и вполне целесообразным. Кто знает, может быть, оно, это неизвестное, должно через минуту разрешиться, а тут какой-нибудь нетерпеливец, презревший теорию «не вдруг», испортит все дело! Стало быть, лучше всего ждать и верить, верить и ждать...

Но надо же знать, чего ждать. Если период обеспеченной необеспеченности подлинно упразднился, то надо указать на несомненные признаки этого упразднения. Все это необходимо не в видах удовлетворения пустой прихоти людей, а в видах утверждения в них верований и надежд. И что же? Тут-то именно и высказывается ахиллесова пята наших прогрессистов, или лучше сказать, тут-то каждый из них всецело, всем существом своим, оказывается сплошною ахиллесовою пятою. «Мы и мечтать не смели!» — говорят они, но разве это ответ? Вы не смели мечтать, ну и продолжайте не сметь, но отчего же не мечтать другим?

Приверженность к восклицательным знакам и стремление заменить ими определенность и трезвость речи составляют типическую черту наших прогрессистов-энтузиастов. Несмотря на клятвенные уверения, что все совершающееся и могущее совершиться как нельзя более ясно,— людям, не развращенным напускною восторженностью, не без основания кажется, что это ясность мнимая, могущая существовать только в таких головах, в которых никогда ни о чем действительно ясного представления не было. И еще сдается, что все эти quasi-восторженные субъекты суть не что иное, как порожние сосуды, которые в свое время наполнялись будированием, теперь наполняются энтузиазмом, а завтра будут наполняться... чем бог послал.

Как бы то ни было, но разнузданность энтузиазма отнимает у нашей прогрессистской пропаганды всякую убедительность. Уверенность, что русское общество безвозвратно вышло из состояния необеспеченности, в котором оно находилось во время существования крепостного равновесия души, встречает совсем

не так много прозелитов, как это было бы желательно. Жалеть ли об этом? — конечно, жалеть.

Жалеть об этом следует тем более, что рядом с мнением патентованных прогрессистов существуют мнения совершенно им противоположные. Они утверждают, что крепостной фаланстеризм продолжает проникать собой все явления общественной жизни; что он только лишился прежнего плотного центра, но в разлитом виде едва ли не представляет еще больше угроз. Жалеть ли о том, что подобные мнения существуют? — опять-таки само собой разумеется, что жалеть следует...

Но не надо забывать при этом, что существенная причина разногласия все-таки заключается в том тумане, который окружает вопрос, сам по себе очень простой и ясный. Вопрос этот формулируется так: может ли современный человек, независимо от угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидеть сегодня, что̀ случится с ним завтра? Разрешите этот вопрос не голословными утверждениями или отрицаниями, а на основании фактов, которых конкретность не подлежит сомнению,— и будьте уверены, что все разногласия упадут сами собой.

На днях мне случилось провести вечер в очень интересном обществе. Тут было целых четыре столоначальника: один из них служит в департаменте недоумений и оговорок; другой — в департаменте дивидендов и раздач; третий — в департаменте отказов и удовлетворений; четвертый — в департаменте изыскания источников и наполнения бездн. Народ все бодрый и прогрессист. Присутствовал еще делопроизводитель из департамента любознательных производств; но тот более молчал и, под видом раскладывания гранпасьянса, с большим тактом прислушивался.

Каждый из столоначальников удостоверял, что деятельность в его департаменте кипит. Один рассказывал, что комиссия «по части приведения в надлежащий вид оговорок» должна на днях выдать шестьдесят первый том своих трудов. Другой сообщал, что комиссия «о наилучшем и наипоспешнейшем пополнении бездн», окончив сто первый том своих трудов, заключила: приступить к новому рассмотрению собранных материалов и для сего образовать новую комиссию, старую же упразднить, сохранив членам ее присвоенные им оклады содержания. Третий повествовал, что хотя их департамент несколько отстал от прочих, но, со вступлением нового директора, комиссия «о преподании большей вразумительности и

быстроты отказам», в течение какого-нибудь месяца, уже успела выработать обширный труд, под названием: «Взгляд на причины», который и будет на сих днях отпечатан в трех томах, с пятнадцатью к оным приложениями. Четвертый, наконец, обрадовал известием, что для оживления работ в комиссии «для разработки прочной системы раздач» приглашен, в качестве эксперта от наук, один известный своею находчивостью экономист.

Все было, следовательно, в порядке; молодые люди пламенели и порывались; я, с своей стороны, смотрел на них и радовался.

Вообще, с некоторого времени я как-то чаще начинаю радоваться. Состоя членом нескольких благотворительных обществ, я убедился, что человек сам творец собственных несчастий. А так как дела мои идут прекрасно, то мало-помалу в мою душу проникла та ясность, то равновесие, до которых возвысился (в комедии Островского «Доходное место») старик Юсов в ту минуту, когда он произносит знаменитый монолог, начинающийся словами: «я могу плясать!» Что̀ мне за дело до того, что есть люди, которые не могут плясать? *Я* могу плясать — и этим вопрос о плясаниях для меня совершенно исчерпывается. Ноша за мной не тянет, а потому я вижу цветок — на цветок радуюсь, птицу вижу — на птицу радуюсь. Везде премудрость вижу. И не одобряю людей, которые не видят премудрости, а следовательно, и не пляшут. Стало быть, ноша какая-нибудь у них сзади тянет, размышляю я и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:

— Не одобряю, государь мой, не одобряю!

Итак, я сидел и радовался, ибо, очевидно, ни за одним из этих бодрых молодых людей никакой ноши не было. Когда все новости были высказаны, мы не без труда сообразили, что если все комиссии приведут свои труды к благополучному окончанию, то из этого может произойти 666 томов полезнейших материалов, которыми, конечно, не преминут воспользоваться другие комиссии. Эти другие комиссии подвергнут собранные материалы освежению и дополнению и в свою очередь издадут 666 томов трудов, которыми в свое время не преминут воспользоваться третьи комиссии. Третьи же комиссии...

Но здесь представление о бесконечной преемственности комиссий и непрерывности освежений и дополнений навело нас на идею о вечности. Идея же о вечности зажгла души восторгом. Мы вскочили с мест и без всякого законного основания начали целоваться.

— А долгонько-таки придется вам канитель-то тянуть! —

вдруг вступился делопроизводитель департамента любознательных производств.

Мы не вдруг поняли. Сначала даже, весело потирая руки, механически повторяли: «долгонько! долгонько!» Но потом, однако ж, сообразили, что в замечании мрачного делопроизводителя скорее скрывается ирония, нежели поощрение нашим восторгам.

— А по-вашему как? — бросились мы к нему.

— А по-моему вот как!

Он махнул ладонью руки сверху вниз, как будто рассекал гордиев узел.

Тогда сам собою возник вопрос: можно ли вдруг перевернуть мир вверх дном? Тема была бесконечная, как сама бесконечность, следовательно, обмен мыслей полился рекою.

Столоначальники утверждали, что вдруг нельзя, и доказывали это примером комиссий, которые перевертывают мир исподволь и лишь по зрелом и внимательном обсуждении. Делопроизводитель, напротив того, утверждал, что можно, о комиссиях же отозвался непочтительно, вроде того, что они, дескать, ничего не делают, а только в проходном ряду пылью торгуют.

— Согласитесь однако, что ежели предварительно мы не приведем в ясность всех оговорок, то движение вперед будет по малой мере затруднено, а быть может, и совсем невозможно! — ораторствовал столоначальник департамента недоумений и оговорок.

— А я, с своей стороны, спрашиваю: если не будут преподаны совершенно ясные и твердые правила насчет наполнения бездн, то каким же образом вы приведете оные в равновесие с источниками? — вопрошал в свою очередь столоначальник департамента изыскания источников и наполнения бездн.

— Никаким, да и не надо! — как-то грубо отрубил делопроизводитель.

— Но баланс, милостивый государь! во всяком деле требуется баланс! С одной стороны...

— Ну, да: с одной стороны принимая во внимание, а с другой стороны имея в виду... знаем мы, как эти слюни-то распускают. Вам это-то и любо!

Делопроизводитель уперся и утверждал, что в средствах перевернуть мир вверх дном никогда недостатка не имелось и не имеется: была бы только охота. Взял, пришел и перевернул — без всяких комиссий.

— Без малейших-с! — прогремел он, ворочая зрачками.

Я сидел и радовался. С одной стороны, мне нравился этот смелый узлорешитель, который, согласно с бывшими приме-

рами, намеревался единолично, без участия комиссий, обновить мир; с другой стороны, нравились также и эти степенные молодые люди, бодро вступившие на стезю обновления, но, в виду могущих быть увлечений, обставившие его целою сетью комиссий. А что̀ всего больше нравилось — так это мысль, что пройдет каких-нибудь полчаса и эти два элемента, по-видимому, столь противоположные, сольются и будут, как ни в чем не бывало, вместе закусывать и пить водку!

«Побольше подобных обменов мыслей,— думал я,— и дело нашего возрождения будет упрочено навсегда!» Но в то же время я чувствовал, что и мне необходимо сказать свое слово, и именно слово примирительное, такое, с помощью которого человеку было бы ловко пройти посередочке. Поэтому, когда дело дошло до таких выражений, как «выеденное яйцо», «шваль», «отребье» и т. п., я счел долгом вступиться.

— Позвольте, господа! — сказал я,— по моему мнению, разногласие между вами совсем несущественно. Скажите, что̀, собственно, вы утверждаете? — обратился я к столоначальникам.

— Мы утверждаем, что нельзя вдруг перевернуть мир вверх дном! — очень решительно отвечали они.

— Гм... вдруг!!.. стало быть, самый принцип перевертыванья вы допускаете?.. хорошо-с. Вы-с? — обратился я к делопроизводителю.

— А я говорю, что можно и должно! — отвечал он с азартом.

— Гм... стало быть, во всяком случае, и вы и вы — в принципе допускаете, что перевернуть мир вверх дном надлежит?

— Конечно... но...— заикались столоначальники.

— Стало быть, вас разделяет слово «вдруг»?

— Ну да... конечно... но...

— Что̀ тут еще толковать! — огрызнулся делопроизводитель.

— Позвольте-с. Но для того, чтобы мир когда-нибудь был перевернут,— обратился я специально к столоначальникам,— нужно же понемногу его перевертывать?..

Столоначальники разинули рты, но делопроизводитель не дал им говорить.

— Не понемногу, а разом! сейчас! сию минуту! — выходил он из себя.

— Позвольте-с. Предположим, что предприятие ваше увенчалось успехом,— обратился я на сей раз уже к делопроизводителю,— что вы взяли, пришли и перевернули мир вверх дном!.. Дальше-с?

Я нарочно остановился, чтобы видеть, какой эффект производит мой диалектический прием.

— Не мямлите, ради Христа! — раздражительно прервал меня мой оппонент.

— Как думаете вы: не получится ли у вас в результате, что, вследствие слишком быстрого повертыванья, мир вновь очутится на старом месте?

Я торжествовал. Каламбур мой удался как нельзя больше; столоначальники неистово хлопали в ладоши, делопроизводитель смутился. Тем не менее, для очищения совести, он все-таки упорствовал и совершенно уже голословно повторял:

— Нет! мы никогда с вами не сойдемся!

— Итак,— продолжал я,— соглашение между вами, господа, не только возможно, но и легко. Признаем в принципе пользу перевертыванья и затем вооружимся лишь против тех злоупотреблений, которые могут заключаться в перевертыванье с слишком зрелым онаго обсуждением, то есть против медленности, обнаруживаемой в этом деле нашими комиссиями. Для этого, мне кажется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы комиссии эти ограничивали количество своих трудов десятью томами... не больше-с! и затем уже приступали к перевертыванью без всякого сомнения!

— Гм... тогда и волки будут сыты, и овцы целы! — задумчиво сказал столоначальник департамента дивидендов и раздач.

— Это моя мысль!

Столоначальники согласились со мною без труда и тут же приступили к начертанию проекта особой комиссии «для преподания правил комиссиям, на разные случаи учреждаемым»; но делопроизводитель, к удивлению моему, все-таки упорствовал и продолжал голословно повторять:

— Нет! мы никогда с вами не сойдемся!

Кто эти «мы»? от чьего имени говорит этот пользующийся доверием своего начальства чиновник?

Признаюсь, вопрос этот немало меня интересовал... И что ж оказалось?

Оказалось, что мрачный делопроизводитель служит в департаменте любознательных производств лишь по недоразумению. Что, будучи рассматриваем отдельно от вицмундира, он радикал. И, наконец, что в свободное от исполнения возлагаемых на него поручений время он пишет обширное сочинение, под названием: «Похвала Робеспьеру»...

Признаюсь!

Поклонников доктора Панглоса, утверждающих, что все идет к лучшему в лучшем из миров, развелось нынче очень много. Не только у столоначальников, но даже у будочников в умах один вопрос: «рожна, что ли, вам нужно?» И откуда они узнали, что кому-то чего-то нужно!

Тем не менее мы оставим будочников в стороне, ибо провозглашение истин, вроде сейчас приведенной истины о «рожне», принадлежит к числу их обязанностей. Но каким образом наша литература ухитрилась сделать из себя сокровищницу той же панглосовской мудрости, которая занимает и умы городовых,— это уже вопрос гораздо более трудный для разрешения.

Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего. Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу. Хотя, с исторической точки зрения, эти комбинации представляют не что иное, как создание самого человека, но то же историческое тяготение сделало их настолько плотными и самостоятельными, что и они, в свою очередь, могут или вредить, или споспешествовать человеческому развитию. Если б источник творчества иссяк, то человеку оставалось бы сложить руки и с покорностью ожидать ударов судьбы; но изменяемость общественных форм, для всех видимая и несомненная, доказывает совершенно противное и предрекает человеческому творчеству обширное будущее. Ежели современный человек зол, кровожаден, завистлив и алчен, если высшие интересы человеческой природы он подчиняет интересам второстепенным, то это еще не устраняет возможности такой общественной комбинации, при которой эти свойства встретят иное применение, а следовательно, примут и иную складку. Это искомое, но такое искомое, которое нимало не противоречит элементам, составляющим человеческую природу, ибо для всякого наблюдателя общественных явлений и теперь уже ясно, что одно и то же свойство на разных ступенях общественной иерархии проявляет себя совершенно различным образом, смотря по тому, в какой обстановке оно находится. Содействовать обретению этого искомого и, не успокоиваясь на тех формах, которые уже выработала история, провидеть иные, которые хотя еще не составляют наличного достояния человека, но тем не менее не противоречат его природе и, следовательно, рано или поздно могут сделаться его достоянием,— в этом заключается высшая задача литературы, сознающей свою деятельность плодотворною.

Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека. Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить в тупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то именно они и кладут известную печать даже на такое общество, которое, по-видимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих новых типов современный человек, незаметно для самого себя, получает новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, одним словом — постепенно вырабатывает из себя нового человека. Что̀ было бы в том случае, если бы литература, забыв о своих воспитательных задачах, пошла по другому пути... хоть, например, по пути бесплодных обращений к прошлому?

К сожалению, наша современная литература пошла именно по этому последнему пути, и потому ее воззрения можно без малейшего преувеличения уподобить воззрениям будочников, негодующих на искание какого-то рожна.

В общем ходе человеческого развития подробности занимают лишь второстепенное место; они играют роль эпизодов, не имеющих существенного влияния на канву и процесс движения. В современной русской литературе, напротив того, подробности занимают первый план, а действительный смысл движения до такой степени заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся под гнетом какого-то неслыханного умопомрачения. Ненавистью и желчью пропитано каждое слово современной русской литературы, и это горькое чувство могло бы иметь очень опасные для общества последствия, если б не было слишком ясно, что в основе его лежат те бесплодные обращения к прошедшему, которые обусловливаются корыстным или наивным непониманием самых простых, общепризнанных и естественных законов человеческого развития.

И на улице и в литературе раздается один вопль: довольно! Чего же довольно? наездов ли, устранений ли, душевных ли выемок, проявлений ли бессознательности, произвола и дикости? — Нет, не этого. Довольно жертв, довольно усилий, направленных к тому, чтобы стать на стезю сознательности.

Только глубоко вкоренившееся, так сказать, историческое презрение к самим себе, только вполне бесповоротное убеждение, что мы не только в настоящую минуту состоим в должности кадетов цивилизации, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результат. Для всех (то есть, говоря трактирным слогом, для тех, которые почище) — циви-

лизация с ее благами, открытиями и движением; для нас (то есть для тех, которые еще рылом не вышли) — обрезки, помои и старое, заношенное белье. И это проповедуется не на толкучем рынке, не в кабаках,— там бы куда уж ни шло! — а в литературе...

Подобные приливы озлобленности и систематического омрачения небеспримерны и в других странах; но там они объясняются решительностью политических и социальных кризисов, когда общественные силы, под влиянием исключительной паники, всецело охватываются интересами и опасениями данной минуты и таким образом на время теряют из вида руководящую нить будущего. У нас это, так сказать, естественная дань преисполненных благородным энтузиазмом сердец. Предполагается, что мы, по самой природе своей, не имеем права ни к чему приступить, не исполнив предварительно танца благоговения и вечной признательности. И вот, ежели мы, рассматривая какое-нибудь явление (последствия которого, не забудем, отразятся на нас же самих), пробуем встать на один с ним уровень, то нас прямо обвиняют в черствости, неблагодарности и заносчивости. «Курицыны дети! — восклицают хором прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты,— посмотрите! тоже топорщатся! шеи вытягивают, на цыпочки становятся!»

На мой взгляд, будочники в этом случае гораздо симпатичнее. Произнося свое сакраментальное: «рожна, что ли, нужно?» — они, во-первых, действуют чисто механически, то есть просто производят порядок, и, во-вторых, едва ли даже знают, что̀ именно следует разуметь под словом «рожон». Несмотря на грубость интонации, в их голосе можно иногда подметить благодушие, почти сострадание к человеку, который ищет рожна и... находит его. Напротив, чувство, одушевляющее прогрессиста-публициста, совсем другого свойства: тут нет и речи о чем-нибудь примирительном. Для него презрителен самый вид «топорщащегося» человека, да и самое слово «топорщиться» именно с тою целью заимствовано из лексикона теплых русских слов, дабы в нарочито омерзительном виде изобразить претензию человека на человеческий образ. Он прибегает ко всевозможным уподоблениям: городовых именует орлами; людей, ищущих сбросить с себя иго бессознательности — кротами, червями и трутнями. Его изгибает, свертывает и коробит, как бересту, брошенную на огонь, и коробит не оттого, что он видит пришибленность, забитость и вольное ползание, а оттого, что в глазах его происходит попытка сделать человеческий жест.

Откуда эта ненависть?!

Литератор-прогрессист сам едва ли сумеет объяснить себе причину этого явления. Он действует под влиянием темперамента, который подсказывает ему, что русский человек не имеет права относиться к явлениям жизни с спокойствием и достоинством, но должен во всяком случае и во что бы то ни стало благодарить. Ежели он не благодарит, то это значит, что он злокозниствует; а ежели злокозниствует, то значит, что сам собой возникает вопрос о необходимости истребления козней и интриг. Собираются вольные дружины, объявляется поход, и, за стуком мечей, забывается даже то тощее дело, по поводу которого возник переполох. И все из-за того, что в сердцах нет должной благодарности, или, говоря высоким слогом, не замечается надлежащей теплоты чувств!

Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно развитие и разрешение общественных вопросов при таком воспалительном отношении к ним даже со стороны литературы, на которую многие и до сих пор смотрят как на выразительницу общественной совести...

И вот итоги! итоги, в действительности которых едва ли может усомниться кто-либо из современников. И опять-таки повторяю: не в кабаках, не на толкучих рынках отразились эти итоги, а в самом центре всех жизненных итогов — в литературе.

Даже будочники проливают слезы сожаления при виде людей, ищущих рожна и обретающих его, а в литературе это зрелище вызывает только зловещий крик: ату!

Естественное ли это дело? естественно ли, чтоб литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества в его исканиях идеалов будущего, а обуздательницею и укротительницею?

Однако, как ни проповедуйте, что перевернуть мир вверх дном невозможно, а исподволь перевертывать все-таки приходится. Потому что, в противном случае, всегда найдутся люди, которые будут натыкаться на рожны, а зрелище этого натыкания едва ли может для кого-нибудь составить приятность.

Человек так уж устроен, что всякое новое приобретение, сделанное в области знания, ищет применить к себе, к своему личному положению. Это стремление прежде всего отражается на приобретениях будничных, непосредственных. Так, например, ежели человек узнает, что чистота и простор жилищ, а равно достаточная и хорошая пища способствуют долголетию, то непременно будет домогаться, чтоб это жизненное условие было у него под рукою. Затем, ежели он узнает, что тому же

долголетию способствует обладание и другими благами, более отвлеченного свойства, то будет добиваться и их. Вследствие этого многие думают, что все усилия должны быть направлены к тому, чтобы человек или вовсе не знал, или узнавал сколь возможно позднее. Но это лишь пустая надежда, о которой даже и говорить не стоит. Гораздо более весу имеет оговорка, утверждающая, что человек, во всяком случае, обязывается делать свои попытки на собственный счет и страх. Но и об этой оговорке покаместь не может быть речи, ибо дело идет не о практических попытках, а лишь о постановке вопросов на почву обобщений. Или, говоря языком более любезным для наших прогрессистов-публицистов,— об обмене мыслей.

Да, речь идет об обобщениях — и ни о чем больше, ибо сепаратные попытки довести свое личное положение до известного уровня существовали с незапамятных времен и никогда не возбуждали ничьей подозрительности. Они имели место даже при крепостном праве, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало, однако ж, осуществлению ее в частных случаях. У всех на памяти, что бывшие помещики не только не воспрещали принадлежащим им крестьянам приобретать некоторые жизненные удобства, но и находили в этом повод для удовлетворения своего тщеславия.

— Вот как, каналья, живет! без щей с говядиной и за обед не садится! — хвастались они перед соседями каким-нибудь Еремеем, который, откладывая грош по грошу, купил себе право увеселять сердце помещика зрелищем «моего Еремея», хлебающего наварные щи.

Очевидно, стало быть, что подобная попытка признавалась и естественною и непредосудительною. Отчего же тот же самый вопрос усложняется, как только переносится на почву обобщений? Ответ на это обыкновенно дается такой: «помилуйте! да разве возможно всем?» И ответ этот кажется резонным, не потому, чтобы он в самом деле был резонен, а потому, что слова «вдруг» и «все» оказывают на нас точно такое же ошеломляющее действие, какое в комедии Островского («Тяжелые дни») оказывают мудреные слова вроде «жупел» и т. д.

«Нельзя вдруг перевернуть мир вверх дном!», «Нельзя дать все и всем!» — вот несложный кодекс житейской мудрости, на котором сходятся и ретрограды, и консерваторы, и прогрессисты, и никому из них не приходит в голову, что это кодекс до того уже легкий, что опираться на него могут только такие люди, у которых ничего нет в запасе, кроме истертых и оглоданных общих мест.

О том ли идет речь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного нечто отнять, а другого наградить? Нет, речь идет об отыскании таких законов общежития, которые могли бы умиротворить человечество — и больше ни о чем. Вопросы о перевертываньях и отнятиях всецело принадлежат к той практике, которая уже и ныне предусматривается уголовными кодексами и, следовательно, признается косвенно самими прогрессистами. Вопросы эти возбуждаются эмпирически на больших дорогах, а также в форме простых краж или краж со взломом,— что же может быть общего между ними и работою теоретической мысли?

Объект теоретической мысли не хаос и случайность, а порядок и закон. Даже вырабатывая так называемую утопию, она имеет в виду именно эту, а не другую какую-нибудь цель. Притом общество достаточно обеспечено от чрезмерного наплыва утопий тем одним, что последние не только никогда не господствуют безраздельно, но, напротив того, всегда состоят под самым строгим контролем всевозможных уличных опасений и тревог. Ужели этого обеспечения мало? Ужели, в виду фантастических страхов, внушаемых ожиданием наплыва утопий, можно счесть более безопасным и целесообразным, чтобы вопросы жизни разрешались хотя сепаратными, но тем не менее совершенно неправильными эмпирическими попытками на больших дорогах, вроде тех, о которых сейчас говорено и которые требуют для своего осуществления темной ночи, отмычек и взломов?

Нет, это неверно. Против подобного эмпиризма восстает даже мой друг Феденька Козелков, а я имею полное основание ссылаться на его авторитет, потому что этот человек уже почти администратор.

Я люблю Феденьку не за то, что он считает себя прогрессистом (он как-то уж слишком упорно настаивает на своей принадлежности к этому сословию), а за то, что он простодушен, и это простодушие нередко внушает ему мысли и действия достаточно доброкачественного свойства. В основании его административной системы лежит словцо, по-видимому, очень маленькое: «можно!» — но вникните пристальнее в это слово, и вы убедитесь, что во всем русском лексиконе нет его любезнее. «Можно!» — ведь это, так сказать, в малом виде отпущение грехов; это бальзам, пролитый на рану недоумения и недомыслия; это исцеление недугующих и страждущих, это не соломинка какая-нибудь, а целый корабль, поспешающий для спасения погибающих! Вся жизнь человеческая об-

ращается между «можно» и «нельзя», и перегородка, которая, вследствие этого, делит человеческую жизнь на две половины, служит источником мучительнейших нетерпений, промахов и домогательств. И вдруг эта перегородка, по манию Феденьки, исчезает, и вместо нее является ровное и злачное пространство, по которому можно гулять без сомнения... Шутка!

Конечно, Феденька не принадлежит к числу орлов, но ежели рассудить хладнокровно, то орлов и без того так много, что вряд ли присовокупление одного лишнего хищника может послужить украшением. Сверх того, у Феденьки имеется и еще один довольно крупный недостаток — это робость и даже, можно сказать, путаница в понятиях; но и это обстоятельство проходит незаметно, потому что слово «можно!», которым путаница разрешается, покрывает ее до такой степени, что вместо путаницы является даже целая система.

И вот, на днях, беседуя с Феденькой о его административных надеждах (он беспрерывно говорил о каком-то «крае» и, по-видимому, имел даже серьезные основания рассчитывать на осуществление своих мечтаний), я невольным образом вынужден был коснуться и его административных взглядов на жизнь.

— А как ты полагаешь, мой друг, насчет хоть бы того, что вот иногда... не всегда, конечно, а иногда... люди чувствуют потребность размышлять, сообщать друг другу свои наблюдения и открытия... ведь можно? — спросил я, конечно, не без робости, ибо очень хорошо понимал, что вопрос мой касается одной из самых чувствительных административных язв.

Он немного задумался, ибо не далее как того же дня утром выслушал, откуда следует, очень обстоятельное по сему предмету поучение. Я знал об этом и, следовательно, имел очень основательный повод беспокоиться. Но, к удовольствию моему, простодушие моего друга и на сей раз взяло верх.

— Знаешь, что̀ я тебе скажу? — наконец произнес он (при этом я очень хорошо заметил, что из груди его вылетел вздох),— пускай размышляют, пусть даже разговаривают! Я положительно не вижу к тому никаких препятствий!

— Подумай, однако ж, мой друг, ведь из этого может произойти ущерб... то есть посягательство... ну, и прочее...— продолжал я испытывать Феденьку.

— Нет, уж что!.. Христос с ними!

— Гм... так, значит, по-твоему, можно?

— Можно!

Тем не менее рана, произведенная утренним поучением, была еще слишком остра, чтоб не вызвать кое-каких огово-

рок. Феденька в видимом волнении ходил по комнате, и я с прискорбием замечал, что каждый новый шаг выдвигает на сцену какое-нибудь новое привидение.

— Признаюсь откровенно,— произнес он, останавливаясь передо мной,— я желал бы одного: пусть размышляют, пусть обмениваются мыслями, но... но так, чтобы никто этого не заметил!

Сгоряча я не понял всей оглушительности этой оговорки и даже радостно протянул ему обе руки, воскликнув:

— Ну, да! ну, само собой разумеется... конечно!

Но через минуту, однако ж, я спохватился и стал допрашивать Феденьку, каким же образом он предполагает устроить, чтобы люди откровенно сообщали друг другу свои мысли и чтобы, в то же время, никто этого не заметил.

— Ведь это все равно что если б твой будущий градской голова позвал тебя на пирог и требовал, чтоб ты таким образом ел, чтоб никто этого не заметил. Ты точно так же зовешь их на пирог и...

— Нет! ты меня не понял! — как-то брюзгливо прервал меня Феденька,— я совсем не о том говорю! Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (он особенно напер на это слово)... tu comprends:[1] не всякому... это было заметно!

Я понял. Мне сделалась ясною вся эта сложная и многохитрая система со всеми ее разветвлениями, умолчаниями и оговорками. Я с удивлением смотрел на моего друга и готов был признать в нем искуснейшего дипломата новейшего времени (по части внутренней политики).

— Ведь они иногда очень дельные мысли имеют,— продолжал между тем Феденька,— такие мысли, которых пугаться решительно нечего. На днях, например, я разговорился с каким-то «волосатым» насчет этого... самоуправлением, кажется, оно называется?.. Ничего! Я думал, что он в драку полезет, а он, напротив... такие мысли, что я со временем их непременно в какую-нибудь бумагу помещу! Parole d'honneur![2]

— Феденька! друг мой!

— Ведь по правде-то сказать, мы все немножко социалисты... Ведь это, так сказать, наша национальная подоплека. Le socialisme, la commune — c'est tout un![3] Разумеется, с разных точек зрения...

---

[1] понимаешь.
[2] Честное слово!
[3] Социализм, коммуна — все едино!

— Феденька! голубчик ты мой!

— Только вот ежели их дразнить, этих «волосатых»... ну, тогда они действительно в известной степени свирепеют! Но и то лишь в «известной степени», ибо окончательно свирепеть и в особенности проявлять эту свирепость им еще не разрешается... да! н-н-не р-раз-ре-ша-ет-ся!

Мне показалось, что, говоря эти последние слова, Феденька даже на меня взглянул как-то угрожающе: до такой степени натура его была подвижна. Но через минуту простодушие вновь одержало победу; он начал подробно развивать свою административную теорию и в горячности чувств чуть-чуть не дошел до равновесия души.

— Я докажу на практике,— ораторствовал он,— да-с, на практике докажу, какая неизмеримая разница между администратором, который овладевает сам положением, и администратором, которым (он подчеркнул: *рым*) овладевает положение!

Но я уже не слушал. Я спешил воспользоваться восторженным настроением его души, чтоб заручиться чем-нибудь солидным:

— Итак, стало быть, «можно»?

— Можно! — махнул он рукой, как бы давая понять, что он все уже разрешил и более беспокоить его мелочами не следует.

«Ну, это, по крайней мере, «итог»!» — невольно подумалось мне.

ГЛАВА V[1]

К числу непомнящих родства слов, которыми так богат наш уличный жаргон и которыми большинство всего охотнее злоупотребляет, бесспорно принадлежит слово «анархия».

Употребление этого выражения допускается у нас в самых широких размерах. Стоит только прикоснуться к вопросам, имеющим общественный характер, как уже со всех сторон поднимается крик: что вы делаете? разве не видите, что там, на дне, таится анархия? Стоит предъявить самые скромные

---

[1] Эту главу «Итогов», предназначавшуюся для «Отечественных записок», 1871, № 8, Салтыков должен был вырезать из журнала, ввиду угроз для издания со стороны цензуры. *Изъятый текст неизвестен.* Но сохранились пять автографических рукописей, в которых содержатся разные редакции и фрагменты главы V. В основном разделе настоящего тома печатается наиболее полная *вторая редакция.* Первоначальный текст и фрагменты из позднейших доработок см. в разделе Из других редакций.

требования к жизни, как отовсюду посыплются предостережения: берегитесь! скромное требование приведет за собой иные, менее скромные требования, а затем и анархию! Мало того: попробуйте вовсе устраниться от всяких непосредственных требований и вопросов,— и вы наверное услышите: это он неспроста помалчивает! это он замышляет анархию! Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою. Словом сказать, везде, где видится попытка к уяснению, исследованию, сознательности — везде вместе с тем видится и признак анархии. Таков приговор уличного ареопага, и, к сожалению, приговор безапелляционный. В бесконечно растяжимых его тенетах запутывается все, что мыслит, что стремится вперед, что ищет устройства более правильных и упрощенных жизненных форм и отношений.

Это история очень древняя и периодически повторяющаяся, но нам незачем ходить далеко, ибо уже на наших глазах был момент очень характеристичный, момент, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях, когда только идиот да заведомый жулик могли считать себя свободными от опасной клички анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было — никто не может возразить против этого. И даже не момент продолжалась эта действительная анархия во имя анархии мнимой, а долго, очень долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем горчее, что еще накануне она сама считала свое дело проигранным. С наступлением благоприятной минуты она очень хорошо смекнула, что ей предстоит не только утвердить торжество своих подлинно анархических принципов, но и наверстать все недавние неудачи. И вот началось это страшное сонное видение, которое для многих сделалось не менее страшною действительностью. Свидетели вчерашнего ликования сделались свидетелями сегодняшнего скрежета зубов, и наоборот. Ликование переменило центр и в то же время приняло какой-то особенный, своеобразный характер. Это было ликование с воплями, гиканьем, травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Еще накануне патентованные прогрессисты чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на беспредельное пространство, кричали: вперед! И под рукою, и гласно они заявляли о своем сочувствии молодому поколению. Они говорили: какой это бодрый, смелый и дельный народ! Быть может, эти похвалы были не вполне искренни; быть может, в глубине души, прогрессисты надеялись, что горячность, которой они были свидетелями, скоропреходяща, что бодрым, смелым и дель-

ным молодым людям придется-таки вспомнить, что они не больше как кость от костей, как дети того же порядка, который взлелеял на лоне своем и ретроградов, и консерваторов, и прогрессистов. И надежда не обманула их, ибо вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до того времени и как придется вспоминать, быть может, в будущем, когда российская страна почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами и безднами, и ежели не навсегда, то надолго погрузиться в консервативное оцепенение. Да; это будущее еще предстоит, ибо бюрократия только теперь начинает сознавать саму себя...

В самый разгар прогрессистских ликований случился странный и, по-видимому, неожиданный перелом. В одно прекрасное утро вылезли из нор люди дикого вида с такими ожирелыми затылками, представление о которых даже среди нас утратилось со времени упразднения крепостного права. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам городов и весей и едиными устами вопили: анархия! Припомните, сколько было в то время выпито шампанского! сколько разослано телеграмм! сколько мимоходом задавлено младенцев и неповинных! Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они с особенною яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж издревле заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство кое-как извернулось и, сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь, благим матом возопило: анархия! И состоялся тут компромисс, в силу которого на одной стороне встали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

С этой минуты понятие об анархии для всей улицы утвердилось на прочных основаниях, и в настоящее счастливое время нет того уличного мазурика, который не сумел бы употребить это выражение с пользою для себя. Да оно и понятно: ведь дело идет не об открытии или изобретении, не о новом вкладе в сокровищницу человеческих знаний, а только о том, чтобы как можно глубже впиваться в тело своего соседа. А эта наука какому же мазурику не известна?..

А между тем стоит только попристальнее вдуматься в действительный смысл этого quasi-антианархического движения, чтоб убедиться, что здесь все основано на самом вопиющем

извращении понятий вполне ясных и не подлежащих никакому спору.

В самом деле, что такое «анархия», в действительном и прямом значении этого слова? «Анархия» — это такое состояние общества, когда оно не хочет знать никакого руководящего начала (не начальства, как смешивают многие, а именно начала), когда оно бредет без ясно сознанной цели, неведомо куда, когда оно изнемогает под игом всевозможных страхов, составляющих неизбежную принадлежность невежественности и бессознательного отношения к вещам, когда оно не имеет интересов, которые могло бы назвать своими собственными, когда оно лишено доступа к какой-либо инициативе и с тупым равнодушием смотрит на происходящие внутри и вне его явления. Что такое настроение общества нельзя назвать иначе как анархическим, это доказывается бессилием всех его движений (кроме, впрочем, злостных), безрезультатностью его начинаний. Спокойное снаружи, внутри оно заключает прах и ни единой лепты не внесет в общую массу преуспеяния. Ни для себя, ни для других — вот девиз подобного общества, а так как с таким девизом оно может представлять собой только бремя в общечеловеческой семье, то нет ничего удивительного, если в конце концов все, что есть в мире интеллигентного, относится к нему с нетерпением и негодованием.

Совсем другой смысл имеет слово «анархия» в глазах уличных мудрецов. По мнению их, анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание руководящей истины, уровень которой более соответствовал бы уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец, — это сама жизнь, вышедшая из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Говоря короче, анархия — это все то, что обусловливает движение и прогресс. Если в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в неприкосновенности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установленные преданием отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку уяснить себе, независимо от предания, то положение, которое он занимает в обществе и природе — все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как сама история человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли, то ясно, что и история не может быть ничем иным, как

непрерывною анархией. И ежели уличные мудрецы еще не пришли к этому заключению, то, очевидно, только потому, что под именем «истории» они разумеют не историю собственно, но лишь тот или другой учебник, изданный для руководства в гимназиях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода суждений об «анархии» идет обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу афоризм, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительной ловкостью умеют пользоваться невежеством, предрассудками и пристрастиями толпы. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Ей вразумительны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие обобщения, которых происхождение давно затерялось и которые тем не менее остаются в обращении благодаря преданию и неряшливому отношению к ним толпы. Все это очень хорошо известно всякому имеющему дело с массами, и, следовательно, для того чтоб приобрести влияние на них, стоит только говорить их языком, верить или притворяться верующим в те истины, которые на толкучем рынке пользуются правом гражданственности. В сущности, впрочем, подладиться под тон масс — дело вовсе не такое мудрое, как может показаться с первого взгляда, и потому не трудность предприятия составляет здесь главное препятствие, а явление совершенно другого порядка. Дело в том, что человек не вполне разлученный с совестью понимает, что созидать свой успех на истинах, которых негодность вполне для него доказана, значит заведомо прибегать к обману, и потому невольным образом останавливается перед таким подвигом. Напротив того, человек бессовестный, прожженный и ловкий тут-то именно и чувствует себя вполне свободным. Он является к толпе и объявляет, например, что сила и право понятия тождественные или что бороться против действия стихий значит не признавать божественного произвола и т. д. Толпе такие истины на руку, ибо доступ в область критической проверки рекомендуемых ей афоризмов еще закрыт для нее. Она испокон веку чувствовала на себе давленье силы, испокон веку была беззащитна против стихий, и потому в ней зародилось убеждение, что свет держится только безусловным преклонением перед силою и случайностью. Это же убеждение в свою очередь усердно поддерживается и воспитывается в ней и извне, а потому совершенно естественно, что оно становится исходным пунктом всей жизни, краеугольным камнем всего общественного строя. И вот когда является перед ней

человек, по всем внешним признакам стоящий выше ее, и утверждает то, что она сама всегда утверждала, она без дальних рассуждений отдает ему свои симпатии и в чаду бессознательного восторга изъявляет готовность идти всюду, куда ни поведет ее проходимец. Выделяются сонмища людей, которые не могут даже различить, на какой стороне находится их собственный интерес, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, внутри которой спокойно располагается лагерем анархия консерватизма и за которую тщетно старается проникнуть ищущая и исследующая мысль. И — странное дело! — несмотря на то что в основании всех движений этих людей лежит одна бессознательность, в слепом усердии своем они доходят по временам до озлобления еще горшего, нежели то, которое питает даже руководителей их.

Начинается бред наяву. Глупые люди с ужасом рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных «бесчинствах», сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя поруганною, погибшею, посрамленною. «Кормильцы-то наши!» — голосят уличные кумушки, взирая на краснощеких пройдох, которые только добреют да нагуливают жиру в борьбе с «анархией». Но потребуйте у любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь осмысленное определение предмета своих вздыханий, и вы тщетно будете ждать ответа. Добросовестные, заслышав вопрос, выпучат глаза; бессовестные — изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое, однако ж, этот «авторитет», об охранении которого так усердно хлопочет толпа, руководимая ловкими людьми? В сущности, ответ на этот вопрос очень прост: «авторитет» есть тот жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек, и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития того и другого. У патагонца один авторитет, у китайца другой, у европейца третий. В соответствии авторитета уровню развития заключается вся сила первого, вся его жизненная обязательность. С исчезновением этого условия идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Все это неопровержимо доказывается и этнографией и историей. А так как в справедливости подобного свидетель-

ства усомниться нет основания, то из этого само собой явствует, что понятие об «авторитете» есть понятие условное и зависимое и что мнение о незыблемости его есть мнение по малой мере не подкрепленное никакими положительными доказательствами. Авторитет незыблем, покуда человек находит в нем для себя прочное руководящее начало, покуда грани им поставленные оказываются в меру человеческого роста; но как скоро сама жизнь затопляет эти грани, то очевидно, что она в то же время должна затопить и самое начало, поставившее их. Так, например, при низкой степени человеческого развития, авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присвоивает себе все то, что может *приказать* и против чего *ничего не поделаешь*. Опыт, однако ж, положительно доказывает нам, что человечество не без причины с таким упорным постоянством стремится к освобождению себя из-под ига грубой силы и в наше время едва ли даже найдется легкомысленный человек, который взялся бы защитить теоретически незыблемость подобного авторитета. Точно так же, конечно, никто не назовет незыблемыми и множество других авторитетов, при помощи которых человек некогда разъяснял свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений. История самым очевидным образом свидетельствует, что авторитет постепенно утрачивал свою первоначальную грубую форму и приобретал форму более тонкую и сложную и что вообще во всех этих передвижениях, упразднениях и отрицаниях речь шла не об авторитете в смысле принципа, дающего жизни известную окраску, а об авторитете данном (имярек). Следовательно, ежели мы видим отдельного человека или целое общество, которые отрицают известный авторитет, то это совсем не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается на авторитет «имярек». Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть лишь перемещение авторитета из низшей сферы в высшую. В чем же можно тут заподозрить подрыв? И может ли «авторитет» как принцип потерпеть от подобных перемещений?

Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много вопиют мудрецы и руководители улицы, приобретается лишь тогда, когда приказательный характер авторитета заменяется характером естественно-обязательным. А эту-то именно замену и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвоивается название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его

упрочения; и не произвольно они возникают, по капризу той или другой горсти людей, а тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтоб оградить мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном доверии к нему.

Но, могут возразить, почему же предполагать, что перемещение авторитета происходит непременно из низшей сферы в высшую? почему не предположить движения обратного? Но в том-то и дело, что этого обратного движения по многим причинам даже предположить никаким образом невозможно. Во-первых, такого рода предположение совершенно неприменимо к тем людям, которых принято называть анархистами и которые потому-то именно так и зовутся, что идут от понятий простых к понятиям сложным, недоступным толпе. Во-вторых, оно неприменимо даже и к тем ловким людям, которые в глубине души желали бы на неопределенное время приковать человеческую мысль к тем низменностям, где безраздельно царит авторитет силы. Конечно, они не прочь были бы спуститься в пространства еще более низменные, но, к счастию для человечества, история не возвращается назад и не затем поднимает завесу прошлого, чтоб рекомендовать его идеалы будущим векам, но затем, чтоб засвидетельствовать, что идеалы эти окончательно исчерпали свое содержание и что вновь вызывать их к жизни нет никакой надобности.

Следовательно, повторяем опять, ежели перед нашими глазами в обществе происходит движение, стремящееся расширить арену человеческой индустрии и освободить ее от связывающих пут, то как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не имеем права видеть в нем ни анархии, ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся же от употребления «страшных слов», остережемся тем более, что хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его с словом «успех» и, под предлогом упразднения «бесчинств», упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, о котором мечтают утописты (уж до него ли нам!), а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый беспристрастно отнесется к условиям своей собственной жизни, и, конечно, он сознается, что она усеяна бесчисленным множеством идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа. Все эти стеснения не делают жизнь ни более удобною, ни бо-

лее приятною, ни даже более соответствующею требованиям самой ограниченной морали: они просто производят только стеснения, и всякий в глубине души давно согласен, что освободиться от них было бы отлично. Да по мере возможности, исподтишка, всякий за свой счет и освобождается. А между тем они продолжают господствовать над жизнью, и даже люди, наиболее свободные от предрассудков, находят себя вынужденными покоряться им. Почему? — а потому, что существуют тьмы тем глупцов, которым предание оставило в наследство только одну доктрину: что человек рожден для стеснения, и которые при малейшем прикосновении к этой доктрине кричат: анархия! — не понимая, что высшую и действительнейшую анархию составляет не проповедь освобождения, а проповедь стеснения.

Глупцов пугают страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» — одних этих слов достаточно, чтоб заставить любого глупца полезть на стену. Он не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не разрушивши старого. Он изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных общественных комбинаций и не хочет верить, что в этих-то невольных союзах и комбинациях и кроется корень всех его недовольств и что устранить эти недовольства нельзя иначе, как устранив причины, их породившие.

А между тем «ломать» — значит только ломать, и ничего больше. Вредный или полезный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Всего более приходится слышать в этом смысле упреков в тех случаях, когда предмет ломки составляют давно установившиеся обычаи. «Ничего не пощадили, даже...» — вопиют ловкие люди, а за ними и уличные кумушки. Но как ни жалостны подобные вопли, справедливость требует сказать, что давность обычая еще не обусловливает его непогрешимости, а нередко зависит от целой сети дробных причин, почти неуловимых для невооруженного взгляда. Немаловажную роль здесь играют леность, равнодушие, неумение выйти из ложного положения, страх неизвестности. Поэтому, ежели ложность давнего обычая уже сознается, и ежели при этом находится человек, который умеет формулировать это сознание, то этого человека следует называть не проповедником анархии, а ревнителем и устроителем человеческих судеб. Христианство сломило языческий мир — ужели тут было хоть что-нибудь похожее на анархию? Разрушенное на наших глазах крепостное право — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент

гражданского ведомства, отмененный порядок приема простых писем на почте... все это анархия, анархия и анархия? Так умейте же, наконец, обобщать, о люди, боящиеся страшных слов! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента гражданского ведомства дойдете и до других более сложных комбинаций, которые, несмотря на то что носят другие названия (названия-то собственно и путают вас), имеют сущность совершенно тождественную, и потому столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что отыскивание признаков анархии в таком движении живой мысли, которое стремится дать формам человеческого общежития устойчивость, обеспечивающую индивидуальное и общественное довольство, есть дело не только несправедливое теоретически, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в ее корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы нередко проходим мимо этого зрелища с полным равнодушием, как бы говоря этим, что так тому делу и следует быть. Но это свидетельствует только об известной степени притупления нашей восприимчивости, притупления, произведенного обыденностью зрелища, однако ж никто, спрошенный в упор, конечно, не будет столь бесстыден, чтоб объявить во всеуслышание, что хлеб, смешанный с лебедой, есть нормальная пища второго или третьего сорта людей. Так будемте же последовательны, милостивые государи, и не забудем, что лебеда и мякина существуют не в одной человеческой пище, но разлиты всюду. Что мы привыкли видеть эти вредные примеси, что зрелище их не потрясает нас до глубины души — пусть так. Но когда дело доходит до правильной и хладнокровной их оценки, когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедою, мы поступаем, во-первых, бесчестно и, во-вторых, во вред самим себе, называя этих людей анархистами и предавая их на поругание толпе.

Посмотрим теперь, не справедливее ли применить слово «анархия» в совершенно обратном смысле, то есть признать анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти ему некуда. Нет сомнения, что разрешение этого вопроса несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в посрамлениях, глумлениях, ломках и разрушениях.

Прежде всего взглянем на это дело с точки зрения теоретической.

Если б можно было представить себе, что общество — не говоря уже о современности,— хоть когда-нибудь, в отдаленном будущем, получит право сказать себе, что все предстоявшие ему задачи сполна разрешены, тогда, конечно, возможно было бы допустить и осуществление так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас»,— сказал один из лучших людей нашего времени (Пьер Леру́, «De l'Humanité etc»[1]), и хотя изречение это само по себе истинно, но истина, в нем заключенная, имеет смысл чисто иносказательный. Действительно, человек так устроен, что ему непременно хочется золотого века, и он во всяком признаке прогресса видит его приближение. В этом смысле нынешняя, например, акцизная система может быть названа золотым веком относительно прежней откупной системы. Но все-таки это золотой век относительный, допускающий возможность бесконечного ряда других подобных же золотых веков и в том числе, например, продажи вина совсем безакцизной. Что же касается до золотого века абсолютного, до той минуты успокоения и духовного и материального равновесия, когда человек найдет подлинное основание счесть себя опочившим от трудов и исканий, то предположение о таком порядке вещей не имеет за собой ничего верного и решительного. По крайней мере, до сих пор творчество природы, как и личное творчество человека, представляются нам растяжимыми до неизвестных пределов. Природа заключает в себе неистощимый родник материала, подлежащего исследованию и извлечению из недр неизвестности; человек, в свою очередь, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая сумма сил природы еще не представляет для человека таинства? кто может сказать, какая часть собственных сил и способностей человека вполне открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен и произведений, о котором так положительно свидетельствует наука, доказывает с полною очевидностью, что арена человеческих исследований не только не суживается, но постепенно все больше и больше расширяется. Завершится ли когда-нибудь этот прирост и что станется с нашей планетой, когда он завершится? Будет ли она свидетельницей общего блаженства или, исчерпав все свое содержание, обветшает и погибнет? — обо всем

[1] «О человечестве и т. д».

этом можно только гадать, но для утвердительных ответов никаких данных представить нельзя.

Таким образом, с точки зрения теоретической и отдаленного будущего, вопрос о всеобщем успокоении разрешается скорее отрицательно, нежели утвердительно. Что же можно сказать о разрешении того же вопроса в применении к современности?

Стоит только оглянуться кругом, чтобы понять, до какой степени велико самообольщение тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигнувшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько поставленных судьбой вне пределов истории! сколько одаренных природой и не знающих, какое сделать употребление из этих даров! сколько препятствий для проявления самых законнейших требований человеческого существа! И все это обделенное, оскорбленное, бродящее во тьме не просто прозябает и бродит, но хоть инстинктивно, а понимает, что где-то брезжит свет и что история не лишена примеров, свидетельствующих, что люди даже обделенные, по временам достигали лучей этого света! Естественное ли дело, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Естественно ли, чтоб люди, стремящиеся к свету, отвернулись от него, не употребив наперед всевозможных усилий, чтоб достигнуть его?

Пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести, пусть поставит он самого себя за пределы истории и тогда, только тогда пускай ответит на этот вопрос.

Но ловкие люди и тут отыскивают лазейку. Мир совершенствований и открытий, говорят они, есть мир науки. Там вы можете вполне свободно исследовать, обобщать, делать какие хотите выводы (не совсем, однако ж, господа, вспомните историю с «пагубным материализмом»), но не касайтесь самой жизни и тех исконных основ, на которых держится современность! Таким образом, отделяя мир науки от мира практики, ловкие люди предполагают застраховать последний от вторжений первого; или, говоря другими словами, они выражаются так: пусть науки идут вперед, как им угодно, а мы, люди насущного дела, останемся особняком, при прежних формах жизни!

Однако эти люди ошибаются очень грубо. Не говоря уже о том, что возведение перегородок между наукой и жизнью есть дело, по самому своему существу бессмысленное, не имеющее разумной цели, нельзя упускать из вида, что в мире вообще нет ничего, что могло бы долгое время продержаться

особняком. Насильственные попытки организовать подобное особничество насильственно же и кончаются. Несмотря на то что уличная толпа с трудом усматривает связь между жизнью науки и ее собственною обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю так очевидно, что не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности пользуется плодами освобождения от уз, которое приносит с собой наука. Он видит перед собой довольство сравнительно большее, нежели то, которое видел столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных и ясных отношениях к силам природы, ощущает себя свободным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. Естественно ли, чтоб даже при самой сильной степени равнодушия он наконец не понял, что ключ ко всем тем неудобствам, которые подчас так сильно заставляли его страдать, совсем не так хитер, как это ему до тех пор казалось? А как только он поймет это, так сразу разорвутся старые мехи и в прах разлетятся все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. п.

[Все это до такой степени справедливо, что даже сама жизненная практика, несмотря на господствующую роль ловких людей, постепенно поступается целостью форм, завещанных преданием, дает место новым формам и элементам и узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом числились не имеющими рода и племени, и, поступая таким образом, жизненная практика вовсе не делает ничего необычайного, а только следует закону фаталистического самосовершенствования, заключающемуся в ней самой.

Спрашивается теперь, какое название всего справедливее применить к тем ловким людям, которые идут наперекор существеннейшему закону даже той туго поступающейся жизненной практики, которая составляет основу истории? Очевидно, что их-то именно и следует назвать разрушителями, подрывателями, попирателями, анархистами,— то есть присвоить им те самые клички, которые они так щедро расточают людям, совершенно непричастным никаким попраниям и разрушениям.

Да; это единственные разрушители, которых общество должно опасаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать, как на зачумленных, единственные мечтатели, никогда не могущие выбиться из пустоты. У них одних нет руководящих начал, на которые они могли бы опереться, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным ужасами неизвестности и тьмы.

Пусть говорят они, что и у них имеются свои идеалы, пусть называют себя консерваторами и охранителями общественного порядка — их идеалы, осужденные историей, могут привести за собой лишь пагубу и истощение общественных сил, а консерватизм их может быть выражен следующим характеристичным стихом:

Eteignons les lumières et allumons le feu...][1]

И когда эти праздные и самолюбивые утописты, мечтающие повергнуть весь мир в оцепенение, одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда-то действительно наступает постыднейшая из всех анархий, о которых когда-ли<бо> свидетельствовала история.

Замечательно, что никогда анархисты мнимые, то есть сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такою ужасающею бесповоротностью, с какою всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны! Нет спасения от одичалого охранителя, да и не для чего искать его! Искать спасения значит только обрести лишнее унижение, лишнюю подго<то>вительную жестокость к жестокости последней, окончательно вырывающей жизнь! Ибо анархия успокоения изобретательна до утонченности в своих истязаниях. Она любит видеть судороги и тоску своей жертвы, и только когда натешится вдоволь зрелищем этих судорог, только тогда отсекает ненавистную ей голову.

Нет ничего отвратительнее, как зрелище торжествующей анархии консерватизма. Если б оно представляло собой только голую травлю — как ни позорно такое явление, его можно бы еще снести. Ужасна игра, ужасно привлечение всего человека, не только публичного и политического, но и частного со всеми его, до него одного только относящимися, слабостями и пристрастиями. Заподозривается, например, NN в анархических стремлениях — натурально, его обыскивают, арестуют (в Париже это нынче не редкость). При обыске ничего компрометирующего в политическом смысле не отыскивается, но взамен того отыскивается переписка любовного содержания. И вот под предлогом интересов обществен-

[1] В рукописи зачеркнуто.

ного спокойствия начинается выемка человеческой души. Что значит такое-то слово? что скрывается под таким-то выражением? Анархист-выемщик сам очень хорошо понимает, что все слова, которые он читает, ничего больше не значат, кроме того, что заключает в себе прямой их смысл, но он не останавливается перед этим соображением, ибо ему нужны судороги стоящей перед ним жертвы, нужна ее агония. Не добившись достаточного повода, чтоб вырвать жизнь у преследуемого, он обесчестит его, уязвит в самой дорогой его привязанности и только тогда прекратит свои истязания, когда увидит, что вся сумма гнусностей, которые были в его распоряжении, уже истощена.

И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, в которое в глубине души не верит ни один из одичалых, будь он даже самодовольнейший из всех утопистов этой паскудной корпорации. Пусть же будет замечен этот факт, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к этому, что жертвами консервативной анархии являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, исчезновение их непосредственно посекает жатву будущего, то сила и значение этого факта сделается для нас еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются уличные утописты, наконец достигнуто — в чем же может заключаться сущность его? В том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми теми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? В том ли, что, не овладев еще счастием, оно хоть издали увидит мерцание его животворного луча? В том ли, наконец, что оно найдет себе руководящую нить, которая приведет его к выходу из терзающих его колебаний?

Ничего подобного не даст это хваленое успокоение, ибо прежде всего оно не согласно с природой вещей. Достигнет ли человек счастия или не достигнет, все-таки оно впереди, и, следовательно, для того, чтоб достигнуть его, надобно идти к нему, а не отворачиваться от него. Успокоение, в том смысле, как его пропагандируют революционеры-консерваторы — это прекращение жизненного процесса, и ничего больше. Когда жизнь застывает, то люди близорукие или притворяющиеся таковыми уверяют, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и больше идти нѐкуда. Но пусть они разуверятся, ибо в действительности не достигнуто ничего, кроме анархии, то есть

господства величайшего из насилий (можно ли назвать иначе как насилием факт прекращения естественного течения жизни?), какое только может представить себе человеческий ум.

Обделенный не протестует; униженный не поднимает головы; поставленный вне пределов истории не выказывает поползновенья прорваться за стоящую перед ним преграду. Все это правда, и по наружности кажется весьма успокоительным. Но то неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая.

Когда общество не предъявляет никаких требований, когда в нем не слышится внутренней работы разложения — можно сказать наверное, что это общество, доведенное до отчаяния и упершееся в глухую стену. Девиз такого общества: «не твое дело».

Можно ли придумать руководящее начало более анархическое, более противное человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не сомнителен, что даже поборники консервативной анархии начинают понимать, что невозможно серьезно убедить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался везде и в самых широких размерах, когда он регулировал собою всю жизнь; но плоды этой бессмысленной сатурналии даже тогда оказались слишком горькими, так что в настоящее время нет даже идиота, который допускал бы применение этого принципа во всей его чистоте. Тем не менее отвергая девиз в его наготе, консервативная анархия отнюдь не отказалась от его сущности, а только дала ему другую форму, которая вполне сохранила весь его букет. Она разделила жизнь на две независимые друг от друга половины: дозволенную и недозволенную, и в первой заключила мелочи и подробности, то есть все то, что в действительности не дает никакого удовлетворения, во второй — главные основы жизни, то есть все то, что действительно развязывает руки человеку и дает ему возможность сознавать себя человеком. Затем она сочла все требования уже удовлетворенными, в чем и выдала самой себе похвальный аттестат. Когда же ей доказывают, что девиз «не твое дело» все-таки не утратил своего первенствующего значения, она оскорбляется, перечисляет по пальцам все возможные обрывки и в заключение кричит: анархия!

А между тем в этом изобилии мелочей и подробностей именно и заключается анархия. Охваченный со всех сторон свитою миниатюрнейших интересов, человек теряет способность обобщения и принимает за действительное благо то, что в сущности составляет ничтожнейший атом его, не имеющий никакой силы благодаря уединенному положению, в котором он находится. Мелочи и подробности — это, конечно, не прямой и безусловный отказ, но это спекуляция на человеческое легкомыслие, это отказ, сопряженный с изворотом. Подробности сыплются пригоршнями, а жизнь не имеет ни широкого основания, ни великих целей и идеалов... И путается человек среди этого множества подробностей и дается диву, что вот он и то получил, и другое получил, а все ему неудобно, неловко, неспоро, все он не знает, помилует ли его завтрашний день или не помилует...



НЕОКОНЧЕННОЕ

<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА...>

Кто не едал с слезами хлеба,
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упадал,
Тот
и т. д.

Так гласит Гёте в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные; нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие.

Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат [1]. В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования,— в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страждет (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности

---

[1] Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

своего положения), ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему, что родится на свет уже заранее заклейменное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их.

Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ — последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!», не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животненные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишенною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепые шараханья из стороны в сторону? Как снизойти до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особливо если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей и почему оно произо-

шло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной наклонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.

И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное — предположим, хоть историю...

Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы,— до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обра-

щались к толпе и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифицировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому, что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недосягаемой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастию его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.

Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть, и наше собственное.

Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные), и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бес-

приютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати — двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особливо когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.

Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще «не пропасть как собаке», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга,— вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.

И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это, право, сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели...

Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы — вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого <человека>, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими по-

ложениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но, увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений!). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.

А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранит сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.

— Куда я теперь денусь! куда я денусь-то! — бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.

Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, *в одну минуту* рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно, не получала и земли (которую, впрочем, и обработать не имела средств); мир, с своей стороны, на вдовьи слезы смотрел тупо.

— Да, добышник был, царство небесное! — сказал дядя Миняй.

— К хрестьянскому делу радельщик был! — добавил дядя Митяй.

И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой — медленная голодная смерть.

Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно,

а должна мыслить только о том, что оно неизбежно и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми!

— Что ты теперь будешь делать? — спросил я эту самую бабу.

— А что делать! стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! — отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением — это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.

Все эти Митяи — народ вовсе не злой и даже не испорченный; они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастие совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку, с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?

Повторяю: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее вглядится в толпу, и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:

Кто не едал с слезами хлеба

и т. д.



ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ЛЕГКОВЕСНЫЕ

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Периодические заметки

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ.— ЛЕГКОВЕСНЫЕ.— ИХ ТОРЖЕСТВО, ОПАСЕНИЯ И ОКОПЫ

Каких-нибудь три-четыре года времени — и как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головой! Сколько, напротив того, выползло на свет таких, которые и не надеялись когда-нибудь покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!

Незрелость мысли, пошлость и животненность стремлений, отсутствие идеалов, ложные страхи, коварство, подозрительность,— какая горькая, сжимающая сердце картина! И во главе всего «Belle Hélène» и всеобщий исступленный канкан...

Я знаю, что многие даже сомневаются, может ли время с подобными признаками считаться достоянием истории, что многие думают, что это не более как исторический провал, на дне которого копошатся велегласные русские публицисты. Я знаю, вместе с тем, что подробный анализ современных общественных интересов в значительной степени оправдывает такой безотрадный взгляд на переживаемое нами время, [что это как будто совсем и не «время» в историческом значении этого слова, а, скорее, «мрак времен»]... [1] Я знаю все это и за всем тем верю и утверждаю, что многое в этом мрачном воззрении или преувеличено, или основано на недоразумении.

---

[1] В рукописи зачеркнуто.

Современная эпоха имеет не только триумфаторов, но и побежденных; шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих и вопиющих, и таким образом общий гимн торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие. Если бы современный триумфатор прилепился всеми инстинктами своего существа исключительно к «Belle Hélène» — я согласен, это было бы зрелище вполне безнадежное. Но этого нет. Современный триумфатор — бельеленист по преимуществу; он легкомыслен, легковесен и любострастен до бесконечности; но вместе с тем он боится. Он боится, чтоб у него не отняли то мясо, на которое он так плотоядно заглядывается; он боится, чтоб, сверх ожидания, не опустился занавес между ним и тою растленною наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения. Поэтому он озирается и ищет кругом тех ужасных людей, которые, злоумышляя против «Belle Hélène», тем самым посягают на его единственную духовную пищу. Сверх того, как ни привлекательно наслаждение нагим мясом, оно слишком олимпически однообразно, чтобы удовлетворить вполне человека даже самого легковесного. И вот в триумфаторе сама собой рождается потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он с мрачною подозрительностью взглядывается в своих ближних и, как разъяренный самец гориллы, рвет зубами все, в чем видится помеха для его плотоядности.

Как ни ужасен этот признак, но в то же время он заключает в себе семя надежды. Если есть необходимость озираться, [преследовать и подозревать],— стало быть, не все еще предано непробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не дает ему окончательно обрюзгнуть и умереть.

Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Если мысль цепенеет при виде крашеных гробов, громко величающих себя столпами мира, то та же самая мысль сумеет даже сквозь сплошную массу живых могил провидеть иные сферы, иные интересы, иную температуру, иную жизнь. История не останавливается от того, что ничтожество делается на время как бы законом и обеспечением человеческого существования; она знает, что это явление эфемерное, что и под ним и даже рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.

Легковесные люди — герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать; а ежели он весит менее золот-

ника, то это такой блаженный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Пользуясь репутацией общественного столпа, такой человек беспрепятственно проникает во все танцклассы, имеет безграничный кредит в кондитерских и ресторанах и обольстительным своим видом зажигает неугасимый огонь в сердцах дам. Физика торжествует; легкие тела поднимаются вверх; тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии, во всех профессиях; они цепляются друг за друга и образуют такую густую цепь, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий. Еще очень недавно вы видели этих бесконечномалых, еще недавно вы думали, что это не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя внимание, что от них нужно было отмахиваться. Теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собою солнечный свет. Их жужжание не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И, что всего страшнее, за этими золотниками уже виднеются в перспективе десятые и сотые доли золотников, которые тоже не заставят себя ждать и своим бесконечнейшим ничтожеством победят даже бесконечное ничтожество золотников.

Кажется, трудно было вообразить что-нибудь ничтожнее какого-нибудь Феденьки Козелкова. Болтливый глупец, назойливый нахал, пустопорожний носитель либеральной галиматьи, он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтобы сделаться львом своего времени,— и что же? Он оказался слишком тяжеловесен, слишком глубокомыслен, слишком дальновиден и прозорлив; он подавлял золотников основательностью и вескостью своих суждений — и вот бесконечномалые скучились, составили комплот и свергнули-таки Феденьку с его пьедестала!

Я встретил его на днях на улице; по-прежнему в нем совершался процесс болтания, по-прежнему он смотрел фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и приниженным.

— Ты видишь? — сказал он мне, указывая на рой бесконечномалых, суетившихся тут же у наших ног,— но подожди, то ли еще будет! Эти неизмеримомалые — великаны в сравнении с теми, которые придут на их место!

Затем Феденька заговорил об умеренном либерализме, о своих подвигах на поприще постепенного преуспеяния, о том, сколько ему нужно было осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы дать надлежащее направление молодым всходам общественной самодеятельности и проч.

Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время в первый раз в жизни удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эти речи с зловредным жужжанием золотников и вздыхал... почти плакал. Если б у меня под руками был лавровый венок, то, клянусь, я непременно надел бы его на чело этого пустопорожнего мудреца!

Все проходит, все изменяется. Были идеи — они сменились словами; были слова — они сменились бессвязным любострастным стенанием. Теперь мы жалеем о словах, мы жалеем об этих скудно наделенных внутренным содержанием речах, в которых все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо ежели они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них были, по крайней мере, обрывки идей. Хватаясь за эти обрывки, можно было добиться исходного пункта, можно было даже временно установить бродячую мысль оратора. Это одно уже было драгоценно, потому что давало возможность предъявлять требования, восстановлять колеблющую нить суждения, и мало-помалу, с помощью ангельского терпения приводить оратора к заключениям более или менее человеческим.

Увы! эти драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который доходит до наших ушей, не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных с ней отношениях. Единственное внутреннее содержание этого гула, единственная, если можно так выразиться, мысль его — это непримиримая злоба, это доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нет ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, противна золотнику, уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые делаются равны перед безграничною злобою похотливой легковесности; все они подлежат [преследованию и казни] гонению, потому что они убеждения.

«Легковесный» может чувствовать голод, сгорать от любострастных желаний, может ощущать физическую боль, но мыслить не может. Он изгнал мысль из домашнего своего употребления и на этом изгнании основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется, как он ловко по временам скользит, по временам перескакивает через препятствия, как он подставляет ножки другим, подобно ему, бесконечномалым, как он стремится, цепляется, изгибается... Не думайте, однако

же, чтобы мозговое его вещество было насколько нибудь причастно этому кропотливому движению и чтобы вся эта суета выражала что-нибудь, кроме самого простого физического упражнения; взгляните вперед, и вы убедитесь, что где-нибудь вдали мотается кусок мяса, по поводу которого целым пожаром вспыхнуло вожделение в этом легковесном ничтожестве и к которому вдруг устремились все инстинкты его бесконечно-малого существа. Не подходите к нему в это время: он жирует, а потому зол и может укусить.

Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе; не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже охотно курил в печку, хотя никогда не попадался. Я давно потерял его из вида и вдруг узрел во всеоружии. Оказалось, что он имеет прочное общественное положение, что он испытал в жизни et ceci et cela [1], что камелии от него без ума и что, наконец, в будущем его ожидает блестящая перспектива.

— Какие же твои цели? — спросил я его.

— А ближайшая моя цель — съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане),— сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.

— А потом?

Он несколько изумился моему любопытству, однако ж отвечал:

— А потом — выпить стакан хорошего лафита!

— Да... но не вся же жизнь тут. Вероятно, есть цели, есть убеждения...

В этот раз он взглянул на меня уже не с изумлением, а с строгостью.

— Убеждения, любезный друг,— сказал он мне,— могут иметь люди беспокойные или недовольные. Мы люди покойные и довольные; мы не страдаем так называемыми убеждениями; мы стремимся и достигаем.

Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул буфетчику и вышел, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что же наконец заключается опасного или гнусного в слове «убеждение» и как поступить, если эта гнусность ни под каким видом не хочет вытравиться из сердца? — но он был уже далеко. Я видел только, как сверкала на солнце его круглая гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные ноги.

Я уверен, что в настоящее время он питает ко мне злобу непримиримую и что представься случай, он позабудет все

---

[1] и то и се.

связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.

Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф (из немцев), которого специальность состояла в том, что он ни на одном языке не умел выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него в голове нет «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его — тоже чуть ли не сплошь изукрашен бриллиантами общественного доверия...

— Ну что, как «мизль»? — спрашиваю я его, по старой привычке.

— Мой «мизль» — нет «мизль»! — ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не утерпел и бросился его целовать.

Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, неразумные его товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал потребность мысли; стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете,— и вдруг, какой переворот! «Моя мысль — нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтоб прийти к такому отчаянному афоризму.

Бесстыдство как замена руководящей мысли, сноровка и ловкость как замена убеждения и успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений — вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора. «Прочь мысль! прочь убеждения!» — на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который случайно или по неведению врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми idées de l'autre monde! Его заязвят, зажужжат, засосут, и ежели не покончат навсегда, то, наверное, на долгое время оставят в теле отвратительный зуд!

«Легковесный» встречается всюду, во всех профессиях, во всех кружках так называемого общества. Вы узнáете его по нахальному его взгляду, по искусственной развязности его поступи, по плотоядному выражению улыбки и, наконец, по растленной беззастенчивости его речей. Жаргон этой jeunesse dorée, этого особого, до сих пор достаточно не исследованного вида человека, не просто ничтожен, но положительно посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад неслыханных и нескладных слов, не соединенных между собой никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, но поползновения похоти.

«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость, неспособен, несмотря на то что за все берется, невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. Прикосновение его к какому бы то ни было делу действует тлетворно и разрушительно. Несмотря на это, он успевает именно потому, что нагл и угодлив в одно и то же время, и своею открытой враждой к мысли и убеждению зарекомендовывает себя как человека на все готового. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх и вверх. «Ты взялся за такое-то дело,— говорите вы ему,— но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как за него взялся!» Но он даже не удостоит вас ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с обычным своим простодушным бесстыдством, как будто говорит: «чудак! разве нужно понимать дело, чтобы взяться за него!»

Увы! он прав, потому что успех оправдывает его превыше всех ожиданий, он прав, потому что какое же может быть дело в этом вихре канкана, к которому обращены все стремления общества.

Итак, «легковесный» беззастенчив, невежествен, неспособен, самонадеян... и сверх того чувствен как жаба! Это последнее качество будет со временем подводным камнем, о который вдребезги разобьется утлый челн «легковесного». С одной стороны, удовлетворение чувственности стоит дорого, с другой стороны, количество легких способов добывать деньги с каждым днем сокращается. Лоретки, камелии и кокотки спасут когда-нибудь общество от «легковесных», и вот почему я смотрю на них не только без ненависти, но даже с некоторым умилением. Мне все кажется, что каждая из них вот-вот проглотила одного из «легковесных», и хотя имя им легион, но я знаю, что и прожорливость кокотки ни с чем не сравненна, а потому надеюсь и жду.

Сознавая свое внутреннее бессилие, «легковесный» окапывается. Не сознавать такого очевидного факта он не может; ни для кого не тайна, что «легковесный» есть не что иное, как продукт временного затмения общественного смысла; что он всплыл наверх благодаря роковому сцеплению дурного свойства случайностей; что он нигде не встретит к себе ни сочувствия, ни уважения, потому что и за ним и перед ним — пустота и прах; что рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) он пропадет сам собой, без шума и треска, не оставив на месте

ничего, кроме ничтожной комариной погадки. Но пламень животолюбия горит в нем так сильно, что даже при полном сознании недолговечности он бодрится и строит кругом себя укрепления.

Признаюсь откровенно, я не верю в наши укрепления. Инженеры, что ли, наши несообразительны, но всегда как-то так выходит, что или укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются карточные домики. Оттого, когда нам приходится палить, то мы или палим по своим, или убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время (и довольно продолжительное), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы мечтали даже, что вот-вот окопаемся и от себя, и от целого мира. И что ж? — в ту самую минуту, когда мы с гордостью помышляли, что дело окапыванья наконец совершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке,— вдруг оказалось, что инженеры по всей линии сплоховали и что в бутылку, бог весть откуда, налезло множество совсем ненужных элементов! Я живо помню отчаянье моего учителя географии при этом известии. Он до того понадеялся на родных инженеров, что даже в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно закупоренная» — и вдруг пришлось вновь обратиться к общепринятой терминологии и вновь переименовывать Россию из «бутылки» в «государство»! Я помню много и других отчаяний и изумлений, разразившихся по этому поводу, и с тех пор мною овладело сомнение. Я сомневаюсь не только в прочности, но даже в необходимости укреплений.

Вот, думаю я, уничтожены шлахбаумы — и сердце России не дрогнуло; упразднено крепостное право — и помещики сугубо возвеселились; сдан в архив откуп — и кабаки приумножились; наложена печать молчания на уездные и земские суды — и злодеи не только не торжествуют, но наипаче трепещут; найдена излишнею предупредительная цензура — и Хан с Богушевичем не дремлют! А ведь какие, казалось, твердыни и какого переполоха надлежало опасаться по поводу их падения! И ничего! не только ничего, но даже как будто этих твердынь совсем и не бывало! Это до такой степени поразительно, что можно идти далее и утверждать, пожалуй, что если признáется нужным упразднить даже казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и эту невзгоду Россия выдержит с благоразумием, достойным всякой похвалы.

Когда я соображаю все это, то недоверие к укреплениям и окопам, воздвигаемым легковесными, усугубляется в душе

моей еще более. Мне начинает даже казаться, что это вовсе и не окопы, а так, дрянные песочные стенки, кой-как слепленные собственными слюнями золотников.

Повторяю: я очень хорошо понимаю опасения «легковесных». Представлять собою одно ничтожество — и втайне сознавать это; не обретать в себе ни единой струны, которая служила бы связью с миром живых,— и в то же время сгорать жаждой навязать себя этому миру во что бы ни стало; ежеминутно волноваться вопросом: отчего же меня не бьют? и неужто я, во всех отношениях гадина омерзительная, до сих пор жив? — и в то же время ощущать, как стонет утроба от приливов животолюбия... воля ваша, едва ли найдется положение мучительнее этого! Напуганное воображение невольно вступает в свои права, овладевает всеми способностями человека и начинает рисовать картины самого мрачного свойства.

Мир населяется грубиянами и беспокойными; тысячи ловушек, тысячи засад представляются умственному <взору>; куда ни обернись — везде посягательство, везде брешь, сквозь которую вот-вот ворвется неведомая какая-то сила и беспощадно выметет из жизни все непотребное и позорное... И чем спокойней поверхность окружающей трясины, чем меньше вскакивает на ней пузырей, чем тяжеле и глубже царствующее окрест безмолвие, тем подозрительнее озирается «легковесный», тем сомнительнее представляется ему будущее. Тут самое безмолвие принимает угрожающий характер, самые могилы как будто провещевают. «Нет! Это неспро́ста! не может быть, чтоб меня не били! Это интрига! это недостойный комплот!» — умозаключает «легковесный» и, гонимый страхами, начинает разгораться, разгораться... и злоумышлять.

«Вы меня презираете — хорошо! Я мирюсь с вашим презрением! В сущности, я не претендую ни на сочувствие, ни на уважение; я требую одного: чтоб меня трепетали!» Так вещает легковесный и, вслед за словом, начинает плести бесконечную сеть коварства и лжи, в чаянье опутать ею те остальные проблески истины и добра, которые светом своим оскорбляют его взоры.

Я не нахожу нужным доказывать здесь, до какой степени страхи «легковесных» преждевременны и преувеличенны. Всматриваясь внимательно, я не вижу ни одного симптома, ни одного зловещего признака. Напротив того, все обстоит благополучно. Жизнь, конечно, делает свое дело, не останавливаясь, но никому до сих пор не приходило на мысль укорять ее в таких произвольных движениях, которые оправдывали бы торжество «легковесных» с их темною свитой угроз, преда-

тельства и коварства. Увы! в ней с бóльшим основанием можно отыскать недостаток цепкости и бедность инициативы, нежели поползновение к забиячеству, ее скорее можно укорить в несокрушимом стремлении к застою, нежели в искании бурь. Смирно стоит она, в ожидании, не упадет ли с неба благодать, и ежели таковая упадает, то не бросается на нее с легкомысленностью ребенка, но с осмотрительностью мужа, сейчас оторванного от сна, рассматривает эту благодать и, насытивши взоры, вновь отправляется досыпать прерванный сон.

Против такого скромного течения жизни бесполезны всякого рода твердыни. Воздвигайте укрепления, устраивайте окопы — жизнь не тронется ими, ибо не заметит их. А ежели вдобавок вы начнете еще палить, то положительно перебьете только своих единомышленников. Те единицы, против которых собственно и направляются стрелы, ускользают легче, нежели можно предполагать. Они слишком разбросаны, слишком стоят особняком, чтобы направляемые в них удары были всегда метки и верны. Да притом, и влияние их вовсе не так заметно, чтобы можно было оправдать им необходимость пальбы. Желая достать их, вы истребляете множество неповинных, которые, не понимая причин тревоги, изумленными взорами вопрошают: за что ты дерешься?

Стало быть, первое доказательство бесполезности окопов заключается в том, что они не имеют цели и не вызываются необходимостью. Второе доказательство серьезнее. Жизнь самая скромная может наконец приметить, что против нее умышляется нечто недоброе, и заметить это тем скорее, чем чаще ей напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. С той минуты вопрос: за что ты дерешься? — мгновенно утрачивает всякий личный характер; он переходит из уст в уста, начинает интересовать умы обывателей и, постепенно овладевая их помыслами, становится в укор всем насущным потребностям дня. Обыватель делается самонадеян и даже отчасти нахален; хотя он не протестует против оплеух, но хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких — нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь благодати...

Увы! опыт доказывает, что в этих случаях твердыни сугубо несостоятельны. Во-первых, как ни усердствуйте, а всех перепалить ни под каким видом не разрешается; во-вторых, не следует терять из вида, что в обстоятельствах этого рода всегда играет немаловажную роль измена. Она незаметно пробирается в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца палителей. Поднимается свара и рознь в самом

святилище; возникает мысль о предательстве; оказываются дезертиры; костюм ренегата становится très élégant et très porté[1]. И вот в одно прекрасное утро твердыни накрываются паутиною!

Да; вопрос: за что ты дерешься? — есть один из тех жизненных вопросов, к которым следует подходить с осмотрительностью. Будь я на месте «легковесных», я не только избегал бы случаев, могущих возбудить его, но даже если бы, паче чаянья, он упал ко мне с неба, то постарался бы лаской и вежливым обращением так обворожить его, что он сам устыдился бы своей нескромности и поспешил бы лопнуть вместе с прочими пузырями, от времени до времени появляющимися на поверхности трясины.

Достигнуть этого вовсе не трудно. Чтобы сделать свое торжество прочным, «легковесным» следует только быть скромными. У них есть «Belle Hélène», есть танцклассы, есть канкан — чего еще нужно? Они могут наслаждаться этими благами на всей своей воле,— и конечно, никто не посягнет на их наслаждения, никто не заметит их. Нет спора, что они распространяют кругом предосудительную атмосферу глупости и бездельничества, но ведь и это дело поправимое: стоит только почаще курить. Одним слов<ом>, все шло бы отлично, если б не замешались тут ложные страхи и пагубная самонадеянность. «Легковесные», не довольствуясь скромной долей, для которой они предназначены самой природой, хотят буйствовать, хотят уязвлять, хотят возбуждать вопросы. Злополучные! они не понимают, что есть случаи, когда попасться на глаза уже значит пропасть, исчезнуть, погибнуть.

---

[1] очень элегантным и модным.

ИТОГИ

ГЛАВА V[1]

Первая редакция

К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно принадлежит слово «анархия».

Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что вы делаете? Разве вы не видите, что там, на дне, таится анархия!» Углубляется ли человек в самого себя — говорят, что он делает это неспроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самые скромные требования к жизни,— его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собою другие требования, а затем и анархию. Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою.

Был момент, когда чуть ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии, когда только идиот да отъявленный жулик могли считать себя свободными от клички вроде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было — это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем жестче, что накануне

---

[1] См. первые четыре №№ «Отеч. зап.» 1871. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

она сама считала свое дело проигранным и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне — ликование и скрежет зубов; назавтра — тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! с воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Накануне прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали: вперед! Под рукою они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего,— говорили они,— что молодые люди увлекаются; наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших!» И действительно, вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени и как придется, быть может, вспоминать лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтоб разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и т. д.

В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с такими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и едиными устами вопили: анархия! Из провинцияльных берлог приезжали дикого вида люди, чтоб крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И так как каждый прогрессист есть не что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручнее, нежели запускать зуб в мякоть более или менее неизведанную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство все-таки извернулось и, смело сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: анархия! Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

А между тем, стоит лишь пристальнее вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами слову «анархия», и всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не подлежащих спору.

В самом деле, что такое «анархия» в глазах уличной толпы? Анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец — это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия — это все то, что обусловливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку, независимо от предания, уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе,— все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории разумеет тот или другой учебник, изданный для руководства в семинариях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу истина, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу толпе. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящей средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. Но толпе эти истины дороги, потому что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек, не вполне разлученный с совестью, понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведомо прибегать к обману, и потому останавливается перед таким предприятием. Напротив того,

человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение — смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда собственно клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И — странное дело! несмотря на то что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления даже горшего, нежели то, которое питает их руководителей.

Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных бесчинствах, сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя погибшею, поруганною и посрамленною. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его воздыханий — и вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза; бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое в самом деле этот «авторитет», об охранении которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение; с исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о незыблемости авторитетов есть понятие по малой мере спорное. Он незыблем, покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни; но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани — ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития авторитет представляется в самой грубой форме, или,

говоря точнее, значение авторитета присвоивает себе все то, что может «приказать» и против чего «ничего не поделаешь» — кто же, однако, назовет подобный авторитет незыблемым? Можно ли назвать незыблемыми и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений, как, например: авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и т. д.

Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самою историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете, в смысле принципа, идет здесь речь, а об авторитете «имярек». Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только перемещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихий заменяется авторитетом физической силы, авторитет физической силы — авторитетом силы нравственной и духовной; авторитет бессознательного подчинения природе — авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли «авторитет», как принцип, от подобных перемещений?

Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопочут сторонники «авторитета», приобретается лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно-обязательным. Но очевидно, что эта нравственно обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвояется название анархических Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения, и не произвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтоб удержать мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода на-

чала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй, но, в сущности, эта поддержка будет мнимая и человек, который решится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего, кроме тления и праха.

Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то, как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не вправе видеть в нем ни «анархии», ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь, и он увидит ее усеянною множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа, благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьмы тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда наконец избранные люди не доказывали, что спасения следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно, как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед: анархия! Глупцов пугали страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» — этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин, его породивших. Ломать — это ломать, и ничего больше, вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искони был наполнен людьми, которые пугались страшных

слов. А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое ветхо, негодное негодно,— те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломало языческий мир и утвердилось на его развалине — ужели тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства — все это анархия, анархия, анархия? Нет, конечно, никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обобщайте! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые, в сущности, столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которая стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастие, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически предопределенное положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к лучшему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищу, что оно нимало даже не смущает нас, но это свидетельствует только о нашем притуплении и нимало не обязательно для людей, более чутких к восприятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедою есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастия, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме.

Не справедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? — вот вопрос, которого разрешение несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в попраниях, глумлениях, ломках и разрушениях.

Если б возможно было предположить, что общество — не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь в

отдаленном будущем — получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас»,— сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это все-таки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека, представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий, человек, с своей стороны, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? кто может сказать, какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост и что станется с нашей планетой, когда он кончится? погибнет ли она или будет свидетельницей общего блаженства? — обо всем этом можно только гадать, но утвердительных ответов на эти вопросы дать нельзя.

«Но мир открытий есть мир науки — никто и не мешает последней иметь с ними дело». Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однако ж эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни, как и в природе, нет ничего стоящего особняком, а ежели мы и видим попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственною обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознатель-

ности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения от уз, которые приносит с собой наука. Он пользуется сравнительно бо̀льшим довольством, нежели столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели, благодаря его неразвитости, новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же наконец минута, когда старые мехи разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. д.

Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с бо̀льшим правом можно предположить, что прогресс изменит характер (как он изменяет его и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную), но что он будет продолжать свое действие — это, кажется, не должно подлежать сомнению. Тем менее права на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявлений этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка, но есть последствие условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества.

Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять, до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько людей, до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории! сколько людей, одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами! сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы человеческого существа! Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории.

Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступается целостью форм, завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле

политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом, она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом значит идти наперекор основных ее законов, значит быть нарушителем естественного ее хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.

Да; истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели, при помощи горькой случайности, одерживают в обществе верх, тогда, действительно, наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история.

Замечательно, что никогда так называемые анархисты, то есть сторонники прогресса, не действовали с такою ужасающею жестокостью, с какою всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны. И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто — в чем же заключается его сущность? в том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? в том ли, что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие его колебания? в том ли, наконец, что, не овладев еще счастием, оно увидит мерцание его животворящего луча?

Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение; оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение — это прекращение жизненного процесса, и ничего больше.

Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум.

Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы; поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности они нашли себе удовлетворение. Они все-таки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении.

Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто-напросто гниет под игом бессознательности, или же бредет как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения; это общество, у которого нет другого девиза, кроме одного: «не твое дело».

Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невозможно серьезно уверить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь, но это время принесло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но, отвергая девиз в его наготе, мы тем не менее отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегородок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половины: заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, то есть всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает; в заповедной половине прячется все то, что действительно развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «не твое дело» нимало не утратил своего господствующего значения, мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим: анархия!

А анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами, он находится под игом непре-

рывающегося обольщения, живет не действительною здоровою жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов — отовсюду выглядывают жалкие обрывки, стоящие особняком, не соединенные между собой никакою связующей идеей.

Два фрагмента третьей редакции

1

Недавно один известный адвокат дал очень удачную характеристику тех уличных воззрений, которые до сих пор считаются у нас высшим критериумом для оценки человеческой деятельности. «У каждого из нас,— сказал он,— была такая пора, когда он смотрел титаном, готовым весь мир обнять, пересоздать и превратить в рай; потом пора эта проходит, титан возвращается к обыденным занятиям и становится добродушным филистером». Определение это очень верно, не в том, конечно, смысле, что оно разделяет человеческую деятельность на две неизбежные половины: одну — титаническую, другую — филистерскую, и делает последнюю как бы венцом всей жизни (если б это было так, если б титанство было только ступенью к филистерству, то на это явление самый преисполненный страхов человек не стал бы смотреть серьезно: пускай, мол, молодые люди потитанствуют, все равно все *там* будут!), а в том отношении, что чрезвычайно метко выражает те взгляды, которые на толкучем рынке пользуются безграничным кредитом. Момент, когда человек сознает себя титаном, когда он мечтает «превратить мир в рай» — это момент, когда общество вправе ожидать от него всевозможных бесчинств; напротив того, момент, когда человек, познав тщету общих идей и общих интересов, становится филистером — это момент, когда общество с уверенностью может возложить на него свои упованья. Свежее, сильное, самоотверженное — это погибель; гнилое, дряблое, лукавосебялюбивое — это оплот. Здесь вся сущность уличной доктрины и базис для дальнейших оценок <и> определений. Если вы будете сообразоваться с этой доктриной — вы будете почтены; если вы не хотите сообразоваться, то вольны сделать и это. Но помните, что «не сообразоваться» можно только под личною за сие ответственностью. Не горячитесь, титанствуйте понемножку, и притом так, чтобы можно было заранее хоть приблизительно

определить момент вашего превращения в филистера. Попробуйте потитанствовать не в меру, и вы увидите, что вам даже не дадут возможности своевременно увенчать свою жизнь превращением в добродушного филистера.

2

Так бы оно, конечно, и было, если б ловкие люди и тут не сумели отыскать для себя лазейку. Все дело, как мы сказали, в том, чтоб человек массы понял, где находится его интерес, чтоб он не механически только пользовался освобождением от уз, а сознал как значение этого освобождения, так и источник, из которого оно к нему пришло. Что момент этого сознания, тот момент, когда человек получит возможность критически относиться к насущной действительности и отсюда делать посылки к будущему, рано или поздно наступит для него,— это не подлежит никакому сомнению; но нельзя не сознаться, что путь, который в этом случае ему предстоит совершить, есть путь в высшей степени трудный и загроможденный всякого рода претткновениями. Дело в том, что общие задачи человечества встречаются здесь с задачами ловких людей, имеющими характер совершенно противоположный. Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними, но сверх того они знают и то, что покуда этот момент не наступил, они все-таки остаются полными властелинами той безапелляционной исторической силы, которая одних призывает к действию, других устраняет от нее. И вот с пособием этой силы навстречу человеку массы идет весь арсенал консервативно-анархических орудий: и систематическое утверждение невежества, и прямая угроза, и хитрость, и... даже либерализм. А так как к последнему средству наши патентованные анархисты начали с недавнего времени прибегать с особенною охотой (это и немудрено, потому что даже для них уже стало ясно, что толпа все-таки смотрит на либерализм благосклоннее, нежели на простое оглушение), то здесь нелишне будет рассмотреть, в чем заключается сущность этого пресловутого консервативного либерализма, результатом которого, по мнению ловких людей, должно быть общее успокоение.

Консервативный либерализм — это уступка подробностей и мелочей; это прогресс, изготовляемый в виде обрывков, плавающих там и сям на обширной поверхности жизни; это не прямой и голый отказ, но отказ, сопровождаемый изворотом и заключающий в себе спекуляцию на человеческое легковерие.

Было время, когда наше общество не имело другого девиза, кроме пресловутого «не твое дело». Девиз этот прилагался в самых широких размерах, и притом с такою ясностью, которая не допускала даже недоразумений. «Не твое дело»,— говорилось всем и каждому, и все и каждый понимали значение этого девиза и сообразно с ним поручали свои души и тела тому Неизвестному и Непредвидимому, от которого ни оборониться, ни спастись невозможно. Коли хотите, это был своего рода порядок, правда похожий на сатурналию, но все-таки порядок, которому наивно удивлялись даже люди, не чуждые порядков иных. Все, как один! правой — левой! вперед, назад! — картина такого единства действия соблазняла. Сатурналию разгадали уже позднее, когда созрели плоды этого диковинного порядка, когда пришлось их вкушать и когда они оказались гнилыми и отвратительными на вкус. Это была минута откровения. Многие тогда догадались, что порядок, имеющий в своем основании девиз «не твое дело», хорош только до тех пор, покуда внешние обстоятельства разрешают обществу спокойно гнить и покуда оно само не увидит, что гниение только по наружности спокойно, но в сущности влечет за собой всякого рода унижения и обиды, которые рано или поздно приходится выносить на своих боках. Но, добравшись до этой истины, догадливые люди, вместо того чтоб серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным, впали в сентиментальность, начали целоваться и обниматься друг с другом и ударились в мелочи и подробности, как будто факт всецело разлагающийся может быть сплочен частными спайками и заклепками.

Это была ошибка со стороны догадливых людей, хотя нельзя не сознаться, что впасть в эту ошибку было весьма нетрудно. Откуда вышли наши догадливые люди? — они вышли непосредственно из того порядка, в основании которого лежало «не твое дело». Но такого рода порядок имеет ту особенность, что он не всего человека ошеломляет, а губит в нем лишь общий смысл жизни, делает его неспособным к обобщениям. Человек перестает быть живым членом общества, но право прозябания, право жизненных отправлений не отнимается от него. У него есть отдельный угол, в котором он даже может временно схорониться от оглушений. Время освящает для него этот угол, делает его мерилом всех желаний и надежд в будущем. В пределах его он чувствует нечто похожее на самостоятельность, за порогом — не видит ничего, кроме людей, производящих порядок и, разумеется, принимающих соответственные сему меропри<ятия>. Понятно, что для него это единственная жизненная подробность, с которою он

мирится вполне искренно, и что представление о ее незатейливых удобствах он переносит с собой всюду, куда бы ни кинул его случай или житейская нужда. Не широких удобств общественности требует он от жизни, а мелких и отрицательных удобств домашнего очага, вполне характеризующихся выражением: «я никого не трогаю, не трогайте и меня». Находясь в дороге, он думает: хорошо, кабы не попался встречу насадитель порядка, в лице исправника, кабы не подломился мост, кабы в лесу не напали лихие люди, кабы не притеснил станционный смотритель, кабы поздорову воротиться домой. На базаре он думает: хорошо, кабы не попасться на глаза насадителю порядка, в лице квартального, кабы не обсчитал купчина, кабы не засадили в кутузку, кабы поздорову воротиться домой. Идя в суд, он думает: хорошо, кабы рассудили по-божески, кабы не засудили вконец, кабы поздорову воротиться домой. Все эти подробности мелькают в голове человека беспрерывно, но только подробности, и ничего больше. Связи, существующей между ними, он обнять не может, зависимости их от иного, высшего порядка — тоже. Он не прочь воротиться домой поздорову, но как устроить это — он даже не пытается формулировать, ибо девиз «не твое дело» столь ясен на этот счет, что даже не допускает никаких попыток в этом смысле.

Представьте же себе теперь этого человека, с головы до ног пропитанного доктриною, заключающеюся в девизе «не твое дело», и в то же время догадывающегося, по отвратительному вкусу ее плодов, что девиз, которым он до сих пор руководствовался, есть девиз фальшивый. Что прежде всего представится его уму в первую минуту, как только он почувствует себя свободным от давившего его кошмара? Очевидно, ему представятся те подробности, с которыми он вырос и на которых было утверждено его воспитание. Он припомнит все, что его стесняло, кололо и удручало, и на всякую отрывочно припоминаемую подробность попытается наложить заплату. И будет таким образом починивать то в одном, то в другом месте, без системы по мере припоминания, покуда не встретится лицом к лицу с всеобщею неудачею. Да и тогда он вряд ли отрезвится, а скорее всего, свалит вину на новость предприятия и на собственное неискусство в деле починок.

Вот тут-то, в этом бесплодном бродяжничестве по полю подробностей, и настигает общество так называемый консервативный либерализм. «Вы жалуетесь,— говорит он,— что вам на каждом шагу говорили «не твое дело», что вы не могли выйти из дому, не опасаясь, чтоб вас не настиг насадитель порядка, не обсчитал купчина, не засудил суд. Хорошо, мы

устроим все это для вас таким образом, что вам придется только пожинать плоды. Мы припугнем исправника, заберем в руки купчину и дадим судей, которые изумят мир благородством манер. В одно прекрасное утро вы проснетесь, и все кругом вас будет первый сорт. Но затем живите скромно, помните, что требования ваши удовлетворены, и не явите себя неблагодарными».

Что же такое, однако ж, в сущности, эти подробности, об исправлении которых так радеют наши либеральные консерваторы? Подробности — это такие эпизоды общественной жизни, которые возникают из условий данной минуты, затем изменяются, развиваются или упраздняются тоже согласно с условиями другой данной минуты, и совокупность которых не только немыслимо устроить наперед, но даже и предвидеть нельзя. Это не существенное основание жизни, а только одна из внешних ее принадлежностей, которая вырабатывается жизнью и ею же и устраивается. Дайте жизни широкое и разумное основание, подробности организируются сами собою, сообразно с главными основами жизни. Вот естественный ход вещей, и глубоко заблуждаются те, которые к подробностям хотят применить общие основания. Самый лучший исправник все-таки человек, который имеет свое миросозерцание, может не понимать известных явлений и вообще на каждом шагу впадать в ошибки. Но, кроме того, чтобы основать известный строй вещей на одной уверенности в добросовестности того или другого общественного деятеля, нужно предположить в нем такое напряженное состояние нравственных и духовных сил, которое ни на минуту не изменяло бы самому себе. А между тем опыт представляет нам самые убедительные примеры совершенно противного. Да оно и в природе вещей. Как бы ни был нестомчив исправник, не может же он ежеминутно ловить неблагонадежных и неблагонамеренных людей. Подобно прочим смертным, он чувствует потребность отобедать, погулять, выспаться. Кто же во время этих естественных жизненных отправлений будет исправлять его обязанности? Или же на сей раз временно допускается анархия?

Таким образом, когда либералы-консерваторы делают уступки относительно мелочей и проходят молчанием главные основания жизни, они поступают совершенно наоборот естественному ходу вещей. Понятно, что и результат бывает совершенно обратный, так что иное либеральное предприятие, по наружности сулящее бог весть какие последствия, в сущности разрешается совершенно ничем. Прекраснейший судья может, сколько ему угодно, оставаться прекраснейшим судьей, и ежели он очень наивен, то будет не без горестного изумления

замечать, как прекраснейшие дела возникают и разрешаются в обществе, не заглядывая в его камеру. Если же он не наивен, то поймет, что прекраснейшим судьею ему даже быть невозможно. Точно такая же участь ожидает и прекраснейшего исправника, если он, в разгаре своих прекрасных действий, вдруг услышит простое и короткое слово: довольно! На первых порах он, быть может, усомнится, но подтверждение не замедлит, а за ним, конечно, не замедлит и тот акт, который так верно характеризуется русскою поговоркою: на все махнуть рукой.

Да; «махнуть на все рукой» — вот единственный исход всевозможных либерально-консервативных затей, и, к сожалению, мы собственным опытом испытываем на себе всю тяжесть такого исхода. Нет человека, сознательно относящегося к жизни, который не сказал бы себе это, который не смотрел бы на проходящие перед его глазами факты, как на марево. Исключение составляют или люди, специяльно занимающиеся уловлением анархии, или же нищие духом, которые, погрязши в подробностях, совершенно утратили способность возвышаться до общих идей. Для первых — это вопрос самозащиты, вопрос ограждения их личных интересов от наплыва действительно либеральных стремлений; для вторых — это просто вопрос умственной их ограниченности, на которую не может действовать даже неуспех их усилий.

Поэтому, когда говорят, что уступка мелочей и подробностей есть не что иное, как спекуляция на человеческое легкомыслие, что это тот же отказ, но сопряженный с изворотом; когда утверждают, что при господстве подобных уступок девиз «не твое дело» нимало не упраздняется; когда, наконец, доказывают, что в изобилии мелочей и подробностей заключается злейшая из всех возможных анархий, ибо человек, охваченный свитой миниатюрных интересов, теряет из вида великие жизненные цели и принимает за действительное благо то, что, в сущности, составляет лишь ничтожнейший атом его, не имеющий силы, благодаря своему уединенному положению; когда говорят, утверждают и доказывают все это, тогда говорят, утверждают и доказывают истину, уяснение которой составляет самую насущную потребность общества, утратившего представление об общих основаниях жизни.

А эта истина влечет за собой другую истину: указание действительных анархистов, разрушителей и попирателей, в лице либералов-консерваторов (увы! нынче у нас уж нет просто консерваторов!), идущих наперекор естественному ходу жизни, подрывающих ее истинные основания и отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам. Вот

единственные разрушители, которых общество должно остерегаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать как на врагов своих, единственные утописты, вращающиеся в пустоте и бессильные когда-либо выбиться из нее. У них одних нет руководящих начал, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным неизвестности и тьмы.

И когда эти праздные и самолюбивые мечтатели одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда зло делается единственным двигателем человеческих действий и ненависть — единственным регулятором общественных отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ



Вводная заметка —
С. Д. Гурвич-Лищинер, Л. М. Долотовой, М. А. Соколовой, К. И. Тюнькина

Подготовка текста и текстологические примечания
Л. М. Долотовой — «Признаки времени», «Испорченные дети», «Итоги», отд. «Из других редакций» и *М. А. Соколовой* — «Письма о провинции», «Годовщина», «Добрая душа», «Похвала легкомыслию», отд. «Неоконченное».

Комментарии
В. В Гиппиуса — «Похвала легкомыслию»; *С. Д. Гурвич-Лищинер* — «Признаки времени», «Письма о провинции», «Годовщина», «Добрая душа», «Итоги», «Кто не едал...»; *С. А. Макашина* — «Испорченные дети».

В настоящий том входят художественно-публицистические произведения Салтыкова, создававшиеся в основном в конце 60-х — самом начале 70-х годов: сборник «Признаки времени», цикл «Письма о провинции», незавершенные циклы «Для детей» и «Итоги», сатира «Похвала легкомыслию», набросок <«Кто не едал с слезами хлеба...»>.

Большинство этих произведений было напечатано или предназначалось для напечатания в журнале «Отечественные записки», перешедшем с 1868 г. под редакцию Некрасова.

В 1864 г., в силу ряда сложных причин, Салтыков был вынужден прекратить работу над продолжением публицистического цикла «Наша общественная жизнь» и устраниться от активного участия в «Современнике» (см. т. 6 наст. изд). Только осенью 1867 г., для переходящих к Некрасову «Отеч. записок» Салтыков задумывает новый цикл — «Признаки жизни», позднее получивший заглавие «Признаки времени». Однако вмешательство цензуры разрушило планы Салтыкова. Из серии предназначавшихся для цикла «фельетонов» он написал лишь четыре. Они составили ядро сборника под тем же названием, в который были также включены произведения, первоначально не имевшие отношения к задуманному циклу, печатавшиеся ранее в «Современнике» («Сенечкин яд», «Русские «гулящие люди» за границей» и др.) или в «Отеч. записках» («Проект современного балета», «Самодовольная современность» и др.). В январе 1868 г. Салтыков пишет первое из «провинциальных писем», обобщивших его огромный опыт крупного администратора, председателя казенных палат в ряде губернских городов. И в дальнейшем работа над «фельетонами» из «Признаков времени» перемежается с работой над «Письмами из провинции» (так же как, впрочем, и над рядом других произведений и циклов, прежде всего «Историей одного города» и «Помпадурами и помпадуршами»). В год выхода первого отдельного издания «Признаков времени и Писем о провинции» — 1869 г. — в «Отеч. записках» начинают публиковаться произведения обращенного к молодому демократическому читателю цикла «Для детей», в котором принял участие Некрасов (цикл

остался незавершенным). Через год на страницах журнала «Искра» за подписью «Посторонний наблюдатель» появляется салтыковская сатира на российский либерализм — «Похвала легкомыслию». И наконец через два года, в 1871 г., Салтыков публикует в «Отеч. записках» четыре главы цикла с многозначительным названием «Итоги», задачей которого было широкое политическое и философское обобщение десятилетнего пути России после 19 февраля 1861 г., обобщение с учетом важнейших событий европейской истории (последнюю, пятую главу не удалось опубликовать из-за цензуры).

Основное общее содержание произведений, входящих в настоящий том,— художественно-сатирическое и философско-публицистическое обозрение социального, экономического, политического и духовно-нравственного состояния России после «великих реформ», анализ плодов и итогов этих реформ: крестьянской, земской, судебной.

Результаты реформ были неутешительны, экономика страны, прежде всего сельское хозяйство, оказалась в тяжелом положении, на общественно-политическую сферу наложило печать засилье реакции. Весной 1868 г. Салтыков в одной из рецензий так охарактеризовал современную жизненную ситуацию: «...С одной стороны, общественное мнение, забитое и приниженное <...>, несмелые порывания к чему-то лучшему, мучительные сомнения <...>, неудовлетворенная жажда света, истины и добра, с другой стороны, торжествующее сонмище грызунов-шалопаев, сонмище самодовольное, самоуверенное, пользующееся, не доступное ни для каких колебаний,— трудно себе представить что-нибудь более горькое, более способное возмутить мысль...» [1] Салтыков вскрывает истинные мотивы поведения в этой обстановке как представителей правительственной администрации, власти, так и многочисленных социальных и политических групп («партий»). Он хочет уяснить общественные идеалы, руководящие деятельностью этих групп, он «исследует» положение «толпы» — народной массы, ее возможности, пути и способы пробуждения ее к сознательному историческому действию. Ставится и вопрос о судьбах русского освободительного движения, о необходимости выработки новых методов борьбы, о роли молодого поколения демократической интеллигенции в новых условиях.

В жанровом отношении произведения настоящего тома отличаются значительным многообразием: рецензия-пародия («Проект современного балета»), сатира-гротеск («Испорченные дети»), памфлет-панегирик («Хищники», «Похвала легкомыслию»), публицистический монолог («Самодовольная современность»), лирический рассказ на автобиографической основе («Годовщина», «Добрая душа») и др. Но преобладает очерк-обозрение (как например, «Легковесные») и философско-публицистическая сатира «Письма о провинции», «Итоги»). В произведениях конца 60-х годов кристаллизуются характерные для Салтыкова принципы сатирической поэтики:

---

[1] «В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева» (т. 9 наст. изд.).

создание групповых типов, зоологические уподобления, комическое снижение политики в быт, политическая трансформация портрета и т. п.

Очерки, печатавшиеся в «Отеч. записках» под цикловыми заглавиями «Письма из провинции» и «Признаки времени» (с добавлением к последним нескольких, публиковавшихся вне этой рубрики), в 1869 г. были изданы отдельной книгой — «Признаки времени и Письма о провинции» (СПб.; вып. в свет между 11 и 18 января), которая дважды, в 1872 и 1882 гг., переиздавалась при жизни Салтыкова. Однако издание, выпущенное в ноябре 1872 г. в Петербурге С. В. Звонаревым, совпадает с изданием 1869 г. не только по составу и тексту, но и по формату книги и числу страниц, по шрифту, окончаниям строк и буквенным опечаткам, которые при новом наборе не могли остаться неисправленными. Кроме того, к 1872 г. уже были опубликованы в «Отеч. записках» все очерки, составившие как «Признаки времени», так и «Письма о провинции». Между тем многие из них не вошли в издание 1872 г., его состав повторяет состав издания 1869 г. Все это, а также отсутствие каких-либо сведений об истории издания 1872 г., заставляет предполагать, что для него были использованы остатки тиража издания 1869 г. Не случайно, очевидно, следующее издание, осуществленное в 1882 г., опять названо вторым, а не третьим: «Признаки времени и Письма о провинции. Сочинение М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Издание второе» (СПБ.; вышло в свет между 9 и 15 мая). В этом издании окончательно определился состав и текст сборника «Признаки времени» и цикла «Письма о провинции».

Позднее «Признаки времени» и «Письма о провинции» вместе с первыми четырьмя главами «Итогов» вошли во второй том «Сочинений М. Е. Салтыкова (Щедрина)», вышедший в 1889 г. посмертно. Свидетельств об авторской работе над текстом «Признаков...» и «Писем...» для этого издания нет. Известно к тому же, что в феврале 1889 г. Салтыков считал для себя, по состоянию здоровья, наблюдение за ходом издания «окончательно невозможным» (см. его письмо к Н. А. Белоголовому от 21 февраля 1889 г.). Текст «Признаков...» и «Писем...» в издании 1889 г. не дает по сравнению с текстом 1882 г. ни одной вставки или сокращения. Поправки сводятся, главным образом, к замене одних грамматических форм другими, более современными для конца 80-х годов. Эта правка носит редакторский характер и нивелирует особенности языка Салтыкова. Есть и погрешности, искажающие смысл. В подавляющем большинстве варианты «Признаков...» и «Писем...» в первопечатных публикациях и в издании 1869 г. подтверждают текст 1882 г., а не разночтения 1889 г.

В настоящем издании «Признаки времени» и «Письма о провинции» печатаются по изданию 1882 г. — последнему, выправленному Салтыковым.

Что касается «Итогов», то текст первой — четвертой глав этого цикла, опубликованный во втором томе «Сочинений Салтыкова» 1889 г., несет

на себе явные следы авторской работы и печатается в настоящем томе по этому посмертному изданию. По-видимому, дополнительная работа над текстом «Итогов» была осуществлена Салтыковым еще до ухудшения состояния его здоровья.

Остальные произведения, входящие в настоящий том, либо публиковались при жизни Салтыкова один раз, либо вообще не публиковались. Соответственно они печатаются по журнальным публикациям или по рукописям.

Все сохранившиеся рукописи произведений данного тома хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НИЖЕ В ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ СПРАВКАХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛКАХ

ВЕ — журнал «Вестник Европы».
Герцен — А. И. Герцен. Собр соч в тридцати томах, изд-во АН СССР, 1954—1965.
Г — газета «Голос».
Д — журнал «Дело».
Изд. 1869 — «Признаки времени и Письма о провинции. Сочинения М. Е. Салтыкова (Щедрина)», СПб. 1869.
Изд. 1882 — то же, «издание второе», СПб. 1882.
Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Собр. соч. в двадцати томах, Гос. изд-во художественной литературы, М. 1933—1941.
К — газета «Колокол».
ЛН — непериодические сборники АН СССР «Литературное наследство».
МВ — газета «Московские ведомости».
ОЗ — журнал «Отечественные записки».
РВ — журнал «Русский вестник».
РС — журнал «Русское слово».
С — журнал «Современник».
«Салтыков в воспоминаниях» — сборник «М Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарий С. А. Макашина», Гослитиздат, М. 1957.
СПб. вед. — газета «Санкт-Петербургские ведомости».
СО — газета «Сын отечества».

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

В сборник «Признаки времени» входят очерки 1863—1871 гг. В первопечатных журнальных публикациях они появились в такой последовательности:

1. Сенечкин яд.— *С*, 1863, № 1—2.
2. Русские «гулящие люди» за границей.— *С*, 1863, № 5.

3. Завещание моим детям.— *С*, 1866, № 1.
4. Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя.— *ОЗ*, 1868, № 1.
5. Проект современного балета.— *ОЗ*, 1868, № 3.
6. Литературное положение.— *ОЗ*, 1868, № 8.
7. Легковесные.— *ОЗ*, 1868, № 9.
8. Наш savoir vivre.— *ОЗ*, 1868, № 11.
9. Хищники.— *ОЗ*, 1869, № 1.
10. Сила событий.— *ОЗ*, 1870, № 10.
11. Самодовольная современность.— *ОЗ*, 1871, № 10.

№№ 3, 4, 7 были опубликованы за подписью: *Н. Щедрин*; №№ 10 и 11 — за подписью: *М.М.*; остальные — без подписи.

Очерки (или «фельетоны») №№ 6, 8, 9 были напечатаны в «Отеч. записках» под рубрикой «Признаки времени», которая и стала названием сборника. Мысль о новом (после «Нашей общественной жизни») цикле сатирико-публицистических обозрений современной жизни возникла у Салтыкова осенью 1867 г., в связи с переходом «Отеч. записок» в руки Некрасова. 26 ноября 1867 г. Салтыков в письме спрашивал его: «Не хотите ли, чтоб я писал вам что-нибудь, кроме рассказов, периодически?..» Поддержанный Некрасовым в этих планах, Салтыков 6 декабря сообщает ему: «За фельетон я примусь немедленно, как только получу от вас достоверное известие, что журнал вам разрешен».

Работа над циклом, названным первоначально «Признаки жизни. Периодические заметки», началась в декабре 1867 г. «размышлениями о легковесных деятелях» (№ 7) [1]. Но уже второй по времени создания (и первый появившийся в печати) «фельетон» (№ 6) был опубликован в «Отеч. записках» под окончательным, более конкретным цикловым названием — «Признаки времени. Периодические заметки». По поводу этого названия Салтыков писал впоследствии в статье «Человек, который смеется»: «В нашем журнале печатались и печатаются статьи под названием «Признаки времени», в которых слово «признак» с совершенною ясностью употреблено в смысле, указывающем на известные характеристические черты современности» [2].

Первый, заглавный фельетон цикла (№ 7 списка), в первоначальной редакции имевший подзаголовок «Вместо введения», открывался общей характеристикой натиска реакции, особенно усилившегося в связи с выстрелом Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. Время ее жестокого

---

[1] Из письма Салтыкова к Некрасову от 20 декабря 1867 г.

[2] *ОЗ*, 1869, № 12, стр. 260. См. т. 9 наст. изд. Это пояснение потребовалось в связи с тем, что в статье В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» самому названию цикла Салтыкова был придан смысл «предзнаменовательный и предсказательный». Безобразов пытался доказать, что «подобно охранителям <...> «новые люди» повествуют о знамениях, «признаках времени», в которых видят как бы предвестников еще жесточайших бедствий, угрожающих со дня на день нашему отечеству» (*РВ*, 1869, № 10, стр. 425).

«триумфа» не расценивалось Салтыковым, однако, как «исторический провал». Вопреки «безотрадному взгляду» «многих», он утверждал, что живые силы нации, силы демократии и прогресса, «не изгибли», что «история не останавливается», а торжество «крашеных гробов» эфемерно и преходяще.

При такой политической остроте зачина нового цикла его публикация встретила цензурные преграды, что привело к необходимости переработки и отодвинуло печатание «Легковесных» с начала 1868 г. до осени («фельетон» появился в № 9 уже вне рубрики «Признаки времени», с новым подзаголовком «Картины в натуральную величину»[1]). Когда в конце марта 1868 г. Салтыков убедился в невозможности начать печатание цикла с «Легковесных», он решил открыть цикл вторым из задуманных фельетонов (№ 6 списка), посвященным «литературному положению», отношениям общества и литературы в период разгула реакции, и перенес в него в переработанном виде размышления из первой редакции «Легковесных» об исторических перспективах гибели строя «живых могил». Однако цензурные затруднения отодвинули публикацию и этого «фельетона» до № 8 «Отеч. записок». При появлении в журнале «Литературное положение» (как вслед за тем новая редакция «Легковесных») вызвало раздраженный отклик Ф. М. Толстого, официально наблюдавшего за журналом (см. подробнее в комментариях к названным очеркам).

Цензурные препятствия не только отодвинули последовательное воплощение планов Салтыкова и вынуждали его перерабатывать текст[2], но и, в конечном итоге, привели к прекращению серии обозрений — «фельетонов». Вслед за публикацией «Легковесных» и «Литературного положения», Салтыков написал специально для цикла лишь еще два «фельетона» — «Наш savoir vivre» и «Хищники»,— посвященные торжеству «права силы», морали чистогана в пореформенных общественных отношениях (*ОЗ*, 1868, № 11, 1869, № 1, с соответствующей нумерацией II, III). На этом цикл как таковой оборвался, а напечатанные очерки (то есть №№ 6, 7, 8, 9 списка) составили основу сборника, изданного вместе с «Письмами о провинции» в январе 1869 г. В этом издании в цикл «Признаки времени» Салтыков включил также очерки, печатавшиеся первоначально вне этой рубрики, но дополняющие весьма существенными чертами картину «общих тонов» пореформенной эпохи: «Завещание моим детям», «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя», «Проект современного балета». По тем же

---

[1] Салтыков, видимо, надеялся, что нейтральный, нравоописательный подзаголовок очерка менее привлечет внимание цензуры, чем уже вызвавшая ее настороженность политико-публицистическая рубрика.

[2] О цензурных исправлениях в «Лит. положении» см. на стр. 558—559. Цензурное вмешательство привело к ослаблению политической остроты очерка «Легковесные» по сравнению с первоначальной редакцией (в наст. томе она помещена в отд. «Из других редакций», так как часть ее текста Салтыков использовал затем в других произведениях).

соображениям в «Признаки времени» были введены также переработанные части хроник «Наша общественная жизнь» 1863—1864 гг.: «Сенечкин яд», «Русские «гулящие люди» за границей», «Новогодние размышления», «Картонные копья — картонные речи» (повторено в сб. 1872 г.— см. выше стр. 533; последние два очерка, с более частным полемическим адресом, исключены из *изд. 1882,* см. их текст в т. 6 наст. изд.).

И после выхода *изд. 1869* Салтыков, возможно, не оставлял мысли о продолжении цикла «Признаки времени». На это как будто бы указывает цитированное выше пояснение из статьи «Человек, который смеется», где об очерках «Признаки времени» говорится: «печатались и *печатаются*». Однако под этой рубрикой больше произведений Салтыкова не появилось, хотя круг проблем, связанных с духовной жизнью общества эпохи реакции, продолжал находиться в центре внимания сатирика. Посвященные их анализу в масштабах общеевропейской истории очерки «Сила событий» и «Самодовольная современность», первоначально напечатанные вне этой серии (*ОЗ,* 1870, № 10; 1871, № 10) [1], стали естественным теоретическим итогом «картин в натуральную величину», «заметок» и «размышлений» о «признаках времени». Они вводятся автором в *изд. 1882* в качестве завершающих «Признаки времени». При подготовке издания Салтыков произвел стилистическую правку очерков и ряд сокращений (см. комментарии к отдельным очеркам).

В настоящем томе «Признаки времени» печатаются по составу и тексту *изд. 1882.*

Очерки «Признаков времени» обобщают «характеристические черты» *политической, идеологической и нравственной жизни* России первого пореформенного десятилетия. Это были годы отлива «волны общественного возбуждения» [2], временной стабилизации самодержавно-помещичьей власти, годы нарастания политической реакции в стране. Отмена крепостного права и другие реформы (земская, судебная, а также более частные административные и финансовые) дали некоторый выход развитию производительных сил страны, обеспечили правительству Александра II поддержку либеральных кругов дворянско-буржуазного общества, а ренегатство многих его представителей помогло самодержавию расправиться с революционным движением и постепенно ликвидировать большую часть тех «свобод», которые были вырваны у царизма демократическим натиском конца 50-х — начала 60-х годов. Современная жизненная ситуация, по мысли Салтыкова, давала материал для «сопоставлений <...> поразительных», достойных истинно общественной сатиры [3].

---

[1] Второй из них был задуман как введение в новый (неосуществленный) цикл — о «самодовольной современности», который непосредственно продолжал бы «Признаки времени».

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 33.

[3] См. в т. 9 наст. изд. его рецензию «В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева» (1868).

Атмосфера торжествующей политической реакции воссоздается Салтыковым в первую очередь в собирательном образе новых деятелей правительственной администрации — «легковесных» «героев минуты», с особенным остервенением воюющих теперь против «мысли» (очерк «Легковесные»). В социальной практике привилегированных слоев общества определяющим лик времени выступает безудержное «хищничество» — устремления беззастенчивого грабежа, лишившиеся после реформы всяких патриархальных покровов и местных ограничений. *Нормой ходячей нравственности* становится «умение жить» («savoir vivre»). Как специфическую особенность *идейной жизни, литературных отношений* нового времени писатель выделяет коррупцию и ренегатство, переход части либеральной журналистики — «охочих птиц» — от мелкого обличительства к открытому восхвалению власти, к участию в травле демократических изданий и писателей. Трагизм положения передовой мысли усугубляется распространением безыдейности, равнодушия, общественного «индифферентизма» в широких слоях образованного общества («Сенечкин яд», «Литературное положение», «Самодовольная современность»). За этим первым планом изображения автор всегда дает почувствовать его «исходную точку». Это трагедия нужды и социального «бессилия» масс, осознаваемая им как последствие векового рабства, «обезличения страны» властью «паразитов» («Хищники», «Сила событий» и др.).

Поэтому определяющим в «тонах современной жизни» становится для Салтыкова *живучесть крепостничества.* Этот «тон», особенно отчетливо звучащий в полемике с официозными и либеральными апологетами «великих реформ», объединяет очерки «Признаков времени» с «Письмами о провинции» и «Итогами». Черты крепостничества в «общем строе жизни», родство со старой, крепостнически-бюрократической Россией Давиловых и Дракиных писатель обнаруживает не только в политическом произволе верховной власти, в мыслененавистничестве, но и в крохоборческой деятельности земских «сеятелей» («Новый Нарцисс...»), и в политических притязаниях либеральных Пафнутьевых и Хлестаковых («Завещание моим детям», «Проект современного балета»), и в душах людей, в общественной психологии и морали — в том неписаном «праве силы», которым руководствуется не только «хищничество», но и покорно подчиняющееся ему «бессилие». Своеобразие духа и приемов пореформенного крепостничества является в сатирическом освещении Салтыкова отражением *новой стадии регресса* прогнившего эксплуататорского миропорядка. Этой стадии соответствует старческое водевильно-балетное легкомыслие («Проект современного балета»), растленность нравов и вкусов («бельеленизм»,— см. первую ред. «Легковесных» в отд. «Из других редакций»), распад всех идеологических и моральных основ.

В связи с этим через многие очерки «Признаков времени» проходит образное понятие «торжествующее бесстыжество», мотив «пропал стыд». Постоянное внимание сатирика к этой теме — он посвящает ей в 1869 г. также сказку «Пропала совесть» и впоследствии разовьет ее

в «Современной идиллии» — связано с тем, что во взглядах Салтыкова, моралиста-просветителя, с понятием «стыда», как существенной стороны общественного сознания, связывалась одна из возможностей пробуждения протеста, гражданских устремлений в обывательской массе.

Сатирик в очерках гневно обличает аморализм «хищников» и «гулящих людей», презрительно осмеивает ничтожество современных «триумфаторов» — «соломенных голов», и в то же время охвачен горьким, «мизантропическим настроением», в связи с фактом их торжества. Вместе с тем в сборнике «Признаки времени» уже отразилось преодоление в сознании писателя кризиса, вызванного поражением первого демократического натиска на самодержавие (проявлениями кризиса были, в частности, уход Салтыкова из редакции «Совр.», возвращение на государственную службу и отъезд в провинцию в 1865 г.). Опыт последней службы, наряду с уроками жестокой реакции после покушения Каракозова, окончательно убедили писателя в иллюзорности любых паллиативов и обходных путей к облегчению участи народа, любых отступлений от программы коренного демократического преобразования всего общественного строя.

В поисках конкретных путей к демократии и социализму Салтыков обращается в очерках также к новейшему историческому опыту Европы. В частности, он размышляет над процессом утверждения и распада во Франции империи Наполеона III, «цезаристской монархии в особенно гнусной форме», по определению В. И. Ленина[1].

Исследуя механизм утверждения реакции и пришедшую с ней атмосферу «самодовольной ограниченности», выясняя место реакционных эпох в историческом процессе, Салтыков в преддверии нового подъема освободительного движения приходит к важнейшим для стратегии демократии выводам о вредности «сужения задач» и погружения в мелочи, о губительности идейного компромисса.

Сонмищу «легковесных», «брюхопоклонников», властвующих «паразитов», разоряющих отечество, и либеральному «молчалинству», с его «умеренностью и аккуратностью» идеалов и стремлений, противостоит в очерках Салтыкова мир «высшего и безукоризнейшего патриотизма»: «дети», «мальчишки», подлинно «развитые люди» — революционеры, политическая и общественная самоотверженность которых является истинным двигателем прогресса, даже если она и не увенчалась непосредственным успехом («Сенечкин яд», «Русские «гулящие люди» за границей», «Сила событий», «Самодовольная современность» и другие очерки).

Прозорливость салтыковской оценки исторических заслуг революционной демократии подтверждена историей. В 1911 г. В. И. Ленин писал о шестидесятниках: «Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, по-видимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее

---

[1] В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 344.

нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов»[1].

Прославляя подвиг революционеров, «борющихся с небом», подвиг Чернышевского и коммунаров, Салтыков утверждал в очерках «Признаков времени» мысль (шире она обосновывалась в «Письмах о провинции»), что непременное условие их победы — *пробуждение к сознательному историческому деянию,* к «действительной политической и социальной жизни» *миллионных народных масс*[2].

Сборник «Признаки времени» включает в себя весьма разнородный по жанру материал. Здесь и рецензия-пародия («Проект современного балета»), и художественная сатира, где повествование ведется от лица рассказчика («Завещание моим детям», «Новый Нарцисс...», названный Салтыковым «рассказом»), и публицистический очерк-монолог, в котором развертывается строго логическая система доказательств (например, «Самодовольная современность»).

Однако преобладает в «Признаках времени» своеобразное художественно-публицистическое «исследование» (автор иногда называет его «фельетоном»), в котором логический анализ социально-политических «язв» современности, «моровых поветрий»[3] сочетается с их художественными зарисовками — в характерных диалогах, сценках. Салтыков развивает здесь литературный опыт публицистических хроник «Наша общественная жизнь» (1863—1864), давая, однако, художественно более обобщенную и объемную картину времени. Это прослеживается, в частности, в очерках, явившихся результатом переработки хроник. При переработке часто убирались злободневные пассажи и отдельные выпады, связанные с текущей журнальной полемикой. Благодаря этому те части хроник, в которых рисовалась идейная жизнь, нравственно-психологическое состояние общественных групп в момент начала пореформенной реакции, приобретали новый, укрупненный масштаб обобщения (см., например, «Сенечкин яд» и комментарий к нему).

Еще в «глуповском» цикле «Сатир в прозе» наметился один из характерных новаторских принципов сатирической типизации Салтыкова: создание не лично-индивидуализированных типов, а обобщенно-групповых, «стадных». Он развит в «Признаках времени». Эпизодическими образами бюрократов новой, пореформенной формации (Феденьки Козелкова, Швахкопфа и др.) лишь на мгновение выхватываются отдельные лица из общей характеризуемой однородной массы «хищников», «легковесных», «брюхопоклонников» и т. п. Для ее «с т а д н о й» художественной индивидуализации широко применяются зоологические уподобления («взбесившийся

---

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 179.

[2] См об этом также: Е. И. П о к у с а е в. После крушения революционной ситуации.— Сб. «Н Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», т. 3, Саратов, 1962, стр. 151—180.

[3] См. рецензию Салтыкова «Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик)».— *ОЗ,* 1868, № 9; т. 9 наст. изд.

клоп», «прожорливая щука» и пр.) — то зерно, из которого впоследствии вырастут щедринские «Сказки»[1]. А творческие принципы преломления политического «положения минуты» в психологии и действиях «стадных типов» вскоре получат классическое воплощение в групповых образах «Господ ташкентцев» и «Дневника провинциала в Петербурге».

Большинство очерков «Признаков времени» обратило на себя внимание цензуры, а часть их имела сложную цензурную историю. В общем отчете Главного управления по делам печати за 1868 г., в течение которого появилось в печати большинство очерков, отмечено, что «статьи» Салтыкова, в ряду других материалов «Отеч. записок», принадлежавших перу Некрасова, Г. Успенского, Елисеева и др., «придавали мрачный колорит содержанию журнала, обнажая печальные стороны нашей исторически сложившейся действительности»[2].

Обвинения в «мрачном колорите» предъявлялись Салтыкову и критикой. Так, В. П. Безобразов на материале «Признаков времени» (а также «Писем о провинции») пытался доказать, что «Отеч. записки» в своем недовольстве существующим смыкаются с «реакционной печатью» и «не имеют никакой политической программы»[3]. В этом и подобных выступлениях[4] резко искаженно трактовался отказ Салтыкова от паллиативных мер «исправления» существующих учреждений и вынужденная необходимость для него вуалировать свой демократический и социалистический идеал.

Непонимание идейной глубины сатиры Салтыкова и его новаторских художественных исканий в создании широкоохватной сатирической концепции «времени» характерно и для той части либеральной критики, которая признавала удачными отдельные образы очерков — «легковесных», «хищников» и пр. Автор рецензии на первое издание книги «Признаки времени и Письма о провинции» А. С. Суворин («развязный малый», как назвал его по прочтении рецензии Салтыков в письме к Некрасову от 5 апреля 1869 г.) писал о слабости сатирика там, где «из области образов» он «переходит на почву размышлений»[5].

---

[1] См. об этом подробнее: А. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1959, стр. 69—70.

[2] Цит. по изд.: М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868—1884). История журнала. Литературная критика, Южно-Сахалинск, 1966, стр. 77.

[3] «Наши охранители и наши прогрессисты».— *РВ*, 1869, № 10, стр. 482—483. (Салтыков отвечал на это выступление в статье «Человек, который смеется» — т. 9 наст. изд., в двенадцатом «Письме о провинции» и «Итогах» — наст. том, и в других произведениях.)

[4] Критик «Бирж. ведомостей» *Ч. П.* (А. П. Чебышев-Дмитриев), например, рассматривал брюзжание рассказчика в «Завещании моим детям» против «нигилистов» как выражение позиции сатирика (1873, № 53, 28 февраля, стр. 1). См. также ниже отзывы о «Новом Нарциссе...» в комментарии к нему.

[5] *ВЕ*, 1869, № 4, стр. 984.

В полемике с либеральной критикой подлинное идейно-художественное значение очерков Салтыкова стремилась раскрыть демократическая «Искра» в статье «Щедрин и его критики». «В последние <...> пять лет,— писал в ней Скабичевский, имея в виду, таким образом, и «Признаки времени»,— талант г. Щедрина развился до размеров, которые трудно было и предвидеть десять лет тому назад: из обличителя злоупотреблений становых, исправников и судебных заседателей он возвысился до сатирика общественных нравов». «Сатира г. Щедрина, бесспорно, приобретает с каждым днем все большее общественное значение» [1].

Весьма примечательна оценка «Признаков времени» в среде русских революционеров последующих поколений. М. С. Ольминский, перечитывая «Признаки времени» и «Письма о провинции», писал из тюрьмы сестре, Л. С. Александровой, 14 апреля 1897 г.: «Сила и значение его, вся его душа не в смешных местах, а в длинных «скучных» строчках». 27 апреля он восхищенно отзывался об очерке «Самодовольная современность»: «Конечно, смешного в этом очерке ничего нет; он очень важен для понимания основного, руководящего мотива деятельности Щедрина — требования класть в основу жизни широкие идеалы и протест против мелочей жизни. Обрати внимание на то, что он говорит о компромиссе. В другом месте он выражается еще короче: «Люди, деятельность которых основана на уступках, не уважаются». В этих восьми словах весь Щедрин» [2].

ЗАВЕЩАНИЕ МОИМ ДЕТЯМ

(Стр 7)

Впервые — *С*, 1866, № 1, стр. 167—184 (ценз. разр.—15 янв. и 7 февр.).

Сохранились: 1) Часть наборной рукописи (начало очерка) — копия рукой Е. А. Салтыковой с авторской правкой, обрывающаяся на словах «...откуда восприяли они начало?» (абзац «Вначале земля наша...», стр. 12 наст. тома). 2) Полная корректура текста очерка в гранках *С*.

Очерк написан, судя по содержанию, не ранее середины января 1865 г. Время окончания работы определяется пометой Некрасова на наборной рукописи: «Совр. № 3, цицеро. Набирайте скорее и поместите в эту книжку. Некр.». Так как мартовская книжка «Совр.» прошла цензуру с большим опозданием — 22 марта и 21 апреля,— работа над первоначальной редакцией очерка могла продлиться до апреля месяца 1865 г.

Публикация очерка была отложена, очевидно, по цензурным причинам. И в 1866 г. Некрасов стремился уберечь его от цензурных искажений. 22 января он писал члену Совета Главного управления по делам печати В. Я. Фуксу, жалуясь на плохую подписку на «Совр.»: «...Хотелось бы по-

---

[1] «Искра», 1873, № 12, 14 марта, стр. 1.
[2] «Вопросы литературы», 1960, № 2, стр 168.

местить в 1 № рассказ Салтыкова. Г-н Мартынов <П. А., тоже член Совета Главного управления> нашел, что он может идти; только очень уж много отметил фраз, требующих исключения или смягчения. Может быть, вы взглянете снисходительнее. Будьте добры, просмотрите поскорее этот рассказ. .»[1]

При сравнении наборной рукописи и корректуры с первопечатной публикацией обнаруживается вмешательство цензуры в текст *С*. Слова «ну и бунтовщик» были заменены на «ну и попался» (в *С*) и «ну и шабаш» (в *изд. 1869*); в настоящем издании восстановлен текст наборной рукописи и корректуры *С* (стр. 8 наст. тома). Соответственно слово «бунт» было заменено в *С* на «недовольство»; в *изд. 1869* Салтыков восстановил «бунт» (стр. 8 наст. тома). Следы цензурного вмешательства заметны и в рассказе о штаб-офицере (стр. 16—17); в тексте *С* он именуется — «господин мужественной наружности» и «этот господин», а о службе его, вместо «командовал драгунским полком», сказано: «состоял... (пропускаю: где и чем)»; в *изд. 1869* Салтыков восстановил доцензурный текст.

Также восстановлены были Салтыковым в *изд. 1869* следующие места, изъятые в тексте *С*:

В абзаце «Пойдем ли еще далее?» — «увидишь, что знаменитые твои права <...> простая дыра!» (стр. 9 наст. тома; в *С*: «увидишь, чего стоят знаменитые твои права»).

В абзаце «Не думай, однако же...» — фраза «Я далек <...> для государства отяготительно» (стр. 11 наст. тома).

В абзаце «Когда служитель...» и след.— текст «Когда тебе нужно <...> козлиная борода!» (стр. 12 наст. тома).

Абзац «Оглядываясь кругом себя...» восстановлен в *изд. 1869* с прибавлением только одной, последней фразы (стр. 14 наст. тома).

В абзаце «Заговорил ты, Пафнутьев...» — слова «о том, например <...> жемчужное зерно?» (та же стр. наст. тома).

В абзаце «Сейчас наведут это...» — три начальные фразы абзаца и текст «Ты скажешь <...>. Что́ ж бомбардиры-то наши?» (стр. 19 наст. тома).

В абзаце «Вторым обстоятельством...» — слова «не та дисциплина <...> я так вздумал» (та же стр. наст. тома).

Начиная с абзаца «И после таких-то поступков...» и кончая словами «А прав не было!!» (стр. 20—21 наст. тома). Последний отрывок в настоящем издании печатается с поправками по корректуре *С*: вместо «брат отца Порфирия, прихода нашего иерея» — «отец Порфирий, прихода нашего иерей», вместо «брат иерея» — «иерей» (стр. 20).

Кроме возвращения к доцензурному тексту, в *изд. 1869* Салтыковым была проведена стилистическая правка. В *изд. 1882* очерк перепечатан без существенных изменений.

---

[1] Н. А. Некрасов Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 61—62.

Тема очерка «Завещание моим детям» — социально-политическое бессилие и фальшь олигархической и либеральной дворянской оппозиции 60-х годов, разные оттенки которой персонифицированы в групповом образе Пафнутьевых, «заговоривших о правах».

Одним из конкретных поводов к написанию очерка послужила, возможно, история с адресом Московского губернского дворянского собрания Александру II от 11 января 1865 г. После земской реформы 1864 г. лидеры консервативно-помещичьей оппозиции в этом собрании: Н. А. Безобразов (см. о нем в т. 5 наст. изд. по указателю имен), гр. В. П. Орлов-Давыдов и предводитель дворянства Звенигородского уезда Д. Д. Голохвастов — подняли вопрос о необходимости создания в противовес земству, формально считавшемуся всесословным, совещательного «общего собрания выборных людей от земли русской», где главенствующая роль гарантировалась бы дворянству. Об этом и был направлен адрес Александру II, одновременно обнародованный в газете «Весть» (1865, № 4, 14 января). Однако царь адреса не принял, «Весть» была приостановлена на восемь месяцев, а 29 января последовал «высочайший рескрипт» на имя министра внутренних дел П. А. Валуева, в котором Александр II заявил, что право «постепенного совершенствования» государственного устройства «принадлежит исключительно» ему и «неразрывно сопряжено с самодержавною властью»[1].

Салтыков высмеивает в очерке подобные дворянские претензии на особые «права» — привилегии по рождению, воспитанию и образованию и т. п.[2], показывая в то же время эфемерность этих «якобы прав» в условиях произвола абсолютистской власти — «начальства». Здесь также продолжена начатая Салтыковым в статьях 1863—1864 гг. критика выступлений либерально-консервативной публицистики о роли дворянства в «бессословном» земстве, о «сближении сословий».

Единая суть формально разных оппозиционных программ и требований дворянских идеологов обнажается в «Завещании» характерным для сатиры Салтыкова приемом. Они рассматриваются сквозь призму патриархально-помещичьего сознания. Очерк написан в форме моралистических поучений рассказчика-крепостника, выбитого из колеи реформой 1861 г., инвектив его против «затей Пафнутьевых», забывших о сословной солидарности и единомыслии, ссорящихся между собой, но в сущности «своих». Вместе с тем в сентенциях рассказчика, как это обычно у Салтыкова, звучит голос не только этого персонажа, но и самого писателя. Этот голос обличает крепостническую мораль «бабушки Татьяны Юрьевны» как мораль рабской покорности перед властью и неограниченного произвола над низшими, как

---

[1] «Государственные преступления в России в XIX веке», т. 1, СПб. 1906, стр. 127.

[2] Реакционную кастово-политическую подоплеку этих выступлений разоблачал в те же дни Герцен в статьях «Прививка конституционной оспы», «Поправки и дополнения» (*К*, 1865, лл. 195, 196, 1 марта и 1 апреля.— *Герцен*. т. XVIII, стр 317—324, 327—331).

мораль круговой поруки владельцев живых душ, лицемерную мораль «потихоньку».

Тридцатого апреля 1870 г. Салтыков читал «Завещание» на музыкально-литературном вечере в Артистическом клубе, о чем сообщалось в статье «Арабески общественной жизни» в газете «Новое время» (1870, № 121, 4 мая). Анонимный автор так характеризовал очерк «единственного у нас действительно талантливого сатирика»: «Это философская bouffonnerie, в которой бездна едких парадоксов, шалостей языка, простоты и серьезного современного смеха».

Стр. 7. *Не вдруг* — то есть постепенно, не революционным путем. Намек на выступления либеральных публицистов, обвинявших революционных демократов в желании перестроить общественный порядок в России «вдруг», «в одну минуту» (см. также стр. 51, 589 в т. 6 наст. изд.).

...говорила покойница все слогом госпожи Кохановской, почему даже лейб-кампанцы и те ее как огня боялись, <...> не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши.— Высмеиваются стиль и «идеалы» близкой к славянофилам писательницы Н. Кохановской (Н. С. Соханской), о повестях которой Салтыков написал в 1863 г. большую рецензию (т. 5 наст. изд.). Сам образ бабушки — возможно, также пародия на многочисленных «прекрасных бабушек» с их «благородным простым сердцем» из ее произведений (см., например, «Из провинциальной галереи портретов» Кохановской). Видимо, Салтыков рассчитывал и на ассоциацию имени бабушки со старомосковской барыней Татьяной Юрьевной из «Горя от ума» Грибоедова. Лейб-кампанцы — гренадеры роты лейб-гвардии Преображенского полка, получившие это звание от императрицы Елизаветы Петровны за участие в дворцовом перевороте 25 ноября 1741 г., возведшем ее на престол. В сатирическом словаре Салтыкова «лейб-кампанцы» — наиболее невежественные и грубые, уверенные в безнаказанности своих поступков представители дворянской привилегированности и кастовости.

В тридцатых годах строгий всем приказ был: картофель, вместо хлеба, на полях сеять <...>. В 1849 году велено было бочки с водой на домах держать...— В 1835, 1840 и 1842 гг. в связи с неурожаем и голодом правительством делались распоряжения об обязательных посевах картофеля казенными крестьянами и о поощрении «дворян, отличившихся в разведении картофеля» (см.: Н. В. Пономарев. Исторический обзор правительственных мероприятий к развитию сельского хозяйства в России..., СПб. 1888, стр. 98—100), что вызвало в 1841—1843 гг. «картофельные бунты» крестьян. Распоряжение держать на домах бочки с водой было дано в связи с резким увеличением в 1847—1849 гг. числа пожаров в Европейской части России (см.: И. Вильсон. Статистические сведения о пожарах в России, СПб. 1865, стр. 5).

Стр. 9. *...смущаемый врагами внешними — другими подобными тебе Пафнутьевыми...*— Намек на заграничные издания дворянско-олигархиче-

ской и либеральной публицистики — книги и журналы П. В. Долгорукова, брошюры Н. А. Безобразова, А. И. Кошелева, К. Д. Кавелина и др.

Стр. 11. *...по нынешнему состоянию финансов...* — Намек на крайнее расстройство финансовой системы России. В опубликованной впервые в 1862 г. государственной росписи доходов и расходов дефицит составил более 1,5 млрд. руб. Проведенные министром финансов М. Х. Рейтерном в 1862—1863 гг. для упрочения валюты меры: размен кредитных билетов на звонкую монету, искусственная поддержка вексельного курса и т. п. — истощили разменный фонд казны, а долги банка и государственного казначейства продолжали возрастать (к 1870 г. они достигли 2,5 млрд. руб. — См.: А. А. Головачев. Десять лет реформ, СПб. 1872, стр. 52).

Стр. 12. *Вначале земля наша была пуста <...>. Не было ни общественного здравия, ни общественного благоустройства, <...> откуда все это явилось?* — В этом рассуждении пародийно заострены идеи так называемой «государственной школы» в русской исторической науке, которую возглавлял Чичерин и идеи которой разделяли Кавелин, Соловьев и др. «Гос. школа» видела в монархии решающую устроительную силу истории, создававшую сверху и общество, и национальный коллектив (Б. Н. Чичерин. Опыты по истории русского права, М. 1858, стр. 376). См. также стр. 599—600 в т. 6 наст. изд.

«А кто тебе помог сплутовать <...> козлиная борода!» — Из «Ревизора» Гоголя (действ. V, явл. 2).

Стр. 14. *Пафнутьев прямо говорит, что он не Пафнутьев <...> и что ему надобно с кем-то покумиться!* — Полемический пассаж против призывов либеральной и славянофильской печати 60-х годов к сближению сословий, призывов, часто отличавшихся покаянно-сентиментальным тоном. Подробнее см. на стр. 618 наст. тома.

В одном журнале некоторый птенец <...> печатно высказался: никогда не прощу моей родительнице, <...> что заставляла ребенком сосать грудь свою! — Полемическая стрела в адрес «Русск. слова» и его публициста В. Зайцева (см. в т. 6 наст. изд. вариант к «Литературным мелочам» на стр. 698).

Стр. 14—15. *Каких же еще тебе якобы прав нужно? или ты подлинно захотел тех, которыми пользовался меньший твой брат?* — Меньший брат — крестьянин, по фразеологии либеральной публицистики. В годы крестьянской реформы некоторые представители либерального дворянства высказывались за упразднение сословных привилегий. В таком духе был составлен, например, адрес Тверского дворянского собрания Александру II от 2 февраля 1862 г. Салтыков иронизирует по поводу нестойкости подобных настроений (так, тверское выступление не получило дальнейшего развития и осталось изолированным фактом — см. прим. к стр. 69 в т. 6 наст. изд.).

Стр. 15. *Один Пафнутьев говорит: я лыком шит <...>. Другой Пафнутьев повествует: предки мои в крестовых походах не были, а всё тарелки подавали!* — Сатирический отклик на основные темы послереформенной

дворянской публицистики: самообличения дворянства в корпоративном бессилии и бездеятельности (см., например: А И Кошелев Что такое русское дворянство и чем оно быть должно? — в его книге «Какой исход для России из нынешнего ее положения?», Лейпциг, 1862, стр. 54; передовые И. Аксакова в «Дне», 1862, № 1, 6 января; 1864, № 44, 31 октября; 1865, №№ 3, 6, 16 января и 6 февраля), рассуждения о служилом происхождении большинства русских дворянских родов и т. п. Возможно, имеются в виду, в частности, и памфлеты кн П. В. Долгорукова, разоблачавшие многие фальсификации в генеалогиях русской аристократии — «привилегированных рабов», например, «Notice sur les principales familles de la Russie» (Paris, 1843) и «La vérité sur la Russie» (Paris, 1860, русск. изд.— Париж, 1861; см., в частности, стр. 182—183). С иных, демократических позиций ливрейное прошлое российской «аристократической дворни» обличал в эти годы Герцен (см., например, «С точки зрения ливреи и запяток», *К*, 1863, л. 171, 1 октября.— *Герцен*, т. XVII, стр. 276—278).

...третий Пафнутьев продолжает: черт ли в том, что я Пафнутьев, коль скоро никаких дел мне решать не предоставлено! — Отклик на выступление московской олигархической оппозиции (см. выше).

...одна доблесть: смирение, но и та досталась как бы исключительно в предел господину Аксакову, который хотя и старается, но успеет ... вряд ли! — Возможно, Салтыков иронизирует здесь по поводу восхвалений Аксаковым в «Дне» самодержавия как истинно народной власти и его утверждений о совместимости самодержавия со свободой мысли и слова, что было связано с иллюзорными надеждами Аксакова убедить «свободную власть», что свобода мнений есть ее «надежнейшая опора», ибо «в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства» (передовая «Дня» от 2 октября 1865 г.).

Стр. 16. *Ферлакурство* — ухаживание (от *франц.* faire la cour).

Стр. 17. *...приведете их к одному знаменателю...*— Устойчивая эзоповская формула в сатире Салтыкова для обозначения авторитарности самодержавной власти и ее государственного аппарата, подавления в обществе любых свободолюбивых стремлений, насильственного водворения покорности и верноподданнического единомыслия.

Стр. 18—19. *Хлобыстовские родня Дракиным, Дракины в свойстве с Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучатными самому Гвоздилову. <...> Что ж бомбардиры-то наши?* — Эти фамилии с этимологией, характеризующей зубров-крепостников, будут развернуты в групповые сатирические образы в позднейших произведениях Салтыкова — например, в «Дневнике провинциала в Петербурге», «Письмах к тетеньке», «Пестрых письмах». Образ Расплюева из комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855) получит самостоятельное развитие в «Письмах к тетеньке».

Когда по наиболее вопиющим преступлениям Дракиных представители власти — бомбардиры — возбуждали уголовное преследование, оно, как правило, парализовалось непреодолимой помещичьей круговой порукой

Стр. 20. *Идет, это, стриженая <...> и под мышкой книгу-Бокль держит. <...> Встречаю Пафнутьева сына <...> совсем как козел лохматый.*— Стриженая и козел лохматый — представители разночинной молодежи 60-х годов, демократические вкусы которой вызывали особенное раздражение как у крепостников, так и у либералов. Книга-Бокль — «История цивилизации в Англии» Г. Бокля (1860—1861). В переводе К. Бестужева-Рюмина она вышла отдельным изданием в Петербурге в 2-х томах (1863—1864) и пользовалась в 60—70-е годы большой популярностью в среде русской демократии. 9 января 1865 г. гр. В. П. Орлов-Давыдов в речи в Московском дворянском собрании, сетуя на «попытки с разных сторон потрясти все нравственные основы», назвал в качестве примера таких «попыток» перевод «книг вроде Бокля, отвергающего всякое участие провидения в человеческих делах» («Весть», 1865, № 4, 14 января).

Топка — попойка.

Стр. 21. *Станешь ли ты служительские должности исполнять?* — В этих словах и следующем за ними тексте речь идет о дебатах в либеральной прессе (вызванных подготовкой военной и земской реформ) о необходимости введения всеобщей воинской повинности и о равной раскладке земских повинностей на лиц всех сословий. Салтыков вскрывает подоплеку «демократических» поползновений дворянских либералов: обеспечить «направляющую» роль помещиков в только что народившемся местном самоуправлении.

...мелких денег не было <...> крупных денег не было.— См. прим. к стр. 11.

...вдруг целая масса людей оказалась ни на что̀ негодною, кроме раскладыванья гранпасьянса.— Речь идет о большинстве помещиков, которое в новых, пореформенных условиях хозяйствования оказалось способным лишь «проедать» свои выкупные свидетельства.

Стр. 22. *Личарда* — слуга (из русской редакции рукописной повести «Бова-королевич», появившейся в XVII в. и затем получившей распространение в виде лубочной сказки). Здесь — бывший дворовый, а затем вольнонаемный лакей.

Не стерпел... На другой день следствие.— То есть избил слугу. Дела о рукоприкладстве помещиков, оскорблении ими бывших крепостных рассматривались в первые пореформенные годы мировыми посредниками.

Стр. 23. *...не ропщем, а ждем помилованья. <...> Читал я повесть о многострадальном Иове...*— Намек на то, что крепостники не оставляли надежду на реставрацию крепостного права. Содержание библейской «Книги Иова» составляет легенда о праведнике, у которого сначала были отняты стада, рабы, здоровье и которому потом за веру, терпенье и безропотность бог вернул здоровье и умножил богатство.

...собрались милые люди вкупе <...> ты, говорит, получи жалованья тысячу рублев <...> и ему тысячу рублев...— Об окладах земцам см. прим. к стр. 30.

НОВЫЙ НАРЦИСС, ИЛИ ВЛЮБЛЕННЫЙ В СЕБЯ

(Стр. 25)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 1, стр. 131—146 (вып. в свет 23 янв.).

Сохранился черновой автограф первоначальной редакции очерка, где он озаглавлен: «Новый Нарцисс, или Пагубная страсть к самовосхвалению».

Первоначально очерк предназначался, видимо, для одного из литературных сборников, план которых возник у Некрасова летом 1867 г. [1]. Работа над «Новым Нарциссом...» началась в сентябре или октябре: в ноябре очерк уже перерабатывался. «...«Нового Нарцисса» <...> я значительно сократил и переделал,— писал Салтыков Некрасову из Рязани 19 ноября, высылая ему очерк.— Я полагаю, что нет причин, которые могли бы воспрепятствовать печатанию этой статьи, ибо для всех ясно, в чем заключается делаемый мною упрек». Переделка очерка была произведена, возможно, по совету Некрасова, который мог познакомиться с ним во время пребывания Салтыкова в Петербурге еще в октябре 1867 г. В пользу последнего предположения говорит письмо Салтыкова от 6 декабря 1867 г. Беспокоясь о том, получены ли Некрасовым «два рассказа», он пояснял: «Один из них «Новый Нарцисс», вам известный, несколько переделан».

Приводим один из вариантов чернового автографа.

К стр. 39. Кончался очерк в черновом автографе следующим обращением к «Нарциссу» после абзаца «Сторож, свидетель этого противоестественного сходбища, убегает в смятении...»:

Итак, вот порок, который со временем погубит тебя. Так молод и уж без ума от самого себя; так неопытен — и так самоуверен; так косноязычен — и так болтлив; так мало сделал — и так много нахвастал!

Даже теперь, в эту минуту, когда, по-видимому, весь воздух должен еще быть напоен звуками твоего голоса, вокруг тебя уже царствует полное и обидное равнодушие. Вот здесь, на самом этом месте ты еще вчера трещал, заливался, натуживался и хвастал, а нынче никто не помнит о тебе, никто даже не думает о тебе. Ты — «мрак времен», ты — допотопный остаток, ты — диковина, но такая диковина, до которой никому дела нет, по поводу которой всякий говорит себе: поди <?> ты! ведь уродилась же такая диковина!

Это равнодушие, это общее забвение должны предостеречь тебя. Видал ли ты когда-нибудь воробья, как он работает около обглоданной корки, которую не в силах сразу поднять и унести? Он серьезно принимается за свое дело; он то с одной стороны подскочит к лакомой корке, то с другой присоседится к ней; он несколько раз попробует, несколько раз прицелится, и когда уже действительно овладеет предметом своего сластолюбия, то начинает во всю мочь чирикать и трепыхать крылышками. И бывает тогда радость и торжество великое во всем воробьином царстве.

В этом случае воробьиное чириканье вполне законно. Он добросовестно потрудился над своею задачей, он победил обглоданную корку и, стало

---

[1] См. об этом: Б. Папковский и С. Макашин Некрасов и литературная политика самодержавия.— *ЛН*, т. 49/50, стр. 441; см. также письмо Салтыкова к Некрасову от 26 ноября 1867 г.

быть, имеет полное право поведать миру о своей славе. Но этого мало; его торжеству имеют право радоваться и ликовать и прочие воробьи. В победе своего почтенного согражданина и соворобья они приобретают известный признак, известный принцип, в признании которого глубоко заинтересовано все воробьиное царство. От одной обглоданной корки они делают посылку ко всем прочим обглоданным коркам, от одного воробья — ко всем прочим воробьям. Теперь нам хоть целый ворох обглоданных корок подавай, рассуждают они: «Все мигом растащим!» И, основываясь на таком рассуждении, чирикают, трепещут крыльями и устраивают друг другу овации.

Сеятель! сравни теперь твое легкомысленное поведение с поведеньем этого благоразумного воробья! Ты начирикался и натрепыхался прежде, нежели даже приступил к своей корке; ты насулил, налгал и нахвастал прежде, нежели даже сообразил, в чем состоит предмет твоего вожделения. Понятно, что ты изнемог. Имел ли ты право поведать миру о твоей славе?.. нет, не имел, ибо ничего достославного не совершил. Имели ли право твои соворобьи радоваться твоему торжеству? — нет, не имели, ибо торжества никакого не было.

Отсюда — гробовое молчание; отсюда — забвение. Даже смеха нет, веселого, светлого русского смеха...

Нет! да ты миф! не может быть! не может быть! И это комариное жужжанье, которое доднесь остается в ушах, и эти игрушечные отсыревшие хлопушки, негодные даже для потехи детей, и эта бесконечно глупая сказка о белом и черном быке — все это сон, не правда ли? сон?

Сон... да! Но крысы! Ведь научил же их кто-нибудь? Откуда же нибудь да переняли они эту скверную манеру сходиться и хвастать? Не своим же умом додумались они до мысли о величии крысиного подвига и о необходимости его прославления?.. откуда? как? почему?.. Нет! ты не миф! Крыс-то, крыс-то за что же ты развратил?

В *изд. 1869* очерк был перепечатан с незначительными изменениями. При подготовке очерка к *изд. 1882* Салтыков несколько сократил и выправил текст, имя Порфирия Петровича заменил на Терентья Силыча (стр. 32 наст. тома.).

Тема очерка — первые шаги земства, введенного реформой 1864 г. Образование нового самоуправления делами местного хозяйства имело целью приспособить самодержавно-полицейский строй России к потребностям капиталистического развития, сохраняя его классовую дворянско-помещичью сущность. Но и эту половинчатую программу правительство проводило в урезанном виде и с таким расчетом, чтобы не дать осуществиться главной мечте либералов об ограничении бюрократического всевластия в пользу «общества» и о подготовке почвы для перехода к буржуазно-конституционному правопорядку.

Сатира в очерке Салтыкова направлена против либеральных иллюзий в земстве и связанных с ними самовосхвалений, которым предавались «сеятели и деятели» новых учреждений. Либеральные земцы с их претензиями на созидание «великого будущего» России и апологетическая по отношению к ним печать уподобляются Нарциссу — герою греческого мифа, влюбившемуся в собственное отражение в воде.

Реалистические обобщения очерка обличали политическое бессилие

земства, ограниченность его деятельности хозяйственным крохоборчеством («вопрос о лужении рукомойников») и фикцию провозглашенной независимости его от государственной власти («бюрократии») В рассуждениях рассказчика — не лишенного проницательности старого чиновника — устанавливалась близость, «родство» приемов, навыков, целей земства и бюрократии, автор делал вывод о неспособности земских «сеятелей» изменить бедственное положение «сеемых» — народа. Сатирическая критика земства Салтыковым очень близка будущей ленинской характеристике этого учреждения, «с самого начала» осужденного «быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, *допускаемым* бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось»[1].

«Новый Нарцисс...» вызвал многочисленные отзывы в критике, но не нашел в ней верного истолкования. Часть авторов расценила сатиру Салтыкова на земство как недопустимое нападение на «неокрепшее еще учреждение», как «удар по своим», обрадовавший крепостников. Наиболее отчетливо этот взгляд был выражен в «СПб. ведомостях», в обзоре писем с мест в № 80 от 22 марта 1868 г., где говорилось, что «Новый Нарцисс...» «произвел на общество самое неприятное, тяжелое впечатление» и что, с другой стороны, «в одном уездном городе <...> исправник хотел было устроить обед в честь <...> Щедрина». В связи с этим Салтыков писал Некрасову 25 марта: «Отвечать «СПб. вед.» значило бы только раздувать глупейшую историю, которая, несомненно, упадет сама собою. Да и на что отвечать? На каком основании утвердиться? Основание эго есть, но оно нецензурное. В этом-то вся и беда, что мы не можем высказать *всей* своей мысли». «Косвенный ответ» подобным вздорным истолкованиям «Нарцисса»[2] все же был дан автором в статье «Лит. положение». Однако нападки такого рода на Салтыкова (в связи с «Нарциссом») продолжались и в последующей критике[3].

Другие критики хотя и положительно оценивали «Нового Нарцисса...», но истолковывали эту сатиру узко, в смысле порицания «слабостей зарождающегося самоуправления» с целью его укрепления, как писал либерал-земец бар. Н. Корф в статье «По поводу карикатуры г. Щедрина на земских деятелей»[4].

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 35.

[2] См. также: М. Загуляев. Г-н Салтыков и русское земство.— «Всемирн труд», 1868, № 2, стр 131—136 Ср. письмо Достоевского к А. Майкову от 1 марта 1868 г.— Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, М.—Л. 1930, стр. 79.

[3] См., например, в ч. 9 «Сочинений Д. И Писарева» (СПб. 1868, вышла после его смерти) примечание издателя Ф Ф. Павленкова на стр. 200, рецензию Суворина на *изд. 1869.— ВЕ,* 1869, № 4; анонимную статью «Г-н Щедрин, побиваемый собственными друзьями».— «Русск. мир», 1871, № 109, 22 декабря; «Обзор журналов» в «Петерб. листке», 1873, № 76, 19 апреля, принадлежащий М. М Степановскому.

[4] *СПб. вед.,* 1868, № 111, 25 апреля.

Однако демократический «читатель-друг» понимал «нецензурное основание» очерка — мысль о необходимости для России коренных изменений существующего «порядка вещей». В свете этой главнейшей задачи, стоящей на историческом череду страны, земство представлялось Салтыкову «силой комариной».

Групповой образ самовлюбленных болтунов Нарциссов в его, салтыковском политическом наполнении был развит В. И. Лениным в характеристике «мещанских Нарциссов — меньшевиков, эсеров, беспартийных...» [1].

Стр. 25. *Целый месяц город в волнении...* — Сатирическое изображение ежегодной сессии губернского земского собрания основано на личных наблюдениях Салтыкова в Пензе и Туле, где он служил в 1865—1867 гг. председателем казенных палат и был свидетелем начала деятельности земства. Однако эта картина земского «широковещательного краснобайства» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 36) обладала, как всегда у Салтыкова, широтой типического обобщения (ср. свидетельство мемуариста — Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Земство и Московская дума, М. 1934, стр. 30).

Один говорит о попах, другой — о мостах, третий — о «всеобщем и неслыханном распространении пьянства», четвертый — о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья <...> в местной больнице... — В упомянутой выше статье «По поводу карикатуры...» бар. Н. Корф неосновательно адресовал эти насмешки над «болтовней о всевозможных вопросах без знания дела» лишь ретроградной части («партии») земства. Толки в помещичьей среде и публицистике о «распространении пьянства» как причине пореформенного оскудения деревни Салтыков осмеял в шестом «Письме о провинции».

Лица так называемого «постороннего ведомства» — чиновники государственных учреждений.

Редактор местных ведомостей... — то есть редактор «Губернских ведомостей», официальной газеты, издававшейся в каждой губернии России.

Стр. 26. *...«комиссию» <...> предлагали назвать <...> иностранным словом «ревизионная», но <...> вы забываете тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год! — вмешивается другая дамочка. <...> Она не чужда «Московских ведомостей».* — Намек на кампанию за «чистоту» русского языка, против всяких варваризмов, развернутую «Моск. ведомостями» в шовинистическом угаре 1863—1864 гг., связанном с польским восстанием.

Стр. 29. *Какой-нибудь алармист, взирая, как у иного сеятеля пена из уст клубится, готов воскликнуть: «Пожар!» Я же <...> восклицаю: «Плоть*

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 238—239.

от плоти!..» — Салтыков обличает бессилие земского либерализма («п е н а») и высмеивает страхи охранителей и реакционной прессы («а л а р м и с т о в», то есть паникеров — от *франц.* alarme) в связи с имевшими место случаями пререканий между земствами и правительственной администрацией. Так, повелением Александра II от 16 января 1867 г. были временно закрыты петербургские земские учреждения с отрешением их членов от должностей. Поводом послужил доклад губернской управы от 3 января, «порицавший» управление земским хозяйством со стороны губернской администрации, и вызванные этим докладом «неуместные прения» в земском собрании. В. И. Ленин упоминал впоследствии в связи с этим эпизодом (Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 37) о характерной передовой «Северной почты», пытавшейся оправдать «карательную меру» тем, что земцы якобы «непрерывно обнаруживали стремление» «неправильным толкованием законов *возбуждать чувства недоверия и неуважения к правительству»*. Крепостническая газета «Весть» вновь заявила по этому случаю о «возбуждении ненависти между сословиями» в земстве и пророчила разорение «поземельной собственности» (передовые статьи от 25, 27 и 30 января 1867 г., №№ 11, 12, 13).

Стр. 30. *...якобы предстоящей «ликвидации»!* — То есть ликвидации при помощи земства правительственно-бюрократического всевластия, во что Салтыков не верил.

Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? — Вопрос о снабжении друг друга фондами. — Председатели и члены земских управ получали жалованье, назначавшееся земским собранием. Вокруг вопроса о размере этого жалованья шло немало споров, часто своекорыстного характера. Либеральные деятели земства выступали за «достаточное содержание» (путем сборов с населения), чтобы привлечь на службу «компетентных лиц, а не довольствоваться деятельностью богатых помещиков» (*СПб. вед.*, 1868, № 46, 17 февраля, письмо кн. В. И. Васильчикова).

...сходить в карман своего ближнего... — то есть увеличить налоги.

Стр. 31. *Вот, наконец, и последний акт драмы.* — Далее сатирически изображается заключительное заседание сессии земского собрания, посвященное выборам членов губернской земской управы.

Стр. 32. *...«смутить веселость их»...* — Из стихотворения Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...».

...известная «катастрофа»... — отмена крепостного права.

Стр. 34. *...«воспоминание баталии при Гангеуде».* — Торжественные молебствия, салют в 21 залп на военных кораблях и другие церемонии, которыми ежегодно отмечался день первой победы флота Петра I над шведским при мысе Гангеуд (Гангут) 27 июля 1714 г.

Стр. 37. *Если древние римляне даже гусям...* — В Риме были учреждены праздники в честь тех легендарных гусей, которые своим гоготаньем предупредили жителей города о приближении врагов.

ЛЕГКОВЕСНЫЕ

(Стр. 40)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 9, отд. II, стр. 283—300 (вып. в свет 7 сентября). Под заглавием: «Легковесные. Картины в натуральную величину»

Сохранилась рукопись первоначальной редакции очерка (см. отд. «Из других редакций»).

Первая стадия работы над «фельетоном», как называл «Легковесных» Салтыков (см. ниже), относится к декабрю 1867 — началу января 1868 г. и связана с возникновением в ноябре 1867 г. общего замысла серии фельетонов «Признаки жизни» (см. выше, стр. 535—536).

Первоначально фельетон предназначался для январского номера журнала, но в письме к Некрасову от 20 декабря 1867 г. Салтыков высказал сомнение в возможности успеть к «назначенному» сроку и советовал: «Думаю, что лучше отложить до второй книжки. Содержанием его будут размышления о легковесных деятелях». В письме от 25 декабря он обещал: «К будущей февральской книжке пришлю фельетон *непременно*». 9 января 1868 г. он уже извещал Некрасова о посылке «фельетона под названием «Признаки жизни» и писал ему: «Есть слабая надежда, что еще поспею. Но, во всяком случае, прошу вас предварительно рассмотреть его». Так как январская книжка опаздывала (вышла в свет 23 числа), Некрасов, получив фельетон, также рассчитывал вначале успеть поместить его в эту книжку. Об этом свидетельствует помета карандашом в правом верхнем углу рукописи: «Отеч. зап. № 1, отд. 2-е». Но какие-то причины, скорее всего цензурного характера, помешали этому намерению, и рукопись, прочитанная Некрасовым (и, вероятно, одним из «домашних цензоров»), была отослана автору для переделки. 27 января, получив рукопись, Салтыков писал ему: «2-я часть фельетона дурно расположена <...> а потому и неудовлетворительна. Сверх того, есть неполноты и неясности; все это я переделываю...» 18 февраля «переделанный фельетон» был отправлен Некрасову с просьбой «поместить его в апрельской книжке». Но публикация фельетона вновь была отложена, что встревожило автора, ибо мешало последовательной реализации замысла серии фельетонов о «признаках времени». В письме от 21 марта 1868 г. он спрашивал Некрасова: «Отчего вы не печатаете фельетон? Оттого ли, что он *не хорош*, или оттого, что печатать его не время теперь? Скажите, пожалуйста, прямо, ибо это необходимо для моих соображений». Убедившись в цензурном характере затруднений с «переделанными» «Легковесными», он перешел к работе над продолжающим их проблематику «фельетоном» «Лит. положение» (см. комментарий к нему и письмо к Некрасову от 25 марта 1868 г.), куда включил часть текста первоначальной редакции «Легковесных» (подробнее см. в комментарии к ней).

При подготовке очерка для *изд. 1869* текст его подвергся сокращению, затем он вновь был сокращен при подготовке *изд. 1882*. Приводим один из вариантов *ОЗ*, частично совпадающий с вариантом *изд. 1869*.

К стр. 51, после абзаца «Само собой разумеется...»:

Хорошо: будем подтягивать, поддавать, ежоворукавичничать — но до каких пор и над чем, наконец, мы станем производить наши опыты? и когда же наступит для нас эпоха сеяния, развития и жатвы?

Тщетно вы будете предлагать эти вопросы «легковесным» — они примут их с нетерпением и увидят в них выражение беспокойного утопизма. «Легковесный» — от рождения виртуоз подтягивания и потому в целом мире не может подметить ничего иного, кроме того же подтягивания. Он принял орудие за цель, он позабыл мудрую русскую пословицу: «на кнуте не далеко уедешь» — и помахивает да помахивает себе кнутиком...

Второй абзац приведенного текста был снят Салтыковым при подготовке *изд. 1869*, первый — при подготовке *изд. 1882*.

Очерк «Легковесные» посвящен сатирической характеристике новых «героев современного общества», его «триумфаторов», вызванных к жизни спадом освободительного движения и натиском реакции во второй половине 60-х годов,— с началом ее открытого похода против «пагубных лжеучений»[1] — революционных и демократических идей. Основные признаки «легковесных» — их внутренняя пустота и ничтожество, отсутствие идеалов, ненависть к мысли и убеждению, готовность браться за любое дело, «подтянуть» все и вся исключительно во имя «животненных» интересов «куска» и цинических стремлений к карьере. Главное внимание сатирика сосредоточено на «легковесных» в сфере деятельности пореформенной государственной администрации и политики. В типе «легковесного» Салтыков развивает и политически конкретизирует тип «шалуна» из ноябрьской хроники «Наша общественная жизнь» за 1863 г. (т. 6 наст. изд.). Черты политического поведения, обобщенные в «легковесных», получили затем развитие в «ташкентцах», что было отмечено еще современной критикой[2], и других салтыковских образах реакционных идеологов и политиков русской пореформенной действительности.

Политическое содержание очерка «Легковесные» встревожило члена Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого, официально наблюдавшего за «Отеч. записками», а неофициально находившегося в деловом контакте с Некрасовым и информировавшего его о возможных цензурных опасностях для журнала. Прочитав сентябрьскую книжку, где были напечатаны «Легковесные» и четвертое и пятое «Письма о провинции», он писал Некрасову около 8—10 сентября 1868 г., что увидел здесь Щедрина «во всеоружии прежней иносказательной и ядовитой своей речи». «Не

---

[1] Из рескрипта Александра II на имя председателя комитета министров кн. П. П. Гагарина от 13 мая 1866 г. (после покушения Каракозова 4 апреля).— «Северн. почта», 1866, № 102, 14 мая.

[2] О. Миллер. Щедрин. Публичные лекции, СПб. 1874, стр. 177.

нужно большой проницательности, чтобы догадаться, что под эпитетом «фразистые каплуны» подразумеваются Виляевы, сошедшие с политической арены <то есть либеральные администраторы, подобные министру внутренних дел П. А. Валуеву, уволенному 9 марта 1868 г. в отставку>,— и, следовательно, «легковесные, фофаны и губернские историографы» суть не что иное, как новейшие административные и политические деятели ... Отговориться тем, что тут речь идет о пустозвонах бомонда и всякого рода безвредных шалопаях, невозможно — потому, что автор сам называет их «современными властителями наших дум» и приписывает им громадное, неотразимое, так сказать, значение, выражающееся реакционным восклицанием: «поддавай! натягивай! подбирай!» Ведь не излеровские же шалопаи придумали подобный лозунг?» «...Желчный сатирик бьет именно на то, чтобы читатели уразумели, что все руководители общественного и государственного строя суть не что иное, как «легковесные и фофаны». Цензор не требовал частных изменений в тексте — «это ни к чему не поведет»,— но предупреждал, что «статьи Щедрина-Гурина» будут «заявлены Совету» как свидетельство продолжения революционных традиций «Современника»[1].

На заседании Совета 10 сентября 1868 г. Ф. Толстой действительно заявил, что в девятой книжке «Отеч. записок», и в частности в очерках Салтыкова, он усматривает «отрицание авторитетов <...> и глумление, направленное против лиц, заведывающих администрацией», и предлагал сделать «словесное внушение» редактору[2]. Но в результате возникшего обмена мнений было постановлено лишь «принять к сведению вышеозначенные статьи» (очерки Салтыкова, статью Скабичевского «Русское недомыслие» и поэму Некрасова «Медвежья охота»), «как представляющие признаки» «не вполне одобрительного» направления журнала[3].

Стр. 40. *...убеждения наши теряют свою призрачность...* — Здесь: теряют идейную высоту и перспективность.

Стр. 41. *Кусок* — чисто утилитарный «идеал» практического, житейского благополучия.

Неизвестное — мир анализа, размышлений, общечеловеческих идеалов.

Каплуны мысли. — См. в т. 4 наст. изд. очерк «Каплуны» (1862) и комментарий к нему.

Эпоха нашего возрождения — период демократического подъема и правительственного либерализма после кризиса Крымской войны.

Стр. 42. *Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели?* — См. в т. 3 наст. изд. очерк 1860 г. «Литераторы-обыватели».

Лансады и курбеты — названия шагов и прыжков лошади в высшей школе верховой езды.

---

[1] *ЛН*, т. 51/52, стр. 593—594.

[2] «Русск. богатство», 1918, № 1—3, стр. 127—128.

[3] М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868—1884). История журнала. Литературная критика, Южно-Сахалинск, 1966, стр. 75—76.

Стр. 44. ...*я видел взбесившегося клопа.*— Гротескный образ, примененный для обозначения неистовств, необузданности реакции,— этой «взбесившейся благонамеренности», проникшей в конце 60-х годов во все поры власти и общества.

Стр. 46. ...*властителем моих дум был* <...> *Феденька Кротиков.*— Этот сатирический образ молодого администратора послереформенно-либеральной формации, мгновенно приспособляющегося к любым «веяниям» в политике высшей власти, проходит через многие произведения Салтыкова 60-х — начала 70-х годов. В рукописной редакции настоящего очерка он назван Феденькой Козелковым, так же как в очерках «К читателю», «Клевета» из «Сатир в прозе» (т. 3 наст. изд.), в январской хронике «Наша общественная жизнь» 1864 г. (т. 6 наст. изд.), в «Наш savoir vivre», «Хищниках» и «Итогах» (наст. том). Как Феденька Кротиков он фигурирует в очерке «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» (1873) из цикла «Помпадуры и помпадурши» (т. 8 наст. изд.). В том же цикле действует Митенька Козелков.

Стр. 49. ...*по фамилии Швахкопф...*— По-немецки значение этой фамилии: слабоумный (Schwachkopf).

Стр. 53. *Призовите «легковесного» и велите ему написать курс астрономии на тему: «Пускай астрономы доказывают»...*— Выпад против официальной религиозно-идеалистической, авторитарной идеологии, готовой ради охранительных целей пренебречь любыми показаниями науки и разума. Фраза «Пускай астрономы доказывают» восходит к речи белорусского архиепископа Г. Конисского, которой он приветствовал Екатерину II в Мстиславле 19 января 1787 г. Речь начиналась словами: «Пресветлейшая императрица! Оставим астрономам доказывать, что Земля вкруг Солнца обращается: наше Солнце вкруг нас ходит, <...> да мы в благополучии почиваем!» (Георгий Конисский. Собр. соч., изд. 2, ч. 1, СПб. 1861, стр. 275).

Стр. 53—54. ...*во время представления «La Belle Hélène» — ка̀к они стонут* <...>, *ка̀к визжат при малейшем неосторожном движении, обнажающем корпус г-жи Девериа!* — С 1866 г. на сцене петербургского Михайловского театра в главной роли в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» («La Belle Hélêne») с большим успехом выступала французская актриса Огюстина Девериа. Роль Елены она вела с «беззастенчивостью, свойственною чистокровной парижской кокотке»,— писали «Отеч. записки» (1868, № 12, отд. II, «Муз. обозрение», стр. 343).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(Стр. 55)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 8, отд. II, стр. 190—208 (вып. в свет 7 авг.). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические заметки», с подзаголовком: «Литература и общество.— Литература не оправдала доверия.— Высшие интересы.— Цезари и Катоны.— Заключение».

Рукописи и корректуры неизвестны.

Салтыков работал над «фельетоном» о «литературе и обществе» в конце марта — начале апреля 1868 г. В ходе работы замысел его был расширен в связи с новой неудачей в публикации «Легковесных», а также с полемикой, развернувшейся в печати вокруг «Нового Нарцисса...» (см. комментарий к этим очеркам). Об этой связи свидетельствуют письма Салтыкова к Некрасову тех дней. Так, 21 марта он, прося прямого ответа о причинах заминки в печатании «Легковесных», пояснял: «...Это необходимо для моих соображений. Я было собрался другой фельетон писать». А уже 25 марта, очевидно получив такой ответ и запрос Некрасова, как он будет реагировать на клевету «СПб. ведомостей» по поводу «Нового Нарцисса...», Салтыков писал: «В этом-то вся и беда, что мы не можем высказать всей своей мысли. Я намеревался писать о священных отечественных нужниках и каплунах — статья эта могла бы быть косвенным ответом на вздорные нападки по поводу «Нарцисса», но отложил это писание до напечатания первого посланного вам фельетона. Теперь я вижу, что фельетон мой, по обстоятельствам, едва ли может быть напечатан, и на святой[1] пришлю вам другой фельетон, который будет служить ответом СПб. ведомостям». «Первый фельетон» — «Легковесные». «Другой фельетон», несомненно, «Лит. положение»: об этом свидетельствует его текст в *ОЗ* и *изд. 1869*, содержавший прямой развернутый отклик на «вздорные нападки» *СПб. вед.* (см. ниже вариант к стр. 68).

В связи с цензурной неудачей «Легковесных», «Лит. положение» становилось первым очерком цикла, и в него автор счел необходимым хотя бы частично перенести ту общую характеристику «признаков времени», которой открывались первоначально «Легковесные» (см. отд. «Из других редакций»). Однако, по-видимому вновь из-за цензурных затруднений, публикация «Лит. положения» была также отложена.

Затем, при напечатании в № 8 *ОЗ*, в тексте очерка были сделаны некоторые изменения, вызванные замечаниями негласного советника Некрасова, члена Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого. Неофициально просмотрев книжку журнала до выпуска в свет, Толстой нашел «тон» очерка Салтыкова «весьма задорным» и в письме к Некрасову от 4 августа 1868 г. особо выделил фрагмент, воспринятый им, видимо, как прямой намек на деятельность Муравьева (Вешателя) — главного организатора правительственного террора после покушения Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. на Александра II. «Бестолковая, прожорливая щука, при виде которой брызгают во все стороны резвящиеся вкупе пискари и сцена наполняется клянущимися, отплевывающимися и пр. и пр., не может же быть «Весть» или подобные ей соглядатаи»,— писал Толстой Некрасову. Выражая надежду, что его самого не причисляют «к разряду крашеных гробов, величающих себя столпами мира», Толстой предупреждал, что «если статья появится без из-

[1] Пасхальная неделя приходилась в 1868 г. на 31 марта — 6 апреля.

менений, то есть со щуками и пр., то заявить ее Совету будет необходимо» (*ЛН*, т. 51/52, стр. 587—588).

Публикатор письма в «Лит. наследстве» К. И. Чуковский высказал предположение, что отсутствие в печатном тексте очерка (см. стр. 70 и 72 наст. изд.) некоторых выражений, которые приводил в своем письме Толстой и против которых возражал (они выделены нами разрядкой), свидетельствует о сделанных по совету Толстого купюрах. Это предположение подтверждается тем, что в фрагменте первой редакции «Легковесных», использованном в «Лит. положении», за словами о «крашеных гробах» также следовали слова «громко величающих себя столпами мира» (см. отд. «Из других редакций», стр. 500), отсутствующие в печатном тексте «Лит. положения». Возможно, именно в связи с предупреждением Толстого фраза о щуке (см. стр. 70 наст. тома) была дополнена о *ОЗ* после слов «Она идет на вас...» маскирующим истинный адрес выпада пояснением — «из среды самого общества», снятым в *изд. 1869*.

В *изд. 1869* очерк был перепечатан с этими и другими — незначительными — поправками. При подготовке очерка к *изд. 1882* Салтыков внес в текст много мелких исправлений и несколько сократил его. Приводим один из вариантов *ОЗ*, отличающийся от варианта *изд. 1869* двумя несущественными разночтениями.

К стр. 68, после абзаца «Теперь понятно...»:

Никто охотнее нас не устроивает всякого рода капищ, в которых удобно лежать на соломе (лавры-то нам, покаместь, еще не ко двору) от утомительных подвигов ничегонеделания. Организовавши такое прочное лежание, мы огрызаемся на каждого проходящего и издалека кричим ему: «не прикасайся! ибо здесь пахнет». Припомните, читатель, тревогу, которую наделала одна статья, помещенная в начале нынешнего года в «Отеч. записках» и имевшая в виду подвиги новых сеятелей русской земли. Одна добродетельная газета <«СПб. ведомости»> решилась даже напечатать, что какой-то исправник, по поводу ее появления, лихо пообедал с приятелями. Вот, мол, до чего может довести бестактное прикосновение к капищам! Но что же делать, милостивые государи! ведь и к исправникам нельзя не быть снисходительными! И они, бедные, не все же мертвые тела поднимают, не все мужицкие прически поправляют, но, по временам, и обедают. Конечно, обедающий исправник — картина довольно поразительная, но, сознаемся откровенно, нам не раз случалось быть очевидцами такого зрелища, и мы выносили его без особенного потрясения. Да и не в исправнике совсем тут дело, а в том капище, которое вы желаете во что бы ни стало возвести на степень всероссийского пантеона и которое никак в пантеоны попасть не может. Вы полагаете, что к этому капищу уже по тому одному не следует прикасаться, что оно новое, неокрепшее, со всех сторон окруженное опасностями. Прекрасно! Но укажите же, ради бога, хоть на одно такое капище, которое бы окрепло и не было окружено опасностями! А между тем, нельзя сказать, чтобы у нас чувствовался недостаток в капищах вообще; напротив, они устроиваются довольно исправно и периодически, да все как-то постоят, постоят, да и развалятся сами собою. Не оттого ли это происходит, что прежде, нежели капище докончено, мы уже спешим оградить его существование не достоинством потраченного на постройку его материала, а разными детскими надписями, вроде «не прикасайся!».

После всего сказанного выше, полагаем, не представляется даже надобности возвращаться к вопросу, почему участие литературы в деле, касающемся общественной организации, считается излишним и даже вредным. Да просто потому: не прикасайся!

«Фельетон» «Лит. положение» посвящен отношениям между литературой и обществом в период резкого усиления реакции после выстрела Каракозова 4 апреля 1866 г. Оно привело, с одной стороны, к дальнейшему наступлению власти на литературу (об этом прямо говорилось в «программе», предложенной М. Н. Муравьевым Александру II; во исполнение ее были разгромлены «Совр.» и «Русск. слово», арестованы многие передовые литераторы: Благосветлов, Зайцев, Н. и В. Курочкины, Елисеев, В. Слепцов, П. Лавров и др.), а с другой, к дальнейшему разброду, усилению безыдейности в обществе.

Как важнейшие «признаки времени» Салтыков выделяет здесь распространение «общественного индифферентизма» и торжество «брюхопоклонников» — проводников реакционного правительственного курса, поборников идеала растительной жизни, «извозчиков по убеждениям» (сатирический тип «брюхопоклонника» близок к типу «легковесного»).

«Повальное равнодушие», «мыслебоязнь», овладевающие обывательской «толпой» в годы реакции[1], делают трагичными отношения демократического писателя и читателя: отсутствует главное условие деятельности трибуна-просветителя — «простая понимающая среда», он оказывается «в пустоте». Эта проблема волновала автора на протяжении многих лет вплоть до «Приключения с Крамольниковым» и очерка «Имярек» из «Мелочей жизни», она неизбежно выступала на первый план в тот период освободительного движения, когда, по определению В. И. Ленина, «целые десятилетия отделяли посев от жатвы»[2]. Драматизм положения литературы в период триумфа «брюхопоклонников» усугубляется процессами резкого политического размежевания в ней самой, размена моральных и идейно-эстетических ценностей на «двугривенные» (ср. январско-февральскую хронику «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд. и очерк «Сенечкин яд» в наст. томе).

Салтыков уподобляет мир искусства царству пернатых. Уподобление журнальных противников различным породам птиц — «стрижам», «снегирям» — было обычным приемом в публицистике Салтыкова уже в годы работы в «Совр.» (см. тт. 4, 5, 6 наст. изд.; нити от подобных параллелей

---

[1] Салтыков здесь почти постоянно ведет речь о «неустойчивости», раболепии перед силой «цивилизованной толпы», но отдельные ассоциации и сопоставления с «нецивилизованной толпой» приоткрывают и более общий фон раздумий писателя — о выявившейся в ходе разгрома революционных сил политической незрелости и инертности русского крестьянства (см. подробнее в шестом из «Писем о провинции» и в комментарии к нему).

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

тянутся к образам «Сказок» 80-х годов). В «Лит. положении» эти уподобления приобретают более широкий эзоповский смысл. Вся русская либерально-консервативная публицистика 60-х годов — «птице литературный хор». Поворот самодержавия от курса правительственного либерализма к реакции — конец «скоротечного торжества» литературных пернатых, превращение их в птиц «ощипанных». Ренегаты и литературные охранители, подобные Каткову, П. М. Леонтьеву, Н. Ф. Павлову, В. Д. Скарятину,— «охочие птицы» и начальстволюбивые «зяблики-гимнослагатели». Сатирик прослеживает процесс их превращения в активных идеологических защитников «краеугольных камней» — официальной нравственности, патриотизма, собственности. Эти «основы» в практике господствующих слоев играют роль «узды» для «простого класса», «булыжника» против идеологов демократии (зародыш проблематики «Благонамеренных речей»).

Мысли о современном положении и назначении литературы формулируются в очерке, по-видимому, в скрытой полемике с утверждениями Скабичевского, что эпоха, когда отсутствует в жизни «широкий простор», благоприятна для расцвета литературы и искусства. В то же время Салтыков открыто спорит с либеральной публицистикой, которая отрицала право литературы на активное вмешательство в дело жизнестроительства, на критику новых «неокрепших» учреждений, введенных реформами 60-х годов, в частности, земства (см. комментарий к «Новому Нарциссу...»), а с другой стороны, оправдывала индифферентизм общества бюрократическим характером реформ («старые порядки слишком туго поступаются»).

Для Салтыкова же, даже в обстановке «повального равнодушия» обывателей и засилья «охочих птиц», передовая литература остается великой общественной силой, способной противостоять проповедникам самодовольного успокоения, «нищим духом, исполняющим на время должность мудрецов». Как на пример такого идейного могущества Салтыков постоянно указывает на литературу 40-х годов (то же сопоставление в анализе «литературного положения» характерно для публицистики Герцена). Задача литературы — вырабатывать высокие освободительные и гуманистические идеалы («общую руководящую мысль»), проводить их в общественное сознание, звать к мужественной гражданской активности в «деле организации жизни», активности, единственно способной привести к изменению социально-политического устройства («шапки») по новому росту русского общества («Сеньки»).

В этой неустанной проповеди сатирик-просветитель видит единственное средство преодолеть трагизм изолированности литературы. Финал очерка утверждает грядущее торжество «правды и жизни» — разумного общественного строя, идей демократии и социализма.

С салтыковской оценкой отношений литературы и общества солидаризировался демократический журнал «Неделя» (1868, № 36, 8 сентября, «Новости русской журналистики», без подписи).

Стр 56. *Вспомним <..> и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены...*— Намек на «властителей дум» поколения 60-х годов Чернышевского и Добролюбова.

Справочные цены — обязательные для руководства при производстве хозяйственных расчетов казенными учреждениями; составлялись городскими и земскими управами и полицейскими управлениями на основе средних рыночных цен.

Стр. 57. *Лизета — чудо в белом свете...*— Из «Триолета Лизете» Карамзина.

...учреждение губернских правлений... — Административный институт этот, учрежденный в России Екатериной II в 1775 г., просуществовал вплоть до Октябрьской революции.

«Физик голландский» — трубочист.

Стр. 58—59. *...птицы начинают изрекать человеческие глаголы <...> о, сладкие минуты птичьих надежд!* — Салтыков иронизирует над бурной активностью либеральной публицистики в годы подготовки и проведения крестьянской реформы.

Стр. 59. *Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы по-прежнему занять те позиции, с которых она была временно сбита.*— С л у ч а й — очевидно, намек на майские пожары в Петербурге в 1862 г. Они были использованы полицией для распространения слухов о «студентах-поджигателях» (подробнее см. в прим. к стр. 19 в т. 6 наст. изд.). Герцен разоблачал провокационный характер этих слухов, спрашивая в «запросах» от редакции «Колокола», обнаружены ли «зажигатели», а в четвертом запросе прямо говорил, что их «вне полиции не нашли — а в полиции не искали» (*К*, 1862, л. 149, 1 ноября.— *Герцен*, т. XVI, стр. 262). В. И. Ленин позднее писал в связи с пожарами 1862 г. о «гнуснейшем эксплуатировании народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов» и указывал, что «есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция*» (В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т 5, стр. 29).

Стр. 61. *Подвиги благоустройства и благочиния* — нападки и доносы в печати на свободомыслящих и оппозиционно настроенных.

...некоторые провинности литературы <...> могут дать пищу свойства несомненно уголовного.— Речь идет о проводимых в завуалированной форме революционно-демократической печатью идеях отрицания существующего самодержавно-помещичьего государственного строя, а также о фактах участия литераторов в печатании и распространении революционных прокламаций, в герценовских изданиях, об их поездках в Лондон к редактору «Колокола». Связи с «лондонскими пропагандистами» послужили официальной причиной ареста Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и всего так называемого «дела 32-х», сфабрикованного следственной комиссией А. Ф. Голицына летом 1862 г. Намеки на близость демократической печати к Герцену и его идеям постоянны в русской реакционной прессе, как и обвинения в безверии, анархизме и т. д.

Стр. 62. *...знаменитое изречение Подколесина: «да, брат, жениться — это не то, что: эй! Иван! сними сапоги!»* — В комедии Гоголя «Женитьба» Подколесин говорит: «А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что «эй, Степан, подай сапоги!» (действ. I, явл. 8).

«Матрос» — водевиль французских драматургов Соважа и Делюрье.

A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère! (Как дорого отечество всякому благородному сердцу!) — цитата из трагедии Вольтера «Танкред» (действ. III, явл. 1). Салтыков запомнил этот стих еще со школьной скамьи и позднее превратил его в своего рода формулу сатирического разоблачения «патриотизма» правящих классов (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 106).

...как нельзя более кстати обвинить литературу в пропаганде космополитизма? — См. «Наши космополиты» П. Щебальского (*МВ*, 1863, № 51, 7 марта) и другие выступления в изданиях Каткова, а также комментарий к очерку «Русские «гулящие люди» за границей».

Стр. 63. *...обвинение в неуважении к собственности и в распространении пагубного коммунизма.*— Обвинения в коммунизме и социализме предъявлялись, в частности, крепостнической газетой «Весть» не только «Совр.», но даже таким изданиям, как либеральные «СПб. ведомости», славянофильские «День», «Москва» (см передовые статьи «Вести», 1864, №№ 2, 10, 16 от 12 января, 8 марта, 17 апреля; 1868, № 41, 10 апреля).

...эпоха приведения литературы к одному знаменателю <...> и составляет наш золотой век наук и искусств.— Возможно, полемический отклик на статью Скабичевского «Новое время и старые боги», в которой он писал: «В революционные века является поэтов гораздо менее, чем в века сурового деспотизма, которые в истории называются часто золотыми веками литературы». «Тогда все внимание людей сосредоточивается на искусствах...» (*ОЗ*, 1868, № 1, отд. II, стр. 3).

Стр. 64. *...теория приведения к одному знаменателю, подкрепляемая <...> теорией ежовых рукавиц, теорией макаров, где-то телят не гоняющих, и ворон, куда-то костей не заносящих...*— Эзоповские формулы сатиры Салтыкова, характеризующие цензурную политику самодержавия, «подкрепляемую» политикой административно-полицейских репрессий для литераторов революционно-демократического лагеря.

...в настоящее беспутно-просвещенное и бесцензурное время.— Салтыков пародирует фразеологию либеральной печати, восхвалявшей «наше просвещенное время» — эпоху реформ 60-х годов. По закону о печати 6 апреля 1865 г. периодические издания были освобождены от предупредительной цензуры (до выхода в свет) и подвергались цензуре карательной — арест и уничтожение номера журнала, предостережение, суд, прекращение издания.

Стр. 68—69. *...цивилизованная толпа не всегда умеет определить физиономию писателя <...>. Тут прежде всего не понимается мысль...*— Общие размышления об одиночестве «убежденного писателя» в «цивилизованной толпе» включают также горькие мысли о ложных истолкованиях его, Сал-

тыкова, произведений, в частности, о недостатке проницательности критики в определении идейной направленности очерка «Новый Нарцисс...» (см. комментарий к нему). Последующие рассуждения о писателе, настигнутом «невзгодой» и легко подпадающем «опале общества», возможно, отражают и нападки со стороны «друзей и недругов», которым подвергся Некрасов весной 1866 г., когда, пытаясь любой ценой спасти «Совр.», выступил со стихами «Осипу Ивановичу Комиссарову» (по официальной версии — спаситель царя от пули Каракозова).

Стр. 69. *...блеск и шум, которыми <...> сопровождаются всякие потоптания <...>. Труба трубит, штандарт скачет, а затем Гарибальди или Франциск въезжает в Неаполь — толпа одинаково зевает...* — Труба трубит, штандарт скачет — перефразировка слов почтмейстера Шпекина из «Ревизора» Гоголя: «Музыка играет, штандарт скачет» (действ. I, явл. 2). Армия Гарибальди разгромила войска короля Обеих Сицилий Франциска и вступила в Неаполь 7 сентября 1860 г., восторженно встреченная жителями. Но Салтыков здесь намекает на торжество иного характера — на торжество реакции в России и политическую беспринципность широких кругов образованного «общества», солидаризировавшихся с победителем. Блеск и шум — по-видимому, в частности, намек на шумиху торжественных молебнов, обедов, парадов в обеих столицах и провинции по случаю «чудесного избавления» Александра II от смерти 4 апреля 1866 г., шумиху, происходившую одновременно с массовыми арестами и преследованиями — потоптаниями, подавлениями и поруганиями (см.: Б. Бухштаб. После выстрела Каракозова.— «Каторга и ссылка», 1931, № 5, стр. 53—54). Комментируемый текст перекликается со стихотворной пародией Добролюбова «Свисток» ad se ipsum» («Свисток», № 8.— *С*, 1862, № 1), где «австрийский поэт» Яков Хам заявлял, что, «воспев Гарибальди, воспел и Франческо». В майской хронике «Наша общественная жизнь» 1863 г. этими строками характеризовались русские «гулящие люди» (см. стр. 102—103 в т. 6 наст. изд. и прим. к ним).

Стр. 69—70. *И что̀ нам Древний Рим с его Сципионами, Цезарями, Катонами? <...> На лоне управы благочиния <...>Катонов, клянущихся гибелью новому Карфагену — литературе, развелось ныне даже более, нежели указывает потребность...* — Управа благочиния — полиция; в сатире Салтыкова — это эзоповское определение полицейской сущности всей самодержавной государственной системы. Выпад Салтыкова направлен против высших представителей и проводников реакции из правительственных кругов, таких, как председатель верховной следственной комиссии по делу Каракозова Муравьев (Вешатель), председатель Государственного совета кн. П. П. Гагарин, министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой и др. Победам Цезаря и походам Сципиона Африканского писатель саркастически уподобляет «подвиги» «столпов» России в преследовании передовой журналистики и вообще свободомыслия, а речи Катона Старшего в римском сенате времен Пунических войн (они, по преданию, всегда оканчивались призывом: «Карфаген должен быть разрушен») сравнивает

с угрозами Муравьева и Гагарина найти «*корень* зла» в среде «отрицателей и обличителей», с их требованиями защитить от «пагубных лжеучений» «права собственности», «начала общественного порядка и общественной безопасности, <...> государственного единства и прочного благоустройства, начала нравственности и священные истины веры» (см. речь Муравьева на обеде 10 апреля 1866 г. в честь предводителей дворянства и представителей земства Московской губ.— *СПб. вед.*, 1866, № 96, 11 апреля; рескрипт Александра II на имя кн. Гагарина от 13 мая 1866 г., написанный, по мнению Герцена, самим Гагариным.— *К*, 1866, л. 222, 15 июня.— *Герцен*, т. XIX, стр. 95—97).

Стр. 70. *Местность <...> делается <...> неспособною для произрастания иных злаков, кроме волчцов и крапивы.*— Волчец — вид колючей сорной травы; специально выращенные изгороди из нее ограждали посевы. Здесь «волчцы и крапива» — охранительная рептильная пресса, пользовавшаяся субсидиями правительства и цензурным «режимом благоприятствования» в борьбе с передовой печатью.

Стр. 72. *...уже найдены некоторые рамки для более правильного течения жизни <...>. Необходимость ограничивать свои желания желаниями других <...> великая школа, которой суждено в будущем покорить вредную секту брюхопоклонников.*— В этих строках, весьма существенных для Салтыкова, заметны следы вынужденной цензурой неясности. Данный текст мог восприниматься как относящийся к тем «рамкам законности», которые прокламировались реформами 60-х годов. Однако нарочитая обобщенность, с какой формулировались мысли о «более правильном течении жизни», «лучшем порядке вещей», позволяла «читателю-другу» понимать их более широко — как выражение веры просветителя в будущее утверждение строя демократии и социализма.

СЕНЕЧКИН ЯД
(Стр. 73)

Впервые — *С*, 1863, № 1—2, в составе январско-февральской хроники «Наша общественная жизнь». Полный текст публикации в *С* и комментарий см. в т. 6 наст. изд., стр. 7—25 и 566—579.

При переработке январско-февральской хроники в самостоятельный очерк для *изд. 1869* Салтыков исключил из текста общее вступление, намечавшее проблематику предпринятых им в «Совр.» с начала 1863 г. публицистических хроник, итоговые абзацы, которыми перебрасывался «мостик» к последующим хроникам, а также те намеки и полемические выпады, которые к концу 60-х годов уже утратили свою актуальность. Были сняты иронические упоминания о «фельетонисте Заочном», Илье Арсеньеве, Гончарове, Лебедкине, отдельные полемические пассажи против писаний Каткова, Чичерина, журнала «Время», часть критических суждений о Тургеневе как авторе романа «Отцы и дети» (см. т. 6 наст. изд., стр. 10—20).

В *изд. 1882* очерк был перепечатан с незначительными изменениями.

РУССКИЕ «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» ЗА ГРАНИЦЕЙ
(Стр. 86)

Впервые — *С*, 1863, № 5, в составе майской хроники «Наша общественная жизнь». Полный текст публикации в *С*, цензурную историю и постраничные примечания см. в т. 6 наст. изд. стр. 99—111, 596—598 и 601—603.

При переработке майской хроники — ее последней трети, посвященной русским «гулящим людям»,— в самостоятельный очерк для *изд. 1869* Салтыков устранил из текста отдельные замечания и намеки, утратившие свою злободневность (например, упоминание о стихах «Якова Хама», о Тургеневе как авторе «Отцов и детей», полемический выпад против Н. Ф. Павлова — см. стр. 103, 106—107 в т. 6 наст. изд.), и ввел несколько новых замечаний, придавших более широкий, обобщающий смысл полемике с либералами и славянофилами, пронизывающей очерк. Была также проведена стилистическая правка.

В *изд. 1882* очерк был перепечатан с незначительными изменениями.

Настоящий очерк посвящен проблеме патриотизма подлинного и мнимого, разоблачению антипатриотизма правящих сословий России. В момент написания (конец апреля или первая половина мая 1863 г.) и публикации в составе журнальной хроники это был боевой ответ Салтыкова на казенно-патриотическую кампанию в официозной и либеральной прессе по случаю польского восстания 1863 г., на обвинения в космополитизме, предъявлявшиеся охранительной публицистикой демократическим кругам России, русской политической эмиграции (в частности, Герцену) в связи с их защитой свободы Польши. Выдвинутые этой публицистикой по адресу «детей» (революционеров и демократической интеллигенции) обвинения он переадресовывает «отцам» (помещичьему классу и правящей верхушке России). Употребленный И. Аксаковым («Из Парижа».— «День», 1863, №№ 12 и 16, 23 марта и 20 апреля) по отношению ко всем находящимся за границей русским юридический термин допетровской Руси «гулящие люди» (часть населения, не приписанная ни к какому сословию и свободная от повинностей и податей) Салтыков социально уточнил и превратил в устойчивое сатирическое понятие: это «отцы», безнадежно развращенные крепостным правом, не способные ни к какому общественно полезному делу и потому навсегда утерявшие кровную связь с родиной. Космополитизму «отцов» Салтыков противопоставляет любовь к родине трудового народа — «русского мужика», и революционный патриотизм «детей», не восхваляющих слепо отечество, а «рационально» объясняющих «все хорошее и дурное в нем» и отдающих жизнь его социальному освобождению.

Глубина истолкования Салтыковым тургеневских образов «отцов» и «детей» в ходе полемики с либеральными и славянофильскими изданиями

сделала возможным восприятие «Русских «гулящих людей» за границей», при их включении в *изд. 1869* и *изд. 1882*, и как отповеди памфлетному изображению революционной эмиграции в тургеневском же «Дыме» (1867).

В связи с созданием группового сатирического образа «русского гулящего человека» в очерке высказан взгляд Салтыкова на объект, цель и метод социально-политической сатиры вообще. Смысл этой истинной сатиры — «энергического, беспощадного остроумия», свойственного «великим сатирикам» (в частности, Гоголю), заключается в отрицании «предмета во имя целого строя понятий и представлений, противоположного описываемым». Задача сатирика, «задача величественная», состоит в творческом исследовании наружно «целого, стройного миросозерцания» и выявлении ёго глубокой внутренней противоречивости («носит на себе человеческий образ, но мысль имеет нечеловеческую»).

НАШ SAVOIR VIVRE

(Стр. 100)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 11, отд. II, стр. 175—188 (вып в свет 11 нояб). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические заметки», с нумерацией «II» и под заглавием «Несколько слов о нашем savoir vivre и о мерах к постепенному распространению его».

Рукописи и корректуры неизвестны.

При подготовке *изд. 1869* Салтыков внес в текст очерка несколько поправок и небольших дополнений. В *изд. 1882* очерк перепечатан с незначительными изменениями.

«Признак времени», публицистически и сатирически исследуемый в очерке «Наш savoir vivre»,— «ж а ж д а с т я ж а н и я», охватившая русское общество в условиях бурного развития отечественного капитализма в первые же пореформенные годы. Характеризуя это время, Никитенко писал в своем дневнике: «Подделка бумаг, подлоги всякого рода, кражи казенных и общественных денег, огромнейшие плутовства по железным дорогам, которыми приобретаются из ничего громадные капиталы,— все это сделалось самыми обыкновенными явлениями наших дней. А между тем эти капиталы только и пользуются уважением общества, почетом, и владельцы их занимают высокие места»[1].

Запечатлевая эти новые «нравственные» нормы и устремления «голого чистогана», Салтыков пока не расценивает их как симптом наступления новой общественной формации. Социально-психологический облик «героя времени» — «развязного дармоеда», вполне освободившегося от всяких

[1] А. В. Н и к и т е н к о. Дневник в трех томах, т. 3, Л. 1956, стр. 336.

нравственных обязательств, является, по мысли писателя, наследием помещичье-паразитического бытия (ср. также «Хищники» в наст. томе и историю Порфиши Велентьева в «Господах ташкентцах» — т. 10 наст. изд.).

Салтыков противопоставляет хищнической морали стяжателей — «у м е л ы х л ю д е й» — народные представления о нравственности и разъясняет, «почему savoir vivre так мало развит между меньшею братьею»: мошенничество, умение ловко вырвать кусок изо рта ближнего,— это сфера эксплуататорской морали и практики. В то же время в очерке отмечено проникновение стремлений к наживе в крестьянскую среду, намечен эскизно тот процесс образования новых, буржуазных «столпов», который будет развернуто изображен писателем в истории возвышения Дерунова в «Благонамеренных речах» и в ряде других произведений 70—80-х годов.

«Умение жить» и его приемы трактуются Салтыковым широко, как основа не только социально-экономической практики, «умственного и нравственного обихода» господствующих классов, но и политического поведения служащих им «партий» («затеи современных либералов» — «все это один savoir vivre») и деятельности современного эксплуататорского государства, возведшего хищничество, аморализм и беспринципность на уровень государственной политики. Примером такого государства в очерке служит империя Наполеона III (подробнее об отношении Салтыкова к бонапартизму см. в очерке «Сила событий»).

Герцен 7 декабря 1868 г. писал Огареву, что в одиннадцатой книжке «Отеч. записок» (где был напечатан «Наш savoir vivre») нашел «много хорошего» (*Герцен*, т. XXIX, стр. 519). В России «злой и полный юмора фельетон» Салтыкова встретил одобрительный отзыв Буренина в «СПб. ведомостях» (1868, № 317, 19 ноября).

Стр. 100. *Варнавин* — глухой уездный город Костромской губернии, на реке Ветлуге; одно из мест, куда высылались из столиц «неблагонадежные» в 60—70-е годы.

...стянул целую железную дорогу...— Речь идет о «железнодорожной горячке», охватившей Россию во второй половине 60-х годов. Законы 1865 и 1868 гг. о порядке выдачи концессий на постройку дорог гарантировали железнодорожным компаниям огромные доходы и предусматривали ряд поощрительных мер, в частности приобретение правительством акций, выпуск облигаций. В железнодорожном грюндерстве и связанных с ним махинациях участвовали не только предприниматели и финансисты, но и земцы, и высшее государственное чиновничество, и столичная аристократия, и царская семья (см.: Б. Н. Ч и ч е р и н. Воспоминания. Земство и Московская дума, М. 1934, стр. 45—47; И. С. Т у р г е н е в. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 6, М.— Л. 1963, стр. 212).

Вот человек, который, продавая мне имение, показывал чужой лес за свой собственный! — Салтыков сам оказался жертвой подобного обмана при покупке в конце 1861 г. у помещика Василенина подмосковного имения

Витенево (см. *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 651, и комментарий там же, стр. 693—694, 835).

Стр. 103. *...что скажет Катков? <...> Разрешил!* — «Моск. ведомости» Каткова в 1867—1868 гг. часто печатали статьи о перспективах развития железнодорожного дела, концессиях и т. п. Вероятно, Салтыков намекает здесь и на закулисное влияние Каткова в решениях официальных инстанций о предоставлении акционерным обществам тех или иных льгот или о составе подобных обществ (см.: А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни, т. II, М. 1930, стр. 565; Е. М Феоктистов. За кулисами политики и литературы, М. 1929, стр. 262—263).

Res nullius cedit primo occupanti (Ничья вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит).— Одно из положений римского права.

Стр. 105. *«Петушком!»* — В явл. 4 действ. I гоголевского «Ревизора» Бобчинский говорит городничему: «Я так: петушком, петушком побегу за дрожками».

Уметь эскамотировать шары...— подтасовывать в свою пользу голосование (шарами) на выборах (от *франц.* escamoter — незаметно скрыть, подменить).

Стр. 109. *...друг мой, Феденька Козелков!* — См. прим. к стр. 46.

Заманиловка.— Так назвал Чичиков деревню Манилова Маниловку (Гоголь. Мертвые души, т. I, гл. 2).

Стр. 110. *...мужичок-финансист...*— Материал для сатирического обобщения его махинаций дали, по-видимому, в числе других «проектов ко всеобщему ободранию», акционерные и иные операции В. А. Кокорева, служившие постоянно предметом насмешек Салтыкова (см. в наст. томе «Русские «гулящие люди»...» и по указателям имен в предыдущих томах).

...я читал книгу Тено «Paris en Décembre 1851»...— В этой книге французского буржуазного республиканца Э. Тено (Paris, 1868) разоблачались мошенничества и интриги, приведшие Наполеона III к власти. См. также прим. к стр. 391.

Стр. 112. *...истинно умными людьми называются только люди умелые. Их одних ценят, одними ими дорожат.*— В какой мере эти сатирические обобщения восходили к реальному быту времени и среды, показывает, например, следующая запись в дневнике Никитенко от 11 июня 1863 г. о знакомстве с В. А. Кокоревым у М. П. Погодина: «...Кокорев очень умный человек, приобретший огромное состояние. Как он должен смеяться, увидев, например, такого человека, как я, который слывет тоже не дураком и который, однако, целую жизнь свою проводит за учеными пустяками, бесполезными для него самого и для других. Погодин большой приятель Кокорева; но это совсем другой человек. Он с наукою соединил и искусство добывания денег. Одно уже то, что музеум свой, стоящий тысяч двадцать, он продал казне за сто пятьдесят тысяч рублей, делает ему величайшую честь. Вот настоящие сильные умы русского государства» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, Л. 1955, стр. 342).

Стр. 114 *...станем дóбре.* — Здесь: станем крепкими, сильными (*церковнославянск.* и *народн.*).

...посредством водворения ..., в известных границах... — Намек на правительственную политику репрессий.

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА

(Стр. 115)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 3, отд. II, стр. 91—106 (вып. в свет 14 марта), под рубрикой «Петербургские театры», с подзаголовком в скобках: «Золотая рыбка». Балет в трех актах и семи картинах. Соч. Сен-Леона. Сюжет заимствован из сказки Пушкина. Музыка Минкуса».

«Проект совр. балета» — третья редакция статьи, первоначально предназначавшейся для «Совр.». В двух предыдущих редакциях, 1864 и 1866 гг., статья связывалась с «рецензированием» сначала балета «Наяда и рыбак» в постановке А. Сен-Леона, затем — его же «Фиаметты», и в обоих случаях также содержала пародийное балетное либретто «Мнимые враги, или Ври и не опасайся» (подробнее см. т. 5 наст. изд., стр. 199—215, 591—595, и *ЛН*, т. 67, стр. 401—402).

В третий раз Салтыков обратился к «рецензии» в декабре 1867 г. 20 декабря он писал Некрасову из Рязани: «Балет я непременно окончу и доставлю вам к 1-му числу. Надо было его почти весь переделать». Полной переработке подверглась первая, статейная часть сатиры — общая характеристика современного балета и отзыв о спектакле: теперь предметом сатирического «рецензирования» был избран новый балет, «Золотая рыбка», поставленный в петербургском Большом театре А. Сен-Леоном 26 сентября 1867 г. Вторая часть сатиры — пародийное либретто (из которой еще в 1866 г. были изъяты прямые полемические выпады против Ф. Достоевского и его журнала «Эпоха», прекратившегося в 1865 г.) теперь почти не изменяется.

Двадцать пятого декабря 1867 г. неизвестная нам рукопись третьей редакции — «программа балета» — была послана Некрасову с просьбой «сообразить его построже» и держать корректуру лично. При этом Салтыков выражал надежду, что «предпосланное балету предисловие» не будет «противно» адресату. Справляясь 9 января 1868 г. о получении рукописи, Салтыков вновь обращал внимание Некрасова на «предисловие», которое, по его мнению, «вышло довольно удачно», и просил внести изменение в текст второго акта: «Когда Гале предлагают корону, то слова «бумажный колпак» следует заменить словами «*балетный* колпак». Хотя у меня и не было никакой задней мысли насчет короны вообще, но все-таки лучше, чтобы не было и повода к толкованиям». (В тексте *ОЗ* — «бумажная корона», в тексте *изд. 1869* восстановлено «бумажный колпак»; стр. 119 наст. тома.) 18 февраля 1868 г. в письме к Некрасову предлагается новая правка: «везде, где написано «московские публицисты», «Москов. ведомости», заменить

словом «русские публицисты». Такая правка проводилась в *ОЗ* и *изд. 1869* и была продиктована не только цензурными соображениями, но и стремлением придать сатире более обобщающий характер.

При перепечатке в *изд. 1869,* кроме указанных замен, в тексте очерка были произведены некоторые другие несущественные изменения. В *изд. 1882* очерк был перепечатан почти без изменений.

Выбор Салтыковым для сатирического «рецензирования» балетов Сен-Леона не был случайным. Критика 60-х годов не раз отмечала бессодержательность, сюжетную нелепость многочисленных балетов этого предприимчивого либреттиста и постановщика (см. статьи «Конек-горбунок, или Царь-девица» в журн. «Русск. сцена», 1864, № 11; «Дебют г-жи Кеммерер» в газ. «Антракт», 1867, № 4, 26 января, и др.).

В балете Сен-Леона «Золотая рыбка» (вскоре снятом со сцены в связи с явным провалом) сарказм сатирика-демократа вызывает прежде всего претензия балетмейстера на «национальность», профанация им трагической народной темы в искусстве изображением «пляшущих поселян». Здесь очерк Салтыкова перекликается со стихотворением Некрасова «Балет» (1866):

Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
Но в покое оставь мужика!

В «Проекте совр. балета» Салтыков углубляет общую резко отрицательную характеристику балетного театра 60-х годов, данную в первых редакциях (см. подробнее на стр. 592—593 в т. 5 наст. изд.). Балетная «г а л и м а т ь я» теперь выступает в сатире Салтыкова концентрированным воплощением всей официально-спиритуалистической идеологии, основанной на «вере в провидение», в чудеса, во всемогущество самодержавного «б а л е т м е й с т е р а». Этот нравственно-идеологический комплекс писатель осмеивает с помощью эзоповской формулы «д у х д о л и н ы», в которой обыграно название балета того же Сен-Леона «Сирота Теолинда, или Дух долины» (музыка Ц. Пуни; премьера 6 декабря 1862 г.).

Развивая проблематику неопубликованной статьи 1863 г. «Современные призраки» (т. 6 наст. изд.), Салтыков уподобляет балету всю «с и с т е м у» — общественно-политический строй России, призрачно-нелепый, «неестественный», противоречащий законам разума. Балетное действо воплощает стиль общественного поведения господствующих классов и правящей верхушки страны: консервативно-деспотические силы режима и общества персонифицированы в партии Д а в и л о в а, «лганье» и «вранье» либерализма, правительственного и журнально-общественного,— в партии Х л е с т а к о в а. Единение же и апофеоз Х л е с т а к о в а - Д а в и л о в а и В з я т к и - П о с т е п е н н о й означает торжество политических устремлений «консерваторов»-охранителей и капитуляцию перед ними «постепеновцев»-либералов.

Исторически изжившему себя призрачно-балетному строю и его идеологии Салтыков противопоставляет «новых Галилеев» — русское революционное просветительство, освобождающее общественное сознание от «призраков».

Стр. 115. *...балет <...> продолжает возглашать: «Vive Henri IV!», в то время как Наполеониды...*— В петербургском Большом театре в 60-е годы еще шел балет «Генрих IV, или Награда добродетели» (либретто Г. Вальбаха, музыка разных авторов, премьера — СПб. 1816). Сатирик подчеркивает здесь отгороженность балетного искусства от животрепещущих интересов современности: в эпоху Наполеонидов во Франции (в частности, Наполеона III) он живет еще идеалами времен Генриха IV.

«Пускай астрономы доказывают, что Земля вкруг Солнца обращается»...— См. прим. к стр. 53.

Стр. 116. *...«пламя любви» есть не более как балетный предрассудок...*— Обыгрывается название балета «Фияметта, или Пламя любви», музыка Л. Минкуса, постановка А. Сен-Леона, премьера 13 мая 1864 г. Отклик Салтыкова на него см. во второй редакции наст. очерка (*ЛН*, т. 67, стр. 401—402).

География Арсеньева.— Речь идет об учебнике К. И. Арсеньева «Краткая всеобщая география», с 1818 г. на протяжении тридцати лет единственном официально одобренном учебнике географии, выдержавшем двадцать изданий. Салтыкову он был памятен по годам пребывания в Царскосельском лицее и часто служил объектом его насмешек.

История Смарагдова — «Краткое начертание всеобщей истории для первоначальных училищ» (СПб. 1845, 6-е изд. — 1855) С. Н. Смарагдова. Как и упомянутые ниже учебники И. К. Кайданова по всеобщей и русской истории (изд. 1814—1833 гг.; см. о них на стр. 362 и 617 в т. 3 наст. изд.), труды Смарагдова содержали хронику царей и полководцев, сдобренную казенным патриотизмом.

Стр. 117. *Менажировать* — щадить (от *франц.* ménager).

Река Стикс — в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства, обиталище душ умерших, воплощение мрака и ужаса.

Стр. 119. *... г. де Персиньи (до сих пор не могущий позабыть, что он <...> Fialin) или г. де Лавалетт <...> приняли бы эту сцену на свой счет.*— Имена бонапартистских министров В. Фиалена (вначале принял титул виконта, который носили когда-то его предки, титул герцога получил от Луи Бонапарта) и маркиза Ф. де Лавалетта входят здесь в сложное эзоповское построение, с помощью которого балету уподобляется не только империя Наполеона III, но и монархическая форма правления вообще (ср. очерк «Наш savoir vivre» и комментарий к нему). Ироническое замечание в скобках по адресу Персиньи появилось в тексте очерка в *изд. 1869.*

...министры <...> будут в состоянии и couronner l'édifice («увенчать здание» — *франц.).* — Так Наполеон III высокопарно называл свои реформы. В русских либеральных кругах это выражение употреблялось как

синоним «конституции», перспективу которой для России прямо обсуждать не дозволялось.

Стр. 120. *...Сен-Леон <...> непременно заставил бы их говорить по-гречески или по-латыни, все в видах достижения тех же консервативно-мифологических целей.*— Намек на развернутую Катковым с 1864 г. кампанию за усиление преподавания древних языков в гимназиях (см. передовые *МВ*, 1864, №№ 108, 110, 115 от 16, 19, 24 мая. О последовавшей в 1871 г реформе среднего образования в духе Каткова см. в прим. к стр. 448 наст. тома).

Стр. 121. *Я сам питаю несокрушимую веру в «духа долины» и в «дочь фараона»...*— «Дух долины» — балет «Сирота Теолинда, или Дух долины» (см. выше). «Дочь фараона» — балет М. Петипа на муз. Ц. Пуни, поставлен 18 января 1862 г. в петербургском Большом театре. Названия этих балетов нарочито подобраны Салтыковым для эзоповского осмеяния религиозного и верноподданнического сознания. Ранее они с той же целью использовались им в «Моск. письмах» и «Совр. призраках» 1863 г. (см. в т. 5 и т. 6 наст изд.).

...я не ленился, как «раб лукавый»...— Ссылка на евангельскую притчу о рабе, зарывшем в землю «талант» (монету, данную господином), вместо того чтобы приумножить ее своими стараниями (Матф., XXV, 26).

...«Добродушный Гостомысл и варяги» <...> сюжет этот <...> обработывается газетой «Москва».— Салтыков иронизирует над апологетическими экскурсами газеты «Москва» в историю Древней Руси. Сам Салтыков в сатирических целях многократно использует в своих произведениях летописное предание о призвании Гостомыслом варягов на Русь, начиная с очерка «Гегемониев» (см. т. 3 наст. изд., стр. 11—12, 559—560) и далее в «Истории одного города», «Убежище Монрепо» и «Современной идиллии».

Дантист.— Ироническое употребление этого слова в смысле «зубодробитель», «герой зубосокрушающей силы», частое у Салтыкова, восходит к Гоголю («Мертвые души», т. I, гл. 10).

Стр. 124. *Пустынное местоположение, отданное в надел крестьянам.*— Намек на тяжелое положение, в которое крестьян поставила реформа 1861 г., когда помещики старались забрать себе плодороднейшие земли, расположенные близко к их усадьбам, а крестьянам отводили худшие и дальние.

Стр. 130. *Ах, когда же с поля чести...*— Начало «рассказа» Собинина в опере Глинки «Жизнь за царя» (акт I, либретто бар. Е. Ф. Розена). Салтыков высмеивает здесь казенно-патриотические излияния официозной прессы, восхвалявшей «подвиги» царских войск при подавлении польского восстания 1863—1864 гг.

Трапп — люк.

Тихо всюду! глухо всюду!..— Из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды». Об эзоповском образе «тишины» см. на стр. 577, 661 наст. тома.

Стр. 131. *Римский огурец* — образ беспардонного лганья из басни Крылова «Лжец».

ХИЩНИКИ
(Стр. 132)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, отд. II, стр. 204—219 (вып. в свет 12 янв.). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические размышления», под заглавием «Практические последствия крепостного права.— Учение о хищничестве.— Затруднения в будущем» и с порядковым номером «III».

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *изд. 1869*, вышедшем также в январе, текст «Хищников» несколько сокращен и дополнен. В *изд. 1882* очерк перепечатан с незначительными сокращениями и изменениями.

В «Хищниках» Салтыков продолжает и развивает тему очерка «Наш savoir vivre» (см. выше). Он сосредоточивает внимание на социально-исторических истоках и «нравственной сущности» послереформенного «хищничества», заполонившего «всю общественную ниву», на отношениях хищничества и его жертв, «силы» и «бессилия».

В связи с этим одна из главнейших тем очерка, связывающая его с магистральным течением всего творчества писателя,— обличением пассивности масс и психологии «неизбежности» подчинения силе, как одного из вреднейших пережитков крепостничества. С этой мыслью связана двузначность первой строки очерка, как бы его эпиграфа. В форме, пародирующей зачин классических поэм, Салтыков иронически «поет» «похвалу силе» хищников, но со всей горькой серьезностью заявляет «презрение к слабости» их жертв и так же серьезно хотел бы «петь» похвалу силе народной, силе Ивана. Однако ему приходится констатировать, что самому Ивану (крестьянству) «никогда не разрешить» вопрос, отчего он слаб, а Петр и Павел, его эксплуататоры, «сильны».

Существо современных общественных отношений, где торжествует право силы, звериная мораль взаимопожирания, где новые способы «обдирания» Ивана по-прежнему дополняются прямым произволом, полицейским принуждением, издевательством над личностью угнетенного,— передано сатириком в емкой формуле: «дарвинизм, только переложенный на русские нравы и прикрытый российским вицмундиром». Выводы Салтыкова — крепостное право «живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках» (они перекликаются с заключениями шестого и седьмого «Писем о провинции», сделанными тогда же на другом материале) — полемически заострены против утверждений либеральной печати о полном устранении крепостничества реформой 19 февраля 1861 г., а также отчасти и против суждений внутри демократического лагеря о неактуальности обличений этого векового зла.

В анализе Салтыкова еще не акцентируется, таким образом, принципиально новое, буржуазное существо пореформенного хищничества. Внимание сатирика-демократа и утопического социалиста приковано к общей

эксплуататорской природе социальных отношений и морали в мире хищников и крепостников, к тому политическому и идеологическому крепостничеству, которое и после реформы продолжало составлять важнейшую сторону российского общественного строя, придавая хищническому социальному гнету черты особенного паразитизма.

Собирательный образ «хищников» олицетворяет величайшую безнравственность эксплуататоров («пропал стыд»). Однако Салтыков снимает вопрос о личной вменяемости, переносит центр тяжести обличения на «неестественность», ненормальность самого «исторического положения», «всего общего строя современной жизни», в котором насилие, угнетение, попрание человека человеком — «триумфаторство» — приобрело права закона.

Финальные строки очерка отражают веру революционного просветителя в наступление «жизни правильной, нормальной», в победу «естественных» отношений между людьми — то есть социализма — и грядущую гибель хищничества.

Огарев в письме к Герцену от 15 февраля 1869 г., непосредственно после прочтения январской книжки «Отеч. записок», отметил: «...Замечательны статьи Щедрина, но «Признаки времени» мне все же лучше нравятся, чем «История одного города» [1]. Таким образом, Огарев поставил «Хищников» выше первых шести глав «Истории...».

Стр. 134 ...*не формализируемся*...— не смущаемся (от франц. se formaliser).

Стр. 135. *Те, которые говорят: зачем напоминать о крепостном праве, которого уже нет? <...> — говорят это единственно по легкомыслию.*— О суждениях либеральной и славянофильской печати относительно «полной» ликвидации крепостничества см. прим. к стр. 239. (Упреки Салтыкову в том, что «все внимание сатирика направлено на вчерашний день», высказывались и ранее, например в статье Писарева 1864 г. «Цветы невинного юмора».— Д. И. Писарев. Собр. соч. в 4-х томах, т. 2, М. 1955, стр. 357—358.)

Стр. 137. ...*не резонировать*...— не рассуждать (от *франц.* raisonner).

...*применению теории laissez faire, laissez passer к такому щекотливому делу, как вольное обращение.*— Сатирически используется известная формула французских экономистов XVIII в.— требование невмешательства государства в частную экономическую деятельность: «предоставление полной свободы действий».

Стр. 141. ...*нераскаянных отдавали в пудретное заведение.*— Пудрет (*франц.* poudrette) — удобрительный порошок. Сырьем для него служили нечистоты. Технология их переработки в «пудрет» была антисанитарна и крайне тяжела. По этой причине установилась практика направления помещичьих крестьян на работы в «пудретные заведения» преимущественно в порядке наказания.

---

[1] *ЛН*, т. 39/40, стр. 518.

...нераскаянных толпами приводили в губернские правления и рекрутские присутствия...— Строки эти восходят к личным воспоминаниям Салтыкова. В канун крестьянской реформы он был рязанским, а затем тверским вице-губернатором, и в его непосредственном ведении находились губернские правления этих городов.

Стр. 142. *...да величит душа твоя.*— Приспособленная к цензуре ироническая перифраза из «Псалтири» (XXIX, 13: «Да величит душа моя господа»).

Стр. 143. *Феденька Козелков.*— См. прим. к стр. 46.

Стр. 144. *...даже сепаратистов!* — В феврале 1868 г. был обнародован приговор по делу о «сибирских сепаратистах» — членах кружка демократической молодежи Г. Н. Потанине, Н. М. Ядринцеве, С. С. Шашкове, Н. И. Наумове и др., которые летом 1865 г. были арестованы по обвинению в «злонамеренных действиях», направленных к «ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи», в общении с «изобличенными агитаторами Бакуниным, Щаповым, Чернышевским и др.». Потанин приговаривался к каторге, остальные — к ссылке (А Шилов. Общество «Независимости Сибири» 1865 г.— «Вольная Сибирь», 1918, №№ 4, 6, 10; 17 февраля, 3 и 23 марта). Обвинения в «сепаратизме» выдвигались также «Моск. ведомостями» Каткова в 60-е годы, в частности, против деятелей украинского национально-освободительного движения — Н. И. Костомарова и др. (См., например, *МВ*, 1864, № 13.)

Стр. 146. *Менажировать.*— См. прим. к стр. 117.

Стр. 148. *Fins de non recevoir* — французский юридический термин, означающий отказ дать иску законный ход по мотивам, внешним по отношению к самому иску. Салтыков употребляет этот термин в значении: отказ от признания.

Я не раз выражал мнение, что жизнь правильная, нормальная не терпит триумфов...— См., например, в наст. томе очерки «Легковесные», «Лит. положение», а также в XI, XII хрониках «Нашей общественной жизни» и статье «Совр. призраки» (т. 6 наст. изд).

САМОДОВОЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
(Стр. 149)

Впервые — *ОЗ*, 1871, № 10, стр. 485—504 (вып. в свет 16 нояб.), с цифрой «I» после заглавия.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В очерке, писавшемся, очевидно, в конце августа или в сентябре 1871 г., то есть после запрещения V главы «Итогов», использованы в переработанном виде отдельные фрагменты ее текста (ср. стр. 158 и 513, абзацы о «глумлениях», попрании авторитетов).

Восемнадцатого октября 1871 г. Салтыков писал А. Н. Энгельгардту: «В Петербурге нового мало; жизнь как будто замолкла. Общество скучает, а вы сами знаете, на что может быть способно скучающее общество? На

увлечение кафешантанами, цирками и т. п. Все это и выполняется здесь буквально, то есть без всякой окраски какими-нибудь действительными интересами. Рекомендую вам мою статью «Самодовольная современность», помещенную в октябрьской книжке «Отеч. записок», которая именно посвящена этой теме. Это только вступление; затем будет применение изложенного в первой статье к нашей современности, и статьи будут появляться от времени до времени».

В публикации *ОЗ* цифра «I» также указывала на авторское намерение создать цикл; это намерение не осуществилось, и Салтыков включил очерк в сборник «Признаки времени» в *изд. 1882.* При этом он переработал и значительно сократил текст очерка. Приводим два варианта *ОЗ.*

К стр. 153, в середине абзаца «Трагическая сторона..», после фразы «...вне ограниченности не может быть спасения»:

Подобно тому как в стране, переходящей из низшего фазиса общественности в высший, бывает спрос на людей талантливых, убежденных и энергических, которые обыкновенно и являются на призыв,— так точно и в стране, мечтающей о блаженстве неподвижности, бывает спрос на людей ограниченных, которые также не упускают откликнуться без замедления. А как скоро есть спрос, то, значит, есть нужда в таких людях, нужда же, в свою очередь, приносит за собой силу, авторитетность, почет.

К стр. 159, в середине абзаца «Что̀ такое скука?..», после слов «...нет прочного и продолжительного наслаждения...»:

...а следовательно, нет и действительного обеспечения от наплыва скуки. Все другие виды органической деятельности человека прежде всего отличаются сравнительною малосложностью своих составных стихий, которая исключает всякую мысль о возможности бесконечно разнообразных комбинаций. А в этом-то разнообразии комбинаций и заключается то условие, которое обеспечивает прочность наслаждения. И ежели за всем тем некоторые из упомянутых выше низших видов деятельности все-таки достигают значительной степени разнообразия и утонченности, то этот факт свидетельствует не о богатом содержании самого явления, а только о вторжении в его сферу чуждого ему элемента умственности. Благодаря этому вторжению наслаждение даже невысокого достоинства получает некоторое освежение, но освежение только временное, потому что продолжительное смешение двух разнородных стихий никогда не остается безнаказанным и в конце концов приводит не к освежению, а к взаимному искажению.

Главная тема очерка — характеристика духовной жизни общества, находящегося в полосе реакции, анализ причин, условий и перспектив распространения «самодовольной ограниченности» в сфере идей. Это сатирическое понятие выделяет в охранительной идеологии разнообразных оттенков общую черту: стремление навязать «мировой жизни» идеалы «домашние», своекорыстные, групповые, «уездные», подменить ими высшие жизненные идеалы общечеловеческого значения.

Героями дня становятся «азбучные мудрецы», проповедники философии житейского здравого смысла. Их идеал — «тишина для тишины», то есть приостановка социального прогресса и развития общест-

венной жизни. Однообразие и бедность воззрений, насаждаемых «самодовольной ограниченностью, сознавшей себя мудростью», приводит к «умственной одичалости» и скуке, общественному бессилию, распущенности нравов, падению искусства до «зрелищ, возбуждающих чувственность», засилью пошлости в литературе.

В либеральной публицистике 60-х годов неоднократно утверждалось, что причиной поражения «партии прогресса» и наступления реакции в России явилась будто бы чрезмерность требований и нетерпимость к либералам «строптивых нигилистов» — революционных демократов. Исследуя в «Самодов. современности» механизм смены «особенно энергических усилий общества, направленных к пересозданию самых существенных его основ», «господством ограниченных людей», писатель на опыте отечественной и западноевропейской истории показывает пагубность политических и идейных компромиссов для общественного прогресса.

«Шиш» — ничтожные результаты реформ 60-х годов в России — «есть лишь естественное последствие тех деморализующих компромиссов», которыми были подорваны «недавние усилия» русского общества. Салтыков отвергает теорию «фаталистического исхода всех реформаторских усилий вообще» и утверждает историческую необходимость и плодотворность бескомпромиссной борьбы за новые, «широкие основания» жизни, то есть за демократическое переустройство общества, в основе которого лежало бы «первое условие всякой общественности», всякого дальнейшего прогресса — «возможность свободного обмена мыслей, возможность спора, возражений и даже заблуждений». Все симпатии писателя на стороне «убежденных, самоотверженных и страстных людей», которые одни могут быть подлинными руководителями общества. В этих словах «читатель-друг» улавливал ясный намек на Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Михайлова и других «властителей дум» радикально настроенных кругов 60-х годов.

В истории Западной Европы Салтыков обращается за примерами к французской Директории, к империям Наполеона I и Наполеона III, пришедшим на смену революциям 1789—1793 и 1848 гг., и в особенности к недавней «борьбе с небом» — к Парижской коммуне. (Сочувствие коммунарам выражалось им ранее в «Итогах», см. также комментарий к ним.) Осенью 1871 г., когда создавалась «Самодов. современность», Салтыков безуспешно пытался напечатать в «Отеч. записках» статью В. И. Танеева в защиту I Интернационала и Парижской коммуны «Международное общество рабочих, исторический рассказ по подлинным источникам...», основанную на документах Интернационала и работе К. Маркса «Гражданская война во Франции»[1]. Характерна близость эзоповского выражения Салтыкова «борьба с небом» к оценке Парижской коммуны К. Марксом в письме к Л. Кугельману от 12 апреля 1871 г., где говорится о «славнейшем подвиге» «готовых штурмовать небо парижан»[2].

---

[1] См. воспоминания Танеева в *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 568, и примечания С. А. Макашина — там же, стр. 556, 812.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 172.

В докладе о 10-й книжке «Отеч. записок» за 1871 г. цензор Лебедев назвал очерк «предосудительным»[1]. Совет Главного управления по делам печати 19 октября 1871 г. большинством голосов под председательством М. Р. Шидловского принял решение об объявлении «Отеч. запискам» предостережения за эту книжку. Вследствие протеста Некрасова, который вынужден был поддержать и официозный советник редактора журнала Ф. М. Толстой, пропустивший «Самодов. современность», предостережение не было утверждено министром внутренних дел А. Е. Тимашевым. Но сам Толстой за допущенную «оплошность» поплатился отставкой. Главную роль во всей этой истории сыграло отношение к статье Шидловского, одного из самых ограниченных и тупых представителей царской администрации, бывшего тульского губернатора, послужившего Салтыкову моделью для гротескного образа градоначальника с «органчиком» в голове. В письме к Краевскому от 27 декабря Толстой писал, что именно «Самодов. современность» «была причиною (хотя тайной) озлобленного взрыва неукротимого арх[ангела] Михаила <Шидловского>». Нет сомнения, что Шидловский почувствовал себя лично задетым ядовитой сатирой на «ограниченность, сознавшую себя мудростью»[2].

Стр. 149. *Криле* — крылья (*церковнославянск.*).

Стр 151. ...*«Крестецкий уезд счастлив <...> в нем существует банк», или «город Скопин счастлив <...> в нём имеется деятельный городской голова Рыков».* — С конца 50-х, особенно в 60-е годы в России возникло множество банков, в том числе в уездных городах Крестцы Новгородской губ. и Скопин Рязанской губ.; основателем и руководителем последнего был городской голова И. Г. Рыков. В бытность рязанским вице-губернатором (1858—1860) Салтыков обнаружил злоупотребления в деятельности правления скопинского банка и предал его членов суду, но закулисными «хлопотами» Рыкова дело было прекращено сенатом. В 60—70-е годы скопинский банк «развивал свои операции до размеров, приводивших публику в изумление и восторг, пока не лопнул» (*«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 450—451). Насмешки Салтыкова над деятельностью этого банка вызваны восторгами либеральной прессы по поводу роста подобных предприятий и попытками представить распространение банковского кредита гарантией всеобщего преуспеяния.

Стр 154. ..*времена Директории и Первой империи...* — Директория — высший орган власти во Франции в 1795—1799 гг., действовавший в интересах крупной буржуазии, был избран контрреволюционным Конвентом, уничтожившим в результате переворота 9 термидора (1794) власть яко-

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. — Л. 1926, стр. 39—40.

[2] См.. Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. — *ЛН*, т. 49/50, стр. 486. См. также: М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868—1884). История журнала. Литературная критика, Южно-Сахалинск, 1966, стр. 46—50

бинцев и казнившим их вождей: Робеспьера, Сен-Жюста и др. Директория расчистила дорогу диктатуре Наполеона Бонапарта, осуществлявшейся с 1799 г. в форме консульства, а с 1804 г. в форме империи (существовала до 1814 г.),— Первой империи, как стали ее называть позднее, после того как в 1852 г. возникла Вторая империя — Наполеона III.

Стр. 154—155. *...по дороге задались мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, — и вышло нечто совсем неожиданное.*— Речь идет о крестьянской реформе 1861 г., отменившей крепостное право, но сохранившей много его остатков. Реформа осуществлялась, исходя из руководящих указаний, сформулированных Александром II: «а) чтобы крестьянин немедленно почувствовал, что быт его улучшен; б) чтобы помещик немедленно успокоился, что интересы его ограждены...»

Стр. 157. *...«возлюбленная тишина, градов и весей отрада», о которой вздыхают поэты...*— Перефразированное начало оды Ломоносова «На день восшествия на престол имп. Елисаветы Петровны 1847 года» У Ломоносова:

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда...

...кодекс низменного свойства аксиом, который нельзя обойти под опасением ввергнуться в бездну и на дне ее встретить классическую гидру.— «Гидрой» революции, «бездной» анархии и всеобщего разрушения запугивали общество «пустопорожние мудрецы» реакции, связывая эти пугала с самостоятельностью мысли и слова и выдвигая в качестве противоядия куцые прописи житейской мудрости, верноподданнического единомыслия. Такие мотивы, в частности, превалировали в оценках событий Парижской коммуны в русской официозной прессе (см. комментарий к «Итогам»).

Стр. 158. *Оставьте мечтательность и займитесь делом, то есть вытаскиванием бирюлек <...> не заглядывайте вперед...*— Такие призывы и нападки на «юношей, уносящихся в сферы заоблачные», наполняли консервативную и либеральную публицистику на рубеже 70-х годов (см., например, анонимную рецензию на «Исторические письма» П. Л. Миртова (Лаврова).— *РВ*, 1871, № 2, стр. 834; статью Суворина «В гостях и дома».— *ВЕ*, 1870, № 9, стр. 308—309, подпись: *А. С — н*). О вытаскивании бирюлек см. прим. к стр. 403.

СИЛА СОБЫТИЙ
(Стр. 162)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 10, стр. 447—470 (вып. в свет 16 окт.).

Рукописи и корректуры неизвестны.

Двадцать пятого ноября 1870 г., отвечая на вопрос А. М. Жемчужникова об авторе очерка, Салтыков писал: «Сила событий» действительно принадлежит мне; я не подписался, чтоб не давать поводов к толкованию».

Работа над очерком протекала, очевидно, в сентябре: в авторском примечании (см. стр. 162) упоминается «развязка французско-прусской войны», то есть поражение армии Наполеона III под Седаном 21 августа/2 сентября и падение империи во Франции 23 августа/4 сентября. Кроме того, в «Силе событий» Салтыков полемизирует со статьей Суворина «В гостях и дома» в сентябрьской книжке «Вестн. Европы», номера которого обычно выходили первого числа каждого месяца.

В *изд. 1882* очерк был перепечатан с незначительными поправками и некоторыми сокращениями. Приводим два варианта *ОЗ*.

К стр. 171, в середине абзаца — «Исполнитель глупый...», после слов «являлась бы неотразимою»:

...но такого положения еще не существовало, и когда оно наступит, можно было только догадываться, а не утверждать.

К стр. 174, после абзаца «Зигмарингенцам и гессенцам...»:

Но нет, они даже и этого не скажут, потому что им, в сущности, нет никакого дела до Еврипида. Что такое Еврипид? какое имеет он отношение к общему ходу жизни человечества? Что может принести его чтение, кроме удовлетворения личных вкусов того или другого индивидуума? Помилуйте! да они сами с величайшею охотой готовы восторгаться Еврипидом в часы, свободные от обязанностей паразитства...

Итак, сидите смирно, сражайтесь храбро, уважайте начальников, а там читайте себе Эсхилов, Еврипидов, Аристофанов — хоть Поль де Кока!

«Сила событий» — одно из главных выступлений Салтыкова, посвященных разработке темы патриотизма. Раскрытию содержания этого понятия и выяснению отношения к идее патриотизма разных социальных и политических групп много содействовали, по мнению Салтыкова, «откровения настоящей войны», то есть франко-прусской войны. В свете ее драматических событий, а также отношения к ним русской печати, и ведется в статье, с одной стороны, критика всех видов и форм лжепатриотизма, а с другой — пропаганда демократического и социалистического понимания патриотизма как «идеи общего блага» (подробнее о понимании Салтыковым патриотизма см.: С. Макашин. Великий патриот.— «Правда», 1939, № 128, 10 мая).

Реакционные и либеральные публицисты усматривали причины поражения Франции в ее бурной политической истории, не обеспечившей стране устойчивого «порядка», обвиняли французский народ в отсутствии патриотизма и превозносили как образец государственности, любви к родине и вообще «цивилизации» Германию, объединенную под эгидой Пруссии. Так, П. К. Щебальский в статье «Глава из современной истории» писал, что слабость Франции явилась «наследием революционной эпохи»[1]. Торжеством «истинной цивилизации» над «цивилизацией канкана» объявлял победу Германии некий «земский деятель К. А. В.» на страницах «СПб. ведомостей»[2].

---

[1] *РВ*, 1870, № 9, стр. 148.

[2] № 230, 22 августа 1870 г., стр. 1. Ср. там же, № 217, 9 августа, «Недельные очерки и картинки» А. Суворина (подпись: *Незнакомец*).

Особенно усердствовал в преклонении перед прусским «постоянным, прочным укладом жизни» Суворин. Его статья «В гостях и дома»[1] наполнена призывами «скромно работать и идти по пятам» соседей.

Свое понимание патриотизма и трактовку причин краха империи Наполеона III Салтыков развертывает в полемике с этими публицистами, в первую очередь с Сувориным (см. ниже, в постраничн. примеч.). Ответственность за поражение Франции он целиком возлагает на ее правящую бонапартистскую группу — воплощенное «бесстыжество», и вместе с тем решительно отвергает в качестве образца прусское государство, сатирически дискредитирует его «просвещение», его «порядок». Все свои симпатии писатель отдает французскому народу, противопоставляя его как самодовольно-ограниченному победителю, так и власти «паразитов».

Образное салтыковское понятие «паразиты» в настоящем очерке приобрело наиболее обобщенный смысл. Им охватываются и любые виды хищничества, ослабляющие отечество перед лицом внешнего врага, и главное направление деятельности правящих слоев и государственного аппарата — «насильственное обречение массы в жертву невежественности и обеднению». В этом смысле Салтыков не видит разницы между общественным строем европейских государств. Развал наполеоновской империи является для писателя историческим аналогом будущих судеб подвластной отечественным «паразитам» России. К этой аналогии сатирик постоянно возвращает читателя разными эзоповскими приемами: употреблением русских географических названий в рассуждениях о Франции и Германии, частными сравнениями тамошних порядков с русскими и т. д.

«Патриотизму», охраняющему интересы правящих классов, «патриотизму», насаждаемому насилием «дисциплины», бессознательному в своей апатии или, напротив того, в своем стихийном фанатизме, «патриотизму» угнетенных и неразвитых масс Салтыков противопоставляет сознательный и самоотверженный патриотизм «действительно развитого человека». Такой патриотизм демократичен и чужд национальной исключительности и шовинизма; это «школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве».

Проявления сознательного патриотизма, несущего миру идеи свободы, писатель усматривает в «действительной политической и социальной жизни» Парижа, в славной истории французского народа, в борющихся демократических силах нынешней Франции, воспрянувшей в момент национального несчастья и готовой пригвоздить к позорному столбу его виновников. С судьбой передовой Франции — Франции революций, «светоча» идей утопического социализма — Салтыков связывает судьбу всех передовых идеалов человечества, судьбу международного освободительного движения и европейского прогресса, что было характерно для русской революционной демо-

---

[1] *ВЕ*, 1870, № 9, стр. 296—318 (подпись: *А. С. — н*).

кратии[1]. Писатель формулирует первейшее условие ее победы над «паразитами»: «привить Париж к остальному национальному организму». Заключительные слова очерка о «громадных результатах», которыми чреваты «совершающиеся события», звучат пророчеством грядущей Парижской коммуны.

Знаменательна весьма близкая перекличка этих прогнозов и оценок Салтыкова в канун Парижской коммуны с мыслями Маркса из письма к Л. Кугельману от 12 апреля 1871 г., в частности, с его противопоставлением героев-парижан «холопам германо-прусской Священной Римской империи»[2].

В «Силе событий» Салтыков доказывает, что деспотия и политика административного произвола не обеспечивают не только «внешней безопасности» любого государства, но и вожделенной внутренней «тишины». Писатель утверждает единственную возможность спасения, возрождения родины — самоотверженную борьбу за материальное и духовное возрождение народа.

С «превосходной статьей» Салтыкова «Сила событий» солидаризировалась демократическая «Искра» (1871, № 2.— «Вестнику Европы» первое предостережение»)

Стр. 163. *...вместо ружей шасспо простые ударные, или кремневые, или <...> вместо кремня <...> чурка...*— Прусская армия была вооружена игольчатым ружьем Дрейзе, что предопределило в значительной степени ее победу над Австрией в войне 1866 г. В том же году французский рабочий Шасспо усовершенствовал игольчатое ружье, но перевооружению французской армии мешали злоупотребления и коррупция генералитета и правящей верхушки. Салтыков намекает, что армия Франции перед войной с Германией была вооружена так же плохо, как армия России перед Крымской войной, когда в результате афер поставщиков, больше всех заявлявших о своем «патриотизме», войска подчас получали кремневые ружья с чурками вместо кремней (см. очерк «Тяжелый год» из «Благонамеренных речей» в т. 11 наст. изд.).

Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или тюркосов, или гулящих немцев...— В Римской области до 1870 г. светская власть принадлежала папе; ее охраняла наемная армия, состоявшая большей частью из швейцарцев. «Тюркосы» — алжирские наемники во французской армии; «гулящие немцы» — обилие немецкого и остзейского дворянства в рядах высшего командного состава царской армии. Обличение верхушки «русских немцев», сравнение их с швейцарцами-наемниками было также одной из излюбленных тем Герцена в «Колоколе».

---

[1] В той же книжке *ОЗ*, где была напечатана «Сила событий», Елисеев в «Беседах по поводу прусско-французской войны» писал: «Стоит только угаснуть пламеннику идей, горящему во Франции и освещающему Европу, тогда и плошки этих идей в других странах <...> или совсем погаснут, или будут мерцать очень слабо, и в Европе вспомянутся времена блаженной памяти Меттерниха» (отд. II, стр. 303).

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 172.

Стр. 164. *...самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои давние заслуги перед человечеством настолько существенными, что перед ними бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение...*— Эпитеты «самый нахальный», «до того нахальный» передают здесь отношение к французскому народу противников демократической, революционной и социалистической Франции. «Двадцатилетнее недоразумение» — 1851—1870, с государственного переворота Луи-Наполеона Бонапарта в 1851 г., провозглашения его в 1852 г. императором Наполеоном III, и до краха Второй империи.

Бедная Франция! <...> Тебя <...> каждый мекленбург-стрелицкий обыватель <...> называет собранием «думкопфов»! (глупцов — *нем.* Dummkopf).— Отсюда в разработку темы вводится материал статьи Суворина «В гостях и дома» (*ВЕ*, 1870, № 9) и сатирическая полемика с этим материалом и позицией автора. В статье Суворина приводились слова некоего патриота-немца: «Мы готовы <...> и много побьем французских думкопфов!» (стр. 314). Издеваясь над карликовыми обывательскими «патриотизмами», Салтыков упоминает жителей мелких немецких княжеств и герцогств: Мекленбург-Стрелиц, Гогенцоллерн-Зигмаринген, Гессен, Липпе-Детмольд, Шаумбург, Лихтенштейн, Саксен-Мейнинген, Нассау и др. В 1866 г. часть их захватила Пруссия, другие вошли под ее эгидой в Северо-Германский союз, а в 1871 г. в Германскую империю.

...в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве».— То есть революция 1848 г. во Франции явилась толчком к развертыванию движения за национальное объединение Германии.

Стр. 164—165. *Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои почты и железнодорожные поезда лишены правильности отчетливого механизма; тем, что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок оказалась недостаточно твердою.*— В статье «В гостях и дома» Суворин восторгался немецким «порядком», честностью и исполнительностью чиновников, «недосягаемым совершенством» почт и железных дорог, удобством ретур-билетов (билетов в оба конца), почтовыми марками Германии (там же, стр. 298—299, 303—305, 311 и др.).

Стр. 165. *Покуда ты выдумывала свободу <...>, мекленбуржец <...> предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их» <...>. Он уверен <...>, что каждый чиновник <...> в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного в Капштадт...*— Новая насмешка над Сувориным в связи с его выпадами против революционно-социалистической пропаганды Чернышевского и его соратников. В вышеупомянутой статье Суворин писал: «...Для нашего общества немало принесли вреда те, которые весьма даровито смеялись над парламентаризмом и успели опошлить его в глазах даже просвещенного меньшинства. <...> Все более юное унеслось в сферы заоблачные и стало бредить о вещах неосуществимых <...>. Лично я предпочел бы некоторую узость взглядов ширине их...» Там же, в качестве примера незнания географии русскими

почтовыми чиновниками, Суворин приводил случай засылки одним из них письма в Кронштадт вместо Капштадта — ныне Кейптаун (*ВЕ*, 1870, № 9, стр. 308—309, 311).

«Wacht am Rhein» — «Стража на Рейне», шовинистическая немецкая песня.

...изнемогайте без <...> писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь Боброва... — В статье «В гостях и дома» Суворин жаловался, что отправил из Пирмонта (город в Северной Германии, близ Ганновера) письмо к родственникам в гор. Бобров Воронежской губ., но не получил ответа: бобровский «почтовый чиновник не слыхал о Пирмонте» (*ВЕ*, 1870, № 9, стр. 310).

Стр. 166. *...немецкие публицисты <...> упоминают о галльском петухе...* — О «галльском петухе» — аллегории Франции,— «вызывающем нас на бой», писал, например, Д.-Ф. Штраус в открытых письмах к Э. Ренану в газ. «Allgemeine Zeitung» в 1870 г.

Стр. 168. *«Посмотрите,— говорит мейнингенец,— <...> десятки лет волнуются, <...> а следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!»* — «Allgemeine Zeitung», например, в редакционной статье «Die französische Kriegserklärung und Europa» («Объявление войны Францией и Европа») писала: «После того как <этот народ> свергал династию за династией, конституцию за конституцией, <он> впал в порабощение к пришлому императору-солдату...» (№ 207, 26 июля, стр. 3301). Немецкой вторила русская либеральная печать (см., например, анонимное «Письмо в редакцию» в № 233 *СПб. вед.*, 25 августа 1870 г.).

Сорти-де-баль — вечерняя женская накидка; здесь: бытовое название «накидок-плащей» французских полицейских (*франц.* sortie de bal).

Стр. 169. *...административных ссылок в Ламбессу и Кайенну...* — В Ламбессу (местечко в Алжире, в то время французской колонии) и Кайенну (город во Французской Гвиане в Южной Америке), отличавшиеся изнурительным тропическим климатом, Наполеон III ссылал политических противников.

Стр. 171. *...издали может показаться, что в массах таится неистощимый источник всевозможных дисциплин.* — В *ОЗ* эти весьма важные строки имели более развернутую редакцию, передающую полнее отдельные звенья и нюансы в горьких, но отнюдь не безнадежных размышлениях Салтыкова о возможностях пробуждения в массах гражданского самосознания:

> Массы так мало чувствительны для разложения, что издали может казаться, что в них таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. Опровержение такого мнения почти всегда является внезапно, в форме откровения, (О значении термина «разложение» см. в прим. к стр 473 наст. тома.)

Одна из таких истинно замечательных в истории человечества минут наступила теперь. — Речь идет о трагической для Франции «развязке» франко-прусской войны (катастрофа при Седане), послужившей толчком к провозглашению республики во Франции 4 сентября 1870 г., а впоследствии

и к событиям Парижской коммуны. Такого рода глубокие общенациональные кризисы, по мысли Салтыкова, могут резко поднимать уровень политического сознания массы общества и народа.

...восторги публицистов, повествующие о немцах-пастухах, читающих в подлиннике Еврипида, и о немцах-офицерах, пишущих с театра войны родным грамотки на санскритском языке... — Суворин в упомянутой выше статье рассказывал о встрече с немецким пастухом-солдатом, читавшим книгу «на греческом диалекте» и оказавшимся доцентом одного из прусских университетов (цит. статья, стр. 315). Интеллигентность прусских вояк превозносил Боборыкин в своих корреспонденциях с Рейна (*СПб. вед.*, 1870, № 217, 9 августа, стр. 2).

Стр. 172. *«Как до звезды небесной далеко»* — из стихотворения «Утешение в слезах» Жуковского.

Бунтуют поляки, а его ушлют задавать страх уездному городу Соликамску. — Намек на использование кризисных ситуаций на «окраинах» империи для устрашения сил внутреннего сопротивления. В период польского восстания 1863 г. большие войсковые соединения были сосредоточены в Поволжье и на Урале, в связи с ожидавшимися крестьянскими волнениями.

...Бендеры <...>, Свенцяны <...> Таммерфорс, Лодзь, Ахалцых, Ахалкалаки, Вольмар <...> вот сколько неизвестных величин он обязан любить. — Названные города находились на угнетенных национальных «окраинах» Российской империи — в Бессарабии, Литве, Финляндии, Польше, Закавказье, Латвии.

Стр. 173. *Бывают минуты, когда борьба против ложного общественного настроения считается признаком высшего и безукоризнейшего патриотизма...* — В частности, намек на борьбу русской революционной демократии с шовинистическим угаром, раздутым официальной пропагандой в связи с польским восстанием 1863 г.

Стр. 174. *Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж — в Мадрид <...> живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожа!* — Страна абсолютистско-католической реакции и застоя Испания и ее столица Мадрид — здесь — эзоповское обозначение царской России. На смысл иносказания намекает упоминание русского города Пудожа.

Стр. 175. *Расходы взимания* — расходы по содержанию огромной администрации и полиции, обеспечивавших регулярность поступления или принудительного взыскания налогов и всевозможных сборов с населения.

Стр. 178. *Административная централизация* — система управления, при которой местное управление по всем вопросам подчинено центральным учреждениям и действует по указаниям последних. Салтыков был противником административной централизации как системы, сковывающей развитие общественно-политического самосознания и активности масс (см. также в наст. томе седьмое из «Писем о провинции»).

Стр. 180 *...применять его только, так сказать, в табельные дни.* — То есть в исключительных случаях: табельные дни — дни церковных

праздников и «царские дни», помеченные в календаре неприсутственными, нерабочими.

...теоретиков молчания <...> *только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет* <...> *признать* <...> *небесполезные свойства* <*патриотизма*>.— Салтыков имеет в виду попытки проводников авторитарной идеологии (теоретиков молчания) в Европе и России вычеркнуть из мировой истории страницы, отмеченные самостоятельным историческим творчеством социальных низов, или фальсифицировать их. В этом смысл противопоставления Салтыковым имен Жанны д'Арк и Вильгельма Телля. «Реабилитация» французской аристократией и духовенством Жанны д'Арк (1456), ранее объявленной еретичкой, колдуньей и сожженной на костре, превратила ее из народной героини в мученицу за веру и короля. Имя же Вильгельма Телля как вожака восставших швейцарцев (XIV в.) было нежелательным для царской власти и изымалось ею из публичного обращения (см. прим. к стр. 253 в т. I наст. изд.).

Стр. 181. *...паразит из смиренных* <...> *охотнее назовет себя курицыным сыном, нежели признает свою национальность.*— Такой эпизод см. в очерке «Русские «гулящие люди» за границей».

Стр. 182. *...в руках наезжих людей.*— Став императором Франции, Наполеон III вернул из эмиграции и поставил у власти ряд своих друзей по изгнанию, в котором он находился до 1848 г., ведя жизнь политического авантюриста.

Сегодня сжигают живьем человека и чуть-чуть не вздергивают на виселицу представителя страны за то, что он высказывает свободное мнение, завтра — уходят с арены военных действий толпы гард-мобилей...— Французская печать сообщала о «сожжении крестьянами в Дордони землевладельца за то, что он не хотел крикнуть «Vive l'Empereur!» Об этом рассказывалось также в корреспонденции Боборыкина (*СПб. вед.*, 1870, № 228, 20 августа, стр. 2) и в «Иностр. обозрении» «Вестн Европы» (№ 9, стр. 395). Там также описывался случай в Сомском департаменте: «Когда представитель его в Законодательном корпусе, граф д'Эстурмель, объявил крестьянам, что он считает нужным низложить императора, толпа <...> бросилась на него и хотела его повесить...» Гард-мобили — солдаты «подвижной гвардии» (*франц.* garde mobile), то есть гражданской милиции, которая была создана в 1848 г. из буржуа и люмпенов, использовалась для подавления революции, затем была распущена Наполеоном III и вновь учреждена в 1868 г. в качестве армейского резерва. К началу франко-прусской войны ее не успели обучить и вооружить, и она оказалась небоеспособной.

ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ

Художественно-публицистические «Письма о провинции» создавались Салтыковым с января 1868 по июль 1870 г.: три первых были написаны, а четвертое начато во время последней его службы в Рязани; остальные

писались уже после отставки 14 июня 1868 г., когда Салтыков, окончательно возвратившись из провинции в Петербург, целиком отдался литературной работе в перешедших под редакцию Некрасова «Отеч. записках».

Главный предмет размышлений автора «Писем» — пореформенная жизнь русской провинции и ее перспективы. Тема эта приобрела особенную остроту в связи с тем, что зимой 1867/68 г. почти все губернии Европейской России были охвачены голодом — последствием очередного неурожая.

Официозная и часть либеральной прессы пыталась приуменьшить размеры бедствия и свести вопрос о путях его преодоления к частной филантропии, продолжая в то же время восхвалять «великую реформу», будто бы наделившую бывших помещичьих крестьян землей и правоспособностью (участием в местном самоуправлении — «всесословном земстве»).

Напротив, органы крепостнической реакции связывали именно с этими «дарами» реформ развал экономики деревни. Ее разорение дворянские публицисты разных оттенков, от кн. В. П. Мещерского до П. Ф. Лилиенфельд-Тоаля, автора нашумевшей брошюры «Земля и воля» (СПб. 1868), оплакивавшей «блаженство» крепостничества, объясняли пьянством, ленью, бестолковостью мужиков, лишившихся «отеческого управления». Предлагаемые рецепты сводились к усилению опеки над крестьянами со стороны государства и помещиков, а то и к прямому возвращению дореформенных порядков. Газета «Весть», например, открыто ратовала за возврат к крепостным отношениям.

Демократическая печать — «Отеч. записки», «Дело», «Искра», «Неделя» — в своей оценке реформ и положения крестьянства после освобождения заняла позиции, противостоящие и либеральным приукрашиваниям, и крепостническому злопыхательству. Демократические публицисты устанавливали социальные причины обнищания крестьянского хозяйства: уменьшение наделов, непомерное увеличение всяческих поборов в ходе и после реформы, сохранение мелочной регламентации жизни крестьянина, его фактического бесправия и т. п.— то есть видели эти причины в половинчатости самих реформ и «несовершенствах, которыми сопровождалось исполнение» [1]. Отсюда вытекали требования демократизации всего общественного строя.

Требования эти обосновывались разнообразными материалами, из номера в номер печатавшимися в 1868 г. в «Отеч. записках», — будь то непосредственные впечатления корреспондента («Из недавней поездки» Н. Демерта — № 12) или отклики на текущую прессу (см., например, «Совр. заметки» в №№ 3, 4, 7, 10 и др.— их вел Л. И. Розанов), полемические рецензии на книги крепостников (например, на упомянутую брошюру «Земля и воля» — № 9, отд. II, стр. 78, без подписи) или проблемные публицистические статьи (например, «Производительные силы России» Елисеева в № 2).

В ряду этих выступлений «Письма о провинции» Салтыкова занимают центральное место. Их выделяет масштабность охвата, глубина художест-

[1] См. статью без подписи «Положение крестьянского хозяйства».— *ОЗ*, 1868, № 9, отд. II, стр. 95.

венно-сатирического обобщения «русловых» явлений пореформенной русской жизни, проницательность анализа материалов, добытых непосредственно из первоисточников.

Пореформенные публицисты разных направлений часто облекали свои выступления о русской провинции и деревне в «эпистолярную форму», желая придать им бо̀льшую силу достоверности [1]. Ученые-экономисты, например В. Безобразов и др., в своих сочинениях о состоянии послереформенной экономики также стремились оперировать статистическими сведениями и другими фактами, собранными ими непосредственно в поездках по глубинным уездам. Этим материалам и впечатлениям, в которых положение русской деревни и провинции вольно или невольно фальсифицировалось, следовало противопоставить непосредственные же наблюдения над этой жизнью. Жизненный и служебный опыт Салтыкова, в 1858—1861 гг. вице-губернатора в Рязани и Твери, а в 1865—1868 гг. управляющего казенной палатой в Пензе, Туле и Рязани — давал для этого широкие возможности.

В вѐдении казенной палаты находились патентные сборы, наблюдение за «поступлением государственных доходов» (уплатой налогов, недоимок), и Салтыков мог досконально изучить состояние провинциальной экономики. Он, разумеется, не только наблюдал процесс проведения реформ в жизнь «на местах», махинации бюрократии и помещиков по ограблению крестьян при выкупных операциях, но и по мере сил защищал интересы разоряемых «временнобязанных» [2]. Этот опыт писателя нашел широкое отражение в «Письмах о провинции». Сохранившееся в воспоминаниях Боборыкина признание Салтыкова: «Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель» [3],— имеет самое прямое отношение к этому произведению.

Салтыков, давая отпор крепостникам, высказывает свое положительное отношение к «намерениям 19 февраля», то есть к самому акту освобождения крестьян от ужасов личного рабства (см. стр. 210, 238, 269 и др.). Вместе с тем его общая оценка реформ резко противостоит либеральным

---

[1] Например: В. П. Мещерский. Письма из средних великороссийских губерний за 1867 г., СПб. 1868; А. Кошелев. Из провинции.— *СПб. вед.*, 1867, № 82, 24 марта; он же. Голос из земства, М. 1869; В. Д. Голос из деревни.— «Русский», 1868, № 16, 11 марта. О преобладающей направленности подобных свидетельств очевидцев бывший министр народного просвещения А. В. Головнин писал редактору «Вестн. Европы» М. М. Стасюлевичу 13 ноября 1868 г.: «...Ездили, кажется, собственно для того, чтоб разглашать теперь, что они сами, *на местах,* видели весь вред крестьянской и судебной реформы и земских учреждений и убедились также *на местах* в необходимости усилить, хотя бы временно, административную власть губернаторов» («М. М. Стасюлевич и его современники...», т. I, СПб. 1911, стр. 503).

[2] См.: И. В. Князев. «Особые мнения» М. Е. Салтыкова-Щедрина (из материалов Пензенского областного архива).— «История СССР», 1963, № 5, стр. 147—150.

[3] П. Д. Боборыкин. Монрепо. (Дума о Салтыкове); цит. по изд. «Салтыков в воспоминаниях», стр. 135.

славословиям в их адрес. Исследование смысла и причин противоречия между официальным оптимизмом реформ и реальным «оскудением» жизни в пореформенной провинции, анализ социальных сил, наложивших свой отпечаток на характер реформ и способы их проведения, составляют одну из важнейших сторон содержания «Писем о провинции».

Уже в экспозиции цикла Салтыков анализирует политическую борьбу в русском пореформенном обществе: отношения «историографов» — представителей дореформенных помещичье-чиновничьих сил, сохраняющих ключевые позиции в управлении, и «пионеров» — чиновников новых ведомств (акцизных, контрольных, судебных), а также деятелей порожденных реформами земских учреждений «Распря» между «историографами» и «пионерами», захватившая умы «образованного общества»,— сюжетный стержень, вокруг которого строится сатирическая типология первых «писем».

Автор создает также проникнутые иронией собирательные характеристики участников промежуточных групп: «складных душ» — ренегатствующих перебежчиков, и «фофанов» — бездумных исполнителей велений «историографов».

Салтыков показывает, что сила в этой междуусобной войне «исконных историографов» с «пришельцами» — «пионерами» остается на стороне первых. Исход борьбы предрешен уже самой бессодержательностью принципов либеральствующих «пионеров». В своей боязни революционных «увлечений» и социалистических «утопий» они неминуемо идут к подчинению реакционно-консервативным силам, к сближению с ними. «Пионеры — историографы будущего» — так формулирует писатель диалектику их политического развития. В такой перспективе «раздор» двух лагерей в аппарате власти оказывается, в сатирической интерпретации Салтыкова, «делом о выеденном яйце».

Сосредоточивая внимание на самом характере пореформенной деятельности «историографов», на их отношении к «преобразованиям последнего времени», автор раскрывает существеннейшее противоречие русской жизни: «влиятельными практическими деятелями на почве 19 февраля явились люди, не могущие и даже не дающие себе труда воздержаться от судорожного подергивания при малейшем намеке на эту почву». Это кардинальное противоречие социально-политической современности, коренившееся объективно в том, что буржуазные реформы в России проводились под эгидой самодержавия, руками крепостников и чиновной бюрократии, сохранивших свое «всевластие» и содействовавших упрочению в пореформенном укладе крепостнических пережитков,— получило сатирическое претворение в собирательном образе «ненавистников» — рыцарей исконных «зуботычин» в новом облике реформаторов («Письмо третье»). Они «рыскают по градам и весям», разоряя народ под предлогом осуществления реформ. Используя страх самодержавия перед революционным движением, они строят свою карьеру на неистовой борьбе с «нигилизмом», насаждают «шпионство, наушничество и вольный донос». Этой политической стороной своего содержания тип администратора-«ненавистника» сближается с «легковесными»

(см. одноименный очерк и комментарий к нему). Позднее он будет детально разработан в «Господах ташкентцах» (1869—1872).

Однако главный идейный антагонист Салтыкова, с которым он ведет в «Письмах» непрерывный бой,— *идеологическое* «ненавистничество», идеология и психология крепостничества, сохраняющиеся в нравах и мыслях людей и после юридической отмены крепостного права.

«Не потому оголилась и оголяется жизнь,— формулирует Салтыков свою мысль,— что крепостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышит, буйствует и живет между нами» («Письмо седьмое»). Писатель обнажил «корень» сохранения силы реакционной бюрократии и помещичьего «чужеядства» в самом «складе жизни», стиснутом «прежними рамками» сословного неравенства, своекорыстия и самодержавного произвола («Письмо пятое»). Вывод писателя уже в первых «письмах» определен: необходимо *радикальное* изменение всего порядка вещей, «склада» общественных отношений, *полное* устранение «историографов» и «ненавистников» от дела обновления страны.

Этот вывод углубляется в последующих «письмах», где предмет внимания автора — состояние *экономики* провинции после реформы. Нищенское прозябание, застой в развитии производительных сил, убогое состояние народных промыслов выступают в зарисовках уездного Глупова («Письмо девятое») как следствие именно коренных противоречий пореформенной русской действительности. Для Салтыкова их узел — в незыблемости абсолютистской государственной машины, выкачивающей все живые соки из страны, в сохранившемся и после отмены личного рабства экономическом принуждении и политическом бесправии крестьянина, его беззащитности и перед притязаниями крепостников, и перед грабителем — фиском, и перед любым хищником — «негоциантом Белобрюховым».

Первоочередная историческая задача — освобождение народа от всех ограничений его самодеятельности. Эту задачу бессильны решить земские или иные либеральные учреждения в рамках старого политического уклада. Либеральные «пионеры», как и реакционные «историографы», торжествующие «ненавистники», претендуют на открытие новой страницы истории, но они — лишь «н а к и п ь» на ее поверхности. Подлинное же содержание «действительной истории человеческих обществ» составляет «безвестная жизнь масс», как писал Салтыков в разгар работы над «Письмами» в рецензии на сатиры и песни Д. Д. Минаева весной 1868 г.[1]. И когда он, начиная с шестого «письма», переходит от сатирического анализа «чужеядных наростов» к исследованию «жизни масс» (крестьян), и в пореформенный период опутанных тенетами нужды, бесправия и социальной слепоты, авторская интонация приобретает трагическую окраску.

«Убожество» существования крестьянства в 60-х годах трезво показывали и письма Скалдина (псевдоним Ф. П. Еленева) «В захолустье и в столице», которые печатались в «Отеч. записках» одновременно с «Пись-

---

[1] «В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева» (т. 9 наст. изд.).

мами о провинции» Салтыкова[1]. И Салтыков и Скалдин фиксировали процесс пауперизации русской деревни. И тот и другой полагали, что темнота, «нищета и разорение унаследованы крестьянами от крепостного права»[2], связаны с сохранившимся его «последом».

Однако принципиально и различие этих двух антикрепостнических документов русского просветительства Скалдин всецело уповал на постепенность в совершенствовании крестьянского самоуправления и призывал власть к дальнейшим преобразованиям. Для Салтыкова же само существование власти «историографов» делало подобные надежды беспредметными, лишало их реальности. В его освещении социальная неразвитость мужика — это вопрос сугубо политический, вопрос о возможностях и перспективах борьбы народа за свое освобождение. Центральная мысль «Письма шестого»: крестьянин «беден всеми видами бедности <...> и, что хуже всего,— беден сознанием этой бедности» — приводилась В. И. Лениным как афористическая формула политической забитости и пассивности крестьянства, его покорно-фаталистического отношения к угнетению (см., например, статью В. И. Ленина «Гонители земства и аннибалы либерализма»)[3]. Благодаря одновременному появлению в печати «писем» Скалдина с их «спокойной рассудительностью, умеренностью, постепеновщиной»[4], и «писем» Салтыкова рекомендации либерально-буржуазного просветителя оттенили высоту угла зрения и глубину выводов просветителя революционного[5].

Вместе с тем Салтыков (и в этом он был близок к Скалдину) отрицательно оценивал роль общины в жизни современного крестьянства, что было продиктовано последовательной просветительской враждой к любым формам регламентации свободы личности крестьянина, сдерживающим прогресс производительных сил страны. Здесь Салтыков разошелся с таким крупным публицистом «Отеч. записок», как Елисеев, который уже в статье «Крестьянский вопрос» (*ОЗ*, 1868, № 3), в противоречии с высказывавшимся им самим и всей демократией 60-х годов требованием уничтожить опеку государства и помещиков над крестьянами, предлагал принять законодательные меры к сохранению общины, к неотчуждаемости крестьянских участков внутри общины. Это, надеялся Елисеев, оградит мужиков от эксплуатации сообщинников-кулаков и от притязаний фиска (с подобными представлениями об ограждающей функции общины Салтыков особенно развернуто полемизировал в журнальной редакции «Письма осьмого» — см. вариант к стр. 287).

---

[1] III и IV письма Скалдина, наиболее глубоко освещающие эти проблемы, появились в №№ 11, 12 за 1868 г., вслед за VI «Письмом из провинции» (*ОЗ*, № 10 того же года).

[2] *ОЗ*, 1868, № 12, стр. 509.

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 25.

[4] Там же, т. 2, стр. 520.

[5] I и II «письма» Скалдина появились в журнале еще в 1867 г., до перехода его в руки новой редакции во главе с Некрасовым. Новая редакция в примечании к III «Письму» Скалдина оговорила, что не всегда согласна с его воззрениями.— *ОЗ*, 1868, № 11, стр. 255.

Актуальность спора о роли общины на страницах «Отеч. записок» 1868—1869 гг. определялась его прямой связью с центральной проблемой, над которой билась в эти годы революционная мысль,— о дальнейших формах и возможностях русского освободительного движения. Идеологи и практики революционной демократии неустанно искали выхода из идейного кризиса, вызванного крахом надежд на быстрое политическое созревание крестьянских масс. Этот кризис выразился, в частности, в попытках найти какие-то «обходные» формы движения к социальному освобождению, помимо общенародной политической борьбы, например «химический» путь: распространение в народе естественнонаучных знаний силами «мыслящих реалистов» и внушение эксплуататорам выгод социалистического строя;[1] или мирное, опирающееся на общинные начала, стихийное движение общества к социализму «в обход» государственной власти[2] и т. п. Такого рода идеи в сознании выдающихся мыслителей, как Писарев и Герцен, преодолевались их последующим духовным развитием. Однако они нашли многообразное преломление в планах и длительных спорах в среде русской демократии конца 60-х годов.

Действительность уже начинала разрушать представления русских социалистов о «социалистических инстинктах» мужика, но многие из них тем более упорно связывали теперь свои надежды с этими инстинктами, отказываясь в то же время от политической пропаганды в народе, от политической борьбы, неспособной, по их мнению, принести массам подлинного, социального освобождения. С другой стороны, в тактике подпольных организаций намечался крен к интеллигентскому заговору. На рубеже 70-х годов названные тенденции проявились наиболее явственно, хотя отнюдь не однозначно, в различных собственно народнических тактических программах, выдвинутых Ткачевым, П. Лавровым, М. Бакуниным и др. Так, в прокламациях Бакунина — Нечаева 1868—1869 гг. главным средством освобождения народа провозглашались анархические путчи, немедленный бунт против государства, превозносились самые темные формы народного протеста, например разбой[3]. А в «Исторических письмах» Лаврова в 1868—1869 гг. на первый план выдвигалась задача воспитания «критически мыслящих личностей»[4].

---

[1] Д И. Писарев. Реалисты (*РС,* 1864, №№ 9, 11).— Соч. в 4-х томах, т. III, М. 1956, стр. 9—10, 126, 137 и др. Близкие идеи выражались в публицистике В. А. Зайцева; см.: В. Я. Кирпотин. Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М 1933, стр. 191 и сл.; Ф. Кузнецов. Варфоломей Зайцев — революционный критик и публицист.— «Вопросы литературы», 1966, № 3, стр. 158—162.

[2] А. И. Герцен. Наброски «Писем к противнику»; «Письма к путешественнику» (*К,* 1865, лл. 199, 201 от 1 июля, 1 августа).— *Герцен,* т. XXX, стр. 796; т. XVIII, стр. 355, 367—370.

[3] См.: М. А. Бакунин. Письма к А. И. Герцену, Женева, 1896, стр. 468, 473—474.

[4] См., например, «Письмо пятое».— «Неделя», 1868, № 13, стр. 391 и др.— П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. I, М. 1934, стр. 227 и др.

В связи с намечающимися разного рода субъективистскими тенденциями особенное значение для дальнейшего развития идеологии русского освободительного движения приобретали философско-социологические выводы «Писем» Салтыкова (и очерка «Сила событий» из «Признаков времени») о необходимости пробудить к сознательному историческому действию крестьянские массы. Эта необходимость была осознана им еще в годы революционного подъема (см. «Глуповское распутство» в т. 4 наст. изд.). Констатируя теперь придавленность народа, пережившего «историю ошеломлений», писатель вместе с тем неуклонно выражает в «Письмах» укрепившееся на опыте исторических неудач убеждение в бессилии революционеров без народа, в необходимости для демократической интеллигенции во что бы то ни стало «отыскать для масс выход из той глубокой бессознательности, которая равно вредна для них, как и для нас» («Письмо шестое»).

В VI, VIII, XII «Письмах о провинции» и примыкающем к ним очерке «Кто не едал с слезами хлеба...» кардинальная задача пробуждения политического сознания крестьянских масс ставится наиболее конкретно, во всей своей действительной сложности, обнаружившейся к тому времени. Призыв «Письма шестого» — «поставить себя на его <народа> точку зрения» — служил вынужденным подцензурным эквивалентом целой программы упорного, не отступающего перед трудностями революционного просвещения народа, которая была намечена в очерке «Кто не едал...», написанном незадолго до этого «письма», но не напечатанном, по-видимому, по цензурным условиям. Здесь утверждалась мысль о необходимости начинать политическое просвещение в деревне не с описаний социалистического идеала, а с разъяснения нетерпимости крестьянской нищеты, разъяснения предельно конкретного, насыщенного жизненными примерами. Лишь постепенно следует, как полагал Салтыков, включать в круг размышлений крестьянина и вопрос о его политическом и социальном бесправии. Писатель ясно видел все трудности на пути демократа, понимал, что проповедь его может быть встречена «изумлением, даже почти негодованием». Однако Салтыков верил — стоит мужику убедиться, «что право голодать <..> не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранит сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право».

Так своеобразно осознавалась и формулировалась Салтыковым объективная потребность нового периода демократического движения: методическая пропаганда в народной среде. Вскоре она была осознана революционной молодежью и в первой половине 70-х годов начала осуществляться в «хождении в народ». Однако это осуществление проходило в несколько иных формах, как раз с упором на пропаганду общинно-социалистических идеалов. Впоследствии Салтыков сочувственно откликнется на «хождение в народ» рассказом «Сон в летнюю ночь» (1875), где изобразит деятельность учителя-демократа Крамольникова в деревне. Но характерно, что революционная проповедь, с которой этот герой обратится к крестьянам, будет построена по намеченным писателем в «Письмах» и очерке «Кто не

едал...» принципам: за исходный пункт будут взяты конкретные нужды крестьян, их попранное человеческое достоинство, а не социалистическая «высшая цель»[1].

К этой мысли Салтыкова близок пафос последней, программной статьи Писарева «Французский крестьянин в 1789 г.», с ней перекликаются и итоговые размышления Герцена в письмах «К старому товарищу» о путях постепенного и упорного приобщения темных крестьянских масс к социалистическому сознанию. Но если последнее творение Герцена отмечено духом спокойной исторической уверенности, обретенной в реальной силе движения на Западе «полков рабочих» и их Интернационала, то Салтыков, оставаясь всецело на почве русской действительности, мыслит трагически. Эта действительность с господством в ней самодержавного «ненавистничества» не давала еще объективной возможности для созревания исторически конкретного представления о путях движения общества к социалистическому идеалу. Особенно трагичен тон заключительного, XII «письма», воспроизводящего отношения ссыльного революционера и массы.

Однако Салтыков подчеркивал: «Я не говорю: жертвы бесполезны». «Письма о провинции» проникнуты глубочайшим уважением к людям революционного подвига, они способствовали закалке нового поколения бойцов, мобилизовывали на суровую и долгую подвижническую работу, предостерегали революционную мысль от маниловщины и прожектерства Всеохватывающий анализ русской пореформенной действительности, развернутый в цикле, неуклонно вел вдумчивого «читателя-друга» к заключению, что вне сознательного политического творчества самих масс, вне борьбы за него, как трудна бы она ни была, нет выхода на дорогу подлинного исторического прогресса для всей нации.

«Письма о провинции» представляют собой один из крупнейших художественно-публицистических циклов Салтыкова. Их проблемное единство определяется общенациональной широтой, политической целеустремленностью анализа общественных отношений в глубинной России. Вместе с тем цельность цикла цементируют сквозные групповые сатирические образы «историографов», «пионеров», «ненавистников» (создававшиеся средствами комического снижения политики в быт, политической трансформации портрета и т. п.), а также нарастающая от «письма» к «письму» сила сурового и сдержанного лиризма авторской интонации. Таким образом, «Письма», непосредственно развивая творческий опыт публицистических хроник «Наша общественная жизнь», явились в то же время значительной вехой на пути становления монументальной формы сатирического обозрения Салтыкова, кристаллизации его специфической поэтики.

---

[1] См. также: А. С. Бушмин. Народ в изображении М. Е. Салтыкова-Щедрина — Сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы», М.— Л. 1960, стр. 274—311.

«Письма о провинции» не привлекли к себе сколько-нибудь значительного внимания современной критики. Отзывы печати об этом салтыковском цикле лишены развернутого анализа и глубокого истолкования. В рецензии В. П. Буренина, тогда еще либерального критика, на сборник «Признаки времени и Письма о провинции» отмечена в общих словах «современность их, приуроченность, так сказать, к движению нашей общественной жизни» [1].

А. С. Суворин в рецензии на этот же сборник, отдавая должное «превосходным характеристикам», вместе с тем утверждал, что Салтыков здесь будто бы «просто защитник реформ» [2].

Следует, однако, отметить, что уже в журнальной публикации отдельные «письма» были по достоинству оценены Герценом и Огаревым (подробнее см. в комментарии к «Письму шестому»). В 1876 г., когда появились «Речи консерватора» кн. В. Мещерского, демократический журнал «Дело» ядовито отметил, что они «сильно напоминают собою беседы и размышления тех героев, которые выведены Щедриным в его «Письмах о провинции» [3].

Впервые под заглавием «Письма из провинции» очерки печатались в «Отеч. записках» в 1868—1870 гг.; «Письма» I—VII за подписью *«Н. Гурин»*, VIII—XII за подписью *«Н. Щедрин»*. В *изд. 1869* вошли первые шесть, а в качестве седьмого помещен фельетон 1863 г. «В деревне» (т. 6 наст. изд.). Для этого издания Салтыков произвел незначительную, главным образом стилистическую правку текста (без изменений повторено в издании 1872 г.— Подробнее см. на стр. 533 наст. тома). Все двенадцать «писем» вместе впервые были собраны в *изд. 1882.* Для этого издания текст был сильно переработан автором и значительно сокращен по сравнению с первопечатной журнальной публикацией (см. об этом в комментариях к отдельным «письмам»).

В настоящем томе «Письма о провинции» печатаются по составу и тексту *изд. 1882.*

Рукописи «Писем из провинции» не сохранились. Известна лишь черновая рукопись, начинающаяся эпиграфом «Кто не едал с слезами хлеба...» (см. отд. «Неоконченное»), частично вошедшая в переработанном виде в «Письмо шестое».

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

(Стр. 187)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 2, отд. II, стр. 354—366 (вып. в свет 14 февр.).

Работа над «Письмом первым» относится к январю 1868 г.: 9 января Салтыков сообщил Некрасову, что «к февральской книжке» надеется «прислать провинциальное письмо», а 19 января обещал привезти «Провинциальное письмо», которое совсем уж готово и переписывается».

---

[1] *СПб. вед.*, 1869, № 76, 18 марта (подпись: *Z*).
[2] *ВЕ*, 1869, № 4, стр. 988.
[3] *Д*, 1876, № 3, стр. 414.

В *изд. 1869* «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями, из которых существенно следующее: в начале абзаца «Другая вредная подмесь...» (стр. 199 наст. тома), в фразу «...утопия не имеет права заявлять претензию на практическое осуществление...», перед словами «практическое осуществление» добавлено — «немедленное».

«Письмо первое» посвящено анализу взаимоотношений двух «партий», или «сил», пореформенной провинции. Деятели первой персонифицированы в собирательном образе «историографов». Это проникнутые духом крепостного права дореформенные чиновники-администраторы и деятели дворянского сословного самоуправления. До недавнего времени им принадлежала роль официальных и единственных делателей «писаной истории» России. Эти «зиждительные» позиции они в основном сохранили и остались «столпами» государства и при «новых порядках». Сатирическое наименование образа — «историографы» — связано также с тем, что реакция в ходе своего идеологического наступления в конце 60-х годов призывами уважать отечественную историю и ее традиции прикрывала идеализацию дореформенных, крепостнических отношений.

К «устроению судеб» России «историографы» теперь вынуждены допустить «пионеров» — либерально настроенных новых чиновников и деятелей установленных реформами учреждений: гласного суда, земства и т. п Однако эти «пришельцы» не могут противопоставить «зубосокрушающей силе» «историографов» подлинно новых принципов: «Мысли у них не только благонамеренные, но, так сказать, очищенные», больше всего они боятся «увлечений». Наименование «пионеры» иронически соотносится с теми напыщенными похвалами — «первооткрыватели, пролагатели новых путей», которые в изобилии расточали в адрес либеральных деятелей либеральные же публицисты [1].

Глубина иронии Салтыкова по отношению к подобным типам «исторических деятелей» обусловлена его взглядом на «писаную историю» в целом, как на историю «призрачную», то есть совершающуюся без деятельного участия масс и вопреки их интересам. Такая история саркастически уподобляется «яичнице», которую в пореформенный период стряпают сообща старая бюрократия и новое земство, что, однако, отнюдь не меняет ее антинародного содержания (см. также стр. 657 в т. 6 наст. изд.).

Реакция на «Письмо первое» со стороны консервативного и либерального общества была очень резкой, в частности, в Рязани, где тогда служил Салтыков. 21 марта 1868 г. он писал Некрасову: «Мои «Письма из провинции» весьма меня тревожат. Здешние историографы, кажется, собираются жаловаться, а так как тут все дело состоит в том, я ли писал эти письма или другой, и так как в существе письма никакого повода к преследованию подать не могут, то не согласится ли Слепцов или кто другой назвать себя

---

[1] См., например, о «первых благородных пионерах» нового суда в кн.: Г. Джаншиев. Эпоха великих реформ, изд. 6, М. 1896, стр. 415.

отцом этого детища...» Неизвестно, как отнесся Некрасов к предложению о таком камуфляже, который вряд ли достиг бы цели, но надобность в нем тут же отпала. Уже 25 марта Салтыков сообщал Некрасову: «Здесь все узнали, кто автор «Писем из провинции»,— и дуются безмерно <...>. Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убираться отсюда».

Рязанские «историографы» и «пионеры» восприняли первое «письмо из провинции» как сатиру лично на них. Разумеется, однако, рязанская «натура», как всегда у Салтыкова, была идейно и художественно обобщена. Он доказывает, что деятельность созданных в России реформами 60-х годов новых учреждений не привела к кардинальному обновлению страны, а их либеральные руководители вместе с «историографами» озабочены лишь тем, как бы затормозить «несмелую нашу мысль», то есть развитие общественного самосознания. В этой связи вновь, как во множестве других произведений Салтыкова, в «Письме первом» возникает тема необходимости борьбы за «утопии» — социалистические идеалы, причем в *изд. 1869* изложение этой мысли уточняется (см. выше вариант журнального текста к стр. 199).

Стр. 187. *Фофаны.*— См. «Письмо четвертое».

Стр. 188. *...чтобы разумели языци...*— Выражение из хвалебной молитвы русской церкви по поводу поражения Наполеона I и взятия Парижа в 1814 г.

Стр. 189. *...когда возбужден был вопрос о сокращении переписки.*— Речь идет о Комитете по сокращению делопроизводства и переписки (см. стр. 647).

Стр. 190. *...акцизные чиновники, <...> какого переполоха наделало их появление!* — Положение от 4 июля 1861 г. заменило откупную систему акцизной, в соответствии с которой, по приобретении особого патента, разрешалось частное производство и продажа вина, облагавшиеся единым акцизным сбором (см. прим. к стр. 78 в т. 3 наст. изд.), взимание которого производилось губернскими акцизными управлениями. Эта реформа превозносилась либералами как мера, освобождающая народ от грабежа откупщиками и пресекающая злоупотребления губернских властей, связанные с откупом. Оказалось, однако, что акцизная система лишь облегчила государству и кабатчикам выкачивание последних грошей из крестьян (об этом писал, например, Скалдин.— «В захолустье и в столице», IV, *ОЗ*, 1868, № 12, стр. 530). Ниже в тексте очерка, в перечне обвинений против акцизных чиновников, отразились также пензенские впечатления Салтыкова (см. прим. к стр. 385).

Стр. 191. *...такой же факт совершился <...> с пионерами контрольными...*— В 1863—1866 гг. контрольные учреждения, осуществлявшие наблюдение за поступлением государственных доходов и расходами всех ведомств, были выделены в самостоятельную систему, губернским звеном которой стала контрольная палата. Салтыков подчеркивает, что эта реформа лишь прибавила еще одно звено к бюрократической цепи, опутывавшей народ.

Единство кассы.— Принцип единой кассы был введен в 1863—1866 гг одновременно с преобразованием системы контроля (см. предыдущ. прим.). Согласно этому принципу государственные доходы всех ведомств поступали только в кассу министерства финансов, откуда производились и все государственные ассигнования и платежи.

Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажание на стул — все это признаки революции.— Позднее, в двадцать седьмой главе «Пошехонской старины» (1887—1889), Салтыков вспоминал, как во время осуществления реформы 1861 г., при разборе конфликтов бывших крепостных и помещиков, последних «больше всего возмущало то, что посредники говорили «хамам» *вы* и во время разбирательств сажали их рядом с бывшими господами». С введением в действие судебной реформы (в ряде губерний в 1866 г.) недовольство крепостников «неслыханно демократическими приемами обращения» в новом суде усилилось и приводило подчас к курьезным жалобам в официальные инстанции (см., например, в № 210 «Голоса» от 1 августа 1867 г. сообщение о деле отставного контр-адмирала Арбузова).

Стр. 192. *...революцию развозят по деревням разночинки...*— См. прим. к стр. 213.

Стр. 194. *Шиканства* — придирки, прижимки (от *франц.* chicaner).

Стр. 195. *...об успехах или неуспехах Гарибальди.*— Осенью 1867 г. Гарибальди предпринял очередную попытку освободить Рим и Папскую область от австрийцев, закончившуюся его пленением и заточением в форт Вариньяно.

..*вопрос об исправлении французской границы на Рейне.*— В 1867 г. Наполеон III попытался «выровнять» северо-восточную границу Франции до Рейна, начав с этой целью переговоры о приобретении Люксембурга у короля Нидерландов и замышляя захват Бельгии, но встретил противодействие Пруссии.

...о поглощении Пруссией маленьких государств Германии.— См. прим к стр. 164.

Стр. 196. *В надежде славы и добра // Идем вперед мы без боязни...*— Иронический перифраз начала «Стансов» Пушкина. У Пушкина. «Гляжу вперед я без боязни...».

Стр. 197. *Дело Лезюрка.*— Известная судебная ошибка. В 1796 г. во Франции некий Ж. Лезюрк был обвинен в убийстве почтаря и ограблении денежной почты и обезглавлен гильотиной. И хотя вскоре были найдены действительные виновники преступления, по французским законам полная реабилитация гильотинированного была невозможной. Дело Лезюрка тянулось вплоть до 60-х годов XIX в., когда просьба потомков Лезюрка о его реабилитации была окончательно отклонена. В русских журналах 60-х годов продолжалось обсуждение этой судебной ошибки (см., например, «Время», 1861, № 4, стр. 411—457).

Шармы — чары, прелести (от *франц.* charme).

ПИСЬМО ВТОРОЕ

(Стр. 199)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 4, отд. II, стр. 262—272 (вып. в свет 10 апр.).

Работа над «Письмом вторым» была закончена в Рязани к 4 марта 1868 г., когда рукопись была послана по почте в редакцию журнала (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 4 марта 1868 г.).

В *изд. 1869* «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке к *изд. 1882* Салтыков несколько сократил текст. Приводим два варианта *ОЗ*, совпадающие с вариантами *изд. 1869*.

К стр. 204—205, в конце абзаца «Если нам кажется мелкою распря...», после слов «На что̀ же тут претендовать?»:

О чем стужаться и плакать? А так как, сверх того, человеческое сознание в историографском деле принимает участие самое ограниченное, так как историографы действуют не преднамеренно, а с маху, то мы, естественно, приходим к заключению, что хотя деятельность их отчасти смешна, отчасти вредна, отчасти нелепа, но она уже по тому одному не может быть названа позорною, что к ней ни под каким видом не прилагается принцип вменяемости.

К стр. 205, в середине абзаца «Это было зрелище...», после слов «...на ум не всходило заподозрить их в умысле»:

Вся их претензия заключалась в том, чтобы в данный период времени заглотать как можно больше кусков, а потому весьма естественно, что и самые помыслы их направлялись именно в эту сторону, предательство же и сплетни являлись тут лишь в виде необходимого придатка. У кого предлагалось бо̀льше кусков, в пользу того и сплетничалось как-то ходчее, нежели в пользу того, кто предлагал кусков мало или ничего Одним словом, ехидство в устах этих людей утрачивало свою ядовитость и получало характер чисто гастрономический.

Остатки этих «складных душ» и доныне влачат свое существование в губернских клубах под именем фофанов, но, увы! это уже существование грустное, потому что предводительские обеды с каждым годом становятся скуднее и скуднее.

В настоящем «письме» получили развитие темы и образы «Письма первого»: «раздор» ретроградных «историографов» с либеральными «пионерами», усилившийся в 1866—1867 гг., когда в губерниях Центральной России стали вводиться в действие новые судебные учреждения. Для изображения этого «раздора» Салтыков применяет, на конкретном рязанском материале, один из своеобразнейших приемов своей сатиры, о котором Горький писал: «Только Щедрин-Салтыков превосходно улавливал политику в быте»[1]. Программами — «знаменами» — враждующих «партий» становятся разные способы поедания блинов и предпочтение разных видов карточной игры, что позволяет заострить смехотворную мелочность их разногласий. Салтыков предвидел, что «Письмо второе» еще сильнее обострит его конфликт с «обществом» в Рязани. 25 марта он сообщал Некрасову, как

[1] А. М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 25, М. 1953, стр. 316.

«все <...> дуются безмерно» после первого «письма», и замечал: «Разумеется, нельзя думать, чтобы второе письмо смягчило впечатление».

Главное внимание писателя в «Письме втором» сосредоточено на новом собирательном образе — «складных душах», на расплодившемся в годы пореформенной реакции типе политического перебежчика. Это сатирическое наименование восходит к практике дворянских выборов при крепостном праве, когда захудалые мелкопоместные помещики «складывали» немногие принадлежавшие им крепостные «души», чтобы получить по цензу право участвовать в выборах, и обыкновенно отдавали свои голоса наиболее хлебосольному из кандидатов в предводители. (На связь понятия «складные души» с этой практикой указывает характеристика «складных душ» «былых времен» в тексте *ОЗ* и *изд. 1869* — см. выше вариант к стр. 205). Но Салтыков переосмыслил этот термин применительно к пореформенной общественной жизни: в «Письмах о провинции» «складная душа» является материализованным образом «души» перебежчика, которая, по нужде, может складываться и быть «удобопереносимой».

В орбите сатиры Салтыкова оказываются вообще политиканы, предпочитающие «ломаную линию» «прямой» и называющие это «постепенностью в преуспеянии». И хотя писатель оговаривается, что в поле его зрения провинциальные «складные души», стрелы его сатиры фактически уже здесь поражают и самые крупные фигуры подобного типа, о которых писал впоследствии, в 1912 г., в статье «Карьера», В. И. Ленин. На примере М. Н. Каткова, А. С. Суворина Ленин показал, что ренегатство было «типично для *массы* «образованных» и «интеллигентных» представителей так называемого общества» при обострениях классовой борьбы [1].

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
(Стр. 210)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 5, отд. II, стр. 156—166 (вып. в свет 15 мая).

«Письмо третье» создавалось в апреле — первых числах мая 1868 г. В конце апреля 1868 г. Салтыков писал Некрасову: «Во всей Рязани едва ли два-три человека найдется, которые смотрят на меня не враждебно <...> Живем совершенно одни». Но эта враждебность местного дворянско-чиновничьего общества воспринималась писателем как свидетельство актуальности «писем». 5 мая 1868 г. он сообщал тому же Некрасову: «Посылаю вам <...> третье «Письмо из провинции». Хорошо, если вы найдете возможным поместить его, потому что письма мои производят (по крайней мере, в Рязани) решительное впечатление. Может быть, конечно, я и ошибаюсь, потому что, сидя в маленьком кружке, трудно судить о безотносительном достоинстве своих трудов, но, во всяком случае, думаю, что для провинции эти письма небезынтересны, потому что попали прямо в больное место (в особенности третье)». По предположению С. А. Макашина, Салты-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 43.

ков, возможно, читал свои «письма», перед посылкой их в печать, какому-то «кружку» рязанцев.

В *изд. 1869* «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке «письма» к *изд. 1882* Салтыков несколько сократил текст. Приводим два варианта *ОЗ*.

К стр. 217—218. В конце абзаца «Надо сознаться...», вместо слов «...в неуважении к власти!» и «. .между неуважением к власти...» в *ОЗ* было «...в безверии!» и «...между безверием...».

Явление провинциальной жизни, характеризуемое в настоящем «письме»,— «торжество ненавистничества» и «ненавистников», то есть натиск политической и общественной реакции после выстрела Д. В. Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 г. В «письме» разоблачается выдвинутая «ненавистниками» система обвинений против сторонников общественного прогресса. Любые проявления прогресса определяются в ней «страшными словами»: «нигилизм», «демократизм», «коммунизм», «безверие». Такие обвинения звали власть к насилию (к опоре на «дантистов») и оправдывали его.

Характеристика «ненавистников» охватывает легионы «ничтожнейших шалопаев» — пореформенных администраторов, которые рекрутировались главным образом из разоряющихся слоев крепостнического дворянства. Их помыслы направлены на возвращение «дарового куска» — доходов от подневольного крестьянского труда. Находясь на службе «реформирующей власти», «ненавистники» вынуждены соблюдать декорум «преданности делу» реформ, но, по существу, все их усилия имеют целью «подорвать те плодотворные последствия, которые заключают в себе намерения 19 февраля».

В орбиту сатирического обобщения в «Письме третьем» попадает также «ненавистничество» в сфере идей, в частности, выступления таких активизировавшихся в 1866—1868 гг. органов крепостников, как «Весть», «всякую народную беду готовых приурочить к 19-му февраля» (см. передовые статьи и отд. «Совр. положение сельск. хозяйства в России» «Вести» за 1868 г.). Словом «ненавистничество» писатель определяет вообще тогдашнее социально-психологическое состояние всей реакционно-помещичьей среды и ее отдельных представителей — «существ жалких, почти помешанных от злобы».

Стр. 211. *Торжество ненавистничества <...> в какие-нибудь последние пять-шесть лет.*— Салтыков всегда датировал наступление послереформенной реакции 1862—1863 гг.

Стр. 213. *...появление таких деятелей, которым небезызвестна теория ежовых рукавиц.*— В 1866 г. глава следственной комиссии по делу Каракозова, М. Н. Муравьев (Вешатель), душитель польского восстания 1863 г., стал фактически диктатором России. Пост министра народного просвеще-

ния в апреле 1866 г. занял крайний реакционер, сторонник «сильной власти» Д. А. Толстой. Министром внутренних дел в начале марта 1868 г. был назначен А. Е. Тимашев, бывший начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением.

Нелепые рассказы о каких-то «девках-поганках», требующих конституции, об отставных солдатах и разносчиках, посевающих семена революции по деревням... — «Д е в к и», которым будто бы захотелось «конституциев»,— плод воображения помещицы, напуганной слухами об отмене крепостного права, из рассказа «Госпожа Падейкова» (т. 3 наст. изд.). В словах «о б о т с т а в н ы х с о л д а т а х и р а з н о с ч и к а х, посевающих семена революции по деревням», содержится, возможно, намек на утвержденное 1 июня 1861 г. Александром II положение, по которому подозреваемые в подстрекательстве «мещане, крестьяне и вообще лица податных состояний, а также разночинцы и отставные солдаты», подлежали административной высылке «из мест жительства в другие губернии» (см. «Крестьянское движение 1827—1869», М. 1931, вып. II, стр. 19, 158; см. также заметку «Крестьяне-демагоги» в *К*, 1863, л. 160, 1 апреля.— *Герцен*, т. XVII, стр. 114). Салтыков в 1868 г. более чем скептически относится к толкам о революционных настроениях крестьян, усматривая в них сознательное запугивание царизма крепостниками с целью усиления реакционного политического курса.

Стр. 214. *Дантист* — зубосокрушитель. См. «Проект современного балета» и прим. к стр. 121.

Стр. 216. *...горе тому, кто оплошал в мундирный день! <...> Тысячи обвинений <...> посыплются на его голову <...>; дрянные, по-видимому, людишки, а подите-ка, уберегитесь от их белых, поганых зубов!* — Современники, знавшие обстоятельства службы Салтыкова в Рязани, относили эти строки, как и фразу о «малом, который отлично владеет французским диалектом» (стр. 215) к рязанскому губернатору Н. А. Болдареву. Н. Н. Кузнецов вспоминал впоследствии: «Салтыков описал этого губернатора в своем произведении «Нарцисс, или Влюбленный в себя» в лице субъекта, блиставшего французским языком и белыми зубами <...>. Губернатор наговорил в Петербурге на Салтыкова разные разности и, между прочим, что он не ходит в табельные дни наравне с другими чиновниками в собор и не является к нему, губернатору, с служебными визитами на Новый год и другие большие праздники, что Салтыков социалист и нигилист» (*«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 521). В очерке «Новый Нарцисс...» нет описания подобного субъекта. Ошибка памяти мемуариста связана с тем, что этот очерк, напечатанный четырьмя месяцами ранее, вызвал тогда же, наряду с первыми тремя «Письмами о провинции», бурю недовольства среди рязанской чиновной верхушки (о наговорах Болдарева на Салтыкова см.: С. А. М а к а ш и н. Новое о Щедрине.— «Лит. газета», 1946, № 8, 16 февраля, и его же комментарий к мемуарам Кузнецова в *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 801—802).

Стр. 219. *Литераторы-обыватели.*— См. одноименный очерк в т. 3 наст. изд.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
(Стр. 220)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 9, отд. II, стр. 98—112 (вып. в свет 7 сент.).

Работу над «письмом» Салтыков начал, очевидно, в середине мая 1868 г. 23 мая он писал Некрасову: «...Уведомьте, следует ли писать продолжение писем из провинции. У меня начато 4-е письмо».

В *изд. 1869* «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке «письма» к *изд. 1882* Салтыков значительно сократил текст (в частности, были сняты некоторые абзацы, восходящие к первоначальной редакции «Легковесных»). Кончалось «письмо» в *ОЗ* и *изд. 1869* следующим текстом после абзаца «Петербургская журналистика нередко...» (стр. 232):

Вновь повторяем: не станем разбирать, насколько правы или не правы так называемые «постепеновцы» в своих стремлениях; ограничен или достаточно обширен их взгляд на вещи. Станем на точку зрения сравнительную, и что же мы увидим? С одной стороны, историографов, которые, так сказать, ведут первобытную борьбу за существование, которые ничего перед собою не видят, кроме куска мяса; с другой стороны — людей скромных, быть может, недалеко дерзающих, но во всяком случае преданных тому делу, которому взялись служить.

Спрашивается: на чьей стороне перевес?

Внимание Салтыкова в «Письме четвертом» сосредоточено на третьей общественной группе, место которой в «распре» старых, консервативно-реакционных, и новых, либерально настроенных, сил провинции — «историографов» и «пионеров» — было обозначено ранее, в «Письме первом», лишь мимоходом: «Середку (хор) занимают так называемые фофаны...» (стр. 187). Ф о̀ ф а н — просторечное обозначение недалекого, тупого человека, синонимичное словам: простак, простофиля, дурак, глупец. В образной системе «Писем о провинции» «фофаны» — послушливая масса бездумных исполнителей любых предначертаний сверху. Эпикурейски-потребительский взгляд на жизнь роднит «фофанов» с реакционными «реформаторами» — «ненавистниками». И хотя, в отличие от этих последних, «фофаны» не претендуют на «высшее призвание» или какое-либо собственное «знамя», «фофанству» в рассуждениях Салтыкова отводится чрезвычайно важное место как явлению общественно опасному: бездумно-покорные исполнители — опора и орудие для всяких сил реакции, в том числе и для «историографов». В связи с этим собирательные сатирические образы «фофан», «фофаны», «фофанство» получают в «письме» и более широкий смысл обличения стихии социальной пассивности и бессознательности вообще, в любой социальной среде. «Фофаны» и «фофанство» — одна из последних ступенек к созданию образа «глуповцев» и «глуповства» в «Истории одного города». Осмеяние «фофанского смиренства» и умственной нищеты предвосхищает также и один из центральных мотивов «Современной идиллии»: реакции удобнее иметь дело с «фофаном», чем с «человеком нѐзаспанным и несопящим». «Теории, в силу которой благополучие общества ставится в зависи-

мость от размножения фофанов»,— теории идеологов авторитарно-деспотической власти — Салтыков противопоставляет свой просветительский тезис: «Успех какой бы то ни было страны находится в зависимости <...> от деятельного участия в ней живых и сознательных сил».

В «Письме четвертом» новыми конкретными черточками дополняется и собирательный образ «историографов», которые обрисованы здесь в их «бонвиванской» ипостаси, что сближает их с «помпадурами новейшей формации», подобными Феденьке Кротикову из «Помпадуров и помпадурш» (очерк «Помпадур борьбы, или Проказы будущего», 1873), и с «легковесными» из «Признаков времени» (близость к последним подтверждается, в частности, тем, что в «Письме четвертом» использованы фрагменты первой редакции очерка «Легковесные»).

Негласный цензор «Отеч. записок», член Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстой в частном письме к Некрасову замечал, что в сатирические категории «легковесных, историографов или фофанов» попадают «все руководители общественного и государственного строя» России (письмо около 8—10 сентября 1868 г.— *ЛН*, т. 51/52, стр. 593—594).

Стр. 222. ...*изучить Поль де Кока и прочих классиков, потом выслушать курс наук в заведении минеральных вод*...— Следуя не вполне обоснованной традиции, установившейся в русской демократической критике и литературе, Салтыков употреблял имя Поля де Кока как нарицательное, для обозначения безыдейности, низменности духовных интересов, эротической непристойности. В таком же значении фигурируют в салтыковской сатире И. И. Излер и его Заведение искусственных минеральных вод («Минерашки») — скандально известный у петербуржцев увеселительный сад в Новой деревне, с цыганами и фривольной французской эстрадой и опереттой.

Стр. 224 *Науки юношей питают*...— Из оды Ломоносова «На день восшествия на престол имп. Елисаветы Петровны 1747 года».

Стр. 225. *Je suis solide au poste, // Car j'ai un fier tempérament!* (Я крепко держусь на своем посту, // Ибо непреклонен).— Из каскадной песенки гастролировавшей в Петербурге французской шансонетки Лафуркад. По-видимому, из ее репертуара извлечены и другие песенки, популярные среди историографов.

Историографские помпадурши — любовницы и наперсницы «историографов» (см. «Помпадуры и помпадурши», т. 8 наст. изд.).

Стр. 227. *Было время <...>, когда мы думали даже, что вот-вот окопаемся от целого мира*...— Эзоповское указание на режим военно-полицейской диктатуры и на политику националистического изоляционизма николаевского царствования перед Крымской войной.

Стр. 227—228. ...*не можем забыть <...> одного учителя географии, который <...> в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка <...> благонадежно закупоренная»*...— Намек на К. И. Арсеньева, автора официозного учебника географии (см. прим. к стр. 116). Сатирический образ Рос-

сии — бутылки, закупоренной казенной печатью с орлом, на пробке которой сидел император, вошел в сознание передовой части русского общества еще со времени революции 1848 г. во Франции: так Россия была изображена на одной из тогдашних французских карикатур (см. Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в двух томах, т. I, М. 1967, стр 233; М. Корф. Записки.— «Русск. старина», 1900, № 3, стр. 569).

Стр 228. *...уничтожены шлахбаумы <...>, сдан в архив откуп <...>, наложена печать молчания на суды земские, на суды уездные — и злодеи <...> вострепетали пуще прежнего!* — Шлахбаумы, то есть заставы при въезде в города, на которых проверялась личность путешественника, были уничтожены указом Александра II от 23 июля 1857 г. Салтыков иронически констатирует, что все реформы Александра II (перечисляются также крестьянская, судебная реформа 1864 г., отмена откупной системы торговли вином в 1861 г., и проч.) не поколебали основ сословно-монархического строя в России.

Стр. 229. *Провен* — старинный городок во Франции.

Стр. 232. *Петербургская журналистика <...> осуждала убеждения так называемых «постепеновцев»...*— Речь идет о полемике демократической публицистики с либеральными теориями медленного, постепенного прогресса (Добролюбов. От Москвы до Лейпцига, 1859.—Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5, Л. 1962, стр. 457, 468, 469). Начатая еще до крестьянской реформы Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым на страницах «Совр.» и «Русск. слова», она была продолжена затем новыми выступлениями Писарева («Исторические эскизы».— *РС*, 1864, № 1), Елисеева («Внутр. обозрение».— *С*, 1863, № 1—2), а также статьями Шелгунова, Зайцева и др. Сам Салтыков не раз подвергал резкой критике постепеновскую идеологию в целом и крохоборство земских либералов в частности (см., например, «Завещание моим детям», «Новый Нарцисс...»). «Письма о провинции» продолжают эту критику. В комментируемом абзаце Салтыков, однако, выражает свое сочувствие «постепеновцам» в связи с тем, что «люди этих убеждений — те самые, против которых в настоящее время направлены самые ядовитые стрелы историографов» (см. также выше вариант финала очерка в *ОЗ* и *изд. 1869*).

ПИСЬМО ПЯТОЕ

(Стр. 232)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 9, отд. II, стр. 113—124 (вып. в свет 7 сент.).

Над «Письмом пятым» Салтыков работал летом 1868 г.: хронологическими границами служат конец мая (работа над четвертым «письмом») и начало сентября (общая публикация четвертого и пятого «писем»).

В *изд. 1869* «письмо» было перепечатано без изменений. При подготовке «письма» к *изд. 1882* Салтыков внес некоторые изменения и несколько сократил текст Приводим один из вариантов *ОЗ* и *изд. 1869*.

К стр. 238—239, в конце абзаца «Совершенно основательно думают...», вместо слов «Имея это в виду <...> в беспечность»:

Конечно, руководствуясь свидетельством истории, можно сказать заранее, что из всех этих толков и посулов не выйдет ровно ничего. Сознаемся откровенно, мы даже очень мало печалимся, предсказывая эту неспособность чужеядства к организации. В самом деле, если чужеядство бессознательное сделало нас свидетелями такого бесчисленного множества безобразий, то по крайней мере оно имело в пользу свою то обстоятельство, что, однажды устраненное, не оставило по себе и следа. Совсем другая будущность ожидает чужеядство сознательное, дисциплинированное и стремящееся организоваться. Это последнее, ежели оно успеет в своих замыслах, наверно въестся так сильно, что проест истязуемый субъект до мозга костей. Следовательно, в этом случае, бессилие есть явление, возбуждающее не сожаление, но скорее чувство совершенно ему противоположное. Тем не менее как бы мы ни были уверены в несостоятельности чужеядных посулов, мы не должны, однако, забывать, что и «Бавию приходится ошибкой обмолвиться стихом», что посулы эти, ежели не устраняют дорогого нам дела окончательно, то задерживают его и запутывают. Основываясь на этих соображениях, мы не только не должны, но даже не имеем права впадать в беспечность излишнюю.

«Письмо пятое» подводило некоторые итоги содержанию предшествующих «писем». Тема его — причины, затрудняющие «развитие скромных зачатков, положенных в основу русской жизни» крестьянской, судебной и земской реформами. Как утверждает Салтыков, главное препятствие этому развитию представляет союз «историографства» и «чужеядства» — паразитарного отношения к жизни. Социальные корни психологии «чужеядства» Салтыков вскрывает на примере эволюции института мировых посредников, показывая, как всякое полезное общественное дело в условиях пореформенной России приурочивается для «личного домашнего употребления» правящих сословий, потому что проведение его в жизнь каждый раз отдается в руки людей, «повитых» и воспитанных крепостным правом: «Чужеядство» является наследием дореформенной эпохи, и писатель соединяет эти понятия в единой формуле: «чужеядство-крепостничество».

В результате союза «историографов» и «чужеядных элементов» у кормила власти соединились бюрократическая косность и невежество с крепостническим своекорыстием. Салтыков указывает на опасную тенденцию общественной жизни конца 60-х годов — тенденцию крепостнической реакции, одевшейся в последнее время в мантию консерватизма, к «партийной» консолидации[1], призывает все живые силы нации к непреклонной борьбе с

[1] В тексте *ОЗ* и *изд. 1869* эта мысль развита подробнее — см. выше вариант к стр. 238—239. Одним из исторических комментариев к этим предостережениям Салтыкова может служить «Записка» псковского губернатора Б. Обухова министру внутренних дел от 10 декабря 1867 г. В ней утверждалось: «Как общие правительственные мероприятия, так и деятельность частных административных лиц должны быть направлены к тому, чтобы собрать и соединить разбросанные в весьма достаточном количестве консервативные элементы», и предлагались финансовые меры укрепления положения и влияния крупных землевладельцев — поземельный кредит и т. п. (см. «Русский администратор новейшей школы», издано Ю. Ф. Самариным, Берлин. 1868, стр. 49—50).

этими «примелькавшимися» и вездесущими тенями «прошлого», вновь выходящими теперь на авансцену общественной жизни. Он указывает и на коренную причину живучести этих теней: остались неизменными в своем существе «прежние рамки жизни», «в которых так удобно было расправлять крылья».

Стр. 234. *...грозные походы против многообразных злоупотреблений...*— Речь идет, в частности, о дореформенных сенаторских ревизиях. См. об этом в главе II «Итогов».

Стр. 239. *...чужеядство-крепостничество <...> не умерло, как это многие утверждают...*— Такие утверждения характерны для либеральной и славянофильской публицистики (см., например: Н. Колюпанов. Общий взгляд на первый период истории земских собраний в России.— *ВЕ*, 1867, т. IV, отд. II, стр. 16; передовую И. Аксакова в газ. «Москва», 1868, № 91, 21 июля).

Стр. 241. *Если читатель припомнит действия мировых посредников при самом начале крестьянской реформы и сравнит их с действиями последующими, <...> какая громадная легла тут разница.*— Институт мировых посредников — ими могли быть только дворяне-помещики — был введен в 1861 г. для реализации на местах «Положений 19 февраля» (см. подробнее на стр. 552 в т. 5 наст. изд.). Среди мировых посредников «первого призыва» были искренне стремившиеся к радикальному освобождению крестьян (Л. Толстой, бывший декабрист А. Е. Розен и др.). Иные из них преследовались властями, например, тринадцать мировых посредников Тверской губ. во главе с Н. А. и А. А. Бакуниными (братьями М. А. Бакунина). Таких оппозиционно настроенных посредников было, однако, немного, а смена правительственного либерализма реакционным курсом привела вскоре к их почти полному вытеснению крепостниками. С. Терпигорев-Атава писал о последних в очерках «Оскудение»: «Они, каждый в своем участке, положительно восстановили — разумеется, для себя лично,— крепостное право» (С. Терпигорев. Оскудение. Очерки помещичьего разорения, М. 1958, т. 1, стр. 276—277).

Стр. 242. *В последнее время провинциал <...> повторяет прилагательное вотчинный...*— В 1867—1868 гг. в кругах крепостнически настроенного дворянства было распространено требование создать «вотчинную полицию», то есть передать полицейскую власть над крестьянами в руки самих помещиков (см. передовые статьи в №№ 25 и 103 «Вести» за 1869 г.). Выражая надежду, что это притязание «окончится пшиком», Салтыков в журнальной редакции данного «письма» прибавлял: «каким окончились вообще все злопыхательства, направленные против реформ настоящего царствования» (снято в *изд. 1882*).

...высасывает дотла и свои собственные соки...— В *ОЗ* и *изд. 1869* эта мысль об исторической слепоте отживающего класса, который отрицает необходимость «уступок и соглашений» и тем ускоряет свою гибель, разви-

валась далее так: «...и забывая, что точно таким же неумеренным сосанием он очень недавно и совершенно для себя неожиданно дососался до упразднения крепостного права».

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
(Стр. 243)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 10, отд. II, стр. 274—289 (вып. в свет 9 окт.).

В бумагах Салтыкова сохранилась черновая автографическая рукопись без заглавия, начинающаяся эпиграфом из Гете: «Кто не едал с слезами хлеба...» (см. отд. «Неоконченное»). Часть текста этой рукописи вошла в переработанном виде в «Письмо шестое».

При подготовке к *изд. 1869* Салтыков несколько сократил «письмо». При подготовке к *изд. 1882* были сделаны более значительные сокращения. Приводим два варианта *ОЗ* и *изд. 1869*.

К стр. 244. После абзаца «Представьте себе: в этой стране есть правосудие...» в *ОЗ* и *изд. 1869:*

Коли хотите, картина такого рода весьма редко изображается во всей полноте; так, например, о мадере упоминается всегда вскользь, а пожалуй, даже и совсем не говорится; но во всяком случае заключения, которые естественным образом вытекают из общего смысла художественных историографических попыток, таковы, что сами собой захватывают область гораздо более обширную, нежели та, которая подразумевается в первоначальном намерении авторов. Если нам говорят, что такое-то государство, не без основания щеголяющее своею единоплеменностию, гибнет, то никак нельзя предположить, чтоб эта погибель была делом исключительно одного какого-нибудь сословия, но скорее всего надлежит думать, что производящие погибель пороки разлиты во всех сословиях одинаково. Такое заключение тем более правильно, что когда нас удостоверяли, что славяне гостеприимны, прямодушны и добросердечны, то никому из нас, конечно, и в голову не приходило утверждать, что эти похвальные качества составляют исключительную собственность одних славянских мужиков; напротив того, мы все, сколько нас ни есть, наперерыв друг перед другом вопияли: да, *мы* гостеприимны, *мы* прямодушны, *мы* добросердечны! Не очевидно ли, что, признавая себя солидарными в области добродетелей, мы тем самым призывали на свои головы и солидарность в области пороков? Да, это очевидно; и потому, ежели все мы одинаково гостеприимны, то все же должны быть и одинаково пьяны; ежели же одни из нас напиваются мадерой, другие сивухой, то разница тут не в результате, а в том материале, при посредстве которого этот в обоих случаях одинаковый результат достигается.

К стр 253. После абзаца «С этой точки зрения...» в *ОЗ:*

Очевидно, что сетования эти совершенно того же характера и так же лишены всякой логической последовательности, как и те, которым мы так охотно предавались в незабвенное время рассуждений об улучшении крестьянского быта. В то время мы так отважились, что чуть было даже не нагрубили[1]. Но не надо забывать, что тогда нас задевали за живое наши

---

[1] Речь идет о значительной крепостнической оппозиции правительству в период подготовки крестьянской реформы. О последующих требованиях компенсировать дворянство расширением дворянских привилегий, олигархической конституцией см. стр. 544 наст. тома и стр. 551 в т. 5 наст. изд.

ближайшие ущербы и застилали наши глаза настолько, что неизбежность катастрофы считалась недостаточно объясненною. Спрашивается: чего же добиваемся мы теперь? от каких еще новых катастроф и опасностей мы заранее отбиваемся?

«Письмо шестое» — одно из наиболее глубоких размышлений Салтыкова о нищете народных, собственно крестьянских, масс — материальной и духовной, и об отношениях, в которых должны находиться к народу, «толпе», передовые представители образованных слоев общества.

«Письмо» начинается полемикой с публицистами реакционно-консервативного лагеря по поводу освещения ими кризисных явлений в сельском хозяйстве России, усиленных недородом 1867—1868 гг.

Корень всех бед пореформенной русской деревни, ее «разорения» эти публицисты усматривали в «уничтожении крепостной зависимости». Но так как прямо порицать акт верховной власти было «не всегда удобно», вместо этого «секретного», но всегда подразумеваемого «порока» был найден другой порок, производный от первого,— «всероссийское пьянство» и распущенность [1].

Такие выступления сатирически обобщены Салтыковым в сценке пьяных сетований (но не от «мужицкой» сивухи, а от «благородной» мадеры) губернских «историографов». В первопечатном тексте *ОЗ* и *изд. 1869* эта злободневная тогда полемика была более развернута (см. выше варианты к стр. 244 и 253).

Салтыков отвергает как клевету или как полное недомыслие исходные утверждения дворянско-помещичьих публицистов-«историографов» о будто бы гибельном влиянии свободы на «неподготовленного» к ней русского мужика. Вместе с тем он видит все отрицательные стороны жизни крестьянства: его темноту и пассивность, его бедность «всеми видами бедности» и прежде всего бедность «сознанием этой бедности». Но в отличие от идеологов господствующих классов, усматривавших в отсталости народных масс черты природной неполноценности, в отличие от славянофилов, националистически идеализировавших эти черты, Салтыков осмысливает их исторически. Он полагает, что в историческом прошлом России нельзя указать «на существование каких-либо образовательных элементов, участие которых было бы способно подвинуть толпу на пути самосознания». Этих элементов «история нам не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (как силятся доказать некоторые), то, очевидно, корни их были слишком слабы, чтобы при помощи их можно было устоять даже против простой случайности».

Исследователи Салтыкова по-разному комментируют это место «Письма шестого». Одни (Е. И. Покусаев и С. Д. Гурвич-Лищинер) полагают, что «некоторые», с кем полемизирует здесь Салтыков,— последователи теории

---

[1] См., например, передовые в №№ 28, 30, 33 и др. «Вести» за 1868 г.; статью В. Д. «Голос из деревни».— «Русский», 1868, № 16, 11 марта; брошюру В. П. Мещерского «Письма из средних великороссийских губерний...», СПб. 1868.

русского социализма Герцена, с их отвлеченным взглядом на общину и крестьянское самоуправление как на исторические элементы, будто бы воспитавшие в русском мужике, вопреки гнету самодержавия, стихийные социалистические устремления. Другие (С. А. Макашин) полагают, что, указывая на отсутствие или слабость «образовательных элементов», способных «подвинуть толпу на пути самосознания», или, говоря другими словами, способных о б р а з о в а т ь в массах ясность и силу сознания своих собственных интересов, Салтыков имел в виду относительную — в его представлении — слабость антифеодальной борьбы в России. Известно, что Салтыков недооценивал значение даже крестьянских войн начала XVII и конца XVIII в., и именно потому, что в итоге не происходило изменение «порядка вещей», что жизнь масс не поднималась к новым «историческим построениям» и по-прежнему представляет «безграничную гладкую степь»[1]. Обе точки зрения сходятся на том, что в «Письме шестом» особая историческая важность придается Салтыковым политической борьбе масс[2]. Сопоставляя (в подтексте) историю политического развития России и Западной Европы, он указывает на значимость «результатов исторической борьбы» на Западе.

Историческая концепция «Письма шестого» получила художественное воплощение в гротескном образном мире «Истории одного города», над которой в это время уже работал Салтыков (т. 8 наст. изд.). Именно в настоящем «письме» впервые изложено то глубокое, окрашенное трагизмом, понимание Салтыковым народа («народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма»), которое затем будет сформулировано им при объяснении идейной направленности «Истории одного города»[3].

По убеждению писателя, политическое возмужание народа возможно лишь при условии «серьезного», деятельного сближения демократической интеллигенции с крестьянской массой, основанного на уважительном, упорном «изучении народных нужд и представлений», состоящего в разъяснении крестьянину «его положения» и указании «практического выхода».

---

[1] Е. И. П о к у с а е в. После крушения революционной ситуации.— Сб «Н. Г. Чернышевский. Статьи...», т. 3, Саратов, 1962, стр. 159; С. Д. Г у р в и ч - Л и щ и н е р. Об идейной эволюции А. И. Герцена в 60-е годы.— Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», М. 1965, стр. 180; С. А. М а к а ш и н. М. Е. Салтыков-Щедрин в 1860-е годы. Биография (рукопись).

[2] Опасность «отклонения политических интересов» «во имя других, более плодотворных», была отмечена Салтыковым еще в статье 1863 г. «Драматурги-паразиты во Франции» (см. в т. 5 наст. изд. стр. 254, 606—607).

[3] См. письма Салтыкова к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г. и в редакцию «Вестн. Европы». Во многом близкие к «Письму шестому» мысли об «источниках сочувствия к народной жизни» были высказаны Салтыковым уже в 1863 г., в рецензии на «Повести Кохановской», в апрельской и майской хрониках «Наша общественная жизнь», но тогда его оценка народных масс, опутанных «наружными и внутренними путами», не носила еще трагической окраски (ср. т. 5 наст. изд., стр. 374—377, и т. 6, стр. 74 и 91).

(О конкретном содержании сложного процесса революционно-просветительской работы в народе Салтыков подробнее говорил в очерке «Кто не едал...».)

«Письмо шестое» было встречено с большим интересом в кругах русской демократической общественности. Об этом свидетельствуют одобрительные отзывы Огарева и Герцена. Очевидно, в ответ на высокую оценку Огаревым № 10 «Отеч. записок» в не дошедшем до нас письме, Герцен писал ему 30 октября 1868 г.: «Письмо и «Отечественные записки» превесьма получил. Согласен с тобой, но не во всем. Лучшая статья — «Письмо из провинции» (*Герцен,* т. XXIX, стр. 481). Мысль Салтыкова о главной беде крестьянина — о «бедности сознанием своей бедности» — была взята на вооружение В. И. Лениным (см. общую статью о «Письмах...», стр. 592).

Стр. 244. *...последовало и упразднение откупов...* — См. прим. к стр. 190.

Стр. 246. *...«Стальной щетиною сверкая...»* — Из стихотворения «Клеветникам России» Пушкина.

Стр. 247. *...если б можно было доказать людям, что с изменением системы патентного сбора их ждет в перспективе тот <...> пункт, к которому они <...> стремятся!* — Салтыков иронизирует над верой в чудодейственность бюрократических постановлений, свойственной дворянским публицистам, выступавшим с подобными рецептами (см., например: кн. Мещерский. Очерки нынешней общественной жизни в России, вып. 1, СПб. 1868, стр. 87—90; статьи Кошелева «О нынешнем положении крестьян и о мерах к улучшению их быта» и «О мерах к сокращению пьянства в народе».— «Голос из земства», М. 1869; передовые И. Аксакова в газ. «Москва», 1868, №№ 51 и 52, 4 и 5 июня).

Стр. 249. *...погибает член «несуществующего» у нас пролетариата.*— Положение, что Россия не знает и не будет знать «язвы пролетариатства», высказывалось многими публицистами разных направлений. В этом, в частности, были уверены славянофилы, уповавшие на «разумный консерватизм» общин, на «многоземелье» и т. п. (см., например: Кошелев. Что такое русское дворянство и чем оно быть должно? — «Голос из земства», М. 1869; передовую И. Аксакова в «Москве», 1868, № 20, 26 апреля). Подобные мысли развивали и публицисты почвеннического направления (см.: «О форме промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе и России. Соч. А. Корсака»; Д. Ф. Щеглов. Семейство в рабочем классе во Франции.— «Время», 1861, №№ 9, 11; ср.: Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях.— «Время», 1863, №№ 2—3). Либеральный историк Кавелин также утверждал, что «освобождение крестьян с землею спасло Россию от крестьянского пролетариата и от революционных потрясений» (Д. Корсаков. Константин Дмитриевич Кавелин.— *ВЕ,* 1886, № 11, стр. 181; письмо Кавелина к Э. Ф. Раден от 26 мая 1864 г.— «Русск. мысль», 1899, № 12, отд. II, стр. 14; его же «Мысли и заметки о русской истории».— *ВЕ,* 1866, т. II,

стр. 402—404). Веру в то, что общинной России удастся избежать «образования пролетариата, прикрепления рабочих к нанимателю», выражали и некоторые народнические публицисты, например Елисеев (*С*, 1865, № 1, отд. II, стр. 126).

Салтыков выступает здесь прежде всего против славянофильских и либеральных публицистов, однако он убеждает и своих соратников по «Отеч. запискам» в необходимости более трезвой оценки российской действительности, указывая на нищий трудовой люд деревень, погибающий под бременем постоянного голода. При этом Салтыков, как и все русские крестьянские демократы, еще не выделял пролетариат в особую социальную группу (класс). В его сознании «русский пролетариат» — это наиболее бедствующая часть крестьянства (ср.: Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 76—80).

Стр. 250. *...дядя Миняй <...> дядя Митяй...* — Персонажи «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 5). Возможно, что Салтыков рассчитывал в данном случае также на ассоциацию с запрещенной и широко распространившейся в списках «Сказкой о Митяях» члена «Земли и воли» М. С. Гулевича («Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 г.», т. II, СПб. 1862, стр. 32—40; И. Н. Захарьин. «Сказка о Митяях» 1862—1863 гг. (Из записок и воспоминаний).— «Историч. вестник», 1901, № 11, стр. 546—557). В «сказке» Гулевича собирательный образ Митяев — пассивного и разобщенного крестьянского «мира» — получил близкое Салтыкову политическое осмысление.

Красная шапка — рекрутчина.

Стр. 256. *Много было у нас писано и толковано о так называемом сближении с народом...* — См. прим. к стр. 225 в 4 т. наст. изд.; стр. 562 в т. 5, стр. 589, 592 в т. 6.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
(Стр. 258)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 3, отд. II, стр. 189—202 (вып. в свет 10 марта).

При подготовке к *изд. 1882* Салтыков несколько сократил «Письмо». Приводим один из вариантов текста *ОЗ*.

К стр. 266, после абзаца «Таким образом, с одной стороны...»:

Нечто подобное этому явлению мы замечаем в современной русской литературе. Была она под игом цензуры и все-таки всякими правдами и неправдами отстояла за собой право на название литературы; теперь вот и цензуру убрали [1],— а литература оголилась! Как объяснить явление столь диковинное, столь несообразное?

Но оставим литературу в стороне и обратимся к провинциальной жизни.

«Письмо седьмое» посвящено рассмотрению вопроса о «скудости творческой силы» пореформенной провинции и о причинах, мешающих ей «за-

[1] См. прим. к стр. 64.

являть претензию на самостоятельность». Ответы Салтыкова на эти вопросы находятся в русле разработки им двух постоянных тем его творчества: темы сохраняющегося и после отмены крепостного права растлевающего воздействия его на нравы и умы людей и темы попечительного начальства, предельно централизованной власти столичных департаментов, сковывающей живую инициативу провинции и рассматривающей ее лишь в качестве «благодатной сокровищницы», из которой можно «черпать и только черпать». В завершающем «Письмо седьмое» призыве «не мешать жить» провинции явственно слышится гневное обличение абсолютизма и вообще того общественного устройства, при котором «горький фатализм» связывает «две противоположные крайности — упорный труд и не менее упорное безделье» и подчиняет первое второму.

«Письмо седьмое» вызвало положительный отзыв рецензента «Сына отечества» А. Хитрова (1869, № 72, 28 марта, стр. 1.— «Что нового в журналах?»; подпись: *А. Х.*). Он назвал его, вместе с напечатанными в том же номере «рассказами «Для детей» («Дикий помещик» и «Добрая душа»), «лучшими в вышедшей книжке», увидел в них очередное свидетельство «истинного», неслабеющего «таланта автора».

Стр. 260. *Мы живо помним конец пятидесятых и начало шестидесятых годов <...>; кипела и волновалась <...> провинция.*— Здесь и ниже Салтыков воспроизводит свои воспоминания о жизни и службе в Рязани (1858—1860) и в Твери (1860—1862).

Стр. 264. *...невиннейшая из девиц может дать только то, что имеет...*— Приведена известная французская пословица: «La plus belle du monde ne peut donner, que ce qu'elle a».

Стр. 269. *Есть <...> еще более решительные причины <...> но об этих причинах находим благоразумным до времени умолчать.*— Намек на полицейско-бюрократический предельно централизованный режим, при котором местное самоуправление заведомо было обречено на роль подчиненного придатка. (Права земства были еще более ограничены указами Александра II от 21 ноября 1866 г. и 13 июня 1867 г.) См. также прим. к стр. 29.

ПИСЬМО ОСЬМОЕ
(Стр. 270)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 8, отд. II, стр. 438—462 (вып. в свет 11 авг.).

Вероятно, «письмо» было написано в середине июня 1869 г.: по-видимому, о нем («фельетоне») шла речь в письмах Салтыкова к Некрасову от 22 мая и 9 июня 1869 г. перед отъездом в Витенево, где писатель провел лето (с 20 июня по август). В первом из них он обещал Некрасову «перед отъездом организовать» июльскую и августовскую книжки «Отеч. записок», намереваясь в августовской поместить, в частности, «фельетон». 9 июня

Салтыков писал: «Для 8-го № <...> я кой-что приготовил «для детей». Намерен еще написать фельетон...».

При подготовке к *изд. 1882* Салтыков значительно переработал и сократил «письмо». Приводим шесть вариантов текста *ОЗ*.

К стр. 273—274, после абзаца «Поощряя себя подобными изречениями...»:

...и не рискуя продлить в бесконечность период дикости, выход из которого указан нам крестьянскою реформою?

К стр. 276, в конце абзаца «Область этой политики...», после слов «...не помнить зла и соединяться»:

Всё это новые либеральные коньки, придуманные нами на смену старых и отживших свой век, а потому не либеральных. И действительно, в прежнем нелиберальном, но более искреннем лексиконе мы встречаем выражения, совершенно соответствующие нынешнему лексикону. Так, в параллель к сближению идет «патриархальность», в параллель к устройству судеб дворянства — просто стоит энергическое слово «оплот», в параллель к великолепному свойству «соединяться и не помнить зла» поставлены не менее великолепные свойства: «смирение», «терпение» и «покорливость» Стало быть, знакомясь с новым провинциальным лексиконом, мы чувствуем себя совершенно как дома. Тем не менее этот новый лексикон драгоценен для нас, ибо вместе с «неподготовленностью» и «увещаниями» не раскидываться и не растериваться служит нам довольно приличным убежищем, чтоб укрываться от действительного дела и в то же время сохранять вид, как будто мы и в самом деле нечто делаем и о чем-то хлопочем.

К стр. 278, после абзаца «Нет ничего хуже...»:

Праздники сближения, которых мы были свидетелями в начале шестидесятых годов, можно, по всей справедливости, назвать праздниками поцелуев, потому что ничего другого на них никто не видел и ничего другого не получал. Это были поистине самые нелепые из всех возможных праздников.

Относительно масс акт сближения можно назвать фактом уже совершившимся; он совершился в ту самую минуту, когда они получили возможность сказать: у нас точно так же есть свое дело, как и у вас свое. Это обладание «своим делом» удивительно как приравнивает, а следовательно, и сближает людей. Оно переносит взаимные их отношения с почвы качественной на почву количественную и установляет различие между людьми не в абстрактных и всегда произвольных понятиях, а в той наглядной разнице, которая существует между большою и малою величинами. Сверх того, оно имеет и то преимущество, что полагает конец патриархальности, хотя — увы! — не истребляет ее происков, которые успевают отыскать для себя новую форму. Что стремления по части «сближений» суть порождение и продолжение понятия о патриархальности — в этом нельзя усумниться ни на минуту, потому что ничем иным и объяснить их нельзя. Как в том, так и в другом понятии резко бросается в глаза несвободность одной из сторон. По-видимому, нет акта более свободного, как акт сближения, но попробуйте, при данной обстановке, осуществить этот акт на деле, и вы сейчас же увидите, что тут не единицы прикладываются к сотням, а совершенно наоборот. Приблизьте мысленно эти сотни и тысячи к раскрывающим им объятия единицам, и вы не успеете очнуться, как у вас вместо

сближения окажется патриархальность. Да и какая патриархальность! очищенная, осмысленная, искушенная опытом.

К стр. 280—281, после абзаца «Источник подобных настояний...», вместо слов «Представление о зле <...> предотвратить возобновление зла...»:

Стало быть, повторяем: сущность дела должна заключаться не в тех мелочах и подробностях зла, которых невольными орудиями были Петры и Иваны, а в зле общем.

«Rien appris, rien oublié» [1],— говорили о французах-эмигрантах, возвратившихся во Францию вместе с Бурбонами, и говорили справедливо, потому что эмигранты представляли собой ничтожную горсть людей, сборище единиц, слишком мало связанных с интересами страны, чтобы ради их пожертвовать лично претерпенными в прошедшем невзгодами. Они ничего не забыли именно для того, чтобы ничему не научиться; их девизом было: après moi le déluge [2], потому что их роль была слишком эфемерна и скоротечна, чтоб сделать предусмотрительность неизбежным ее основанием. Совсем в другом виде представляется тот же вопрос относительно масс: массы вечны и потому предусмотрительны; они не должны забывать не для того, чтобы ничему не научиться, а именно для того, чтобы чему-нибудь научиться.

Недостаточно, что зло прошло; оно не должно повторяться. Вопрос не в том, что есть необходимость озлобляться и кипеть при напоминании канувшего в вечность зла, а в том, чтобы на будущее время предотвратить его возобновление.

К стр. 281, после абзаца «Из всего сказанного выше...»:

Эта, столь восхваляемая ныне, способность забывать невольно переносит нас к недавним временам, когда в русском народе открывались и превозносились другие, не менее великолепные свойства: смирение и покорливость. На этих свойствах нашли возможным построить не только историю нашего прошлого, но и предполагаемое развитие будущего. Какие выводы можно надеяться получить из смирения, кроме неустойчивости, непредусмотрительности и рабской ненаходчивости в такие минуты, когда нужно выставить вперед не страдательность, а предприимчивость? Тем не менее выискивались легкомысленные люди, которые мечтали победить мир покорностью. Эти люди, которые и доныне очень много толкуют о народе и народности, в сущности ни к чему другому не приходят, кроме предъявления мысли об устройстве интересов меньшинства. В этом заключена затаенная мысль всех их туманных и трудновразумительных теорий; это же составляет и действительную практику их жизни. Конечно, не могут же они серьезно думать, что народ будет очень счастлив, если его наделят качествами, которые составляют достоинство только в прирученном животном,— из-за чего же они бьются, навязывая их ему? Очевидно, что тут не без задней мысли. И действительно, как ни мало развито наше общественное мнение, но оно поняло, что такого рода пропаганда смирения, забвения и сближения делается неспроста. И, в доказательство своего несогласия, оно шлет упомянутым легкомысленным людям свое полное равнодушие к делу, несмотря на их беспрерывные заигрыванья с народом и народностью.

Нет зрелища более тяжелого и возмутительного, как зрелище человека, который не только сознает свою неспособность, но еще поощряет себя к неспособности и делает из нее для себя предмет панегирика...

---

[1] Ничему не научились, ничего не забыли.

[2] после меня хоть потоп.

К стр. 287, после абзаца «Возвращаются сконфуженные ходоки домой...»:

Когда-то было совершенно справедливо сказано, что в развитии государственного быта замечаются три периода:[1] первый — в котором удобнее общее пользование землею; второй — в котором такое пользование признается неудобным, и третий — в котором оно вновь становится необходимостью. Но дело в том, что наши крестьяне именно находятся в том переходном положении, которое характеризует *второй* период; они вышли из периода общины бессознательной и не вступили в период общины сознательной. В настоящее время община не только связывает крестьянское сословие, не только служит препятствием какому бы то ни было прогрессу, но положительно представляется лишь удобнейшим поприщем для всевозможных воздействий. Ограждает (в ограждении ее существенная цель) она очень мало, так мало, что не было даже примеров, чтобы община когда-нибудь устояла в своих домогательствах, а связывает, напротив того, очень много. Возьмем хотя тот пример, о котором идет в настоящее время речь: преследование какого ни на есть интереса. Со стороны частного лица подобное преследование даже в глазах самого нелепого историографа не кажется ничем необыкновенным и подлежит если не удовлетворению, то, во всяком случае, разрешению; но преследование интереса со стороны общины непременно окажется бунтом, скопом, заговором. Общинное движение влияет на историографов панически; даже недоимка — и та перестает быть просто недоимкой, а принимает вид возмущения.

«Письмо осьмое» посвящено теме о «равнодушии провинции даже к тем интересам, которые ей всего более близки»,— к интересам земским, к вопросам самоуправления. В практике только что учрежденных «всесословных» земств Салтыков усматривает крепостнические тенденции, заботы «приписать» поместное дворянство «во главу», вместо подлинной озабоченности материальным и духовным прогрессом края и насущными политическими задачами самоуправления.

Разработка этих тем ведется в полемике с сочинениями «сведущих людей» — дворянских публицистов, принимавших непосредственное участие в деятельности земств. Из подобных сочинений названа брошюра Кошелева «Голос из земства» (вып. I, М. 1869)[2], но, очевидно, учитываются также выводы книги Н. А. Корфа «Земский вопрос» (СПб. 1867), статей его и Н. Колюпанова, постоянно печатавшихся в «Вестн. Европы»[3], мно-

---

[1] Ссылка Салтыкова на «совершенно справедливую мысль» о «трех периодах» относится к статье Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» (см. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, М. 1950, стр. 377—379). Это отмечено в работах: Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации.— Сб. «Н. Г. Чернышевский. Статьи...», т. 3, Саратов, 1962, стр. 159—160; Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 170—171.

[2] Вышла в свет между 20 и 26 марта.— См. «Правительств. вестник», 1869, № 70, 30 марта, стр. 5, «Библиограф. указатель». В брошюре собрано несколько статей Кошелева о земстве, положении крестьян и т. п.

[3] См., например: Н. Колюпанов. Общий взгляд на первый период истории земских собраний в России.— *ВЕ*, 1867, т. IV; см. там же, 1869, № 5, то есть незадолго до написания «Письма осьмого», статью «Провинциальное земство» (подпись: *Б*).

гочисленных выступлений в печати кн. А. И. Васильчикова (его программа развития земских учреждений развернута в книге «О самоуправлении», СПб. 1869), Ю. Ф. Самарина[1] и др. Общей для этих сочинений была защита земства от все более жесткого давления администрации и от наступления крепостников-реакционеров. Последние требовали ограничить выборное начало высоким имущественным цензом, ввести безвозмездность земской службы и поземельное представительство помимо выборов, что совершенно подчинило бы земские учреждения крупнопоместному дворянству. Вместе с тем проблемы местного самоуправления рассматривались названными авторами с политически консервативных позиций, ими постоянно делались оговорки о местных, узкохозяйственных, а не политических задачах земства, о совместимости самоуправления и «самой централизованной формы правления», то есть самодержавия.

Брошюра Кошелева взята Салтыковым как характерное выражение этой системы взглядов. Во всех ее частях просвечивает мысль о неподготовленности провинции к самоуправлению и о необходимости «самоограничения», о благодетельности дворянского главенства в земстве. Полемика с Кошелевым — это полемика с программой земского дворянского либерализма в целом, независимо от оттенков в позициях отдельных его идеологов[2].

Особенно «вредны», с точки зрения писателя, демагогические излияния земцев о «сближении сословий». Взгляд Салтыкова по вопросу о «сближении» с 1861 г., когда он видел в этом лозунге «известную пользу», претерпел значительную эволюцию по мере того, как обнаруживалась бессодержательность подобных призывов дворянской публицистики. Развивая в «Письме осьмом» полемические мысли своих статей 1863 г., Салтыков обнажает за пустозвонной болтовней «земцев» о «сближении» с народом крепостнические тенденции, развившиеся внутри новых «всесословных» учреждений. Без подлинного равноправия народа призывы к крестьянам «соединяться» означают практически увековечение их «покорливости» и возвращение к патриархальному гнету.

В связи с этим сатирик вновь развивает свою концепцию крепостничества как «зла исторического», «разлитого в целом порядке вещей», глубоко проникшего «в умы и чувствования» людей, а не только материально-юридической, «крепостной» зависимости крестьянина от помещика. «Забывчивость» при сложившихся исторических обстоятельствах означала бы отказ масс от борьбы против своих угнетателей. Вместе с тем Салтыков разъясняет, что призывает не к личной «ненависти», не к мести отдельным помещикам — «Петрам или Иванам», а к «осмотрительности и осторожности» — то есть к бдительности против реставраторских происков реакции, к после-

---

[1] См. его сборник «Русский администратор новейшей школы», Берлин, апрель 1868 г.

[2] Эта обобщенность адреса полемики значительно усилена в *изд. 1882,* где не только прямые ссылки на Кошелева многократно заменены общим определением «апологисты сближения», но и сняты критические пассажи против специфически славянофильских положений его брошюры. См. выше варианты к стр. 276, 281 и прим. к стр 274, 278, 281.

довательной и неуклонной борьбе демократических сил нации против всех проявлений крепостничества в пореформенной жизни. В частности, рассказ «о примерном бунте» в финале «письма» должен был показать, как далеко еще пореформенной России до подлинной «крестьянской правоспособности».

Освобождение жизни от «нестерпимой рутины» произвола, привилегий, регламентаций — первейшее требование прогресса страны для Салтыкова, но это в его понимании — лишь начальный шаг к подлинному идеалу «нормального общества», с «более равномерным распределением прав и благ», то есть к социалистическому обществу.

«Письмо» было положительно оценено критиком С. Г. Герцо-Виноградским. В обзоре августовской и сентябрьской книжек «Отеч. записок», напечатанном в «Новоросс. телеграфе», 1869, № 219, 29 октября, он писал в связи с «Письмом осьмым» об умении Салтыкова «указать на самый корень зла, кроющегося в том или другом порядке» (стр. 1).

Стр. 270. *Сведущие люди* — официальный термин, первоначально фигурировавший в Положении о Государственном совете, департаментам которого было предоставлено право приглашать к совещанию посторонних лиц, наиболее осведомленных в фактической стороне рассматриваемого вопроса. Первым опытом гласного привлечения «сведущих людей» к обсуждению законопроектов было приглашение в 1859 г. в Редакционные комиссии по подготовке крестьянской реформы в качестве членов-экспертов «опытных помещиков» — крупных землевладельцев, в том числе нескольких предводителей дворянства. В 1863 г. проект земской реформы рассматривался в соединенных департаментах законов и государственной экономии также с участием «сведущих людей» — ими оказались, в частности, предводители дворянства столичных губерний, городские головы столиц и т. п.

Стр. 272. *Пункт первый — сознание в неподготовленности.* — Одно из положений статьи Кошелева «О земских собраниях» (см. «Голос из земства», стр. 2).

Стр. 273. *«Ограниченность круга нашей деятельности <...> залог ее прочности».* — Краткое изложение мысли Кошелева (см. «Голос из земства», стр. 2). С подобными утверждениями выступал также Кавелин («По поводу губернских и уездных земских учреждений». — *СПб. вед.*, 1864, № 53, 7 марта, стр. 207. Ср.: К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, СПб. 1898, стлб. 754).

Стр. 274. *...опасностью раскидаться и растеряться?* — Кроме Кошелева («Голос из земства», стр. 2), на которого прямо указывалось в тексте *ОЗ*, это же утверждал, например, Кавелин в статье, названной в предыдущ. прим. (Ср.: К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, стлб. 755—759).

Стр. 276. *...газеты наши <...> оглашаются известиями о неудачах, претерпеваемых земством.* — Подобные материалы из «Николаевск. вестника», из отчетов Херсонского, Олонецкого и других земских собраний были опубликованы, например, в «Москве» от 6 апреля 1868 г. (№ 4), под

рубрикой «Областное обозрение». В редакционном резюме объяснение отсутствия гласных в земских собраниях «распутицей, убытками» и пр. объявлялось недостаточным и указывалась другая причина: «мелочная административная опека». В книге Кошелева в связи с упреками земству в «слабой деятельности и в нерадивом посещении земских собраний» говорилось, что «нельзя признать свободными от упрека и те обстоятельства, которые стесняют <...> земскую деятельность» (там же, стр. 22).

...пунктов для стоичных лошадей? — Одна из натуральных земских повинностей — «подводная»: каждая деревня обязана была иметь «на стойке» в течение известного числа дней определенное количество подвод для провоза должностных лиц.

...в охапку // Кушак и шапку... — Из басни Крылова «Демьянова уха».

...отыскивание «великолепных свойств русского народа: не помнить зла и соединяться». — Цитата (не совсем точная) из книги Кошелева, стр. 9.

Стр. 277. *Литература по вопросу о «сближениях» очень обширна...* — См. прим. к стр. 225 в т. 4 наст. изд., стр. 562 в т. 5, стр. 589 и 592 в т. 6.

...ничего, кроме тавтологии «жалких слов», из него не выжмете. — «Жалкими словами» слуга Обломова Захар называл обращенные к нему патетические речи барина (И. А. Гончаров. Обломов, часть I, главы I, VIII).

Стр. 278. *...борьба с организованной силой <...> имеет более шансов успеха, нежели борьба с <...> обманом, надевающим на себя лицемерную маску благосклонности.* — Организованная сила — лагерь дворян-помещиков, по условиям исторического и политического развития России имевший несравненно больше возможностей для сплочения и организованного отстаивания своих интересов и в земстве, и перед администрацией, чем темное, разобщенное, забитое крестьянство. Обман — призывы к «сближению», мешающие крестьянству понять противоположность его социальных интересов помещичьим.

...апологисты же сближения прибавляют... — В тексте *ОЗ* вместо этих слов было: «а г. Кошелев в своем сочинении прямо прибавляет...» Далее цитируется статья Кошелева «О земских собраниях».

Стр. 279. *«Всего важнее <...>, что дворяне-землевладельцы становятся во главе земства».* — Сокращенная цитата из статьи Кошелева «О земских собраниях» («Голос из земства», стр. 9). Подобное же утверждал в передовой «СПб. ведомостей», 1865, № 118, 13 мая, Кавелин (К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, СПб. 1898, стлб. 161).

То, что было, то пройдет... — Из стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет...».

Стр. 280. *...зло историческое, зло, разлитое в целом порядке вещей, поглощавшее в себе одинаково и Петра и Ивана.* — Имена Петра и Ивана персонифицируют здесь противостоящие друг другу социальные силы русской действительности: крестьяне, в недавнем прошлом крепостные, и дворяне-помещики, в недавнем прошлом владельцы души и тела первых. Это особенно ясно при обращении к тексту *ОЗ*, где после «одина-

ково» следовало в скобках: «не с точки зрения количества понесенных нравственных и моральных ущербов, а с точки зрения исторической невменяемости». Это пояснение, весьма существенное в ряду постоянных раздумий Салтыкова об историческом детерминизме и нравственной оценке поведения общественных групп, было, однако, снято в *изд. 1882*, возможно, в связи с тем, что в дальнейших рассуждениях «письма» имена Петра и Ивана (как и имена Петра и Павла на стр. 277) употреблены в ином смысле, для обозначения отдельных личностей из помещичьей среды.

...массы хотя и могут, по временам, припоминать разным Петрам и Иванам некоторые их излишества...— Речь идет о расправе с помещиками во время крестьянских восстаний и отдельных выступлений.

Стр. 281. *...и ежели, например, помещик, включенный с крестьянами в состав одной и той же волости, ни под каким видом не уживется с ними...*— В тексте *ОЗ* в начале фразы была ссылка на статью Кошелева «О дворянстве и землевладельцах» (см. «Голос из земства», стр. 56).

Стр. 282. *Будущее для нее не существовало.*— В тексте *ОЗ* этой фразе предшествовали слова: «Все работы были направлены к тому, чтоб удержать прошлое в целом его составе».

«Дворянство <...> перестало существовать <...> дел сколько-нибудь важных у него не осталось никаких».— Цитата из статьи Кошелева «О дворянстве и землевладельцах» («Голос из земства», стр. 50—51).

Стр. 283. *Подвысь!* — «Подвысь заставу!» — Команда для подъема шлагбаума на заставах.

Стр. 284. *...из тех реформ последнего времени...*— Речь идет о земской и судебной реформах 1864 г.

Как были они «меньшею братией», так и остались ею...— В статье «Что такое русское дворянство...?» Кошелев писал: «Крестьяне <...> не могут стать на степень первенствующего сословия в государстве <...>. Крестьяне, помимо землевладельцев, не могут найти лучших представителей, защитников, учителей, общих распорядителей, высших судей» («Голос из земства», стр. 46—47).

Они поголовно пьянствуют, они не выполняют принимаемых ими на себя обязанностей, они допускают безрасчетные разделы семей...— Салтыков иронически излагает здесь сетования, общие всей дворянской публицистике конца 60-х годов (см. «Письмо шестое» и комментарий к нему). Ими полна была и статья Кошелева «О нынешнем положении крестьян...» («Голос из земства», стр. 83—86 и др.). В ней, в частности, шла речь о «безрасчетных разделах» крестьянских семей, приводящих к дроблению земельного надела и усилению нужды.

Стр. 285. *...оказывается, что нигде не выпивается вина так мало, как в России...*— Соответствующие статистические данные приводились, например, в передовой «Москвы», 1868, № 22, 28 апреля.

Говорят, крестьянин правоспособен <...>. Что же сделали крестьяне из этой правоспособности? <...> Известно, что у нас в некоторых местностях каждогодно происходит по нескольку бунтов.— Кошелев в статье

«О нынешнем положении крестьян...» писал, что крестьянам дано «полное самоуправление, <...> такая свобода и такая власть, что они с ними справиться не в состоянии» («Голос из земства», стр. 82—83). Этим утверждениям Салтыков противопоставляет картину действительной «правоспособности» крестьянина, прослеживая перипетии обычного «мужицкого бунта». В тогдашней печати часто сообщалось о подобных «бунтах». Так, в «Совр. заметках» «Отеч. записок» (1868, № 10, отд. II, стр. 259) рассказывалось о злоключениях крестьян Альшвагенской волости Курляндской губ., дважды отправлявших ходатаев в Петербург с просьбой о «временном облегчении в податях». «До решения» старшина волости был заключен в тюрьму, а местные власти принялись за насильственный сбор податей с поджогами изб и т. п. (См. также «Совр. заметки» в *ОЗ*, 1868, № 5, отд. II, стр. 152—153, и корреспонденцию о крестьянском бунте в газете «Русский», 1868, № 20, 22 апреля, стр. 313). Большой резонанс в прессе вызвал судебный процесс в декабре 1867 г. над 54 крестьянами села Хрущевка Данковского уезда Рязанской губ., отказавшимися выполнять, как незаконную, часть работы на их бывшего помещика (см. *Г*, 1867, № 355, 24 декабря; «Москвич», 1868, № 35, 8 февраля; «Kolokol», 1868, № 3, 1 февраля — *Герцен*, т. XX, стр. 102—103).

...чтоб они были мудры как змии и кротки как голуби.— Из евангельского наставления Христа апостолам (Матф., X, 16).

Стр. 286. *...обычное право <...> не всегда находится в согласии с правом писаным...*— «Обычное право» — народные представления о праве и справедливости, освященные вековым обычаем,— продолжало официально действовать и в пореформенную эпоху в волостных судах при рассмотрении некоторых крестьянских дел. Отношения же между крестьянами и помещиками регулировались «правом писаным» — общим законодательством Российской империи и законоположениями 19 февраля 1861 г.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

(Стр. 288)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 11, отд. II, стр. 142—164 (вып. в свет 17 нояб.). При подготовке к *изд. 1882* Салтыков значительно переработал и сократил «письмо». Приводим два варианта текста *ОЗ*.

К стр. 288, после абзаца «Как делается русская деньга?..»:

Как хотите, а в каждом человеке есть зародыш совести. Совесть эта может бездействовать только до тех пор, покуда не выступает вперед анализ, а вместе с ним и сознательность. Главная заслуга сознательности в том и заключается, что она делает невозможными медные лбы, пробуждает в человеке совесть, заставляет его если не влезать в кожу других (что для многих уже роскошь), то по крайней мере понимать, что польза общая не есть что-либо совершенно чуждое пользе личной, и соображать свои действия таким образом, чтобы эти два понятия не расходились в диаметрально противоположные стороны. Покуда в жизни царствует бессозна-

тельность, до тех пор, наряду с нею, будет царствовать и бессовестность, или, лучше сказать, такая нравственная теория, которая ставит непредусмотрительность и непосредственную выгоду единственным подстрекающим двигателем человеческой деятельности. Эта выгода так ощутительна для самого простого понимания, что ослепляет многих и до сегодня, то есть ослепляет, конечно, тех, которые, подобно нашим историографам, конец своего носа принимают за конец вселенной и ни одной мысли, сколько-нибудь сложной, обнять не могут. Но, заглушая совесть, бессознательность в то же время в значительной степени развязывает бессовестным людям руки. Они махают ими направо и налево именно потому, что не понимают, что из этого может произойти. Человек, у которого нет вкуса, свободно ест всякую дрянь; человек, у которого нет слуха, не поморщившись слушает самое нелепое сочетание звуков. Как хотите, а при известных условиях жизни свобода от чувств, отличающих человека от прочих животных, может дать силу. Вот почему даже малейшее вторжение сознательности кажется драгоценным и почти всегда приносит неисчислимые последствия. Присутствие совести вызывает на лицо краску и заставляет отступать перед такими мероприятиями, которые в состоянии бессовестности совершаются очень легко...

К стр. 292—293, после абзаца «И действительно, меньше чем через минуту...»:

«С чего ж они, однако, веселились! — размышляете вы, взирая на это зрелище и припоминая газетные реляции прошлого и третьего годов.— Что освещали их иллюминации, их фейерверки? ужели эти навозные кучи настолько замечательны, что следовало освещать их бенгальскими огнями!»

— И как это, сударь, чудесно было — просто не насмотрелся бы! — продолжает повествовать разговорившийся ямщик, еще весь полный воспоминаний о виденных им великолепиях.— Как только этот самый чиновник въехал, так сейчас ему все огни! Весь навоз так и просиял! Терпел-терпел господин чиновник и вдруг заплакал. «Много, говорит, я на своем веку благоденствиев видел, а такого, можно сказать, изобилия ни в жизни не видал!..» Мы, сударь, в то время на четверку хлеба три четверки лебеды мешали, потому голодный год перед тем был! — прибавляет он, как-то оживленно передергивая вожжами и замахиваясь кнутом на лошадей.— Задохлись, клятые!

«Письмо девятое» является художественно-экономическим очерком жизни захолустного уездного города. В нем отражено бедственное положение массы городской бедноты, ремесленников и мелких торговцев, задавленных «тягостями беспримерными» — бесчисленными государственными и земскими налогами. Тема настоящего «письма» — исследование провинциальных промыслов и торговли, доход от которых составляет одну из существенных частей «всероссийского пирога» (национального дохода России).

На глубокий застой в экономической жизни провинциальных городов указывали многие публицисты той поры (см., например, статью Кошелева «О городах и горожанах», датированную 12 февраля 1869 г.— «Голос из земства», М. 1869, стр. 107—120).

Салтыков по роду своей последней службы — он возглавлял в 1865—1868 гг. казенные палаты последовательно в Пензе, Туле и Рязани — был

призван следить за неукоснительным переходом «деньги» из карманов «обывателей» в государственную казну в виде патентов на право торговли, пошлин на кустарные промыслы, а также прочих налогов и разнообразных штрафов. Он очень остро ощущал, ценой каких каждодневных драм голода и нищеты поддерживается государственный бюджет Российской империи, и постоянно был озабочен тем, как «помочь бедному человеку», порой в обход царских законов[1]. Созданная в настоящем письме картина уездного российского города — «города Глупова» — царства безмолвия, навоза и разорения, картина исключительно конкретная, вырастающая целиком из живого знания российских захолустий и вместе с тем поднимающаяся до впечатляющего символа,— один из непосредственных подходов к Глупову «Истории одного города»[2].

В докладной записке по поводу 11-й книжки «Отеч. записок» за 1869 г. цензор Лебедев отзывался о «Письме девятом»: «Статья эта, подобно всем произведениям Щедрина, носит на себе характер тенденциозности или пасквиля на какое-нибудь лицо, замаскированное особенным прозвищем: так, здесь упоминается о провинциальных историографах, под именем которых разумеются высокопоставленные лица в губернии и, сколько можно догадываться, губернаторы. В означенном письме историограф описан пошляком, пустозвоном, не понимающим ни жизни, ни экономических отношений описываемого края, ни средств его жителей. Город представлен с самой пессимистической стороны; жители нищими <...>. И все это изложено в едких, резких и желчных выражениях, способных в читателе возбудить негодование к лицам, допускающим существование такой крайности в России». Донесение заканчивалось выводом, что эта книжка журнала хотя и не дает прямых поводов к судебному преследованию, но доказывает «вредное и неблагонамеренное направление» журнала[3].

Критика встретила «Письмо девятое» как «удачу» писателя. Буренин в обзоре журналов за ноябрь в «СПб. ведомостях» (1869, № 353, 23 декабря; подпись: *Z*) особенно отметил «полную юмора характеристику провинциальной городской торговли, представленную в живых сценах». А. Вощинников в «Новоросс. телеграфе» (1870, № 4, 6 января; подпись: *А. В.*) также указал на «комичную и до уныния грустную картину маленького городка, каких у нас немало».

Стр. 288. ...*о каких-то господах идет речь, которые <...> прямо не поименовываются, но известны под названием «подлецов» и «изменников».*— «Изменниками» реакционная пресса во главе с Катковым именовала со времени польского восстания 1863 г. русских революционных эмигран-

---

[1] И. М. Михайлов. М. Е. Салтыков в Туле.— *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 487—490; см. также прим. к стр. 299 наст. тома.

[2] Ее главы о бедствиях народных — «Голодный город», «Соломенный город» — были напечатаны в *ОЗ*, 1870, № 1 (т. 8 наст. изд.).

[3] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 34—35.

тов, в частности Герцена, Огарева и М. Бакунина, выступивших в защиту свободы Польши. Далее в злопыхательских речах «историографов» сатирически воспроизводятся инсинуации реакционной печати против редакторов «Колокола», будто бы своей лестью увлекших молодое поколение в гибельную крамолу.

Стр. 290. *...у различных прохожих молодцов, сделавшихся <...> предпринимателями железнодорожного дела.* — О железнодорожной «горячке» 60-х годов см. подробнее в очерках «Наш savoir vivre» и «Хищники».

Стр. 291. *Выну* — всегда, во всякое время, непрестанно (*церковнославянск.*).

Крапивна, Керенск, Егорьевск — известные Салтыкову по его службе 1865—1868 гг. уездные города Тульской, Пензенской и Рязанской губ.

Стр. 293. *Ренсковый погреб* — магазин виноградных вин (от старинного названия всякого виноградного вина — «ренское», то есть рейнское).

Стр. 297. *...поляки <...> ссыльные...* — Участники польского восстания 1863 г., сосланные в разные губернии России, в том числе в центральные.

Стр. 298. *Литератор-обыватель.* — См. очерк «Литераторы-обыватели» в т. 3 наст. изд.

Стр. 299. *Ну, что, как торгуете?* — В воспроизводимом далее диалоге отразился, в частности, реальный факт из деятельности Салтыкова в Туле, когда к нему явилась просить о помощи целая депутация бедных женщин — неплательщиц пошлин и штрафов. «Салтыков принял живое участие в их положении: немедленно предписал полиции произвесть дознания об имущественной несостоятельности их», и затем освободил многих от уплаты (*«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 489—490).

...то чиновник палатский на тебя налетит, то из думы, а тут еще полиция — штраф подавай! — Чиновники губернской казенной палаты определяли сумму пошлин с торговцев и кустарей и при неуплате составляли акты на штрафы, которые взимались полицией. Помимо этого, ремесленники и торговцы должны были платить земские сборы в городскую думу.

Плёхи — слово, бытовавшее в родной Салтыкову Тверской губ., означавшее «тряпичницы», «ветошницы».

Стр. 302. *Сьеста* — послеобеденный отдых (*итал.* siesta).

Стр. 305. *...посадский человек в недавнее время и освобожден от подушной подати...* — Взимание подушной подати с мещан, цеховых ремесленников и рабочих в городах отменили с 1863 г.

Стр. 306. *...если <...> отчетливо представить себе эту картину нашей провинциальной торговли и ремесленности, вам, наверное, сделается <...> тошно.* — Далее в *ОЗ* Салтыков, прибегая к данным официальной статистики и критически анализируя их, демонстрировал разительное несоответствие доли мелкой торговли в доходах и налогах по сравнению с крупным капиталом и таким образом обосновывал срочную необходимость введения, взамен действующих, прогрессивного подоходного налога. Эта публицистическая заключительная часть «письма» (см. ее на стр. 510—512 в

т. 7 *изд. 1933—1941*) была снята автором в *изд. 1882*, очевидно, в связи с тем, что ее фактические данные устарели, а основанные на них доказательства лишь повторяли общую мысль «письма», уже убедительно раскрытую иными, художественно-очерковыми средствами.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
(Стр. 306)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 3, отд. II, стр. 134—144 (вып. в свет 16 марта).

«Письмо десятое» создавалось, по-видимому, между январем и мартом 1870 г.

При подготовке к *изд. 1882* Салтыков сократил «письмо». Приводим два варианта текста *ОЗ*.

К стр. 308—309, после абзаца «Слушать подобные рассуждения тяжело...»:

Только и слышишь кругом: нет энергии, нет решительности в действиях! И между тем, в то же время, осведомляешься о таких примерах энергии, при которых чувствуешь себя далеко не ловко. Последняя курица моего соседа сделалась жертвою энергии, но так как новой курицы от этого у него не народилось, то он с беспокойством ожидает, что в следующий раз энергия обрушится на нем самом. Другой сосед позволил себе однажды сказать, что энергия для энергии в общем результате равняется переливанию из пустого в порожнее, вдруг объят был повсеместным трясением (он вспомнил, несчастный, что такого рода энергия не всегда пустопорожня, но иногда сопровождается некоторыми сократительными частностями!) и, конечно, в другой раз едва ли решится высказать мысль столь смелую. Никто ничего не делает; никто не производит, не думает, не изобретает, но все трепещут и опасаются. На что, казалось бы, результата удовлетворительнее; однако провинциальная интеллигенция находит, что и этого мало. «Нет энергии!» — вопиет она и, очевидно, домогается уже такого положения вещей, которое так метко охарактеризовано пословицей. шаром покати!

К стр. 314. Кончалось «письмо» в *ОЗ* следующим текстом после абзаца «Этого-то, по-видимому, и добиваются...»:

Как ни грустно, но справедливость требует сознаться, что похвальбы насчет будущих подвигов строгости становятся в последнее время особенно настойчивыми.

Затруднения, неизбежные во всяком обществе, освобождающемся от устарелых форм жизни, вызывают не сознательное отношение к ним, а какое-то тупое недоумение, разрешающееся угрозами и бранными, малоупотребительными в печати словами. В жизни каждого общества выдаются такие минуты, когда в нем начинается работа самосознания, когда силы его, дотоле разъединенные или скрытые, постепенно группируются и выступают наружу. Такая работа ничего больше не требует, кроме спокойствия, но этого-то именно и не берет себе в толк наша провинциальная интеллигенция. Она теряется при виде этого движения и предлагает тараны и стенобитные машины там, где требуется только благосклонное от них увольнение.

Но будем думать, что это лишь бред наяву и что он, без особенных

последствий, пронесется над провинцией, подобно многим другим бредам, которыми так богаты многодумные головы представителей нашей интеллигенции.

В настоящем «письме» Салтыков выступает против «строгости», то есть беззакония, произвола и административного принуждения, и против поборников «усиления и концентрирования власти» самодержавно-бюрократической системы — «здания строгости», куда крепостники мечтают вновь «засадить россиян». Писатель защищает идею «здоровой жизни» — демократии.

Непосредственным поводом к созданию «Письма десятого» послужили дебаты вокруг готовившегося в то время правительством проекта административной реформы, направленного на усиление единоличной власти губернаторов [1]. О повышенном интересе Салтыкова к этому проекту, призванному законодательно закрепить усиление реакционного курса власти, свидетельствует его письмо от 23 марта 1870 г. к Некрасову (пересланное последним их общему старинному знакомому, высокопоставленному чиновнику В. М. Лазаревскому) с просьбой: «...Нельзя ли на короткое время прочитать проект административно-полицейской реформы» (см. также прим. к стр. 309).

Еще в январе 1868 г. министерство внутренних дел разослало «начальникам губерний, членам Государственного совета» и т. п. в качестве руководства к деятельности «Записку» псковского губернатора Б. Обухова. В ней утверждалась необходимость «общих государственных мероприятий» по дальнейшей «централизации губернской администрации», санкционированию ее «вмешательства во все виды общественной деятельности», подчинению губернатору прокурорского надзора и т. п.[2]. (Вслед за этим Обухов был назначен товарищем министра внутренних дел.)

Публицисты дворянско-монархического охранительного лагеря видели в дальнейшем усилении административной власти единственный выход из «политических неурядиц» и экономического кризиса, переживавшегося Россией в конце 60-х годов (о выступлениях «Вести», «Русского», брошюре Г. Бланка см. в прим. к стр. 307—308). По свидетельству М. М. Стасюлевича, в те годы в ретроградных кругах приобрело широкое хождение выражение: «La légalité nous tue» — «Законность нас губит» [3]. С сильной вла-

---

[1] См. запись в дневнике Никитенко от 27 января 1870 г. об этом «замечательном памятнике административной мудрости», сущность которого «заставляет опасаться, что в силу его вся Россия отдается под полицейский надзор» («виновники» проекта, по его мнению,— шеф жандармов П. А. Шувалов и министр внутренних дел А. Е. Тимашев).— А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, Л. 1956, стр. 167.

[2] См. текст «Записки» в брошюре «Русский администратор новейшей школы», Берлин, 1868.

[3] *ВЕ*, 1868, № 12, редакционное прим. к статье «Мировые посредники и крестьянское управление», стр. 837. См. об этом также в письме А. В. Головнина к М. М. Стасюлевичу от 13 ноября 1868 г. («М. М. Стасюлевич и его современники...», т. I, стр. 503) и стр. 589 наст. тома.

стью давно связывали свои надежды и поправевшие либералы Чичерин, Кавелин.

Затрагивая в споре с этими «теориями» коренные вопросы социально-политического развития России, Салтыков показывает несостоятельность претензий самодержавного государства на просветительскую миссию, высмеивает «просветительно-опустошительные подвиги» легионов его представителей — «безазбучных» горе-цивилизаторов. Так «Письмо десятое» сближается с проблематикой «Господ ташкентцев» (очерки «Ташкентцы-цивилизаторы», «Что такое ташкентцы?», *ОЗ*, 1869, № 10, 11). Вместе с тем оно служит как бы теоретическим комментарием к фантастическим картинам глуповских «Войн за просвещение» из «Истории одного города» (эта глава напечатана в № 2 *ОЗ* за 1870 г.).

Стр. 307. *...фантомы, которые все мрачнее и мрачнее рисуются на общем фоне жизни.*— В *ОЗ* далее следовало: «по мере того как самый фон делается более светлым».

Стр. 307—308. *...дайте только почувствовать* <...>, *что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, как быстро исчезнут неурядицы и смуты...*— В передовых статьях «Вести» 1869 г. повторялись требования введения «чрезвычайных административных мер», установления «сильной чрезвычайной власти» с целью «устранения неурядицы и водворения гражданского порядка в этом хаосе» (см. «Весть» от 22 марта, 13 апреля, 24, 28 мая и др.). Подобное же предлагали Г. Бланк в брошюре «Движение законодательства в России» (СПб. 1869) и В. Кочубей в статье «О губернаторской должности» («Русский», 1868, № 11, 5 февраля).

Стр. 308. *...ежели подрядчик притесняет рабочих* <...>, *им говорят: «Подождите, любезные! потерпите!»* — В статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (*РВ*, 1869, № 10) рассматривался вопиющий случай притеснения рабочих на строительстве железной дороги и выражались надежды на постепенное улучшение их положения в будущем. С ней Салтыков незадолго до «письма» полемизировал в статье «Человек, который смеется» (*ОЗ*, 1869, № 12; т. 9 наст. изд.).

Стр. 309. *...концентрировать эту энергию в одном вместилище. Безобразие разделения властей ныне вполне сознано...*— Речь идет о проекте сосредоточить власть на местах в руках губернаторов и «упразднить состоящие при них коллегиальные учреждения — губернское правление и полицейские управления» (*МВ*, 1871, № 12, 16 января). «Безобразие разделения властей» — очевидно, дореформенное разделение функций местного управления между администрацией и сословными органами дворянства. В ходе реформ 60-х годов у губернаторов сосредоточилась вся административная власть, включая контроль над местной полицией,— реформа уездной полиции 1862 г. передала в их руки право назначать исправников, прежде выбиравшихся дворянами. По закону 22 июля 1866 г. губернаторам было подчинено и большинство губернских учреждений министерств.

Широковещательность — эзоповская формула Салтыкова, включающая понятие бесконтрольности, произвола, всей полноты исполнительной и законодательной власти (в 1869—1871 гг. дебатировались проекты предоставления губернаторам права издавать «постановления и распоряжения» о «благочинии и благоустройстве», о «предупреждении и пресечении преступлений», которые обладали бы силой закона в пределах управляемых ими губерний — *МВ*, 1871, № 12, 16 января).

...давая нашей деятельности направление исключительное (в смысле бесповоротной строгости), <...> можем достигнуть результатов очень нешуточных.— В *ОЗ* далее следовало разъяснение: «Этим способом мы скорее, нежели всякими другими пальятивами, сумеем доказать несостоятельность принципа, во имя которого мы действуем — это бесспорно». Эта мысль очень существенна для сатирической поэтики Салтыкова 70—80-х годов. В его гротескных, фантастических образах и сюжетах доводились до логического предела, до «всех последствий» краеугольные принципы господствующего строя, что позволяло особенно наглядно демонстрировать его несостоятельность.

Стр. 311. *...Чингис-хан, Батый, Аттила <...> сожгли, разрушили, разорили <....> Если люди кричат известному явлению «довольно!», то это значит, что оно им не надобно...*— Имена монгольских завоевателей Ч и н г и с-х а н а и Б а т ы я (XII—XIII вв.) и предводителя гуннов А т т и л ы (V в.) служили в революционно-демократической публицистике общепринятым обозначением царского самодержавия. Салтыков эзоповски проводит здесь мысль о том, что оно изжило себя.

Стр. 313. *Картина просветительно-опустошительных подвигов <...> своего рода «Последний день Помпеи» <...> мысль немеет.*— Салтыков уподобляет зрелище произвола, поборов и усмирений, составлявших «цивилизаторскую деятельность» пореформенных администраторов, картине К. Брюллова «П о с л е д н и й д е н ь П о м п е и» (1830—1836), изображавшей неотвратимую стихийную катастрофу, массовую гибель жителей Помпеи под вулканической лавой. Герцен также считал это изображение всеобщей человеческой трагедии, вызванной слепой неостановимой силой, символическим воплощением общественной атмосферы самодержавия (см. «О развитии революционных идей в России».— *Герцен*, т. VII, стр. 330—331).

Стр. 314. *...человек, у которого нет ничего, кроме энергии...*— Таков именно образ градоначальника Брудастого, созданный Салтыковым в «Истории одного города».

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

(Стр. 314)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 4, отд. II, стр 276—288 (вып. в свет 9 апр.).

При подготовке к *изд. 1882* Салтыков переработал и сократил «письмо». Приводим три варианта текста *ОЗ*.

К стр. 316, после абзаца «Но этого еще недостаточно...»:

Ежели, по их мнению, даже перед громом нет надобности трепетать, то каким же образом следует себя вести, например, относительно станового пристава? И что всего ужаснее — никак их нельзя в этих революциях уличить! Чувствуешь, что в словах их есть что-то неладное, а что такое — сам черт не разберет!

— Позвольте, милостивый государь! вы сейчас изволили сказать, что инстинкты животных определяются условиями жизни... так, кажется, я расслышал?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Однако ж, казалось бы, что и предусмотрительная архитектоника природы с своей стороны...

— Точно так, ваше превосходительство.

— Извольте, милостивый государь, продолжать!

И продолжает. Ни о ком из господ становых не упоминает, а между тем чувствуешь, что каждое его слово так и брызжет становыми...

Как уличить, что инстинкты животных определяются не условиями жизни, а чем-то другим... хоть бы, например, распорядительностью становых? Что такое инстинкты? какое это слово? что такое условия жизни? Становой пристав представляет ли собой условие жизни или нет? что такое самое животное? животное ли, например, человек, или животными называются... только животные? Как с этим быть неспециалисту? Пожалуй, начнешь уличать, да так застрянешь, что потом и не вылезешь! И какой иезуитский ответ... именно иезуитский! «Точно так, ваше превосходительство!» Что ни спроси — все «точно так!». Смеется он или серьезно говорит — сам В. П. Безобразов его не поймет! [1] Что же делать-то, спрашиваю я вас, что же делать-то? Ведь этак, пожалуй, придется смотреть, как они революции разводят, да помалкивать! Или...

За этим «или» следует совершенно естественный переход к соображениям о том, какие полагается возможным предпринять меры к освобождению русской жизни от одолевающих ее специалистов и кудесников.

К стр. 324, после абзаца «Как ни больно, но придется...»:

Как скоро состояние бессознательности прекращалось, несправедливость единоторжий выяснилась сама собою, но, к сожалению, не выяснились средства к выходу из него. А средство тут одно: освобождение знания и умения из-под гнетущего контроля энциклопедизма строгости.

К той же стр. Заканчивалось «письмо» в *ОЗ* следующим текстом после абзаца «Можно бы привести здесь множество примеров...»:

И не только живут, но даже имеют настолько силы, чтобы небезуспешно упорствовать в своих заблуждениях...

«Письмо одиннадцатое» непосредственно продолжает тему «Письма десятого». Салтыков подвергает здесь рассмотрению отношения дворянско-

---

[1] Этот выпад против Безобразова вызван утверждением последнего в статье «Наши охранители и наши прогрессисты», будто благодаря ироническому «тону», «сатирическому элементу» в «Отеч. записках» (в первую очередь в произведениях Салтыкова) «публика всегда, в самые трагические минуты негодования прогрессистов, может недоумевать, серьезно или насмех они говорят» (*РВ*, 1869, № 10, стр. 432). См также прим. к стр. 325.

чиновничьего общества провинции к знанию, науке, страх перед ними как началами разрушительными, «посягающими» на привычный уклад жизни. Тема данного «письма»: представляют ли собой «творческую силу» невежество, обскурантизм — неразлучные спутники произвола, поднявшие голову в связи с усилением реакции.

«Строгость» и «предприимчивое невежество» — органический продукт крепостнических отношений, когда «в человеке усматривался лишь материал, который можно по усмотрению и скорчить, и вытянуть». Для осмеяния подобных воззрений и принципов писатель создает метафорическое понятие «кантонистский энциклопедизм». (Кантонисты — дети нижних чинов, до 1856 г. приписывавшиеся от рождения к военному ведомству, обучавшиеся в особых школах, где палочной дисциплиной вырабатывался тип невежественного и грубого служаки.) Это сатирическое обобщение вобрало в себя представление об умственном убожестве и безграничной самонадеянности невежественного бюрократа-солдафона, который, в противоположность «специалисту», деятелю «знающему и мыслящему», берется наскоком за всякую сферу деятельности, готов молниеносно разделаться с любыми общественными потребностями и стремлениями при помощи административного принуждения и «сечения», и привести все науки к «одному знаменателю». Новая, пореформенная действительность «целой цепью неудач протестует» против этих давно изживших себя приемов жизнестроительства. Однако поборники пресловутого «энциклопедизма», как гласила в *ОЗ* заключительная фраза «письма», не только живы, но и в силе (см. второй вариант к стр. 324). Неуклонный вывод из рассуждений этого письма, сформулированный в его журнальной редакции особенно прямо, — «освобождение знания и умения из-под гнетущего контроля энциклопедизма строгости» (см. первый вариант к стр. 324), то есть полная демократизация всей общественной, государственной, культурной жизни страны как главное условие ее развития, центральная историческая задача эпохи.

Стр. 317. *...то время, когда в среде нашей сложилась знаменитая пословица: «тяп да ляп — и корабль».*— Здесь и далее речь идет о «фантасмагории» всякого рода прожектерства и, одновременно, о разгуле хищничества и казнокрадства в период Крымской войны и вызванных ею больших рекрутских наборов и дворянского ополчения.

Фортеции и ретраншементы — укрепления и окопы (*франц.* forteresse, retranchement).

Стр. 318. *Человек неученый, рыбак, пастух — все это принимало на себя обязательство уловлять людей...*— В Евангелии от Матф., IV, 19, Иисус зовет рыбаков Андрея и Симона (впоследствии апостола Петра) следовать за ним, обещая сделать «ловцами человеков». Евангельское выражение используется Салтыковым в разных оттенках иронического переосмысления — это и принуждение, и принижение, и полицейская «ловля» людей, физическое уничтожение.

Стр. 319. *Хочу, чтоб на этом месте был город,— и бысть...*— Образную параллель к этим декларациям, восходящим к библейской легенде о сотворении мира, составляют действия Угрюм-Бурчеева в «Истории одного города».

Стр. 322. *...из легиона «способных и достойных»...*— то есть из чиновничества, из государственной администрации царизма. Способен и достоин — слова из формуляра о службе.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ
(Стр. 324)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 9, отд. II, стр. 64—82 (вып. в свет 4 сент.).

Салтыков работал над «Письмом двенадцатым» в июле 1870 г., параллельно с завершением «Истории одного города». 10 июля он писал Некрасову: «Я кончил «Историю города» и кончаю на днях «Письмо из провинции». Все это будут концы, и я более не стану уже возвращаться к этим предметам».

В журнальной публикации «Письма» следует предположить наличие цензурной замены на стр. 77—80 (стр. 335—338 наст. тома). В *ОЗ* текст со слов «возможны минуты прозрения» (в абзаце «Но, кроме поверья...») до абзаца «Предположите, с одной стороны...» набран со шпонами, чем отличается от остального текста, набранного без шпон. Очевидно, первоначально здесь был набран иной текст, большего объема.

При подготовке к *изд. 1882* Салтыков переработал и сократил «письмо». Приводим три варианта текста *ОЗ*.

К стр. 333, после абзаца «И заметьте...»:

Конечно, он может утешать себя тем, что в этом случае работа самопокорения имеет чисто внешний характер, что она не затрогивает ни одного существенного убеждения, не разрушает ни одного основного верования, но ведь дней впереди много, и каждый из них приносит за собою все ту же необходимость *внешней* работы самопокорения. Устоит ли перед этой хмурой перспективой дней та светлая уверенность в неприкосновенности внутреннего строя, которою задается человек, сеющий новое слово на почве, уже поросшей крапивою и репейником слова ветхого, но глубоко пустившего корни?

К стр. 334, после абзаца «Ничтожество этого результата <...> бедными *тутошними* людьми?»:

...которых типическая особенность в том только и состоит, что им бежать некуда? *Он* ест *хорошую* пишу, пьет *хорошее* вино, носит *хорошую* одежду; *они* и <едят,> и пьют, и носят — все худое. Очевидно, что естественное его место не между голодными оборванцами, а между сытыми и хорошо одетыми исправниками и другими пропагандистами всероссийской цивилизации...

К стр. 335, в начале абзаца «Но, кроме поверья...», после слов... «и для масс возможны минуты прозрения»:

...такие минуты, когда они, в свою очередь, начинают влиять на общее течение исторических событий.

Итоговое «письмо о провинции» посвящено разработке одной из постоянных и кардинальных тем Салтыкова — темы взаимоотношений передовой мысли и жизни масс. У Салтыкова нет сомнения, что и для масс возможны «минуты прозрения» (то есть сознательного, исторически активного, революционного действия, как разъяснялось в *ОЗ*,— см. вариант к стр. 335), что эти минуты «составляют неизбежную страницу в истории каждого народа». Однако свою задачу он видит в исследовании всей трагической сложности реальных коллизий, в которые ставит революционера русская действительность, когда он практически сталкивается с ней.

Забитая веками рабства масса не понимает, что «избавление зависит от нее самой», и ожидает его от чуда. Она не знает о своих «ревнителях», тяжкий опыт выработал в ней недоверие ко всем «сытым». (В *ОЗ* социально-психологическая мотивировка этого недоверия была развернута подробнее — см. вариант к стр. 334.)

Художник избирает ситуацию, в которой общение революционера с народом принимает наиболее естественный для тогдашних условий вид: его герой водворен в одно из российских захолустий. Эта ситуация весьма характерна для пореформенного десятилетия, когда жертвами репрессий стали не только выдающиеся деятели революционного лагеря — Чернышевский, Михайлов, Н. Серно-Соловьевич, Налбандян и др.,— но и сотни рядовых участников демократического движения, высылавшихся «в отдаленные губернии» по приговору политических судов или в административном порядке (в связи со студенческими волнениями 1861 и 1869 гг.; «делом 32-х», «обвинявшихся в сношениях с лондонскими пропагандистами»; следствием по делу нелегальной типографии П. Д. Баллода, «казанскому заговору» 1863 г., делу Каракозова и др.). Среди сосланных оказались в те годы люди столь разной глубины убеждений и силы духа, как ученик Чернышевского И. И. Кельсиев и либеральный профессор П. В. Павлов, революционный публицист П. Л. Лавров и участница студенческих волнений А. П. Блюмер, этнограф П. Н. Рыбников и революционер И. А. Худяков (причастный к покушению на Александра II в 1866 г), юнкер В. В. Труведлер (пострадавший за привоз в Россию «Колокола» и др. лондонских изданий) и землеволец Ю. М. Мосолов.

Драматизм положения и душевного состояния этих сотен политических ссыльных запечатлен Салтыковым в эзоповском псевдониме «акклиматизируемый человек». В этой метафоре передана горечь судьбы человека передовой мысли, «высших стремлений», насильственно перенесенного в идейное одиночество враждебно-обывательского бытия глухой провинции.

Глубина, достоверность социально-психологического исследования пе-

рипетий общения «водворенного» и «аборигенов» обусловлена также обширным личным опытом Салтыкова, находившегося в положении «акклиматизируемого» не только в период «вятской ссылки» (1848—1855; воспоминаниям о ней посвящены также «Годовщина», «Добрая душа» — см. стр. 638, 640), но и в недавние годы последней службы в провинции (они рассматривались им самим как время добровольной ссылки).

Салтыков особенно остро осознавал опасность отчаяния, угрожающую демократу, не находящему пути к разуму масс в эпоху исторического перерыва. Не имея возможности предложить никаких «утешений», кроме общих исторических перспектив «прозрения» народного в будущем, он как бы ставил перед политическими ссыльными альтернативу: мужество и идейная стойкость, верность идеалу и при столь трагических обстоятельствах — или «умирение», а с ним душевный надлом, опустошенность. Изображением нюансов душевной борьбы «акклиматизируемого», всех подстерегающих его трагических срывов, «письмо» идейно закаляло этих «не героев, а просто честных, полезных и наклонных к добру людей». Финальные строки «письма» («Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно...») полны горечи. Но в то же время они вызывали в сознании читателя-друга образы революционных деятелей несокрушимой идейной убежденности, жизненный подвиг которых вдохновлял на самоотвержение во имя освобождения мысли [1].

Трагические судьбы людей несгибаемого революционного духа продолжали волновать писателя и в последующие годы. 20 ноября/2 декабря 1875 г. он сообщал П. В. Анненкову о замысле рассказа «Паршивый», непосредственно связанном с раздумьями «Письма двенадцатого» (см. также его письмо к Некрасову от 26 апреля/8 мая 1876 г.).

Появление «письма» в журнале было встречено критикой сочувственно. Рецензент газеты «Сын отечества» (1870, № 220, 29 сентября, стр. 1; без подписи) отдал ему даже предпочтение перед завершающими главами «Истории одного города» на том основании, что здесь «горькая правда прямее и откровеннее». Суровые раздумья идейного вождя демократии о жизни народной и внесении в нее передового сознания привлекали к себе многие поколения революционеров. М. С. Ольминский среди любимейших произведений Щедрина в письме из тюрьмы к сестре Л. С. Александровой от 14 апреля 1897 г. называл двенадцатое «Письмо о провинции» [2].

Стр. 325. *...путешественник-специалист, командированный от какого-нибудь ведомства, а пожалуй, и от двух...* — Выпад против В. П. Безобразова, который в составе экспедиции, снаряженной в 1867 г. Вольным экономич. и Русским географ. обществами, обследовал состояние «хлебной торговли в

---

[1] Финал «Письма двенадцатого» развивал мысли апрельской хроники «Наша общественная жизнь» 1864 г. о трагизме положения «истинных деятелей» России, что было прямым откликом на процесс Чернышевского (см. стр. 667—670 в т. 6 наст. изд.).

[2] «Вопросы литературы», 1960, № 2, стр. 168.

бассейне рек Вятки и Белой, а также за Уралом» и одновременно «по высочайшему повелению» «обозревал» казенные горные заводы в Приуральском крае. Далее Салтыков пародирует утверждение Безобразова в статье «Наши охранители и наши прогрессисты» (*РВ*, 1869, № 10) о росте вывоза хлеба, как показателе «чрезвычайного возрастания земледельческого производства в России». Пародийный «ученый дневник» вместе с тем высмеивает «методологию» официальной науки вообще. Деятельность Безобразова впоследствии не раз служила Салтыкову отправным пунктом для создания сатирических образов дельцов от науки (Велентьев в «Господах ташкентцах», Полосатов в «Недоконченных беседах», Грызунов в «Письмах к тетеньке»).

...нечто пикантное против наших охранителей и прогрессистов, утверждающих, что благосостояние народа находится в упадке... — В статье «Наши охранители и наши прогрессисты» Безобразов предъявлял демократической публицистике «Отеч. записок» (в частности, Салтыкову) демагогическое обвинение в том, что, сосредоточивая внимание на «современном экономическом упадке России», она сближается в своей позиции с реакционными публицистами «Вести».

...пуговица от мундира великого князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы с Цимисхием <...>, как бы снятая с новейшей ливреи... — Битва Святослава, великого князя Киевского, с войсками византийского императора Иоанна Цимисхия происходила при Доростоле в 971 г. Салтыков иронизирует здесь над псевдонаучными изысканиями официозных историков, накладывающими «мундирную», «ливрейную» окраску на русскую древность.

...выпускал книжицу <...> «Исследование о хлебной торговле в России»... — Речь идет о книге Безобразова «Хлебная торговля в Северо-Восточной России (в Камском бассейне и Приуральском крае)», СПб. 1870.

Стр. 326. *...поднимает завесу будущего...* — Эзоповское обозначение социалистических устремлений и идеалов (см. также стр. 95 в наст. томе и стр. 108, 395 в т. 6 наст. изд.).

Стр. 327. *Рай Разъезжей улицы — потерянный рай!* — Салтыков иронически сопоставляет идейные и материально-бытовые трудности жизни в глухой провинции ссыльных революционеров, людей передовой мысли, с райской «безопасностью и безмятежием» их жизни в Петербурге. Ирония подчеркнута ассоциацией с богоборческой поэмой Д. Мильтона «Потерянный рай».

Стр. 329. *Она не хочет знать о тех высших соображениях, которые бросили странника в ее захолустье...* — то есть о демократических и социалистических идеях. В *ОЗ* несколько далее, после слов «И, сообразив это, начинают *жалеть* вдвое» (стр. 330 наст. тома), разъяснялось, что «для обывателя высшие соображения недоступны уже по тому одному, что ему недоступен самый строй понятий, вызвавший эти соображения».

Стр. 330. *...наши благонамеренные свистуны.* — В *ОЗ* далее следовало: «ради пикантности готовые на всякую неправду». Речь идет о публицистах-

охранителях, подобных Безобразову, об официозной и реакционной критике вообще, обвинявшей Салтыкова в преднамеренном сгущении мрачных красок. Этим критикам враждебного лагеря писатель возвращает кличку, которой они (по названию сатирического отдела «Совр.» — «Свисток») называли публицистов революционно-демократического лагеря. (Она была пущена в оборот Катковым — см. его статьи «Несколько слов вместо «Современной летописи», «Наш язык и что такое свистуны» — *РВ*, 1861, №№ 1, 3.) Ср. стр. 336 и прим. к ней.

Стр. 332. *...кто же смолоду не был молод?* — Перифраз пушкинского стиха «Блажен, кто смолоду был молод» («Евгений Онегин», гл. VIII, строфа X).

Человек, отдающий себя делу воспитания...— В *ОЗ* далее следовало разъяснение: «в особенности делу воспитания людей, уже находящихся под игом известного сорта цивилизации».

Стр. 333. *...строчить втихомолку просьбицу* — то есть донос.

Стр. 336. *Ученые свистуны <...> утверждают самую бессовестную неправду. Их поражает <...> перспектива суточных, подъемных и прогонных денег.*— Новый выпад против Безобразова и других официозных экономистов. Приукрашивание в их трудах действительного положения пореформенного крестьянства расценивается Салтыковым как намеренное искажение истины в корыстных целях. Резкость этой оценки усилена в *изд. 1882* (в *ОЗ* вместо слов «перспектива <...> денег» было: «безграничность их собственного самомнения»).

Патагония — распространенный в революционно-демократической публицистике эзоповский псевдоним Российской империи. (Большую часть коренного индейского населения Патагонии, этой испанской, затем аргентинской колонии в Южной Америке, истребили завоеватели; уцелевшие аборигены были совершенно бесправны.)

Стр. 339. *Не только из жизни, но даже из хрестоматий и курсов словесности исчезают люди. И за каждым исчезновением — молчок.*— Намек на преследования известных деятелей литературы, на гибель многих из них в казематах, на замалчивание и клевету после смерти или в случае эмиграции. За этими строками встают имена Радищева и Рылеева, Чернышевского, Михайлова, Герцена, Грановского — весь тот длинный «мартиролог» русской литературы, о котором писал Герцен (*Герцен*, т. VII, стр. 208). См. также статью Салтыкова «Один из деятелей русской мысли» (1870; т. 9 наст. изд.).

Грады и веси <...> постепенно познают пользу употребления картофеля...— См. прим. к стр. 7.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

В 1869 г. Салтыков начал печатать в «Отеч. записках» сатирический цикл «Для детей». Всего появилось шесть произведений: I. Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил. II. Пропала совесть. III. Годовщина

(*ОЗ*, № 2). IV. Дикий помещик. V. Добрая душа (*ОЗ*, № 3). VI. Испорченные дети (*ОЗ*, № 9). В подстрочном примечании к общему заглавию цикла в февральском номере журнала Салтыков писал: «Автор настоящих рассказов предполагает издать книжку для детского чтения, составленную из прозаических рассказов и стихотворений (последние принадлежат Н. А. Некрасову). Но предварительно он желал бы знать мнение публики, насколько намерение его осуществимо и полезно. С этой целью помещаются здесь образчики детских рассказов». Годом раньше, в № 2 «Отеч. записок» за 1868 г., Некрасов напечатал «Дядюшку Якова», «Пчел» и «Генерала Топтыгина» под общим заголовком «Стихотворения, посвященные русским детям», и к заголовку сделал примечание: «Из подготовляемой к печати книги стихотворений для детского чтения». Такая книга не вышла в свет ни у Некрасова, ни у Салтыкова совместно с Некрасовым.

В отличие от названных стихотворений Некрасова, действительно обращенных к детям, подлинным адресатом салтыковского цикла «Для детей» является демократическая молодежь— те оппозиционно и революционно настроенные «дети», противопоставление которых либерально-дворянским «отцам» утвердилось в русском общественном сознании со времени романа Тургенева. К молодому демократическому читателю и обращены раздумья Салтыкова (выраженные им в жанре сказки, притчи, мемуарного лирического наброска и рассказа) о наиболее волнующих проблемах времени: об извечной покорности мужика, о революционной морали и аморализме старого миропорядка, о необходимости идейной стойкости в эпоху реакции. Именно к этой молодежи обращено напутствие «идти прямою и честною дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее» («Добрая душа»). Однако писатель не был чужд надежды своей проповедью героической гражданственности воздействовать и на молодое поколение России в целом.

Рассказы «Для детей» были сочувственно встречены критикой. Рецензент «Сына отечества» А. Хитров в отклике на мартовскую книжку «Отеч. записок» писал: «Лучшими в вышедшей книжке остаются статьи г. Щедрина, а именно его два рассказа «Для детей» и «Письмо о провинции» <...>. В своем юморе и в своих рассказах он всегда умеет затронуть и умеет коснуться живого вопроса, типа самого последнего времени и умеет обрисовать мастерски ту смешную сторону, какая тут предстает...» [1]

Замысел цикла не был полностью осуществлен Салтыковым, и цикл не получил отдельного издания. Рассказы I, II и IV вошли впоследствии в цикл «Сказок» (т. 15 наст. изд.). Остальные не перепечатывались при жизни Салтыкова, они воспроизводятся нами по первопечатным публикациям.

Из рукописей сохранился неполный автограф «Испорченных детей»,

---

1 *СО*, 1869, № 72, 28 марта (подпись: *Х. А.*). См. также рец. Буренина в *СПб. вед.*, 1869, № 76, 18 марта (подпись: *Z*).

ГОДОВЩИНА
(Стр. 343)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 2, стр. 609—617 (вып. в свет 2 февр.), с цифрой «III», относящейся к циклу «Для детей» (см. выше).

Салтыков работал над рассказом, по-видимому, во второй половине 1868 г. Поводом к его написанию послужила двадцатая годовщина ссылки Салтыкова (арестован 21 апреля 1848 г. и отправлен 28 апреля, по распоряжению Николая I, прямо из помещения гауптвахты в сопровождении жандармского штабс-капитана Рашкевича «на служение в Вятку»). Салтыкову инкриминировались усмотренные в его первых повестях «Противоречия» и «Запутанное дело» «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие» [1].

Вспоминая вятские трудные настроения, Салтыков стремится передать молодому поколению выстраданные, по-новому осмысленные итоги собственного опыта, предостеречь от опасностей, подстерегающих юных протестантов во имя социальной справедливости в момент временного упадка духа, когда грозный «порядок вещей» представляется необоримым. Главная из этих опасностей — примирение с существующей социальной действительностью как исторической необходимостью, переход от стремлений изменить эту действительность к созерцательному «только объяснению» ее, граничащему с «всеоправданием».

Значение автобиографических признаний Салтыкова в «Годовщине» (наряду с такими произведениями, как «Скука» из «Губернских очерков», «Письмо двенадцатое» из цикла «Писем о провинции», «Имярек» и «Счастливец» из «Мелочей жизни») для воссоздания сложности его идейных исканий в ссылке выяснено впервые С. А. Макашиным [2]. Еще в очерке «Скука» (1856) Салтыков возмущенно писал о «растлевающем» влиянии пошлой «тины мелочей», «мира сплетен и жирных кулебяк» (т. 2 наст. изд., стр. 225—226). В «Годовщине» же Салтыков с суровой правдивостью анализирует причины пережитых им в те годы настроений «горькой обиды», которую нанесла ему жизнь в Вятке, куда он был насильственно перенесен из «здания мысли, любви и счастья». Соприкосновение этого «полуфантастического, но прекрасного и светлого мира» социалистических идеалов, которыми жили кружки передовой молодежи в Петербурге 40-х годов, с реальной действительностью николаевской России привело к «уразумению целого порядка явлений», в котором каждая из несправедливостей и неправд представляется не изолированной, а связанной с «целым строем».

---

[1] С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 291—295. См. также статью Е. И. Покусаева «М. Е. Салтыков-Щедрин» в т. 1 наст. изд. (стр. 12—15) и комментарий Т. И. Усакиной к названным повестям там же.

[2] С. А. Макашин, цит. труд, стр. 366—368, 405—425.

Является «потребность примирения» и ее философское оправдание в рассуждениях об объективной реальности исторически сложившегося жизненного уклада, сковывающего одной цепью «и преследующих, и преследуемых».

Для Салтыкова осознание социально-политической обусловленности всех «неправд» явилось ступенью к последующему отрицанию всего крепостнического строя и к поискам в самой отрицаемой, но существующей действительности сил для ее изменения. Философский комплекс «всеоправдания во имя исторической необходимости» Салтыков поверяет критерием исторического творчества и подлинного прогресса и указывает на «совершенное бессилие» принципа «разумного и трезвого созерцания жизни», который в действительности ведет к «полнейшему индифферентизму и сердечной вялости». Подобные умонастроения уже в 40—50-е годы стали характерны для большей части либеральной интеллигенции (см. очерк «Валентин Бурмакин» в «Пошехонской старине», т. 17 наст. изд.). Развенчания философии пассивности требовала от Салтыкова и обстановка общественной реакции в конце 60-х годов, когда «тихо курлыкающие мудрецы» (образ экс-либералов, восходящий к «каплунам настоящего» — см. стр. 248—249 в т. 4 наст. изд.) твердили о бесплодности революционных порывов и необходимой постепенности в социальном прогрессе («помаленьку» да «полегоньку»).

Салтыков доказывает историческую плодотворность «подвига и почина» — революционного дерзания и самоотвержения. Утверждение жизненного идеала активной переделки мира ведется на наиболее трудном и злободневном материале судьбы политического ссыльного, непосредственной жертвы «порядка вещей». Но эта тема требовала искусной зашифровки, ее нечасто удавалось затрагивать в легальной демократической печати (ситуацию, подобную описанной в начале «Годовщины», изобразил лишь Некрасов в стихотворении «Еще тройка» — 1867; см. также «Письмо двенадцатое» цикла «Письма о провинции» Салтыкова в наст. томе). В «Годовщине» эзоповским прикрытием запретной темы послужил мемуарный экскурс.

Как и другие произведения Салтыкова этих лет, «Годовщина» звала «детей» к идейной стойкости, к верности традициям революционеров 60-х годов и утверждала «энтузиазм к добру и истине» в качестве подлинной основы человеческой красоты.

Стр. 343. *Сегодня мне сорок лет.* — В действительности Салтыкову в 1868 г. исполнилось 42 года. Об истинном поводе к написанию данного очерка см. выше.

О счастии с младенчества тоскуя... — Начальные строки стихотворения Баратынского «Истина».

Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о «счастии» может по временам оказываться равносильною злодейству... — Намек на официально инкриминировавшийся Салтыкову в 1848 г. «вредный <социа-

листический> образ мыслей» (см. выше текст обвинения, средактированный лично Николаем I).

Стр. 350. *...как вы видели это из первого моего рассказа...*— То есть из «Повести о том, как мужик двух генералов прокормил», которая первоначально открывала цикл «Для детей» (см. выше).

ДОБРАЯ ДУША
(Стр. 351)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 3, стр. 130—140 (вып. в свет 10 марта), с цифрой «V», относящейся к циклу «Для детей» (см. выше).

Рассказ «Добрая душа» связан с воспоминаниями Салтыкова о вятской ссылке, с ее двадцатой годовщиной — см. выше комментарий к рассказу «Годовщина»,— и написан, вероятно, также во второй половине 1868 г. Их объединяет обращенная к молодому поколению проповедь «горения сердца», душевной открытости всем горестям и бедам народным.

В «Доброй душе» Салтыков ставит ту же проблему «о народе историческом» (как он выразился в известном письме 1871 г. в редакцию «Вестн. Европы»), которую одновременно разрабатывал в «Истории одного города»: о темноте, пассивности и ожесточении масс. Причины народного «глуповства» писатель усматривает в «узах тесных» — в вековом бесправии, забитости и нищете русского крестьянства.

Образ героини рассказа — Анны Марковны Главщиковой восходит к одной из вятских знакомых Салтыкова. Ранее она была выведена в «Губернских очерках» под именем Пелагеи Ивановны (стр 113—114 и 241—247 в т. 2 наст. изд.). Влияние этой «доброй души» на свое духовное развитие Салтыков всегда оценивал очень высоко. Горестные монологи Анны Марковны о крестьянской доле (перекликающиеся с речами Якима Нагого в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова) звали передовую молодежь проникаться нуждами и страданиями народа и обращаться к нему со словами правды о его положении и истинных интересах (в этом отношении монологи Главщиковой предвосхищают речь учителя-демократа Крамольникова к крестьянам в рассказе «Сон в летнюю ночь» — 1875; т. 12 наст. изд.). Облик и миросозерцание простой женщины, возвысившейся в своей «работе мысли» до понимания социальной обусловленности нравственной жизни человека, убеждал читателя-друга в возможности и успешности революционно-просветительной работы в народе.

Рассказ был сочувственно встречен критикой (см. стр. 614).

Стр. 353. *...в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал...*— то есть в Вятке — см. «Годовщина».

Стр. 354. *...в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление...*— Ссылка Салтыкова сопровождалась переводом его из петербургской канцелярии военного министра в чиновники вятского губернского правления.

Стр. 356. *...в газетах <...> пишут, что мужик оттого беден, что пьет не в меру!* — См. комментарий к «Письму шестому» из цикла «Письма о провинции».

Стр. 357. *...есть такие ответы <...>. Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска?* — Речь идет о «теории невменяемости», невиновности отдельного человека в преступлениях — следствиях ненормального устройства общества, что проповедовалось социалистами-утопистами.

Стр. 360. *...я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой <...> но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе.*— Этот замысел не был осуществлен.

ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ
(Стр. 361)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 9, стр. 273—310 (вып. в свет 12 сент.), с цифрой «VI» перед заглавием, относящейся к месту рассказа в незавершенном цикле «Для детей» (см. выше). При жизни Салтыкова не перепечатывалось.

Сохранился неполный черновой автограф. Текст в рукописи кончается замечаниями Сапиентова на первое «сочинение»: «...любезною его родительницею. Сапиентов» (стр. 381 наст. тома). Заглавие: «Для детей. VI. Дети-литераторы». Начальная часть озаглавлена: «Предисловие, объясняющее происхождение литературного общества». Сочинение «Добрый служака» последовательно озаглавлено: а) «Воспоминания лихого служаки»; б) «Лихой служака. (Из моих воспоминаний)»; в) «Добрый служака. (Из моих воспоминаний)»; подзаголовок: а) «Сочинение 11-летнего кадета Младо-Сморчковского»; б) «Сочинение 11-летнего Гриши Младо-Сморчковского [второго] первого».

Текст рукописи, изобилующей не столько правкой, сколько характерными для Салтыкова вставками на левой половине листа, близок, в своей окончательной стадии, к тексту *ОЗ*. В первопечатном тексте, по сравнению с автографическим, отсутствует один эпизод — разговор Сапиентова с Пашей, изменено имя — «Ваня» вместо «Миша», изменена должность Туманова — в автографе он именуется градоначальником, кроме того, сделаны небольшие сокращения и проведена некоторая стилистическая правка. Автографический текст полнее первопечатного и в отдельных деталях.

Приводим четыре варианта чернового автографа.

К стр. 366, вместо абзацев «Остановившись на этой мысли...» и «— Сударыня! — говорил он...»:

Остановившись на этой мысли, он задал питомцам сочинение на тему «Добрый служака». Дети тотчас же поняли требование своего наставника, исключая, впрочем, Паши, который никак не мог взять в толк, чего хочет от него Степан Петрович.

— Я не знаю... я маленький! — говорил он своему наставнику.

— Однако представь себе, душенька, что ты, например, градоначальник! — пояснил Сапиентов,— представь себе, что твоя добрая маменька вне-

запно назначила тебя на сей важный пост,— как бы поступил ты в сем разе? Был ли бы ты благосклонен или неукоснительно строг, или же совместил в себе и то и другое? Utile — dulci [1], как выразился древний поэт?

Паша вздохнул и пожаловался было Катерине Павловне, но его высекли. Наконец, видя, что исполнение наставнического требования во всяком случае неизбежно, он должен был покориться.

К стр. 375, в начале абзаца «Не станем описывать...», после слов «...удивление целого мира»:

Как только он прибыл на свой пост, так первым делом его было осведомиться о направлении умов; когда же ему было доложено, что направление самое благонадежное, то он заперся в кабинете и занялся приготовлением рапортов и предписаний.

К стр. 379—380, в середине абзаца «Сочинение сие замечательно...», вместо фразы «А именно <...> администратором»:

...а именно: оно дозволяет думать, что будучи разбойником и даже, быть может, именно посему, [можно] со временем сделаться градоначальником.

К стр. 380; в конце абзаца «Полет фантазии...» фраза «Так, например <...> возвышенный» отсутствует.

«Испорченные дети» написаны летом 1869 г. в Витеневе, подмосковном имении-даче Салтыкова, в то же время и в той же обстановке, в каких создавалась «История одного города», с которой «Испорченные дети» связаны тематически и рядом деталей. Однако из двух главных тем знаменитой летописи Глупова — власть и народ, в «Испорченных детях» разработана, в определенном аспекте и без трагического элемента, лишь первая, что и обусловило различие в тональностях этих произведений, несопоставимых, разумеется, и по своей общей масштабности. В «Испорченных детях» осмеянию предается собственно лишь государственная администрация царизма, бюрократия высокой служебной иерархии, о которой даже умеренно либеральный Никитенко писал в 1867 г.: «Нет ничего безобразнее русской бюрократии. Характеристика ее в двух словах: воровство и произвол» [2].

После того как в собственном, сложном опыте Салтыковым были изжиты (или почти изжиты) утопические расчеты на общественно-преобразующие возможности службы в государственном аппарате царизма, аппарат этот предстал перед ним в «бесфутлярном» виде механизма административно-полицейского насилия, управляемого людьми-автоматами — *испорченными* людьми. Механизм этот еще представлял «физически» (политически) грозную силу. Но в идейном отношении, с точки зрения высоты взглядов демократа и социалиста, это была сила внутренне исчерпавшая себя и потому «призрачная», по философско-исторической терминоло-

---

[1] Приятное с полезным. (Из Горация).

[2] А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, Л. 1956, стр. 82; запись от 24 апреля 1867 г.

гии Салтыкова. С этой уясненной силой можно было уже не спорить по существу, а отрицать ее оружием сатирического заклеймения и осмеяния. «Испорченные дети» блещут многими красками салтыковской палитры. Но в них нет, или почти нет, трагического тона (он проскальзывает лишь в третьем «сочинении», там, где появляется уравнение: «отечество» — «сырая и темная нора»).

Салтыков часто обращался в своем творчестве, в сатирических целях, к формам и «жанрам» государственно-административной, канцелярско-бюрократической и прочей деловой «прозы». Школьные «сочинения» воспитанников и «замечания» и «отметки» педагога в «Испорченных детях» являются одной из разновидностей этого приема. Вместе с тем подстрочные замечания педагога Сапиентова и его заключительные резюме играют особую роль в рассказе, несколько сходную с ролью Глумова в произведениях Салтыкова в 70—80-х годах. Ремарки Сапиентова, в которых «серьезно» обсуждаются и оцениваются исполненные небылиц и фантазий «сочинения» «испорченных детей», помогают дешифровать эзопов язык сатиры. Впервые прием подстрочных примечаний, помогавших проникнуть сквозь покров иносказаний в их суть, был применен Салтыковым в юмореске 1863 г. «Цензор впопыхах...», из № 9-го «Свистка» (см. в т. 5 наст. изд.). Сюжетно-структурная схема рассказа также уже возникала в его творческих планах. Еще к 1857 г. относится замысел рассказа «Историческая догадка», который Салтыков хотел изложить в виде беседы учителя гимназии с учениками, что отчасти было претворено в рассказе «Гегемониев» из «Невинных рассказов»[1]. В «Испорченных детях» Салтыков воспользовался этой формой, лишь заменив устные *«беседы»* учителя на письменные *«замечания»*.

Ряд страниц рассказа несет на себе отпечаток поисков «исторической формы» для создававшейся в то же время летописи города Глупова. Следы выработки этой формы более всего заметны в *списке замужеств дочерей Младо-Сморчковского-первого* (из первого рассказа «Добрый служака»). Это как бы черновой вариантный материал, который остался в лаборатории писателя после создания первых глав «Истории одного города» (*ОЗ*, 1869, № 1).

Своим остроумным матримониальным списком Салтыков «роднит» героя-разбойника рассказа с реальными фигурами русской истории, с властительными временщиками, фаворитами, вельможными проходимцами и авантюристами русского XVIII века, а отчасти и XIX Упоминаемые в списке замужеств камер-юнкер Монс, герцог курляндский Бирон, граф Кирила Разумовский, бывший польский король Понятовский (последний польский король Станислав-Август, отрекшийся от престола по требованию Екатерины II), светлейший князь Потемкин-Таврический, граф Дмитриев-Мамонов, наконец Аракчеев — все это

[1] См. об этом в письме Салтыкова к И В. Павлову от 23 августа 1857 г. (*ЛН*, т. 67, стр. 457—458) и в т. 3 наст. изд., стр. 7—14 и 559—561.

хорошо известные имена тех, в большинстве своем «темных людей» XVIII столетия, которые, «попав в случай», делались всесильными фаворитами, жестокими временщиками, фактическими распорядителями судеб народов Российской империи. Гротескным приемом «списка», родственного знаменитой «Описи градоначальникам...», Салтыков расширяет рамки сатиры, подводя ее к граням широких обобщений «Истории одного города», и еще раз свидетельствует свое неуважение к прошлому и настоящему «первого сословия в империи» — российского дворянства.

Другого своего «героя», министра-авантюриста, Салтыков сближает с иными историческими фигурами — с такими типичными представителями западноевропейских авторитарных режимов, как испанская королева Изабелла II и герцог Морни, клеврет Наполеона III. Салтыков всегда живо интересовался французскими политическими делами и, так же как Гюго и Герцен, не упускал возможности «дать еще один пинок» тому, кто «с шайкой бандитов сначала растоптал, а потом просмердил Францию» («За рубежом»). Этим объясняется и обильное использование в «Испорченных детях» злободневных фактов западноевропейской хроники (подробнее см. в постраничн. прим.).

Предисловие, открывающее рассказ, знакомит читателя с семейством Младо-Сморчковских и с педагогом Сапиентовым. В наброске «группового портрета» Сморчковских гротескно-комически изображены «основы» семьестроительства в среде дворянско-служебной элиты. В таких семьях дети с пеленок подготавливались к высокой административной карьере своих отцов. Домашними учителями, помимо иностранцев, туда часто приглашались воспитанники духовных учебных заведений (предполагалось, что они менее заражены «вольномыслием», чем студенты университетов). Таков и Сапиентов — специалист по воспитанию «государственных младенцев». Само имя педагога указывает на его происхождение «из прискорбных», то есть из духовного звания: оно образовано от латинского sapientia (ум, мудрость), по типу фамилий, сочинявшихся в бурсах и семинариях для их питомцев. Стиль замечаний Сапиентова пародирует слог педагогов семинарской выучки, памятный Салтыкову по Московскому дворянскому институту, где было немало учителей духовного происхождения (Архидиаконский, Бенескриптов и др.).

В характеристике «маленького Вани»: «терпеть не мог никакой мелодии, кроме мелодии барабана; наконец, ел и пил всякую дрянь», и в описании его делового дня — «пробуждение в шесть часов утра», «усиленная маршировка», «подверганье самого себя наказаниям» и др., присутствуют черты, которыми Салтыков характеризовал в *журнальном тексте* «Истории одного города» градоначальника Перехват-Залихватского (*ОЗ*, 1869, № 1, стр. 286) и которые год спустя, в развернутом виде, будут переданы характеристике Угрюм-Бурчеева (там же, 1870, № 9, стр. 99). Химерический строитель «города Непреклонска» также «вставал с зарею» и «тотчас же бил в барабан», «ел лошадиное мясо», наконец, «по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, про-

износя самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам...». Эти гротескно-сатирические зарисовки «подвижников» воинского духа вызывали в сознании читателей-современников, с одной стороны, фигуры суровых князей-воинов Древней Руси, как их изображала летопись и, на ее основе, «История Государства Российского» Карамзина, входившая в те годы в адаптациях в школьные программы и потому хорошо известная [1], а с другой стороны — эксцентрическую фигуру Суворова. Рассказы мемуаристов и повествования историков-беллетристов об аскетически-бивуачном образе жизни, о подвигах физической и духовной самодисциплины великого полководца и о его чудачествах печатались тогда во многих изданиях. (Имя Суворова несколько раз названо в «Испорченных детях»; «История Государства Российского» Карамзина цитируется анонимно.)

В той же вводной части «Испорченных детей», в описании Младо-Сморчковского-первого, встречаем слова: «Есть скорость, но нет стремительности; есть строгость, но нет непреклонности». Нечто очень близкое уже было использовано Салтыковым в начальных главах «Истории одного города», а именно в программной речи Брудастого (Органчика): «Натиск,— сказал он,— и притом быстрота. Снисходительность и притом — строгость. И притом благоразумная твердость» (*ОЗ*, 1869, № 1, стр. 287 и сл.). Краткость и энергия этих начальнических сентенций также, по-видимому, связана пародийно с суворовской лаконично-афористической манерой говорить и писать. Однако сатирическая цель здесь — не Суворов. Почти механические речи градоначальника-автомата, доведенные в своем пределе до двух выкриков «не потерплю!» и «разорю!»,— фразеологическая прелюдия к той истории «ошеломлений» глуповцев начальством, к которой сведена вся жизнь в «злосчастной муниципии».

Фабула п е р в о г о   с о ч и н е н и я на тему «Добрый служака» — фантастические похождения атамана разбойников Туманова, подготавливающие его будущую государственно-административную деятельность. Смысл каждого из его административных действий и их совокупность резюмируется словами: «вообще обуздал обывателя». В салтыковской сатире эти слова служат одной из формул обличения и заклеймения полицейской сути государственного аппарата царизма.

«Сочинение сие...— дешифрует мысль автора «замечание» Сапиентова,— позволяет думать, что будучи предварительно разбойником, можно со временем сделаться администратором» (ср. также вариант к стр. 379—380). Проведение такой мысли в печати было политически смелым шагом. Оно

---

[1] Особенно показательно сопоставление салтыковских гротесков с характеристикой Карамзиным князя Святослава Игоревича (т. I—II, СПб. 1851, гл. VII, стр. 172): «...Суровою жизнею он укрепил себя для трудов воинских <...>, питался кониною <...>, презирал хлад и ненастье северного климата; не знал шатра и спал под сводом небес; войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло — изголовьем» и т. д.

привлекало внимание читателя к одной из застарелых язв царистского режима. Произвол, коррупция, хищничество и самоуправство провинциальной администрации были в конце 60-х годов исключительны, особенно на окраинах империи, в Польше и Прибалтике, на Кавказе и в Средней Азии, где самодержавие проводило обрусительную, усмирительную и колониально-завоевательную политику, вскоре изображенную Салтыковым в образах «Ташкента» и «ташкентцев». Но и среди высшей администрации внутренних губерний, находившихся в полной досягаемости для правительственного контроля, было немало крупных чиновников самой низкой гражданской морали и поведения. Одного из них, человека с уголовным прошлым, хорошо знал Салтыков и лично. Это был пензенский гражданский губернатор В. П. Александровский, «помпадурство» которого (1862—1867) совпало частично с пребыванием Салтыкова в Пензе на посту управляющего казенной палатой (1865—1866). Преступные деяния этого губернатора Салтыков изобразил в письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 г., которое закончил так: «Вот Вам глава Пензенской губернии; остальное на него похоже, если не хуже. У меня начинают складываться очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут кроме навоза ничего нет». «Испорченные дети» в биографическом отношении многим обязаны пензенским наблюдениям Салтыкова (см. ниже). Наброски начатой, но брошенной работы над «Очерками города Брюхова» были использованы в «Испорченных детях», а именно во втором сочинении «Добрый служака» (см. например, на стр. 385 место, где анализируется «день обывателя» необыкновенной губернии, въезжая в границы которой сразу же чувствуешь, что «пахнет съестными припасами, и слышишь кругом раздающееся чавканье» и т. д.). Связь «Испорченных детей» с пензенской действительностью подтверждает и сопоставление их с незаконченным и при жизни автора не публиковавшимся наброском под названием «Приятное семейство», возникшим в связи с «Благонамеренными речами» и датируемым на этом основании, предположительно, 1876 г. Характеристики «города П.», где проживает «приятное семейство», и «необыкновенной губернии» в «Испорченных детях» весьма схожи. И там и тут биографический комментарий обнаруживает следы пензенских впечатлений Салтыкова. В тексте «Испорченных детей» имеется и прямой сигнал для такой расшифровки: «Ныне я живу в имении моем, в Пензенской губернии» (стр. 394). Связь с Пензой подтверждается и расшифровкой ряда конкретных намеков (см. подробнее в постраничн. прим.).

Возвышение Туманова, сделавшегося главным министром, которому подчинены все прочие министры, объясняется тем, что он «успел оказать начальству некоторые важные услуги». Здесь затронута одна из характерных черт политического быта самодержавия, как и любой другой автократической власти: полицейские услуги режиму как ступени административной карьеры. Таков был, например, путь таких государственных деятелей России (лично известных Салтыкову), как Яков Ростовцев, бывший декабрист, в решительный момент отошедший от движения и сообщивший правитель-

ству о готовящемся восстании, и Мих. Муравьев, также ренегат декабризма, усмиритель польского восстания 1863 г.

Тут же, в первом сочинении, указан другой источник комментируемого текста — литературный. В одном из «примечаний» Сапиентова читаем: «Весь этот хитроумный рассказ о Туманове заимствован автором из сочинений С. В. Максимова». Салтыков имеет в виду этнографические очерки С. В. Максимова «Сибирь и каторга», печатавшиеся, под разными для каждой части названиями, в «Отеч. записках» за 1869 г.[1]. Очерки содержали множество материалов, изобличавших уголовные деяния сибирских правительственных чиновников и администраторов. Воспользовался Салтыков у Максимова и рядом сюжетных мотивов и деталей. Так, весь эпизод со спасением Паши Туманова из острога, путем «фокуса» с живой пирамидой, почти текстуально «заимствован» у Максимова; у него же взята и сама фамилия героя — Туманов (в очерках Максимова случай с бегством арестанта Туманова отнесен к Тобольскому острогу).

Препирательства Младо-Сморчковских — первого и второго — по поводу канцелярского слога, являются одним из откликов салтыковской сатиры на реформаторскую деятельность Комитета по сокращению делопроизводства и переписки, учрежденного при министерстве внутренних дел еще в 1853 г. и действовавшего до начала 1861 г. Предписания и циркуляры Комитета, ломавшие архаические форму и стиль старого приказного делопроизводства, восходивших к XVIII в., целое десятилетие волновали чернильно-вицмундирный мир (ср. в сцене «Недовольные» в т. 3 наст. изд. и в «Письмах из провинции» в наст. томе и др.). Использование самых матерых штампов канцелярского и делового языка царской бюрократии для ее же осмеяния и заклеймения — один из эффектнейших приемов в салтыковской сатире. В «Испорченных детях» он представлен в обыгрывании выражений: «С одной стороны», «с другой стороны», «но в то же время», «употребить меры строгости», «о том, зачем по присланному указу исполнение учинить невозможно» и т. д. Этот же прием распространен и на язык государственной администрации и официально-патерической публицистики: «внутренние враги», «канцелярская тайна», «здравая политика» и т. п.

Второе сочинение на тему «Добрый служака» написано «откровенным ребенком». «Откровенный ребенок» — политическая полиция царизма и ее секретные сотрудники, осведомители — штатные и добровольные. Правительственная и общественная реакция конца 60-х годов предъявила большой спрос на людей такой профессии и такого «призвания». «Откровенный ребенок» — своего рода первоначальный набросок знамени-

---

[1] В 1862 г. в ведомственном издании министерства внутренних дел с грифом «секретно» была отпечатана книга Максимова «Тюрьма и ссыльные», написанная по поручению правительства. Статьи в «Отеч. записках» представляли перепечатку несколько измененных глав из этой книги, которая, вероятно, была известна Салтыкову. Впоследствии печатавшиеся в «Отеч. записках» очерки вошли в Собр. соч. С. В. Максимова под заглавием «На каторге» (см. изд. 4, т. II, СПб, б. г., стр. 132).

того «ташкентца, обратившегося внутрь», выведенного Салтыковым в очерке «Они же», который должен был появиться в «Отеч. записках» через месяц после «Испорченных детей», но не появился, так как был вырезан цензурой из ноябрьской книжки журнала за 1869 г.

Поход правительства против «неблагонадежных элементов» в провинции, горячка полицейского сыска и наблюдения «на местах» — основной предмет сатирической критики во втором сочинении. Гротескные образы и ситуации воспроизводят те реальности политического быта в стране периода резкого обострения реакции, которые были вполне сравнимы с созданиями сатирической фантазии Салтыкова.

Третье сочинение является по существу первой в творчестве сатирика сказкой о животных — жанр, который он стал разрабатывать позднее. Сказка «о кротихе и кротике» содержит примечательные высказывания Салтыкова об отечестве — России, как о «сырой и темной норе», которую, однако, должно «любить больше всего на свете». В этих словах — голос самого Салтыкова, одно из бесчисленных выражений его «тоскующей любви» к своей стране.

Сказка была особо отмечена в донесении о 9-й книжке «Отеч. записок» за 1869 г. члена Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого. Приведя текст сказки и заключительную в нем ремарку Сапиентова «мысль недурна <то есть мысль, «что эту сырую и темную нору» должно любить больше всего на свете, потому что она «отечество»>, но выражена кратко, и потому на будущее время надо стараться быть более обстоятельным», Толстой иронически замечает: «Обстоятельность эта далеко может повести». Далее он пишет: «В этом же рассказе описывается, как некто Туманов попал сначала в разбойничьи атаманы, а из атаманов прямо в губернаторы, и тут же иносказательно описывает происхождение учреждения жандармов в провинциях под названием «откровенных ребят»...

По мнению Толстого, «Испорченные дети» Салтыкова (наряду с анонимной статьей Г. З. Елисеева «О направлении литературы»), хотя и «не подают достаточных поводов к судебному преследованию», но должны быть «приняты к сведению, как крупный материал для определения неодобрительного направления «Отеч. записок» [1].

Жандармское ведомство расценило «Испорченных детей» как сатиру («пасквиль») на III Отделение, на его систему и аппарат наблюдения в провинции. Об этом свидетельствует любопытный документ, еще не бывший в печати, а именно секретное донесение начальника тобольского губернского жандармского управления полковника Лакса в Петербург шефу жандармов и начальнику III Отделения графу Шувалову. Вот относящаяся к «Испорченным детям» часть донесения, датированного «2 ноября 1869 г. № 321, г. Тобольск»:

«В сентябрьской книжке «Отечественных записок» помещен рассказ

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 33—34.

Щедрина, в котором с насмешливой стороны и в карикатурном виде выставлено учреждение III-го Отделения и наблюдательных постов в губерниях. Если этот рассказ не обратил на себя большого внимания в столицах, то в губернских городах он, хотя на некоторое время, должен был сделаться «вопросом дня». Оно и весьма существенно: губернские представители власти всегда смотрели на учреждение жандармского поста как на акт недоверия к ним правительства и относились к нему по большей части недоброжелательно. До 4-го апреля 1866 г.[1] слух об уничтожении этого учреждения был повсеместным. Когда последующие прискорбные события показали необходимость усиления наблюдательных постов в губерниях, общественное мнение по этому вопросу на время смолкло, и исполнение обязанностей нашей службы находило даже некоторое сочувствие в обществе и среди чиновничьего мира. За последнее время прежнее недоброжелательство стало обнаруживаться с тем большею силою, чем сильнее делался наплыв к высшим должностям в губерниях молодых людей, всегда более или менее одержимых зудом либерализма. Недоставало одного, чтобы и печать, никогда не касавшаяся нашего учреждения[2], заговорила наконец о нем. Рассказ Щедрина пополнил этот пробел. Не знаю, как принят он был в других губерниях, но в Тобольске в его появлении усмотрели симптом если не близкого упразднения корпуса жандармов, то полного умаления его значения. «Иначе не дозволили бы появиться в печати подобной статье»,— говорили здешние крупные чиновники. Из последних председатель губернского правления Курбановский более других был доволен появлением щедринского рассказа и доставил ему немало читателей. Начальник Тобольской губернии (Соллогуб), офицер генерального штаба молодой, 36-ти лет, генерал, далеко не принадлежит к числу тех опытных администраторов, которые посмотрели бы на появление пасквиля как следует. Напротив, ему пришелся он, по-видимому, по душе: судя по образу его мыслей, а частью и по некоторым действиям, III-е Отделение и корпус жандармов представляются ему учреждением бесполезным»[3].

Как реагировал шеф жандармов на донесение (а скорее, донос) на «Испорченных детей» «откровенного ребенка» из Тобольска, остается неизвестным.

Стр. 361. *«Иди! спасай царей!»* — В злободневном плане это восклицание являлось эзоповским откликом на царистские «адреса» и призывы, во множестве посылавшиеся раболепными верноподданными Муравьеву (Ве-

---

[1] День выстрела Каракозова в Александра II.

[2] Это не совсем верно. Тот же Салтыков впервые коснулся в своей сатире III Отделения в очерке «Наш губернский день» («Перед вечером») — 1863, см. стр. 403—413 в т. 3 наст. изд. и комментарий на стр. 618—623 там же.

[3] Центральн. госуд. архив Октябрьской революции, ф. III Отд., 1 эксп., № 7, ч. 48, 1866 г.: «О лицах, обращающих на себя внимание правительства (по Тобольской губернии)», лл. 127—127об.

шателю) в дни, когда он был назначен председателем Верховной комиссии по делу Каракозова. В историческом же плане восклицание, вырвавшееся у Катерины Павловны в момент, когда она наблюдала, «какие трудные походы» ее Ваня заставлял делать своих оловянных солдатиков, ассоциировалось с А. В. Суворовым, его Итальянским и Швейцарским походами (1799), предпринятыми в рамках борьбы Павла I с революционной Францией, во имя восстановления в ней монархии. Еще ближе к призыву «спасай царей» роль, сыгранная Суворовым в усмирении крестьянского восстания под водительством Пугачева. Толчком к отклику на эту тему могла послужить статья Д. Г. Анучина «Участие Суворова в усмирении Пугачевщины и поимка Пугачева» в «Русск. вестнике» (1868, № 11) — журнале, который Салтыков читал систематически.

Стр. 362. *«Разграбив имущества, <...> возвращались восвояси, обремененные добычею».*— Из «Истории Государства Российского» Карамзина.

Стр. 367. *...пение «ура!»...* — обычная салтыковская парафраза для обозначения царского гимна. В рукописи: *«пение «Спаси, господи»,*— то есть названо гимническое же песнопение православной церкви.

Стр. 370. *...по методе г. Миллера-Красовского. Пощечины следовали одна за другою...*— Эта «метода» была изложена ее автором, надзирателем Гатчинского Николаевского сиротского института, в книге «Основные законы воспитания», вышедшей еще в 1859 г., но не забытой и спустя десятилетие. Педагог-обскурант рекомендовал добиваться послушания детей посредством «сильного моментного действия», то есть пощечин. Книга Миллера-Красовского вызвала при своем появлении много осуждающих отзывов в печати, в том числе две рецензии Добролюбова (в *С*, 1859, № 6, и «Журнале для воспитания», 1859, № 9).

Стр. 375. *Satur venter non studet libenter* — латинское педагогическое изречение, ставшее — в переводе — пословицей: «Сытое брюхо к учению глухо».

Стр. 376. *...если б вообще было признано относительно лиц сей категории, что города и селения в самом принципе для них не существуют.*— Отклик на усиление репрессивных мер режима после и в результате выстрела Каракозова. Призванный в 1866 г. к руководству политической полицией новый шеф жандармов и начальник III Отделения, граф П. А. Шувалов, прозванный за свое грозное всевластие «Петром IV» и «Аракчеевым II», существенно расширил географию административной ссылки для участников революционного движения в пользу малонаселенных глухих мест империи.

Стр. 378. *В «Российской родословной книге», составленной кн. Петром Долгоруковым, значится...*— Возможно, что Салтыков имеет в виду не только «Росс. родословн. книгу» (четыре выпуска, СПб. 1855—1857), но и заграничные генеалогические сочинения памфлетного характера того же автора, изгнанного правительством из России (1859), в которых Долгоруков разоблачал не только генеалогические фальсификации, но и многие другие темные стороны из прошлого и настоящего виднейших аристократических

фамилий и сановников России. Но книги эти: «Notice sur les principales familles de la Russie», «La Vérité sur la Russie» и др.— находились в России под запретом, и говорить о них в печати было нельзя. Упоминаемый ниже в списке кавалер индустрии Сан-Фуа-ни-Луа (без веры и закона, беспардонный — *франц.* sans foi ni loi) — сатирический персонаж. Характеристика одиннадцатой дочери является откликом на не остывшие еще ко времени писания «Испорченных детей» крупные политические события в Испании: в 1868 г. революция свергла с престола королеву Изабеллу II. Она бежала в Париж вместе со своим придворным и фаворитом Марфори. Царствование и само имя этой королевы стали символами террористического режима. Яростная католичка, Изабелла вместе с тем ввела при своем дворе нравы, превосходившие своей распущенностью «галантный быт» французской аристократии XVIII в. Ее наставницей была монахиня Патросиния, еще более жестокая и развратная, чем сама королева. Через три года в незавершенном цикле «В больнице для умалишенных» (*ОЗ*, 1873, № 2, т. 10 наст. изд.) Салтыков посвятит этому эпизоду иностранной хроники несколько острых страниц. Баль-Мабиль — модное увеселительное заведение в Париже 60-х годов.

Стр. 382. *...она разумела здесь: Новосильцева, Строганова, Чарторыйского и Сперанского, то есть известный в то время comité du salut public.*— Сатирический яд заключается здесь в том, что название руководящего органа якобинской диктатуры периода Великой французской революции — Комитет общественного спасения — применено к Негласному комитету — неофициальному совещательному органу при Александре I, в который входили «молодые друзья» царя: гр. П. А. Строганов, кн. А. Е. Чарторыйский, гр. В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев. При участии Негласного комитета был проведен ряд умеренно-либеральных реформ. Не входивший в Негласный комитет М. М. Сперанский разрабатывал в 1807—1812 гг. проект о придании самодержавию формы конституционной монархии.

Стр. 385. *Приехавши в П***, я <...> начал стороной выведывать, в каких отношениях находится губернский предводитель к губернатору, не разжигают ли акцизные чиновники народных страстей...*— Отражение связанных с Пензой фактов и ситуаций. Об этом свидетельствуют официальные и строго секретные документы — служебные донесения в III Отделение графу Шувалову от главы политического надзора в Пензе, жандармского штаб-офицера подполковника А. Глобы. Таковы, например, донесение от 12 января 1866 г., озаглавленное «О неприязненных отношениях, возникших между пензенским губернатором Александровским и тамошним губернским предводителем дворянства Араповым», и донесение от 23 апреля того же года, в котором сообщается о распространении либеральных идей среди акцизных чиновников Пензы. (Донесение от 12 января см. Центральн. госуд. архив Октябрьской революции, III Отд., I эксп., № 434, 1865 г. Донесение от 23 апреля опубликовано Б. Я. Бухштабом в журн. «Каторга и ссылка», 1931, кн. 5, стр. 62—63). Приведенное сопоставление и ряд других деталей

подтверждают обоснованность предположения Б. Я. Бухштаба, что образ «доброго служаки» в городе П. идет от пензенского жандармского штаб-офицера Глобы, осуществлявшего негласное наблюдение и за самим Салтыковым. Но, как обычно, реальный персонаж послужил Салтыкову не для портретной, хотя бы и остро карикатурной зарисовки, а для создания сатирического образа.

Стр. 388. *...известные романсы: «à moi l'pompon», «et j'frotte et j'frotte et allez donc!»* — Две популярные в конце 60-х гг. фривольные песенки, исполнявшиеся французскими шансонетками на гастролях в Петербурге.

Стр. 390. *Во-первых, увеличил число моих добрых товарищей в такой мере, что вскоре на каждого обывателя считалось по одному доброму товарищу.*— Добрые товарищи — агенты тайной политической полиции. Первое распоряжение «откровенного ребенка» близко к такому, например, факту действительности, запротоколированному в записи дневника Никитенко от 7 февраля 1867 г.: «Граф Шувалов вносил два проекта в Государственный совет. Один по поводу того, что все Поволжье исполнено дурного духа, и потому необходимо все это пространство оцепить жандармскими агентами, разделив их на группы <...>. Другой проект его касался усиления карательных мер против тайных обществ и против зловредных покушений в земских собраниях» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, Л. 1956, стр. 73).

Стр. 391. *Не меньше того занимали меня и гимназисты <...> в некоторых государствах уже не родители детей секут, а наоборот...*— Еще одно отражение пензенских впечатлений Салтыкова. Общий эзоповский подтекст комментируемого заявления администратора «по секретной части» выясняется в связи с тем обстоятельством, что и сам Каракозов, стрелявший в царя, и руководитель революционного кружка, из которого он вышел,— его двоюродный брат Ишутин, и ряд других видных членов того же кружка — Загибалов, Странден, братья Федосеевы, Юрасов — были воспитанниками пензенской гимназии и пензенского дворянского института. Поэтому политическое наблюдение за пензенскими гимназистами и другими учащимися особенно занимали «жандармский пост» Пензенской губ. Более же частный подтекст комментируемого места связан с получившим широкую огласку пензенским инцидентом конца 1864 г.— пощечиной, нанесенной гимназистом шестого класса Николаем Кузнецовым директору гимназии, крайнему обскуранту и насадителю казарменных порядков Шарбе. Салтыков знал всю эту историю в деталях от самого Кузнецова, в судьбе которого принял большое участие (С. Кузнецов и В. Шварев. Из новых материалов к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина.— Альманах «Земля родная», Пенза, 1951, кн. 7, стр. 132—133; *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 504 и след.).

...я читывал, что настоящие заговорщики собираются всегда по ночам <...>, я посягнул направить шаги мои в лес.— «Сцена в лесу» стилистически пародирует французские «романы тайн». Непосредственным толч-

ком к написанию «сцены» и следующих за нею строк, посвященных государственному перевороту 2 декабря 1851 г., передавшему в руки Луи-Наполеона всю полноту власти, послужили впечатления Салтыкова от чтения книги Эжена Тено «Paris en Décembre 1851». В начале 1869 г. вышло русское издание книги: «Париж и провинция 2 декабря 1851 г. Исторические этюды Эжена Тено и рассказ о перевороте 2 декабря (из «Истории Крымской войны») А. В. Кинглэка». Книга вызвала большой интерес у русских читателей и журнальных обозревателей. Ей была посвящена большая статья и в «Отеч. записках» (1869, № 2).

Стр. 393. *...громаднейший медведь <...> был, разумеется, <...> знаменитый принц Шарман <...> — Стреляй! — раздалось во тьме ночной.* — Принц Шарман (волшебный принц — от *франц.* le prince charmant), персонаж французских народных сказок, служит Салтыкову для обозначения Наполеона III, а гротескно-комический эпизод спасения принца и освобождения от злых чар намекает на «волшебства» авантюристической биографии императора Франции, в частности, на «чудеса» его способов снискания популярности в народе. Один из таких приемов, описанный в книге Тено (см. выше), состоял в инсценировке «покушения» на самого себя и последующего «чудесного спасения».

Потребовалась вдруг большая масса людей, умеющих владеть кастетами и сортидебалями. — Намек на участие парижской полиции в государственном перевороте 2 декабря 1851 г. и в провозглашении Луи-Наполеона императором 2 декабря 1852 г. Сортидебаль — см. прим. к стр. 168.

Стр. 393—394. *Я <...> полетел во Францию, приняв фамилию мосье Мушара <...>. Ловкость и разнообразие, с которыми я применял кастет, <...> изумили даже графа Морни.* — Мосье Мушар (шпик — *франц.* mouchard) — анонимная маска-символ, указывающая на созданную Луи-Наполеоном атмосферу угроз, интриг и провокаций тайной полиции, в которой он готовил свой переворот. Герцог де Морни — лицо историческое, брат (по матери) Луи-Наполеона, в качестве министра внутренних дел сыграл роль фактического руководителя переворота 2 декабря 1851 г. В 1856—1857 гг. Морни был послом Франции в Петербурге, где, путем шантажа, женился на русской аристократке с большим состоянием, княжне Трубецкой. Салтыков и намекает здесь на все эти факты и обстоятельства.

Стр. 394. *Маркиза де ла Кассонад* — маркиза Сластёна (франц. cassonade).

САТИРА ИЗ «ИСКРЫ»

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ
(Стр. 401)

Впервые — «Искра», 1870, № 6, 5 февраля, стр. 209—216, № 8, 19 февраля, стр. 289—296, № 11, 12 марта, стр. 385—390; подпись: *Посторонний наблюдатель.* Авторство Салтыкова установлено В. В. Гиппиусом — см. его

статью «М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры» в «Ученых записках Пермского гос. университета», № 1, Общественные науки, вып. 1, 1929, стр. 43—66. Текст сатиры был перепечатан в *ЛН*, т. 11/12, стр. 274—276, с комментарием Вас. Гиппиуса, который, с некоторыми сокращениями, и использован для настоящего издания. Текст сатиры печатается по журналу «Искра».

Салтыков высмеивает в «Похвале легкомыслию» дворянский либерализм, отождествляя его с той самой дворянской реакцией, от которой либералы сами на словах отмежевывались. Основными тезисами российского либерализма эпохи реформ оказались сентенции: «сначала всё уступи, дабы впоследствии всем воспользоваться» и «пользуйся, но так, чтобы никто не заметил». К этим тезисам присоединяется третий — откровенно реакционный: «будь счастлив и не взирай» (то есть не размышляй). И если первым двум тезисам иронически предпочтены правила обывательски-благонамеренной морали: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся» и «ничем не пользуйся, и пусть все замечают»,— третий тезис пришлось ограничить с точки зрения той же морали: «взирай, но взирай с рассмотрением».

«Похвала легкомыслию» органически связана с салтыковской сатирой 60-х годов, когда Салтыков вступил в решительную борьбу с либерализмом. В «Похвале» откликаются мысли и образы «Нашей общественной жизни» (1863—1864), «Писем о провинции» (особенно двух первых — 1868), «Признаков времени» (особенно очерк «Легковесные» — 1868). С другой стороны, многое из намеченного в «Похвале» получило развитие в дальнейшем творчестве Салтыкова: в «Итогах» (1871), «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872), в «Современной идиллии», «Пестрых письмах» и других циклах. Но особенно близка «Похвала» сказке «Либерал» (1885). Написанная уже в иной исторической обстановке, после запрета «Народной воли», в разгар победоносцевщины, она усиливает, сгущает то, о чем в 1870 г. можно было говорить сравнительно мягко. Тезисы об уступках превращаются здесь в три правила общественного поведения либерала: «по мере возможности», «хоть что-нибудь» и, наконец, «применительно к подлости», после чего либерал получает заслуженный плевок в лицо. Эту именно сказку использовал В. И. Ленин в борьбе с народнической публицистикой — в работе 1894 г. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Если сказка «Либерал» дает «эволюцию российского либерала» в предельно метких и обобщенных образах и формулах, причем задевает не одно либеральное дворянство, но и оформившийся к этому времени мелкобуржуазный либерализм и оппортунизм, то история этих образов и формул в творчестве Салтыкова естественно приобретает особый интерес. В этой истории особое место принадлежит «Похвале легкомыслию» — широко развернутому сатирическому фельетону на тему о судьбах российского либерализма (в данном контексте в первую очередь — дворянского).

Заглавие сатиры связывается с первой фразой «Хищников» (1869): «Пою похвалу силе и презрение к слабости». Прототипом этих иро-

нических «похвал» была, конечно, знаменитая «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Парадоксальная защита враждебной точки зрения — для окончательного ее разоблачения, по методу «приведения к нелепости» — характерна для многих сатир Салтыкова (ср. «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке»).

Стр. 402. *За всем тем Афины пали...*— Падение Афин, так же как и Гибель Рима,— обычные для Салтыкова сопоставления для обозначения неизбежности конца исторически изживших себя, но физически еще существующих явлений действительности. Ср. также в «Письмах к тетеньке»: «Вспомните древних римлян: заблуждались они, заблуждались, а что из этого вышло? сначала падение Западной Римской империи, а потом и Восточной».

Стр. 403. *...вытаскивать <...> те бирюльки, которые на потребу.*— Вытаскивание бирюлек — один из образов салтыковской сатиры для обозначения случайности мыслей и поступков у людей, не обладающих цельным мировоззрением и определенными идеалами. Этот образ встречается в аналогичном смысле в «Наших глуповских делах» (1861), «Дневнике провинциала...» (1872), «Недоконченных беседах» (1873), «Письмах к тетеньке» (1882), «Пестрых письмах» (1884).

...сделаны были распоряжения об открытии Америки.— Остроты об «открытии» и «закрытии» Америки по распоряжению начальства см. также в «Господах ташкентцах» (1869—1872), где директор департамента обращается к своему подчиненному со словами: «Любезный друг, я желал бы, чтобы вы открыли Америку», в «Характерах» (1860), в рукописной редакции «Сказки о ретивом начальнике» (1882).

Стр. 405. *...суворовское: заманивай его, братцы, заманивай!* — Этим возгласом Суворов в битве у реки Треббии с французами во время Итальянского похода (1799) подбодрил и заставил остановиться один из русских полков, бежавший под натиском неприятеля.

Стр. 407. *Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся»...*— Два противоположных тезиса легкомыслия имеют тонкие отличия друг от друга, связанные с оттенками идеологии и поведения реальных объектов сатиры. При всем том главный яд сатиры заключается в отсутствии существенной разницы между тезисами: «пользоваться» (подразумевается — гражданскими и политическими правами) все равно не придется ни «уступающим» либеральным политикам, ни аполитичным обывателям (которым и «уступать»-то нечего). Это сближает «тезисы легкомыслия» с другими примерами мнимо-противоположных сентенций в щедринской сатире. В очерке «На заре ты ее не буди» (1864) консерваторы говорят: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай», «красные» возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед». В главе четвертой «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» в том же смысле сопоставляются сентенции:

«доверься, но доводи до сведения; предоставь, но смотри в оба» и более «превосходные»: «доводи до сведения, но доверься», «смотри в оба, но предоставь».

Стр. 408. *...прошу ко мне отобедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил...*— Подобное приглашение «откушать незаметно» фигурирует также в IV главе «Итогов» (см. стр. 469).

Стр. 410. *Сельская радость <...>. Права. <...> Обязанности.*— Эпизод о конституции для крепостных, введенной Андрюшей Гнусиковым, представляет собою вариант аналогичного эпизода из очерка «В деревне» (1863), предшественник Гнусикова — помещик Многоболтаев. Мотив помещичьей конституции был впоследствии использован Терпигоревым в «Оскудении». Самый текст конституции имеет в творчестве Салтыкова несколько параллелей: законодательство Беневоленского в «Истории одного города», «Устав вольного союза пенкоснимателей» в «Дневнике провинциала...», проекты Феденьки Кротикова в «Помпадуре борьбы» и особенно «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении» в восьмой главе «Современной идиллии». В этом уставе каждая «свобода» обставлена теми же оговорками, что и в гнусиковской конституции.

Стр. 412. *...по-старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили» <...>. Как в Новгороде <...> или то бишь в Москве!* — Отождествляя формы правления «Вольного Новгорода», «Москвы боярской» и «конституционные» установления «либерального» помещика Гнусикова, Салтыков проводит мысль о том, что в историческом прошлом России и в ее послереформенном настоящем народ и общество по существу всегда находились вне активного участия в политической жизни. В этой мысли содержится полемический выпад против теории «двух начал» — вечевого и единодержавного — известного историка Н. И. Костомарова. Его книгу «Северно-русские народоправства» (1863) Салтыков имеет в виду в словах: «Да и костомаровские «Народоправства» были еще у всех в свежей памяти» (стр. 413).

Стр. 418. *...надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей...*— Неосуществленный замысел «биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием», ср. с упоминанием о мужах, которые «наиболее прославились неуклонностью», в «Истории одного города».

ИТОГИ

(Стр. 421)

Первые четыре главы впервые — *ОЗ*, 1871, № 1, стр. 123—136; № 2, стр. 303—314; № 3, стр. 178—185; № 4, стр. 327—345 (вып. в свет соответственно 17 янв., 22 февр., 17 марта, 16 апр.). Без подписи. Пятую главу Салтыкову опубликовать не удалось (см. ниже).

Рукописи первых четырех глав неизвестны. Эти главы были перепечатаны во втором томе «Сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)», СПб. 1889, стр. 467—509. Первоначально Салтыков предполагал повторить здесь

текст *ОЗ*[1]. Однако «Итоги» появились в «Сочинениях» с изменениями и сокращениями, которые могли быть сделаны только автором Эта окончательная редакция и воспроизводится в настоящем издании.

Приводим один из вариантов *ОЗ*:

К стр. 453, после абзаца «Утвердительный ответ в пользу выхода...»:

Для них приятно и не безвыгодно, что существуют пламенные люди, которые готовы усыплять общественное мнение картинами всероссийского прогресса; но в то же время самое слово «прогресс» настолько противно, что они не желают даже одним упоминовением об нем заявить о своей солидарности с ним. Эта последняя обязанность всецело возлагается на прогрессистов, которые таким образом, сами того не сознавая, являются очень удобными орудиями и застрельщиками самых яростных консерваторов.

Пятая глава «Итогов», написанная в июле или начале августа 1871 г. (см. ниже), была уже отпечатана в августовской книжке *ОЗ* за 1871 г., но по представлении этой книжки журнала в цензуру обратила на себя внимание председателя С.-Петербургского цензурного комитета А Петрова. В донесении от 16 августа начальнику Главного управления по делам печати М. Р. Шидловскому он писал: «Преследовать судом за эту статью невозможно. По моему мнению, даже неудобно было бы мотивировать административное взыскание; но она обличает направление журнала»[2]. 31 августа 1871 г. Салтыков сообщил А. М. Жемчужникову: «Я в августовской книжке поместил статью совершенно спокойную по тону, в которой доказывал, что слово «анархия» употребляется в ненадлежащем смысле и что анархистами должны называться собственно те, которые ставят преграду прогрессу,— и должен был эту статью вырезать ввиду угроз для журнала».

Окончательный авторский текст пятой главы неизвестен. Сохранились лишь черновые автографы с отдельными перебеленными Салтыковым страницами. Два из них содержат текст двух более или менее полных редакций главы; два других представляют собою отрывки ее третьей редакции. Вторая редакция дает более распространенный по сравнению с первой редакцией текст — по объему она превышает первую в полтора раза. Во второй редакции развернуты многие важные положения статьи,— например, о «торжествующей анархии консерватизма», в текст введено прямое упоминание о Пьере Леру, и пр. Последовательность работы Салтыкова над пятой главой устанавливается путем анализа его правки в тексте и вставок на полях: в тексте второй редакции Салтыковым учтены вставки, сделанные им на полях рукописи первой редакции, в текст третьей редакции введены вставки с полей второй редакции, а перебеленные листы третьей редакции отражают последнюю стадию их черновика. На одном из сохранившихся

[1] Письмо Салтыкова к Л. Ф. Пантелееву от 30 марта 1887 г.
[2] *ЛН*, т. 13/14, стр. 142.

листов третьей редакции — помета Салтыкова: «Вместо этой страницы следует набирать вложенный поллист до конца, а потом перейти к следующей странице на обороте». Нельзя категорически утверждать, что эта неизвестная в полном виде редакция служила оригиналом для набора, так как отдельные страницы ее в процессе перебеливания превращены Салтыковым в черновик, но, вероятно, третья редакция была уже очень близка к наборной рукописи.

Текст второй редакции был опубликован впервые в сокращенном виде В. Кранихфельдом в газете «Киевская мысль», 1914, № 116, 28 апреля. Полностью тексты первой и второй редакций опубликованы Н. Яковлевым в сб.: «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы». Ред., предисловие и комментарии С. Борщевского, «Academia», М.— Л. 1931, стр. 281—325 и 533—537. При этом, однако, допущена ошибка в характеристике этапов авторской работы (первая редакция принята за вторую и наоборот). В настоящем издании принята последовательность первых двух редакций, установленная Б. М. Эйхенбаумом при публикации их в т. VII *изд. 1933—1941*. Там же были впервые опубликованы отрывки третьей редакции.

В настоящем издании за основной текст пятой главы принимается черновой автограф второй редакции (текст первой редакции и отрывки третьей см. в разделе «Из других редакций»). В автографе второй редакции имеется два больших вычерка: первый после абзаца «Посмотрим теперь...» (стр. 479) — вычеркнутый отрывок в несколько измененном виде был перенесен Салтыковым в начало статьи (стр. 473, абзац «В самом деле...»); второй вычеркнутый отрывок, с абзаца «Все это до такой степени справедливо...» по абзац «Eteignons les lumières et allumons le feu...» (стр. 482—483), восстановлен нами.

Начиная в 1871 г. новый публицистический цикл с обязывающим названием «Итоги», Салтыков хотел «исследовать» в нем общие результаты десятилетия реформ, начавшегося отменой крепостного права. «Крестьянская реформа» — это «исходный пункт», «к которому неизбежно должен восходить и по сю пору каждый, желающий изложить свои общие воззрения по экономическим и публицистическим вопросам»,— отмечал В. И. Ленин в 1897 г.[1]. Осмысление и оценка всего пути России после 19 февраля 1861 г. ведется Салтыковым в широком историческом и философском плане, в соотнесении с событиями новейшей европейской истории и высокими критериями «справедливости для всех», выдвигаемыми утопическим социализмом. В «Итогах» изложены в этой связи важнейшие мысли Салтыкова о социалистическом идеале и историческом развитии общества, о франко-прусской войне и Парижской коммуне, о задачах литературы.

В связи с десятой годовщиной Манифеста и «Положений 19 февраля 1861 г.» большая часть консервативной и либеральной прессы («Моск. ведомости», «Русск. вестник», «СПб. ведомости», «Голос» и др.) выступила

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 509.

с новыми славословиями реформам 60-х годов[1] и упованиями на продолжение реформаторских усилий правительства. Прямо противоположной была оценка «десятилетия реформ» в демократической печати. Живучесть крепостничества, бесправие и обнищание масс, неудовлетворительность реформ «сверху» — постоянные темы разнообразных материалов, печатавшихся в 1871 г. в «Отеч. записках»,— рецензий и «Внутренних хроник», статей и «провинциальных фельетонов»[2]. «Итоги» Салтыкова в этом ряду «юбилейных» выступлений журнала занимают центральное место.

В новом цикле Салтыков подводил итоги не только изменениям в русской жизни, но и эволюции в своей оценке их на протяжении пореформенных лет, отраженной уже частично в «Признаках времени» и в «Письмах о провинции». Высоко оценивая и теперь значение самого освобождения личности крестьянина от крепостной неволи, Салтыков более зорко схватывает в своем итоговом анализе глубинные социально-экономические тенденции пореформенного развития России, невероятно тяжелые и разорительные для крестьянства, и констатирует, что с точки зрения подлинного социального прогресса созданные реформой новые условия жизни, по существу, мало что изменили. Сатирическое определение «мундирное возрождение» (глава I) указывает на бюрократический характер проведения реформ 60-х годов, мизерность конечных результатов казенного «прогресса», уподобляемых усовершенствованиям «кантиков» и «погончиков» чиновничьих мундиров. С позиций «отрицания мундирного принципа вообще» Салтыков исследует далее многообразные стороны русской действительности после десяти лет реформ.

Отдельные факты, противоречащие «духу всеобщего обновления», обсуждались и на страницах либеральной и даже охранительной печати. Так, в 1871 г. широкое внимание общественности привлекли беззакония властей Пермской губернии, которые были выявлены сенаторской ревизией[3]. О результатах этой ревизии писалось во множестве корреспонденций и статей[4]. Однако во вскрытых в Пермской губернии «произволе полиции, бессудности суда и экономическом самоубийстве производительных сил»[5] либеральные публицисты видели только досадное исключение на

---

[1] См., например: П. Щебальский. Наш умственный пролетариат.— *РВ*, 1871, № 8, стр. 627.

[2] См. например, в отд. «Совр. обозрение» анонимную рецензию на книгу Скалдина «В захолустье и в столице», СПб. 1870 (*ОЗ*, 1871, № 2, стр. 211—213); «Внутр. хронику» Н. А. Демерта (№ 3, стр. 153—171); его же «Темные и светлые стороны нашего общества» (№ 6, стр. 225—226); «В дороге» А. Л. Шиманова (№ 6, стр. 344—355).

[3] Проводилась с июля по ноябрь 1870 г. сенатором П. Н. Клушиным; в ходе ее уволены за злоупотребления большинство высших губернских чиновников во главе с губернатором Лошкаревым.

[4] См., например, в *МВ* корреспонденцию некоего «*N*» «Из Перми» (№ 1, 1 января), передовые в №№ 12 и 13; 16 и 17 января, и другие материалы.

[5] Очерк «Дореформенная губерния» за подписью «*Ч*».— *ВЕ*, 1871, № 10, стр. 629.

светлом общероссийском фоне. Для Салтыкова же и пермские беззакония, и сам привычный «способ их устранения» — с помощью сенаторской ревизии — были принципиальным свидетельством сохранения дореформенной системы административно-полицейского произвола и практической бесконтрольности, полной необеспеченности интересов и прав личности управляемых [1].

Лишь немногие либеральные публицисты критиковали не отдельные частности, а общие результаты реформаторской деятельности правительства. Так, с большой серией серьезных статей «Десять лет реформ» [2] выступил известный общественный деятель 60-х годов А. А. Головачев, близкий знакомый Салтыкова еще по Твери (в 1862 г. он был привлечен Салтыковым к участию в проектировавшемся издании журнала «Русская правда»). Головачев отмечал половинчатость, «отрывочность» реформ, непоследовательность и противоречивость принципов, положенных в их основу. Он одушевлен просветительской идеей «уничтожения всех остатков» крепостного права. В рассуждениях Головачева, писавшего о «крепостнических замашках», «старых порядках даже в новых учреждениях», о сословных тенденциях в земстве, его бессилии перед администрацией, наконец, в требованиях законности и ее гарантий и т. п. ощущается влияние «Писем о провинции» и вообще публицистики Салтыкова этих лет, а также и непосредственного общения с ним. Но Головачёв все же оставался в пределах «постепеновской», либеральной идеологии, ограниченной рамками апелляции к самодержавной власти. Эти мотивы исключительно «мирного прогресса, без борьбы и потрясений», явная направленность против «мнений несбыточных и утопических» [3], очевидно, и вызвали прямой иронический отклик Салтыкова на книгу Головачева в очерке «Зиждитель» цикла «Помпадуры и помпадурши» (1874; т. 8 наст. изд.). Но и раньше, еще до выхода статей Головачева отдельным изданием, в «Итогах» и затем в «Самодовольной современности» «отталкивание» от этих статей входит, несомненно, в полемический подтекст доказательств высокого значения «утопий» в историческом развитии.

Анализ пореформенной действительности в «Итогах» охватывает результаты реформ не только в хозяйственной, социальной практике, в деятельности государственного аппарата, но и в идейной жизни общества. По мнению Салтыкова, «конкретность», четкость политических и социальных требований, выясняемых в широком и результативном общественном движении,— существенная примета зрелости общества (глава III). В русском обществе относительно четкое выражение «конкретных» социальных

---

[1] Политическую глубину анализа Салтыкова подтверждают выводы новейшего исследования. См.: Н. М. Дружинин. Сенаторские ревизии 1860—1870-х гг. (К вопросу о реализации реформы 1861 г.).— «Истор. записки», т. 79, 1966, стр. 175.

[2] Печатались в *ВЕ* с февраля 1871 по май 1872 г., в 1872 г. изданы отдельной книгой.

[3] См.: А. А. Головачев. Десять лет реформ (1861—1871), СПб. 1872, стр. 2, 7, 213, 260, 283, 387, 395 и др.

«желаний» он находит лишь в период предреформенного общественного подъема, в годы, определенные впоследствии В. И. Лениным как период «первой революционной ситуации» в России. После реформы постепенно вновь возобладали мелочное копание либеральных «прогрессистов» в «подробностях», «бесформенное», «призрачное» празднословие славянофилов и почвенников. Писатель приходит к заключению, что реформы не вывели широкие круги русского общества из состояния «доисторического» политического индифферентизма — наследия крепостной эпохи.

Крепостнические традиции, нравы и образ жизни Салтыков определяет как «к р е п о с т н о й ф а л а н с т е р и з м». Общий вывод Салтыкова о результатах «нашего обновления»: «Крепостной фаланстеризм продолжает проникать собой все явления общественной жизни, он только лишился прежнего плотного центра, но в разлитом виде едва ли не представляет еще больше угроз» (глава IV),— развивает, таким образом, заключения «Хищников», «Писем о провинции», направленные против либерального «энтузиазма», и становится еще более содержательным и всеобъемлющим. В сатирическом определении «крепостной фаланстеризм» иронически сопоставляются охранительно-консервативное понимание крепостнического прошлого России как царства «гармонии» и «тишины» (деспотии верхов, пассивности низов, политического и экономического застоя — в интерпретации Салтыкова) и обывательское ходячее понимание социалистического фаланстера будущего как царства неподвижной «гармонии», раз навсегда достигнутого «равновесия» личных стремлений.

Салтыков обосновывает в «Итогах» (главы IV и V) свое понимание социалистического идеала. Оно опирается на общие посылки теории Фурье, Кабе и Леру о движении человечества через смены исторических форм цивилизации к строю всеобщего социального равенства и подкрепляется положениями антропологической философии о соответствии «такой общественной комбинации» подлинной «человеческой природе». Вместе с тем Салтыков обращается и к новейшему историческому опыту, к показаниям самой жизни об «изменяемости общественных форм, для всех видимой и несомненной», и наибольший акцент делает на бесконечности движения, совершенствования форм социальной жизни [1]. Мысль Леру о «з о л о т о м в е к е» он развивает как мысль о конкретной цели исторического прогресса на каждом данном этапе, за достижением которой будут следовать все новые задачи и новые усилия человеческого творчества. Понятие об «а б с о л ю т н о м з о л о т о м в е к е» как о состоянии «равновесия», освобожденного от трудов и исканий, отвергается Салтыковым на основании общего убеждения просветителя и материалиста в бесконечном развитии мира и соответственно — возможностей его познания и преобразования. По мне-

[1] «Произвольная регламентация подробностей» будущего социалистического общества в разных школах утопического социализма критиковалась Салтыковым и ранее.— См. в т. 6 наст. изд. мартовскую хронику «Наша общественная жизнь» 1864 г., статью «Современные призраки» и комментарий к ним.

нию Салтыкова, прогресс вечен, он будет лишь изменять свой характер, «как он изменяет его теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную». Но общее направление прогресса — к социалистическим идеалам «общества без обделенных». Речь идет, пишет Салтыков, «об отыскании таких законов общежития, которые могли бы умиротворить человечество».

В соответствии с этим основная мысль цикла — о принципиальной недостаточности реформ для подлинного обновления жизни — естественно дополняется едкой сатирической критикой «либеральных консерваторов» — проповедников немедленного «успокоения», стремящихся убедить русское общество, будто оно уже «достигло пристани»,— тех либеральных идеологов, которые (подобно, например, В. Безобразову) после реформы от поверхностного «фрондерства» перешли, по существу, к солидарности с властью, сохранив, однако, «прогрессистскую» фразеологию, совмещаемую с непреодолимой страстью к «куску»[1].

Русский пореформенный либерализм Салтыков высмеивал многократно и в очерках «Признаки времени», и в «Письмах о провинции», и в других произведениях 60-х годов. В «Итогах» его критика либерализма выходит за национальные рамки. Реакционную роль «либеральных консерваторов» Салтыков показывает также и на материале западноевропейских событий всемирно-исторического значения.

Либерально-консервативные идеологи, официальная печать определяли любые революционные попытки, радикальные идеи и даже «самую жизнь, вышедшую из старой колеи и пробивающую себе новую колею», словом «анархия». Салтыков, пользуясь своим излюбленным приемом переосмысления понятия противника с целью обратить против него его же оружие, доказывает (в главе V), что действительная анархия, влекущая за собой «приостановку жизни, равнодушие, почти оцепенение» общества,— это борьба единого либерально-охранительного стана с «утопиями», травля «отрицателей», «птенцов» — революционных демократов России 60-х годов и только что совершившаяся весной — летом 1871 г. кровавая расправа «либерального» правительства Тьера с коммунарами в Париже.

В июле — августе 1871 г. слова «анархия», «попрание авторитетов» не сходили со страниц официозной и либеральной печати в связи с разгромом Парижской коммуны, судом в Версале в июле над ее уцелевшими в живых членами (Курбе, Груссе, Журдом, Ферре и др.) и начавшимся 1 июля в Петербурге нечаевским процессом, по которому обвинялись в «заговоре» для «ниспровержения установленного в государстве правительства» 87 человек. Так, «Русск. вестник» утверждал, что «во Франции революция и междоусобие сделались предметом очень распространенного учения и

---

[1] О значении «прогрессистской» идеологии в общей системе охранительной идеологии обстоятельнее было сказано в журнальном тексте (см. вариант к стр. 453) и в рукописной третьей редакции V главы (см. стр. 522—527).

обычной практики» и привели к упадку, а теперь эти «преступные» идеи подхвачены русскими «передовыми людьми», «подтрунивающими над авторитетами»[1]. Публицист «Русск. вестника» П. Щебальский писал о «противуобщественной силе, которая дала жизнь Парижской коммуне»[2], и единстве стремлений «наших и французских разрушителей»[3]. «Голос» также отождествлял «анархические» цели русской молодежи с программой «коммуналистов» Франции[4].

Возмущенный печатной бранью в адрес революционеров и всего молодого поколения, Салтыков предлагал Некрасову (в письме от 17 июля) начать с августа публикацию в «Отеч. записках» материалов «нечаевского дела», а в сентябре дать «свод статей, появившихся по этому поводу в газетах и журналах» (о «неизреченном холопстве» которых он писал А. М. Жемчужникову 31 августа). Последнее намерение было выполнено Салтыковым в статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики»[5]. Прямая защита обвиняемых была, разумеется, невозможна в печати, поэтому она проведена в «Итогах» в скрытой форме (глава V). Вместе с тем отповедь «одичалым консерваторам современной Франции» звучит здесь во весь голос.

Обосновывая свое понимание исторического прогресса как законной смены старых «мехов» (государственных и политических форм) новыми по мере осознания массами расширяющегося «уровня потребностей жизни», писатель утверждает: «Те, которые говорят прямо, что ветхое — ветхо, негодное — негодно, те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб».

Судьбы прогресса в России и Европе для Салтыкова неразрывны с судьбой революционной Франции (см. также очерк «Сила событий»). В главе III «Итогов» он с горечью констатирует, что жизнь не дает ответа, «в чем именно заключается полнота» идеалов русского общества и «выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, например, выяснились идеалы французского общества». Здесь Франция — классическая страна революций, демократической и социалистической идеологии — служит для Салтыкова мерилом исторической активности, четкости и широты идеалов. Эту высшую меру прилагает он и к русской действительности. Поэтому так неразрывно сплетаются затем в произведении две кардинальные его темы: итоги реформ в России и Парижская коммуна во Франции, поэтому столь органично для завершающей главы «Итогов» слияние этих тем в страстной защите русских революционеров и героев-коммунаров.

Расправа с Коммуной, встреченная российскими охранителями как восстановление «порядка», «спокойствия» после полосы «насилий», «террора»

---

[1] *РВ*, 1871, № 2, стр. 823, 829, 834; рецензия без подписи на «Исторические письма» П. Л. Миртова (Лаврова).

[2] «Идеалисты и реалисты».— *РВ*, № 7, стр. 184.

[3] «Наш умственный пролетариат».— *РВ*, № 8, стр. 645.

[4] *Г*, 1871, № 183, 4 июля.

[5] *ОЗ*, 1871, № 9 (т. 9 наст. изд.).

и «грабежей» [1],— обличается Салтыковым в V главе «Итогов», как мрачная «сатурналия» — кровавый пир реакции: «...Анархисты успокоения в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны!» [2] Указывая на это «мерило для сравнения последствий» «торжества той или другой партии», Салтыков добавляет, что террор «одичалых охранителей» уничтожает лучшие, молодые силы страны, «непосредственно посекает жатву будущего». Однако «обделенный все-таки не перестает быть обделенным», и новый взрыв неизбежен.

Не состоявшееся по вине цензуры выступление Салтыкова должно быть поставлено хронологически в ряд первых и наиболее прозорливых откликов русской демократии на явление Коммуны. Близкие переклички с заключительными страницами «Итогов» мы находим лишь в высказываниях П. Л. Лаврова и в стихотворениях Некрасова «Смолкли честные, доблестно павшие...» и «Страшный год» [3].

Существенный интерес представляют в «Итогах» высказывания Салтыкова по принципиальным вопросам литературы (глава IV), особенно о воспитательном ее значении, которое заключается «в подготовлении почвы будущего». Салтыков формулирует здесь задачи, которые стоят перед литературой — «выразительницей общественной совести» — в борьбе за социальный прогресс, за социалистический идеал: «исследуя нравственную природу человека» в наличных «общественных комбинациях», литература вместе с тем «провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека».

Обличая «уличную литературу», создававшую искаженные, подчас пасквильные образы «нигилистов» (объект критики здесь, несомненно, и «Бесы» Достоевского, и «На ножах» Лескова, в 1871 г. печатавшиеся в «Русск. вестнике»), Салтыков ратует, как и в «Напрасных опасениях», «Годовщине», за воспитание литературой в обществе «жажды подвига», который считает концентрированным выражением «нравственной природы» человека, призывает к созданию «новых типов» борцов за социалистическое будущее, способных стать жизненным примером для «современного человека».

---

[1] См., например, фельетон в *Г*, 1871, № 183, 4 июля, и статью Г. де Молинари «После разгрома».— *РВ*, 1871, № 8, стр. 496—498.

[2] Сравнение с первой редакцией, где вместо *непреклонные* было *дикие*, показывает существенный нюанс в оценке Коммуны Салтыковым. Некоторые акты Коммуны и ее отдельных деятелей он не приемлет, ибо для него революционное насилие — лишь самая последняя, крайняя возможность в борьбе со старым миром. Однако в процессе работы над текстом главы он стремится в самом выборе эпитетов и формулировок акцентировать главное — уважение к подвигу коммунаров, солидарность с их благородными целями и идеалами.

[3] Подробнее об отражении событий Парижской коммуны в творчестве Некрасова и в русской демократической печати см. в статье И. Власова (при участии С. Макашина) «Некрасов и Парижская коммуна».— *ЛН*, т. 49/50, стр. 397—428.

Стр. 422. *Прогрессисты, «в надежде славы и добра», бегут вперед. <...> Не вдруг укорачивайте! <...> Дозрели мы или не дозрели?* — Салтыков здесь и далее иронически перечисляет основные темы консервативной и либеральной публицистики 1856—1862 гг., характеризуя, как обычно, начальной строкой «Стансов» Пушкина либеральные упованья в связи с реформами. Не вдруг.— См. прим. к стр. 7. Дозрели мы или не дозрели? — Вопрос о «незрелости» (неподготовленности к «великим реформам»), о «неспособности к самодеятельности» русского общества постоянно дебатировался в печати (см., например, передовую в *СО*, 1862, № 235, 1 октября — «Нашим рьяным прогрессистам», а также прим. к стр. 272 наст. тома), что неоднократно вызывало насмешки демократической публицистики (см., например, январско-февральскую хронику «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд.; статью Писарева «Бедная русская мысль».— *РС*, 1862, № 4, отд. II, стр. 41.— Д. И. Писарев. Сочинения в 4-х томах, т. 2, М. 1955, стр. 66).

...встретиться с человеком, который на вопрос: «какой из двух мундиров лучше?» — отвечает: «оба лучше», и на этом прекращает разговор.— Эзоповская характеристика позиции, занятой во время крестьянской реформы наиболее последовательными деятелями революционной демократии, в частности Чернышевским. Он отвечал молчанием на борьбу между крепостнической и либеральной тенденциями в осуществлении реформы, ибо понимал «ее основной буржуазный характер», враждебность обоих лагерей трудящимся, неспособность «крепостническо-бюрократического государства» дать им подлинное освобождение, и «обинякамп» проводил эту мысль в подцензурной печати (см.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 289—292).

Стр. 425. *Безответность <...> заставляет предполагать <...>, или что у отрицателей совсем нет никаких доктрин, или что они имеют какие-то доктрины, но не хотят о них повествовать.*— Консервативная и либеральная печать или обвиняла демократическую публицистику, в частности «Отеч. записки» и Салтыкова, в отсутствии положительной программы, или намекала на революционно-социалистическую подоплеку их критики пореформенной действительности: см., например, статью В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (*РВ*, 1869, № 10, стр. 481—484); статью «Критические заметки о текущей литературе...» («Заря», 1869, № 7; без подписи, возможно — Н. Страхова, стр. 165—166); рецензию Суворина на *изд. 1869* (*ВЕ*, 1869, № 4, стр. 981, 988). Суть суворинской рецензии Салтыков в письме к Некрасову от 5 апреля 1869 г. определил так: «...Не видно, дескать, какие у него <Салтыкова> политические и общественные убеждения, а остроумие, мол, есть». См. также стр. 541, 551 наст. тома.

Стр. 427. *Вскую* — тщетно (*старославянск.*).

...корень доктрины, навлекшей на себя подозрение, кроется в естествознании. <...> Действительный мир оказывается миром чудес, мир чудес — действительным...— Салтыков указывает на роль философского материализма и естественных наук в разрушении привычно-религиозного и автори-

тарно-монархического сознания, обнажении «призрачности» его понятий. См. также «Проект совр. балета» в наст. т. и «Совр. призраки» в т. 6 наст. изд. На опасность «учения о материализме», проводимого «в связи с направлением социальным» «преимущественно в журнале «Современник», указывал в отчете Александру II за 1862 г. шеф жандармов В. А. Долгоруков: «Имея целью объяснить все существующее законами физической природы, оно отвергает все нравственные начала: разум, бессмертие, религию и, наконец, самое бытие творца» (цит. по изд.: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XV, П. 1920, стр. 593). В походе против материализма русских демократов приняла участие консервативная и славянофильская печать. В передовой «Дня» № 39 от 28 сентября 1863 г. И. Аксаков писал: «...Какую точку опоры в нравственной борьбе России с полонизмом <то есть с польским национально-освободительным движением> представят вам материалисты, проповедующие <...> совершенное разрушение всех нравственных основ общества, равнодушие к вопросам веры и народности?»

Стр. 430. *Тьмы низких истин мне дороже...*— Из стихотворения Пушкина «Герой».

Стр. 431. *Период брожения* — время общественного подъема 1856—1861 гг. Ср. стр. 422, 450 и прим. к ним

Стр. 432. *Говорят, что все это признаки очень здоровые <...>. Солидные люди усматривают задатки так называемого трезвого отношения к жизни...*— Радость по поводу «отрезвления» общества выражали, например, Катков и И. Аксаков в №№ 1 «Моск. ведомостей» и «Дня» за 1863 г.

Умереть — уснуть...— Из монолога Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт. III, сцена I; перевод Н. Полевого).

Это была знаменитая в летописях битва против нигилистов, свистунов, космополитов и проч.— См. комментарий к январско-февральской хронике «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд и к очерку «Лит. положение» в наст томе.

Стр. 433. *...обнародованные на днях в «Московских ведомостях» результаты недавней ревизии Пермской губернии.*— Речь идет о передовых статьях в №№ 12 и 13, 16 и 17 января 1871 г.

Стр. 437. *Под видом чествования ревизора предпринимался целый ряд волшебнейших объядений...*— Развернутое описание дореформенной ревизии см. в рассказе «Приезд ревизора» (1857; т. 3 наст. изд).

Стр. 440. *...о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемый г. академиком Безобразовым, но <...> в уголовный кодекс не внесенный).*— Иронический выпад против статьи В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты», где он писал, что «лучшие представители» «здоровой общественной среды» (к которым причислял себя) должны «зорко следить за неблагонадежными материалами» и «неблагонадежными понятиями» в литературе (*РВ*, 1869, № 10, стр. 486) Безобразов же имеется в виду ниже в словах: «В эту

благодатную страну ездят наши департаментские экономисты...» и т. д. Ср. прим. к стр. 325.

Стр. 441. *...что в высших правительственных сферах существовало лишь в качестве проекта...*— В апреле 1870 г. в Государственном совете обсуждался проект административно-полицейской реформы (см. стр. 627—629).

Стр. 442. *Верхотурский исправник высек одного почтсодержателя...*— Случай из служебной практики исправника Митяшева, которому вслед за этим была «дана награда», хотя губернское правление назначило дознание о его противозаконных действиях (*МВ*, 1871, № 12, 16 января; см. также *ВЕ*, 1871, № 10, стр. 636).

...и в других двух случаях, приведенных в «Московских ведомостях».— В передовой в № 13 от 17 января 1871 г. писалось: «Купец взыскивал следовавшие ему с двух других торговцев деньги в течение шести лет»; «когда был разграблен обоз другого купца, то первое распоряжение полиции по этому делу последовало <...> через два с половиной года после происшествия».

Стр. 446. *...по поводу французско-прусской войны <...> общественное мнение <...> интересовалось этим громадным историческим фактом.*— См. об этом в очерке «Сила событий» и в комментарии к нему.

Стр. 447. *...воздух был буквально насыщен проектами всевозможных союзов, наступательных и оборонительных войн, трактатов и т. д.*— Такие проекты противостоять усиливающейся мощи Германии наполняли с августа — сентября 1870 г. страницы «Моск. ведомостей» и «Голоса».

Стр. 448. *...вопрос о классическом и реальном образовании.*— Этот вопрос с 1864 г. постоянно дебатировался в русской печати (см. прим. к стр. 120). С 1866 г., когда министром народного просвещения стал гр. Д. А. Толстой, сторонники изучения в гимназиях двух древних языков и исключения из их курса естественных наук (чтобы помешать распространению материализма и атеизма в молодом поколении), во главе с Катковым, получили официальную поддержку. В министерстве к весне 1871 г. были выработаны проекты нового устава гимназий и реальных училищ, отдававшие монополию доступа в университеты воспитанникам классических гимназий. При обсуждении проекта министерства в сенате и Государственном совете мнения разделились, но 30 июля 1871 г. новый устав был утвержден.

Одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь», четвертые <...> сулят слово новое, неслыханное.— Речь идет о программных требованиях официально-националистической, славянофильской и почвеннической публицистики. О «новом слове» см. прим. к стр. 16 в т. 5 наст изд.

Стр. 450. *...один момент <...>, когда можно было уловить очертания наших общественных желаний...* — Годы наивысшего демократического подъема, революционной ситуации (1859—1861).

Стр. 452. *...нравственное равновесие <...>, по предположению Фурье,*

достигается при посредстве гармонической игры страстей...— По теории Фурье, природа человека требует свободного сочетания и удовлетворения всех присущих ему «двенадцати страстей», невозможного в собственническом обществе (Ш. Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир.— Избранные сочинения, т. IV, М.— Л. 1954, стр. 99). См. также в т. 6 наст. изд. статью «Как кому угодно» и комментарий к ней.

Стр. 453. *...«ныне отпущаеши...»* — С этими словами праведник Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, не увидев Христа, обратился к всевышнему, узрев божественного младенца (Еванг. от Луки, II, 25—29).

Стр. 453—454. *...разговоры о каком-то знамени <.. >, инсинуации насчет неблагонадежных элементов, наплыв которых якобы не следует допускать...*— Новый выпад против Безобразова (см. прим. к стр. 440).

Стр. 457. *...четыре столоначальника...*— Перечисляемые далее департамент недоумений и оговорок — сатирический псевдоним министерства юстиции, департамент дивидендов и раздач — министерство торговли, департамент отказов и удовлетворений — сенат, департамент изыскания источников и наполнения бездн — министерство финансов. К этим строкам в *ОЗ* следовало подстрочное примечание:

Пишущий эти строки считает долгом удостоверить, что все эти департаменты действительно существуют ... в одном беллетристическом произведении, которое имеет появиться на страницах «Отеч. зап.». Произведение это называется «В погоне за счастьем, история моих изнурений». Хотя содержание его имеет характер преимущественно памфлетический, но, в видах угождения прекрасным читательницам, произведение будет снабжено обоими сортами любви — законною и незаконною, браками, крестинами и даже погребениями.

Среди последующих сочинений Салтыкова памфлета с таким названием нет, и неясно, какой из своих очередных замыслов имеет он в виду (возможно, замысел «Дневника провинциала в Петербурге», который он начал печатать в «Отеч. записках» с января 1872 г.).

Департамент любознательных производств — сатирический псевдоним III Отделения.

Стр. 458. *...один известный своею находчивостью экономист.*— По-видимому, новая сатирическая стрела в адрес Безобразова.

...«я могу плясать! <...> радуюсь».— Вольный пересказ монолога Юсова из комедии Островского «Доходное место» (1857; действ. III, явл. 3).

Стр. 462. *Поклонников доктора Панглоса <...> нынче очень много.*— Доктор Панглос — персонаж философского романа Вольтера «Кандид». Один из ходовых (неточных) вариантов изречения Панглоса — «все к лучшему в этом лучшем из миров» — Салтыков применяет здесь для характеристики той части современной ему литературы, которая заявляла о своем удовлетворении существующим положением вещей и тем самым отказывалась от борьбы за его изменение, за «подготовление почвы будущего».

Стр. 466. *...слова «вдруг» и «все» оказывают <...> ошеломляющее действие, какое в комедии Островского («Тяжелые дни») оказывают мудреные слова вроде «жупел» и т. д.*— В «Тяжелых днях» (1863) богатая купчиха Настасья Панкратьевна Брускова жалуется, что боится «мудреных слов»: «...Как услышу я слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся» (действ. II, явл. 2). Салтыков уподобляет этой купчихе либерально-консервативную публицистику, пугавшую общество анархией и насилием как неизбежными, будто бы, последствиями борьбы за «утопии» — за передовые общественные идеалы.

Стр. 468. *...говорил о каком-то «крае»...*— то есть о надеждах получить назначение начальником какой-то губернии.

Стр. 469. *«Волосатый».*— См. прим. к стр. 20.

Стр. 471. *...момент <...>, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях...*— Время пореформенной реакции с ее кульминациями в 1862—1863 и 1866 гг.

Стр. 472. *...сколько было в то время выпито шампанского! сколько разослано телеграмм!* — Салтыков напоминает о шовинистической кампании в связи с польским восстанием 1863 г., когда верноподданнические чувства дворянского общества выражались адресами Александру II, «патриотическими» обедами, приветственными телеграммами Муравьеву (Вешателю) (см. прим. к стр. 113, 114 в т. 6 наст. изд.).

...патагонцы сводили счеты <...>, досталось же тогда на орехи птенцам...— Речь идет о массовых политических репрессиях 1862—1863 и 1866 гг. Патагонцы — здесь — дикари, крайние реакционеры, птенцы — демократическая и революционная молодежь.

Стр. 473. *Разложение масс.*— Это понятие в философии XIX в. шло от гегельянства и означало появление и развитие общественно активных личностей передового сознания из однородной, не тронутой сознанием массы.

Стр. 474. *«Умный человек не может быть не плутом».*— Слова Репетилова в «Горе от ума» Грибоедова (действ. IV, явл. 4).

Стр. 475. *Глупые люди* — обывательская масса, инстинктивно враждебная прогрессу («мгновенно наливаются кровью»), используемая охранительными идеологами и политиками — «бессовестными людьми» — в борьбе с передовым общественным движением.

Стр. 478 *«Ничего не пощадили, даже...»* — то есть даже бога, религии (см. также прим. к стр. 16 в т. 6 наст. изд.).

...давность обычая еще не обусловливает его непогрешимости...— Салтыков полемизирует с охранительной и либеральной печатью, утверждавшей, что русские демократы «относятся с гордым презрением ко всему существующему, ко всему реальному, выработанному тысячелетиями» (рецензия без подписи на «Исторические письма» П. Л. Лаврова (Миртова).— *РВ*, 1871, № 2, стр. 834). С подобными же обвинениями выступали против подсудимых по «нечаевскому делу» «СПб. ведомости» (см. передовую в № 180, 3 июля).

Стр. 479. *С помощью обобщений вы от инспекторского департамента гражданского ведомства дойдете и до других более сложных комбинаций...*— Этот департамент был упразднен в 1858 г. Здесь эзоповски выражена мысль, что вся самодержавно-бюрократическая система изжила себя.

...когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедою, мы поступаем <...> бесчестно <...>, передавая их на поругание толпе.— Полемика с охранительной и либеральной печатью, твердившей во время нечаевского процесса о беспочвенности революционных попыток в России в связи с благодеяниями царя и помещиков крестьянам (см., например, *РВ*, 1871, № 8, стр. 627; *Г*, 1871, № 183, 4 июля, фельетон «Петербуржца», стр. 1).

Стр. 480. *...акцизная система может быть названа золотым веком...*— См. прим. к стр. 190.

Стр. 481. *...историю с «пагубным материализмом»...*— О преследовании материализма см. прим. к стр. 427.

Стр. 482. *Разлагающее влияние* — здесь — в смысле аналитического воздействия.

...в прах разлетятся все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. п.— Напоминая об исторических судьбах распавшихся или уничтоженных древних империй и царств Ассирии, Вавилона, Рима и Византии, Салтыков намекает на неизбежность падения русского самодержавия, когда в массы проникнет сознание, что эта форма политических отношений («союзов») «осуждена историей».

Да; это единственные разрушители <...>, единственные мечтатели, никогда не могущие выбиться из пустоты. <...> Для них одних будущее подобно бездонным хлябям...— Салтыков переадресует реакции и ее идеологам обвинения, которые те обрушивали на русских революционеров в связи с «нечаевским делом». Так, Катков в передовой № 161 «Моск. ведомостей», 25 июля 1871 г., писал, что их цель — «всеобщее разрушение для разрушения». Передовая в № 180 «СПб. ведомостей», 3 июля, называла подсудимых «представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии». Автор фельетона в № 183 «Голоса», 4 июля, утверждал: «...О том, что поставить на место разрушенного, имелись самые смутные понятия»,— и приписывал действия подпольных организаций в России махинациям заграничных «предпринимателей политических движений для осуществления самой несбыточной мечты, когда-нибудь западавшей в головы этих пустозвонных болтунов, именно революции в России» (подразумевались М. Бакунин и Огарев).

Стр. 483. *Eteignons les lumières et allumons le feu...*— Строки рефрена стихотворения Беранже «Les Missionnaires» («Миссионеры»). У Беранже — «rallumons», то есть вновь зажжем (имеются в виду костры инквизиции).

Заподозривается, например, NN в анархических стремлениях <...>. Отыскивается переписка любовного содержания. <...> Начинается выемка

человеческой души.— Здесь имеются в виду не только преследования и суды над участниками Парижской коммуны, но также следствие и процесс по «нечаевскому делу». Консервативная печать смаковала, в частности, отношения подсудимого Ткачева и его невесты Дементьевой, которая решилась в интересах дела на фиктивный брак с другим подсудимым, Орловым (см., например, П. Щебальский. Наш умственный пролетариат.— *РВ,* 1871, № 8, стр. 638—639).

НЕОКОНЧЕННОЕ

<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА...>
(Стр. 489)

При жизни Салтыкова этот текст не публиковался в качестве самостоятельного произведения, и неясно, представляет ли он законченную статью или, скорее, фрагмент какого-то более обширного замысла. Значительная часть текста вошла, в измененном виде, отдельными абзацами, перетасованными с новым текстом, в «Письмо шестое» цикла «Письма о провинции» (ср. стр. 491—492 и 254—255, 492—495 и 248—251). На основании этих обстоятельств текст «Кто не едал...» помещается в настоящем издании не в *основном* разделе, а в разделе «Неоконченное».

Впервые статья опубликована Н. Яковлевым в *ЛН,* т. 11/12, стр. 245—251, по черновой автографической рукописи без заглавия. В настоящем издании печатается по указанной рукописи — единственному источнику текста.

Работа над «Кто не едал...» относится, скорее всего, к лету 1868 г., ко времени, непосредственно предшествовавшему возникновению «Письма шестого» цикла «Письма о провинции», с содержанием которого статья тесно связана и в котором, как сказано, использована большая часть ее текста. Обычно такие включения текста неопубликованных произведений в новые производились Салтыковым вскоре после написания первых и как только выяснялось, что по каким-либо обстоятельствам они не могут быть опубликованы в данный момент. В пользу отнесения «Кто не едал...» к лету 1868 г. говорит и непосредственная перекличка суждений о русской истории в этом наброске с «Историей одного города», печатавшейся в «Отеч. записках» с начала 1869 г., а также употребление в «Кто не едал...» сатирического понятия «чужеядные» (стр. 490), совпадающего с характеристикой помещичьего паразитизма в пятом «письме из провинции», опубликованном в сентябре 1868 г.

Стр. 489. *Кто не едал с слезами хлеба <...> гласит Гете в плохом переводе г. Струговщикова.*— Цитируется начало стихотворения Гете «Арфист» по изданию: «Стихотворения Александра Струговщикова, заимство-

ванные из Гете и Шиллера», кн. 1, СПб. 1845, стр. 40. В предисловии Струговщиков писал, что «не считает себя вправе выдавать» предлагаемые стихотворения за переводы: он стремился передать лишь «главнейшие впечатления подлинника», «общий тон и колорит» (там же, стр. II).

Стр. 491. *...толпа <...> одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум».*— «Властителем наших дум» назвал Пушкин Байрона в стихотворении «К морю».

Стр. 493. *...к какой угодно высшей цели.*— То есть к проповеди социализма.

...как выражается г-жа Падейкова...— См. рассказ «Госпожа Падейкова» в т. 3 наст. изд.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ЛЕГКОВЕСНЫЕ

(Стр. 499)

При жизни Салтыкова эта первая редакция очерка не была опубликована по цензурным причинам (подробнее см. на стр. 535—536 и 554). Начальная и заключительная части опубликованы Б. Эйхенбаумом в т. 7 *изд. 1933—1941,* стр. 502—505, по рукописи.

В настоящем издании *впервые публикуется полностью* по указанной рукописи. Большую часть рукописи составляет копия рукой Е. А. Салтыковой, с авторскими поправками, остальная часть — беловой автограф Салтыкова, обозначенный им цифрой «4». Рукопись предназначалась для набора: об этом свидетельствует помета в углу первого листа — «Отеч. зап. № 1, отд. 2-е».

Текст настоящей первой редакции частично, в переработанном виде, был использован Салтыковым в очерке «Лит. положение» и в «Письме четвертом» цикла «Писем о провинции» (ср. стр. 499 и 55, 500 и 71, 505—509 и 226—229).

ИТОГИ

ГЛАВА V

Первая редакция

(Стр. 510)

О первой публикации первоначальных редакций пятой главы «Итогов» и установлении их последовательности см. выше, стр. 657—658.

Первая редакция представляет собою черновой автограф с многочисленными вставками и несколькими вычерками. На полях последнего листа

автографа имеются две карандашные выписки рукой Салтыкова: помета «Du Bois Calame»[1] и цитата «Запасшися крестьянин хлебом, // Ест добры щи и пиво пьет. Д е р ж а в и н. Осень во время осады Очакова».

Текст первой редакции пятой главы печатается в настоящем издании полностью, *по окончательному слою рукописи* (варианты не представляют самостоятельного значения и не приводятся).

Стр. 517. *«Золотой век не позади, а впереди нас»,— сказал один из лучших людей нашего времени...*— Салтыков цитирует книгу П. Леру «De l'Humanité, de son principe et de son avenir» (второе изд., Париж, 1845) — «О человечестве, его принципах и его будущем». См. также стр. 480 и 661 в наст. томе.

Два фрагмента третьей редакции
(Стр. 521)

О первой публикации фрагментов третьей редакции см. выше, стр. 658.

Первый фрагмент представляет собой беловую вставку в начало рукописи, в текст, вырабатывавшийся на основе абзацев второй редакции «Совсем другой смысл...» — «Все это неопровержимо доказывается...» (стр. 473—475). Кроме того, ранее в рукописи имеется еще небольшая выписка рукой Салтыкова на полях, против рассуждения о понятии «авторитет» (см. стр. 475):

Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!

Речь проф. Моск. ун. Морошкина «Об Уложении и его дальнейшем развитии».

Второй фрагмент является новой редакцией конца главы и представляет собой частично перебеленную рукопись, частично — черновую. Текст его вырабатывался на основе абзацев второй редакции пятой главы «Но ловкие люди и тут отыскивают...» — «А между тем в этом изобилии...» (стр. 481—486).

---

[1] Смысл этой пометы неясен. По предположению Б. Эйхенбаума (*изд. 1933—1941*, т. 7, стр. 513), Du Bois — вероятно, французский скульптор и художник XIX в. Dubois; Calame — швейцарский художник-пейзажист того же времени.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

САТИРА ИЗ «ИСКРЫ»

ИТОГИ

НЕОКОНЧЕННОЕ

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 7

Редактор *В. Панов*

Художественный редактор *С. Данилов*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 28/VIII 1967 г. Подписано к печати 6/I 1969 г. Бумага тип. № 1, 60×90$^1/_{16}$. 43,5 печ. л. Уч.-изд. л. 42,24 + 1 вкл. = 42,3 л. Тираж 58 000. Заказ № 1503. Цена 1 р. 35 к.

Издательство «Художественная литература» Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16, на полиграфкомбинате им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по печати, Минск, Красная, 23.